

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://ulitskaya@ludmila.ru/> приятного чтения!

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая

Сборник

Даниэль Штайн, переводчик

Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке.

1 Кор. 14, 18–19

Часть первая

1

Декабрь, 1985 г., Бостон.

Эва Манукян

Я всегда мерзну. Даже летом на пляже, под обжигающим солнцем, холод в позвоночнике не проходит. Наверное, потому, что я родилась в лесу, зимой, и первые месяцы моей жизни провела в отпоротом от материнской шубы рукаве. Вообще-то я не должна была выжить, поэтому если уж кому жизнь подарок, то мне. Только не знаю, нужен ли мне был этот подарок.

У некоторых людей память о себе включается очень рано. Моя начинается с двух лет, со времен католического приюта. Мне всегда было очень важно знать, что происходило со мной и моими родителями все те годы, о которых я ничего не помню. Кое-что я узнала от старшего брата Витека. Но он в те годы был слишком маленьким, и его воспоминания, которые перешли мне от него в наследство, не восстанавливают картины. Он в больнице исписал половину школьной тетрадки – рассказал мне все, что помнил. Тогда мы не знали, что мать жива. Брат умер от сепсиса в шестнадцатилетнем возрасте до ее возвращения из лагеря.

В моих документах местом моего рождения называется город Эмск. В действительности это место моего зачатия. Из Эмского гетто моя мать сбежала в августе 1942 года, на шестом месяце беременности. С ней был мой шестилетний брат Витек. Родилась я километрах в ста от Эмска в непроходимых лесах, в тайном поселении сбежавших из гетто евреев, укрывавшихся там до самого освобождения Белоруссии в августе 1944 года. Это был партизанский отряд, хотя на самом деле никакой это был не отряд, а три сотни евреев, пытавшихся выжить в оккупированном немцами крае. Мне представляется, что мужчины с оружием скорее охраняли этот земляной город с женщинами, стариками и несколькими выжившими детьми, чем воевали с немцами.

Отец мой, как рассказала мне много лет спустя мать, остался в гетто и там погиб – через несколько дней после побега все обитатели гетто были расстреляны. Мать сказала мне, что мой отец отказался уходить, считая, что побег только озлобит немцев и ускорит расправу. И тогда моя беременная мать взяла Витека и ушла. Из восьмисот обитателей гетто на побег решились тогда только триста.

В гетто согнали жителей Эмска и евреев из окрестных деревень. Мать моя не была местной жительницей, но оказалась в тех краях не случайно, а была послана туда связной из Львова. Она была одержимой коммунисткой. Витека родила она в львовской тюрьме в тридцать шестом от своего партийного товарища, а меня от другого мужчины, с которым познакомилась в гетто. В жизни я не встречала женщины, менее склонной к материнству, чем моя мать. Думаю, что родились мы с братом исключительно из-за отсутствия превентивных средств и абортариев. В юности я ее ненавидела, потом много лет отчужденно изумлялась и до сего дня едва терплю общение с ней. Слава богу, крайне редкое.

Всякий раз, когда я задаю ей какой-нибудь вопрос о прошлом, она ощетиливается и начинает орать: в ее глазах я всегда оставалась аполитичной мешанкой. Я и есть такая. Но я родила ребенка, и я точно знаю: когда появляется ребенок, жизнь женщины подчиняется этому факту. Больше или меньше. Только не у нее. Она – партийная маньячка.

Месяц тому назад меня познакомили с Эстер Гантман. Такая прелестная прозрачная старуха, очень белая, с высиненной сединой. Она приятельница Карин, они работали

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru вместе в какой-то благотворительной организации, и Карин давно мне про эту Эстер говорила, но я ею совершенно не заинтересовалась. Незадолго до Рождества Карин устроила прием по поводу своего пятидесятилетия, и я сразу обратила внимание на Эстер. Она чем-то выделялась в большой толпе полужнакомого народа. Вечеринка эта была намного сердечнее, чем это бывает обыкновенно у американцев: все-таки было много поляков, несколько русских и пара югославов. Словом, славянское присутствие на этом американском празднике как-то приятно ощущалось, временами слышалась польская речь.

По-русски и по-польски я говорю одинаково свободно, а в английском у меня польский акцент, на что и обратила внимание Эстер, когда мы перебрасывались какими-то незначительными репликами в пределах светской болтовни.

– Из Польши? – спросила она.

Этот вопрос меня всегда немного озадачивает: мне трудно ответить – не станешь же вместо лаконичного ответа бросаться в пространный рассказ о том, что мать моя родилась в Варшаве, а я родилась в Белоруссии неизвестно от кого, детство провела в России, в Польшу попала только в пятьдесят четвертом, потом снова уехала учиться в Россию, оттуда переехала в ГДР, а уж потом в Америку...

Но в этот раз я почему-то сказала то, чего никогда не говорю:

– Я родом из Эмска. Точнее, из Черной Пуши.

Старуха тихо ахнула:

– Когда ты родилась?

– В сорок втором. – Я никогда не скрываю возраста, потому что знаю, что выгляжу молодо, мне моих сорока трех никогда не дают.

Она обняла меня легкими ручками, и голубая ее прическа затряслась старческой дрожью:

– Боже мой, боже мой! Значит, ты выжила! Эта сумасшедшая родила тебя в землянке, мой муж принимал роды... А потом, не помню точно, кажется, месяца не прошло, она взяла детей и ушла неизвестно куда. Все уговаривали ее остаться, но она никого не слушала. Все были уверены, что вас схватят на дороге или в первой же деревне... Велик Господь – ты выжила!

Тут нас вынесло в прихожую. Мы просто расцепиться не могли. Стащили с вешалки нашу одежду – смешно, но шубы были одинаковые – толстые, лисьи, в Америке почти неприличные. Потом оказалось, что Эстер тоже из мерзлявых...

Поехали к ней – она живет в центре Бостона, на Коммонуэлс-авеню, в чудесном квартале, в десяти минутах от меня. Пока мы ехали – я за рулем, она рядом, – у меня возникло такое странное чувство: всю жизнь я мечтала иметь кого-то старшего, мудрого, кто мог бы мной руководить, кого бы я могла слушать, радостно подчиняться, – и никогда такого не было. В приюте, конечно, была строгая дисциплина, но это совсем другое дело. В жизни моей я всегда за старшего – взрослыми не были ни мать, ни мужья, ни друзья. А в этой старухе было что-то такое, что заранее хотелось согласиться со всем, что она ни скажет...

Вошли в ее дом. Она зажгла свет – в прихожей начинались стеллажи с книгами, и они уходили в глубь квартиры. Она отметила мой взгляд.

– Это библиотека моего покойного мужа. Он читал на пяти языках. И масса книг по искусству. Надо найти хорошие руки, кому бы это оставить...

Тут я вспомнила, что именно говорила мне Карин: Эстер – бездетная вдова, довольно богатая, очень одинокая. Почти все родственники погибли во время войны.

Вот что мне рассказала Эстер: мою мать она увидела в первый раз в Эмском гетто, когда туда стали сгонять жителей из окрестностей – до того в гетто были только городские евреи. Они вроде бы добровольно туда заселились, потому что незадолго до переселения в гетто в городке было ужасное истребление евреев – их собрали на городской площади, между костелом и православной церковью, и начали убивать.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskayaaludmila.ru](http://ulitskayaaludmila.ru)  
Полторы тысячи убили, и оставшиеся в живых ушли в гетто.

Это было не обычное старинное гетто – один или несколько кварталов, где евреи обитали со времен Средневековья. В Эмске, наоборот, люди покинули свои дома в городе и перебрались в полуразрушенный замок, принадлежавший какому-то князю. Замок окружили колючей проволокой и поставили охрану. Поначалу даже не вполне было понятно: кто кого и от кого охраняет. Полицейские были местные, белорусские, немцы считали это ниже своего достоинства. А с белорусами отношения были понятно какие – им платили. Им за все платили. За деньги они приносили даже оружие.

– Твоя мать, – сказала Эстер, – была не из местных. Довольно красива, но очень резкая. С ней был маленький сын. Вспомнила ее фамилию – Ковач. Да?

Меня просто передернуло: я ненавижу эту фамилию. Я точно знаю, что у матери была другая фамилия, это какая-то партийная кличка или фамилия, написанная на одном из фальшивых документов, по которым она полжизни прожила. Да я и замуж вышла отчасти из-за того, что мне хотелось сбросить с себя эту кличку. Все были тогда в шоке: еврейка из Польши выходит за немца! Правда, Эрих тоже был коммунист, гэдээровский, – иначе его бы не пустили учиться в Россию. Мы и познакомились-то в России.

Я смотрела на Эстер, как ребенок на конфету: вот такую женщину, мягкую и тихую, элегантную по-европейски – шелковая блузка, туфли итальянские, но вместе с тем ничего напоказ, никакого американского простодушного шика – хорошо бы ее в матери, в тетушки, в бабушки. И обращается она ко мне «деточка»...

Без всякого с моей стороны нажима она мне рассказала следующее.

В гетто была сильная внутренняя организация, своя администрация и, кроме того, свой особый авторитет – знаменитый раввин Ширман, очень ученый и, как говорили, настоящий праведник. Сама Эстер и ее муж были польские евреи, оба врачи, переехали в тамошние края за несколько лет до войны. Исаак Гантман, ее муж, был хирург, а она зубной врач. То есть не вполне настоящий врач, но с хорошим специальным образованием – окончила стоматологическую школу во Франкфурте. Вольнодумцами они не были, так, нормальные евреи, могли зажечь субботние свечи, но могли и поехать в субботу в соседний город на концерт. Местные евреи считали их чужаками, но лечиться к ним ходили. Когда Германия аннексировала Польшу, Исаак сразу объявил жене, что всему конец, надо оттуда выбираться – куда угодно. Думал даже о Палестине. Но пока они размышляли и прикидывали, оказались под немцами, в гетто...

Мы сидели в салоне очень хорошей квартиры, обставленной по-европейски – старомодно и, на мой глаз, с большим вкусом. Культурный уровень хозяев был явно выше моего – я это всегда чувствую, потому что довольно редко встречаю. Богатый дом. Гравюры, а не постеры. Мебель не гарнитурная, а явно собранная поштучно, и на каком-то низком шкафчике – большое мексиканское чудо из керамики – древо мира или что-то в этом роде.

Сидела Эстер в глубоком кресле, подобрала под себя ноги, по-девичьи, сбросив обувь – синие туфли из змеиной кожи. Я все эти детали всегда про себя отмечаю. Не зря моя мать считает меня мещанкой. Приют, детский дом – помню промерзшей спиной. А матери моей ужасающая нищета казалась нормальной жизнью. Может, она и в сталинских лагерях неплохо себя чувствовала. Но я, когда из сиротской бедности выбралась, каждую чашку, полотенце, чулок готова была целовать. Эрих в первый же год нашей жизни в Берлине, в Пренцлауберге, взял дополнительную работу – чтобы я могла покупать вещи: одежду, посуду, всё-всё-всё... Он знал, что я так лечусь от прошлого... Постепенно эта страсть стала проходить. Но все равно даже здесь, в Америке, мое любимое развлечение – гараж-сейл, распродажи, барахолка... Гриша, теперешний мой муж, смотрит снисходительно: он сам из России, вырос среди голодных до всего людей. И сын мой Алекс, родившийся уже в Америке, тоже обожает покупать. Так что мы настоящие «консюмеристы». Кажется, Эстер все это понимает.

– Условия в гетто казались нам ужасными – просто мы еще не видели худшего. Тогда мы не знали о концлагерях, о масштабе этого великого смертоубийства, которое шло по всей Европе, – она улыбалась, говоря обо всем этом, и что-то было особое в выражении ее лица: отдаление, печаль и еще нечто неуловимое – мудрость, наверное. Да, мы говорили по-польски, а для меня это наслаждение.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Сколько же вы прожили в гетто? – спросила я.

– Меньше года. С осени сорок первого. А вышли мы оттуда одиннадцатого августа сорок второго. А потом еще два года в Черной Пуще, в партизанском отряде. Прожили в землянках до самого освобождения. Семейный партизанский лагерь. Из трехсот к концу осталось в живых сто двадцать. Детей с нами было шесть человек. Еще двое детей родились в лесу. Ты и еще один мальчик, но тот умер.

– Почему моя мать ушла из Черной Пущи? – Я задала вопрос, ответ на который знала со слов матери, но знала я также, что мать всегда врет. Нет, не врет. Просто я не могу поверить в то, что она говорит. Потому мне было важно знать, что скажет Эстер. Она же нормальная.

– Мы ее отговаривали. Я хорошо помню, как Исаак возмущался, что она рискует жизнью детей, покидая наше убежище. Она даже не отвечала. Вообще единственный человек, с которым она общалась в гетто, был Наум Баух, электромонтер.

Так я узнала фамилию моего отца. Мать никогда ее не называла. Значит, если бы она была нормальной женщиной, я была бы Эва Баух. Интересно.

– Расскажите, пожалуйста, про него, – попросила я Эстер.

– Я мало его знала. Кажется, он был недоучившийся инженер.

Она сидела неподвижно, спина прямая, просто аристократка. И никакой еврейской жестикуляции.

– Исаак говорил мне, что приглашал этого Бауха однажды в больницу, еще до войны, – починить какой-то прибор. В гетто он был в привилегированном положении. Как и Исаак, впрочем. Некоторые евреи имели работу в городе, у них были разрешения. Исаак вел прием в больнице. И Баух работал в городе.

В гетто твоя мать и Наум жили вместе. В какой-то каморке в левом крыле. Замок был полуразрушенный, мы стали его восстанавливать, когда нас туда загнали. В первое время даже покупали какие-то стройматериалы. Юденрат руководил. Все кончилось ужасно. Дело в том, что юденрат постоянно платил деньги белорусской полиции. Там был какой-то подлец, не помню его фамилии, местный начальник, он обещал, что акции – понимаешь, да? – не коснутся обитателей гетто, пока мы будем ему платить. В это время всех местных евреев, кто жил по деревням, стали уничтожать. Мы знали об этом. Юденрат до времени откупался. А тот негодяй, даже если б и хотел что-то сделать, все равно не смог бы. Просто тянул деньги. К тому времени денег ни у кого уже не было. Женщины отдавали обручальные кольца, последние украшения. Свое обручальное кольцо я тоже отдала. Подробности я не знаю, да они теперь и значения не имеют. Кое-кому казалось, что жизнь можно выкупить. Поэтому, когда был предложен побег, устроили нечто вроде общего собрания, и вышел раскол: половина была за побег, половина против. Те, кто был против, считали, что после побега на оставшихся обрушатся ужасные гонения... ты понимаешь, речь шла уже не о гонениях... А среди организаторов побега были отчаянные, настоящие бойцы, им хотелось воевать... Им помогали из города. Была связь с партизанами. Мы тогда не знали. На самом деле все организовал один еврей, молодой парнишка, Дитер его звали. Он работал в гестапо переводчиком. Как-то ему удавалось скрывать, что он еврей. Его потом схватили, но он тоже сумел сбежать. Однажды, уже под конец войны, он пришел в наш лагерь в Черную Пущу. Он воевал в русском партизанском отряде, и к нам его прислали с коровой. Партизаны то ли купили, то ли отбили корову, и они попросили одного из наших ребят, мясника, сделать им колбасу. Дитер пригнал эту корову, наши его узнали, обрадовались, кто-то притащил самогон. Он сел на пенек и начал говорить о Христе. Наши только переглядывались: ничего не могло быть глупее в этот момент, чем говорить о Христе. Я думаю, он помешался немного. Представь себе, он к этому времени крестился, какие-то иконки всем показывал. Трудно было поверить, что именно он организовал побег. В начале сорок пятого, после освобождения, мы ехали с ним первым поездом в Польшу. Кто-то мне потом говорил, что он стал после войны ксендзом...

Но тогда, в гетто, в ночь перед побегом конфликт был такой острый, что даже драка возникла. Раввин Ширман, глубокий старик, сильно за восемьдесят, всех утихомирил. У него был рак простаты, его Исаак оперировал уже в замке. Ну, какая

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru там операция, катетер ему поставил... Раввин влез на стул, и все замолчали, и он сказал, что он останется здесь, никуда не пойдёт. У кого нет сил уходить, пусть остаются. А кто имеет силы для побега, пусть уходит. Исаак сказал – мы уйдём, и мы ушли. Твоя мать с сыном ушла, а Наум остался. Никто не знал, что она беременна. Знал только Исаак, потому что она незадолго приходила к нему, просила сделать аборт, а он отказал: срок был уже большой.

Эстер покачала аккуратной головкой:

– Видишь, он был прав: такая хорошая девочка родилась. И выжила...

Вид у Эстер был такой измученный, да и время позднее. Я ушла. Договорились встретиться. У меня странное чувство – я всегда очень хотела знать обо всех тогдашних обстоятельствах, о моем отце. А теперь я вдруг испугалась: я одинаково сильно хочу знать – и НЕ знать. Потому что столько лет я волоку на себе свое прошлое, и только последние годы, с Гришей, оно от меня оторвалось, и маленькая девочка Эва из польского приюта в Загорске, и подросток из советского детского дома как будто уже не я, а кадры из давно виденного кино. И тут открывается возможность узнать, как все произошло на самом деле. Я все-таки не могу себе представить, что может заставить молодую женщину, мать двух детей, сдать их в приют... Мне все кажется, что есть там что-то, чего я не знаю.

2

Январь, 1986 г., Бостон.

Эстер Гантман

Казалось, в моем возрасте новые люди уже не появляются. Во-первых, все сердечные вакансии растрчены на умерших. Во-вторых, здесь, в Америке, много доброкачественных людей, но их жизненный опыт – весьма ограниченный – делает их существами плоскими и несколько картонными. Кроме того, у меня есть еще и подозрение, что возраст сам по себе образует некую скорлупу, и собственные эмоциональные реакции слабеют. Смерть Исаака обнаружила также, до какой степени я от него зависела. Завишу. Я не страдаю от одиночества, но замечаю, что оно меня окутывает, как туман. Среди этих довольно печальных ощущений появилась неожиданно Эва. В ее появлении я ощутила нечто судьбоносное. Вот молодая женщина, которая могла бы быть моей дочерью. Хорошо было бы поговорить об этом с Исааком. Он умел всегда сказать что-то острое и даже для меня неожиданное – при полном нашем единомыслии. Что бы он сказал об этой девочке? Удивителен сам по себе факт нашей встречи. Еще более удивительно, что речь зашла о Черной Пуще. Мать ее, эта Ковач, была совершенное чудовище. Исаак считал, что она советская шпионка. Он всегда говорил, что евреи – одержимый народ: рьяных евреев, особенно хасидов с их шелковыми шляпами, нелепыми кафтанами, латаными и перештопанными чулками и еврейских комиссаров, пламенных коммунистов и чекистов относил к одному психическому типу.

Эва уже во вторую нашу встречу высказала нечто сходное о своей матери, хотя иным образом. Удивительно, что при этом никакой интеллектуальной утонченности, даже пристойного образования у нее нет. По-видимому, очень сильная натура, органически честная: ей хочется сказать правду себе самой и о себе самой. Она расспрашивает меня с жадностью, однажды засиделась до двух часов ночи, и, как потом выяснилось, муж заподозрил ее в измене или что-то в этом роде. Она третий раз замужем, последний муж – эмигрант из России, лет на десять ее моложе. Она говорит, что успешный математик.

В наших беседах мы все время оказываемся в той области, которая была так важна и существенна для Исаака. Он всегда иронизировал по тому поводу, что ни один талмудист на свете не размышлял столько о Господе Боге, сколько он, неверующий материалист.

По возрасту она могла бы быть нашей дочерью. И ведь мы были тогда в лесу, но родилась она не от нас, а от других родителей. Исаак говорил, что в XX веке бездетность стала для евреев таким же даром небес, как многочадие в исторические времена... Он никогда не хотел детей. Может, потому, что они не получались у нас? В молодости я пролила немало слез из-за никчемности нашего брака, а он утешал меня: природа сделала нас избранниками, мы свободны от рабства деторождения. Он как будто предвидел, какое будущее ожидает нас.

Когда мы вышли из гетто и оказались в Черной Пуще, он сказал мне: ты бы хотела, Эстер, чтобы у нас было сейчас трое детей? И я честно ответила – нет. Мы покинули Европу после Нюрнбергского процесса – Исаак был в группе экспертов как врач, узник гетто и партизан. После участия в процессе мы получили возможность уехать в Палестину, за год до создания Израиля.

Эва задает столько вопросов, что я решила прочесть записи Исаака, которые он вел в те годы. Собственно, он писал книгу, но урывками, откладывал на потом. Умер в семьдесят девять лет, во сне. Старость еще не наступила, он был крепок и энергичен и на пенсию выйти не успел. Книга так и осталась недописанной.

Эва спрашивает меня о своем отце, Баухе: «Может быть, в бумагах вашего мужа есть что-нибудь о моем отце? Вдруг у меня есть братья или сестры? Вы поймите, Эстер, я же приютский ребенок, я всю жизнь мечтала о семье!»

Бумаги Исаака в идеальном порядке, записи разобраны по годам. Мне немного страшно их раскрывать. Эва сказала, что готова мне помогать в разборке бумаг – послевоенные записи он вел по-польски, а с конца пятидесятых перешел на английский. Я отказалась – невозможно его записи отдать в чужие руки. Кстати, все события, относящиеся к сороковым годам, описаны были спустя много лет. Даже не в Израиле, а уже в Америке, то есть после 1956 года, когда его сюда пригласили на работу.

Еще одна вещь в рассказах Эвы меня поразила: в три месяца она вместе с братом попала в приют. Мать их тем временем участвовала в организации Гвардии Людовой, воевала, потом сидела в сталинских лагерях и освободилась в пятьдесят четвертом, когда Эве было одиннадцать-двенадцать. Брат ее Витек не дожил до возвращения матери. В то время Эва уже была маленькой католичкой.

Эва очень красива. По внешности она скорее принадлежит к типу сефардов: тяжелые черные волосы, лицо сухое, без излишеств, глаза очень восточные, но без всякой поволоки, а с огнем. Как у Исаака.

3  
1959–1983 гг., Бостон.

Из записей Исаака Гантмана

Всю жизнь меня занимает тема личной свободы. Она всегда представлялась мне высшим благом. Возможно, что за долгую жизнь мне удалось сделать несколько шагов в направлении свободы, но с чем мне определенно не удалось справиться, от чего я не смог освободиться, – это национальность. Я не смог перестать быть евреем. Еврейство навязчиво и авторитарно, проклятый горб и прекрасный дар, оно диктует логику и образ мыслей, сковывает и пеленает. Оно неотменимо, как пол. Еврейство ограничивает свободу. Я всегда хотел выйти за его пределы – выходил, шел куда угодно, по другим дорогам, десять, двадцать, тридцать лет, но обнаруживал в какой-то момент, что никуда не пришел.

Еврейство, вне всякого сомнения, шире, чем иудаизм. Двадцатый век знает целую плеяду еврейских ученых-атеистов, но в газовые камеры их вели вместе с их религиозными собратьями. Следовательно, для внешнего мира кровь оказалась более авторитетным аргументом. Как бы ни определяли себя сами евреи, в сущности, их определяют извне: еврей – тот, кого неевреи считают евреем. Поэтому крещеным евреям не давали скидки с общей цены: уничтожению подвергались и они. Мое участие в Нюрнбергском процессе было тяжелее, чем пребывание в гетто и в партизанах. Отсмотренные пленки, снятые немцами в концлагерях и союзниками после освобождения, подорвали мое европейское сознание: мне уже не хотелось оставаться среднеевропейцем, и мы уехали в Палестину. Мы уехали туда, чтобы быть евреями. Но для этого мне не хватило еврейской одержимости.

Война 48-го года не оставляла времени для размышлений, но когда она закончилась – временно! – я почувствовал, что пулевые и осколочные ранения, ампутации и послеожоговая пластика доводят меня до депрессии. Где резекция желудка, удаление камней из желчных протоков, банальная аппендэктомия и непроходимость кишечника, мирные болезни мирных времен? Я занялся кардиохирургией.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Палестину трясло, сионистское государство превращалось в религиозный символ, евреи – в израильтян, арабы – в каком-то смысле – в евреев. Меня мутило от национальной идеи – в любом ее прочтении.

Что главное в еврейском самосознании? Целеустремленный, сам на себя направленный интеллектуализм. Агностик и атеист, попав в Израиль уже взрослым человеком, я сделал то, от чего бежал в ранней юности, когда отверг семейные традиции. Тогда этот отказ привел к разрыву с семьей. Отец не простил мне. Он проклял меня и мою медицину. Потом вся семья погибла в газовых печах.

Отец был бы очень доволен, узнав, что в зрелом возрасте я пожелал изучать тот предмет, который в течение двух тысячелетий изучали еврейские мальчики с пяти лет, – Тору. То, что в детстве вызывало скуку и отторжение, оказалось чрезвычайно интересным.

Почти сразу после приезда в Палестину я стал ходить в Иерусалимский университет на семинары профессора Нойгауза по еврейской истории. Это были очень увлекательные занятия. Нойгауз, блестящий ученый, рассматривал еврейскую историю не как фрагмент мировой истории, а как модель всего мирового исторического процесса. Несмотря на чуждость для меня этого подхода, сами по себе занятия были очень содержательны.

Я обнаружил, что учителю не меньше, чем суть учения, важна интеллектуальная подвижность учеников, умение ставить, выворачивать наизнанку или даже аннулировать сам вопрос. Тогда я понял, что ядро еврейского самосознания – полировка мозгов как содержание жизни, постоянная работа по развитию мышления. Именно она и дала в итоге марксов, фрейдера и эйнштейна. В отрыве от религиозной подпочвы мозги эти заработали еще интенсивнее и качественнее.

Действительно, мы можем рассматривать современную (имею в виду христианскую) историю как логическое (Нойгауз полагает, что метафизическое) продолжение идей иудаизма в европейском мире. Чрезвычайно интересно, как в этой точке встречаются идеи христианских и еврейских мудрецов. Кстати сказать, остро заточенные мозги хирургу нужны ничуть не меньше, чем искусные руки.

Именно тогда, отчасти вследствие этих двухлетних занятий, я сделал важнейший профессиональный шаг – ушел в область торакальной хирургии, которая интересовала меня еще с довоенных времен. Сердце, кстати говоря, привлекало меня не только как объект медицинский... скорее в этом «чудесном орудии, созданном верховным художником», по выражению Леонардо да Винчи, мне виделась некая тайна. Тайна абсолютно непроницаемая, как происхождение мира и жизни... Действительно, трудно представить себе, каким образом этот небольшой размеров орган, сформированный хотя и из относительно упругой, мышечной, но все же нежной и легкой плоти, справляется со столь непростой задачей, перекачивая в течение многих лет миллионы литров крови, сообщая ей энергию, необходимую для поддержания жизни во всех мельчайших клеточках человеческого тела. В этом парадоксе и заключалась для меня та самая метафизическая сущность сердечной деятельности, о которой я говорю. Она означала, что сердце – это не насос, или не просто насос, подобный механической помпе, что его функция основана на неких высших, не чисто механических законах. Смутная моя догадка подтверждалась и тем обстоятельством, что я отчетливо видел в соотношениях сердечных структур и в закономерностях работы сердца золотую пропорцию. Кардиохирургия, таким образом, являлась для меня в значительной степени попыткой понять, объяснить эту тайну. Наблюдения за больным сердцем давали бесценный материал для понимания того, как нарушение этих божественных пропорций ведет к несостоятельности сердечной деятельности и, в конечном счете, к смерти. Я пришел к выводу, что прямое хирургическое вмешательство в структуру и функцию сердца должно быть направлено на восстановление этой пропорции, на воссоздание некой «божественной кривизны», которая так характерна для здоровых сердечных структур и которая видна во всех без исключения творениях природы – завитках морских раковин и древних окаменелых моллюсков, в спиральной конструкции галактик. Ее можно видеть в работах архитекторов и художников – в кривизне старинных итальянских площадей, в композиции знаменитых картин. Впрочем, как сказал все тот же Леонардо, «чем больше ты будешь говорить о нем (сердце), тем больше будешь смущать ум слушателя».

Дела наши в Израиле сразу пошли очень хорошо. Я стал заведующим отделением кардиохирургии в прекрасной клинике. Эстер открыла частную стоматологическую

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru практику. Дела шли хорошо. Мы купили дом в чудесной арабской деревне Эйн Карем, покинутой ее обитателями в 48-м году. Вид на Иудейские горы, который открывался оттуда, – великое счастье для глаз.

Однажды в отделение привезли молодого араба с ножевым ранением в область сердца. Его удалось спасти. Врач любит своих безнадежных, с того света вытасканных больных не меньше, чем они его. Мы подружались с пареньком. Оказалось, что его семья бежала из Эйн Карема, оставив дом и старый сад сразу же после начала Войны за независимость. Я не сказал ему, что живу в Эйн Кареме. Не смог. Да и зачем?

Мы с Эстер поднялись в какой-то день в монастырь Сестер Сиона в Эйн Кареме. Иудейские горы лежали перед нами, как стада спящих верблюдов.

Тогда еще была жива девяностолетняя настоятельница, помнившая основателя этого монастыря, Пьера Ратисбона, крещеного еврея из Франции. Она подошла к нам, пригласила с ней поужинать. Скромный ужин, приготовленный из овощей с монастырского огорода. Спросила, в каком доме мы живем. Сказала, что помнит его старых хозяев. И многих других. Правда, молодого человека, который попал ко мне на операционный стол, она не помнила, но хорошо знала его деда – он помогал с закладкой монастырского огорода.. К этому времени мы уже перестроили старый дом, и это был наш с Эстер первый в жизни дом, и мы его очень любили. Мы вернулись в тот вечер домой, и Эстер заплакала. А жена моя не слезлива.

В юности я хотел быть не евреем, а европейцем, впоследствии, наоборот, – не европейцем, а евреем. В тот момент я захотел быть никем. И вот, после десяти лет в Израиле, когда подвернулось американское предложение, я сделал еще одну попытку расстаться если не с самим еврейством, то с еврейской почвой – переехал в Бостон. Тогда, в 1956 году, начинались операции на «сухом» сердце, это меня страшно интересовало, и у меня были кое-какие идеи.

Америка мне очень понравилась количеством свободы на квадратный метр. Но и здесь, в старом доме, построенном на английский манер, в самой свободной стране мы живем на земле, принадлежавшей когда-то вампаноагам или пекотам.

Впрочем, давно уже нет на земле места, где еврей может чувствовать себя дома в полном смысле этого слова.

Прошло много лет, и я понял, что так же далек от личной свободы, как в молодости. Теперь, как одержимый, я занимался не только повседневной хирургической практикой, но и экспериментами, постоянно нарушая одну из семи заповедей Ноя, адресованных не только к евреям, но и ко всему человечеству: не проявлять жестокости по отношению к животным. Бедные мои приматы... Они не виноваты, что их кровеносная система так похожа на человеческую.

Может быть, эта самая способность «принадлежать идее» и есть определяющая черта еврейства?

Повышенная интенсивность. Я вспомнил удивительного юношу Дитера Штайна, организовавшего побег из Эмского гетто. Сначала он из идейных соображений пошел работать в гестапо – спасти людей из адских лап. Потом крестился – чтобы опять-таки спасти людей из адских лап. Последний раз я встретился с ним в разбитом поезде, который вез нас в Краков. Мы стояли ночью в тамбуре, и он говорил мне, что едет туда, чтобы поступать в монастырь.

Я не удержался и переспросил:

– Спасать людей?

На вид ему было лет семнадцать – тощий, малорослый еврейский подросток, – и как это немцы могли спутать его с поляком? Улыбка детская.

– Почти так, пан доктор. Вы меня спасли для того, чтобы я мог послужить Господу.

И тогда я вспомнил, что в свое время я поручился за него перед русскими партизанами. Память вытаскивает все, с чем ей трудно справиться. А иначе как бы я мог жить, если бы помнил все те материалы, которые пришлось просмотреть во время Нюрнбергского процесса.



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
4  
Январь, 1946 г., Вроцлав.

Эфраим Цвик – Авиغدору Штайну

Авигдор!

Знаешь ли ты, что я разыскал Дитера еще в августе 45-го года? Он жив! Но он сидит в монастыре! Когда я узнал, что Дитер ушел в монастырь, я ушам своим не поверил. Мы же были вместе в «Акиве», были сионисты, готовились к переселению в Израиль – и на тебе! Монастырь! Нас не много осталось после войны в живых, ему повезло! Для того, чтобы уйти в монастырь? Как прошел слух, что он сидит в Кракове, я туда поехал. Я был уверен – и сейчас не вполне разуверился, – что его туда заманили какой-то хитростью. Скажу честно, я взял с собой на всякий случай оружие – у меня хороший трофейный вальтер.

От Кракова еще километров двадцать, я нашел этот кармелитский монастырь.

Меня туда не пускают – сидит привратник, старый дед, и ни в какую. Я пригрозил ему пистолетом, он впустил, я напрямик к настоятелю – там еще один пень сидит, вроде как приемная. Я опять вынимаю пистолет. Словом, выходит настоятель – старый, седой, здоровенный мужик. Заходите, пан, – приглашает меня в кабинет.

Я сажусь и кладу пистолет на стол: отдавайте, говорю, моего друга Дитера Штайна. Тот говорит: пожалуйста. Только уберите ваше оружие и подождите десять минут.

Действительно, через десять минут приходит Дитер. Никаких этих ряс на нем нет, просто рабочий халат, руки грязные. Мы обнялись, расцеловались.

Я, говорю, приехал тебя забрать. Поехали со мной. Он улыбается: нет, Эфраим, я решил здесь остаться.

– Ты с ума сошел, что ли? – я спрашиваю.

Вижу, настоятель сидит за своим огромным столом и улыбается. Меня такое зло взяло – вроде он надо мной смеется! С чего он так уверен, что я не заберу Дитера?

– Улыбаетесь? – закричал я. – Заманили себе хорошего парня и улыбаетесь? Вы обманывать мастера! Зачем он вам нужен, евреев вам не хватало?

А тот говорит: мы никого не держим, молодой человек. У нас нет насилия. Это вы пришли с пистолетом. Если ваш друг захочет с вами идти, пусть идет.

А Дитер стоит и улыбается как дурак. Ну, ей-богу, как дурачок. Я и на него прикрикнул: иди, собирай свои монетки и пошли!

Он головой качает. И тут я понял, что они его чем-то опоили или околдовали.

– Пошли! – я ему говорю. – Тут тебя никто не держит! Здесь не место для еврея!

Авигдор, и тут я вижу, что они между собой переглядываются – настоятель с Дитером. Вроде это я сумасшедший. В общем, что я могу тебе сказать – я прожил там три дня. Дитер, конечно, сумасшедший, но не в том смысле, как мы это обычно понимаем. У него что-то сместилось в голове. По поведению он совершенно нормальный – травы не ест, но в голове у него – чистое безумие, именно на божественной почве. Такой был нормальный парень, и товарищ, и умница, и вообще ничего про него нельзя сказать плохого, всегда всем готов помочь, и своим, и чужим, и главное – выжил! И на тебе!

Через три дня мы расстались. Дитер сказал мне, что решил остаток жизни посвятить служению Господу. Но почему же ИХ Господу? У нас что, своего Бога нет? Так я и не смог его убедить, что служить Господу можно где угодно, не обязательно в католическом монастыре. Нам двадцать три года – мы одногодки. Можно стать врачом, учителем, да мало ли каким образом можно служить?

В общем, Авигдор, жалко парня. Приезжай, может, он тебя послушает? Привези ему

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) там фотографии из Палестины, не знаю что, может, уговоришь его? В конце концов, если он так любит еврейский народ, зачем он его покидает ради чужих?

Я пока осел во Вроцлаве, не знаю, как дальше дело пойдет, но я оставил мысль о переезде в Палестину. Я хочу строить новую Польшу. Такая разруха и бедность, и с этим надо бороться и поднимать страну.

Привет тебе и твоей жене.

Твой Эфраим Цвик.

5

1959 г., Неаполь. Порт Мерджеллина.

От Даниэля Штайна – Владиславу Клеху

...никакого посоха, одна сума. Восемь дней я прожил в монастырском общежитии. В четыре со всеми вставал на молитву, потом с братией в трапезную. После завтрака экономом давал мне задания, я их исполнял по разумению. Жил так неделю, все ждали епископа, и я ждал: мне были обещаны деньги на дорогу в Хайфу. Денег у меня совсем не было. Однажды утром экономом говорит мне: ты съезди на экскурсию в Помпеи. Я сел на автобусной станции в рейсовый автобус и поехал. Дорога для глаз почти невыносимая по красоте: Неаполитанский залив, Капри – все сверкает. Бедная наша Польша – ни теплого моря, ни солнца ей не досталось. Здесь роскошь растительная и рыбная. На рыбном рынке тоже испытываешь такую радость и восхищение от красоты рыб и всякой морской твари. Правда, и страшные тоже есть, но больше диковинные.

В Помпеях ожидала меня сначала неудача – в раскопанный город не пускают, музей закрыт, у служащих забастовка. Ну, думаю, чудесная страна Италия. Посмотрел бы я, как устроили забастовку в Краковском Вавеле! Таким образом, в античный город я не попал. Однако хожу, смотрю на окрестности разрушенного города, на Везувий – гора таких нежных очертаний, никакого не вызывает страха, и нельзя его заподозрить в том коварстве, которое он две тысячи лет тому назад проявил. Денег у меня – на обратный билет и на пиццу бьянку, то есть на кусок хлеба. Иду по современному городу и вижу храм. Новой постройки, ничего особенного, архитектурного. Жара к полудню сильнейшая, думаю, зайду внутрь, в прохладе отдохну. Церковь Санта-Мария дель Розарио.

Ах, Владек, и начинается история, как будто специально для меня придуманная, – в церкви я вижу коллекцию «эксвото». Это засвидетельствованная благодарность тех, над кем свершилось чудо по молитве, обращенной к Божьей Матери. Обычно, как мы знаем, это серебряные изображения ручек, ножек, ушей – тех органов, которые были исцелены. Здесь никаких ручек-ножек нет, а висят картинки детей и их родителей, на которых эти чудеса изображены руками неумелыми и благодарными. Нарисован пожар, из которого вытаскивают ребенка, – нарисован ребенком, и его отцом, и пожарником. Три картинки. Какой-то солдат Первой мировой войны, давший обет, если вернется живым, жениться на сироте, – и вся история нарисована: вот солдат на войне среди пламени молится, вот он пришел домой, и настоятельница монастыря выводит ему девушку. Потом эта девушка заболевает и собирается умереть, и бывший солдат молит Божью Матерь об ее исцелении, и вот они втроем нарисованы их пятилетним сыном... Какой-то шофер, спасшийся на горном перевале во время аварии, принес в дар Божьей Матери свои водительские права, а кто-то дарит военные награды. Столько милости и столько благодарности!

Но это не все – вышла монахиня, рассказала, что это прославленное место существует благодаря стараниям одного стряпчего по имени Бартоло Лонго. Он был из бедных, но получил образование и вел дела одной богатой неаполитанской вдовы. У Бартоло было видение – Божья Матерь велела ему построить здесь церковь. Он сказал ей, что он беден, и тогда Дева спросила у него, есть ли у него одна лира. Одна лира у него была. И тогда она сказала, что это будет церковь бедных, он должен собирать на эту церковь по одной лире. С бедных, с богатых, все равно – по одной лире. Он начал собирать, но все не хватало, и тогда вдова, на которую он работал, доложила недостающие деньги. Вскоре они поженились и основали здесь дом для сирот – откуда и получил свою невесту благодарный солдат. А потом они еще открыли богадельню. И большие благодатные силы явились здесь – многие исцелялись от болезней, получали разные милости. Сейчас Бартоло Лонго объявлен

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru «слугой Господа». Это первая ступень прославления.

Когда я вышел из церкви, в небе громыхнуло, и началась сильнейшая гроза. Громыхание и сверкание были такими мощными, и все это шло со стороны Везувия, так что пришла мне в голову мысль, что это Везувий напоминает о себе, древнем...

Вернулся я в Неаполь, а наутро приехал епископ и дал мне денег на дорогу. Я пошел в порт и купил билет на корабль. Он отплывет в Хайфу через три часа. Вот я сижу и пишу тебе письмо – помнишь, ты меня удерживал, считал, что надо там сидеть, куда тебя поставили. Может, ты и прав, но у меня уверенность, что мое место именно в Израиле, и доказательство тому – с первой минуты путешествия мне все благоприятствует. Всегда есть ощущение, идешь ты поперек промысла или по призыву. Бог с тобой, Владек. Отцу Казимежу поклон. Приеду, напишу.

Даниэль.

6  
1959 г., Неаполь.

Авигдору Штайну от Даниэля Штайна

Телеграмма

ВСТРЕЧАЙ 12 ИЮЛЯ В ХАЙФСКОМ ПОРТУ ТЧК ДАНИЭЛЬ

7  
Туристический проспект «Посетите Хайфу»

Город Хайфа широко раскинулся по склонам знаменитой библейской горы Кармель и у ее подножия. Хайфа, в сравнении с другими поселениями страны, молодой город, она основана в римскую эпоху. В XI веке, в эпоху крестоносцев, Хайфа пережила недолгий расцвет, а в конце XIX века представляла собой небольшую арабскую деревушку. В свое время Хайфа была центром нелегальной иммиграции, большинство еврейских репатриантов начала XX века прибывало в Палестину через ее морской порт.

Украшение хайфского пейзажа – гора Кармель. Это горный массив длиной в 25 километров. Высшая точка Кармельской гряды достигает 546 метров. Местные почвы очень плодородны, в древности склоны были покрыты виноградниками и садами.

В глубокой древности местное языческое население считало Кармель обителью Ваала, и на вершине обнаружены следы языческого культа. Здесь же финикийцы поклонялись местному божеству Хададу. Римский император Веспасиан приносил на этой горе жертву Юпитеру, здесь находился алтарь и храм Зевса Кармельского.

Кармель почитается верующими трех монотеистических религий. Эта гора считается местом жизни Ильи-пророка. Показывают несколько пещер, в которых скрывался пророк. Отсюда же, по преданию, он вознесся на небо.

Кармель – место древних монастырей. Считают, что первые монастыри основали здесь еще в дохристианские времена предшественники христианских отшельников – еврейские назореи.

С торжеством христианства здесь возникла целая сеть монастырей. Крестоносцы обнаружили здесь византийские монастыри в 1150 году, и они существовали задолго до этого времени.

Сейчас самым крупным и известным монастырем является католический монастырь Ордена босых кармелитов. Монастырь этого Ордена существует на горе с XIII века. Его много раз разрушали и восстанавливали. В настоящем виде монастырь существует с начала XIX века. Он стоит на юго-западной стороне горы на высоте 230 метров.

Недалеко от монастыря находится здание с маяком. Над входом – статуя Мадонны. Это сооружение называется «Стелла Марис» – путеводная звезда моряков.

Спускаясь с горы вниз от станции метро «Ган а-Эм», мы попадаем к одной из

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya1udmila.ru](http://ulitskaya1udmila.ru) главных достопримечательностей Хайфы – Бахайскому храму, находящемуся на территории так называемых Персидских Садов. Этот храм является мировым центром бахайской религии. Основатель и пророк бахаизма Эль-Бах (Сайид Али-Мухаммад Ширази) был признан вероотступником и казнен властями Ирана в 1850 году. Останки пророка покоятся в храме Бахай. Число последователей бахаизма в настоящее время в мире – несколько сот тысяч человек.

Бахаисты считают, что их религия впитала в себя все лучшее из иудаизма, ислама и христианства. Суть учения выражается словами «Земля есть одна страна, и все люди – граждане этой страны». Представляют интерес некоторые из основных заповедей бахаизма: единый Бог, единая религия, единство человечества, неуклонное правдоискательство, гармония между наукой и религией, отказ от предрассудков, догм и суеверий.

Хайфа – второй по промышленному значению после Тель-Авива город Израиля.

Хайфский порт – главный порт страны. Постройка порта началась в 1929 году, закончилась в 1933-м. Имеется крупный судостроительный завод. Кроме того, с расширением сети железных дорог во времена британского мандата Хайфа превратилась в узловой центр железнодорожных путей Палестины.

В Хайфе функционирует единственная в стране линия метрополитена, открытая в 1959 году. На линии всего шесть станций – от подножия горы Кармель до конечной станции «Ган а-Эм» – «Сад Матери», уже на самом массиве Центрального Кармеля. Рядом со станцией метро – прекрасный парк, в котором находится местный зоопарк и музей Истории Древнего мира.

В городе имеется самый старый в стране политехнический институт, называемый Технион, основанный в 1912 году.

Город располагает историческими и художественными музеями. Городской музей Хайфы имеет три отдела – древнего искусства, этнографии и современного искусства. Можно также посетить Музей музыки, Музей нелегальной иммиграции и Морской музей.

На мысе Кармель располагаются археологические раскопки «Тель-Шикмона» (Холм сикомор). На месте раскопок обнаружены остатки зданий и сооружений со времен царя Соломона до периода селевкидов (II век до нашей эры).

Туда можно добраться и городскими автобусами № 43, 44 и 47.

Для осмотра города можно заказать туристическую экскурсию с опытными гидами, владеющими многими языками.

8  
1996 г., Галилея, мошав Ноф А-Галиль.

Из разговора Эвы Манукян и Авиغدора Штайна.

(Аудиозапись, расшифрованная Эвой после ее визита в семью Авиغدора и Милки Штайн)

Первая кассета  
АВИГДОР. Пожалуйста, включай свой магнитофон! Но я ничего такого особенного не скажу!

ЭВА. У меня память плохая, и я боюсь забыть что-то важное. Когда в Эмске я разговаривала с Даниэлем, я потом приходила в гостиницу и все в тетрадку записывала – чтоб ни одного слова не потерять.

АВИГДОР. Ну, за моим братом, может, и стоило записывать. А за мной-то что? Между прочим, он, когда приехал из Белоруссии, о тебе рассказывал. Девочка, которую положили в рукав шубы! Так что ты хотела у меня узнать?

ЭВА. Все. Откуда вы родом, из какой семьи, как жили до войны... И почему он был такой...

АВИГДОР. И ты ехала из Америки, чтобы спросить меня о нашей семье? Конечно, расскажу. А вот почему он был такой, какой он был, я тебе не скажу. Я сам об

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
этом много думал. Он с детства чем-то отличался от других. Раньше я думал, что он был такой особенный, потому что всегда говорил да. Когда его о чем-нибудь просили, чего-то хотели, он всегда был готов сказать – да. Потом, когда мы встретились заново здесь, я увидел, что иногда он умеет говорить нет. Так что не в этом дело. Честно скажу, я так и не понял. Он в нашей семье такой был один. А семья – самая обыкновенная, жила в Южной Польше, это кусок земли, который переходил из рук в руки и принадлежал Австро-Венгрии, Польше, когда-то входил в Галицкое княжество. Мы с братом родились в захудалой деревне с польско-еврейским населением. Наш отец, Элиас Штайн, был евреем военизированного образца, какие возможны были только в Австро-Венгрии. Хотя он исповедовал иудаизм, ходил в синагогу и общался со своими единоверцами, он ценил светское образование, которого сам не получил, свободно владел немецким языком, и культура в его глазах ассоциировалась именно с культурой немецкой. Он был солдатом, и это ему нравилось. Восемь лет он прослужил в австро-венгерской армии, начал службу солдатом, закончил в младшем офицерском чине, и годы, что провел на военной службе, считал лучшими в своей жизни. Свою последнюю форму – унтер-офицерскую – он хранил в шкафу как реликвию и взял с собой в тот день, второго сентября 39-го года, когда все мы оказались в толпе беженцев, пытавшихся уйти из-под немецкой оккупации. Поженились родители в 1914 году, еще перед Первой мировой войной, во время некоторого перерыва в военной службе отца. Мать была его дальняя родственница. Такие родственные браки по сватовству были приняты в еврейской среде. Мать была девушка образованная – успела поучиться в школе для чиновников. Брак их был поздний. Теперь, когда ушло столько времени, я думаю, что они любили друг друга, но уж очень они были несхожи по характеру. Мать была на два года старше отца, ей было уже тридцать, то есть старая дева – по обычаям того времени и тех мест девиц выдавали замуж обыкновенно не позднее шестнадцати. За матерью было приданое, в наследство от тети ей достался дом с корчмой. Еще до замужества у нее было свое дело. Доход, правда, это дело приносило ничтожный, а работа была тяжелая – мать едва сводила концы с концами, но всю жизнь у нее сохранялась какая-то смешная иллюзия значительности своего состояния: большинство окружающих было еще беднее. Выходя замуж, мать рассчитывала, что муж займется корчмой. Тогда она еще не знала, что выбрала себе в мужа очень непрактичного человека.

Работа в корчме отцу не нравилась, он тянулся к людям образованным, умным, а здесь все общение – пьяные польские крестьяне. Но он недолго торговал водкой – началась Первая мировая война, и он пошел воевать. Мать вернулась к торговле, отец – к пушкам. Сохранилась его фотография тех лет – бравый солдат с усами, в нарядной военной форме. Смотрит гордо. К 1918 году все поменялось: война проиграна, а родная деревня отошла к Польше. Из культурной немецкоязычной Австрии все как будто переехали в бедную и отсталую Польшу. Отец до конца жизни держался немецкой ориентации. С польского он всегда охотно переходил на немецкий. На идише, основном языке польского еврейства, в доме почти не говорили. В 1922 году родился мой старший брат. Он был поздний ребенок, но не последний. Спустя два года родился я. Нас называли традиционными еврейскими именами – Даниэль и Авигдор, но в документах стояли благородные арийские имена – Дитер и Вильфрид. Это имена нашего детства, так нас звали в школе. Брат вернулся к своему древнему имени, когда стал монахом, а я – приехав в Палестину.

Жизнь у семьи была очень трудная. Мать постоянно крутилась по хозяйству и в корчме. Потом отец купил лавку – корчма ему была не по душе. Эта лавочка оказалась первой в ряду его коммерческих неудач. Все начинания проваливались, но первые годы мать, вероятно, еще питала какие-то иллюзии относительно деловых способностей мужа. Потом стало ясно, что единственное, в чем он преуспевал, были долги.

В те годы мы отца обожали и проводили с ним много времени. У него было военно-романтическое прошлое, он постоянно рассказывал о службе в армии. Это была одна из лучших ролей его жизни – солдатская. Воевал он когда-то в австрийской армии, но именно немецкая военная машина представлялась ему верхом совершенства, и он держал перед нами, малышами, восторженные речи о Бисмарке и о Клаузевице. Он так и не увидел сокрушительного краха немецкого милитаризма, поскольку был перемолот этим совершенным механизмом вместе с шестью миллионами своих единоверцев. Кажется, он так и не успел расстаться с последней иллюзией – о превосходстве немецкой культуры в мире. Он читал Гете и обожал Моцарта.

Теперь, когда я сам давно уже перешагнул тот возраст, в котором родители погибли в концлагерях, я гораздо лучше понимаю их трогательные и нервные отношения. Отец принадлежал к тому типу, который Шолом-Алейхем определил как «человек

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru воздуха». Сотни идей роились у него в голове, но ни одно из его начинаний не приносило успеха. Он строил воздушные замки, которые один за другим рушились, и он при этом впадал в истерику, малодушничал.

У матери был твердый характер, и между родителями постоянно возникали конфликты. Отец требовал, чтобы она его выручала, одалживая деньги у более богатых соседей или у ее сестер. Они действительно иногда помогали ему выпутаться из сложных положений. Родители часто ссорились, но при всем при том они были дружной парой, их бурные ссоры сменялись примирениями, и, думаю, мать жалела отца.

Мы так ничего и не узнали о том, как закончили они свою жизнь. В лагере смерти. Это определено.

ЭВА. Когда вы расстались с родителями?

АВИГДОР. Третьего сентября 1939 года. Мы расстались на дороге, забитой толпами беженцев. Все предчувствовали, что это расставание навсегда. Дитеру было семнадцать, а мне пятнадцать. И нам тоже предстояло расставание – почти на двадцать лет.

Старшего брата я обожал: никогда не было у нас ни тени соперничества. Может быть, потому, что он всегда относился ко мне как старший к младшему: играл со мной, заботился, оберегал. Хотя разница в возрасте между нами около двух лет, в школу нас отдали одновременно. Да и что это была за школа – польская, для крестьянских детей. В одном помещении сидели ребята всевозрастные. Уровень образования был более чем скромным, но чтению и письму учили. Религиозного воспитания мы не получали – хедера в то время в деревне уже не было: во всей округе насчитывалось не более двух десятков еврейских семей. Детей было мало. Но еще оставались еврейское кладбище и синагога. Теперь, я знаю, ничего этого нет.

ЭВА. Вы туда ездили?

АВИГДОР. А что мне там делать? Даже могил нет. Детство – оно и есть детство: речка, лес, игры. Жизнь взрослых была очень тяжелая – послевоенный кризис.

ЭВА. А что вы помните из тех лет?

АВИГДОР. Время переселений. Тогда все – и поляки, и евреи – переселялись в города. Деревни пустели. Началась большая еврейская эмиграция: более прагматичные уезжали в Америку, другие, увлеченные сионизмом, в Палестину. Но нашей семьи это почти и не касалось: мать держалась за свою корчму, как будто это был родовой дворец.

У матери были две великие идеи – сохранить свою собственность, корчму, и дать нам образование. К тому же было видно, что у Дитера большие способности. Они очень рано проявились. В детстве мы были очень похожи, совсем как близнецы, но брат отличался от меня большими талантами. Мне никогда не казалось это обидным, тем более что и у меня было свое небольшое дарование – хорошие руки, и мне гораздо лучше удавалась всякая работа – и по дереву, и по железу. Видишь, и здесь, в Израиле, хотя высшего образования не получил, я всегда заведовал всей сельскохозяйственной техникой. И до сих пор, когда что-нибудь ломается, бегут ко мне. Несмотря на то, что я уже пенсионер. Но я здесь все знаю, я в этом мошаве с первого дня.

ЭВА. Мошав – то же самое, что кибуц?

АВИГДОР. Мошав – это объединение собственников земельных участков, а в кибуце – полный социализм, все обобществлено, как было в советских колхозах. Не перебивай, я забыл, на чем остановился... Да, про Дитера... Хотя мы здесь давно уже забыли его немецкое имя – Даниэль и Даниэль... В общем, когда ему исполнилось семь лет, его забрала к себе тетка в соседний городок, чтобы он мог ходить в хорошую еврейскую школу.

Школа эта была исключительной – в Восточной Польше ничего подобного не существовало. Это был последний образец австро-венгерского педагогического учреждения. Во-первых, школа была светского, а не религиозного характера, во-вторых, преподавание велось на немецком языке. Собственно говоря, еврейской она считалась по той причине, что содержалась эта школа евреями и большинство

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru преподавателей были евреями.

В те времена было исключительно важным, на каком языке велось преподавание. Немецкое образование ценилось выше польского, не говоря уже о языках идиш или древнееврейском, на которых преподавали в религиозных школах. Несмотря на свои выдающиеся лингвистические способности, Даниэль плохо знал идиш. Видимо, судьба позаботилась... Дело в том, что в его речи абсолютно не было еврейского акцента. Когда же он говорил на иностранных языках, акцент был явственно польским. Даже на иврите, которым он овладел очень быстро, и прекрасно говорил, и читал такие книги, которые я и в руки взять не могу, даже название не смогу прочесть, он говорил с польским акцентом. Не веришь – но я говорю лучше. Без акцента.

За четыре года брат окончил начальную школу. Домой его привозили только на лето, зимой он не так уж часто приезжал. Железной дороги тогда не было, сорок верст пешком не пойдешь, а лошади – то отец куда-то уезжал по делам, то отдавал лошадей напарнику. Отец тогда пытался торговать лесом или что-то такое... что тоже не получалось. Когда брат летом приезжал домой, это был для меня праздник. Он так много мне рассказывал. Иногда мне кажется, что нехватки моего образования в какой-то степени восполнялись именно этими беседами. Он умел о сложных вещах говорить очень просто и понятно.

Потом ему опять повезло со школой: его приняли в Государственную школу Йозефа Пилсудского. Она считалась лучшей в городе. Еврейских детей туда принимали. Преподавание велось на польском языке, католики и евреи разделялись только для проведения уроков по религиозным дисциплинам.

М И Л К А. Может быть, вы сделаете перерыв, и я подам обед? У меня уже все готово.

АВИГДОР. Да, хорошо. Тебе помочь?

М И Л К А. Не надо мне помогать, просто пересядьте, чтобы я могла постелить скатерть.

Вторая кассета

ЭВА. О-о, еврейская еда! Бульон с кнейдлах! Шейка!

М И Л К А. А что, в Америке евреи тоже такую еду едят?

ЭВА. Ну, только в некоторых семьях. У меня есть старшая подруга, она готовит. Я вообще не люблю стряпать.

АВИГДОР. Как, ты совсем не готовишь?

ЭВА. Практически нет. У меня муж армянин, он всегда любил стряпать, и когда зовем гостей, он и сейчас сам готовит всякую армянскую еду.

АВИГДОР. Ну, армянская еда – это совсем другое дело, это вроде арабской кухни.

М И Л К А. Кушайте, кушайте!

ЭВА. Нет, уверяю вас, нет. У них есть турецкие блюда, это правда. Но кухня гораздо более изысканная. Очень вкусная. Но в этой еврейской еде как будто запах дома. Это генетическая память. Я росла в приютах и в детстве никто меня бульонами не кормил...

АВИГДОР. На чем мы остановились?

ЭВА. Вы начали рассказывать о школе Пилсудского. Но мне бы хотелось еще узнать об этой организации «Акива», в которую вы ходили.

АВИГДОР. Эва, обо всем в свое время. Там, в школе, он научился еще... это тебе должно быть интересно, потому что потом Даниэлю это умение очень пригодилось. Вот слушай...

Евреи в школе были, конечно, в меньшинстве, но брату моему повезло, потому что он учился в одном классе с нашим кузеном. Отношение к евреям в классе было вполне нормальным. Возможно, что это мое личное заблуждение, но мне всегда

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru казалось, что антисемитизм находится в обратной зависимости от культурного и интеллектуального уровня. В группе, где учился брат, были дети из самых культурных польских семей города. Так или иначе, ни ему, ни его двоюродному брату не приходилось драться, защищая свое достоинство. Даниэль вообще не дрался – это было не в его характере. Честно говоря, я тоже не особенно замечал проявления антисемитизма, хотя я-то учился в профессиональной школе, вроде ремесленного училища, и там ребята были попроще.

Думаю, в первый раз Даниэль столкнулся с антисемитизмом, когда его не приняли в группу скаутов. Он тогда очень переживал. Я до сих пор не знаю, это были такие общие правила в скаутской организации или просто руководитель не захотел принимать еврейского мальчика, но Даниэлю отказали. Это был удар. Вообще-то у него было много друзей среди поляков. Не могу сказать, чтобы особенно близкие.

Зато один его польский друг, сын польского офицера-кавалериста, сам того не ведая, сослужил ему хорошую службу. Это как раз та история, которую я хотел рассказать. Отец этого паренька – фамилию его я забыл – был полковник польской армии, он держал манеж, и в этом манеже Даниэль вместе со своими одноклассниками дважды в неделю занимался верховой ездой. Занятие это, сугубо не еврейское, чрезвычайно нравилось Даниэлю, и он несколько лет практиковался в этом аристократическом спорте. Он стал хорошим наездником, и потом, через несколько лет, это умение, может быть, спасло ему жизнь.

Летом, перед последним классом, Даниэль вернулся домой на каникулы, и в тот год мы особенно сблизились. Разница в возрасте совсем перестала ощущаться. У нас появились новые общие интересы, а в семейных разговорах возникла новая тема – Палестина. Мы вступили в «Акиву», молодежную сионистскую организацию, почти каждый вечер ходили в кружок. Все было почти как у скаутов: тот же спорт, походы, ночевки на природе, воспитание выносливости, верности. Но разница была в том, что «Акива» была еврейская организация – и политическая, и общеобразовательная. Нас обучали ивриту, еврейской истории и традиции. Сионизм в «Акиве» был нерелигиозным: иудаизм их не интересовал. Нам предлагали еврейскую традицию, то есть образ жизни и принципы нравственного поведения, а в качестве философской базы – альтруизм, пацифизм и терпимость, презрение к наживе: вещи незамысловатые, но очень привлекательные. Это стало для нас философией жизни. Во всяком случае, ни шовинизма, ни антикоммунизма в «Акиве» не было. В сионизме присутствовала сильная социалистическая тенденция, она и по сей день в Израиле чувствуется. Я не случайно оказался в мошаве, мне нравилась эта идея – еврей, который осваивает землю и живет плодами своих рук. Я здесь живу с моего переселения в Израиль, с 1941 года. Сейчас молодежь сюда не затащишь. Мои дети и слышать не хотели, чтобы остаться жить здесь. Как подрастали, так и уезжали. А младший – сын Алон – тот вообще в шестнадцать лет ушел из дому.

«Акива» стала для нас вторым домом. Мы с братом уходили утром, возвращались вечером. Мы переживали новое чувство – мы стали частью группы, объединенной общими ценностями. Наверное, наши религиозные сверстники испытывали единение с другими через богослужение, но нас это не коснулось. Хотя в положенном возрасте, в тринадцать лет, мы проходили бар-мицву, – ты хоть знаешь, что это такое? – экзамен и праздник совершеннолетия. Но это не произвело ни на меня, ни на брата большого впечатления. Просто так было принято. Мать хотела, чтобы мы не выходили из традиции.

Занятия в «Акиве» расширили культурный кругозор. Теперь уже представления родителей о жизни казались нам провинциальными – у них были только заботы о хлебе насущном. Носителями высших ценностей казались нам наши учителя.

Мы с братом мечтали о переселении в Палестину, а у родителей эта идея не вызывала особого энтузиазма. Они чувствовали себя уже по возрасту непригодными для такого героического деяния, как освоение новых земель. Да мы и сами понимали, что родители слишком стары для таких перемен, а оставлять их одних, без поддержки на старости лет, мы не хотели. Кроме того, не было денег. В те времена британские власти разрешали еврейскую иммиграцию в рамках годовой квоты, но требовали от въезжающих в подмандатную территорию денежного залога. Молодежь до восемнадцати лет получала сертификат бесплатно, так что для нас с братом двери были открыты.

В 1938 году возник такой проект, что один из нас уедет, другой останется с



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru родителями. Среди разных вариантов отъезда обсуждалось поступление Даниэля в Иерусалимский университет. Принимая во внимание его замечательные успехи, мысль была неплохая. Но тоже требовала финансовых вложений. Хотя сертификаты для молодежи до 18 лет были бесплатными, но дорого стоил билет, надо было платить и за обучение. Вдобавок у брата впереди был еще целый год учебы, а лет ему было уже семнадцать. Тогда сестры матери решили поддержать племянника и собрать необходимые деньги – родственная шапка была пущена по кругу. Тем временем ему пришлось поднапрячься, сдать выпускные экзамены экстерном. Свой аттестат зрелости он получил на год раньше одноклассников.

И вот закончилась одна жизнь и началась другая. Но совсем не та, о которой все мечтали. Наступило первое сентября 1939 года – Германия начала оккупацию Польши.

МИЛКА. А вы не можете одновременно есть и разговаривать?

АВИГДОР. А я уже съел!

МИЛКА. Ты-то съел, а у Эвы полная тарелка!

ЭВА. Расскажите, как вы встретились после стольких лет. Сколько лет вы не виделись?

АВИГДОР. Восемнадцать лет, с сорок первого по пятьдесят девятый. Встретились? Да, встретились... Я был в порту с самого утра. Специально я поехал один. Милка тогда должна была вот-вот родить Ноэми, Шуламита совсем маленькая. Рут просилась его встречать, но я ей велел смотреть за мамой. Она старшая, ей было восемь. Но мне хотелось, чтобы наша первая встреча была вот такая – с глазу на глаз. Честно говоря, я не был в себе уверен – вдруг заплачу? Мы уже давно переписывались, с 46-го года, и многое рассказали друг другу в письмах. Брат тогда даже не знал, что родители погибли еще в 43-м. Мне многое было странно: почему он, приехав в Польшу, не начал сразу их разыскивать? Не понимаю. Он, конечно, считал, что их нет в живых, а если и выжили, то будут его отговаривать от этого его католичества. А у него было принятое решение. И он даже не попытался их искать. Станный ход мыслей. Он и меня стал разыскивать только через год. Наш приятель тогда уже разузнал, где он находится, пытался его оттуда забрать. Ничего не получилось. А потом? Я не ехал в Польшу. Не хотел. А он просто не мог приехать в Израиль погостить. Монахом быть – хуже солдата. У солдат хоть отпуск или срок службы. А что касается Даниэля, не было у него никакого срока службы. Бежал, бежал со своим крестом... Даже вспоминать не хочу. Потом покажу кладбище, это особая история.

В общем, я стою и жду парохода. Встречающих не так много, в те времена евреи уже на самолете прилетали. Редко кто морем.

Пароход подплыл – из Неаполя. А я уже вижу, что среди встречающих один стоит в сутане, – я сразу догадался, что это брата встречают. Наконец мостик кинули, и пошел народ – туристы, конечно. Я его все не вижу. Потом появляется – брат мой! В сутане. С крестом. Я ведь ничего другого не ждал, я ведь уже тринадцать лет знал, что он монах. Но все равно – не верю.

Брат меня не сразу заметил. Ищет в толпе встречающих – к нему идет уже тот монах. Тут я бегом – к брату, чтобы опередить. Он подошел к этому, что его встречал, что-то они там поговорили, и, вижу, брат ко мне оборачивается.

– Я у тебя на эту ночь останусь переночевать, а утром поеду в монастырь... – говорит.

Обнялись мы – о, кровь моя! Запах родной, все тот же запах человека. Он с бородкой – таким я его не видел! Ему девятнадцать лет было, когда мы расстались, а тут – взрослый мужчина. И еще мне показалось, что он такой красивый стал. Ну что ты смеешься, Эва? Я, конечно, заплакал. Думаю, хорошо, что жену не взял. Дурак, я думаю, какой я дурак! Пусть будет хоть священник, хоть черт – чего я к нему цепляюсь? Главное, живы остались!

Мы сели в машину и поехали. Он читает все указатели и каждый раз стонет. Доехали до развилки, там одна стрелка на Акко, а другая на Мегидо.

Он мне говорит:

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Боже, куда я попал? До Армагеддона – 35 километров. Ты понимаешь?

Я отвечаю:

– Дитер, я очень даже хорошо понимаю, там живет Милкина подруга, мы туда в гости ездим.

А он смеется:

– Мегидо! Ни на одном языке мира это ничего не значит. Только на иврите! Поехали туда!

Но тут уж я пришел в себя, стал возражать:

– Нет, тебя вся семья дома ждет, Милка уже два дня из кухни не выходит.

Он вдруг замер, говорит:

– Ты не понимаешь, что ты сейчас сказал... Ты сказал, что меня семья ждет... Я никогда не думал, что у меня может быть семья.

Я говорю:

– А кто же мы тебе? Другой-то семьи у тебя нет, ты же этого хотел.

Он смеется, говорит:

– Ладно, ладно, посмотрим, что там за семья.

Я в тот раз никуда не повез его – прямо домой. Мы тогда жили, Эва, не в том доме, где мы сейчас сидим. У нас на этом же участке стоял маленький домик, без всяких удобств. Он и сейчас сохранился в виде подсобного помещения, прямо за этим домом стоит. Все наши дети в нем росли. В пятидесятые годы у нашего кооператива дела не очень хорошо шли, это с начала шестидесятых все пошло полным ходом. У нас был один из лучших кооперативов во всем Израиле, да...

Приехали мы с Даниэлем домой. Милка с детьми высыпали, и наша девочка несет ему цветы. В июле – какие цветы? Все давно сгорело. Шлома, сосед, утром поехал за восемнадцать километров. Там цветочное хозяйство. Привез тюльпаны, это наш цветок. Что ты думаешь, в Библии царь Давид про другие цветы пел свою песню? А девочки мои его облепили, я вижу, все в порядке. Ну, крест на нем висит, странно, конечно, но я могу перетерпеть. Нам в «Аквиве» давали понятие о веротерпимости. Я здесь с арабами сколько лет уже живу, тоже христианин. Ты знаешь, среди здешних арабов больше христиан, чем мусульман. Это сейчас стали отношения напряженные, а раньше у нас рабочих было много арабов, один мальчик Али у нас в семье жил, постарше наших детей. Ну, теперь он отсюда уехал...

Вот, Эва, он вошел в дом со словом «Шалом». Подошел к столу – говорит благословение на иврите. Не крестится, ничего такого... А у меня только одна мысль – не заплакать. Милка внесла супницу с кухни – и тут Даниэль сам заплакал. Тогда и я заплакал. Раз старший плачет, значит, я тоже могу... Вижу: он совсем не изменился. Потом время прошло, могу сказать: да, он совсем не изменился.

Я, понимаешь, атеист. Меня никогда религия не интересовала, и бог не интересовал! И все эти разговоры – есть бог, нет бога. У одних есть доказательства того, что бог есть, у других – что нет. А по мне, шесть миллионов закопанных в землю евреев – самое главное доказательство, что нет никакого бога. Ну, допустим, это личное дело каждого, что он думает о боге. Но мой брат, если уж ему так нужен был бог, почему он выбрал христианского? И вообще, сколько их, богов, – один, два, четыре? Если уж выбирать, еврей логично выбирать еврейского бога. Но, честно скажу, если вспомнить, что тогда было, – чем бог от дьявола отличается? Брат мой был такой человек, такой человек! Праведник он был. Между прочим, он вначале ходил в этом облачении, а потом снял, ходил как все люди. Очень любил после меня одежду донашивать. Он новую одежду не любил. Новое ему подаришь, он кому-то передаривает вечно. Вот, смотри, наша последняя фотография. За год до его смерти. Старшая дочка здесь была, сняла. Нет, это я, а это он. Похожи, конечно, но разница есть. И большая разница. Садись, пожалуйста, сейчас

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Милка штрудель принесет.

ЭВА. А как у ваших детей складывались отношения с таким странным дядей?

АВИГДОР. какие отношения? Они его обожали, он с ними играл – то был лошадкой, то слоном, то собакой. У нас их было четверо, работа, забота, сама понимаешь, мы с ними не особенно играли, а Даниэль приезжал – такой праздник. Когда что-нибудь важное у них происходило, они бежали к нему, Милка даже немного обижалась.

МИЛКА. Ничего подобного. Я не обижалась! Когда была эта история с Алоном, я даже была ему благодарна.

ЭВА. А какая история?

АВИГДОР. Милка, принеси те письма, я хочу их показать Эве. Алон, наш младший. Он всегда был с характером – в шестнадцать лет решил съехать от нас к сестре. Мы его еле вернули. А потом поступил учиться в такое место, что теперь мы его почти не видим. Четыре года уже не видели. Не знаем, где живет, что делает. Знаем только то, что за границей. И что живой. И если погибнет, наше министерство нам сообщит. Вот, читай, читай прямо сейчас. Я тебе их с собой не дам.

9

1981 г., Хайфа.

Даниэль – Алону

Поздравляю тебя, дорогой Алон!

Тебе шестнадцать лет, и ты совершил свой первый взрослый поступок, ушел из дому к сестре. Это делают все люди рано или поздно – уходят от родителей. Но ты это сделал особенным образом – не потому, что женился и решил завести свою семью, и не потому, что уехал на учебу или на работу. Ты уехал потому, что родители тебя не понимают и вообще все их понятия тебе не по душе. В какое положение ты поставил сестру? Она тебя любит, конечно, приютит тебя, но ведь ей перед родителями неловко! Вроде получается, что она тебя одобряет!

Знаешь, ты прав – трудно жить в семье без понимания. Но дело в том, дорогой мой Алон, что ведь это процесс взаимный, они не понимают тебя, а ты не понимаешь их. Вообще в нашем мире с пониманием большие проблемы: по большому счету никто никого не понимает. Я бы даже сказал, что человек очень часто не понимает сам себя: скажи, к примеру, вот зачем ты сказал своей матери, что она в состоянии понять только кур со своей фермы? Зачем ты сказал отцу, что его понимание жизни на механическом уровне – ограничивается знанием устройства карбюратора и коробки передач? Это надо было такую глупость сказать! Милка понимает своих кур! Милка чувствует, что им надо! Когда была эпизоотия и вымерли все куры в округе, у нее все птицы остались живы! Веками считалось, что только колдовство может защитить животных от таких поветрий, а твоя мать – одним пониманием – сохранила пять тысяч своих птиц! Да такое понимание, как у Милки, – редкий дар!

А карбюратор и коробка передач? Да это же сложные механизмы, а отец твой их глубоко понимает и даже сам изобрел столько маленьких механических вещей, все эти смешные машины, которые он цепляет к своим тракторам! Да если бы он был коммерсант и умел продавать свои маленькие изобретения, он давно был бы богачом! У него такая острая техническая мысль, а ты как будто считаешь, что это неважно, незначительно! Человек связан с миром растений и животных, даже с космосом именно через такое понимание. Это понимание высшего порядка, а не низшего!

Честно говоря, ты попал в мое больное место – всю жизнь я об этом думаю: почему мир полон непонимания? На всех уровнях! Старики не понимают молодежь, а молодежь – стариков, друг друга не понимают соседи, учителя и ученики, начальники и подчиненные, государства не понимают свои народы, а народы – своих правителей. Нет понимания между классами – это Карл Маркс придумал, что одни классы должны непременно ненавидеть другие. А на деле не понимают. Все это даже в тех случаях, когда люди говорят на одном языке! А когда на разных? Как один народ может понять другой? Вот и ненавидят друг друга от непонимания! Не буду приводить примеры, в зубах навязли.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Человек не понимает природы (твоя мать – редкое исключение, она понимает своих кур!), он не воспринимает языка, которым природа яснее ясного указывает ему на то, что он причиняет земле вред, боль и того гляди вовсе уничтожит. И главное непонимание – человек не понимает Бога, что Он ему пытается внушить через все известные тексты, через чудеса, откровения, через природные бедствия, которые время от времени обрушиваются на человечество.

Не знаю, почему так. Может быть, оттого, что для современного человека важнее не «понимать», а «побеждать», «овладевать», «потреблять». В конце концов, смешение языков, по преданию, произошло в те времена, когда люди собрались построить башню до небес – то есть явно не понимали, что задачу поставили перед собой ложную, недостижимую и бессмысленную..

А с чего я начал? Поздравляю тебя с днем рождения! Давай повидаемся! У меня для тебя подарочек заготовлен! Позвони в храм, Хильда тебе скажет, где и когда меня можно найти. Или назначь мне встречу!

Твой додо Даниэль.

1983 г., Хайфа.

Даниэль – Алону

Дорогой Алон!

Еще два года тому назад у нас с тобой был длинный разговор о непонимании. В тот раз семейный конфликт разрешился очень легко, и мы быстро о нем забыли. На этот раз я прошу тебя попытаться встать на место твоих родителей, особенно матери, и понять, почему они не могут найти в себе силы поддержать тебя, порадоваться твоему выбору, порадоваться, что тебя берут в такую особую школу, куда трудно поступить. Мы все трое – твои родители и я – в твоём возрасте оказались в самой гуще очень мерзкой войны. Я, как ты знаешь, оказался переводчиком в гестапо, твоя мать была связной в Варшавском гетто, а отец восемь месяцев пробыл в Палестину через многие страны, охваченные войной. Хочу тебе сказать, что война, как тюрьма и тяжелая болезнь, – большое несчастье. Люди страдают, теряют близких, лишаются рук-ног и всякое прочее, и, что самое главное, никто от войны не делается лучше. Не слушай того, кто тебе скажет, что война закаляет мужчин, что через войну люди меняются в хорошую сторону. Скорее так – очень хорошие люди и от войны не делаются хуже, но вообще-то – от войны и тюрьмы люди теряют человеческое лицо. Это чтобы ты понимал, почему никто из нас не пришел в восторг, что ты идешь в эту особую школу, где не просто военные, а какие-то самые особые из военных – разведчики или диверсанты, не знаю, как и назвать. Я в молодые годы много общался с военными – с немецкими, русскими, польскими, всякими, и все эти годы только одно меня радовало, что я был переводчиком, что ни говори, помогал людям договариваться между собой и ни в кого не стрелял.

Родители твои хотели, чтобы у тебя была мирная профессия, как ты раньше хотел, инженер или программист. Я их понимаю. Но и тебя понимаю – ты хочешь защищать страну. Израиль похож на Голландию: там есть дамба, которая постоянно удерживает море, рвущееся на Нидерланды, то есть на низкие земли, и каждый голландец, даже ребенок, готов своим пальцем заткнуть дырку в дамбе. Так же существует и Израиль – только вместо моря огромный арабский мир, готовый захлестнуть нашу маленькую страну.

Ты ожидал, что родители очень обрадуются твоему поступлению, а они скорее огорчились – потому что очень тебя любят и боятся за твою жизнь. Что же касается меня, Алон, я буду делать свое дело – молиться о тебе.

Привет!

Твой додо Даниэль.

1983 г., Негев.

Алон – Даниэлю

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

(Надпись на открытке с видом Негева)

Додо! Я ничего не имею против твоих молитв, но не настаиваю. Поскольку на твои молитвы претендует множество людей, можешь поставить меня на последнее место в своем списке. Твой Алон.

1983 г.

Даниэль – Алону

(Надпись на открытке с видом Голанских высот)

Алон! Я поставил тебя последним – после кошки. Додо Даниэль.

10

Ноябрь, 1990 г.

Из бесед брата Даниэля Штайна со школьниками города Фрайбурга

Я родился в Южной Польше и до семнадцати лет не отъезжал от дома дальше чем на сорок километров. Зато мое первое путешествие, вынужденное и растянувшееся на многие годы, началось, когда мне было семнадцать лет, в день нападения немецких войск на Польшу. Я расскажу вам об этом странствии. Оно для меня значило приблизительно то же самое, что для еврейского народа сорокалетнее блуждание по пустыне. Я покинул Польшу в начале сентября 39-го года, а вернулся в 45-м. Уходил я мальчиком, а вернулся взрослым человеком. В годы войны, не совершая больших переездов, я оказывался то в Западной Украине, которая до того была Восточной Польшей, а потом стала частью СССР, затем в Литве – в независимой, оккупированной русскими и оккупированной немцами, а потом в Белоруссии, которая прежде была частью Польши и тоже оказалась под немцами.

Местечко в Южной Польше, где я родился, – не город, не деревня. Жители – поляки и евреи. На второй день после начала войны началась паника.

До границы с Чехией было всего сто километров, и с той стороны стремительно приближалась немецкая армия. Огромная масса людей двинулась на север. Наша семья, спешно собрав пожитки, погрузила их в фуру. Лошадей не было, мы с братом впряглись, отец подталкивал сзади. Родители были пожилыми людьми, к тому же мать болела, и ее мы тоже посадили в фуру. Скорость нашего продвижения была смехотворной. Через несколько километров нас нагнали родственники, и мы пересели в их телегу, запряженную лошадьми. В телегу перегрузили лишь самое необходимое.

Картина эта стоит перед глазами: забитая повозками дорога, толпы пешеходов, все были очень подавлены: убегали от немцев, но убегали неизвестно куда. На север, на восток... Отец был особенно удручен: он предпочел бы остаться. Он служил в австрийской армии во время Первой мировой войны, и две его медали, завязанные в носовой платок, лежали во внутреннем кармане пиджака. Его мемориальный мундир, который хранился в шкафу двадцать лет, остался среди вещей, брошенных в фуру. Он хмуро молчал, как всегда в тех случаях, когда ему приходилось подчиняться решениям матери. На бегстве настаивала именно она. Ее план был добраться до Кракова, а оттуда ехать на восток. Отцу не нравилась эта идея, он предпочел бы остаться под немцами.

В памяти от той недели остались постоянные заботы о лошадях – даже с водой было трудно. Колодцы вдоль дороги были вычерпаны, а возле речушек, которые попадались по пути, стояли очереди на водопой. Сена купить было негде, и у меня просто сердце кровью обливалось при виде наших замученных кляч. Эти крестьянские лошадики вовсе не были похожи на тех рослых и холеных коней, которых давали нам на занятиях в манеже кавалерийского полка. Когда мы добрались до Кракова, я распряг их и попрощался. Мы оставили лошадей прямо на улице, недалеко от вокзала, в надежде, что их подберут добрые люди.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Сесть в поезд было очень трудно. Двое суток мы провели на вокзале, и только на третьи нам удалось забраться в товарный вагон. Это был последний поезд, вышедший из Кракова, – через несколько часов железнодорожный вокзал бомбили. Наш поезд попал под бомбежку через сутки. Поезд не пострадал, но были разбиты пути, и дальше мы пошли пешком. Я думаю, что мы отъехали не больше чем на двести километров. Местного населения почти не было видно – деревни были покинуты, многие разрушены.

Огромная толпа беженцев – удивительно, каким образом столько людей поместилось в одном составе, – потянулась по разбитой проселочной дороге. Через несколько часов мы узнали, что город В., куда мы шли, уже взят немцами. Обогнуть наступающую немецкую армию нам не удалось. Отец бормотал: я же говорил... я же говорил...

Мы решили обойти город: немцев в деревнях не было, они закреплялись только в крупных центрах. Мы свернули с дороги и устроили стоянку в перелеске. Мы с братом были опытные туристы – в «Аквиве» нас готовили к освоению новых земель, – и мы соорудили родителям небольшой навес и место для отдыха, развели костер и стали варить кашу из последних запасов крупы.

Пока еда варилась, родители немного поспали. Потом проснулись, и мы услышали, что они тихо разговаривают. Отец говорил: конечно, конечно, ты права...

Мама вынула из сумки четыре серебряные ложки, свадебный подарок тети, обтерла их носовым платком и дала каждому по ложке. Мы сели на землю и ели серебряными ложками кашу из закопченного котелка. Это была наша последняя семейная трапеза. Когда мы поели, мать сказала, что нам настало время расстаться: они слишком стары, чтобы идти с нами дальше.

– Мы будем вам помехой в пути, мы приняли решение возвращаться домой, – сказала мать.

– Немцы не причинят нам вреда, я служил в австрийской армии, они это учтут. О нас не беспокойтесь, – сказал отец.

– А вы постарайтесь добраться до Палестины. Это будет самое лучшее, потому что здесь вас наверняка заберут на трудовой фронт или придумают что-нибудь похуже, – сказала мать.

Тогда ходили слухи, что немцы будут забирать местную молодежь, чтобы пускать ее перед танками во время наступления.

Родители стояли рядом, такие маленькие и старые, и с большим достоинством – никаких слез, никаких причитаний.

– Только обещайте мне, что вы ни при каких обстоятельствах не расстанетесь, – добавила мать.

Потом она тщательно вымыла в остатке воды четыре ложки, добавила к ним еще две из сумочки, еще раз обтерла платком и полюбовалась. Мама любила эти ложки – они поддерживали самоуважение.

– Возьмите, даже в самые плохие времена за серебряную ложку дают буханку хлеба...

Отец торжественно вынул бумажник – он тоже, как и мама, любил солидные вещи, не по достатку. Он дал нам денег. Думаю, что это было все, что у них оставалось. Потом он снял часы и надел мне на руку.

Потом я думал: почему же мы так безропотно послушались родителей? Мы были уже взрослые мальчики – мне семнадцать, брату пятнадцать, и мы очень любили их. Я думаю, что в нас была сильная привычка к послушанию, и в голову не приходило, что можно не послушаться, поступить как-то иначе.

11 сентября 39-го года мы расстались с родителями. Когда они ушли по дороге в ту сторону, откуда мы только что пришли, я лег в траву и долго плакал. Потом мы с братом собрали наши пожитки, я надел рюкзак – он был у нас один на двоих, брат взял котомку, и мы пошли, оставляя солнце за спиной.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) Несколько дней мы блуждали по дорогам, ночевали в лесу – еды у нас никакой не было, мы обходили деревни стороной, потому что боялись всех. Наконец мы поняли, что надо наняться в батраки. Нас приняла украинская крестьянская семья, мы подрядились убирать картошку. Неделю мы работали в поле – не за деньги, а за еду и ночлег. Но когда мы уходили, хозяйка дала нам немного продуктов, и мы снова пошли на восток. У нас не было никакого плана, знали только, что надо уходить от немцев.

На следующий день мы встретили солдат. Это были русские. Оказалось, мы вышли из зоны немецкой оккупации. Это была полная неожиданность. Тогда мы ничего не понимали в политике. Я и сейчас не очень хорошо в ней разбираюсь. Мы знали про пакт о ненападении между Германией и СССР, но не знали о секретной части этого соглашения, предусматривающей раздел Восточной Европы, по которому Латвия, Эстония, Восточная Польша (то есть Западная Украина и Западная Белоруссия) и Бессарабия отошли России, а Западная Польша и Литва – Германии. Львов в соответствии с этим документом отошел к России. Мы не знали также, что Польша капитулировала, а Россия передвинула по договоренности Сталина с Гитлером свои границы, снова присоединив к себе часть территорий, которые достались ей после раздела Польши в 1795 году.

Пешком мы добрались до Львова. Львов поразил нас – мы еще не видели таких больших городов, с красивыми домами, широкими улицами. Мы дошли до Рыночной площади, на которой шла торговля. Здесь нам очень повезло – мы встретили нашего приятеля, тоже члена «Акивы», Аарона Штамма. Штамм был нас старше, тоже из тех ребят, которые мечтали попасть в Палестину. Оказалось, что многие из «Акивы» собрались здесь, и теперь они надеялись пробраться в одну из нейтральных стран, откуда еще можно было уехать в Палестину. В то время Литва еще оставалась нейтральным государством, и решено было пробираться в Вильно. Но дело оказалось затяжным: сионистские лидеры должны были прежде организовать перевалочные пункты по дороге в Палестину, что было очень сложно в условиях большой войны в Европе. Искали обходные пути и безопасные маршруты.

Молодежная группа застряла во Львове.

Мы с братом сразу же стали искать работу, время от времени возникали какие-то случайные подработки. Брату везло больше, чем мне, – он устраивался то в гостиницу, то в пекарню. Мама оказалась права – одну из серебряных ложек я выменял на каравай деревенского хлеба.

Обстановка во Львове была очень сложной. В то время она казалась нам просто кошмарной – столько в городе набилось беженцев из Польши, главным образом евреев. Потом, после всех военных злоключений, уже не казалось, что во Львове было так уж плохо: нас не ловили на улицах, не отправляли в тюрьмы, не расстреливали...

Кое-как мы перебивались, снимали впятером какой-то сарайчик в пригороде, на Янове, недалеко от еврейского кладбища. Вечерами собирались, мечтали о будущем, пели песни. Мы были очень молоды – ни опыта, ни воображения не хватало, чтобы предвидеть то, что нас ожидало.

Зима наступила рано. В ноябре все завалило снегом, и в это время члены «Акивы» разбились на группы, чтобы переходить границу, которая в то время была русско-литовской. Поначалу граница охранялась очень небрежно, но к зиме положение изменилось, пограничники стали лютовать. Наши группы задерживали, нескольких моих знакомых арестовали и отправили в Сибирь.

Я был руководителем одной группы, мы переходили границу в районе города Лиды. Туда мы доехали на поезде, а на месте нас встретил проводник, который обещал провести нас ночью через границу. Мы шли через лес, без дороги, проваливаясь по колено в снег, страшно замерзшие – теплых вещей у нас не было. Когда мы совсем выбились из сил и казалось, что границу уже перешли, нас все-таки задержали, поместили в местную тюрьму, откуда утром выпустили, когда мы отдали им все деньги. Тот же проводник встретил нас и на этот раз перевел через границу по проложенной тропке без всяких осложнений. Потом мне говорили, что это была хитрость нашего проводника, который дал заработать своим друзьям из местной милиции. В своем роде он был честным человеком, мог бы просто исчезнуть... Оставшиеся фамильные ложки перешли к милиционерам. В общем, нам повезло.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Повезло и брату: он переходил границу с другой группой, их задержали литовцы, но, увидев их польские документы, пропустили – брат сказал, что они жители Вильно. Те по безграмотности не разобрались.

Попав в Литву, мы радовались: нам казалось, что еще небольшое усилие, и мы доберемся до Палестины. Мы были счастливы, что из оккупированного русскими Львова попали в литовский город Вильно. То есть литовский он был географически, больше половины населения составляли евреи и поляки.

11

Август, 1986 г., Париж.

Павел Кочинский – Эве Манукян

Милая Эвка!

Твой отказ читать мою книгу меня страшно озадачил: сначала я обиделся, а потом понял, что ты относишься к породе людей, которые не желают знать о прошлом, чтобы сохранять равновесие в настоящем. И таких людей я уже встречал. Но если мы согласимся вычеркнуть прошлое из памяти и оградить память наших детей от ужасов тех лет, мы будем виноваты перед будущим. Опыт холокоста должен быть осознан – хотя бы ради памяти погибших. Массовые идеологии освобождают людей от моральных установок, я в своей юности был носителем такой идеологии, а позднее, оказавшись на оккупированной фашистами территории, – ее жертвой.

В те времена я партизанил на Карпатах, а твоя мать – в Белоруссии. Тогда я еще не знал, что идеология, ставящая себя выше нравственности, неизбежно становится преступной.

После войны я собирал историю страны, которой никогда не было на карте Европы, то есть она не имела очерченных границ, – Идишланд. Страна людей, говорящих на языке идиш. Я собирал материалы по истории еврейского сопротивления на территориях Идишланда – Польши, Белоруссии, Украины, Литвы и Латвии. Все это я публиковал в разных исторических изданиях. А тема моей научной диссертации – я ведь жил в послевоенной Польше – была посвящена истории рабочего движения. Книга, о которой я говорю, не научная монография – это мои воспоминания тех лет и свидетельства людей, которых я лично знал.

Мы, немногие оставшиеся старожилы этого сожженного материка, знаем друг друга если не поименно, то пофамильно. С твоей матерью я дружу с первых лет жизни – мы дети из одного дома с той самой крохмальной улицы, которая стала известна на весь мир благодаря Янушу Корчаку. Поверь, имя твоей матери будет написано в истории этого времени большими буквами.

Я не могу настаивать, чтобы ты читала всю книгу, но я сделал для тебя ксерокопию нескольких страниц, которые я в свое время с большим трудом добывал в архивах. Там говорится о событиях, имевших место незадолго до твоего рождения, – ты сама как-то жаловалась, что мать не хочет тебе ничего говорить. Ты к Рите безжалостна, но ты не знаешь, что ей пришлось вынести. Я хочу, чтобы ты это знала.

Целую, твой Павел.

1956 г., Львов.

Ксерокопии из архива НКВД

(Центральная картотека, № 4984)

ПРИКАЗ № 01/1

ПО ГОРТЮРЬМЕ г. ЛЬВОВА (Бригитки)

от 5 октября 1939 года

Всех заключенных, имеющих сроки по политическим статьям и являющихся членами



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru польских социалистических партий и организаций, освободить. Список из 19 человек прилагается.

И. о. начальника тюрьмы капитан НКВД

Ракитин А. М.

Подпись.

Дата: 5 октября 1939 г.

#### АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Рита Ковач (Двойре Брин), родилась 2 сентября 1908 года в бедной еврейской семье в Варшаве. В 1925 году я поступила в высшую школу Муха-Скочевской по специальности воспитателя. К несчастью, многочисленные аресты и тюремные заключения не дали мне закончить обучение.

В 1925 году, обучаясь в высшей школе, я вступила в ряды революционной молодежной организации «Гринс».

В 1926 году я вступила в КСМ (польский комсомол) и организовала кружок просвещения при одной из больниц в Варшаве.

В 1927 году я стала секретарем районного комитета в Воле, пригороде Варшавы. Будучи кооптирована на пост секретаря молодежной ячейки, я участвовала в собраниях Коммунистической партии Польши. В период разногласий между большевиками и меньшевиками поддерживала меньшевиков.

В марте 1928 года я была задержана и арестована во время демонстрации рабочей группы завода «Почиск» и была приговорена к двум годам тюрьмы. Отбывала срок в тюрьме «Сербия» в Варшаве и в тюрьме города Ломжи.

В марте 1930 года я освободилась. Я присоединилась к региональному комитету КСМ и стала секретарем антивоенной секции.

В октябре 1930 года я переехала в Лодзь и открыла просветительский кружок в больничной кассе. В Лодзи я была секретарем райкома и членом воеводского комитета.

В январе 1931 года я снова была арестована и получила трехлетний срок. Наказание отбывала в тюрьме г. Серадза, где была секретарем тюремной коммунистической организации. После освобождения в 1934 году я стала партийным работником – сначала секретарем Ченстоховского комитета, потом Лодзинского.

В ноябре 1934 года я была арестована, но через два месяца выпущена.

В январе 1935 года я вступаю в КПЗУ (Коммунистическая партия Западной Украины). Я становлюсь секретарем КСМ города Львова и прилегающих районов (Дрогобыч, Станислав, Стрый).

В сентябре 1936 года я снова была арестована. Я была приговорена к сроку в 10 лет. В ноябре 1936 года в тюрьме Бригитки я родила сына Витольда.

В апреле 1937 года я с сыном была переведена в тюрьму Фордон под Варшавой. В обеих тюрьмах я была руководителем коммунистической организации.

В январе 1939 года я была опять переведена во Львовскую тюрьму Бригитки, откуда была освобождена после прихода Советской Армии.

Рита Ковач.

#### ЗАЯВЛЕНИЕ

В городскую партийную организацию

г. Львова

от Риты Ковач

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

В связи с освобождением Восточной Польши и передачей этих территорий в СССР, полагая, что жители автоматически приобретают советское гражданство, я, Рита Ковач, состоящая с 1926 года в рядах КСМ (польский комсомол), прошу принять меня в ряды ВКП(б).

Подпись.

Дата: 5 октября 1939 года

Прилагается список лиц, готовых подтвердить мои слова и как старшие партийные товарищи рекомендовать меня в ряды ВКП(б):

1. Антек Возек (Свинобой)
2. Антек Элстер
3. Мариан Машковский
4. Юлия Рустигер
5. Павел Кочинский

12  
1986 г., Бостон.

Из дневника Эвы Манукян

Рассказывая Эстер о своем детстве, я неожиданно сделала несколько открытий о самой себе. Эстер – поразительный человек: она почти не комментирует, почти не задает вопросов, но само ее присутствие такое сочувственное, такое умное, что я и сама как будто становлюсь умнее и тоньше.

С Гришей как раз наоборот: он меня настолько превосходит интеллектуально, что в его присутствии я немею и вообще боюсь сказать глупость. Зато с ним я полностью царю в спальне, потому что в постели я точно умнее его. Открытие же мое – от общения с Эстер – состоит в том, что мои воспоминания оказались гораздо глубже и они переоцениваются. Значит, воспоминания не являются постоянной величиной. Они подвижны и изменчивы. Это поразительно!

Теперь не о подвижности воспоминаний, а о фактах. В сущности, я не так много знаю: из документов известно, что нас с братом привезла в приют сестра Эльжбета. Приют был организован Вандой Василевской, любимицей Сталина, – теперь уже почти никто не помнит имени этой польской писательницы-коммунистки, – для детей поляков, Сталиным же погубленных. Без Ванды ничего бы не было, хотя официально покровительствовал приюту Международный Красный Крест и тайно – польская католическая церковь. Как мы попали к Эльжбете, я не знаю. Известно только, что детей – меня и брата – привела к ней не мать, а какая-то другая женщина, и это произошло в 43-м году. Мне не было и трех месяцев, Витеку – шесть лет. Как нас переправляли через границу – тоже не знаю. То ли официально, с документами Красного Креста, то ли нелегально. Последнее – с двумя еврейскими детьми! – трудно представить. Хотя с другой стороны, в этих местах деревенские люди испокон веку переходили границу по тайным тропам, проложенным через леса и болота.

Польский приют был в Загорске. Почему этот городок – маленький русский Ватикан, его прежде называли Троице-Сергиевой Лаврой, – выбрали для приюта, не знаю. Теперь и спросить некого. Может, в Польше где-то доживают монахини, которые тогда за нами ухаживали. Сам-то приют после войны, году в 46-м, вернулся в Варшаву и, кажется, до сих пор существует. Так сложилось, что я туда во второй раз попала уже в пятидесятые годы, когда меня мать привезла в Варшаву.

Мои первые детские воспоминания – огромные купола церквей, паровозные гудки, белый хлеб, какао, какая-то сладкая паста, американские подарки. Красный Крест

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru нас обеспечивал, а монахини не умели воровать. Я была самая младшая, девочки со мной играли, таскали на руках. И главное – у меня был родной брат, первая любовь моей жизни. Он был очень красивым. Жаль, ни одной фотографии не осталось. До встречи с Эстер он был единственным, кого я воспринимала как старшего. Он умер в 53-м, в шестнадцать лет.

Когда приют в 47-м году вернулся в Польшу, нас с Витеком и еще нескольких детей оставили в детском доме в СССР. Нас не востребовали. Мать еще была в лагерях, а родственников, которые о нас хлопотали бы, не было. Счастье, что мы с Витеком оказались вместе, что нас не разъединили. Мы остались в Загорске. Витек всегда говорил со мной по-польски. Говорил шепотом. Это был наш тайный язык. Забавно, что потом, когда я оказалась в Польше, я долго говорила шепотом. Брат всегда говорил мне: мы обязательно вернемся в Польшу. Никого на свете я не любила так сильно, как его. И он меня любил больше всех на свете. Последние годы, когда я стала школьницей, он отводил меня в женскую школу, а потом шел в мужскую, в двух кварталах. Я в подробностях запомнила первый день: нам выдали коричневые форменные платья и белые фартуки, и он держал меня за руку. Другие девочки были с мамами и бабушками, а у меня был брат, и я ощущала непонятное преимущество. Я так гордилась!

Кроме польского языка, была еще одна тайна, которую открыл мне Витек, когда мы уже были в советском детдоме. Он сказал, что мы евреи. Но при этом добавил, что он верит в католического Бога. Я не знаю, был ли он крещен. Но Витек говорил мне, что надо молиться, что Божья Мать наша покровительница, она заботится о сиротах. И я ей молилась, а Сын Ее меня вовсе не интересовал. Думаю, что все это внушили брату монахини. Когда Витек умер, я молилась, чтобы он воскрес, но этого не произошло. Тогда, после смерти Витека, у меня с Девой испортились отношения. Я перестала молиться. А потом Она мне приснилась: ничего особенного, погладила по голове, и мы помирились.

Мать все эти годы ничего о нас не знала. Она не знала, что Витек жив, не знала, что он умер. Она партизанила, потом воевала, потом сидела в сталинских лагерях, и выпустили ее только в 54-м, через год после смерти Сталина. И после смерти Витека.

Моя встреча с матерью произошла в больнице: я заболела скарлатиной, и меня поместили в московскую больницу. Она пришла прямо в палату. Некрасивая. Плохо одетая. Сухая. Мне в голову не пришло, что больше всего она боялась в тот момент заплакать. А я заплакала – от разочарования. Мать оформила документы, и мы уехали в Польшу. Это был ужас. Самый большой ужас моей жизни. Она меня не любила, а я её просто возненавидела. Я ничего не знала об обстоятельствах, при которых она нас оставила. Чужая женщина, она и по виду ничем не отличалась от русских измученных воспитательниц и шершавых нянек. А я воображала маму в образе блондинки в плечистом шелковом платье со светлыми локонами из-под красивой заколки...

Эстер, не пугайтесь. Я не сумасшедшая. Я прошла курс психоанализа. Просто ребенку нужна была мама. Нормальная мама. Но она говорила только о политике. Она говорила только о коммунизме. Она преклонялась перед Сталиным, считала – после столько лет сталинских лагерей, – что его смерть огромный удар для всего прогрессивного человечества. Так и говорила: «прогрессивное человечество».

В Варшаве я познакомилась с этим прогрессивным человечеством – несколькими уцелевшими товарищами по коммунистическому подполью. Самым симпатичным из них был Павел Кочинский. У меня с ним до сих пор сохранились хорошие отношения. Он милый и совершенно родной. Тоже был в войну в еврейском партизанском отряде, на Карпатах. Из трехсот человек отряда выжили двое. Когда Гомулка в 68-м году стал выдавливать евреев из Польши, он сам вышел из партии.

На убеждения моей матери не повлияли даже лагеря и тюрьмы, а она просидела – сначала в Польше, потом в России – больше десяти лет. Она мне постоянно излагала свои идеи, но организм мой имеет потрясающую сопротивляемость ко всему, что она говорит: я ее не слышу.

Я прожила с ней в Варшаве год. Она со мной не справлялась. Я ужасно себя вела. Мне было тринадцать лет, самый кошмарный возраст. И тогда она отдала меня в тот же самый приют, который когда-то находился в Загорске, а теперь был переведен в Варшаву. Этот год был для меня особый – вместе с другими приютскими девочками я

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru ходила в костел. Нас окружали монахини – тихие, строгие, одним своим видом отмечающие не то что неповиновение, а даже тихий ропот. С матерью я воевала, а монахиням подчинялась легко и без усилия. Вскоре я пошла в костел и сама крестилась. Это было мое желание, никто меня не принуждал. Наверное, отчасти из ненависти к матери.

Я ходила на все службы, часами молилась, стоя на коленях. Тогда были большие гонения на католиков, и во мне жил дух сопротивления пошлости мира – наверное, тот самый дух, который сделал ее коммунисткой, меня привел в церковь. С одноклассниками я не дружила: я была жидовка и к тому же ревностная католичка. В нормальной голове не соединяется. Я проводила много времени в огромном соборе. Это был не обычный костел, а действительно огромный собор, там была кафедра, и в те месяцы все было занято подготовкой к посвящению нового епископа. В подвалах собора – ряды гробниц епископов, священников, монахов – вереницы дат и фамилий, века с пятнадцатого.

Я молилась на каждом гробу – горячо, впадая в глубокий транс. Жизнь наверху совершенно от меня отлетала, мне даже не хотелось выходить наружу. О чем я молилась – интересный вопрос. Теперь я бы сказала – об изменении жизни. Тогда, в мои тринадцать-четырнадцать лет, я молилась о том, чтобы ничего этого, здешнего, не было, чтобы все было другое. Вероятно, я была очень близка к помешательству, но сама этого не знала. Может, гробы эти меня защитили?

Монахини видели мое рвение, и на предстоящем торжестве мне была отведена важная роль – я должна была нести подушечку, на которой лежал терновый венец – korona cięgniowa... Этот день я запомнила на всю жизнь. Костел был полон народу, горели тысячи свечей, монахи несли кадильницы, от которых исходил дивный запах. Этот запах всегда возвращает меня к моей короткой и отчаянной вере. Я стояла на коленях, а на вытянутых руках держала венец Христов. Руки мои онемели и замерзли – как два куска льда. Колени ощущали узелки льняного ковра, покрывающего каменный пол. Было больно. Потом я перестала чувствовать боль, перестала чувствовать ноги – я возносила вверх вместе с венцом и плыла к алтарю. Я поднесла венец золотистому епископу и услышала ангельское пение. Я была далеко ото всех, но едина со всеми. Монах нежно взял меня за руку – венец лежал на алтаре. Я не знаю, что со мной происходило, я думаю, что это и была вера.

Вера ушла от меня в один день – меня не пустили к первому причастию. У меня не было белого платья. Когда мать пришла в приют на свидание, я умоляла ее купить мне это несчастное платье – она наотрез отказалась. А священник не разрешил мне приступить к причастию в обыкновенном платье. Монахини меня любили и, конечно, нашли бы для меня платье, но я стеснялась их просить. Мне было стыдно. Это потому, что я гордячка.

Всех девочек удостоили причастия. А меня – нет. И я ушла, а мой Бог и моя вера остались в церкви.

Год я прожила в приюте, а потом мать меня забрала, сделала еще одну попытку создать из меня семью. Она и сама переживала тогда трудные времена – с 56-го в коммунистической среде шла десталинизация, она перессорилась со всеми своими друзьями, и один только добросердечный Павел Кочинский изредка навещал ее, но всякий раз кончалось тем, что она его с криками выгоняла. В этот год я впервые почувствовала к ней жалость – она была одинока и неколебима, как скала. А у меня как раз завелись первые друзья. Собственно, не друзья, а роман с гитаристом, настоящим джазовым музыкантом. В Польше все эти годы были очень сложными, но 58-й мне запомнился как очень счастливый. Мне едва исполнилось шестнадцать. Если меня кто и воспитывал, то католики, и тут возник конфликт, который я разрешила без малейших колебаний: выбор между Девой Марией и гитаристом был решен в его пользу. Роман был бурным и кратким, потом было еще несколько любовников. Мать молчала. В последнем классе школы я твердо решила, что мне надо уезжать. Путь для меня был только один – в Россию. Мать помогла мне первый и единственный раз в жизни. Она использовала свои связи, и я получила направление на учебу в Москву, в Сельскохозяйственную академию. Тимирязевкой ее называли. Никто не спрашивал меня, чему бы я хотела учиться, там было место, и я уехала.

Жила я в общежитии для иностранных студентов, главным образом из стран народной демократии. На втором курсе я вышла замуж за Эриха. В Польшу я больше не вернулась. Мать там оставалась до 68-го. Тогда были большие волнения по всей Европе, они захватили и Польшу. Когда подавили все эти беспорядки, в Польше

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
начались аресты, увольнения, а в их партии пошла волна против ревизионистов и сионистов. Гомулка выгонял евреев – их оставалось в партии довольно много, и все были, как я понимаю, просоветские. Мать выперли, несмотря на ее великие, как она считала, заслуги. Она боролась до последнего, писала какие-то апелляции. У нее случился инсульт.

Она уехала в Израиль, который ненавидела тогда всей душой. Уже восемнадцать лет, как она в Хайфе, в доме престарелых. Она герой войны и жертва сталинских репрессий, у нее пенсия и приличные условия. Я навещаю ее раз в год. Высохшая старуха, волочит ногу, глаза по-прежнему горят. Я сжимаю зубы и провожу там три дня. Ненавидеть я ее перестала, а любить не научилась. Жалко, это да.

Про внука она никогда не спрашивает. Однажды, когда Алексу было шесть лет – как Витеку, когда она сдала нас в чужие руки, – я его туда возила, думала, она как-то потеплеет. Она ему стала рассказывать, как воевала. Он попросил показать автомат. Она сказала, что оружие она сдала, когда война закончилась. И он потерял к ней интерес. Вообще он чудесный мальчик, ласковый, очень любит животных.

Павел Кочинский тогда же, в 68-м, уехал в Париж. Работает в Сорбонне, в каком-то институте по изучению евреев. Он-то из партии вышел. А моя мать – не хотела. Ее выгнали. Она даже из Израйля ухитрилась написать письмо с просьбой восстановить ее в партии. Сумасшедшая...

С Павлом лет пять тому назад я встречалась в Париже. Он пишет исследования по современной истории и жалуется, что его сын стал троцкистом. Забавно...

13

Январь, 1986 г., Хайфа.

Письмо Риты Ковач Павлу Кочинскому

Павел!

Я все-таки хочу сообщить тебе о перемене адреса. Теперь номер моей комнаты не 201, а 507. Все остальное без перемен. Живу все в той же богадельне. На случай, если вдруг тебе захочется написать. Хотя, конечно, о чем между нами может быть переписка? Ведь когда ты был в Израиле в семьдесят первом году, ты даже не счел нужным меня оповестить, я даже не говорю – приехать на меня посмотреть. Смотреть, конечно, не на что. Хромая, кривая и злобная. Моя дочь это всегда подчеркивает – так и говорит: почему ты такая злобная?

На прошлой неделе здесь одна девица из персонала столовой – ее немедленно уволили! – тоже сказала мне, что я злобная. Я подумала и решила, что я действительно злобная. Это правда, надо признать. Конечно, во мне накопилось много раздражения, но Павел, скажи, ты свидетель моей жизни, мы с тобой дружили сколько себя помню: разве жизнь была ко мне справедлива? Ты единственный, кто помнит мою мать, – но ведь она всю свою любовь отдала моему брату, а меня терпеть не могла. И ты этому свидетель, и вся улица это знала. Я была красивая девчонка, и мой первый мужчина, которого я без памяти любила, предал меня, ушел к моей бывшей подружке Хеленке, которая меня еще раньше возненавидела, и как мне было тошно, что он именно к ней, к моей врагине ушел... Не помнишь? Предательства шли одно за другим. Когда меня первый раз посадили в тюрьму в 28-м, ты думаешь, я не знаю, кто тогда всех заложил? Уже после войны, когда я работала в спецотделе, мне открыли эти документы: Шварцман всех сдал, он был провокатор, но обо мне он написал отдельно и всех собак на меня повесил. Я участвовала в демонстрации, а он нарисовал такую картину, что я была главный коммунист. Наверное, я и была в действительности главный коммунист. Сейчас, когда прошло столько лет и столько наших погибло, сам подумай, кто же остался верным? Только те, кто погиб, и я. Тебя я не считаю – ты вышел из партии, ты изменил, изменился. Сидишь в Сорбонне и описываешь ошибочность коммунистических идей, вместо того чтобы говорить об ошибках тогдашнего руководства. Я осталась все той же, и ничто меня не переменит. В моих глазах ты такой же предатель, как все остальные. Но ты единственный, кто может меня понять. Даже моя дочь ничего не смогла понять. Это просто поразительно, иногда она говорит мне те же самые слова, которые говорила моя мать. Эва ее никогда не видела, но тоже меня обвиняет в эгоизме и жесткости. Слово в слово! Чего я хотела для себя? Я никогда

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru ничего не имела, мне ничего не было нужно. Я прожила всю жизнь в одной паре обуви – она рвалась, я покупала новую. У меня было одно платье и две пары трусов! И меня упрекают в эгоизме! Эва, когда мы жили в Варшаве, говорила мне, что я ужасная мать, что ни одна женщина на свете не поступила бы так, как я, – это когда я отправила их в приют... Сердце мое разбилось тогда на части, но я делала это для их будущего. Чтобы они жили в справедливом обществе. Я отправила своих детей ради спасения, потому что я знала, что могу их только погубить.

Долгое время я о них вообще ничего не знала и узнала о том, что они живы, только после войны, но я не успела тогда за ними приехать, потому что сначала я работала в спецотделе НКВД, на секретной работе, а потом меня снова посадили. Меня снова предали. Это несчастье моей жизни – меня всегда окружали предатели. И ты тоже предатель. Когда ты ушел к Хеленке, это было самое большое несчастье в жизни, но потом я никогда никому не отдавала сердца. Но ты дважды предатель, потому что и от Хеленки ты ушел, и скольких еще бросил, я не знаю. В этом смысле вообще все мужчины предатели, но после тебя это уже меня не интересовало, я это разделила навсегда: любовь – одно дело, а физиология – другое. Мужчина вообще не стоит любви. Правда, женщина тоже не стоит. Я свою любовь отдала не мужчинам, а делу. Партия тоже не безгрешна, теперь я понимаю, что у партии тоже были ошибки. Но здесь одно из двух – или она свои ошибки осознает и исправит, или она перестанет быть той партией, которой я отдала свое сердце, свою любовь и свою жизнь. И я никогда не пожалею, что сказала свое да.

Мне просто смешно смотреть на Эву – это жизнь пустой бабочки, она порхает от мужчины к мужчине, каждый раз она счастлива, потом несчастлива, и это ей не надоедает. Когда ей скучно, она едет на курорт, или меняет квартиру, или покупает еще чемодан тряпок. Когда она приезжает меня навещать, она ни разу не надевает ту же самую одежду. Приезжает на три дня с двумя чемоданами!

Когда я пытаюсь ей что-то сказать, она начинает орать, и я давно уже ничего ей не говорю. Я во всем виновата, даже в смерти Витека! Но я тогда была в лагере! Что я могла сделать для Витека? А что я могла сделать для них, когда переходила линию фронта с автоматом, банкой тушенки и спичками! Что я могла сделать для них, когда по трое суток сидела в сугробе, поджидая воинский состав, чтобы пустить его под откос? Она ничего не понимает со своими двумя чемоданами барахла! Она приезжает в Израиль, и ты думаешь, она сидит с матерью? Нет, то она едет на Киннерет, то ей хочется в какой-то монастырь! Ей, видишь ли, нужно к Деве Марии, когда ее собственная мать сидит одна, как палка, целыми месяцами!

Ты, конечно, считаешь, что я не умею общаться с людьми и потому не имею никакого общества? Но ты пойми, этот дом, в котором я живу, он лучший во всем Израиле, и ты должен понять, что здесь сплошь буржуазная публика, какие-то богачи и банкиры, я их всю жизнь ненавидела. Из-за таких, как эти евреи, существует антисемитизм! Весь мир их ненавидит, и правильно делает! Эти дамочки и господа! Здесь нормальных людей почти нет. Только несколько комнат во всем доме отданы нормальным людям, их оплачивает государство, несколько участников войны, и инвалиды здешних войн, и герои сопротивления. Но почему все это мне оплачивает Израиль? Мне должна Польша! Я отдала все свои силы Польше, я воевала за Польшу, я жила ради ее будущего, а она меня вышвырнула! Она меня предала.

В общем, Павел, ты понимаешь, что я имею в виду. Я хочу тебя видеть. Значения большого не имеет, но мне в этом году исполняется 78 лет, и мы с тобой с одного двора, мы знакомы от рождения. Я еще сколько-нибудь проскриплю, но недолго. Так что приезжай, если хочешь со мной попрощаться.

Мне здесь полагается раз в году путевка в санаторий, это грязелечебница на Мертвом море, поэтому если решишь приехать, то не в декабре. В декабре я буду в этом санатории. Нам, конечно, дают путевки не в сезон. Понятное дело, бесплатные. А может быть, наоборот, ты приедешь в декабре, и я закажу тебе комнату в этой лечебнице, оплачу, разумеется, и мы там все обсудим. Так что ты заплатишь только за билеты. Правда, зрелище в этой лечебнице не самое веселое – множество колясочников, и я тоже на коляске, между прочим. Весной, когда хороший сезон, конечно, лечатся здесь только толстосумы со всего мира, а инвалидов, героев и всякое старое барахло сюда не пускают, чтобы не портили общего вида. Вся жизнь прошла, Павел, и мир ничуть не стал лучше. Ну, ты меня понимаешь.

Напиши заранее, а то Эва собирается приехать, я не хочу, чтобы это произошло в одно время. Будь здоров.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Рита.

14

Июнь, 1986 г., Париж.

Письмо Павла Кочинского к Эве Манукян

Милая Эва!

Я только что вернулся из Израиля, куда ездил навестить Риту. Мне очень стыдно, что я не сделал этого раньше, а только после ее отчаянного письма. Зная ее характер, могу себе представить, чего ей стоило написать такое письмо.

Во-первых, должен тебя успокоить: с твоей матерью ничего плохого не происходит. Она стареет, как все мы, но все такая же резкая и непримиримая, все такая же верная и честная. Честная до идиотизма. В жизни не встречал я другого такого человека, способного немедленно снять с себя последнюю рубашку и отдать первому встречному. Иметь ее в качестве матери очень сложно, да и в качестве друга в условиях сколько-нибудь нормальной жизни – тоже сложно. Но в условиях нечеловеческих, перед лицом смерти – лучше ее нет. Двое суток она тащила на себе раненого напарника, он умирал и просил его пристрелить, но она дотащила его до базы, где он и умер через час. Кто на такое способен?

Эвка, ты свинья! Найди время и навести старуху. Она, конечно, железная, но найди время, чтобы погладить по голове эту чертову железяку. Не своди с ней счеты. Она такая, какая она есть. Жуткая еврейка, настоящая еврейка, с маленькими кулачками, которыми она размахивает каждый раз, когда видит несправедливость. Она нетерпима и несгибаема, как наши предки, она пойдет – и пошла! – на костер ради идеи. И всех, кому на костер не хочется, она презирает.

Например, меня. По глупости я похвастал, что получил премию за книгу о партизанщине «Идишланда», за что она и выплеснула на меня целое ведро дерьма. Оказывается, я продаю за деньги наше святое прошлое... Книгу уже перевели на английский и немецкий. Ты напрасно отказываешься ее читать – там есть несколько слов и о твоей матери. Я все-таки пришлю тебе книгу. Может, настанет время, когда она покажется тебе интересной. На каком языке ты предпочитаешь – по-английски или по-немецки? По-польски она не выйдет никогда.

Израиль произвел на меня, как всегда, очень сильное впечатление. Прежде я не бывал в Хайфе, она мне очень понравилась. Больше, чем Тель-Авив. Тель-Авив – плоский город, без особой истории, а Хайфа многослойна почти как Иерусалим.

Рита переехала в новую комнату, и у нее с балкона потрясающий вид на весь Хайфский залив, и виден Кишон. Там промзона, стоят какие-то градирни, склады, довольно говенное место. Но сверху складов не видно. Я туда отправился – исторический интерес. Поскольку ты девушка в еврейском смысле совершенно необразованная, не знаешь «мамме лошн», то есть идиш, и, скорее всего, и в Библию не заглядывала, а я успел походить в хедер и получить начатки еврейского образования, то скажу тебе, что именно здесь, у потока Кишон, в IX веке до нашей эры, в годы правления царя Ахава и царицы Езевел, которая поощряла культ Ваала и Ашеры, произошло нечто особенное. Пророк Илия, яростный защитник веры в Единого Бога, устроил своего рода соревнование. Он предложил жрецам Ваала низвести огонь с неба и возжечь возложенные ими на алтарь жертвы. Они долго зывали к своим богам, но ничего у них не получилось. А Илия возложил на алтарь Единого жертвенное животное, трижды облил водой и алтарь, и жертву, и дрова, помолился, и огонь немедленно сошел с небес. Наша взяла. Всех жрецов – 400 пророков Ваала и 450 пророков Ашеры – Илия приказал немедленно заколоть. Что и было сделано на этом самом месте сей же час. Народ вернулся к Господу, а труп Езевел бросили собакам.

Так понимали справедливость наши предки.

Потом я поднялся на гору Кармель. Уже темнело, когда я оказался у ворот Кармельского монастыря «Стелла Марис». Я вышел из машины – вез меня очень милый человек, доктор из России, служащий в доме престарелых, – и тут подъехала раздолбанная машина, из нее вылез маленький человек в растянутом свитере и в

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru соломенной шляпе с провисшими полями. Это был монах из местного монастыря, и он с радостной улыбкой стал нам рассказывать, какие достопримечательности можно увидеть с этой точки при свете дня. Мы поблагодарили и отправились в путь, и уже в дороге доктор сказал мне, что этот монах – известный в Израиле человек, брат Даниэль Штайн. Только на следующее утро, когда я уже сидел в аэропорту, ожидая рейса в Париж, я сообразил, что это был Дитер Штайн, о котором я даже писал в своей «партизанской» книжке. Это именно он вывел народ из Эмского гетто. В том числе и твою беременную мать! Ты все спрашиваешь, кто твой отец. Вот этот человек сделал для твоей жизни больше, чем отец. Благодаря ему ты вообще родилась. Потому что если б он не организовал побег, всех убили бы.

И вот, из-за медлительности моей реакции, я упустил возможность пожать руку одному из настоящих еврейских героев.

Когда ты соберешься навестить свою мать, постарайся разыскать его. Тебе как католичке будет о чем с ним поговорить.

Мирка передает тебе привет и приглашает к нам в Париж. Мы сменили квартиру и живем теперь очень удачно – недалеко от рынка Муфтар, в пятнадцати минутах хода от Люксембургского сада. Комната для вас найдется. Только предупредите заранее, потому что у нас часто гостят разные люди.

Целую тебя, дорогая Эва.

Твой Павел.

15

Апрель, 1986 г., Санторини.

Письмо Эвы Манукян к Эстер Гантман

Дорогая Эстер!

Наши планы немного нарушились, потому что, когда мы прилетели в Афины, Гриша в гостинице встретил своего приятеля Сему, тоже математика и бывшего москвича, и он уговорил нас поменять маршрут – вместо Крита плыть на остров Санторини. Сначала я была не особенно довольна, потому что про Крит я хоть что-то знала, а слово «Санторини» я вообще услышала в первый раз. Но тут меня удивил Алекс – он пришел в полный восторг, сказал, что читал про этот остров, что он представляет собой остаток погибшей Атлантиды, и через два дня, поболтавшись по Афинам, сели на корабль и через семь часов оказались на Санторини. Замечу тебе, что Афины не произвели на меня особого впечатления, скорее разочаровали. Здесь древняя история находится в полном отрыве от современной жизни: торчат античные обломки – пара таких колонн прямо перед окнами гостиницы, а вокруг все застроено паршивыми пятиэтажками, – моя подруга Зоя живет точно в такой возле Тимирязевской академии в Москве. И народ, на мой взгляд, не имеет ничего общего с теми древними греками, о которых написано у Гомера. Восточный народ, больше напоминающий турок, чем европейцев. В Израиле, в отличие от Греции, есть ощущение, что продолжается именно та самая жизнь, которая когда-то была, что она не исчезла, и даже люди все те же самые – носы, и глаза, и голоса. Такое мимолетное впечатление.

Но когда мы подплыли к острову Санторини, у меня просто перехватило дух. Остров в форме узкого серпа, посреди большого залива – остаток кратера вулкана, говорят, он не совсем потухший, временами из него что-то выбивается. Раз в сто лет, что ли... Мы подплыли к отвесному берегу, метров четыреста вверх, а наверху город Фира, маленькие белые домики. Такая же отвесная стена – вниз на огромную глубину. Представь, это внутренняя стена взорвавшегося три с половиной тысячи лет назад вулкана. Остров состоит из остатков вулкана и остатков собственно острова, они как будто бы сплелись вместе. Мы здесь уже третий день, а у меня все еще не проходит это чувство, что дыхание перехватило и не отпускает. Островок крохотный – мы взяли машину и в первый же день объехали весь.

В который раз я оценила Гришу – он знает абсолютно все. Рассказывает и показывает какие-то геологические пласты, как они проходят. Потом полдня сидел и что-то вычислял на бумажке, злился, что не взял компьютера. Сказал, что действительно, приливная волна могла дойти до Крита и разрушить Кносский дворец.



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Не знаю, правда, зачем это надо было вычислять, если об этом во всех  
путеводителях написано. Ты знаешь, я всегда была любительницей путешествий, а  
теперь твердо уверена, что нет на свете лучшего занятия. Мне очень жаль, что ты  
не смогла с нами поехать. Ты должна здесь побывать ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Ты знаешь, что я больше люблю прогулки по магазинам, чем по лесам-горам, но  
здесь что-то особое: я впервые почувствовала, просто своими глазами увидела,  
величие Творца. В обычной жизни этого не чувствуешь, а тут как будто глаза  
открываются. Я даже в Израиле этого не ощущала. Правда, там все открытия  
касаются истории, которую начинаешь видеть как реку, берега которой постоянно  
меняются, а она течет как ни в чем не бывало. А здесь – природа такой мощи, что  
она сама по себе исключает возможность того, что Бога нет. Я глупости пишу, но  
ты меня, конечно, поймешь. Здесь рука Господа, и этого нельзя не видеть. Именно  
Творца, которому нет дела до мелких распрей людишек по поводу того, как  
правильно веровать. Жаль, что твой муж уже не сможет этого увидеть. Еще меня  
восхищают мои мальчики – Гришка с Алексом. Они облазали здесь каждый камень. Я  
больше сижу на балконе и смотрю по сторонам. Или на пляже – песок, между прочим,  
вулканического происхождения, почти черный. Но на другом пляже есть и красный, и  
белый. Волшебство. А мальчики мои накупили книжек и учат греческий язык! Алекс  
говорит, что хочет выучить еще и древнегреческий.

Тем временем у нас с Гришей образовался какой-то медовый месяц, и все вместе  
взятое делает меня счастливой как никогда в жизни. Я тоже накупила множество  
книжек и открыток, Алекс непрестанно щелкает новым аппаратом, так что со  
временем получишь полный отчет. Я лежу на жарком солнце в полуденные часы, когда  
все нормальные люди уходят, – а у меня только через три дня прошло ощущение  
вечного холода в спине.

Целую тебя. Мне ужасно жалко, что ты с нами не поехала. Я уверена, что если бы  
ты была здесь, то было бы еще лучше.

Твоя Эва.

P. S. Когда я думаю, что вместо этой волшебной поездки я должна была бы сидеть  
возле матери в Хайфе и слушать ее проклятия, мне немного стыдно. Но вместе с тем  
не жалею.

16  
1960 г., Акко.

Из дневника Жюльена Сомье

Вчера вечером позвонил мужчина, спросил, не могу ли я давать ему уроки арабского  
языка. Срочно. Меня это очень позабавило – срочное изучение арабского языка.  
Просил начать немедленно, прямо сейчас. Я попросил его приехать все-таки не сию  
минуту, а хотя бы завтра. Сегодня довольно рано утром, на час раньше  
назначенного времени, стук в дверь. Стоит в дверях монах в коричневой рясе  
кармелита – маленького роста, круглые карие глазки, улыбается как ясное  
солнышко. Представился – брат Даниэль. И сразу начал меня благодарить: как это  
прекрасно, что я не отказал ему.

Я еще не выпил кофе, предлагаю ему немного подождать с занятиями, а сначала  
выпить кофе. Да, да, конечно! Говорим мы на иврите. Он рассказывает, что около  
года назад приехал в Израиль из Польши, что у него есть небольшая группа  
католиков, для которых он сюда и приехал. Своего здания у их общины нет, но одна  
арабская церковь согласна предоставить им свое помещение для богослужений в  
определенные часы.

– Они такие славные люди, эти арабы, и я почувствовал, что, живя в Хайфе, где  
столько арабов-христиан, как-то неловко не знать арабского. Я всю жизнь языки  
изучал на бегу, со слуха или по учебнику, но арабский все-таки требует хоть  
какого-то одного курса, занятий шесть-восемь, – говорит он быстро, энергично,  
весело.

Я смотрю на него с изумлением: наивность, самонадеянность или глупость? Когда я,  
головы не поднимая, начал изучать арабский язык, только на третий год занятий  
стал понимать устную речь, а он хочет шесть-восемь уроков. Но я промолчал.

Сначала он показался мне довольно болтливым, потом я догадался, что у него легкая форма иерусалимского синдрома: это возбуждение, которое испытывает каждый верующий человек, вне зависимости от его конфессии, когда оказывается впервые в Израиле. Когда я в 47-м приехал сюда впервые, у меня было острее ощущение огня под ногами. Мне физически жгло ступни. Могу себе представить, насколько это чувство острее у евреев, если у меня, француза, это возбуждение не проходило несколько месяцев.

Я дал ему сдвоенный урок – он довольно быстро усваивает звуки. Такое впечатление, что он очень одарен лингвистически. Уходя, он сказал мне, что сейчас у него нет денег, чтобы платить за уроки, но он непременно рассчитается со мной при первой же возможности. Это самый оригинальный частный ученик из тех немногих, что у меня за эти годы были. Да! Увидел карточки на столе – спросил. Я сказал, что занят составлением ивритско-арабского словаря, и меня интересует в особенности палестинский диалект. Он ручки раскинул и бросился целоваться. Роста он премаленького – еле достает мне до плеча. Очень экспансивный человек. Но проницательный – уходя, спросил: ты не монах?

– Я – учитель французского языка в арабской католической школе для девочек, – сказал я ему, а что состою в общине «малых братьев», умолчал.

– О, французский! – обрадовался он. – Это просто прекрасно! Мы еще немного будем заниматься французским!

Неужели во мне издали видно монаха? Никогда не приходило это в голову.

17  
1963 г., Хайфа.

Письмо Даниэля Штайна Владиславу Клеху

Дорогой Владек!

Я попробую объяснить тебе, что происходит. Мои представления о стране, которую я заочно так любил, не совпали с реальностью ни в одной точке. Я не нашел здесь ничего из того, что ожидал найти, однако то, что я увидел, сильно превзошло мои ожидания. Я ехал в Израиль как еврей и как христианин – Израиль принял меня как героя войны, но не признал во мне еврея. Мое христианство оказалось для моего народа камнем преткновения. Все эти годы, что я здесь, я не хотел писать тебе об этой длинной судебной истории, наконец все завершилось, и я рассказываю перспективно, что происходило. Сложности с иммиграционной службой начались еще в Хайфском порту. Я считал, что имею право приехать в Израиль по закону о возвращении, который был написан для евреев, желающих приехать в Израиль из любой страны мира, где они проживали до создания государства, на постоянное место жительства. И в этом случае евреем считался каждый, кто рожден от матери-еврейки и считает себя евреем. Молодой чиновник, увидев мою рясу и крест, наморщив лобик, сообразил, что я христианин. Я подтвердил его ужасную догадку и добил его, сообщив, что профессия моя – священник, а национальность – еврей. Собралась целая компания таможенных и иммиграционных мудрецов, которые долго судили и рядили, и в графе «этническая принадлежность» поставили прочерк.

Это и было началом длинной истории, которая вылилась в бесконечный судебный процесс, который длился три года и завершился месяц назад. Процесс я проиграл. Это была нелепая морока – я просил разрешения у начальства в «Стелла Марис», они запрашивали свое руководство, потом мне разрешили подавать в Верховный суд Израиля, но надо было еще достать денег на этот процесс. Все меня отговаривали, но, ты знаешь, я упрям, а они оказались еще упрямее. Они не дали мне гражданства как еврею, но мне обещано гражданство «по натурализации». Так что скоро стану израильским гражданином, но без права называть себя евреем в Израиле. Вот приеду в Польшу или в Германию – там я для всех еврей, но только не для Государства Израиль. В моем удостоверении написано: «Национальность не определена». Так что можно считать, что я одержал какую-никакую победу в борьбе с гестапо и НКВД, но потерпел полное поражение от рук израильских чиновников.

Ты, естественно, спросишь, зачем мне все это было нужно? Владек, я думал о тех евреях-христианах, которые приедут в страну после меня. Ты и представить себе не

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) можешь, какая была шумиха вокруг этого процесса, судьи и равнины перессорились. Такой задачи я не ставил.

Я хотел бы, чтобы некоторые еврей-христиане – а их в мире немало – могли вернуться в Израиль, и восстановилась бы церковь Иакова, Иерусалимская община, ведущая свое происхождение от той последней трапезы Учителя с Учениками, которую почитают все христиане мира. Пока не получается. Но несмотря ни на что, есть небольшая группа католиков, преимущественно поляков, среди них есть и несколько крещеных евреев. Мы собираемся в арабской церкви, где наши братья дают нам возможность служить мессу в воскресенье вечером, после их службы.

Очень благодарен тебе за присылку журналов. Признаюсь, что ты – единственный для меня источник церковных новостей. В монастыре нашем живут вне времени, современные католические издания редко попадают в руки, зато библиотека полна такого рода литературой, до которой я не большой охотник. Хотя порой и бывает интересно. Ты не пишешь, как здоровье патера? Сделали ли ему операцию?

Братский привет.

Даниэль.

18

1959–1983 гг., Бостон.

Из записок Исаака Гантмана

Мне попала израильская газета с новостью, возвратившей меня в памяти к событиям двадцатилетней давности. Весной 45-го года, когда мы с Эстер первым же поездом выехали из Белоруссии в Польшу, с нами ехал молодой еврей Дитер Штайн, который сыграл решающую роль в спасении части людей из Эмского гетто. То есть это был тот человек, который спас нам жизнь. Сперва мы ничего о нем не знали. Известно было только, что Штайн нам чем-то помог, что немцы его задержали, приговорили к расстрелу, но он бежал – в городах, как нам рассказывали, были расклеены листовки с его портретом: разыскивается... Была объявлена значительная сумма за его поимку.

Познакомились мы позже, когда он объявился в отряде Дурова. Там его едва не расстреляли. К счастью, меня как раз привезли в отряд, чтобы прооперировать раненого, я оказался рядом и поручился за него. Таким образом, мне удалось спасти жизнь своему спасителю.

Детали нашего разговора при встрече в поезде, спустя два года, из моей памяти выветрились. Молодой человек произвел на меня впечатление экзальтированного: говорил о поступлении в католический монастырь. Но в те времена неуравновешенность была нормой... Нормальные люди погибали в первую очередь. Выживали единицы, наделенные особой психической силой и известной грубостью – испытание это было не для тонко организованных людей. Будь я психиатром, я написал бы исследование об изменении психики в экстремальных условиях партизанского лагеря. Впрочем, это была бы только одна часть большой книги о тюрьмах и лагерях. Такая книга нужна, и ее еще напишут. Не я. Надеюсь, напишут другие.

Те психические сдвиги, которые я наблюдал в этом юноше, были направлены на «благородную» цель, и объяснялись они, вероятно, неприятием наблюдаемых видов деятельности. Неприятие это побудило его уйти в монастырь... Это было движение эскапизма.

В последующие годы я потерял Дитера Штайна из виду. Хотя кое с кем я продолжал поддерживать связи, но sporadически. Большинство уцелевших «партизанских» евреев оказалось в конце концов в Израиле и отчасти в Америке, но это все были «ам хаарец», совсем простые мужики, а я не настолько сентиментален, чтобы встречаться с ними чаще, чем раз в десятилетие.

Возвращаясь к монаху Дитеру Штайну. Уже живя в Америке, я постоянно просматривал израильские газеты и году в шестидесятом обнаружил, что израильские газеты полны его фотографий. Оказывается, Дитер Штайн приехал на жительство в Израиль. Он поступил в монастырь «Стелла Марис» на Кармеле. И тогда же возбудил судебный

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru процесс против Государства Израиль, требуя предоставления израильского гражданства по «закону о возвращении».

В газетах эта новость тогда сопровождалась довольно удивительными дискуссиями. Я ощутил, что на этом месте прорывалось скрытое напряжение. Штайн представлял собой странный казус: с одной стороны, Штайн – герой войны, совершивший подвиг, с другой – ему еще пришлось и оправдываться, что он служил в гестапо, потому что сама по себе эта служба рассматривается как преступление.

Вдобавок к этому Штайн был католическим священником. Христианином. Живя в Израиле, я чувствовал, до какой степени единство и жизнь страны определяются дружным сопротивлением окружающему арабскому миру. В статьях проскальзывал еще один мотив, который обычно предпочитают не формулировать вслух: само существование Израиля не гарантировано ничем, кроме постоянного сопротивления угрожавшему арабскому миру. К этому добавляется еще одно обстоятельство, о котором умалчивают из соображений политической вежливости, – по глубокой убежденности евреев, произошедшая катастрофа созрела в недрах христианской цивилизации и выполнена руками христиан. Хотя нацистское государство и отделяло себя от церкви, и многие христиане не только не одобряли убийство евреев, но и спасали их, но нигде нельзя уйти от факта, что двухтысячелетнее официальное христианство хотя и руководствовалось заветами христианской любви, но несло в себе неистребимую ненависть к евреям. Поэтому Штайн, принявший христианство, рассматривается многими евреями как предатель национальной религии, перешедший на сторону «чужих».

Штайн же, со своей стороны, требовал израильское гражданство согласно закону о возвращении. Закон предоставляет такое право каждому, кто считает себя евреем и кто рожден от еврейской матери. Штайн получил тогда немотивированный отказ, после чего обратился в Верховный суд.

Казус был в том, что гражданство ему предоставляли, но не по закону о возвращении, а через натурализацию. Он же требовал признания своего еврейства, то есть требовал формальной записи «еврей» в графе «этническая принадлежность», что полностью соответствует еврейскому закону, Галахе.

Все это наводит на размышления о том, что гражданские законы должны быть четко отделены от религиозных и что имеет место нестыковка теократических идеалов с демократическим устройством современного государства.

Вчера я прочитал в израильской газете, что в конце концов Штайн проиграл судебное дело. Это представляется мне верхом идиотизма: если нашелся один католик, который хочет быть евреем, почему бы ему этого не разрешить?

Хотелось бы знать, симметрична ли эта ситуация с христианской стороны и желательное ли лицо Штайн в среде католической.

19  
Февраль, 1964 г., Иерусалим.

Письмо Хильды Энгель священнику Даниэлю Штайну

Дорогой отец Даниэль!

Вы меня, скорее всего, не помните. Меня зовут Хильда Энгель. Мы встретились в кибуце в Изреельской долине, где я работала и учила иврит, а вы привезли группу и ночевали в кибуцной гостинице. Я кормила вашу группу – меня обычно запоминают, потому что я выше всех ростом. Сразу вам скажу, что пишу я по той причине, что хочу с вами работать. Я очень много думала о том, что вы говорили после ужина, когда мы собрались в столовой, и это как раз то, что я ищу. Сразу я вам не написала, потому что поняла, что, если я не буду иметь соответствующей специальности, я буду вам плохим помощником. Я закончила в Мюнхене курсы приходских служащих – там готовят помощников священников и социальных работников для церкви – и снова вернулась в Израиль. Пока я нахожусь в миссии в Иерусалиме, здесь у меня почти канцелярская работа, и, конечно, не ради этого я так рвалась сюда, в Израиль.

Так получилось, что я о вас знаю много, а вы про меня ничего. Поскольку нам

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) предстоит работать вместе, я сейчас все о себе расскажу, это важно.

Моя семья родом из Восточных земель. До сих пор недалеко от границы с Польшей, под городом Шведт, разрушается поместье моего прадеда. Он был богатый и знатный человек с политической карьерой. Дед мой во времена Рейха был генералом, членом нацистской партии. Он был военный специалист, даже ученый. Во всяком случае, я знаю, что он имел отношение к немецкому ракетному вооружению. Я ношу фамилию моего отца и фамилии моего деда очень долго даже не знала. Мать мне никогда ничего не говорила. Отец мой погиб на Восточном фронте в 44-м году. После войны мать уехала в Западную Германию, вышла замуж за моего отчима, и у меня есть еще трое полубратьев. С одним из них меня связывает дружба, двое других – совершенно чужие люди. Как и отчим. Прошлого его мне неизвестно, он торговец и человек недалекий. Все мое детство прошло в молчании. У нас в семье вообще ничего не говорили. Боялись вопросов, боялись ответов. Молчание было всего удобнее. По воскресеньям нас водили в церковь, но и там не завязывалось никакого общения. В маленьком городке под Мюнхеном, на берегу Старнбергского озера, где отчим купил большой дом в начале пятидесятых годов, жило очень много людей, которые не хотели говорить о своем прошлом. Когда мне было четырнадцать лет, мне в руки попала книга Анны Франк. Я и до этого знала об уничтожении евреев. То есть что-то слышала вполуха, но сердце мое было совершенно глухим. А эта книга разбила мне сердце. Я чувствовала, что не должна ничего спрашивать у матери. Тогда я стала читать.

Позже я все-таки спросила у нее, что делала наша семья для спасения евреев. Мать сказала, что ей так трудно жилось во время войны, что было не до евреев. И вообще она ничего не знала тогда ни о лагерях, ни о газовых печах. Я пошла в городскую библиотеку, и оказалось, что там множество литературы и кинофильмов. Более того, оказалось, что недалеко от Мюнхена был огромный лагерь уничтожения Дахау. Больше всего меня потрясло то, что там живут люди, спят, едят, смеются – и ничего!

Потом к нам приехала в гости мамина двоюродная сестра из Шведта, и от нее я узнала, что дед мой покончил самоубийством за неделю до капитуляции Германии. Она же и назвала мне фамилию деда. Если бы он не застрелился, его бы, наверное, повесили как военного преступника. Тогда я поняла, что хочу посвятить свою жизнь помощи евреям. Конечно, историческая вина немцев огромна, я как немка разделяю ее. Я хочу работать теперь на Государство Израиль.

Я католичка, участвовала в детском церковном движении, и когда я попросилась на эти церковные курсы, мне тут же дали рекомендацию. Теперь я их закончила, прошла практику по работе с трудными детьми и работала три месяца в хосписе. Опыт у меня небольшой, но я готова учиться. У меня также есть некоторые навыки в бухгалтерской работе и уже довольно приличный иврит. Я не решилась писать вам на иврите, потому что не хотела, чтобы вы получили письмо с ошибками, к тому же все-таки мне гораздо проще выражать свои мысли по-немецки.

Мне двадцать лет. Я физически сильная. Я могу работать и с детьми, и со стариками. У меня нет хорошего образования. Когда-то я думала поступать учиться в университет. Но теперь мне кажется, что это не обязательно. Я жду вашего ответа и готова немедленно приехать в Хайфу, чтобы начать работать с вами.

С уважением, Хильда Энгель.

Март, 1964 г., Хайфа.

От Даниэля Штайна – Хильде Энгель

Дорогая Хильда!

Ты мне написала по-немецки, а я отвечаю на иврите: будет тебе упражнение. Ты мне написала очень хорошее письмо, я все понял. Я был бы рад с тобой работать, но у нас очень маленький приход, совсем нет денег, чтобы платить зарплату. А без зарплаты как ты здесь проживешь? Сам я живу в монастыре. А тебе пришлось бы снимать квартиру. Поэтому я думаю так: если у тебя в миссии будет свободное время, ты всегда можешь приехать в Хайфу на службу, познакомиться с нашими

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya1udmila.ru](http://ulitskaya1udmila.ru) прихожанами, пообщаться с ними. Обычно после службы мы проводим вместе несколько часов – небольшая трапеза, иногда совместное чтение Евангелия, потом разные беседы. Позвони мне по телефону, когда соберешься ехать, и я тебя встречу на автостанции. Иначе ты нас не найдешь, это непростое дело.

Господь с тобой.

Брат Даниэль.

Я предпочитаю такое к себе обращение,  
не возражаешь?

Май, 1964 г., Иерусалим.

От Хильды Энгель – Даниэлю Штайну

Дорогой брат Даниэль!

Моя мама всегда говорила, что мое упрямство прошибает стены. Я написала в наше мюнхенское управление, потом позвонила еще раза три, и они обещали мне, что постараются сделать так, чтобы моя штатная единица (помощник пастора) была переведена из Иерусалима в Хайфу. Я сказала, что выучила иврит, но не знаю арабского, и это создает трудности общения с местными католиками, которые исключительно арабы. Обещали с ответом не задерживать, но просят от тебя письма, что я тебе действительно нужна в твоей церкви. Ниже ты найдешь адрес, по которому тебе надо написать, и тогда через месяц я буду в Хайфе. Ура!

Хильда.

Да! Я звонила матери, сказала, что я теперь буду работать помощником священника в еврейской церкви, и она сказала, что я сумасшедшая! Она решила, что я иду работать в синагогу! Я оставила ее в заблуждении и не стала ничего объяснять. Пусть так и думает.

Июнь, 1964 г., Хайфа.

От брата Даниэля – Хильде Энгель

Деточка!

Ты забыла половину своих вещей – свитер, один ботинок (а второй, интересно, был у тебя на ноге или у тебя была еще пара обуви в запасе?), учебник иврита, а также детективный роман на английском языке и очень плохого качества. Собрав все эти вещи в кучку, я решил, что быть посредником священника – твое подлинное призвание.

С любовью, брат Д.

20

Ноябрь, 1990 г., Фрайбург.

Из бесед Даниэля Штайна со школьниками

Мы знаем, что многие современные христиане не совершают совместных богослужений, потому что исторически они разделились из-за богословских разногласий. Когда-то единая церковь была разделена на три главные – католическую, православную и протестантскую. Но есть еще множество малых церквей, некоторые насчитывают всего несколько сот членов, но с другими христианами у них нет литургического общения – они не молятся вместе, не совершают совместных богослужений. Такие расколы в среде христиан – схизмы – иногда были очень острыми и даже приводили к

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskayaLudmila.ru](http://ulitskayaLudmila.ru)  
религиозным войнам.

У евреев тоже был такой раскол в конце XVIII века. Тогда возникло два течения – хасидов и традиционалистов – митнагдим. Они друг друга не признавали, хотя до войны дело никогда не доходило. Еврейские жители Польши принадлежали главным образом к хасидскому миру, а Вильно (так тогда называли Вильнюс) оставался городом «традиционным». Хасиды были мистиками, впадали в молитвенный экстаз, к тому же придавали большое значение изучению Каббалы и ожидали скорого прихода Мессии. Последнее роднит хасидов с некоторыми христианскими сектами.

Вильно в последние два столетия был столицей евреев традиционного направления. До сегодняшнего дня различия в этих течениях интересуют только религиозных евреев. Но нацистов эти тонкости совершенно не интересовали – они поставили перед собой задачу уничтожить всех евреев – хасидов, митнагдим и вообще неверующих. Это был этнический геноцид.

Когда мы, молодые евреи с польской окраины, в декабре 39-го года попали в город Вильно, он предстал не только большим городом европейского государства, но еще и столицей западного еврейства. Его часто называли в те годы «литовский Иерусалим». Население состояло почти наполовину из евреев.

Когда мы туда попали, Вильно по пакту Риббентропа – Молотова как раз отошло к Литве, и литовцы начали вытеснять поляков. Это был короткий период независимости Литвы, и нам казалось, что наша мечта сбывается: скоро мы попадем в Палестину. Мы не понимали, что попали в ловушку, которая вот-вот захлопнется. В июне 1940 года Литву оккупировала Красная Армия, еще через полтора месяца Литва вошла в состав Советского Союза. В июне 1941 года Вильно было занято войсками вермахта. Но мы не могли предвидеть такого поворота событий.

Вильно нам очень понравился, мы поднялись на гору Гедиминаса, погуляли по еврейским кварталам и прошли по набережным. Город имел особый запах, с оттенком печного дыма. Угля почти не было, город топили дровами. Кстати, благодаря этому мы нашли работу: в первую зиму мы зарабатывали на жизнь тем, что кололи дрова и разносили их по квартирам, на верхние этажи вильнюсских домов.

В городе еще работали разные еврейские организации, в том числе и сионистские, и мы сразу с ними связались. Для выезда в Палестину надо было получить специальный сертификат. Их выписывали бесплатно тем, кто не достиг восемнадцати лет. Шансы моего брата на выезд были неплохи, а мои – очень низки. Ему было шестнадцать лет, а мне уже исполнилось восемнадцать.

Надо было как-то выживать, дожидаясь сертификата. Мы организовали кибуц – общину, в которой все вместе работают и не имеют личного дохода. Как в монастыре. Поселились мы в довольно просторном доме, у каждой группы была своя комната, единственная у нас девушка вела хозяйство, все остальные работали, и работа порой была очень тяжелой. Сначала я вместе со всеми работал дровосеком, а потом мне предложили пойти в ученики к сапожнику. Сапожник был очень бедным, с кучей детей, и я проводил у него почти весь день: после работы оставался с детьми, помогал им готовить уроки. Но сапожному делу я научился и до сегодняшнего дня сам чиню свои сандалии.

Наладилась связь с нашими родителями – через Красный Крест. Мы списались с ними. После расставания они вернулись домой, но их тут же переселили в другую область Польши. Красный Крест пересылал письма. Последний раз родителей видели живыми наши двоюродные братья, некоторое время они жили все вместе в одном местечке. Потом вестей не стало. Мы точно не знаем, в каком из лагерей смерти они погибли.

В последнем письме от матери, которое до нас дошло, она умоляла нас ни в коем случае не расставаться.

Но мы расстались: брат получил сертификат на выезд в Палестину. Он уехал туда по очень опасному маршруту – через Москву и Стамбул. Это произошло в январе 1941 года. Тяжелое расставание – никто не знал, встретимся ли мы когда-нибудь.

С отъезда брата события развивались самым драматическим образом: 22 июня 1941 года началась русско-германская война. Через час после объявления войны началась бомбардировка. Через три дня русские сдали город.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Нас в этот момент в городе уже не было, мы решили уходить, и уже отошли от города километров на шестьдесят, пока не обнаружили, что находимся на территории, занятой немцами.

Вернулись в Вильно. Узнали удручающие вести: в день, когда Красная Армия покинула Вильно, стихийно организовались литовские банды, которые начали убивать евреев еще до взятия города немцами. Впоследствии в состав немецких карательных отрядов вступила большая группа литовцев.

Вступили в действие антиеврейские законы: конфискация собственности, запрещение появляться в людных местах, запрещение ходить по тротуарам. Наконец, потребовали обязательного ношения отличительного знака – звезды Давида. Начались аресты.

Я в то время был так наивен, что не мог поверить, будто у немцев существует продуманная система по уничтожению евреев. Меня воспитали в уважении к немецкой культуре, и я спорил с друзьями, убеждая их, что отдельные факты насилия и издевательства – следствие беспорядка. Я просто не мог в это поверить. Все происходящее казалось нелепостью и ошибкой. Я твердил: «Этого не может быть! Не верьте сплетням! Немцы скоро наведут порядок!»

Действительно, настоящего немецкого порядка мы еще не видели!

Начались облавы на евреев на улицах города, люди исчезали. Поползли слухи о расстрелах. Я полностью отвергал очевидное.

Все сионистские организации, которые еще оставались в городе, были разогнаны. О Палестине можно было забыть. Я решил разыскать родителей через Красный Крест и пробиваться к ним. По дороге в приемную Красного Креста я попал в очередную облаву на евреев, и меня арестовали.

С этого первого задержания 13 июля 1941 года до конца войны я мог быть убит каждый день. Даже можно сказать, что я много раз должен был погибнуть. Каждый раз чудесным образом я бывал спасен. Если человек может привыкнуть к чуду, то за время войны я привык к чуду. Но в те дни чудеса моей жизни только начинались.

Что вообще называют чудесами? То, чего прежде никто не видывал, что никогда не случалось? То, что выходит за пределы нашего опыта? Что противоречит здравому смыслу? Что маловероятно или случается так редко, что такому событию нет свидетелей? Например, в середине июля в городе Вильно вдруг выпал бы снег – это чудо?

Исходя из моего опыта, я могу сказать: чудо узнается по той примете, что его творит Бог. Значит ли это, что чудеса не происходят с неверующими? Не значит. Потому что ум неверующего человека так устроен, что он будет объяснять чудо естественными причинами, теорией вероятности или исключением из правил. Для верующего человека чудо – это вмешательство Бога в естественное течение событий, и ум верующего человека радуется и наполняется благодарностью, когда чудо происходит.

Атеистом я никогда не был. Осознанно молиться начал лет в восемь, и просил я у Бога, чтобы он послал мне учителя, который научил бы меня правде. Я представлял себе учителя красивым, образованным, с длинными усами, похожим на президента Польши тех лет.

Такого усатого учителя я не встретил, но Тот, Кого я встретил и Кого я называю Учителем, долгое время разговаривал со мной именно на языке чудес.

Но прежде чем научиться читать на этом языке, надо было научиться различать его буквы. Задумался я об этом после первой облавы, когда нас с другом схватили на улице.

Из полицейского участка группу задержанных евреев повели на работу – колоть дрова в немецкой пекарне. Впервые на моих глазах два немецких солдата едва не насмерть забили молодого человека, который плохо колот лопатой. Мы с приятелем еле дотащили его до двора тюрьмы Лукишки, куда нас загнали после длинного рабочего дня. Двор был забит евреями – одни мужчины. Потом у нас отобрали вещи и документы и велели всем ответить на анкетные вопросы. Когда спросили, кто я по специальности, я колебался, что говорить: дровосек или сапожник. Подумав, я



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru решил, что сапожник я более умелый, чем дровосек. Так и сказал. И тут произошло чудо. Офицер крикнул: «Эй, отдайте Штайну вещи и документы!»

Меня вывели на лестницу. Потом присоединили еще несколько человек. Все они были сапожники. Сапожники, как потом выяснилось, понадобились гестапо по той причине, что у еврейских торговцев конфисковали большой склад кожи, и местное немецкое начальство решило распорядиться с этой кожей по-хозяйски – не отправлять в Германию, а шить себе обувь. Из тысячи человек, задержанных в той уличной облаве, только двенадцать были сапожниками. Мне позже сказали, что всех остальных расстреляли. Я не поверил.

Кожи было так много, что работа сапожников затягивалась. Первые шесть недель нас не выпускали из тюрьмы, а потом выписали пропуск с печатью гестапо и отпустили по домам. Теперь мы должны были приходиться в тюремную обувную мастерскую на работу.

Однажды, когда я возвращался домой, какой-то крестьянин на телеге предложил подвезти. Я не подозревал тогда, что встреча с этим человеком – Болеслав Рокицкий его звали – сама по себе чудо. Мы ведь знаем, как много людей, на чьей совести погубленные жизни. А он был из тех, кто спасал. Но я тогда мало что понимал.

Болеслав жил на хуторе в двух километрах от Понар. Он сказал мне, что в противотанковых рвах, выкопанных красноармейцами перед отступлением, уже похоронили около тридцати тысяч евреев. Расстрелы идут круглосуточно. Я опять не поверил.

Болеслав предложил мне перебраться к нему в усадьбу, где, как он считал, самое безопасное место.

– На еврея ты не похож, говоришь по-польски как поляк. На тебе же не написано, что ты еврей... Объявишься поляком.

Я отказался. У меня была немецкая справка с печатью, что я работаю сапожником в гестапо, и я считал, что она сохранит меня.

Через несколько дней, возвращаясь с работы, я опять попал в облаву. Перекрыли улицу и всех проходящих в толпе евреев загоняли в закрытый внутренний двор, каменный мешок с единственным входом – тяжелыми металлическими воротами. Облаву проводили литовские охранники в нацистской форме. Они отличались особой жестокостью. Вместо оружия у них были деревянные дубинки, и они прекрасно ими орудовали. Я подошел к литовцу-офицеру и протянул свою бумагу. И объяснил, на кого я работаю. Он порвал мой драгоценный пропуск и вклеил мне пощечину.

Всех евреев загнали во двор, ворота заперли. Дома, образующие внутренний двор, были пустыми, людей из них уже выселили. Некоторые попытались укрыться в пустых квартирах, кто-то полез в подвал. Я тоже решил спрятаться в подвале. Как и во многих виленских домах, в подвалах были кладовые для хранения овощей, разделенные на отсеки. Я нащупал в темноте какую-то дверку, но она оказалась заперта. Тогда я раздвинул доски и проскользнул внутрь. Овощей никаких там не было, все маленькое помещение было завалено старой мебелью. Я спрятался.

Через несколько часов приехали грузовики, раздались слова немецких команд. Потом появились немцы с фонарями и начали поиски. Это сильно напоминало игру в прятки, только у проигравшего не было шанса отыграться. Через щели между досок на меня брызнул свет.

– Здесь висит замок. Пошли. Больше никого нет, – услышал я, и луч фонарика исчез.

– Смотри-ка, здесь щель между досками, – ответил второй.

Никогда еще я так горячо не молился Богу.

– Ты смеешься? Сюда и ребенок не пролезет...

Ушли. В полной тишине я сидел час, другой. Я понимал, что надо как-то выбираться. Немецкий документ, выданный в гестапо, порвал литовский офицер.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Оставалась только ученическая карточка, полученная в 1939 году. Национальности нам не писали, стояло только имя – Дитер Штайн. Обычное немецкое имя. Я сорвал с рукава желтую звезду. Я принял решение: еврей остался в этом подвале. На поверхность выходит немец. Я должен вести себя так, как ведут себя немцы. Нет, поляки. Отец немец, мать полячка – так будет лучше. И родители умерли...

Я выбрался во двор. Уже светало. Как кошка, прижимаясь к стенам дома, я прокрался к воротам. Они были заперты. К тому же навешены они были близко к каменной кладке стены, что протиснуться в щель было невозможно. Камни тесно пригнаны один к другому. Без инструмента не выбить. Но инструмент у меня был с собой – небольшой сапожный молоток с гвоздодером на ручке! При входе во двор всех обыскивали, но молотка не нашли в сапоге. «Чудо, – подумал я. – Еще одно чудо».

Минут за пятнадцать я выбил два небольших камня. Образовавшееся отверстие было маленьким, но для меня достаточным. Я и сейчас, как видите, не очень крупный человек, а в те годы и пятидесяти килограммов не весил. Я проскользнул в щель и оказался на улице.

Было раннее утро. Из-за поворота вышел совершенно пьяный немецкий солдат в сопровождении толпы мальчишек, которые над ним издевались. Я спросил у него по-немецки, куда он направляется. Он протянул листок с адресом гостиницы. Я отогнал мальчишек и поволок пьяного немца по указанному адресу. Немец бормотал что-то невнятное, и из его бессвязного рассказа следовало, что он сегодня ночью участвовал в акции по уничтожению евреев.

Я должен вести себя так, как будто я немец. Нет, поляк... И я молчал.

– Полторы тысячи, ты понимаешь, полторы тысячи... – Он остановился, его начало рвать. – Мне нет до них дела, но почему я должен этим заниматься? Линотипист, понимаешь ли, я линотипист... Какое мне дело до евреев?

Он не был похож на человека, которому понравилось расстреливать.

В конце концов я довел его до гостиницы. Никому и в голову не могло прийти, что пьяного немецкого солдата ведет еврей.

Вечером того же дня я разыскал ферму Болеслава. Он принял меня очень тепло. На ферме укрывались двое русских военнопленных, сбжавших из лагеря, и еврейская женщина с ребенком.

Ночью, лежа в чулане, накормленный, в чистой одежде, а главное, с ощущением безопасности, я был полон благодарности Богу, который потратил столько времени, чтобы вытащить меня из этой мышеловки.

Я быстро заснул, но через несколько часов проснулся от автоматных очередей. Они раздавались со стороны Понар, и теперь я уже не сомневался, что именно там происходит. Очень многое из того, с чем мне предстояло столкнуться, нормальное человеческое сознание не может принять. То, что происходило в нескольких километрах, было еще более немыслимо, чем любое чудо. У меня был личный опыт чуда как сверхъестественного добра. Теперь я переживал мучительное чувство, что нарушаются высшие законы жизни и творящееся зло сверхъестественно и противоречит всему мироустройству.

Несколько месяцев я прожил на ферме у Болеслава, работал в поле вместе с другими наемными рабочими. В середине октября немцы выпустили закон, карающий смертной казнью тех, кто укрывал евреев.

Я не хотел подвергать Болеслава опасности и решил уходить. Вскоре подвернулся случай: местный ветеринар, которого вызвали принимать роды у коровы, предложил мне перебраться в Белоруссию, где его брат жил в такой глуши, что немцы там не появлялись.

Настал день, когда я вышел на шоссе. Было очень страшно. Я шел и думал о том, что если мне не удастся победить страх, я не выживу. Мой страх меня выдаст. Это был еврейский страх – страх быть евреем, выглядеть евреем. Я подумал, что, только перестав быть евреем, я смогу выжить. Я должен стать таким, как поляки и белорусы. Внешность моя была достаточно нейтральной, к тому же изменить ее я все

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya.ludmila.ru равно не мог. Изменить я мог только свое поведение. Я должен вести себя как все.

Шоссе было заполнено немецкими машинами, время от времени мужчины голосовали, иногда их подсаживали. Женщины шли пешком. Они боялись голосовать. Я поборол страх и проголосовал. Остановился немецкий грузовик.

На третий день я добрался до места. Глухая белорусская деревня.

Но немцами она не была забыта: за неделю до моего приезда здесь были расстреляны все местные евреи. В самом большом строении располагалась школа, которую потеснили – отдали часть полицейскому участку. Там же в одной из комнат был склад, где хранили одежду. Ту, что забрали у еще живых и сняли с уже убитых.

Полицейские были в основном белорусы. Поляков было меньше, потому что в 40-м и в начале 41-го года около полутора миллионов поляков из восточных областей было депортировано в Россию.

В полицейском участке, куда я пришел через день, чтобы получить разрешение на проживание в деревне, меня принял полицейский секретарь, поляк, и моя легенда о родителях не вызвала у него подозрения. Мое ученическое удостоверение, единственный документ, было безупречным, а национальность в нем не указана. Польский язык был действительно для меня родным. В этом участке я получил новые документы, в которых значилось, что мой отец немец, а мать полячка. Я даже имел теперь право стать фольксдойчем, то есть этническим немцем. Но я не воспользовался этой привилегией. Моей привилегией оказалось знание немецкого языка.

Так я легализовался. На первых порах меня кормило сапожное ремесло. Денег не давали, расплачивались продуктами. Через некоторое время мне предложили должность уборщика в школе и комнатку в школьном здании. Соседнюю комнату занимал начальник полиции. В мои обязанности входила уборка, рубка дров и топка печей. Вскоре к моим обязанностям добавилось преподавание немецкого языка школьникам.

Начались морозы. Теплой одежды у меня не было. Однажды полицейский секретарь, в ведении которого был склад, предложил мне приодеться и открыл дверь забитой одеждой комнаты. Я испытал ужасное чувство – это были вещи убитых немцами евреев. Мне страшно было к ним прикоснуться. Что было делать? Я помолился, мысленно поблагодарил моих убитых соплеменников и взял поношенный овчинный тулуп и еще несколько вещей. Я не знал, долго ли мне еще суждено носить эту одежду.

Когда приезжало немецкое начальство, меня вызывали переводить. Я очень беспокоился – понимал, что мне надо как можно дальше держаться от немцев. Однажды в участок приехал начальник окружной полиции Иван Семенович. Это была белорусская организация в подчинении немцев, называлась она «Белорусская вспомогательная полиция германской жандармерии в оккупированных областях», и о ее начальнике шла дурная молва – он славился пьянством и жестокостью. С ним приехал и какой-то немецкий чин, и меня попросили переводить. Вечером Семенович вызвал меня и предложил остаться при нем – личным переводчиком и учителем немецкого языка.

Я не хотел работать на полицию. Для принятия решения у меня была ночь. Страшно подумать – мне, еврею, сотрудничать с полицией. Но уже тогда мне пришло в голову, что, работая с Семеновичем, я, наверное, смог бы спасти кого-то из тех, за кем охотится полиция. Сделать хоть что-то для людей, нуждающихся в помощи. Белорусы были очень бедным и забитым народом, боялись начальства, и даже такая ничтожная должность, как переводчик в белорусской полиции, в их глазах была значительна. Эта должность давала некоторое влияние.

И я принял решение работать на Семеновича и, как ни странно, почувствовал облегчение: даже на этой маленькой должности я мог быть полезен тем, кто нуждался в помощи. Многие просто не понимали, что от них требуют, и из-за этого подвергались наказаниям. Эта возможность возвращала мне достоинство, и только таким образом, делая что-то для других, я мог спасти свою совесть, свою личность. С первой же минуты новой службы я понимал, что малейший промах грозит мне смертью.

Я начал исполнять обязанности переводчика между немецкой жандармерией,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru белорусской полицией и местным населением. Я снял с себя последнее «еврейское наследство» – одежду расстрелянных евреев с полицейского склада. Теперь я надел черный полицейский мундир с серыми манжетами и воротником, галифе, сапоги и черную фуражку, но без изображения черепа. Мне даже выдали оружие. Черная форма была у частей СС, наша отличалась только серыми манжетами и воротником.

Так фактически я стал немецким полицейским в чине унтер-офицера. Я поступил на военную службу в том чине, в котором закончил ее мой отец. Никто не мог предвидеть такого поворота судьбы. Был декабрь 41-го года. Мне было 19 лет. Я был жив, и это было чудо.

21

Июнь, 1965 г., Хайфа.

Доска объявлений в приходе арабской католической церкви Успения Пресвятой Девы Марии в Хайфе

(Объявления на иврите и на польском)

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ!

15 ИЮНЯ В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА БУДЕТ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АМЕРИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕВРЕИ ЗА ИИСУСА».

ХИЛЬДА

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ!

ОРГАНИЗУЕТСЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЕЗДКА В ТАБХУ В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ПЕТРА И ПАВЛА. СБОР ВОЗЛЕ ЦЕРКВИ В 7 ЧАСОВ УТРА.

ХИЛЬДА

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ!

ДЛЯ ВНОВЬ ОРГАНИЗОВАННОГО ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ ТРЕБУЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, РАСКЛАДУШКА И НЕСКОЛЬКО КАСТРЮЛЬ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА.

ХИЛЬДА

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ!

ЗАНЯТИЯ И ЧТЕНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ОТМЕНЯЮТСЯ ИЗ-ЗА ОТЪЕЗДА БРАТА ДАНИЭЛЯ. ВМЕСТО НЕГО К НАМ ПРИЕДЕТ ПРОФЕССОР ИЕРУСАЛИМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ХАИМ АРТМАН И БУДЕТ РАССКАЗЫВАТЬ О БИБЛЕЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.

ХИЛЬДА

ЕСТЬ ДВУХЭТАЖНАЯ ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. ЕСЛИ КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО, ОБРАЩАТЬСЯ К ХИЛЬДЕ.

ДЕТСКИЙ ЧАС – ЗАНЯТИЯ РИСОВАНИЕМ.

ХИЛЬДА

22

1964 г., Хайфа.

Письмо Даниэля Штайна Владиславу Клеху

Дорогой брат!

Долго не отвечал на твое письмо и не поблагодарил за присылку журналов. Большое спасибо. К сожалению, пока я еще не прочитал. Видишь ли, я здесь оказался в кругу совершенно иных проблем, очень далеких от теоретических и богословских. Впрочем, мы знаем давно уже, что богословские проблемы всегда отражают те жизненные положения, в которых пребывает Церковь и люди, ее составляющие. Люди, которые меня окружают – их трудно назвать приходом в прежнем понимании, – ставят передо мной совершенно новые вопросы. Когда я работал в Польше, я имел дело с польскими католиками, воспитанными в определенной традиции, в рамках

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru национальной культуры. То, что я наблюдаю здесь, – совершенно другая картина. Зная, что Церковь католична, мы не всегда осознаем, что в практическом смысле всегда имеем дело с этнорелигией. Христианская среда, которая сложилась в Израиле, чрезвычайно разнородна, ее составляют множество церквей со своими традициями и пониманиями: даже католики представлены здесь очень разнообразно. Кроме моих собратьев-кармелитов, приходится общаться с маронитами, мелькитами и многими другими разновидностями, которые здесь представлены разными христианскими организациями, включая многие монашеские общины «Малых братьев Иисуса» и «Малых сестер Иисуса», и каждая из этих ветвей имеет свои особые черты и свое видение. К примеру, среди «малых братьев и сестер» есть пропалестинские и произраильские, и между ними особые разногласия. Одно такое Иерусалимское братство недавно даже закрыли: слишком тяжело жить с арабами, не разделяя их ненависти к евреям. Не говорю уж о разнообразных православных, между которыми тоже нет никакого согласия – Церковь Московской Патриархии находится в глубоком конфликте с зарубежниками и так далее до бесконечности. Я даже не пытаюсь охватить всю картину.

Но я как приходской священник постоянно сталкиваюсь с проблемами внутри моей малой общины. Польские женщины и их дети, венгры, румыны и отдельные люди, не ужившиеся в своих «национальных» домах, но придерживающиеся еще своих «домашних» традиций, с большим трудом проходят культурную ассимиляцию в новой стране. Что же касается евреев-католиков в остальном мире, то они, как правило, тоже чувствуют себя не особенно уютно в той среде, в которой живут. Но моим – особенно неуютно.

Только здесь, в Израиле, в этом столпотворении народов, я воочию убедился, что практически священник всегда работает не с абстрактными людьми, а с представителями определенного народа, и каждый народ имеет, по-видимому, свой собственный, национальный путь ко Христу, и, таким образом, в народном сознании возникает Христос-итальянец, Христос-поляк, Христос-грек, Христос-русский.

Мне же надлежит искать на этой земле, в среде народа, которому я принадлежу, Христа-иудея. Излишне говорить, что Тот, во имя которого апостол Павел объявил незначимыми земную национальность, социальные различия и даже пол, был в исторической реальности именно иудеем.

У меня состоялось знакомство с молодым эфиопским епископом. Он говорил важные вещи: африканцы не могут принять европейского христианства. Церковь живет в своем этносе, и нельзя навязывать всем римскую интерпретацию. Царь Давид плясал перед престолом. И африканец готов плясать. Мы – более древняя церковь, чем римская. Мы хотим быть такими, какие мы есть. Я учился в Риме, я много лет молился в римских церквях. Но мои чернокожие прихожане не имеют этого опыта, почему я должен требовать от них отказа от их природы, настаивать на том, чтобы они становились Римской церковью? Церковь не должна быть так централизована. В поместной свободе – универсализм!

Тут я с ним согласен. Эфиопская церковь оформилась до разделения на Восточное и Западное христианство – какое ей дело до проблем, имевших место после этого?

Я готов разделить эту точку зрения, но уже не как эфиоп, а как еврей. В Польше это просто не могло бы прийти мне в голову. Знаешь, в Белоруссии, у немцев, я хотел выглядеть немцем, в Польше я был почти поляком, а здесь, в Израиле, совершенно очевидно, что я есть еврей.

И еще: показывая двум семинаристам из Рима гору Кармель, забрели в одно друзское селение и выше на горе нашли заброшенную церковь. Когда-то при ней в хибаре жили два монаха, но теперь никого нет. Даже непонятно, у кого испрашивать разрешения. Я собрал своих прихожан, начали там убираться: вынесли весь хлам, мусор. Поставили двенадцать камней – для алтаря. Конечно, надо очень много денег, чтобы все это привести в пригодный для служения вид. Пока что я написал письмо к местному начальству – о разрешении восстановить церковь.

Кстати, я получил израильское гражданство – совершенно не тем путем, каким хотел. Мне дали натурализацию по факту моего здесь пребывания, но евреем не записали. Кажется, я тебе об этом уже сообщал. После того как я проиграл процесс, внесли поправку в закон – теперь евреем называется родившийся от еврейской матери, считающий себя евреем и не принявший другого вероисповедания. То есть получилось даже хуже – теперь при въезде в Израиль иммигрант обязан

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) ответить на вопрос, какое у него вероисповедание, и евреям-христианам по новому закону могут отказать в гражданстве. Вот чего я добился!

В моем удостоверении личности написано: «Национальность не определена»!

Дорогой Владек! Здесь очень много работы, так много, что иногда я не успеваю думать. Почему Господь так устроил в моей жизни: когда я был молод, скрывался от немцев у монахинь в разоренном монастыре целых полтора года, не смея носа высунуть наружу, и времени для размышлений было тогда больше, чем мыслей. Теперь же я постоянно чувствую нехватку этого «пустого» времени. На чтение тоже не хватает времени. Но в связи с чтением – просьба: если попадутся труды английского библеиста Гарольда Раули, но не об апокалиптике, а старая его книжка о вере Израиля, пришли, пожалуйста. Я нашел о ней упоминание, но без библиографической ссылки.

Мы давно знаем, что вопрос Пилата «Что есть истина?» – только риторика. А вопрос «Что есть вера?» – не риторика, а жизненная потребность. Слишком много на свете людей, которые веруют в правила, в свечи, скульптуры и другие штучки, веруют в интересных людей и в странные идеи. Может, искать здесь содержания так же глупо, как искать истину? Но я хочу, чтобы вера, которая у каждого человека есть личная тайна, была очищена от шелухи и сора. До цельного и неделимого зерна. Одно дело – верить, другое дело – знать, но важнее всего знать, во что веришь.

Брат во Хр. Даниэль.

23

Январь, 1964 г.

Материалы из израильских газет

\* \* \*

4 декабря 1963 года Римский Папа Павел VI оповестил о своем намерении совершить паломничество в Святую землю. Он не употребил названия Государства Израиль, а использовал слово «Палестина», и одно это отчетливо показывало отношение Павла VI к еврейскому народу и его государству. В Иерусалиме решение папы вызвало недоумение. Предварительная договоренность, принятая при визитах глав государств, отсутствовала. Пресса отреагировала резко, чувствовалась обида. Доктор Герцль Розенблюм писал в передовице «Едиот ахронот»: «Факт, что нам не удалось ничего сообщить, факт, что о решении “святого престола” наш посол в Риме узнал из газет, а члены правительства услышали по радио, удивляет».

Итальянское информационное агентство объявило от имени Ватикана, что визит носит чисто религиозный характер и вовсе не означает признания Государства Израиль.

Ватикан сообщил, что четвертого января 1964 года самолет Павла VI приземлится в иорданском аэропорту в Рабат-Аммоне. Из столицы Иордании «Его Святейшество» отправится в своем лимузине в Старый город (Иерусалим). Там он переночует в ватиканской миссии. На следующий день Павел VI перейдет границу и прибудет в Израиль. Он навестит Галилею и Нацерет, посетит еврейскую часть Иерусалима и поднимется на Сионскую гору, после чего возвратится в Старый город через переход Мандельбаума.

На третий день визита папа побывает в Бейт-Лехеме, затем вернется в Рабат-Аммон и оттуда отбудет в Ватикан.

Заброшенный участок дороги между Дженином и Мегидо был выбран местом встречи главы католической церкви и руководителей Государства Израиль. Заурядная точка на карте, ярко обозначающая состояние войны, в котором пребывает наша страна.

«Маарив» писал, что неспроста Павел VI выбрал местом встречи Мегидо: «Неужели нет среди нас человека, знакомого с Откровением Иоанна? Ведь там же ясно написано, что в конце дней в Мегидо произойдет битва Добра со Злом (антихристианскими силами). Именно там мы должны встретить папу? Да еще в полном правительственном составе? Ведь в последние недели Ватикан не переставал заявлять, что Государства Израиль для него не существует?»

Именно здесь решил Павел VI встретиться с руководителями еврейского государства:

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru на разрушенной дороге, по которой с 1948 года никто не ездил».

Министерская комиссия предложила не возражать против пожеланий понтифика и организовать торжественную церемонию в Мегидо. Было решено, что в Мегидо придут президент Залман Шазар, Главный раввин Нисим Ицхак и несколько министров. В обществе такое решение не вызвало восторга.

Член комиссии доктор Зерах Вархафтиг высказал мнение, что поскольку визит является чисто религиозным, то ни президент, ни члены правительства не должны спешить засвидетельствовать почтение «Его Святейшеству». Для этого вполне подходят чиновники министерства религий.

Посреди подготовки столь важного события Главный раввин Израиля рав Нисим Ицхак заявил, что в Мегидо он не поедет. Разразился ужасный скандал. Все тут же забыли о споре вокруг поездки президента. Главный раввин отказывается выполнить решение правительства, и никто его не может уговорить. Отказ рава Нисима сделался горячей темой всех мировых средств массовой информации. Само паломничество папы отошло на задний план; теперь вся пресса говорит о противостоянии между главой католической церкви и раввином, что, конечно, истолковывается как противостояние католичества и всего иудаизма.

Спец. корр. Рафаил Пинес.

#### ОТЧЕТ О ПРЕБЫВАНИИ ПАПЫ ПАВЛА VI В ИЗРАИЛЕ

Одиннадцать часов находился Папа Павел VI на территории Израиля: с 9:40 пятого января 1964 года до 20:50 того же дня. Понтифик прибыл в Израиль по шоссе Дженин – Мегидо и выехал через переход Мандельбаума в Иерусалиме. Днем ранее он прилетел из Рима в Рабат-Аммон; оттуда поехал в Иерусалим. Иорданцы использовали визит папы для раздувания яростной антисемитской пропаганды. В Старом городе папу встречали толпы народа. Полиция с трудом сдерживала натиск толпы. Понтифика чуть не смяли. В Израиле же встреча была довольно прохладной. В Нацерете тридцать тысяч человек собрались на улицах города. В Иерусалиме особого оживления не было.

На торжественную встречу в Мегидо отправились президент Израиля Залман Шазар, премьер-министр Эшколь, его заместитель Аба Эбен, министр по делам религий Зерах Вархафтиг, председатель Кнессета Кадиш Луз и министр внутренней безопасности Шалом Шитрит. Голда Меир накануне сломала ногу, поэтому не смогла увидеть «обожаемого» ею понтифика. Те, кто ожидал, что папа упомянет Государство Израиль, жестоко ошиблись. Хотя представители правительства не уставали повторять, что визит носит чисто религиозный характер, они подчеркивали, что визит Павла VI имеет большое государственное значение. Через одиннадцать часов после приезда папа держал прощальную речь. Сначала он поблагодарил «власти» и сказал, что никогда не забудет визита в святые места. Он отметил также, что «церковь любит всех». И тут среди ясного неба раздался гром: папа упомянул Пия XII: «Мой предшественник, великий Пий XII, делал все возможное во время последней войны, чтобы помочь гонимым, вне зависимости от их происхождения. Сегодня слышатся голоса обвиняющих этого святого человека в грехах. Мы заявляем, что нет большей несправедливости, чем эти обвинения. Его память для нас священна». (Кто такой Пий XII? Во многом благодаря попустительству сего «святого» мужа погибли шесть миллионов евреев, а он даже пальцем не пошевелил ради их спасения. А ведь стоило только слово сказать! Сколько бы жизней было спасено!) Даже католики были возмущены откровениями Павла VI. Само упоминание имени антисемита-папы в Иерусалиме было по меньшей мере бестактно. С борта самолета понтифик послал благодарственные телеграммы всем принимавшим сторонам. К королю Хусейну папа обратился по полному титулу и также добавил благодарность «любимому мной народу Иордании». Не так поступил паломник с Израилем. Телеграмма начиналась словами: «Господину президенту Шазару, Тель-Авив». Не Иерусалим, упаси Бог.

Соб. корр. Ариель Гиват.

24

Июль, 1964 г., Хайфа.

Письмо к настоятелю Ливанской провинции Ордена босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель

Ваше Высокопреподобие!

Довожу до Вашего сведения, что в прошлом месяце я получил огорчительную информацию о реакции одного из братьев нашей обители на встречу понтифика с группой политических деятелей в Мегидо. Речь идет о брате Даниэле Штайне, переведенном в наш монастырь из Польши в 1959 году. В то время была большая нужда в священнике, владеющем польским языком для совершения служб и пастырской работы среди польскоговорящего населения Хайфы. Брат Даниэль успешно справляется со своими обязанностями, все отзывы от прихожан весьма положительного характера, чего нельзя было сказать о его предшественнике.

После получения апелляции от одного из наших братьев я вызвал брата Даниэля Штайна для увещательной беседы. Он высказал мне свою точку зрения на некоторые вопросы церковной политики, которые можно резюмировать следующим образом:

1. Брат Д. полагает, что на земле Израиля должна быть восстановлена христианская еврейская община (!).
2. Брат Д. полагает, что современная Католическая Церковь, порвав с иудейской традицией, утратила связь со своими корнями и находится в состоянии болезни.
3. Брат Д. полагает, что для исцеления этой «болезни» необходима «делатинизация» церкви через инкультурацию христианства в местные культуры.

Мною было указано на церковную дисциплину, которой он обязан придерживаться в своем служении, в чем он согласился со мной только отчасти и заявил, что проведение служб на иврите, которое он пытается осуществить, не противоречит никаким церковным установлениям.

Не чувствуя себя достаточно компетентным для принятия какого-либо решения, я счел долгом изложить содержание нашей беседы Вам. К моему письму прилагаю также и первичный документ, на основании которого мною была проведена настоящая беседа.

С глубоким уважением,

брат Н. Сарименте,

настоятель монастыря «Стелла Марис».

Июнь, 1964 г.

Ваше Высокопреподобие!

Считаю долгом своего монашеского послушания поставить Вас в известность о недопустимых высказываниях нашего насельника брата Даниэля Штайна, которые он давно себе позволяет относительно позиции Святого Престола.

Высказывания Д.Штайна и ранее выражали несогласие с церковной политикой на Ближнем Востоке. Он заявлял, что непризнание Государства Израиль со стороны Ватикана ошибочно и является продолжением антисемитской политики Церкви. Он позволял себе ряд конкретных высказываний, осуждающих позицию Папы Пия XII в годы нацизма, и возлагал на него вину за непротивление уничтожению евреев во время войны. Он также высказывался в том смысле, что Ватикан ведет политическую интригу в пользу арабов из страха перед арабским миром. Брат Даниэль, будучи евреем, придерживается произраильских взглядов, и я отношу это за счет его происхождения, и это отчасти объясняет его позицию.

Однако его комментарии к важнейшему событию последнего времени – приезду Его Святейшества на Ближний Восток и исторической встречи Его Святейшества с государственными деятелями Израиля на дороге Дженин – Мегидо – носят огорчивший меня характер осуждения церковной позиции, о чем не могу не поставить Вас в известность. Его взгляды представляются не вполне соответствующими тем представлениям, которые приняты в Ордене.



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Брат Илия.

Август, 1964 г.

Письмо к генералу Ордена кармелитов от настоятеля Ливанской провинции Ордена босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель

Ваше Высокопреподобие,

дорогой брат Генерал!

Посылаю Вам ряд документов, связанных с пребыванием и деятельностью в монастыре «Стелла Марис» священника Даниэля Штайна. Не представляется ли Вам целесообразным передать настоящие документы в соответствующие ведомства Римской курии?

Я имел беседу со священником Штайном и предложил ему изложить в письменном виде свои соображения по поводу служения на иврите. Не берусь принимать решение без Ваших рекомендаций.

Настоятель Ливанской провинции

Ордена босых братьев Пресвятой Девы Марии

с горы Кармель

.

25

1996 г., Галилея. Мошав Ноф А-Галиль.

Магнитофонная запись разговора Авиغدора Штайна с Эвой Манукян

Третья кассета

АВИГДОР. Ну что, Эва, я могу рассказать тебе о жизни Даниэля в монастыре? Во-первых, сам я там ни разу не был. Ты же заходила туда, ты лучше знаешь, как там все устроено.

ЭВА. Видела немного. Дальше порога не пустили. Женщин не пускают. Только Голду Меир однажды там принимали. Там со мной никто не захотел разговаривать. Сказали, что настоятеля нет. А секретарь его, грек, не знает английского, только руками машет: нет, нет!

АВИГДОР. Ты мне напомни, я найду тебе письмо, которое я получил от одного нашего приятеля из «Акивы» вскоре после войны. Оно у меня хранится. Там про самое начало его жизни в монастыре, еще в Польше. А ты сама почему его не спросила?

ЭВА. Тогда он меня расспрашивал. И вообще – о другом говорили.

АВИГДОР. Да, он о себе не любил говорить. Он как партизан: если не считает нужным что-то говорить – не проговаривается. Лет пять прошло, прежде чем я понял, насколько ему трудно жить в монастыре. Понимаешь, там очень многое зависело от настоятеля. Если настоятелем был человек терпимый, широких взглядов, складывались нормальные отношения. Но настоятели меняются, кажется, раз в три года. За те годы, что он жил в «Стелла Марис», их сменилось много. Без малого сорок лет прожил Даниэль в этом месте.

Один настоятель, как я помню, его просто ненавидел. Я не знаю, что там делают и как живут другие монахи. Но все они живут внутри монастыря и наружу почти не выходят. Никто не знает иврита. Когда кто-то из монахов заболел, попадал в больницу, Даниэль всегда сопровождал его как переводчик. Без него ни одно дело, связанное с внешним миром, не могло решаться. Опять-таки машина. Ты понимаешь, он, вскоре после того как приехал, купил мотороллер «Веспа» и начал гонять по

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
всей стране. А потом купил машину. Ну, это уже когда он стал зарабатывать  
экскурсиями.

Сначала была «мазда», совершенно разбитая. Потом «фордик» допотопный. Вот ты  
понимаешь, как я это видел со стороны: там живут двенадцать, пятнадцать, что ли,  
монахов. Даниэль вставал в четыре утра на молитву. Что там они делают, я не  
знаю. Ну, в саду работают, там чудесный сад и небольшой виноградник. В саду  
Даниэль никогда не работал. Он после утренней молитвы уезжал – с самого начала  
стал вроде социального работника. Это только так называется – священник!  
Понимаешь, по-хорошему говоря, он должен был быть врачом или учителем. Он был бы  
очень хорошим врачом. Наверное, он был хорошим монахом. Вообще все, что он  
делал, он делал по-честному, очень хорошо.

А тамошние монахи – совсем другое дело. Он был для них чужак. Во-первых, еврей.  
Там жил один монах, который с ним вообще не здоровался. Всю жизнь в одном  
монастыре, а он так с ним до смерти и не разговаривал. Даниэль смеялся. Брат его  
везет к врачу, а тот молчит и в сторону смотрит. Очень сложное у него было  
положение. Но ты же поняла его характер – он никогда не жаловался, только как  
будто посмеивался над собой.

А его приход? Что такое был его приход? Люди неприкаянные, оторванные от своих  
мест, в основном католички, вышедшие замуж за евреев, – то больные, то  
сумасшедшие, с детьми, сбитыми с толку. Ты не думай, пожалуйста, что я не  
понимаю, как трудно жить в Израиле нееврею. Очень сложно. До Даниэля был один  
священник, ирландец, и его прихожане не захотели, потому что он был настоящий  
антисемит. А эти здешние католики, они же все связаны с евреями кровными узами.  
У Даниэля была одна прихожанка, которая спасла своего мужа, он полтора года жил  
в подвале, а она каждую ночь приносила ему еду, уносила горшок, все это под  
носом у немцев. И такой женщине священник говорил: ты наплодила жиденят! В  
общем, этого ирландца перевели на какой-то греческий остров, где про евреев и не  
слышали, и всем хорошо. А Даниэля – в Хайфу, к здешним католикам. Он служил  
первые годы по-польски. А потом к полякам стали прибавляться венгры, русские,  
румыны, кого только у него не было. Все языки. И все приезжие учили иврит – как  
пройти, сколько за хлеб платить. И постепенно у них язык общения стал иврит.  
Через несколько лет Даниэль стал служить на иврите. Его прихожане – почти все  
нищие, толком не работают, рожают детей и получают социальную помощь.

Я приехал в 41-м году в Израиль – через три дня я работал. На том самом месте,  
где и сейчас. Ну, конечно, подсобным рабочим был сначала. Но про социальную  
помощь и мысли не было! А эти все его люди – беспомощные, потерянные. И брат  
стал при них социальным работником – бумаги им писал! Учиться устраивал. И детей  
тоже, между прочим.

Потом – экскурсии. Сначала приезжали делегации церковные, итальянские католики,  
немецкие. Он им все показывал. Потом стали приезжать уже не католические группы,  
просто туристы, и просили его показать святые места. А он Израиль лучше меня  
знал. Я-то по стране мало ездил – когда мне? Работа, дети. А он здесь каждый  
куст знал, каждую тропинку. Особенно в Галилее. Он деньги этим зарабатывал.  
Часть в монастырь отдавал, а часть – на прихожан тратил. Моя старшая дочь всегда  
говорила: дядька наш – настоящий менеджер. Он все может организовать. Он  
организовал и школу для приезжих детей, и приют, и богадельню. Дом для прихода  
купил.

ЭВА. А почему он не ушел из монастыря?

АВИГДОР. Я думаю, что он был солдат! Он был как солдат на службе. Там строгая  
дисциплина. Он всегда возвращался ночевать в монастырь. Утром уходил, к полуночи  
возвращался. Не знаю, зачем ему этот монастырь был нужен. Я давно ему говорил –  
переезжай к нам. Особенно в последние годы, когда дети уехали. Дом у нас уже был  
этот, большой. Мы с Милкой вдвоем. Хотя бы тарелку супу домашнего ел! Нет, и  
все. Доносы на него писали. У меня долго одна бумажка лежала, Даниэль принес.  
Его как-то вызвал настоятель и вручил повестку в канцелярию премьер-министра.  
Даниэль приехал к нам, показывает: что бы это значило. А это было уже после  
суда, казалось бы, вся эта газетная шумиха утихла. Я смотрю на повестку – там  
адрес вовсе не канцелярии, а службы безопасности. Шинбет. Вроде вашего ЦРУ. Я  
говорю: не ходи. Он сидит, молчит, за ухом чешет. У него такая привычка была –  
когда задумается, за ухом чешет.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru «Нет, – говорит, – пойду. У меня с этими службами всю жизнь отношения – я и в полиции работал, и в партизанах был. У меня, между прочим, две медали есть, с Лениным и Сталиным... Я и в НКВД месяца два служил, пока не сбежал». Я удивился – он мне про НКВД не рассказывал. Тогда он мне рассказал: когда русские вошли в Белоруссию, его сначала наградили медалью, а потом вызвали в НКВД. Один допрашивал, другой писал, а третий сидел и слушал. Когда, где родился, кто мама-папа, бабушка-дедушка, с кем в школе за партой сидел, кто был сосед справа, сосед слева. Ответил. Они опять те же самые вопросы задают. И по третьему кругу: когда, где, папа-мама... Потом говорят – помоги нам, и мы тебе поможем. Мне, говорю, ваша помощь не нужна, а чем я могу служить? Помоги нам разобраться ту канцелярию, где ты работал в Эмске, там все на немецком языке, а нам надо проверить, найти ихних агентов.

А мечтал Даниэль только об одном – поскорее уйти ото всех, он уже свое решение принял. Но он понимал, что добром его не отпустят, согласился, что все им переведет, сдаст им все гестаповские документы. Отвезли его в Эмск, в тот самый дом, откуда он сбежал, за тот же самый стол. Только вместо немецкого капитана русский. И два лейтенанта, русский и белорус. Опять ему форму выдали, на довольствие поставили в той же столовой, где сидел с полицаями. Работа та же самая – все, что когда-то на немецкий с белорусского переводил, теперь на русский переводил. И понимает, что как только все переведет, сразу же арестуют. Вот, месяца два прошло, настал день, когда капитана вызвали в Минск, и русский лейтенант с ним поехал. Белорус за начальника остался. А брат мой – умнейший человек! Подумал-подумал и явился к лейтенанту отпрашиваться – сказал: «Я всю работу закончил, как договаривались. У меня в Гродно родня, я хочу их навестить. Дайте мне отпуск на несколько дней». А лейтенант-белорус с ним очень конкурировал, думал, что Даниэля за знание иностранных языков могут на его место взять, и он подумал-подумал, и говорит: «Отпустить я тебя не могу, нет у меня таких полномочий. Но если ты к своей родне съездишь, я лично могу этого и не знать...» То есть он не говорит: «А ты сбеги без разрешения», – но вроде бы дает понять. И тогда Даниэль в последний, кажется, раз сбежал от секретной службы.

А теперь своя, израильская, вызывает – что делать? Я говорю – не ходи. Ты сам себе хозяин, к тому же монах. Не ходи, и все.

А Даниэль ухо свое вычесал и говорит: «Нет, я пойду. Это моя страна. Я здесь гражданин». И пошел. Потом дня через три приезжает, я спрашиваю: как сходил? Он смеется.

«Во-первых, – говорит, – что тот капитан, что этот – одно лицо. И вопросы все те же: когда, где родился, кто мама-папа, бабушка-дедушка, с кем в школе на парте сидел, кто был сосед справа, сосед слева... Ответил я. Он опять те же самые вопросы задает. И по третьему кругу – все они как будто одну академию кончали!» Так смешно он, Эва, это рассказывал. Хотя, казалось бы, смешного мало. Потом его спросили, не хочет ли он помочь стране. Даниэль сказал, что помочь стране он всегда рад. Тот оживился и предложил ему давать информацию о прихожанах. Сказал, что среди них есть наверняка один или несколько засланных агентов из России.

ЭВА. Что ты говоришь, Авигдор! Не может быть!

АВИГДОР. Что, Эва, не может быть? Все может быть! Ты думаешь, не было агентов? Сколько еще было. Здесь – тамошних, там – наших, всюду – ваших. А уж сколько английских служб здесь было, это всем известно. Это же Ближний Восток. Ты думаешь, я здесь в деревне сижу, так в политике не разбираюсь? Очень даже разбираюсь, не хуже Даниэля, хотя он все иностранные газеты читал.

В общем, дальше было дело так – он отказался. «Нет, – говорит, – у меня есть профессиональный долг и профессиональная тайна. Если я почувствую угрозу государству, тогда буду думать, как поступить, но пока я с такими ситуациями не сталкивался».

Тогда капитан говорит: «Может, мы можем быть вам чем-нибудь полезны? Мы вас уважаем, знаем о вашем боевом прошлом, о ваших наградах. Может, у вас есть проблемы, которые мы поможем вам решить?» – «Да, – сказал Даниэль. – Я здесь поставил машину на платную стоянку, будет стоять три лиры. Вы мне их возместите, пожалуйста».

Вот такая история была.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

ЭВА. А в каком году?

АВИГДОР. Ну, точно не помню. Помню, он сказал «лиры». Значит, до 80-го года.

26

Август, 1965 г., Хайфа.

Даниэль Штайн – Владиславу Клеху

Дорогой брат!

Спасибо за книги. Только что получил посылку. К сожалению, сейчас совершенно нет времени для чтения. Нет даже времени, чтобы ответить на твое письмо. Поэтому обещаю написать длинное письмо с «объяснениями». Твоя интуиция правильно тебе говорит, что вскоре после приезда в Израиль начался некоторый внутренний процесс, и очень многие мои старые взгляды зашатались. Это страна невероятно интенсивной жизни – и социальной, и политической, и духовной – я не люблю этого слова, потому что не принимаю этого разделения жизни на высшую и низшую, на духовную и плотскую. Вопрос, который встал для меня очень остро вскоре после прибытия в Израиль, можно сформулировать так: во что веровал наш Учитель? Вопрос не о том, что Он проповедовал, а именно – во что Он веровал? Это интересует меня более всего. Не обещаю, что напишу тебе о моих размышлениях по этому поводу в ближайшее время, но сделаю это непременно.

Поздравляю тебя с праздником Преображения. Вчера я служил мессу на вершине горы Табор. Там стоят два храма – католический и православный, отгороженные друг от друга решетками. Мы нашли место на склоне горы, чуть ниже вершины. Думаю, как раз в том месте, где апостолы пали на землю, пораженные видением. И там мы молились. Кроме моих постоянных прихожан с нами были несколько православных и две англиканки. Большая радость.

Ржавая решетка, которая разделяет эти две церкви, мне даже во сне приснилась. Эта решетка между Петром и Павлом! И в таком месте! Из головы не выходит. Но поскольку долгие раздумья мне, человеку легкомысленному, не очень свойственны, я написал уже прошение Латинскому Патриарху о разрешении создать здесь, в Хайфе, христианский союз всех номинаций – для совместной молитвы. Я в душе размышляю также и о возможности совместной литургии. Если в этом направлении работать, то можно было бы увидеть это при нашей жизни. Я не сумасшедший и понимаю, как много препятствий на этом пути, но если Бог этого захочет, то оно и будет.

Братский поцелуй.

Твой Даниэль.

Конец первой части

2006.03.01. Москва.

Письмо Людмилы Улицкой Елене Костюкович

Дорогая Ляля!

Вот какое у меня неожиданное сообщение – еще в ноябре, в Воллензеле, оказавшись с отрубленным телефоном, неработающим компьютером и говорящей исключительно по-фламандски хозяйкой, в комнате с медитативным ковром из индонезийской тапы, я поняла, что больше всего хочу написать о Даниэле. Ни увлекательный мифологический сюжет, ни «Зеленый шатер», который уже отчасти существует, – ничего этого. Только о Даниэле. Но я полностью отказалась от документального хода, хотя все книжки-бумажки, документы, публикации и воспоминания сотен людей выучила, как полагается рабу документа, наизусть. Начала писать роман, или как это там называется, о человеке в тех обстоятельствах, с теми проблемами – сегодня. Он всей своей жизнью втащил сюда целый ворох неразрешенных, умалчиваемых и крайне неудобных для всех вопросов. О ценности жизни, обращенной в слякоть под ногами, о свободе, которая мало кому нужна, о Боге, которого чем

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
дальше, тем больше нет в нашей жизни, об усилиях по выковыриванию Бога из  
обветшавших слов, из всего этого церковного мусора и самой на себя замкнувшейся  
жизни. Здорово завершила?

С самого дня знакомства с Даниэлем я вокруг этого кручусь, и ты знаешь, сколько  
я сделала попыток к этому прикоснуться. Вот еще одну делаю. Я попытаюсь на этот  
раз освободиться от удавки документа, от имен и фамилий реальных людей, которых  
можно уязвить, причинить им вред и сохранить то, что имеет «нечастное» значение.  
Я меняю имена, вставляю своих собственных, вымышленных или полувывмышленных  
героев, меняю то место действия, то время события, а себя держу строго и  
стараюсь не своевольничать. То есть я заинтересована только в полной правдивости  
высказывания. Оставляю за собой право – как всегда – на полную неудачу. Пожалуй,  
это самая большая роскошь, которую может позволить себе автор в эпоху рыночных  
отношений.

В общем, посылаю тебе первую часть того, что я успела написать. Боюсь, что мне  
не справиться без твоего участия – дружеского и профессионального. Многие я тебе  
рассказывала раньше, но ты встретишь и совершенно тебе неизвестных героев,  
которые только что придуманы и еще мягонькие и теплые, как свежеснесенные яйца –  
знаешь ли ты, что скорлупа яйца внутри курицы гораздо мягче, чем после выхода из  
клоаки? У птиц, дорогая моя, не задница, а клоака. Это немногие остатки моего  
биологического образования.

Как детки и твой Андрей? Мой Андрей улетел в Цюрих, вслед за своими работами.  
Детки в порядке, не очень донимают. Большая новость – к лету будет второй внук.

Целую.

Л.

Часть вторая

1

Сентябрь, 1965 г., Хайфа.

Письмо Хильды Энгель матери

Дорогая мама!

Поздравляю тебя с днем рождения. К сожалению, не могла тебе позвонить, потому  
что мы с Даниэлем ездили на несколько дней в Иерусалим, ходили там по разному  
начальству: в совет по делам религий, в латинский патриархат, пришлось даже идти  
на прием к одному русскому архимандриту – все это связано с одним потрясающим  
планом. Не знаю, получится ли, но очень хочется. Опишу тебе потом все в  
подробностях. Но сначала – про твои дела.

Из твоего последнего письма я знаю, что последние анализы нормальные. Слава  
Богу. Конечно, это ужасно, что ты так тяжело заболела, но я нахожу в этом и  
нечто хорошее – никогда у нас с тобой не было таких сердечных отношений. За тот  
месяц, что я провела с тобой, я гораздо лучше стала тебя понимать. И чувствую,  
что и ты меня тоже лучше понимаешь. Неужели для того, чтобы понимать друг друга,  
надо обязательно заплатить такую цену?

Ты просишь писать поподробнее о том, что я делаю. Трудно ответить – я делаю  
очень много движений, но они далеко не все имеют смысл. Брат Даниэль – о нем чем  
больше знаешь, тем больше хочется рассказывать – постоянно надо мной смеется и  
дразнит меня. Он говорит, что я машу руками, как ветряная мельница, но сыплется  
из меня не мука, а носовые платки, кошельки и авторучки...

Я действительно на прошлой неделе опять потеряла кошелек, но в нем было всего 15  
лир. К счастью, как раз в этот день утром я отнесла 300 одной нуждающейся семье  
и 800 перевела за учебу одной девушки. В прошлом месяце пришло пожертвование из  
Германии, и мы смогли заплатить долг за электричество. Понимаешь, мы оплачиваем  
электричество в арабской церкви: у них служба утренняя, и они свет не жгут, а у  
нас – вечерняя, и без света мы не можем. С тех пор как они разрешили нам у них  
служить, плата за электричество возросла в четыре раза.

Теперь про наш план. Некоторое время тому назад мы пошли на экскурсию на гору

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Кармель – Даниэль повел человек десять наших молодых прихожан, и я, конечно, пошла. Чудесное место, старинная друзская деревня. Про друзей ты вряд ли слышала. Такой народ довольно редкостный, ни на кого не похожий. Даниэль сказал, что они происходят от мусульман, но почитают неизвестного мусульманам святого Аль-Хакима, который во многом напоминает Иисуса, и как и христиане они ожидают Второго Пришествия. Что свою веру они держат в великой тайне. Почитают Тору, Новый Завет и Коран, но имеют еще и какие-то свои книги, секретные. И даже у них есть какой-то особый принцип – забыла, как называется, – который предписывает им скрывать свои подлинные взгляды и внешне приспосабливаться к нравам и религии окружающих. Как всегда, Даниэль рассказывает очень интересно. В деревню не заходили, поднялись по горе выше...

В этих местах, где ни копни, обязательно уже что-то стояло в древности. Недалеко от этой деревни Даниэль показал не совсем еще развалившуюся старую церковь, и мы подумали, как бы хорошо ее приспособить для себя – ведь община у нас есть, а своего помещения нет. Мы бы отстроили сами. Правда, здесь нет ни водопровода, ни электричества, ближайший источник – у друзей. И электропередача на них кончается. Без электричества еще кое-как можно прожить, а вот без воды – никак. Даниэль сказал, что попробует поговорить со старейшиной деревни, может, они дадут разрешение на отвод воды, и если эта затея удастся, будет гениально: мы сможем уехать из Хайфы, жить здесь автономно, а Даниэлю пешком до монастыря – пять километров, приятная прогулка. А если ехать на машине, надо делать крюк чуть ли не в тридцать.

Да, еще Даниэль сказал, что от друзей воду получить проще, чем разрешение от церковного начальства. Вот мы и ездили хлопотать. На днях он пойдет к друзскому старейшине. Я хотела идти с ним вместе, а он сказал, что лучше пойдет один, а потом все подробно мне расскажет.

Пишу и чувствую, что нечто важное забыла написать: Даниэль мне сказал, что с моим вполне приличным ивритом я могла бы пойти поучиться в университет. Обещал поискать для этого деньги. Там есть такое отделение подготовительное – мехина называется. Есть курс – очно-заочный: на лекции надо приезжать раз в месяц на несколько дней, а остальное самостоятельно готовить. И после этого первого года переводят на первый курс иудаики. Мне бы очень хотелось.

Все, надо спать ложиться, а то завтра вставать в пять утра. Целую. Большой привет всей семье.

Твоя Хильда.

Не успела отправить, и как раз Даниэль приехал – от друзей. Очень доволен.

Главное – воду они разрешили отвести. И рассказ про них тоже очень интересный. Деревня довольно большая, дома современные, все очень чистенько. В одном дворе под навесом сидел старик, что-то шил большой иглой, видимо шорник. Даниэль сказал первому встречному, что хочет поговорить со старейшиной, и человек сразу же повел его к себе в дом – угощать. Оказалось, что старейшина у них в деревне учитель и сейчас он как раз на занятиях в школе. Пока они разговаривали, этот парень сварил кофе. На задах дома шла какая-то тихая суета. Как потом выяснилось, резали ягненка для плова. Выпили кофе, и хозяин дома Салим повел Даниэля по деревне. Первое место, которое ему показали, – кладбище. Двенадцать человек из этой деревни погибли, один полковник, несколько офицеров и солдатики. Показывал с гордостью – мы военный народ. Странно, потому что по виду очень мирные люди, крестьяне – у них сады хорошие, виноградники. Потом пошли дальше, и Даниэль спросил, почему нет мечети и ничего такого... Мечетей у них нет, а есть хальва – дом для молитвенных собраний. Мусульмане их за своих не почитают, потому что у них, кроме Корана и Библии, и еще другие, их собственные священные книги, которые они от всех держат в тайне. И есть особая доктрина, удивительная, называется «такийя». Тайное учение, только для друзей. И старейшина их, посвященный в эту тайную доктрину, передает ее устно только достойным. Но главный принцип жизни – что они живут в мире с религией той страны, где обитают. Нет у них родины, их родина – их учение. И Даниэль сказал даже с грустью – вот, Хильда, ведь и у христиан так должно было быть, так хотели. Только не получилось. А у друзей, выходит, получилось. Они принимают внешние меняющиеся законы мира, но живут по своим внутренним, неизменным.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Еще они считают, что Бог воплощался в мире семь раз – в Адаме, Ное, Аврааме, Моисее, Иисусе, Мухаммаде и в их святом фатимском шейхе Хакиме... Они проповедовали свое учение до XI века, а потом произошло «Закрытие Ворот», и с тех пор уже нельзя было стать другом – они себя называют «муахиддун». Другом можно только родиться. Вот закрытая религия – можно только выйти, войти нельзя. Нет никакого прозелитизма. Дверь затворилась.

Потом пришел «уккаль» – их старейшина и учитель. Очень старый и приветливый. Сели есть плов.

Вина не пьют – вода и сок. Под конец, когда Даниэль сказал, что хочет восстановить церковь на горе, но воды там нет, старейшина сказал, что вода есть. Был в старину источник, но ушел. И его можно найти. Еще он сказал, что если источник снова не выйдет, то они свою воду дадут. Земля там не друзская, а арабская. Арабская деревня, которая стояла на этом месте до 48-го года, вся ушла. А развалины эти старые, здесь еще крестonosцы первый храм христианский построили. Что же касается друзской деревни, уккаль сказал, она в те времена уже была. Даниэль в этом сомневается. Старейшина сказал, что когда друзья пришли сюда из Египта, здесь еще храма не было. При них строили. Даниэль говорит, что это правдоподобно, что друзья тоже из Египта вышли, только гораздо позже, чем евреи. Мне забавно стало – он говорит так, как будто все это своими глазами видел.

– Стройте, – сказал друзский старейшина, – мы никому не враги – ни иудеям, ни христианам, ни мусульманам. Но мы этой страны граждане, и мы ее защищаем.

Вот такой народ, мама. Старейшину зовут Керим. На днях Даниэль познакомит меня с друзским строителем, который будет нам помогать с восстановлением храма. Они, как и арабы, хорошие строители. А начальником стройки буду я! Можешь себе представить? Я должна подготовить проект, составить смету, найти деньги и рабочих. Скажи, пожалуйста, об этом моему отчиму и напиши, как он на это отреагировал!

Целую, Хильда.

2

1961 г., Кфар Тавор.

Гражина – Виктории

Дорогая Виктория!

Как ты обрадовала меня своим письмом! Любимая школьная подруга, четыре года на одной парте сидели. С тобой связаны самые приятные воспоминания детства. Помнишь, как мы в начальной школе ставили спектакль? А как мы убежали из дому и потерялись? А как мой братик в тебя был влюблен? Я уверена была, что ваша семья в России сгинула. Какое счастье, что выжили, вернулись. Счастье, что ты меня разыскала. Счастье, что получили квартиру после стольких лет мучений. Как же я хотела бы тебя повидать! Могу себе представить, что вы пережили после высылки в Россию. Это было в конце 44-го? Или уже в 45-м? Мы до конца 51-го еще жили в Кельце.

Уже больше десяти лет прошло, как мы уехали в Израиль, а мне иногда кажется, что это было давным-давно, и та жизнь отодвинулась очень далеко. За эти годы я только один раз была в Польше, когда мама умерла. Сама понимаешь, что это была за поездка – одна печаль и горечь: мама так и не простила мне Метека. Тоскую я очень. Иногда во сне снится, что мы с братом гостим у бабушки в Закопане. Вспоминаю Краков, куда я один раз со школой ездила. А Кельце стараюсь и не вспоминать – тяжело очень.

Я, конечно, передала твое приглашение приехать в гости Метеку, но он только и сказал: «Никогда, Гражина, никогда я туда не поеду. Если хочешь, поезжай одна».

У него к Польше сложное отношение – он по культуре поляк, польскую поэзию наизусть знает, Шопен – бог для него. Но простить не может полякам Келецкого погрома. Он говорит, что шесть миллионов евреев, погибших в войне, – это космическая катастрофа, какое-то злодеяние планет, а вот те сорок два еврея, которые погибли в Кельце уже после войны, в июле 46-го года, на совести поляков.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Слышала ли ты об этих событиях, или до вас в России это не дошло?

Говорят, что погром организовал комитет госбезопасности, польский или советский, значения не имеет. И милиция, и армия были замешаны. Какая разница? Убийства были совершены польскими руками. Все как в Средневековье – опять пущен был слух о похищении христианского младенца. Кровь, маца, еврейская пасха...

И все это произошло после того, как почти все келецкие евреи погибли в лагерях смерти, и вернулось – то после войны человек двести выживших. Поселили их на улице Планты. Там, в большом доме, квартиры на верхних этажах заняли еврейские коммунисты, чекисты и все, кто привечал новую власть, а внизу жили простые люди. Вот на них и обрушился погром. Метека в тот день в городе не было, он поехал на два дня в Варшаву на прослушивание, вроде его пригласили в оркестр.

Погром начался с того, что ворвались в нижние этажи дома. Сначала искали похищенного младенца, а потом золото. Какое золото? Все были нищие. Ничего не нашли и стали убивать.

У Метека вся семья в лагерях погибла, только Ривка, младшая сестренка, выжила. Когда Метек вернулся из Варшавы – Ривки не было в живых. В сарае возле станции лежали убитые. Его вызвали на опознание.

Похоронили ее, и Метек мне сказал: «Гражина, не могу здесь оставаться. Поедем в Палестину». Я согласилась, Виктория. Он мой муж, уже Анджей родился, и я не хотела, чтобы мой сын рос в страхе.

Пять лет Метек добивался выезда. Не понимали, почему всех отпускают, а его нет. Потом Метек догадался – потому что он из Кельце и в этом сарае был. Власть скрывала правду об этих послевоенных погромах, а Метек был свидетель. Еще были погромы в Кракове и в Жешуве, и Метек потом встретился с краковскими евреями, которых тоже долго не выпускали по той же причине. Наконец дали в пятьдесят первом году разрешение, и мы уехали.

Сказать, что мне в Израиле легко, не могу. Но и в Польше сердце мое разрывалось на части – от сострадания к мужу. Единственное, что придает смысл этому переезду, – детям здесь очень хорошо.

Характер Метека нелегкий, да и пережил он столько, что его постоянную подавленность можно объяснить. Признаюсь тебе, дорогая Виктория, что мы хорошие супруги и составляем друг для друга смысл существования. Мы, конечно, очень любим детей, Метек особенно привязан к дочке, у меня, пожалуй, более близкие отношения с сыном, но мы с мужем как одно существо. Только благодаря нашей любви нам удалось выжить – и в войну, и теперь. Здесь очень-очень нелегкая жизнь.

Милая Виктория! Пришли мне свою фотографию. Я посылаю тебе наши фотографии – чтобы мы узнали друг друга, если Бог приведет нас увидеться. Может, со временем?

Я так рада, что ты снова появилась в жизни. Надеюсь, уж теперь-то мы друг друга не потеряем.

Целую.

Твоя Гражина.

Март, 1965 г., Кфар Тавор.

Гражина – Виктории

Здравствуй, Виктория!

Вот уже две недели, как я дома, и никак не могу прийти в себя. Перед поездкой у меня еще была мысль, что, может, можно поменять жизнь, вернуться в Польшу. Сейчас вижу – нет.

После смерти Метека, когда я поняла, что могу уехать из Израиля, меня останавливала только Хана. Метек ее обожал. С Анджеем у него никогда не было



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru таких близких отношений. Анджей был отчужден, и никогда мы уже не узнаем, почему в отношении к отцу был у него холодок. Анджей был мой любимец. Хана, наоборот, остается и по сей день «папенькиной» дочкой и весь год после смерти Метека очень тоскует. У нее трудный возраст, и такая смесь слабости и отчаянной дерзости. Как ее оставить одну?

После гибели Анджея в армию ее не возьмут – есть такое правило, что если остается единственный ребенок, его не призывают. А она спит и видит пойти в армию, причем дразнит меня, говорит, что пойдет в десант. Она музыкальна, как Метек, у нее хорошая фигура, как у меня была в юности, и красива – неизвестно в кого. Мы с Метеком не были такими красивыми никогда. После гибели Анджея, после смерти Метека я бы сразу же вернулась в Польшу. Но Хана! Она обожает Израиль. Вся здешняя молодежь обожает свою страну. Она никогда отсюда не уедет. Потом – что ей Польша? Да и какая она католичка? Хотя мне так хотелось сохранить ее в нашей вере. Все детство я водила ее в церковь, и она охотно ходила, без всякого сопротивления. А потом – как отрезало. Сказала мне, что хочет принять гиюр, то есть стать еврейкой. Она, как дочь христианки, не считается по здешнему закону еврейкой, ей иудаизм надо было принимать.

«Мне до Бога нет никакого дела, я хочу быть как все», – это она так говорит, потому что она девочка еврейская, израильянка, мечтает поскорее пойти в армию, взять в руки автомат. Она ходила прежде со мной к здешнему ксендзу, он тоже из Польши. С самого начала он говорил: человек всюду должен сознательно принимать решение, а особенно здесь, в Израиле. То, что ты ее крестила, ничего не значит, пока она не вырастет. Говорил, води ее в церковь, пока она маленькая, но в наших сложных условиях надо ждать от человека самостоятельного решения. Он оказался прав: она больше в церковь не ходит. Ясное дело, отрезанный ломоть. Она со мной в Польшу никогда не поедет. А у меня теперь нет никого, кроме нее. Ей семнадцать лет. Я уже мечтала, что она вырастет, выйдет замуж, и я уеду доживать на родину. А теперь, когда я увидела Польшу после стольких лет, поняла, что мне и там будет плохо. Почему так сложилось: нет как будто для меня на земле подходящего места – плохо, очень плохо мне в Израиле, плохо и в Польше. Здесь я всегда устаю от шума, от повышенной экспансивности людей – орут соседи, орут в автобусе, орет хозяйка в мастерской. Арабская музыка вечно. Мне все время хочется выключить звук. Здесь слишком яркое солнце, и тоже хочется немного пригасить. Жара меня изнуряет – а в нашем домике летом невыносимо, у меня от жары такое чувство, что кровь спеклась. Подхожу к окну – из окна виден Табор. Гора Преображения. Нет, лучше новостройки Кельце. А теперь, вернувшись из унылого нашего Кельце, поняла, что и там не смогу. Все, что у меня есть, – две могилы на Святой земле.

Я очень благодарна, Виктория, что ты меня так радушно приняла. Ты мне оказалась ближе сестры, но это не основание, чтобы возвращаться в Польшу. Там все так серо, так бесцветно, и люди слишком уж молчаливы.

Вчера была годовщина смерти Метека. Он умер за два дня до своего пятидесятилетия. Анджей погиб за два дня до двадцати. Пришли вчера сослуживцы из музыкальной школы, соседи, принесли и еды, и водки. Так хорошо про него говорили. Хана сначала смеялась до неприличия, потом рыдала. У нее вообще характер истерический. Анджей был полная противоположность – такой светлый, спокойный. Вчера я поняла, какая же была счастливая у нас семья четыре года тому назад. Смириться невозможно. Молиться не могу. Вместо сердца камень. Хана хоть плачет. А у меня слез нет.

Виктория, дорогая, приходят в голову разные темные мысли. Так хочется уснуть и не проснуться. Самое ужасное именно пробуждение. Во сне мне хорошо – снов у меня нет, и меня совсем нет, и это так хорошо, когда расстаешься с собой и своими мыслями. Сначала просыпаешься, как младенец, после сна все смыто, разглажено. Потом удар: приезжают двое военных, полковник и сержант, – сообщают о смерти Анджея. Все как заново обрывается во мне, и за минуту прокручивается вся эта лента – до похорон в закрытом гробу. Такая дыра в сердце.

Потом – опять неожиданно – в мастерскую ко мне пришел директор музыкальной школы и пожилая преподавательница по классу фортепиано, Элишева Зак. Здесь в Израиле свой ритуал сообщения о смерти: редко по телефону звонят – приезжают. И каждое утро заново я проживаю эти смерти, мальчика моего и мужа. А лет мне сорок шесть, и здоровье хорошее, так, как с Метеком, – остановка сердца, и все! – со мной не будет. И просыпаться мне еще сорок, а то и пятьдесят лет вот так каждое утро, а потом тащиться в мастерскую и строчить на машинке занавески, занавески,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru занавески... А без занавесок этих не могу. Пенсия у меня за сына большая, но если не строчить, я повешусь. Даже не замечу, как это сделаю. Без всяких колебаний, решений, подготовки. Это так просто, слишком просто.

Какая нелепая и странная жизнь: лучшие годы – как теперь вспоминается – годы оккупации, когда я каждую ночь бегала в подвал соседнего разбомбленного дома, по тайной тропочке, через узкий лаз, куда только я одна и могла пронырнуть. И действительно – пронырнуть, потому что трех ступенек не было, и прыгнуть в темноту. И Метековы руки встречали меня. Зажигали свечечку. Метек не любил меня обнимать в темноте, говорил, что красоту мою хочет видеть. Виктория, Виктория, кругом люта я смерть, убивают и убивают, а мы как в раю. И рай наш длился полтора года. Он одного не знал и никогда не узнал: что сосед Мочульский подсматрел, выследил, как я по ночам к Метеку ходила, и шантажировал меня. А что у меня было, ничего у меня не было, кроме того, что бабы под юбкой носят. Он старый, он противный, он негодяй – а зовет меня, и я иду. Требовал-то нечасто, силы не было. А я встряхнусь – и к Метеку, очиститься от мерзости. Ну, Господь с Мочульским распорядился по справедливости: он попал к русским в лагерь после войны, тоже по какому-то доносу, и его бандиты зарезали в лагере году в 47-м.

Метек любил меня да музыку, ну, детей еще наших любил. И это весь мир для него, а в центре я. Из-за меня он и карьеру музыкальную не сделал. Ему в Америке место предлагали в Бостонском симфоническом оркестре, в пятьдесят первом году, я сказала – ни за что в Америку не поеду. Ну и поехали в Израиль. Вот тебе судьба! Он всегда поступал так, как я хотела. Ты, говорит, столько горшков с моим дерьмом вынесла, что заслужила золотой памятник. Вот он, памятник мой, – две могилы. А жить мне совсем не хочется, Виктория, милая.

Так подробно я тебе все это описываю, чтобы ты поняла меня, не сердилась и не обижалась, но теперь я окончательно решила в Польшу не возвращаться. Привет передавай Ирэнке, Вячеку, всем нашим, кого увидишь.

Сохрани тебя Бог.

Твоя подруга Гражина.

З

Апрель, 1965 г., Хайфа.

Даниэль Штайн – Владиславу Клеху

Какая невыразимая печаль, дорогой брат, sic transit все на свете... Я погружен в уныние и горечь. Обычно я не знаю, что такое настроение, это слишком большая роскошь для занятого человека иметь настроение. Но последние несколько дней – печаль и горечь. Хоронил одну прихожанку-самоубийцу. Я знал ее с первых дней в Хайфе – тихая полька, скорее деревенского, чем городского облика, но очень приятного. Из породы утренних женщин – которые с утра веселы и нежны, а к вечеру устают и закрываются, как цветы. Я большой знаток женщин, для монаха – исключительно большой. Я вижу твою насмешливую улыбку, дорогой Владек. Я думаю, что мои обеты спасли мир от большого ловеласа, потому что мне очень нравятся женщины, и это большое счастье, что я не женат, потому что я причинял бы много беспокойства жене, заглядываясь на женщин. Тем более что почти все они кажутся мне очень привлекательными. Но Гражина, о которой я пишу, была действительно прелестная женщина, похожая на лисичку, рыжеватая, с узким подбородком и острыми зубками, как у зверька.

Война ужасные вещи проделала с людьми, даже если они уцелели физически, но души у всех покалечены. Кто стал жесток, кто труслив, кто отгородился от Бога и от мира каменной стеной. Гражина с ее мужем Метеком очень много пережили, она прятала его полтора года в подвале, натерпелась страху, родила старшего ребенка еще до освобождения, вынесла тяжелый разрыв с семьей из-за этого ребенка, потом они поженились. Он был сумрачный, артистический человек, не вполне удавшийся скрипач. Первенец их – я знал его совсем немного, потому что он погиб в тот год, когда я сюда приехал, – погиб в последний день военной службы, его машина подорвалась на mine по дороге из расположения части в Иерусалим. Гражина готовила в этот час дома праздничный стол, но до дома сын не доехал. А через несколько лет Метек неожиданно скончался от остановки сердца, и она совсем замкнулась и съезжилась. Я несколько раз за это время с Гражиной разговаривал, но

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru разговор всякий раз оказывался вежливым и совершенно бессодержательным. Единственное, что я понял, что очень ослабли те нити, которые связывают человека с жизнью.

Про смерть я знаю еще больше, чем про женщин. И опять – война, война, нет ничего гаже и противоестественней на свете. Как война искажает не то что жизнь, но и смерть. Смерть на войне кровава, полна животного страха, всегда насильственна, а то, что мне приходилось видеть – массовые убийства, казни евреев и партизан, – еще и смертельно разрушительно для исполнителей этого ужаса. О тех, кто убивал, мало знают. А я был близко знаком с такими убийцами, с одним, белорусом Семеновичем, жил под одной крышей и видел, как он напивался и какие жестокие страдания испытывал. Это были не только физические страдания и не только нравственные. Нет, пожалуй, это было неразделимо. Адские страдания.

Уже став священником в польском приходе, я увидел другую сторону смерти – как же умирали после войны деревенские старухи! Меня вызывали к ним для причастия, и бывали такие минуты, когда я отчетливо видел, в чьи руки их передаю. Их встречали Небесные Силы, и они уходили со счастливыми лицами. Не все, не все, но несколько раз я это видел и потому знаю, как это должно быть в мире неискаженном.

Но самоубийство, дорогой Владек, самоубийство! Свидетельство того, что сама душа отказывается от своего бытия. Бедная Гражина! Люди с экстравертным характером обычно не совершают этого поступка, они всегда находят способ вывернуть свое страдание наружу, разделить его с кем-то, дистанцироваться. Мужа своего она спасла, а сама оказалась нежизнеспособна в его отсутствие. Он всегда ее сопровождал. Она никуда не выходила из дому без него. Утром он провожал ее в пошивочную мастерскую, где она работала, вечером встречал. Если у него был вечерний урок, она ждала в мастерской и час, и два, пока он за ней не приходил. Он всегда приводил ее на мессу и терпеливо ждал в садике, пока служба не закончится. Когда я приглашал его зайти посидеть с нами после службы за столом, он чаще отказывался, но иногда и заходил. Сидел молча и никогда ничего не ел. Аскетичное, очень красивое еврейское лицо. Говорят, он был очень хороший преподаватель, к нему возили из окрестных городов маленьких мальчиков с крошечными скрипочками.

Год Гражина терпела, потом устроила поминки, попросила местных евреев собрать миньян, прочитали кадиш. Через неделю ее дочка ушла в армию, а на следующий день она выпила что-то и не проснулась.

Много лет я не сталкивался с самоубийствами. В партизанском отряде, среди евреев гетто самоубийства были нередки. Люди были загнаны в самый темный угол и отвергали дар жизни, предпочитая мучительным испытаниям – голод, страх, гибель и мучения близких и ежеминутное ожидание лютой смерти – самую смерть. Попытка отчаявшегося человека забежать вперед. На меня в свое время произвело ужасное впечатление сообщение о самоубийстве Геббельса вместе с его шестью детьми. Он не доверял Богу, полагал, что ни сам, ни его дети не заслуживают снисхождения. Он вынес приговор и сам привел его в исполнение.

Но – бедная Гражина! Ей нужна была только любовь мужа, а другой любви она не знала. Или мало знала. И о той жестокости, которую проявила к дочери, не подумала. Бедная Хана – брат, отец, теперь мать. Ей дали в армии отпуск на три дня, но она приехала на несколько часов, только на похороны. Не захотела остаться. Не вошла в дом. С какой травмой девочка будет теперь жить!

Похоронили Гражину на местном арабском кладбище. Это небольшое католическое кладбище наших братьев на окраине города. Арабы пустили меня служить в свой храм, я служу мессу на одном с ними алтаре. В Страстной четверг у нас была с ними общая служба. Служили мессу на арабском и на иврите. А в пятницу она не проснулась.

Христианам, дорогой брат, в Израиле трудно жить – по многим причинам. Очень трудно христианам-арабам – недоверие и ненависть евреев, еще большее недоверие и ненависть арабов-мусульман. Но как сложно христианина похоронить, особенно если это не монах, живущий в монастыре со своими садами, землями и кладбищами, и не араб, которые здесь обжились лучше других, а человек не укорененный, более или менее случайный в Израиле и не принадлежащий ни к духовенству, ни к чиновникам.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Сколько здесь трагедий: приезжают иммигранты со смешанными семьями, с ними старушки-матери, часто католички, иногда православные, и когда они умирают, начинается нечто неопределимое: невозможно похоронить. Есть еврейские кладбища, где хоронят только иудеев, есть христианские монастырские, где тоже отказываются хоронить «посторонних» за недостатком места. Из-за дикой дороговизны земли участок на кладбище стоит таких денег, каких нет у бедных людей. Но мы, люди из Польши, прекрасно знаем, сколько людей может вместить земля.

Араб – настоятель храма, в котором мы сослужим, позволяет мне изредка хоронить на здешнем кладбище, и Гражину мы похоронили там. Прошу твоих молитв, дорогой брат Владек.

Я написал тебе такое сумбурное письмо, что, только перечитав, понял, насколько оно жалобное, а вовсе не благодарственное, как я собирался писать. Дело в том, что я получил три книги от тебя, и одна из них оказалась очень нужной, и я тебе благодарен также за полное понимание, которое ты высказываешь в своем письме. Кроме того, должен тебе признаться, что в моем сложном положении поддержка твоя для меня чрезвычайно важна.

Твой брат во Христе Д.

4

Декабрь, 1965 г., Краков.

Из письма Владислава Клеха Даниэлю Штайну

..Ну, Даниэль, ты не перестаешь меня удивлять. Письмо твое и впрямь сумбурное. Горе твое понятно – жалко погибшую женщину. Но самоубийство давно уже определено Церковью как грех, и ты позволяешь себе эмоции, которые только опустошают душу и ослабляют веру.

Все мыслимые вопросы уже давно поставлены, и ответы на них получены. Другое дело, что мы не умеем читать, и там, где нашим предшественникам все было ясно как божий день, нам, в нашем лукавстве, представляется сложным и запутанным. Неужели ты считаешь, что все разделения и схизмы чисто человеческие? А нет ли в них Божественной правды? А может, наоборот: то, что Бог разделил, человеку не соединить?

Нет, даже и слышать не хочу о таком твоём направлении мыслей. Если, как ты говоришь, создать общую литургию всех христиан, куда прикажешь определить тех протестантов, которые вообще отказались в своей практике от евхаристии, как мы ее понимаем? Не знаю, не знаю, дорогой Даниэль. Если такое и будет, то не при нашей жизни. А скорее в Царствии Небесном. Сдается мне, что жизнь в Израиле изрядно мутит твое ясное сознание. Прежде ничего подобного ты не высказывал.

Ты писал мне не однажды, как велики разногласия среди христиан на Святой земле, но каковы, интересно мне, взаимоотношения с иудеями? А уж если христиане между собой не могут договориться, то как разговаривать с евреями? О мусульманах я даже и не упоминаю – еще один неразрешимый вопрос.

Морозы в этом году очень сильные, у меня тут нищий возле костела замерз. Это не у вас, в теплых странах, надо строить приюты для бездомных, а у нас, на севере. Или устроить трансфер – наших нищих вам переправить?

Твой брат в Господе Вл.

5

Сентябрь, 1966 г., Хайфа.

Из письма Хильды матери

Не огорчайся, мама, что я не приеду в этом году. Подумай сама, какой может быть отпуск, когда все строительство на мне. Ты представить себе не можешь, как много мы успели сделать за этот год. Это при том, что со всех сторон – одно противодействие, и со стороны церковных властей, и со стороны государства. Единственная помощь – из Германии. Еще нам подарил один местный араб машину

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya1udmila.ru](http://ulitskaya1udmila.ru) камня. В Германии это стоило бы целое состояние, а в Израиле строительный материал дешевый. В июле приехала целая бригада немецких студентов, они два месяца работали на стройке, вырыли котлован для церковного дома и начали рыть еще один – для приюта. Студенты, которые приехали, почти все из Франкфурта, какие-то особенные ребята. Я таких в Германии просто не встречала. Воду уже отвели из друзской деревни.

А храм какой красивый! Восстановили стены, поставили двери. Есть крыша! Только окон нет. Даниэль говорит, что не надо вставлять рамы, а просто ставни сделать от непогоды, и достаточно будет. Помещение небольшое, – он говорит, – летом без рам обойдемся, а зимой дыханием обогреем. И хотя еще стройка не закончена, мы уже здесь служим. Есть алтарь, есть навес, где можно в тени посидеть. Нашли заваленный источник, восстановили его, не без помощи соседей-друзов. Так что мы теперь называемся храм Илии у Источника. Правда, красиво?

Я готова была сюда совсем перебраться уже сейчас, но Даниэль говорит, что он мне одной здесь жить не разрешит. Пока студенты жили, мы устроили вроде лагеря под открытым небом, даже палаток не ставили, потому что в палатке очень душно. Еду готовили на очаге, а ели раз в день, вечером. Утром чуть-чуть – лепешки с медом и кофе.

Можешь себе представить? Я веду всю бухгалтерию, все расчеты с рабочими, которых пришлось нанимать для работы на крыше. Кровлю сделали черепичную, это дорого, но нам помогли.

Брат Даниэль проводил здесь очень мало времени, так что почти все решения я принимала сама. У него и летом много работы, но основная масса туристов приезжает как раз осенью, на еврейские праздники. Он возит экскурсии по всему Израилю. Мне тоже в этом году удалось с ним поехать, правда, совсем недалеко, в город Зихрон Иаков. Помнишь, в Библии упоминается роза Сарона. Это роза из долины Шарон. Здесь земледелия не было тысячу лет, все заболочено. И вот в конце XIX века приехали десять еврейских семей из Бессарабии, они хотели здешние места снова превратить в сады, но у них ничего не получалось, пока барон Ротшильд не дал им денег и не прислал специалистов. Тогда у них дело пошло, все болота осушили. Начали заново осваивать землю. Даниэль показывал нам эти виноградники и сады. Эти роскошные плантации видны от могилы Ротшильда, потому что он завещал себя здесь похоронить. Вот ведь счастливый человек, как он мудро распорядился деньгами, болота с помощью денег стали садами, и теперь по всему миру фрукты из этих садов продают. Здесь есть генетическая лаборатория, в ней просто чудеса творят. Главное, что Даниэль все это знает, показывал нам разные сорта и рассказывал про цветы. Он точно знает, какие растения здесь с библейских времен, а какие завезли потом. В Зихрон Иакове даже есть маленький ботанический сад с растениями, которые в Библии упомянуты. Нет только кедра ливанского, он почему-то не хочет сам расти. Теперь, чтобы вырастить кедр, надо много усилий приложить. За каждым деревом уход. Даже паспорт заводят на каждое дерево! А в древние времена здесь были кедровые леса и дубравы.

Представляешь, что есть такая наука – библейская палеоботаника, эти ученые восстановили картину здешней природы, какой она была две и три тысячи лет тому назад. Когда мы осматривали этот сад, пришел как раз ботаник, местный араб Муса. Он показал такое растение, с виду ничего особенного, но оно очень похоже на тот куст, из которого с Моисеем говорил Бог. Оказывается, у этого растения очень высокое содержание эфирных масел, и даже, как он сказал, если очень аккуратно зажечь спичку, тогда масла будут выгорать, и вокруг куста будет пламя, а сам куст останется цел. Неопалимая купина!

Муса происходит из старинной арабской семьи, образование он получил в Англии. У них здесь много земли, и им принадлежал тот участок, на котором сейчас государственная тюрьма для палестинцев, которые воюют с евреями всякими незаконными способами. Это тюрьма Дамун. Но смотреть на эту тюрьму мы не поехали, потому что было мало времени. Зато я успела посмотреть вместе с группой еще одно потрясающее место, в направлении города Шхема. Там пасли скот брата Иосифа, он их сначала не нашел, а потом нашел, и они сбросили его в сухой колодец, разозлившись на него за толкование сна. Даниэль показал нам такой сухой колодец. Возможно, тот самый. Километрах в двадцати есть еще один сухой колодец, и, скорее всего, именно в этом или в очень похожем месте они его вытащили из колодца и отдали проходящим купцам. Неподалеку по дну высохшего русла – вади – проходил караванный путь. То есть вся история, которая описана сначала в Библии,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru а потом у Томаса Манна, просто буквально вот здесь происходила. Купцы купили Иосифа как раба, это стоило на современные деньги гораздо меньше, чем сегодня стоит овца, и отвезли в Египет. Вот такая история. А эта караванная дорога местами еще видна. Там же, возле сухого колодца, мы встретили двух арабских мальчиков, которые пасли коз.

Муса сказал, что козы – самые вредные для страны животные: они съели всю Древнюю Грецию и Палестину. Я это слушаю, развесив уши, и понимаю, что больше всего на свете хочу пойти учиться в Иерусалимский университет. Даниэль говорит, что это вполне возможно, и он сам об этом думал, но ему будет трудно без меня обходиться. Ты себе не представляешь, как это мне было приятно слышать. Теперь я быстро дописываю письмо и отдаю одной немецкой девушке, которая едет в Германию и опустит его в ящик прямо в Мюнхене. Я надеюсь, что со здоровьем у тебя все в порядке и ты не будешь на меня сердиться, что я не приеду в отпуск.

Если все организуется, как говорит Даниэль, с января у меня начнется учеба в университете. Совершенно не представляю себе, как это я буду успевать. Но очень хочется.

Привет всем домашним.

Твоя Хильда.

6  
Сентябрь, 1966 г., Хайфа.

Записка, найденная Хильдой в тот же вечер в ее собственной сумке

Хильда, если ты не возражаешь, чтобы я приехал на вашу стройку, позвони, пожалуйста, по тел. 05-12-47 и скажи только, что не возражаешь. Муса.

7  
1996 г., Хайфа.

Из разговора Хильды с Эвой Манукян

Нет, нет, меня совсем не удивляет, что три дня общения с Даниэлем развернули твою жизнь в другом направлении. Я ведь тоже выжила только благодаря Даниэлю. Он пас меня, как козу. Много лет. История эта началась тридцать лет тому назад и уже давно закончилась. Мне иногда кажется, что это вообще не из моей жизни, а из какого-то бульварного романа.

Осенью 66-го, обнаружив в сумке записку от Мусы, я ему позвонила, и он приехал. Я знала, что семья его очень богатая, и надеялась, что приезд его связан с тем, что он хочет сделать взнос на строительство.

Мне было двадцать лет, и для своего возраста я была исключительно по-женски глупа. Когда мужчина смотрел на меня, я испытывала беспокойство, что у меня что-то не в порядке – пятно на блузке или рваный чулок. У меня всегда была очень низкая самооценка, мои сводные братья называли меня «доской».

В детстве я очень страдала из-за моего роста – мне хотелось быть маленькой и пухленькой, и с полным лифчиком добра, но лифчик надевать мне было решительно не на что. Меня можно было приспособить к какому-нибудь спорту – к лыжам или к бегу, туда, где требуются длинные ноги, – но я терпеть не могла соревнований, и отсутствие спортивного духа сразу же чувствовали все тренеры, какие попадались на моем пути. На спорт меня направлял мой отчим, большой болельщик всего на свете, но все, что исходило от него, мне заранее не нравилось. Мать в те годы не очень мной интересовалась, мой младший брат Аксель был очень болезненный, мать постоянно с ним возилась. Излишек роста и недостаток любви – вот диагноз, который я поставила себе много лет спустя.

Позднее, когда я уже переехала в Израиль, после того, как мама перенесла онкологическую операцию, наши отношения стали лучше. Даже можно сказать, что они вообще возникли только после ее болезни. Сейчас я знаю о ней гораздо больше, чем в юности, и многое мне стало понятно. Хотя я навещаю ее довольно редко, раз в

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru два-три года я бываю в Мюнхене, но мы постоянно переписываемся, и у нас очень близкие отношения. Она, несмотря на плохое здоровье, приезжала сюда несколько раз. Но в юности мы были очень далеки, я была очень одинокой девочкой.

Встретив Даниэля, я перестала быть несчастной, потому что он распространял вокруг себя радость. С тех пор, как я увидела его в первый раз, я почувствовала, что хочу быть с ним рядом. Конечно, он заменил мне отца, и он прекрасно это знал. Он многим кого-нибудь заменял – отца, старшего брата, погибшего ребенка, даже мужа. Половина прихожанок были в него тайно влюблены, а некоторая часть – вполне явно. Была даже одна сумасшедшая, которая преследовала его своей любовью лет восемь, пока он ее не выдал замуж.

Но я хочу рассказать о Мусе. Он приехал на строительство, я обрадовалась, ожидая от него денег на строительство. Но в тот раз он привез чудесные арабские сладости. Через несколько дней приехал еще раз, помог рабочим вкапывать столбы. Студенты уже уехали. Потом не появлялся месяц, но приехал с небольшим экскаватором. В тот же вечер закончили копать яму под фундамент для служебного строения, и он оплатил эту работу. Мы с ним почти не разговаривали – только за столом, когда ужинали, перекидывались несколькими словами, и он уезжал. Я видела, что он очень красив, любовалась его руками – таких рук не встретишь у европейцев. Вообще у арабов – и у женщин, и у мужчин – руки совершенной формы и необыкновенного благородства. Наверное, оттого, что тела их так укутаны одеждой, и это единственное у женщины место, которое можно не держать под покрывалом, и руки стараются взять на себя все. И у мужчин тоже ведь лица не особенно видны – растительность, куфии головы покрывают. Так, один нос торчит, как у Арафата. Арабы тела не показывают. А я там работала в шортах и в маечке без рукавов, и Муса не смотрел в мою сторону, потому что «глазам было больно» – так он потом говорил. Он умирал от страсти – но я об этом не догадывалась. Он был в отчаянии, потому что думал, что я его не считаю за мужчину. В каком-то смысле так оно и было. Только дело было в том, что это себя я не считала за женщину.

Однажды он сказал, что спланировал сад, который посадит, когда строительство закончится, и рассказал, какие там будут растения. Перед ним лежал лист бумаги, и он рисовал на нем синим фломастером. Ушел и оставил этот листок на столе, а я его положила в деловую папку.

Почти год мы общались, и он мне очень нравился – как нравятся красивые вещи: бронзовый древний предмет, или картина, или переплет старинной книги. Он весь был золотистым и коричневатым, как скорлупа лесного ореха, но тело его не было жестким, оно было мягким и плотным, и он умел плакать от любви. Все это я узнала потом. И я уверена, что никогда бы ничего об этом не узнала, если бы весной меня не ужалила змея. Мы сидели под навесом возле нашей уже почти законченной стройки и пили чай, который он приготовил. Это было место, на котором мы всегда проводили самые жаркие часы, когда работать невозможно, и оно было ровным, утоптаным, и почему никто не увидел заползшей туда змеи, даже удивительно. Я взяла стакан чая из рук Мусы и устроилась поудобнее, опершись на левую руку. Тонкий укол в предплечье, и как будто метнулся в боковом зрении темный шнурок. Я даже не поняла, что произошло, но Муса уже смотал полотенце в жгут и крепко затянул мне руку выше укуса.

– Цефа. Это была цефа, – сказал он.

Цефа – местная разновидность гадюки, я знала, что весной они бывают очень активны. Муса припал к моей руке и, как мне показалось, сильно укусил. Потом сплюнул. Змеиный укус был такой маленький, что я его даже не разглядела. Он взял меня на руки и понес вниз к машине.

– Я сама, я сама! – кричала я, но он сказал, что мне нужно быть очень спокойной и не совершать никаких движений, пока не введут сыворотку. Притащил меня к своей машине, усадил на заднее сиденье и повез в больницу. Рука у меня болела в том месте, где он ее цапнул.

Он отвез меня в больницу, мне сразу же сделали укол и велели час лежать. Возле раны было покраснение и синяки – следы зубов Мусы. Врач сказал, что если через час никакой реакции не будет, значит, Мусе удалось высосать весь яд, и это очень редко бывает, чтобы удалось так быстро это сделать.

Меня положили на кушетку, а Муса ждал меня в коридоре. Потом он вошел и сказал,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru что он чуть не умер от страха за меня. И он заплакал, а я не заплакала, потому что я поняла, что он меня любит, и это меня изумило больше, чем укусы змеи.

А дальше все произошло так быстро – мы ведь целый год к этому готовились. То есть я не готовилась, но я весь год купалась в его любовных взглядах, и у меня тогда даже прыщики прошли – до этого у меня иногда высыпали мелкие прыщики на лбу и на подбородке, а тут сделалась у меня такая кожа, как будто я ее в салоне красоты холила и лелеяла.

Я тогда снимала маленькую квартирку в Среднем городе, у арабов, – комната размером с большой диван и кухонька. А Муса жил в Верхнем – в большом доме с садом... Настал день, когда он домой не вернулся.

Нет-нет, совсем не то, что ты думаешь. Он про меня ничего не знал, но все чувствовал. Он был эмоциональный гений. Он подходил ко мне так осторожно, как к тени или к миражу. Я была дикое, совсем дикое животное, с полностью придавленной женственностью. Я думаю, что я из той породы, которым легко было бы прожить до смерти девственницей. Очень медленно я научилась ему отвечать. Прошел почти год, прежде чем тело мое смогло ему ответить. Во мне в тот год как будто выросло другое существо, не имеющее ко мне отношения.

Потом была Шестидневная война. Все были в эйфории – Восточный Иерусалим, часть Иудейской пустыни, Синай, Самария, Голаны. И только два человека настроены были очень осторожно – Даниэль и Муса. Даниэль говорил, что это залог, что захват земель – не решение вопроса, а его осложнение. Муса, которого и в армию как араба не брали, говорил, что последствия будут непредсказуемые.

Я помню, как они однажды утром здесь беседовали – и Даниэль сказал: эта Шестидневная война как будто глава из Библии. Победа совершается по мановению руки...

– А поражение – другой руки? – быстро спросил Муса, и мне вдруг стало страшно.

Внешне мало что поменялось – я работала с утра до ночи, мы тогда организовали что-то вроде детского сада при церкви: большинство наших женщин не могли работать, детских садов очень мало, к тому же трудно деток возить, и транспорт дорог, у нас была такая группа для работающих мам, и одна-две мамы дежурили с детьми. Обычно это была какая-нибудь кормящая женщина. Помню, была одна, Вероника, которая половину общинных детей своей грудью подкармливала. Тогда же мы закончили строительство нашего храма – Илии у Источника. Источник нам друзья нашли, но он оказался такой маленький, что только птица мог напоить.

Теперь мы стали действительно общиной, даже немного коммунистической. В церковном доме постоянно жили люди, у которых не было жилья, иногда совсем случайные, бездомные, к нам прибилось несколько наркоманов, и один из них совершенно отошел от наркотиков, и поднялся, и выучился даже. Мы с Даниэлем покупали еду, и были какие-то благотворительные коробки, мы варили, кормили, мыли посуду, молились. Он совершал литургию, большая часть которой звучала на иврите. Муса часто приходил, тоже помогал. Иногда он приглашал меня погулять, показывал какие-то красивые места. Всегда, когда он звал меня куда-нибудь, я спрашивала у Даниэля, отпускает ли он меня.

Он сердился:

– Зачем ты меня спрашиваешь? Ты взрослый человек, сама за себя отвечаешь. Ты знаешь, что Муса женатый человек. Если ты можешь не ходить, лучше не ходи.

Конечно, я знала, что Муса женат. Но я знала, что его женили, когда он был совсем еще мальчик, ему было семнадцать лет, жена его была старше, приходилась ему родственницей по материнской линии, и были какие-то семейные интересы, которые обязывали его жениться. Впрочем, его и не спрашивали. У него тогда было трое детей.

Двадцать один год – с того дня, когда он сунул мне в сумку записку, до его смерти. Двадцать один год страдания, счастья, разрывов, примирений, непрерывных угрызений совести, стыда и такого божественного единения, о каком только можно мечтать.



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
В самом начале я пришла к Даниэлю в смятении, долго не могла ничего сказать, а потом сказала только одно слово «грех». Он молчал, молчал, потом снял заколку с моих волос, они рассыпались. Он погладил меня по голове и сказал:

– Какие у тебя красивые волосы, и лоб, и глаза, и нос... Ты для того и создана, чтобы тебя любили. Грех на другом человеке. Он брал на себя обет. Но и его я могу понять, Хильда. Женщины в любви почти всегда жертвы. Женщины больше страдают от любви. Может, они больше получают. От жизни никак нельзя уклониться, она свое берет. Не казни себя. Потерпи. Постарайся себя защитить.

Я почти не поняла, что он такое говорит. Удивительное дело: к нему приходили люди с банальными проблемами, а он никогда не давал банальных ответов.

Много раз мы пытались с Мусой расстаться. Не получалось. Как два шарика ртути, мы постоянно липли друг к другу. Такая химия любви. Или страсти...

Я помню, как, в очередной раз порвав с Мусой, я пришла к Даниэлю с готовым решением: в монастырь! Я думала, что за монастырскими стенами я смогу укрыться от незаконной любви.

Даниэль достал конфеты – вишню в шоколаде – кто-то ему привез красивые итальянские конфеты, – поставил чайник. Он хорошо заваривал чай, с большим вниманием, не то китайским, не то русским способом – полоскал чайник кипятком, накрывал его полотенцем. Разлил в чашки – это было у Илии, на горе, поздно вечером. А я все жду, что он скажет, потому что желание мое уйти в монастырь огромное, почти такое же большое, как моя любовь.

– Деточка, мне кажется, ты хочешь в монастырь убежать от любви. Это неправильное решение. В монастырь идут от любви к Богу, а не от любви к мужчине. Не надо себя обманывать. Так будет только хуже. Когда ты вылечишься от своей любви, тогда мы об этом будем говорить.

А я все свое тяну:

– В монастырь! В монастырь!

И тут он так рассердился! Я его таким гневным, пожалуй, никогда и не видела:

– Что ты хочешь подарить Богу? Свои любовные страдания? Это ты хочешь ему принести в дар? Что ты там будешь делать? Ты, может, большая молитвенница? Будешь своей молитвой удерживать мир, как еврейские тридцать шесть праведников? Или ты умеешь созерцать? Может, ты Франциск Сальский или Тереза Авильская? Может, ты хочешь, чтобы у тебя над головой засверкало это самоварное золото, которое рисуют на восточных иконах? Не морочь мне голову! У нас здесь дел невпроворот. Работай здесь!

Но я все его не слышу. Даже немного в душе возмущаюсь. Я чуть-чуть рассчитывала, что он меня похвалит, благословит. Умилится моей решимости. А он – рассердился, взмахнул рукой, чашка упала со стола и разбилась.

– Если ты ничего не можешь изменить – терпи. Так не может длиться вечно, кто-то из трех человек всегда сдается. Сдайся ты, отойди сама. А не можешь – так жди. Не связывай себя обетами. Монашество – тяжелый путь, он мало кому по плечу. Вот мне, например, не по плечу. Мне так тяжело быть монахом, всю жизнь я тоскую – без детей, без семьи, без женщины... Но моя-то жизнь была мне столько раз подарена, что она мне уже не принадлежала, и я принес ее. Потому что она мне совсем уже не принадлежала. Ты пойми, я не жалею, что я принял монашеские обеты, я сказал да, и, с Божьей помощью, доживу в монашестве до конца жизни, но никого, слышишь, никого я на этот путь не благословлю. Хочешь служить Богу – служи в миру. Здесь есть кому служить.

И снова нас с Мусой подбросило на какой-то любовной волне, и мы сбежали на Кипр. Прожили там четыре месяца – он хотел, чтобы мы поженились. Я была в смятении и мечтала умереть, чтобы поскорее все закончилось. Мне и Даниэль тогда сказал: пора остановиться, иначе кто-то погибнет. Я хотела, чтобы это была я. Я даже молилась, чтобы это произошло само. О самоубийстве я не думала – это был слишком простой выход, и я знала, что для Даниэля это будет ужасный удар. Он за меня отвечал.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

В разгар всех этих страстей на Кипр пришла телеграмма от отца Мусы, что Давида, среднего сына Мусы, сбита машина. Пятнадцать лет ему было тогда. Мы сели на паром и вернулись в Хайфу. Мальчика оперировали четыре часа, но в себя он не приходил, был в коме. Мы с Даниэлем молились в храме двое суток.

Я приняла обет, что с Мусой никогда больше ничего у меня не будет. И он тоже принес такой обет в этот же самый час. Мы не сговаривались. Оба поняли, что надо это отдать. Выжил мальчик.

Мы с тех пор с Мусой виделись только иногда в церкви. Рядом стояли и молились вместе. Слова друг другу не сказали.

В 87-м году, когда началась первая интифада, мусульмане вырезали всю семью Мусы. Дядя Мусы держал маленький ресторанчик возле автостанции. Место бойкое, у него собирались разные люди, потому что его любили за приветливость и старание. Справляли день рождения отца, собрались всей семьей в ресторане. Мусульмане ворвались и всех порезали. Это были террористы, они хотели в кафе устроить место встреч, а дядя им отказал. Тогда они велели продать им кафе – сказали, что деньги заплатят, но чтобы дядя убирался. Он отказался. Отомстили. Четверо мужчин, две женщины и трое детей погибли. Давид, сын Мусы, был тогда в Англии. Он не смог приехать на дедушкин день рождения. Об этой трагедии тогда много писали.

Хотя ты знаешь, Эва, самого важного никто тогда не сказал: положение арабов-христиан в Израиле гораздо худшее, чем положение самих евреев. Евреи живут как на острове во враждебном арабском мире, а арабы-христиане под подозрением и тех, и других. Даниэль это понимал лучше всех здесь. У него было потрясающее чувство юмора – однажды он сказал мне, что отсутствие великодушия у одной пожилой женщины по имени Сарра и ее неразумная ревность привели к тому, что семейный конфликт принял масштаб мировой катастрофы. Если бы у нее хватило великодушия полюбить Исмаила, старший брат не стал бы заклятым врагом младшему... Мы много говорили об этом с Мусой, и у меня сохранилось всего три письма от него, и одно из них как раз посвящено его переживанию, которое он называл «быть арабом». Он ведь не только ботанику изучал в университете. Он знал и философию, и психологию. Но бросил эти занятия, потому что решил заниматься тем, что давало ему наслаждение, – растениями... Он происходил из хорошей семьи – его предки сажали сады всем восточным правителям, а Персидские сады Бахайского храма его дедушка планировал.

В последние годы жизни Даниэль называл меня «дочкой». А тебя, Эва?

8  
Декабрь, 1966 г.

Запись беседы брата Даниэля в храме Илии у Источника

Эльдар сделал такой замечательный стол, за которым может сидеть множество людей. Спасибо тебе, Эльдар. Поставьте тарелки в таз, потом помоем. А стаканы не убирайте. Наверняка кому-то захочется пить. Да. Теперь стало гораздо удобнее, стол прекрасный. Хильда приготовит нам чай, а Муса сварит кофе, он лучше всех это делает. И мне чашечку, хорошо?

На минувшей неделе я возил паломников и попал в Иерусалиме на кладбище, это под Старым городом, где ведут раскопки, и там нам показали очень интересные захоронения II века, где вместе похоронены евреи и христиане – члены одной семьи. Это было время сосуществования еврейского христианства с иудаизмом, когда все вместе молились в синагогах, и между ними не было конфликта. Правда, евреи – ученики и последователи Христа – еще не называли себя христианами. Однако раннее христианство теснейшим образом было связано с иудейской средой того времени хотя бы уже потому, что сам Иисус вышел именно из этой среды. У Иисуса была мать иудейка Мириам, он говорил на древнееврейском и арамейском языках. Когда ему исполнилось восемь дней, над ним был совершен обряд обрезания. Иисус, как мы знаем из текстов Нового Завета, соблюдал субботу и посещал Храм. Как доказывают современные знатоки иудейской письменности того времени, свое учение излагал тем же языком, приводил те же примеры, что и раввины той эпохи.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
В I веке еще были живы многие участники и свидетели событий, живы были и ближайшие родственники Иисуса, жива была и сама Мириам. После смерти и Воскресения Учителя апостолы Петр, Иаков и Иоанн выбрали в епископы Иакова, двоюродного брата Иисуса, и он возглавил Иерусалимскую общину.

Для апостолов Воскресение Иисуса – это то эсхатологическое событие, о котором возвещали пророки Израиля. Поэтому ученики Христа настаивали, чтобы все иудеи признали, что они и есть истинный Израиль – община Нового Завета. И тут они столкнулись с упорной, непрекращающейся враждой официального иудаизма. Тогда апостолы образовали особую группу, существовавшую внутри иудаизма, наряду с другими иудейскими сектами. Но они оставались верными предписаниям Закона, храмовому богослужению.

В 49-м году на Иерусалимском Соборе был узаконен обычай, согласно которому христиане, обращенные из язычников, «языкохристиане», должны были соблюдать лишь заповеди, данные Ною, – числом семь: они не обязаны были совершать обряд обрезания и выполнять другие предписания иудейского Закона. Апостол Павел считал, что и сами иудеохристиане не обязаны придерживаться древних правил, например могут не соблюдать запрет есть вместе с язычниками, а разделять трапезу с христианами из необрезанных. Многие иудеохристиане не были согласны с таким решением.

Это как раз и стало причиной спора, возникшего в Антиохии в том же 49-м году. По мысли апостола Павла, обрезание, соблюдение субботы и храмовое богослужение отныне упразднились даже для иудеев, и христианство высвободилось из иудейской политико-религиозной среды навстречу другим народам. Помните видение апостола Петра на крыше дома кожевника в Яффо – ему спускается с неба полотняный сосуд с животными, считающимися «нечистыми» для иудеев, и сопровождается это зрелище возгласом: «Что БОГ очистил, того ты не почитай нечистым!»

Именно здесь и наметилась развилка – Иерусалимская церковь не порывала с иудаизмом, а учение апостола Павла вело к этому разрыву, который и произошел вскоре, но уже после смерти Павла.

Хильда, дорогая! Чайник стоит на краю плиты, и он сейчас опрокинется, а в нем кипяток. И среди нас нет никого, кто смог бы тебя мгновенно исцелить.

Разрыв углубился, когда в 70-м году римляне разрушили Иерусалимский Храм. После поражения восстания Бар-Кохбы около 140 года разрыв оформился окончательно. Прежде иудеохристиане жили в Пелле и других городах Заиордания, теперь Палестина эллинизировалась, иудеохристиане стали покидать Ближний Восток. С конца II столетия иудеохристианство на Востоке – в Палестине, Аравии, Иордании, Сирии и Месопотамии – вообще угасло. Последние иудеохристианские общины пять веков спустя были поглощены исламом. В современном христианстве заметны лишь редкие «археологические» остатки в богослужении в Эфиопской и Халдейской Церквях.

Спасибо, Муса, кофе у тебя бесподобный. Существует множество книг на эту тему. Не буду забивать вам головы. Самое удивительное, что древнейшие иудео-христианские литературные памятники мало чем отличаются от мидрашей – особого литературного жанра толкований текстов, которые составляли раввины того времени. В произведениях таких церковных писателей, как Варнава, Иустин, Климент Александрийский и Иринея, еще присутствует иудейская традиция.

Период сосуществования иудейского и греческого христианства закончился в IV веке. С этого времени нееврейская христианская церковь стала могущественной, она приняла греко-римскую форму, она стала религией империи. В современной церкви нет места еврейской церкви. Христианство, которое существует в наши дни, – это христианство греческое. Оно отторгло от себя еврейские течения. Еврейская традиция, связанная со строгим монотеизмом, проявилась скорее в исламе, который тоже представляет собой своего рода интерпретацию иудеохристианской религии. Именно иудеохристианская церковь предлагает возможности для будущего диалога в трех направлениях – иудаизма, ислама и христианства.

В церковь должен быть возвращен ее изначальный плюрализм. Среди многих христианских церквей, говорящих на языках мира, должно найтись место и для еврейской христианской церкви... Мы должны вернуться на место былого расхождения и понять, что можно исправить. Историческое христианство совершило множество ошибок. Исправить, конечно, нельзя, но понять, в чем они заключались и отчего

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru проистекали, можно. И новое понимание может принести хорошие плоды – примирения и любви. Потому что из-за отсутствия евреев христианство теряет свою универсальность. Уход евреев – незаживающая рана христианства. Греческая, византийская составляющая во многом исказили сущность первоначального христианства. И мне хотелось бы вернуться к источнику. Вместе с вами.

9

Декабрь, 1966 г.

Докладная записка

В Иерусалимскую патриархию

монсеньору Маттану Авату

от брата Или

11 декабря 1966 года священник Даниэль Штайн провел беседу со своей общиной в недавно восстановленной церкви Св. Или у источника, содержание которой, записанное на пленку, я предоставляю в Ваше распоряжение.

Бр. Илия

10

Июнь, 1967 г.

Из письма Хильды матери

...У Даниэля была высокая температура, а я знаю, что он терпеть не может лечиться. Я накупила ему всяких лекарств и пошла пешком в «Стелла Марис», потому что транспорт из-за этой войны очень плохо ходил, и было ясно, что чем ждать автобуса полтора часа, лучше уж идти пешком – те же полтора часа. И вот, представь себе, я поднялась на гору, подошла к привратнику и передаю ему кулек с лекарствами для Даниэля. А привратник говорит, что Даниэль рано утром уехал и придет только вечером. Я возвращаюсь в Хайфу. Почти дошла до города. Вижу – по дороге мчит мотороллер «веспа», на котором восседает Даниэль в развевающейся сутане, а на заднем сиденье трясется тощий хасид, который одной рукой держится за свою широкополую черную шляпу, а другой за Даниэля. Ничего смешнее и вообразить нельзя, вся улица просто умирает со смеху. На другой день война закончилась, и что здесь творилось, не могу тебе описать. Такое ликование, такое счастье. Войну сразу же назвали Шестидневной.

И вот, посреди всеобщей радости, приходит довольно хмурый Даниэль, садится на стул и говорит:

– Поздравляю с победой. Про эту войну до скончания века будут писать во всех военных учебниках. Арабы никогда не простят нам такого унижения.

А Муса, который тоже в этот день зашел, говорит:

– Даниэль, я лучше знаю арабов, они найдут способ истолковать это поражение как большую победу. Арабы не дадут миру над собой смеяться.

Даниэль кивнул – он очень любит Мусу, у них глубокое понимание, – и сказал:

– Конечно, Муса, только внутренне свободный человек может и сам посмеяться над собой, и другим дать над собой посмеяться.

Тут я вспомнила сразу эту уморительную картину, как он вёз хасида на мотороллере, и сказала:

– Да, позавчера над тобой вся Хайфа смеялась, когда ты вёз хасида!

– Ты что, видела? – испугался Даниэль.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
– Конечно, – говорю, – видела. Не я одна, весь город чуть от смеха не лопнул!

По-моему, он расстроился. Стал объяснять:

– Понимаешь, он опаздывал на кадиш, и ни одного такси, ни одного автобуса. Я увидел, как он мечется, остановился, предложил подвезти. Он и сел. Ничего особенного. Я довез его до места, он сказал «спасибо», вот и все. Чего такого уж смешного?

Муса просто за живот схватился от смеха. А Даниэль недоумевает:

– Нам было в одну сторону!

– Это потому, что вы оба евреи, а с арабами никогда евреям не будет в одну сторону. Это я тебе как араб говорю. Нам, арабам-христианам, вообще деваться некуда – и от ваших побед, и от ваших поражений.

Потом мы выпили кофе, перед уходом Даниэль мне говорит:

– Хильда, а ты своим языком не особенно размахивай про то, как я хасида вёз.

– Даниэль, я никому ни слова не скажу, но ведь весь город видел!

– А может, это был не я, а какой-нибудь другой священник?

Честное слово, другого такого нет.

11

1967 г., Иерусалим.

Записи Хильды

КОНСПЕКТ ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  
КОНСУЛЬТАЦИИ  
ПРОФЕССОРА НОЙГАУЗА  
Приписка сбоку: Обсудить с Даниэлем!

1. Период Второго Храма заканчивается в 70 году. Храм был разрушен, и храмовые жертвоприношения прекратились. Началась эпоха синагогального богослужения. Считается, что пока Храм существовал, евреи приходили в Храм три раза в год – на Суккот, Песах и Шавуот.

Приписка сбоку: Последние два соотносятся с христианской Пасхой и Пятидесятницей, а про Суккот надо спросить.

Трудно себе представить, чтобы крестьяне из Галилеи три раза в год совершали такие паломничества – дорога в один конец занимала в те времена неделю, еще неделю длились праздники. Может ли крестьянин оставить на три недели хозяйство? В синоптических Евангелиях сказано, что Христос один раз за все свое отрочество был в Иерусалиме на празднике. Более реально предположение, что такое паломничество совершалось каждым иудеем раз в несколько лет.

Шмуэль Сафрай, современный исследователь, считает, что уже в начале I века, еще до разрушения Второго Храма, существовали синагоги – собрания верующих, где иудеи собирались по субботам для чтения Торы и совместной молитвы. Именно на таких собраниях Христос исцелял больных.

Хотя обычно иудейские исследователи не пользуются христианскими источниками, в данном случае интересно посмотреть, что говорит Новый Завет?

Упоминаний о синагогах в тексте Нового Завета множество. Возможно, что речь шла о частных домах богатых людей, предоставлявших помещение для совместных молитв и чтения священных текстов соседями односельчанам.

Думаю, что существующие по сей день развалины Капернаумской синагоги, христианской святыни, датируются неправильно, но это оставим на совести современных археологов и туристического бизнеса. Но по существу, эта синагога

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) являет собой доказательство того, что Храм еще не был разрушен, а синагогальные службы уже существовали.

Далеко не все исследователи разделяют эту точку зрения – приверженцы более консервативной школы считают, что эпоха синагогальная началась только спустя несколько лет после разрушения Храма. Я склонен разделять точку зрения Шмуэля Сафрая.

Напомню вам, что ожесточенная борьба за запрещение всякого богослужения, помимо храмового, началась за сотни лет до этого времени! Все это дает нам основания предположить, что еще до разрушения Храма велась подспудная работа, подготавливающая новый этап существования иудаизма – послехрамового, синагогального, которому предстояло оформиться во всем многообразии уже во времена изгнания.

Почему синагоги создавались уже тогда? Это было историческое предчувствие? Непокоримая вера в пророчества о разрушении Храма? Предусмотрительность религиозных лидеров того времени, предвидевших катастрофу? Вот вам вопрос для размышления.

Как воспринимали Храм разные слои народа? Харизматичные и экзальтированные кумраниты сторонились Храма как пристанища коррупции. Интеллектуалы считали идеологию Храма слишком жесткой. Фарисеи делали упор на изучение Торы, а не на храмовое богослужение. В результате Храм принадлежал священникам и простому народу. Первые, как всегда и везде, имели власть и богатство, вторые ни за что не отвечали по своему невежеству...

В I веке новой эры, в переходный, острейший и определивший дальнейшие судьбы мира период, между иудеями и христианами еще нельзя провести четкой границы. Они еще вместе в богослужебном общении и в сотворчестве. Они еще иудеохристиане – одна Тора, одна Псалтирь, одни и те же благодарения и прошения к Господу. Даже тексты Евангелий еще не сложились. Новый побег маслины еще не отрублен от ствола мечом апостола Павла.

2. Еще один вопрос для размышлений: к этому времени статус Храма пошатнулся. Кумранская община начинает молитвенное творчество, оторванное от храмового. Ныне найдены эти тексты.

Около 50-го года I века умер Филон Александрийский – тот самый Филон, который ездил в Рим к императору Калигуле во главе делегации александрийских евреев ходатайствовать против помещения статуй императора в синагогах Александрии и в Иерусалимском Храме. Сохранилось его описание этой малоудачной поездки. Благодаря христианам до нас дошли в греческом оригинале многие сочинения Филона. Он изумительно смелый и талантливый популяризатор Торы. С точки зрения ортодоксии – заражен платонизмом, стоицизмом и другими новомодными греческими влияниями. Но благодаря его трактату «О созерцательной жизни» мы знаем о существовании секты терапевтов.

Приписка сбоку: Надо посмотреть!

Филон пишет: «Если ты не принес свои грехи на алтарь своего сердца, незачем идти в Храм. Но если ты пришел в Храм и думаешь о каком-то ином месте, то в нем ты и находишься». Филон легко переносил «материальное» в духовный план. «Мы не едим свиньи, потому что она являет образ неблагодарности, потому что она не знает своих хозяев», – пишет Филон Александрийский. Вслед пророкам он говорил об «обрезании сердца». Он был современник Иисуса и в некоторых вопросах – единомышленник. При Филоне Александрийском некоторые семьи в общине не делали обрезание своим сыновьям, а он им мягко пенял: «Надо соблюдать обычай, чтобы не соблазнять других». Как это близко... Здесь я лучше остановлюсь – к Филону Александрийскому у меня личная слабость.

Приписка сбоку: Обязательно взять в библиотеке этого Филона!

Вернемся к богослужению. Богослужебные часы христиан восходят к иудейскому

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) расписанию. В Торе Господь предписал евреям совершать утреннюю и вечернюю жертву. До построения Соломоном Первого Храма жертвы приносили на алтарях под открытым небом. В пору Вавилонского пленения евреи начали молиться в молитвенных собраниях, в помещениях. Служба сводилась к чтению в определенные часы Торы, псалмов и гимнов – кровавую жертву стала заменять «жертва хваления». Этот тип богослужения – выработанный в вавилонском изгнании – послужил прообразом позднейшей литургии в христианских церквях. Вот прекрасная тема для самостоятельной работы – сравнение богослужебных текстов в их историческом движении! Невозможно представить себе христианство без Торы. Новый Завет родился из Торы.

Затем иудеи и христиане прерывают молитвенное общение и начинают молиться в разных помещениях. Постепенно у христиан возникают тексты нового типа, направленные против иудаизма и евреев. Здесь огромное поле для исследования.

Вернемся к этому вопросу, когда будем говорить о литургии.

3. О литургии. Особо острая точка. Есть параллелизм между еврейской пасхальной службой и христианской мессой (сравните текст пасхальной агады и мессы, очень интересно!). Христианская литургия теснейшим образом связана с еврейской пасхальной службой. Все, что я сейчас говорю, носит отрывочный характер. Просто напоминаю основные положения, общее место, в некотором роде. Но при этом я призываю вас всё рассматривать критически, творчески.

Я призываю вас всё проверять, всё оспаривать. Знание, добытое без личного усилия, без личного напряжения, – знание мертвое. Только пропущенное через собственную голову становится твоим достоянием.

Итак: текстологический анализ пасхальной еврейской службы и современной литургии как Западной, так и Восточной Церкви указывает на структурную связь между ними, а также на использование в обоих богослужениях одних и тех же молитв. Внимательно просмотрите записи лекций на эту тему. Повторяться сейчас не буду.

Отдельный вопрос, который постоянно исследуется и иудейскими, и христианскими авторами: антисемитский характер некоторых христианских текстов, в особенности периода Страстной недели, то есть кануна Пасхи.

Второй Ватиканский Собор 1962–1965 годов исключил большинство этих текстов, в частности те, которые были написаны отцами церкви, например Иоанном Златоустом.

Восточные церкви отрицательно относятся к таким изъятиям, во многих православных церквях эти тексты читаются до сего дня.

Эта тема болезненна, она ставит под удар некоторые крупные авторитеты как в христианском, так и в иудейском богословии. В трудах Маймонида, известного в еврейских источниках как Моше Бен Маймон, или Рамбам, иудейского учителя и комментатора XII века, встречаются острые выпады против христиан, столь же мало обоснованные, как и антиеврейские высказывания некоторых из Отцов Церкви.

Так углублялась пропасть между иудейским и христианским миром. Она огромна, но мне она не кажется непреодолимой. Работа с этим материалом требует знаний, честности, открытости и смелости. Как говорил Отец Церкви Григорий Великий – если истина может вызвать скандал, лучше допустить скандал, чем отрицать истину.

Дорогие студенты! Последнее, что я хочу вам сегодня сказать, – сдать этот курс практически невозможно. В нем переплетена религиозная история и история человеческого рода. Здесь трагедия еврейства и трагедия Европы. Сердце истории бьется именно в этом месте. Поэтому экзамена не будет. Будет собеседование. С каждым из вас поговорим о том, что показалось наиболее существенным в моем курсе. Если хотите, подготовьте тезисы в письменном виде. В особенности это разумно для студентов, приезжающих издалека. Можно провести сравнительный анализ документов. Вот ты, Арад, как эфиопский еврей, мог бы взять тексты эфиопских христиан, у меня есть очень интересные, и сравнить их с еврейскими того же периода. Да, да! Обязательно так и сделай! Теперь мы с вами прощаемся на неделю, затем я жду вас в соответствии с расписанием.

Приписка внизу: Про Нойгауза ходит анекдот, что на собеседовании он спросил у  
Страница 71

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru студентки, сколько существует канонических Евангелий. Она не знала. Он больше не стал задавать ей вопросов и поставил зачет. А когда его спросили, почему он так поступил, он сказал – она не ответила только на один вопрос!

12  
1967 г., Хайфа.

Письмо Даниэля Штайна Владиславу Клеху

Дорогой брат В.!

Как видишь, я долго запрягал! Зато потом хорошо побежал, да так быстро, что сломал ногу. Положили гипс, сразу же отпустили, а теперь вот выяснилось, что положили неправильно, и пришлось делать операцию. Так что я должен теперь несколько дней провести в больнице, что, как оказалось, совершеннейший санаторий. Эта остановка на бегу дает полное отдохновение. К тому же нога болит, так что у меня нет ощущения, что отлыниваю от своих обязанностей. Наконец-то я могу написать тебе обстоятельное письмо о моем теперешнем настроении. Перед самым отъездом из Кракова в Израиль настоятель нашего монастыря говорил мне, что для католического священника Израиль представляет собой еще более тернистое поле деятельности, чем послевоенная Польша, что христианская миссионерская деятельность невозможна среди израильских евреев. Строго говоря, она даже запрещена законом.

Он оказался прав. Евреи во мне не нуждались. Религиозные евреи – те вообще были уверены, что я приехал сюда только с целью обращать евреев в христианство. Нуждались, конечно, проживающие здесь католики. Я не знаю, сколько здесь католиков из Польши, думаю, больше тысячи, есть и множество детей от смешанных браков, и их проблемы еще сложнее, чем проблемы католичек-полек. Вообще здесь не одни поляки, каждой твари по паре: католики из Чехии, из Румынии, из Франции, из Литвы и Латвии. Почти половина моих прихожан не знает польского, но все приехавшие изучают иврит.

Таким образом, моя возвышенная мечта совпала с суровой необходимостью, поскольку единственный общий язык моих прихожан – это именно иврит. Парадокс в том, что Церковь, говорящая на языке Спасителя, – это не Церковь евреев, а Церковь перемещенных лиц. Отверженных, малоценных, незначительных для государства людей... Вот тебе христианская лингвистика: в ранние времена богослужение, целиком вышедшее из иудаизма, перешло с иврита на греческий, на коптский, позднее на латынь и славянские языки, теперь ко мне явились поляки, чехи и французы, чтобы молиться на иврите.

Как раз евреев в общине всего меньше. За те годы, что я здесь живу, я крестил троих. Красиво крестил – в Иордане. Это были мужья католичек. Я надеялся, что они останутся в Израиле. Все они уехали. И не только они. Я знаю и других евреев-христиан, которые покидают Израиль. Несколько семей арабов-католиков уехали во Францию и в Америку. Я не знаю, как примут их там, но я понимаю, почему они уезжают.

Крещеное христианство в свое время покинуло Израиль, ушло в мир. А здесь остались некрещеные апостолы. Спаситель никого не крестил. Довольно загадочная история. Вообще отношения этих двух великих – Иоанна и Иисуса – весьма загадочны. Если не считать встречи их беременных матерей, когда «младенец выиграл во чреве», у них была единственная встреча, по крайней мере описанная встреча, – на Иордане. Всю жизнь они прожили на одном пяточке, страна-то крохотная, и не встречались. И это при том, что они состояли в родстве и, вне сомнения, были общие семейные события – свадьбы, похороны... Не встретиться здесь можно только намеренно. Встречаться им не хотелось! Какая за этим тайна! Заглянуть мне в нее помог замечательный собеседник, профессор иудаики Давид Нойгауз. Он изучает еврейские религиозные течения периода Второго Храма. Две важнейшие для него фигуры – «исторический Иоанн Креститель» и «исторический Иисус». Нойгауз пользуется источниками, мало известными христианским исследователям. Признаюсь, меня охватывает волнение, когда я соприкасаюсь с еврейскими документами тех лет. Здесь лежит, запечатанный семью печатями, ответ на главный для меня вопрос – во что веровал наш Учитель? И веровал ли Он в Отца, Сына и Святого Духа? В Троицу?



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Нойгауз анализирует различие в воззрениях Иисуса и Иоанна Крестителя. Разница – в представлении о Спасении. Иоанн был уверен в скором конце света и ожидал Страшного суда, как перед ним кумранские мудрецы и как после него Иоанн Богослов в «Апокалипсисе». По мнению Нойгауза, эта жажда немедленного суда и желание безотлагательно покарать нечестивых были чужды Иисусу. Иисус не последовал за Иоанном Крестителем, хотя известность и авторитет последнего были очень высоки. Могу предположить, что Иисуса отталкивали от Иоанна Крестителя его эсхатологические чаяния, страстная нацеленность на конец света. Последующая проповедь Учителя вся посвящается жизни, ее ценности и смыслу.

Живой Бог для живых людей.

Историческое христианство впоследствии пыталось вершить суд над миром. И суд над евреями. Именем Иисуса, немедленно! То есть Божественный суд заменялся человеческим и вершился от имени Церкви.

Давид Нойгауз изучает Иисуса в контексте еврейской истории. Ответ на вопрос «Во что веровал наш Учитель?» можно получить только таким образом, исходя из еврейского контекста.

Профессор Нойгауз пригласил меня домой, что большая честь. У него красивый дом в старом иерусалимском районе, который когда-то начали строить выходцы из Германии. Сейчас там живут богатые люди – много университетских профессоров, знаменитых врачей и юристов. Напоминает немного уютный пригород южного европейского города. Я вошел в дом – большой холл, зеркало, столик, все такое приличное и буржуазное, а на самом видном месте стоит скульптура – довольно порядочная свинья. Я немедленно спросил, почему он оказывает честь столь презируемому животному. Ответ был такой:

– Я родом из Чехии. Когда немцы оккупировали Чехию, поначалу они выдавали евреям разрешение на выезд. Я подал бумаги на выезд в Палестину, а когда пришел получать разрешение, немецкий офицер, оформлявший документы, потребовал, чтобы я три раза прокричал: «Я – грязная еврейская свинья!» Так что эта зверушка стоит в память о том событии.

Тут я увидел из окна, что подъехал заведующий отделением, и я пойду попробую его уговорить, чтобы он меня отпустил. Если отпустит, я немедленно поеду по делам и тогда закончу это письмо при первой возможности.

Д.

13

Ноябрь, 1990 г., Фрайбург.

Из бесед Даниэля Штайна со школьниками

Начальник белорусской окружной полиции Иван Семенович привез меня из деревни в город Эмск и поселил в своем доме. Он хотел, чтобы я постоянно находился при нем. Жил Семенович с молодой женой-полькой. Жена его Беата удивила меня полным несоответствием с простым и грубым Семеновичем. Она была очень хороша собой, образованна и даже аристократична. Потом выяснилось, что она действительно из очень хорошей семьи, отец ее директор гимназии Валевиц, а старший брат отца – местный ксёндз.

Иван был влюблен в Беату много лет, но она ему долго отказывала и вышла за него недавно, когда он стал начальником полиции. Таким образом она пыталась спасти семью от гонений. Польских переселенцев, более образованных, чем местные белорусы, было немного, потому что основную часть польской интеллигенции выслали в Сибирь еще при русских.

Нацисты преследовали не только евреев. Они считали расово неполноценными цыган, негров и славян. Но иерархия была такова, что на первой очереди к уничтожению стояли евреи. Я назвался поляком.

Местные поляки отнеслись ко мне хорошо – им было известно, что я полунемец-полуполяк, и, оформляя документы уже здесь, в Эмске, я записался поляком, хотя мог записаться и немцем. Выбор мой был совершенно сознательным –

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru единственным документом, оставшимся от прежней жизни, была моя ученическая книжка, в которой национальность не была указана, но был указан город. Немцы могли сделать запрос, и тогда я был бы разоблачен... Но в глазах поляков мой выбор значил только одно – что я польский патриот. Семья Беаты тоже придерживалась патриотических взглядов.

Вскоре я всех их узнал ближе. Семья Беаты – отец и ее сестры Галина и Марыся – оказалась прекрасная. Там была такая теплая домашняя атмосфера, что уходить от них не хотелось. Изредка заходил в дом и сам ксендз, старший брат хозяина дома. Когда мы встречались в их доме, я всегда напрягался: я не знал, как надо вести себя католику в присутствии священника. Но он был доброжелателен и не требовал никакого специального к себе отношения.

Сестры были приблизительно моего возраста – Галина на год старше, Марыся – на год моложе. Они были единственными, с кем я мог поболтать и немного сбросить напряжение, в котором постоянно находился. Приходил я к ним чуть не каждый день и оставался до вечера. С сестрами мы играли в карты, забавлялись и валяли дурака. Я рассказывал им какие-то забавные истории, которые иногда приключались даже в полиции.

Общение с евреями вне службы было исключено, я бы тут же навлек на себя подозрения. Да и сами евреи при виде моего черного мундира отводили в сторону глаза и старались стать невидимыми.

Конечно, о полной близости с семьей Валевицей не могло быть и речи, потому что я каждую минуту помнил, какая непреодолимая пропасть отделяет меня, скрывающегося еврея, от этих милых, симпатичных и интеллигентных христиан... Я был влюблен в Марысю и знал, что ей нравлюсь. Но также я знал, что никогда не перейду грани, не решусь на серьезные отношения, потому что я подверг бы ее ужасному риску. Не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я встретил ее в мирное время, в мирной стране. Но бедную Марысю и всю ее семью ожидала скорая смерть, и никого из них я не смог спасти.

Служебные обязанности мои были довольно разнообразны: во-первых, я был переводчиком при контактах между немецкой жандармерией, белорусской полицией и местным населением, во-вторых, мне приходилось заниматься расследованием уголовных и бытовых преступлений, собирать показания. От «политических» дел, связанных с расследованием деятельности бывшей советской администрации, коммунистов и появившихся вскоре после оккупации партизан, я старался держаться подальше. И в особенности от дел «еврейских». Но меня к ним не привлекали – это была наиболее засекреченная часть работы.

Я жил поначалу в доме Семеновича, кормился за его столом и, кроме официальной работы переводчика, занимался с ним немецким языком, впрочем, довольно безуспешно. Утром я седлал лошадей, и мы уезжали в контору. Вечером, когда можно было бы заниматься, Семенович обычно напивался.

Семенович был доволен моей работой: до меня переводчиком был один поляк, который плохо знал немецкий и к тому же был пьяницей. Теперь Семенович взвалил на меня всю работу по переписке, по канцелярии, я должен был составлять бесконечные бессмысленные отчеты, которых требовало немецкое начальство. Я справлялся, и Семенович это ценил.

Прошло немало времени, прежде чем Беата сказала мне, что она с первого взгляда заподозрила во мне еврея, но, когда увидела меня на лошади, отказалась от этой мысли: я сидел в седле как настоящий кавалерист, а не как деревенский еврей. Я действительно был хорошим наездником, любил и лошадей, и верховую езду и даже выигрывал несколько раз скачки, когда мы состязались с одноклассниками в манеже.

Вообще Беата относилась ко мне хорошо. Я жил в ее доме, помогал ей чем мог, и мне не раз приходилось вместе с ней умирять Семеновича, который в пьяном виде был буйным и злобным. Всякий раз после большого запоя он испытывал ко мне благодарность. Я это чувствовал. Я бы даже сказал, что он меня уважал. Своим уважением он поставил меня однажды в очень сложное положение. Он прекрасно понимал, что, будучи поляком, я должен быть католиком. По той иерархии, которую установил Семенович, еврей стоял ниже белоруса, а поляк – выше. Что же касается арийской расы, ее превосходство было для Семеновича несомненным. Он был, конечно, идеальным полицейским: его душа не испытывала никаких беспокойств по

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) поводу проводимых антиеврейских акций. В эти месяцы уничтожали еврейские хутора и небольшие поселения в 30–60 человек, и эти акции проводила поначалу белорусская полиция. Почему вдруг Семеновичу пришла в голову мысль, что те из его полицейских, кто принадлежит по рождению католической церкви, должны ходить на исповедь, я не могу объяснить, но в один прекрасный день он мне дал очередное задание – отвечать за то, чтобы полицейские–католики ходили на исповедь.

В этом был даже не абсурд, а какая-то адская усмешка: убийцы должны были соблюдать религиозные обряды, исповедоваться и причащаться. Я понял, что того же ждут и от меня.

С пятнадцатью полицейскими я пришел в костел. Все ждали своей очереди к исповеди, я был последним. Я сидел на деревянной скамье в ожидании и боялся разоблачения, потому что совершенно не знал, как вести себя на исповеди. Разве могло мне тогда прийти в голову, что пройдет несколько лет, и я сам буду принимать исповеди у прихожан?

Когда все полицейские ушли, я подошел к ксендзу, с которым уже несколько раз сидел за столом у Валевиной, и спросил, не собирается ли он сегодня идти к своему брату в гости.

– Нет, – ответил он, – я буду у них в середине недели.

Мы простились, и я ушел. Никто из полицейских не заметил моей хитрости.

Я не знал тогда, что священник Валевиной сочувственно относится к евреям и даже, как выяснилось впоследствии, помогал. Я и до сегодняшнего дня не знаю, догадался ли он, что я еврей. Я это допускаю. До сих пор я очень печалюсь, что не удалось его спасти, хотя я и сделал попытку.

Спустя полтора месяца, возвращаясь со службы домой поздно вечером, я увидел стоящую у обочины колонну грузовиков. В белорусскую полицию на этот раз ничего не сообщили о готовящейся антиеврейской акции. Это могло означать только одно: грузовики предназначались для поляков, и в белорусскую полицию не сообщили, потому что Семенович был женат на польке, и всем это было известно, а мне не сказали, потому что я слыл польским патриотом.

Я побежал к Валевиной, сообщил о грузовиках и высказал свою догадку. Я считал, что они должны немедленно скрыться, уйти в лес, на какой-нибудь дальний хутор. Я просил его, чтобы он предупредил своего брата и всех друзей–поляков, но Валевиной мне не поверил. Он ненавидел и коммунизм, и фашизм, но считал, что он лояльный гражданин и не может подвергнуться репрессиям.

В ту же ночь забрали всю их семью, патера Валевиной, инженера, врача и еще двадцать человек. Польскую интеллигенцию. Они были расстреляны в ту же ночь. За Беатой не пришли.

Милая Марыся, бедная Галина... Список тех, за кого мы молимся, бесконечно длинен.

Спасся только один поляк, которого я успел в тот вечер предупредить, – он в тот же час покинул Эмск.

Когда Семенович привез меня в Эмск, местных евреев уже переселили в старый замок. Я узнал о трагедии, которая разыгралась за две недели до моего приезда: евреям было приказано собраться на городской площади, куда они послушно пришли к указанному часу – с детьми, стариками, узелками одежды и припасами на дорогу. Здесь, на центральной площади, между двумя церквями, православной и католической, произошло настоящее побоище – полицейский отряд совместно с зондеркомандой расстрелял более полутора тысяч мирных жителей. Оставшиеся в живых евреи, около восьмисот человек, были переселены в полуразвалившийся замок, который превратили в гетто.

Уже после этого события в город приехал новый начальник, майор Адольф Рейнгольд, профессиональный полицейский с тридцатилетним стажем. Он нашел ведение дел очень плохим и принял свои, «цивилизованные» меры по наведению порядка. Он организовал настоящее гетто на территории замка, организовал его охрану, причем охрана возлагалась в первую очередь на самих жителей гетто, отчасти на белорусскую

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) полицию, но под немецким контролем.

Майор Рейнгольд начал с того, что конфисковал дом, прежде принадлежавший католическому монастырю, разместил в нем полицейский участок, а монахинь выселил в соседний, в котором прежде жила погибшая в погроме еврейская семья.

Сопровождая Семеновича в качестве переводчика, я, естественно, попался на глаза Рейнгольду, и спустя несколько недель тот сказал, что хочет забрать меня в свое подразделение. Семенович не мог ему отказать. У меня и вовсе не спрашивали, хочу ли я работать в гестапо. Семенович считал, что я буду счастлив сделать такую карьеру. Я вспоминал о своей работе в деревенской школе как о самом лучшем месте. А теперь я должен работать прямо у немцев! Отказаться я не мог, бежать было некуда. Я согласился. При этом я понимал, что теперь мое положение стало еще более опасным.

Мои рабочие обязанности в гестапо мало чем отличались от прежних: как секретарь я отвечал на телефонные звонки, распределял дежурства полицейских, вел финансовую отчетность. Разумеется, в мои обязанности входил перевод бумаг и работа с населением. Свою работу я делал добросовестно, я старался предельно точно переводить, когда речь шла об уголовных делах – а их было множество: драки, кражи, убийства. Однако работая в гестапо, я понимал, что разделяю ответственность за то, что там происходит. Хотя я и не участвовал непосредственно в убийствах людей, я чувствовал свою сопричастность. Именно поэтому у меня была острая потребность создать внутренний противовес тому, в чем я косвенно принимал участие. Я должен был вести себя так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза моим родителям и моему брату. Может быть, мне не всегда удавалось использовать все ситуации, чтобы помочь людям. Но, мне кажется, я не упустил ни одной возможности попытаться это сделать.

Работать в полиции было очень трудно: то ли туда подбирались особо жестокие, особо тупые люди, то ли сама работа в полиции выявляла в людях самое дурное, что в них было. Были среди них и настоящие садисты, и люди умственно отсталые в медицинском смысле. Большинство из них очень плохо кончили. Вспоминать об этом не хочется. Вообще, очень много в памяти такого, что хотелось бы забыть. Но помню...

Как это ни поразительно, но самым достойным человеком среди всех был майор Рейнгольд. Член нацистской партии, по природе своей он был добропорядочный человек и добросовестный исполнитель. До войны работал в полицейском управлении города Кельна. Проработав под его началом несколько месяцев, я заметил, что он избегает участия в акциях по уничтожению еврейского населения, а когда присутствует, пытается соблюсти видимость законных действий и обойтись без лишних жестокостей.

Еще одно поразительное и печальное обстоятельство касается общей атмосферы того времени и того места: на мой стол текли потоком заявления от местных жителей – доносы на соседей, жалобы, обвинения, почти всегда безграмотные, часто лживые и все без исключения подлые. Я был постоянно в угнетенном и подавленном состоянии, которое должен был всячески скрывать от окружающих. Причина была в том, пожалуй, что прежде я никогда не сталкивался так близко с человеческой подлостью, неблагодарностью, гнусностью. Я искал объяснения этому и находил только одно: местное белорусское население было страшно бедное, необразованное и забитое.

И все-таки мне довольно часто удавалось помочь людям, на которых соседи писали доносы. Большую часть разбирательств я вскоре стал вести самостоятельно, и мне удавалось защитить невинных, отвести подозрения от людей, замеченных в связях с партизанами, просто способствовать справедливости. Я постоянно искал случая сделать что-нибудь для людей – это было единственное, что давало мне силы проживать день с утра до вечера.

Валевичей уже не было, их имущество разграблено, несколько белорусских семей захватили их дом и никак не могли его поделить. Бедная Беата – единственная из семьи уцелевшая – лежала целыми днями лицом к стене и никого не хотела видеть. Она была на последнем месяце беременности. Семенович пил и свирепствовал. Мы с ним виделись нечасто. Я целые дни проводил в участке. Было очень много бумажной работы: сводки, законы, оповещения. Их надо было переводить на польский и белорусский, чтобы население могло с ними ознакомиться.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Партизанское движение становилось все более заметным, оно очень беспокоило немцев. Прямой связи с партизанами у меня поначалу не было, но всякий раз, когда я получал доносы от местного населения относительно передвижения партизан, я делал все от меня зависящее, чтобы оперативные сведения запаздывали или вообще не доходили до начальства. Я не принадлежал ни к какой организации, ни к какой группе сопротивления, но через некоторое время мне удалось установить контакт с евреями из гетто.

Встреча эта произошла прямо в полицейском участке. Евреи не имели права выходить из гетто, за исключением тех, кто работал в городе на немцев. В участок каждый день приходили две еврейские женщины-уборщицы, но я не рискнул с ними заговорить. На конюшне работал еще один еврей, не вызывающий у меня доверия. Потом конюх заболел, и вместо него прислали другого. Это был знакомый по Вильно, тоже член «Акивы», Моше Мильштейн. Он меня сначала не узнал: черная форма действовала как маскировочный халат. Через Моше организовалась цепь связных, и я смог передавать информацию о готовящихся против евреев и партизан акциях.

Первая моя попытка спасти от уничтожения еврейскую деревню провалилась. Связной передал сведения о предстоящей операции в юденрат, но юденрат потребовал, чтобы им раскрыли источник информации. Связной отказался, понимая, что подставит меня под удар. Все боялись провокации. Наконец юденрат послал в деревню предупреждение, и там история повторилась. Деревенские жители послали в Эмск девушку, чтобы она узнала, насколько достоверны сведения. Когда девушка через двое суток вернулась домой, в деревне не было ни одного живого человека.

Так случилось, что именно эта деревня была первой, куда меня отправили как переводчика. Майор Рейнгольд, чтобы избежать излишней жестокости и, как он выражался, «свинства», обязал команду непременно собирать всех евреев и зачитывать приказ, объявлявший их врагами Рейха, и – в качестве таковых – расстреливать. Сам он избегал подобных мероприятий и посылал вместо себя своего вахмистра, который как раз и отличался особым садизмом.

Когда я туда ехал, я надеялся, что усадьба будет пуста. Но люди, к моему ужасу, не ушли. Их собрали в одной комнате, я прочитал указ, после чего вахмистр записал фамилии взрослых, а детей пересчитал поштучно. Всех отвели в сарай. Спрятавшись за сараем, я не выходил, пока не смолкли выстрелы. У меня до сих пор такое чувство, что это было вчера...

После таких операций обычно устраивали пьянки. Я сидел за столом, переводил солдатские шутки с белорусского на немецкий. И очень жалел, что у меня не было склонности к алкоголю.

После того случая юденрат уже не проверял мою информацию. Иногда людям удавалось спастись в лесах.

Удивительная загадка человеческой психики: эти старые евреи пережили на своем веку множество погромов, они пережили массовый расстрел на площади, но поверить в плановое и организованное мероприятие по уничтожению евреев они отказывались. У них был собственный план: они уже сговорились с одним из местных белорусских начальников, что он не допустит уничтожения гетто, если евреи выплатят ему огромную сумму. Денег этих не было, начальник соглашался на рассрочку, и аванс ему уже выплатили.

Многие понимали, что это обман и шантаж, но продолжали надеяться...

К счастью, в гетто были люди, которые решили сопротивляться и задорого отдать свои жизни. Это были главным образом молодые сионисты, которые не смогли уехать в Палестину. Оружия у них почти не было. Я организовал доставку в гетто оружия. Довольно часто перевалочным пунктом мне служил дом Семеновича.

14  
1987 г., Редфорд, Англия.

Письмо Беаты Семенович к Марысе Валевиц

Дорогая Марыся!

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Прошла неделя, и вот только сейчас я собралась с силами тебе написать о смерти Ивана. Он умер 14 мая, после года жестоких страданий. Тот вид рака, которым он был болен, не поддавался никаким обезболивающим средствам, и только водка немного облегчала его страдания. Правую ногу ему отняли за год до смерти, и, возможно, это была ошибка, потому что саркома эта ужасная после операции распространилась, как пламя по сухой траве, по всем костям, и он страдал безмерно. В клинику он ехать не хотел, потому что его до конца мучил страх, что его выкрадут евреи. Почему-то был уверен, что при мне, из дома, они его не заберут, а из клиники – непременно. У него была целая подборка из газет о военных преступниках, которых евреи выкрадывают даже из Латинской Америки и передают суду. Но еще больше, чем суда, он боялся, что дети узнают о его прошлом. У них и так всю жизнь были непростые отношения. Дети приехали на похороны и на другой день уехали.

Целыми днями я брожу по дому. Он довольно большой. Внизу столовая и кухня, наверху четыре комнаты. Самую уютную, окнами на запад, я в мыслях моих отдала тебе. Так я мечтаю – ты приедешь в Англию, поселишься в этом доме, и мы с тобой будем так же счастливы, как в детстве. Разве монахинь не отправляют на пенсию? Тебе скоро исполнится 63 года, мне 68. Мы еще проживем с тобой десяток годов. Будем ходить вместе к мессе, как в детстве. Я буду готовить бигос из местной, совсем непохожей на польскую, капусты и драники.

После Ивана осталось мне хорошее наследство: его жадность, от которой я так страдала всю жизнь, обернулась очень приличной суммой, нам с тобой хватит, чтобы безбедно, ни в чем себе не отказывая, прожить остаток жизни.

Нет никого в мире ближе тебя, ты – часть той моей жизни, которая была такая счастливая, – довоенной, в нашем любимом доме, с папой, мамой и Галинкой.

Я так любила всех, что решилась на жертву, пошла за Ивана, надеясь, что он спасет семью. Никого не спасла, только свою жизнь изуродовала.

После похорон я чувствую опустошенность. Тяжелые мысли – старые и новые, и они меня не оставляют ни на минуту. Когда я была молодой, я ненавидела мужа. После гибели нашей семьи и рождения Хенрика Иван старался, как мог, помогал мне прийти в себя, даже на время перестал пить – весь первый год Хенрика почти не спускал его с рук. Если было в нем что-то хорошее – его любовь ко мне и сыновьям. В сущности, я виновата перед ним, потому что вышла за него замуж, нисколько его не любя. И даже ненавидя. Но он-то меня любил очень. А когда началось отступление немцев, и мы уходили с ними, сколько раз я малодушно молила Бога, чтобы Он освободил меня от него. Но как бы ни были велики преступления Ивана, передо мной он ни в чем не виноват. Виновата перед ним была я. Если кто-то и может его судить, это не я.

Дорогая моя Марыся! Может быть, и моя судьба сложилась бы иначе, если б мы нашли друг друга раньше, до конца войны. Тогда у меня могло хватить сил уйти от Ивана, но десять лет прошло, прежде чем оказалось, что ты выжила, и только чудом нам удалось найти друг друга. Я бы и не стала тебя разыскивать, потому что Иван тогда узнал точно, что всех поляков в ту ночь расстреляли. Кто же знал, что тебе удалось спастись... Предложение мое, чтобы ты приехала, очень трезвое, я делаю его не в состоянии отчаяния, как-то необдуманно. Я предвижу, что ты не захочешь переезжать в Англию, но, в конце концов, мы могли бы обосноваться где-нибудь в Европе. Купили бы домик в тихой деревне на юге Франции или в Испании, в Пиренеях. Там очень красиво, я это помню по тому ужасному путешествию, которое мы проделали через Францию и Испанию. Я не представляю себе жизни в теперешней Польше, но, в конце концов, я готова и об этом подумать.

Обе мои невестки, жены Хенрика и Теодора, никогда не переедут в этот дом. Да и что им делать в глухой провинции? Здесь даже приличной школы нет. Я так и буду жить до смерти здесь одна. А если бы ты решилась приехать, вдвоем мы бы жили с тобой очень счастливо. Прошу тебя, сразу не отвечай, подумай хорошо.

В конверт я кладу фотографии. Правда, они довольно старые, Иван снимал, когда был здоров. Это наш сад около дома. Он сейчас немного запущен, я последний год все забросила. Но соберусь с силами и приведу в порядок. На одной фотографии виден фасад нашего дома, а на второй, снятой с балкона, сад. Были еще фотографии комнат, но они получились очень темными, и я их сразу же куда-то подальше засунула и теперь не могу найти.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Целую тебя, дорогая моя сестра.

Вспоминай нас в своих молитвах.

Беата.

15

Декабрь, 1987 г., Бостон.

Из дневника Эвы Манукян

Вчера я впервые рассказала Эстер о том, что меня так тревожит последнее время. Испытала огромное облегчение. Оказалось, что она единственный человек, с кем я могу об этом говорить. Тем более что говорить, собственно, не о чем. Нет ничего конкретного. Но пока я подбирала слова, пытаюсь рассказать о важных для меня вещах, я как-то сама собиралась с мыслями. Ее молчаливое присутствие очень помогало мне. Я давно это знаю: когда общаешься с умным и положительным человеком, как будто от него идет такое излучение, что и сам ты приобретаешь эти качества. Когда я разговариваю, скажем, с Ритой, – как раз наоборот – делаюсь агрессивной и туповатой. Ненавижу себя. В последний раз, разговаривая с Эстер, я впервые вслух высказала самые ужасные мои подозрения.

История – то на самом деле очень долгая. Когда мы познакомились с Гришей, Алексу было шесть лет. Я тогда была замужем за Рэем, и брак наш еле теплился. Карьера его в этот момент как раз шла на подъем, он стал много гастролировать, я уже знала, что возникли какие-то женщины. Начались хорошие заработки. Но – легкие музыкантские деньги! – как пришли, так и улетели. Я не могла уйти с работы, сидела в своей лаборатории, делала анализы почв и психовала. И тут – Гриша! Такой мальчик! Он влюбился без памяти. Уличное знакомство, между прочим. Увидел меня и пошел за мной. А мне это было так нужно...

На этом месте моего рассказа у Эстер слегка поднялись брови. Она, конечно, из той породы женщин, которые на улицах с мужчинами никогда не знакомятся.

Но я ей рассказываю все, как было. Стали мы с Гришей встречаться. Он меня на десять лет моложе. Рэй, между прочим, старше, и вообще у него всегда были проблемы сексуального характера. У меня такое подозрение, что вся его агрессия, запал, темперамент, за который так любят его поклонники, он тратит на музыку, а на себя немного остается. Ну, это совершенно не имеет значения. Появился Гриша, и это было потрясающе, и у меня даже отношения с Рэем улучшились, потому что теперь мне было на него плевать...

Умница моя Эстер смотрит на меня с изумлением, положила ручку мне на руку и говорит:

– Эва, то, о чем ты говоришь, я знаю только из художественной литературы. Должна тебе признаться, хотя рискую потерять твое уважение, что я плохой эксперт: всю жизнь у меня был единственный мужчина, мой муж, и я плохо понимаю про любовников. Наши отношения с мужем были столь полны, что мне никогда не хотелось к ним что-то прибавить. Продолжай, но не рассчитывай, что я смогу дать тебе разумный совет в этой сфере.

Тут я понимаю, что преамбула слишком длинна, и говорю совсем не о том, что меня действительно волнует.

– Да, да, я не за советом по поводу моих отношений с Гришей. Дело совершенно в другом, и все гораздо больнее.

Алексу было шесть лет, когда мы с Рэем развелись по обоюдному согласию. Он в то время еще не был так знаменит и богат, как сейчас, но, в общем, суд был в мою пользу, и мы с Алексом вполне обеспечены. Алекс обожал отца. Когда мы с Гришей поженились, он с трудом принял нового мужчину. Алекс все время указывал на предметы – на стул, на тарелку, на подушку – и требовал, чтобы Гриша не трогал ничего, потому что это папино. Психолог посоветовал поменять обстановку, мы поменяли квартиру. Алекс не принимал Гришу, не хотел вечерами ложиться спать без папы, хотя Рэй никогда не укладывал его спать. Словом, два года Алекс страдал и

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru портил нам с Гришей кровь. Потом я попала в больницу, лежала почти месяц, и за это время все наладилось. Они остались без меня, и Алекс, видимо, почувствовал, что Гриша готов его защитить, не только я. Рэй в это время уже переехал в Калифорнию и крайне редко общался с сыном. Алекс обижался и однажды отказался встречаться с отцом, когда тот приехал в Бостон. Рэй забыл поздравить его с днем рождения, и Алекс очень переживал.

Последние три-четыре года отношения у Алекса с Гришей замечательные. Алекс обожает Гришу. Гриша проводит с ним много времени. У них множество общих интересов. Эстер, что к этому добавить. Им так хорошо без меня, что я ревную...

Она не поняла, что я имею в виду. Да я и сама это кошмарное подозрение высказала в первый раз. В момент, когда я это произнесла, у меня как будто что-то оборвалось. Я ощутила, что это правда. То есть я не знаю, какая там степень близости, что именно происходит между ними, но стало вдруг очевидным, что они влюблены друг в друга...

Алексу пятнадцать лет. У него прекрасные отношения с одноклассниками. Но он совершенно не интересуется девочками. Я не знаю, что мне сейчас делать. Я боюсь узнать наверняка то, что вызывает смутные подозрения. Я в полной растерянности. Я пытаюсь предвидеть разные варианты. Да, а вдруг мои подозрения подтвердятся? Что я должна делать? Убить Гришу своими руками? Посадить его в тюрьму? Немедленно с ним разъехаться?

Я, конечно, схожу с ума, но во всем этом кошмаре есть еще и ревность... И ужасное женское унижение... Я совершенно не готова к такому повороту событий, при котором окажется, что мой муж и мой сын – гомосексуалисты.

В общем, я все это ей выпалила.

Тут я и поняла, что такое настоящая мудрость. Такое отношение к жизни – немного с высоты птичьего полета.

Эстер вытащила из глубины шкафчика темную бутылку без этикетки, между прочим початую, поставила две большие рюмки и сказала:

– У Исаака был любимый напиток, кальвадос. Стоит со времени его смерти. Один его молодой коллега из Франции привез ему бутылку очень крепкого, с нормандской фермы. Видишь, она даже без этикетки. Ручной работы, так? Исаак не успел ее допить. Он пил по рюмочке, вечером...

Она разлила темную, похожую на коньяк жидкость. Мы выпили. Напиток был мягкий и одновременно обжигающий.

Потом она мне сказала буквально следующее:

– Мы пережили жуткую войну. У нас убили всех родственников. Мы видели деревни после экзекуции. Мы видели оттаявшие после зимы горы трупов, укрытые под снегом, объединенные животными. Расстрелянных детей. Я запретила себе об этом вспоминать. Но сейчас я вынуждена тебе сказать: твой мальчик живой и счастливый. Если все обстоит так, как ты говоришь, это несчастье. Для тебя. Но не для него. Есть множество несчастий, о которых я и не догадывалась. Конечно, я смотрю на это как на большую беду. Но твой мальчик жив и доволен жизнью. Я ничего не знаю об этих отношениях. Они вызывают у меня недоумение и даже протест. Но это – вне моего опыта. И вне твоего опыта. Оставь пока как есть. Подожди. Наверное, тебе сейчас трудно общаться с Гришей. Все это надо обдумать, но не торопись. Если эта ситуация действительно такова, то возникла она не вчера. Помни только, что никто не умер.

Какое счастье, что есть на свете Эстер!

Там было еще полбутылки, и я все выпила. Эстер посадила меня в такси, я оставила машину около ее дома. Когда я вернулась, Гриша с Алексом сидели у телевизора, как голубки, и смотрели какой-то фильм.

Я сразу пошла спать, но меня колотил такой озноб, что только Гриша давно испытанным способом сумел меня согреть.



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
16  
Апрель, 1988 г., Хайфа.

Письмо Эвы Манукян к Эстер Гантман

Дорогая Эстер!

Ты помнишь, в какой спешке и панике я уезжала. Могла бы так не торопиться. Уже прошла неделя после инсульта, и ситуация, как говорят врачи, стабилизировалась. Все обстоит довольно грустно, но все-таки лучше, чем похороны. Сегодня ее перевели из реанимации в палату. Она по-прежнему вся опутана проводами, лежит пластом. Но врачи говорят, что есть положительная динамика. Врачи очень хорошие. Они сделали ей операцию, убрали гематому в мозгу и считают, что мать может до какой-то степени восстановиться. Во всяком случае, чувствительность правой половины тела есть, хотя ни рука, ни нога не двигаются. Она не говорит. Но мне кажется, что она просто не хочет со мной разговаривать: после того, как я поехала на Санторини вместо того, чтобы приехать к ней. Вчера при мне она довольно явственно сказала медсестре «сволочь». После чего я поняла, что могу собираться домой. Уход здесь хороший, гораздо лучший, чем можно найти в Америке, если не говорить о частных клиниках. Нет, не думай, что я прямо сегодня уеду. Я побуду здесь еще какое-то время. По крайней мере, пока ее не переведут обратно в ее богадельню.

Но маленькую радость я все же себе позволила – съездила на два дня в Иерусалим. Я была там несколько лет тому назад, как-то мельком, и стояла такая жара, что я носа из гостиницы почти не высывала. К тому же в прошлый раз я решила взглянуть на мои корни и пошла в религиозный квартал. Там меня побили. Ну, не совсем побили, скорее поцарапали. Но было страшно интересно – мужской пол был весь в пейсах и кафтанах, а женский в париках и шляпках. В Америке тоже иногда такое встречается, но здесь все выглядело аутентичнее. Лица такие притягательные. Я смотрела на них с острым интересом, потому что понимала, что при каком-то повороте судьбы эти средневековые существа могли бы быть моими родственниками, друзьями, соседями. Пока я тарасила глаза, все было ничего. А потом я заглянула в лавочку, чтобы купить воды, и здесь на меня накинулись две тетki. Одна щипала меня за преступно голые руки, а вторая вцепилась в волосы. Сумасшедшие совершенно. Я еле-еле от них отбилась и убежала. Уже на окраине этого кошмарного рая я остановилась у ограды школы. Там как раз началась перемена, и мальчики всех калибров, от тощих пятилеток до упитанных тельцов вышли степенно во двор и начали прогуливаться попарно, временами сбиваясь в кучки и солидно обсуждая какие-то важные вопросы. Я, рот разинув, стояла у ограды и ждала, когда они начнут играть в футбол или хоть подерутся. Но не дождалась. Так в тот раз совершенно бесславно закончилось мое исследование корней. Корешки эти показались мне малопривлекательными, да и руки мои поцарапаны.

Так что в этот раз я решила заглянуть в историческое прошлое с другого бока: пошла в Старый город с намерением осмотреть две главные точки – Храм Гроба Господня и Дом Тайной Вечери. Храм Гроба Господня не произвел на меня ожидаемого впечатления. Толпа народу, обычные туристические экскурсии, как во всем мире. Даже японские группы были. А к месту, где была когда-то погребальная пещера, а сейчас небольшая часовня, стоит очередь, и перед входом каждый турист поворачивается и следующий его фотографирует. Тут я и ушла. Нашла по путеводителю Дом Тайной Вечери. Должна тебе признаться, милая Эстер, что со времен моего католического детства у меня осталось несколько любимых сюжетов. Тайная Вечеря – один из них. Я вошла внутрь и почувствовала, что в этом помещении никогда ничего подобного не было. Не собирались здесь двенадцать учеников с Учителем, не преломляли хлеб и не пили вина. Они сидели в другом месте, где нет никаких леонардовских окон. Та комнатка была маленькой, может, и вовсе без окон, и где-нибудь на скромной окраине города, а не в том самом месте, где гробница царя Давида. В общем, мне такая Тайная Вечеря не годится. Зато на следующее утро я поднялась в Гефсиманский сад, и там растут очень подлинные масличные деревья, такие старые, что они могли здесь и тогда стоять. И эти оливы оказались очень убедительными. Я стояла и страшно хотела отодрать на память веточку, но не решалась. И тут вышел из какой-то двери маленький монашек вполне нищего вида, отломил веточку и дал мне. И я была очень счастлива. Потом я поднялась выше по Масличной горе, вдоль стены старинного еврейского кладбища, и пришла к часовне. Это современной постройки здание, небольшое, каплевидное –

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru часовня Плача Господня. Dominus Flevit. Господь плачет. На этом месте Христос оплакивал будущее разрушение Иерусалима. С тех пор его столько раз разрушали и восстанавливали, что теперь совершенно непонятно, о каком именно случае он плакал – ждать ли нам очередного или уже достаточно. Вид открывается неопиcуемый. А само место уютное, домашнее – травка яркая, в ней мелкие маки и какие-то белые цветы вроде маргариток. Напоминает мой любимый гобелен из Кюни. Только нет ни Единорога, ни Девы, но кажется, что они на минуту отлучились. Это из-за драгоценной травы. Здесь весна такая короткая, ты знаешь, и оттого, что через неделю все сгорит и станет белесым сеном, особенно сильно переживаешь это блаженное место.

Потом я все-таки зашла на старинное еврейское кладбище, которое занимает полгоры. Сначала не хотела – я не люблю кладбищ. Но все-таки зашла. Если уж я в Париже на Пер-Лашез потащилась, то сюда сам Бог велел. Пыль, камни, щебень. Возле какого-то камня вдруг возник пожилой араб, который предложил мне за десять долларов показать кладбище. Я отказалась, сказавши, что я не американская туристка, а простая женщина из Польши. Тогда он предложил мне выпить чашечку кофе. Мне показалось, что это серьезное предложение с далекоидущими последствиями, и я опять отказалась. Тогда он стал рассказывать, что у него есть пятьдесят верблюдов. Я выразила восхищение. Говорю – вот это да! Пятьдесят верблюдов – это лучше, чем пятьдесят автомобилей. Он страшно обрадовался, и мы расстались друзьями. Скажи мне честно, Эстер, есть ли у тебя знакомый, у которого пятьдесят верблюдов?

Потом взяла такси и доехала до автобусной станции. Через несколько часов была в Хайфе. Побежала в больницу. Посидела под огнем ее глаз. Она не говорит, но я и так знаю до единого слова все, что она хочет мне сказать.

На дне моей души шевелится постоянно мысль об Алексее и Гришке, но я гоню ее прочь.

Целую.

Твоя Эва.

17

Апрель, 1988 г., Бостон.

Из письма Эстер Гантман к Эве Манукян

...Никак не могу тебе дозвониться. У меня возникла просьба. Не уверена, что ты сможешь выполнить, но пока ты в Израиле, может, тебе удастся мне помочь. Дело в том, что я все последнее время занимаюсь разборкой бумаг Исаака, которых очень много, и неожиданно наткнулась на нераспечатанную бандероль – оказалось, книга, присланная ему с аукциона уже после его смерти. И вот, через два года после его смерти, я раскрыла бандероль, в ней оказалась дивной красоты старинная книга – она, как мне кажется, рукописная и с прелестными миниатюрами. Я отнесла ее в Еврейский музей, и мне сказали, что это Агада, довольно редкое издание. Они сразу же предложили купить ее, но продавать книги я пока не собираюсь. А вот чего я действительно хочу – отреставрировать некоторые попорченные листы. В музее сказали, что такие книги лучше всего реставрировать у израильских мастеров. Но тот, который работал на них, недавно умер, а новыми они еще не обзавелись. Может быть, узнаешь у своих друзей, не найдут ли они такого мастера? Если нет, то и нет. В конце концов, лежала эта книга столько времени, может и еще полежать в таком виде.

Целую.

Эстер.

18

Апрель, 1988 г., Хайфа.

От Эвы Манукян к Эстер Гантман

Милая Эстер!

Задержалась еще на неделю. Дату вылета опять перенесла, теперь на шестое мая. Наконец взяла напрокат машину. У них все машины были с механической передачей, а я отвыкла, давно с автоматом ездю, и не хотела рисковать. Страна такая маленькая, что если рано встать, можно до четырех успеть полстраны объехать. Я была на Мертвом море и на Киннерете еще раз. Только до Эйлата не добралась. Как же мне нравится эта страна своей миниатюрностью! Все – рядом. Стоит только протянуть руку. Да! Твоя просьба! Один из лучших реставраторов – сосед моих иерусалимских друзей, Стива и Изабель. Только заикнулась – и в этот же день оказалась у него в гостях. Здесь, в Израиле, каждый человек – целый роман. Такие затейливые истории, такие биографии, что даже моя меркнет. Узнав от Стива, что я родом из гетто, реставратор проникся таким сочувствием, что пригласил меня вечером в пятницу к себе в дом. Таким образом, я первый раз оказалась на настоящем Шаббате. Ты, конечно, прекрасно знаешь, как он выглядит, но для меня это было в первый раз и произвело большое впечатление. Я ведь говорила тебе, что я все детство мечтала о настоящей семье. Приют, потом детский дом, потом жизнь с матерью, начисто отрицающей семейные ценности, жизнь с Эрихом, кое-какая, без любви и дружбы, одна возня в койке. Потом неудавшаяся попытка с Рзем: когда родился Алекс, он даже и не подумал отменить гастроли! Когда появился Гриша, мне казалось, что наконец-то все сложилось... Но то, что я предвижу, – провал моей мечты о семье полный и окончательный!

И вот, представь себе, стол со свечами. Красивая немолодая женщина – русская, принявшая иудаизм, как потом я узнала. Такая большая, с крупными руками, движется, как большое животное, может быть, корова, но в хорошем смысле: медленно поворачивает голову, медленно двигает глазами. Грудь большая, нависает над столом, волосы рыжие, но уже немного полинявшие. А какие у нее прежде были волосы, видно по сыновьям – два мальчика огненно-рыжих. А две девочки похожи на отца – с тонкими носами, тонкими пальцами, миниатюрные. Потом оказалось, что эта Лея совсем ненамного выше мужа, но Йосеф такой бесплотный, узенький, похож на престарелого ангела. Я, кажется, тебе говорила, что из России вывезла любовь к иконам. Знаешь, я вдруг поняла, почему у евреев нет икон – и быть не могло: у них у самих такие лица, что никакие иконы уже не нужны.

Перед ужином Йосеф повел меня в рабочую комнату. Показал свою работу, она очень искусная. Были книги миниатюр, были и просто молитвенники старинные. Он сказал, что большая часть работы сейчас приходит из Америки – американские евреи покупают на аукционах старинные еврейские книги и реставрируют, а потом передают в музеи. Такая мицва. Йосеф бывший москвич, закончил какое-то реставрационное отделение и в России занимался реставрацией икон. Жил несколько лет в монастыре. Наверное, был православным, но я не стала спрашивать. Интересно, не правда ли? Отсидел три года в тюрьме – реставрированные им иконы уплывали контрабандой на Запад, и на него кто-то донес. С женой своей познакомился тоже по реставрационному делу – она была старостой в православной церкви и давала ему работу. Это он все сам мне рассказывал. Потом улыбнулся – и замолчал. Я поняла, что там история еще на небольшую повесть. Мне уже потом друзья сказали, что старший мальчик от ее первого брака. Говорили мы по-русски, пока за стол не сели. На столе свечи. Лея их с молитвой – еврейской! – зажгла. Я постеснялась спросить, что это за молитва. Но и без перевода ясно, что какое-то благодарение. В общем, чего я тебе буду описывать то, что ты и без меня отлично знаешь?

Потом хозяин дома с молитвой разломил хлеб и налил в большую рюмку вино. Просто евхаристия, и все тут. А дальше всякая еда: две халы под салфеткой, которые Лея сама пекла, рыба, какие-то салатики, жаркое... И еще за столом сидела русская старушка Прасковья Ивановна, Леина матушка. В платочке! Перед едой перекрестилась. И сморщенной ручкой тарелочку свою перекрестила! Шаббат шалом, Христос Воскрес!

Я прямо иззавидовалась вся – это именно то, чего я всю жизнь хотела. Половина людей, с которыми я в этот приезд познакомилась: врачи, эти реставраторы, еще одна соседка моих друзей, медсестра-англичанка из больницы, – у каждого затейливая история.

Рите явно лучше. Она меня встречает словами: а, явилась... как будто мне пятнадцать лет и я пришла под утро с гулянки. На будущей неделе ее уже перевозят в приют. Я пробуду здесь еще несколько дней.

Целую.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Эва.

19  
1988 г., Хайфа.

Кассета, отправленная Ритой Ковач Павлу Кочинскому

Дорогой Павел!

Вместо письма я посылаю тебе кассету. Писать я уже не могу – руки не слушаются. Ноги тоже. Вообще лежу почти как труп, одна голова работает. Это самая ужасная мука, которую только Бог может выдумать. Я думаю-таки, что Он есть. Но скорее – черт. Во всяком случае, если наличие дьявола можно рассматривать как доказательство существования Бога, то я признаю, что эта парочка существует. Хотя и не вижу между ними принципиальной разницы. Враги человека. И вот теперь я зачем-то жива, вместо того чтобы лежать себе спокойно на кладбище, никому не мешая. Ты себе не представляешь, какую они подняли вокруг меня суету и этот старый мешок с костями зачем-то оживили. Что я ни попрошу, все выполняется. Даже принесли мне пшенной каши. Но у меня есть одна заветная просьба, которой они не исполняют, – дать мне умереть. Я это говорю совершенно спокойно. Я часто попадала в такие ситуации, что была на волосок от смерти, но мне хотелось жить и бороться, и я всегда выигрывала. Знаешь, ты мне не поверишь, но я всегда побеждала – даже в лагере. В конце концов, они дали мне реабилитацию, это значит, что я победила. Теперь для меня победить значит умереть, когда я хочу. А я хочу. Они меня лечат. Понимаешь, они меня лечат. Самое смешное, что у них даже немного получается – меня перетаскивают на кресло, я потихонечку двигаю руками, ногами, это называется «положительная динамика». Во всей этой динамике я хочу только одного – чтобы я могла дотащить до окна, перевалиться через балконные перила и слететь вниз – там прекрасный вид, и он меня все более к себе притягивает.

Кроме тебя, никто мне не поможет. Ты любил меня в мои молодые годы, я любила тебя, пока вообще эта телесная чесотка во мне жила. Ты мой товарищ, мы из одного гнезда, и потому ты единственный, кто может и должен мне помочь. Приезжай и помоги мне. Я никогда ни о чем никого не просила. Если бы я могла обойтись без посторонней помощи, я не стала бы никого просить. Но я самостоятельно даже на горшок не могу сходить. Если бы мы были на войне, я бы попросила пристрелить меня. Но моя просьба более скромная – приезжай и выведи меня на балкон. Это такая малость.

Твоя Рита.

20  
1988 г., Хайфа.

Рита Ковач к Павлу Кочинскому

Вот, Павел, пишу, как курица. Зато сама. Руки кое-как двигаются, ноги – нет. Я от тебя ничего другого и не ожидала: когда ты нужен, тебя нет. Не надо. Не думайте вы с Эвой, что я без вас ничего не могу. Есть и другие люди, которые готовы оказать мне поддержку. Передай поклон своей жене Мирке. И пусть помнит, что инфаркт лучше, чем инсульт. Что касается твоего сына, я разделяю твое горе. Что он такого натворил, твой троцкист? Не забывай, что я отсидела восемь лет в польских тюрьмах и еще пять в русских. Не думаю, что французская хуже. Три года – небольшой срок. Тем более он еще молодой. В теперешних западных тюрьмах дают кофе по утрам, меняют постельное белье раз в неделю и ставят в камере телевизор, чтоб заключенный не скучал. Это приблизительно то, что и я имею сейчас, со всеми моими наградами. Только телевизор в коридоре.

Рита.

21  
Май, 1988 г.

Из дневника Эвы Манукян

Как это во мне глубоко сидит! Мало того, что я регулярно хожу к Эстер как на исповедь и получаю от нее отпущение грехов, мне еще надо это записать. Печальная правда заключается в том, что я не могу выбросить из головы обвинений, которые накопила к матери за всю жизнь. Я давно уже не испытываю ни ярости, ни гнева, которые она во мне вызывала в юности. Мне бесконечно ее жалко – лежит бледная, сухая, как высохшая оса, а глаза как фары, наполненные энергией. Но – Господи, помилуй! – что это за энергия! Очищенная, концентрированная ненависть. Ненависть к злу! Она ненавидит зло с такой страстью и яростью, что зло может жить спокойно. Она и такие, как она, делают зло бессмертным. Мне уже давно, глядя на Риту, всякая социальная несправедливость кажется милее, чем борьба с ней. В молодости у нее были планетарные идеи, потом они стали сворачиваться, сейчас, кажется, она борется с несправедливостью судьбы по отношению к ней лично. Перед инсультом она сосредоточилась на директоре дома престарелых, толстом лысом Иоханане Шамире. Сначала она с ним ругалась, потом стала писать на него доносы, потом приезжала какая-то комиссия, потом – не знаю всех подробностей – он ушел на пенсию. В мой предыдущий приезд этот Иоханан при мне ее навещал, и она с ним любезно разговаривала. Ну, это все до последнего инсульта. Сейчас она уже немного разговаривает. Но не поднимается, конечно. Даже сесть самостоятельно пока не может. Сначала, когда это случилось, я подумала – умрет бедняга, наконец. С облегчением. Потом мне стало стыдно. Теперь мне еще стыднее – что же, я ей смерти желала? А теперь я ей уже ничего не желаю, я думаю только о том, как она терзает меня до сих пор – почему я с утра до ночи думаю даже не о ней, а о моем к ней отношении. Конечно, она считает, что я сволочь. О чем не раз мне говорила. Но теперь я тоже считаю, что я сволочь – потому что не могу ее простить, не могу ее любить, мало ее жалею.

Эстер слушала все эти мои бессвязные излияния, потом сказала: я тебе ничего не могу посоветовать. Мы – обреченные люди. Те, кто остается, всегда чувствуют себя виноватыми перед теми, кто ушел. Это – временное явление, пройдет несколько десятилетий, и твой Алекс будет рассказывать какому-нибудь близкому человеку, как он виноват перед тобой, потому что мало тебя любил. Это вроде элементарной химии человеческих отношений. И сказала очень твердо: «Оставь себя в покое, Эва. Что считаешь возможным и нужным делать – делай, а что не получается – не делай. Разреши себе это. Суди по Рите – она не может быть другой, и ты позволь себе остаться такой, какова ты есть. А ты хорошая девочка». И после этих слов стало мне хорошо.

22  
1996 г., Галилея.

Авигдор Штайн – Эве Манукян

Дорогая Эва!

Ноэми привезла на днях письмо, которое она получила от Даниэля лет двадцать назад, когда лежала полгода в санатории – ее лечили от костного туберкулеза. Это одно из немногих его писем, которое сохранилось. Посылаю тебе копию. Ты себе не представляешь, сколько людей ко мне приезжают, чтобы порасспросить о брате, – и журналисты из разных стран, один американский профессор приезжал, потом из России какая-то писательница. Милка шлет тебе привет. Если надумаешь приехать в Израиль, мы всегда рады тебя принять.

Авигдор.

1969 г., Хайфа.

Копия письма Даниэля к Ноэми

Хорошая моя Ноэми!

Представь себе, одна очень привлекательная особа – весьма пушистая и зеленоглазая, втянула меня в свою жизнь и требует, чтобы я усыновил ее троих детей. Случилось это так. В монастырских кельях замков нет. Украсть у нас,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru кажется, нечего. К тому же в жилую часть монастыря посторонних вообще не пускают. Дверь моей комнаты закрывается не очень плотно, ее можно открыть без всякого усилия. Так вот, представь себе, поздно вечером я прихожу домой и вижу, что дверь как будто чуть-чуть приоткрыта. Я вошел в комнату, умылся, не зажигая света, сел на стул и задумался. Это у меня с юности такая привычка – перед сном немного подумать о прожитом дне и о тех людях, которых я встречал или, наоборот, не встречал. Например, о тебе... Я ведь тебя не видел уже больше месяца и очень скучаю по твоей любимой мордашке. И вот сижу я в темноте и потихоньку размышляю о том о сем, и вдруг чувствую, что я не один. Еще кто-то есть, и совершенно определенно, что это не Ангел. Почему я в этом уверен? Дело в том, что я с ангелами никогда лично не общался, но мне кажется, что если бы Ангел явился, я бы сразу догадался: вряд ли приход Ангела можно спутать с приходом садовника или нашего игумена. В общем, кто-то есть. Я затаился, но свет не зажигаю. Очень странное ощущение, даже небольшой опасности.

Ночь была лунная, поэтому темнота не очень темная. А скорее серенькая. Я начал оглядываться по сторонам и увидел, что кто-то лежит в моей постели. Небольшой и кругленький. Я очень осторожно, почти не дыша, подошел к постели и обнаружил там большую кошку. Она проснулась, открыла глаза, и они сверкнули страшным пламенем. Ты же знаешь, как в темноте горят глаза животных! Я с ней поздоровался и попросил уступить мне место. Она сделала вид, что не понимает. Тогда я ее немного погладил, и она сразу же громко замурлыкала. Я ее еще погладил, и оказалось, что она не просто кошка, а ужасно толстая кошка. И очень понятливая. Потому что она немедленно подвинулась, чтобы дать мне место. Я стал ей объяснять, что я монах и никак не могу делить ложе с дамой. Не может ли она переместиться, скажем, на стул. Она отказалась. Тогда мне пришлось положить на стул свой свитер, а ее – на свитер. Она не сопротивлялась. Но когда я лег, она сразу же вернулась ко мне на постель и деликатно устроилась на моих ногах. Я сдался и заснул. Утром, когда я проснулся, ее уже не было. Но вечером она снова появилась и продемонстрировала незаурядный ум: представь себе, я нашел ее спящей на стуле. Когда же я лег в постель, она опять улеглась мне на ноги. Признаться, мне показалось это даже приятным.

Пять дней по вечерам я находил ее в своей комнате на стуле, и каждый раз после того, как я укладывался, она переходила на мою постель. Разглядеть ее мне так и не удавалось, потому что когда я просыпался, ее уже не было. К тому же утром я всегда тороплюсь, и у меня не было времени искать ее по всему монастырю или по монастырскому саду, который довольно большой.

Так вот, представь себе, настал вечер, когда я не нашел кошки на стуле. Я даже испытал нечто вроде разочарования или ревности: к кому, подумал я, она переселилась, кого выбрала взамен меня? Я даже днем об этом вспоминал: я переживал измену!

Каково же было мое удивление, когда, придя на следующий день домой, я обнаружил у себя на постели целое кошачье семейство! Так вот где она пропадала прошлой ночью – укрывшись от людей, в темноте и в тайне она родила троих котят и принесла их ко мне. Мне было даже приятно, что кошка сочла меня столь надежным человеком, что доверила мне своих новорожденных. Словом, вот уже месяц она живет на моем синем свитере вместе с Алефом, Беткой и Шином. Относительно Шина у меня есть сомнения, возможно, он окажется впоследствии Шиной.

Теперь я вынужден взять на себя заботу о всем семействе. Возвращаясь по вечерам, я приношу пакет молока для Кецеле (так я назвал кошку) и какие-то остатки от обеда, если мне в этот день выпадало пообедать. Да, я упустил из виду одну важную вещь: кошка при свете дня оказалась редкостной красавицей. Она довольно темного серого цвета, на груди у нее белый воротник из особенно пушистой шерсти, и одно ухо белое, что придает ей кокетливый вид. Она очень чистоплотна, полдня проводит за мытьем и чисткой себя и своих котят, и я думаю, если ее приспособить к уборке помещения, из нее вышла бы замечательная уборщица. К тому же она невероятно умна: каким-то образом догадалась, что держать животных в монастыре запрещено, и ведет себя как привидение – ее до сих пор никто не видел. И я тоже делаю вид, что ее не видел. Так что в тот момент, когда игумен меня спросит, что делает в моей комнате это прекрасное животное, я скажу: не видел.

Нет, к сожалению, я не смогу так ответить. Все-таки я монах, а врать монахам не положено. Это обидно, потому что все люди, кого я знаю, хоть немного да привирают, а мне не полагается. Но поскольку я знаю, что рано или поздно этот

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru момент настанет, я должен подумать о судьбе всего семейства. Я собираюсь провести переговоры по этому поводу с моим братом. Я не уверен в успехе этих переговоров. Ты же знаешь, что у меня с твоим отцом постоянные разногласия по многим вопросам. Но тут я рассчитываю на его доброе сердце. В Милке я почему-то уверен.

Судьба котят уже почти решена: одного возьмет моя помощница Хильда, второго – наш друг Муса, а третьего, может быть, одна сестра из Твери.

Я тебя целую, моя дорогая племянница. Кецеле передает тебе большой привет и пожелания скорейшего выздоровления.

Твой додо Даниэль.

23

Ноябрь, 1990 г., Фрайбург.

Из бесед Даниэля Штайна со школьниками

Через Моше Мильштейна наладилась прямая связь с гетто.

Вскоре я начал воровать оружие со склада, который находился на чердаке полицейского участка. Это было главным образом трофейное, то есть советское оружие. Передавать его в гетто было нелегко, особенно ружья. Каждую вынесенную со склада «единицу» я сначала прятал в саду, потом вечером привязывал к раме велосипеда ружье, обернутое тряпками, и ехал домой круглым путем, мимо замка. Там, возле пролома в стене, меня ожидали молодые люди, которые принимали у меня оружие. За все время я ни разу не вошел в гетто. Некоторые из обитателей гетто уже понимали, что они обречены на уничтожение, и хотели добыть оружие, чтобы защищать себя и своих близких. Я считал, что им надо решиться на массовый побег. Я знал, что среди партизан есть и бывшие местные коммунисты, и пленные красноармейцы, и бежавшие из гетто евреи. Но поначалу они меня не слушали: у многих был страшный опыт, приобретенный в общении с нашими нееврейскими согражданами, которые выдавали немцам и пробивавшихся из окружения красноармейцев и евреев. К тому же обитатели гетто не были уверены в том, что партизаны их примут с распростертыми объятиями.

Настал день, когда выбора уже не оставалось. В конце июля 1942 года я присутствовал при телефонном разговоре майора Рейнгольда. Последней фразой Рейнгольда было: «Так точно, Иод-Акция состоится 13 августа!» Я сразу понял, о чем идет речь. Майор сказал мне:

– Дитер, вы единственный свидетель этого разговора. Если что-нибудь станет известно, вы несете полную ответственность!

Я ответил «Яволь!».

С Рейнгольдом у меня были очень теплые отношения. По возрасту он годился мне в отцы, дома у него оставались сыновья, и в его отношении ко мне была отцовская нота. Его старшего сына звали, как и меня, Дитером. Поверьте, и я к нему очень хорошо относился. Лучше, чем к его подчиненным. Он ценил во мне порядочность – я это знал. Так что, выполняя свой человеческий долг, я предавал лично этого человека. И подписывал себе приговор.

В начале моей службы в полиции я принимал присягу – давал клятву верности «фюреру». Позже, как русский партизан, я давал клятву верности Сталину. Но эти клятвы не были истинными, они были вынужденными. Этой ценой я спасал уже не только свою жизнь, но и других людей.

Среди ситуаций, которые мне приходилось переживать, были трагические, мучительные, страшные. Теперь я могу об этом говорить. Хотя я не люблю рассказывать о тех событиях, но сейчас делаю это, потому что считаю, что должен поделиться с вами этим опытом: никто не знает заранее, в какое положение может поставить человека жизнь.

В тот же вечер я сообщил связным о назначенной акции. Люди решили защищаться тем оружием, которое я им добыл. Мне удалось убедить их, что защищаться не имеет

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru смысла. Оружия слишком мало. Всех убьют. Значительно важнее, чтобы хотя бы некоторые остались в живых. Это важнее, чем десять минут отстреливаться от белорусов или немцев, которые придут уничтожать гетто. Я уговорил их на побег. Но делами гетто управлял юденрат, и именно юденрат должен был принять решение.

Испытывал ли я страх? Не помню. Я сразу же приспособился к обстоятельствам, и они полностью захватывали меня: я чувствовал, что несу ответственность за многих людей. Брать ответственность на себя важнее, чем исполнять приказ. Я благодарен Богу, что он наградил меня этим качеством.

Надо было определить дату побега. Назначили его на ночь с 9 на 10 августа.

Юденрат не поддержал этот план и разрешил побег только людям из группы сопротивления. Старики все еще не оставляли надежды, что подкупленный белорусский чиновник спасет всех.

Дальше события развивались следующим образом: накануне я подал шефу ложный рапорт, будто в эту ночь группа партизан должна пройти через одну деревню, расположенную в южном направлении, противоположном огромному малопроезжаемому лесу, куда собирались бежать жители гетто. Все полицейские и жандармы уехали на эту операцию, кроме четверых, которые оставались в участке. Так что гетто не патрулировалось. Вместе с остальными полицейскими я просидел всю ночь в засаде, напрасно ожидая партизан.

Ранним утром мы вернулись. В восемь часов я уже был в участке. Тут к шефу пришел взволнованный бургомистр и сообщил о побеге трехсот евреев из гетто. Я, как всегда, переводил. Майор Рейнгольд спросил, почему это произошло. Бургомистр объяснил, что евреев расстреливают то тут, то там и люди в гетто подумали, что теперь их очередь. Дело в том, что накануне пришли крестьяне и хотели купить у них мебель, и обитатели гетто встревожились. Начальник велел поставить жандармов для охраны тех, кто остался в гетто.

Когда я услышал, что сбежало только триста человек, у меня сжалось сердце. Почему не все убежали? Я хотел спасти все гетто! О деталях трагедии, которая произошла в ту ночь в гетто, я узнал только много лет спустя. До сих пор это моя боль.

На следующий день меня арестовали. Меня выдал один еврей из гетто. Я знал его прежде, это был электромонтер Наум Баух, он приходил несколько раз в участок чинить электропроводку. Он пришел к шефу утром на следующий день после побега и долго с ним разговаривал в кабинете. Меня шеф не пригласил. До сих пор ни один разговор не проходил без моего участия, и я понял, что речь идет обо мне. Я мог бы во время этого разговора убежать, но куда? К партизанам бежать я не мог: для них я был полицаем.

После полудня шеф наконец приказал меня позвать. Он сказал, что подозревает меня в измене.

Я молчал. Тогда он спросил меня:

– Правда ли, что вы выдали дату уничтожения гетто?

– Так точно, господин начальник. Это правда, – на прямой вопрос я не мог не ответить.

Он был поражен:

– Почему вы признаетесь? Я бы скорее поверил вам, чем этому еврею. Зачем вы это сделали? Я вам так доверял!

Этот упрек был тяжелым. Я ответил, что сделал это из сострадания, потому что эти люди не сделали ничего плохого, они никакие не коммунисты, а обыкновенные рабочие, ремесленники, простые люди. Иначе я не мог.

Рейнгольд сказал:

– Ты же знаешь, я не расстрелял ни одного еврея. Но кто-то должен это делать. Приказ есть приказ.



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Это была правда – он никогда не участвовал в расстрелах. Он понимал, какая несправедливость творится по отношению к беззащитным людям, но его человеческая честность имела определенный предел, далее действовало солдатское повиновение, которое могло принудить его совесть к молчанию.

Потом он спросил меня об оружии и сам перечислил количество и вид оружия, переправленного в гетто. Я понял, что они уже проверили склад. Я во всем признался. Тогда он сказал, что обязан меня арестовать. Меня разоружили и посадили в подвал.

На следующий день меня снова вызвали. Майор Рейнгольд сказал мне, что не спал всю ночь и не понимает, каковы были скрытые мотивы моего поведения.

– Я полагаю, что вы поступили как польский националист, из чувства мести за уничтожение польской интеллигенции, – сказал он.

И тогда я подумал, что ему будет легче, если я скажу правду:

– Господин начальник, я вам скажу правду при условии, что вы дадите мне возможность самому покончить с жизнью. Я – еврей!

Он схватился за голову:

– Значит, полицейские были все же правы, теперь я понимаю. Это трагедия!

Я повторяю это дословно, потому что такое забыть невозможно. Видите, в какие ситуации иногда попадали немцы, не знали, как следует поступать, что делать...

– Напишите мне подробное признание, – приказал он.

Ни пощечины, ни грубого слова. Отношения остались такими же, как были прежде, – как у отца с сыном. Иначе я не могу это определить.

Я написал признание и сказал:

– Господин начальник, я дважды был на грани смерти и сумел убежать, и сюда я попал благодаря случаю, меня сюда привели, отказаться я не мог, и в моем положении не оставалось ничего другого. Я думаю, вы меня понимаете.

Он вызвал вахмистра и сказал ему:

– Следите, чтобы он не наделал глупостей.

Я просил его, чтобы он дал мне возможность застрелиться прежде, чем гестапо начнет ликвидацию других евреев. Теперь я мог только ждать и был совершенно спокоен.

В тот день я еще обедал вместе с жандармами – днем и вечером обычно все ели вместе. К вечеру шеф снова меня вызвал. Я ему напомнил:

– Господин начальник, вы мне обещали, что дадите возможность застрелиться.

Он сказал:

– Дитер, вы толковый и смелый молодой человек. Дважды вам удалось избежать смерти. Может быть, вам повезет и в этот раз.

Этого я не ожидал. Это была удивительная реакция честного человека, находящегося в трудной ситуации.

Я протянул ему руку и сказал:

– Благодарю вас, господин начальник.

Он помедлил, потом пожал руку, повернулся и ушел.

Больше я его никогда не видел. Впоследствии мне сказали, что он был тяжело ранен

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru партизанами и умер от ран. Это было гораздо позже.

Тогда он вселил в меня мужество и желание жить...

Жандармы не относились ко мне как к преступнику. Даже после того, как прочитали мое признание и узнали, что я еврей, они выводили меня из запертой комнаты, где меня содержали, к общему столу. Мой побег устроился так – я сказал, что хочу написать письмо родным, и они отвели меня на мое прежнее рабочее место. Я написал в конторе письмо и сказал, что хочу попросить мальчика-уборщика отнести его на почту. Я знал, что мальчик уже ушел. Беспрепятственно вышел я в коридор и выбежал из здания. Я побежал в сторону поля. Во дворе стояли и разговаривали трое полицейских, правда, не из Эмска, а из другого участка, но мы были знакомы. Они не обратили на меня внимания.

Когда я убежал довольно далеко, за мной погнались – человек сорок, верхом и на велосипедах. Я залег на свежееубранном поле, забрался в сложенные в скирду снопы. Кто-то пробежал мимо. Поняли, что я где-то укрылся, и стали прочесывать поле, идя широкими рядами. Как раз когда они проходили метрах в пяти от меня, снопы надо мной повалились, скирда покосилась...

Я и по сей день не понимаю, как они меня не заметили. Я истово молился, внутри меня все кричало. Дважды в моей жизни были такие минуты – первый раз в Вильно, когда я укрывался в подвале, и вот сейчас. Они не заметили движения среди снопов и побежали дальше. Я слышал, как один из них крикнул:

– А все-таки он ушел!

...Я лежал и ждал, когда стемнеет. Потом выбрался из-под снопов, добрал до какого-то сарая, влез туда и заснул. Ночью, около пяти часов, я услышал продолжительную стрельбу. Это была йод-акция. Расстреливали оставшихся в гетто людей. Это была самая ужасная ночь в моей жизни. Я плакал. Я был уничтожен – где Бог? Где во всем этом Бог? Почему он укрыл меня от преследователей и не пощадил тех пятисот – детей, стариков, больных? Где же Божественная справедливость? Я хотел встать и идти туда, чтобы быть вместе с ними. Но сил не было, чтобы встать.

24  
1967 г., Хайфа.

Из дневника Хильды

Сегодня мне исполнилось 25 лет. Просто ужас! Только что было шестнадцать, и я ревела, потому что были соревнования по лыжам, я заняла первое место среди девушек, а Тони Леер сказал мне, что это несправедливо, потому что я должна соревноваться с мальчиками: надо меня проверить, кто я на самом деле, мужчина или женщина. И я его поколотила. Сегодня рано утром приехал Муса и привез мне подарок – потрясающий золотой браслет в виде змеи, а глазки у нее – сапфиры.

Мне вообще-то больше нравится серебро, и Муса это знает. Но он сказал, что не может подарить мне серебро, потому что я сама – золото. Он хотел, чтобы мы поехали в Нетанию на весь день, но все утро у меня было занято, я обещала Касе пойти с ней наниматься на работу, а потом забрать для Даниэля посылку на почте и сходить в библиотеку. Муса ждал меня четыре часа, потом мы все-таки поехали в Нетанию.

В тот день ему надо было обязательно вернуться домой, и я немного обиделась, что сразу надо было уезжать, а мне так хотелось остаться с ним подольше. Мы провели в гостинице всего три часа, и я расплакалась, когда надо было уезжать. Он стал мне объяснять, что он себе не принадлежит в той мере, в какой принадлежат себе западные люди. Он зависит от семьи, и что дядя сегодня назначил ему встречу, и он не может отказаться или отложить. Он тоже был очень расстроен. Мы встречаемся уже почти три года, но я никогда не знаю, когда мы увидимся в следующий раз. Встречи наши, если не считать церковных, очень редки. Это ужасно. Муса сказал мне, что я больше похожа на мальчика-подростка, чем на двадцатипятилетнюю женщину. И я вспомнила, как я поколотила Тони Леера за эти самые слова. Смешно.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
25

Май, 1969 г., Хайфа.

Муса – Хильде

Милая Хили!

Я так и не заснул сегодня ночью – после вчерашних твоих рассуждений о том, как трудно быть в современном мире немцем. Даниэль расскажет тебе о том, как трудно быть в нашем мире евреем, а я попробую объяснить, каково это – быть арабом. Особенно христианином по вероисповеданию и израильянином по гражданству.

Немцем быть хорошо – немцы живут в стыде и покаянии. Не очень плохо быть евреем – весь мир ненавидит их, но ведь все знают, что они избранный народ. К тому же они изумляют мир своим Израилем, построенным среди камней и развалин, цепкими мозгами и многими талантами, оскорбляющими все прочие народы. Во всем мире на видных местах полно евреев – ученых, музыкантов, писателей, юристов и банкиров. У большинства людей это вызывает раздражение.

Но каково быть арабом! Нас в 1000 раз больше, чем евреев. А кого знает мир? Насреддина Туси? Ибн Сину? Каково принадлежать народу, который всегда обижен и всегда прав. Ислам придает арабам уверенность и чувство превосходства. Арабы-мусульмане недооценены внешним миром и восхваляют сами себя. Араб-христианин – несчастное существо: евреи едва замечают разницу между арабами-мусульманами и арабами-христианами. И те и другие для них – кровные исторические враги. Но мусульманин как враг – надежнее.

Нам не доверяют евреи, хотя мы выбрали Израиль, стали его гражданами в надежде, что это будет наш общий дом. Нам не доверяют также и мусульмане: мы для них еще более злые враги, чем евреи.

Я бы уехал в Европу или в Америку, но, будучи арабом, я повязан крепчайшими семейными, родовыми отношениями. Для моей семьи я не представляю собой отдельной единицы, я живу в подчинении у всех моих родственников: старших – потому что обязан их уважать, младших – потому что обязан их поддерживать. Выскочить из этого круга почти невозможно. Если бы я мог, я бы развелся с Мириам, мы бы уехали с тобой на Кипр, поженились бы там и жили в любой стране, где растут деревья и цветы, где людям нужны сады и парки... Для этого надо перестать быть арабом, но это невозможно. Ты останешься немкой, оплакивающей помрачение и жестокость своих предков, Даниэль – евреем с безумной идеей сделать всех людей детьми Божьими, а я – арабом, жаждущим освобождения от тяжелой арабской традиции принадлежать не себе лично, а кому-то старшему – отцу, Богу или Аллаху.

Милая Хили! Когда я с тобой, одного твоего присутствия достаточно, чтобы освободить меня от этих тяжелых мыслей, от безвыходности нашего существования, только рядом с тобой я чувствую себя счастливым, и поверь мне, на свете очень мало арабских мужчин, которые решились бы сказать такие слова женщине. Я люблю тебя, и я люблю свободу, которая за тобой стоит, хотя оба мы страдаем как раз от того, что знаем – свобода не для нас, мы ее крадем, не знаю у кого. И все-таки я глубоко уверен, что Бог на нашей стороне. Не оставляй меня.

Муса.

26  
1969 г., Хайфа.

Из дневника Хильды

Вчера Даниэль принес мне ветку цветущего миндаля. Это невозможно себе представить, чтобы он срезал ветку. Я посмотрела на него с удивлением. А он сказал – Хильда, вот уже пять лет мы вместе. И точно, как раз пять лет, как я приехала в Хайфу. Цветы какие-то полуматериальные, как будто из пара или тумана, и пахнут чем-то прекрасным, чего в них нет. Может, зернами миндаля, которые потом будут? Нет, у миндальных орехов запах гораздо более определенный и съестной. А этот – совершенно не съестной.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Даниэль отслужил мессу. Кроме меня, никого не было. Его огорчает, что почти все наши жильцы довольно равнодушны к церкви. Но ведь мы их кормим не из корысти, – говорит Даниэль. – Может быть, когда-нибудь они захотят с нами молиться.

Вообще-то это не совсем так – по субботам и воскресеньям у нас собирается довольно много народу. Вечером, когда Даниэль уехал, я решила записать, сколько же нас человек. Получилось вот что: Даниэль, я, Вера, Кася с детьми, Ирэна с детьми, Олаф, Шимон, Йозеф с семьей, сестры Сусанна и Сесиль, Божена, Крис, Айдин с семьей, Муся с Татой, Хенрик с Луизой, Елена, Исидор... Это те, на кого можно положиться. Потом еще человек двадцать приходят время от времени, на праздники, но все-таки участвуют в жизни общины. И десятка три «изредка заходящих». Как Муса. Сюда надо прибавить приютских, которые – хотят или не хотят – принадлежат общине по факту их пребывания в приюте. Постоянных восемь и с десятком меняющихся лиц – нищих, бродяг и наркоманов. Мы их называем «жильцы». Тоже наши. По приблизительному подсчету человек шестьдесят.

Но были и потери: Самуэль с Лидией уехали в Америку, Мириам умерла, погиб бедный Антон, в Европу вернулись Эдмунд с семьей, Аарон с Витой и детками, и еще несколько человек нас покинули ради синагоги.

Даниэль очень огорчается, когда теряет человека, но всегда повторяет: каждый человек должен искать свой собственный путь к Богу. Этот путь – личный, иначе мы составляем не общину добровольцев в Господе, а армию с генералом во главе.

Труднее всего нам с «временными». Даниэль не велел никого гнать, и потому сюда иногда приходят бездомные. В Израиле их меньше, чем в Европе, но к нам их просто тянет. С тех пор как построен «ночлежный» домик, всегда несколько человек там оседает на несколько дней, а то и на месяц. Даниэль сказал, что они должны платить – ведро воды принести из источника. Там чудесная питьевая вода, но струйка очень слабая. Та вода, которая от друзей к нам идет, не такая вкусная.

Теперь пригодился неожиданно мой немецкий опыт, все-таки есть правила общения с бездомными, которые действительно помогают найти общий язык. Сейчас живет наркоманская парочка – очень приятные девушка и молодой человек из Венгрии, они курят какую-то дрянь. Расслабленные, замедленные и доброжелательные. Девушка Лора, еврейка, хиппи, вся в цветочках. Она настоящий музыкант и чудесно играет на флейте. Я ее похвалила, она засмеялась и сказала, что она вообще-то скрипачка, но скрипки у нее теперь нет. Она такая яркая, что ее молодой человек, цыган Гига, рядом с ней выглядит как-то блекло. Они живут уже второй месяц. Мне сказали, что Лора играет на улице, возле рынка. Она даже приносит иногда деньги в церковную кассу, а Гига очень старательно моет посуду.

На прошлой неделе забрел ужасный пьяница, совершенно больной, все обгадил, я после него два дня убирала. Потом уговорила его поехать в больницу и отвезла. Навестила через два дня, оказалось, что он из больницы сбежал.

Мы не можем держать уборщицу или повариху. Все мы делаем своими руками. Хорошо, что Даниэль зарабатывает экскурсиями, приходит помощь из-за границы.

Даниэль очень много работает. Теперь, когда у него здесь есть свой угол в храме, он часто остается допоздна. Он делает переводы из Нового Завета и других текстов с греческого на иврит. Собственно, эти переводы давно существуют, но Даниэль считает, что они полны неточностей и даже ошибок, я спросила как-то, сколько он знает языков. Он сказал, что хорошо знает три – польский, немецкий и иврит. А другие, на которых он разговаривает, знает очень плохо. Но это не так: он водит группы на итальянском, испанском, греческом, французском, английском, румынском, говорил при мне с чехами, с болгарам и с арабами на их языке. А то, что он всю жизнь служил на латыни, это уж само собой разумеется. Мне кажется, что у него тот самый дар языков, который был послан когда-то апостолам. Правда, учебники разных языков все-таки стоят на полке. Значит, что-то ему Бог послал, а что-то он сам выучил! Когда он успел выучить все эти языки? Я спросила, а он мне говорит: – Пятидесятницу помнишь? – Смеется.

Конечно, я хорошо помню этот отрывок из Деяний Апостолов, когда огненные языки с неба упали на апостолов, и они начали говорить на иных языках, и все иноземцы слышали свои родные наречия. А Даниэль как будто и живет с этим языком пламени.

Правда, когда должны были приехать румыны, я купила ему учебник румынского

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
языка, он его держал две недели на столе, а по вечерам забирал с собой.

– Очень полезно учебник положить под подушку – утром проснулся, а все уроки выучены... – вот что он мне сказал.

Глядя на него, понимаешь, что язык действительно несущественен, имеет значение только то наполнение, которое за языком. Здесь какое-то есть противоречие: если все равно, на каком языке служить, зачем тратить столько усилий, чтобы все переводить на иврит? Я постоянно делаю новые копии богослужения с разными переводами, потому что он считает, что каждое слово должно быть понятно. Вообще, я иногда замечаю некоторые противоречия в его взглядах. Он иногда говорит одно, иногда другое, и я не всегда за ним поспеваю.

27

1959–1983 гг., Бостон.

Из записок Исаака Гантмана

Проблема национального самосознания здесь, в Америке, отчасти подменяется проблемой самоидентификации – вещи разные, хотя и смежные. Национальное сознание, по крайней мере у евреев, – область, ограниченная как изнутри, так и снаружи. Объявляя себя народом Книги, евреи запрограммировали себя на обладание, освоение и реализацию Торы. Это идеология. Она определяет еврейскую избранность, исключительность и преимущество перед всеми прочими народами, а также и изоляцию в христианском и любом другом сообществе. Разумеется, всегда существовали отдельные представители народа, которые уклонялись от общей заданной программы, выпадали из русла национальной жизни. Сама по себе герметизация еврейского общества привела естественным образом к созданию легенды «еврейской тайны», что развилось за много веков в идею «всемирного еврейского заговора» против всех. Последним, уже на нашей памяти, таким «разоблаченным» заговором было дело врачей в России, незадолго до смерти Сталина. В наш секулярный век удар пришелся уже не по традиционному еврейскому сообществу, а именно по профессионалам, большая часть которых – если я правильно понимаю – не были религиозными людьми. В сущности, это выживший после катастрофы остаток. Вероятно, это тот самый «остаток», о котором говорил пророк Исайя. Подобное истребление большинства народа происходит в истории не первый раз. Впрочем, вавилонское пленение обращало в рабство, но не отбирало жизни. То же было и в России в сталинские времена.

Европейское еврейство в том виде, в котором оно существовало последние три века, уничтожено. Я не думаю, что оно способно к восстановлению: несколько сот хасидов, добравшихся из Белоруссии до Нью-Йорка со своим любавичским цадиком, и несколько сот ешиботников во главе с ортодоксальными – митнагдимскими раввинами вряд ли жизнеспособны в современном мире. Дети ортодоксальных евреев в талесах штурмуют в Америке Голливуд, а в Палестине арабов. Я могу ошибаться, но мне представляется, что еврейство после катастрофы утратило тот жесткий скелет, который его держал. Кроме того, мне, атеисту, встретилось и во время войны, и в послевоенные годы множество евреев, переживших кризис веры, – народ наш превратился в коллективного Иова, сидящего на пепелище, лишившегося детей, здоровья, имущества, самого смысла существования. Утратившего в большой мере и то сокровище, которым кичился, – самое веру.

Несчастливая племянница моей жены, Циля, в шестилетнем возрасте стояла на деревенской улице, в толпе, польская крестьянка держала ее за руку, а все местные евреи были заперты в сарае, который собирались поджечь. Девочка молилась Богу, чтобы он спас ее мать. Но сарай подожгли, и восемьдесят человек вместе с ее матерью и сестрами сгорели. Цилю спрятали добрые католики, она пережила войну и уехала в Израиль. Девочка была из очень религиозной семьи, но с тех пор ни разу не вошла в синагогу: если Он есть, Он передо мной виноват, то я Ему не прощаю, а если Его нет, чего о Нем говорить...

Такова логика. Я не думаю, что Иова ублажили новые дети, которых ему дали взамен прежних. А те, невинные, убитые крышей рухнувшего дома исключительно из-за сомнительного пари Творца с некой тварью, известной как враг рода человеческого, их он забыл?.. Книга Иова весьма поэтична, но лишена логики. Впрочем, как показал нам обаятельнейший умница профессор Нойгауз из Иерусалима, чтение еврейских текстов – великое искусство, к которому я едва прикоснулся.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Ровно настолько, чтобы понять, что же составляет предмет еврейской мысли. Оказалось, это космогония в самом отвлеченном и оторванном от реальности смысле, грандиозная «Игра в бисер». И за две тысячи лет, в течение которых мальчики с пятилетнего возраста проходят эту школу логики, мозги пришли-таки в рабочее состояние. И все современные еврейские физики-математики, нобелевские лауреаты и ненагражденные изобретатели – отходы основного продукта, то есть те, кто отказался от царского пути каббалы, которая рассматривала те же проблемы, что и все прочие эзотерические науки всех времен и народов. Однако именно каббала оказалась под подозрением как интеллектуальный теракт, длящийся полтысячелетия. Нет нужды опровергать эту трусливую мысль: любая интеллектуальная деятельность может рассматриваться как теракт по отношению к установившимся канонам как в области науки, так и в области культуры и социологии.

В конце концов, любая попытка идентификации, строгого самоопределения личности, основана на выстроенных в определенной иерархии ответах – пол, национальность, гражданство, уровень образования, принадлежность профессиональная, партийная и прочее. Моя личная идентификация связана с профессией. Я врач, и это основание моей жизни и деятельности – в том числе в гетто и в партизанском отряде. В любых обстоятельствах я оставался врачом. После войны, когда в течение многих месяцев я был привлечен к экспертной работе над материалами Нюрнбергского процесса – это был самый тяжелый кусок жизни, хотя угрозы физической смерти уже не существовало, – я потерял внутреннюю ориентацию, равновесие, земля уходила у меня из-под ног. Не жизнь в гетто, не зыбкое существование в лесах, а сумма знаний о происходившем с евреями в период 39–45 гг. поменяла мое мироощущение. Моя самоидентификация как врача не имела никакого значения: с точки зрения «Нюрнбергских законов» я лично, как еврей, подпадал по действие «Закона об охране германской крови и чести» от 1935 года. Закон вынуждал меня, атеиста, сознательно вышедшего из иудаизма, вернуться к национальной идентификации. Я с готовностью принял этот вызов, и результатом было мое полулегальное переселение в Палестину.

Почти десять лет я прожил в Израиле. Там я находился, когда была подписана декларация ООН о его создании, и надеюсь, что еврейское государство будет существовать и впредь. Я никогда не разделял идей сионизма. Я всегда считал, что современный мир должен организовываться не на принципах религиозных и не на принципах национальных, а на основе гражданско-территориальной. Государство должны организовывать граждане, живущие в пределах данной территории. А законодательство должно это обеспечивать. С моими идеями мало кто соглашается – даже Эстер. Бостонское предложение я принял без колебаний. С точки зрения профессиональной нигде в мире не могло быть для меня лучшей работы. Прожив несколько лет в США, я пришел к убеждению, что именно США наиболее соответствуют тому гражданско-территориальному принципу организации государства, который представляется мне оптимальным. В остальном – та же самая всемирная помойка.

Любое последовательное религиозное воспитание рождает неприятие инакомыслящих. Только общая культурная интеграция, выведение религиозной сферы в область частной жизни может сформировать общество, где все граждане имеют равные права.

Этим принципом руководствовалась Римская империя в древности, этот же принцип пытался применить Иосиф II, император Австро-Венгерской империи в XVIII веке. В 1782 году он издал «Толеранцпатент», «Указ о терпимости», провозглашавший принципиальное равенство всех граждан государства перед лицом закона. Это интереснейший сборник документов, несомненный плод влияния на императора Иозефа фон Зонненфельса. Указ открывал евреям возможность ассимиляции без принудительного крещения, давал возможности развития светского государства, интегрирующего всех граждан. Сам фон Зонненфельс был крещеным евреем, и его точка зрения на государственное устройство не нашла поддержки в еврейской среде, которая рассматривала новые законы исключительно как ограничивающие традиционный образ жизни. Именно Иосиф II отменил кагальное самоуправление, то есть возможность существования евреев по принципу «государства в государстве», – разрешил евреям заниматься ремеслами, земледелием, предоставил свободу передвижения и открыл доступ в высшие учебные заведения. Он же ввел для евреев воинскую повинность, уравнив и этой тяжелой обязанностью евреев с прочими гражданами, перевел преподавание в еврейских школах на немецкий язык и «онемечил» еврейские имена и фамилии. Именно так и возникли фамилии Эйнштейн, Фрейд, Ротшильд. Забавно, где-то я прочитал, что в придумывании пышных «немецкообразных» фамилий типа «Розенбаум», «Мандельштам» принимал участие Гофман! Эти законы, столь огорчительные для простого люда, и создали сообщество

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskayaaludmila.ru](http://ulitskayaaludmila.ru) образованных людей, лишенных национальной узости и способных включаться в общегосударственную деятельность.

До нашего времени сохранилась глубокая разница между потомками западных, «австро-венгерских» евреев и евреями Восточной Европы, которые до конца войны, а точнее, до Катастрофы культивировали замкнутый образ жизни местечка. Конечно, надо сделать исключение для евреев коммунистической России, часть которых в первые годы революции была увлечена новой идеологией. Но основная часть Идишланда – Литва, Латвия, Польша – тяготела к старине. Да и сегодня в мире немало мужчин в лапсердаках образца начала XIX века и женщин в париках на бритых головках.

Профессор Нойгауз называет современный хасидизм «великой победой буквы над духом». В своем критицизме он заходил дальше, считая все наиболее консервативные течения христианства, как западного, так и восточного, двоюродными братьями хасидов. Национальное самосознание в наше время обретает устойчивость не в почитании догматов, а в кулинарных рецептах, покрое одежды и способе мытья, а также в несокрушимом заблуждении, что именно традиционалистам принадлежит вся полнота истины.

28  
Май, 1969 г., Голанские высоты.

Даниэль Штайн – Владиславу Клеху

Дорогой Владек!

Сломалась машина, которая привезла группу туристов на Голанские высоты. Потекло масло, и это длинный ремонт. Мы уже все осмотрели, я все рассказал, и тут оказалось, что мы задержимся здесь по крайней мере на три часа, пока за нами не приедет другая машина.

Немцы из кельнской евангелической группы разбрелись на прогулку. Я сижу под смоковницей, моя помощница Хильда спит, прикрыв голову ковбойской шляпой, которую ей подарил заезжий техасец.

Я уже не в первый раз вожу сюда экскурсии. Здесь огромное военное кладбище техники – русские танки, БТРы, грузовики. Осыпавшиеся противотанковые рвы. Огромное количество мин – на протяжении нескольких десятилетий кто только в эту землю мин не совал – турки, англичане, сирийцы, евреи. Здесь подрывалось несколько сот советских танков. Ходить можно только по разминированным участкам. Местные саперы – козы и ослы. Время от времени они подрываются. Иногда подрываются и люди. Но людей здесь мало. Ничья земля. Огромное плато вулканического происхождения горы. В одном из кратеров потухшего вулкана стоит радарная станция. Валуны, черные и серые, колючие кусты, изредка группка деревьев. С деревьями связана история, похожая на библейскую. В Сирии жил израильский резидент, который занимал видное место в правительстве. Когда в 48-м году был создан Израиль, сирийцы здесь выстроили очень сильную оборонительную линию с подземными укреплениями. Еврейский резидент в сирийском правительстве предложил посадить возле каждого подземного укрепления деревья, чтобы солдаты могли в их тени прятаться от жары. К тому же под деревьями человека нельзя заметить с воздуха. Его предложение сочли разумным, деревья посадили. Голаны – стратегическая высота, отсюда простреливается вся Северная Галилея. Здесь были расположены сирийские ракетные точки. Израильцы уничтожили их во время Шестидневной войны в течение десяти минут с воздуха. Евреям было известно, что над каждой из секретных установок – купа деревьев. За двадцать лет деревья успели вырасти и обозначали цель. Резидента поймали и казнили на площади Дамаска. Его звали Эли Коэн. Евреи приложили все усилия, чтобы его выкупить или обменять, но Сирия была непреклонна. Рассказы такого рода обычно гораздо интереснее туристам, чем сведения из Священной Истории.

Ранняя сирийская церковь была столь же аскетична и сурова, как здешнее вулканическое плато. Приходит в голову, что необычное разнообразие природы в Палестине – тишайшая в Галилее, жестокая в пустынях, гармоничная в Иудее – породило и разнообразие религиозных течений: все родилось здесь.

Все эти земли, завоеванные во время Шестидневной войны, предстоит отдать. Сейчас

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru создается впечатление, что их не очень-то хотят брать. Земли-то не пустые – в Газе миллион палестинцев – нужны они Египту с их проблемами? На Западном берегу палестинцев несколько сот тысяч – для Хусейна большая обуза. Смысл во всей этой кампании был только показной – продемонстрировали военную мощь. Это дорого обойдется в последующие годы. Таковы местные проблемы, как я их вижу. Жить здесь, не погружаясь в их ежедневный поток, почти невозможно. Да и ты в Польше можешь ли работать как священник, игнорируя давление Советского Союза? Мы знаем, что во все времена политика, а не что другое, определяла направление церковной жизни.

Самое же существенное – постепенное понимание целостности жизни. Прежде я хорошо чувствовал иерархичность жизни и всегда распределял и события, и явления относительно друг друга по степени их значимости. И это ощущение уходит, «значительное» и «незначительное» оказываются равны, а вернее, значительным оказывается то, что ты делаешь в этот самый момент, и тогда мытье посуды после многолюдного обеда совершенно приравнивается литургии, которую ты служишь.

Заканчиваю – проснулась моя помощница Хильда, схватила бинокль и тут же заметила местного скального зайца, который гораздо больше похож на барсука. Еврейский заяц совершенно не похож на польского. Вид – без всякого бинокля – веселит сердце.

Братский поцелуй.

Д.

29

Май, 1969 г., Хайфа.

Хильда – матери

Дорогая мама!

Вчера мы с Даниэлем и группой немецких туристов из Кельна ездили на Голанские высоты. Я была там первый раз, и это потрясающе – и древние памятники, и природа, и следы войны. Там все сплошь, даже древняя история, – следы войны, разрушения и какого-то вечного воинственного варварства. Все, что здесь разрушено с древних времен, не от старости или от ветхости распалось, а именно разбито и уничтожено врагами. Наверное, так и во всем мире, но здесь особенно заметно. Но я пишу не про это. Ты знаешь, что Даниэль во время войны работал в гестапо переводчиком, и когда его схватили за помощь партизанам, его спас гестаповский начальник – дал ему убежать. У них были очень теплые отношения, и у гестаповца были дети возраста Даниэля, и сын, его одноклассник. Может быть, мысль о сыне и заставляла его так хорошо относиться к этому польскому, как он считал, юноше. Представь себе: в немецкой группе был мужчина, один из самых старших, потому что в основном была молодежь, и оказалось, что он сын того самого майора. Поскольку экскурсанты задавали вопросы, Даниэль всегда просил называть свое имя, и тот назвалса – Дитер Рейнгольд. И Даниэль тогда сказал – отец Дитера Рейнгольда спас мне жизнь во время войны. Они пожали друг другу руки и обнялись. Никто ничего не понимал, да и немец этот понятия не имел ни о чем – ведь его отец погиб в 44-м году на Восточном фронте, и он знал только, что отец был майор и служил в гестапо. То есть военный преступник. И такая тишина настала. Вопросов больше никто не задавал, все молчали, только Даниэль и Рейнгольд тихо разговаривали. Не знаю, о чем. Я, конечно, думала о нашей семье – о тебе, о твоём отце и деде. Я подумала, что это простое разделение: фашисты – евреи, убийцы – жертвы, злые – добрые, оно не такое уж простое. И вот эти двое, я имею в виду того убитого майора и Даниэля, они стоят на таком рубеже, где все не просто. Потом Даниэль сказал мне, что всегда, вспоминая о погибших, молится об этом майоре. Я так взволнована этой встречей, что не могу выразить всего, что у меня в душе. Я тоже хочу научиться такой молитве – обо всех. Но не абстрактно, а по-настоящему.

Целую тебя, Хильда.

Да! Забыла написать – здесь, на Голанских высотах, есть древнее сооружение, похожее на знаменитый Стоунхендж. Это место действия легенды о Гильгамеше! Там



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru сейчас ведут раскопки, и Даниэль знает археолога, который там начальник, и обещал мне как-нибудь показать. Он говорит, что это следы древнейшей мировой цивилизации и даже, может быть, следы присутствия на земле инопланетян! Здесь все так – куда ни повернешься, всюду «ах!».

30

Июнь, 1969 г., Хайфа.

Проповедь брата Даниэля на Пятидесятницу

Дорогие мои, братья и сестры!

Каждый праздник – как бездонный колодец. Заглядываешь в него, и открывается глубина человеческой истории и глубина и давность отношений человека и Творца. Иудейский праздник Шавуот, Седмицы, предшествует празднику Пятидесятницы исторически. Очень возможно, этот праздник существовал и в дохристианском, языческом мире – люди и тогда приносили первины от своих урожаев в благодарность Господу. Евреи вспоминают также в этот день дарование Торы, десяти заповедей. В мире христианском у Пятидесятницы появляется новое наполнение – по-прежнему приносят первины от урожая, и это напоминание о древнем благодарственном жертвоприношении, но также мы вспоминаем и о другом событии – об излиянии Святого Духа Господня на учеников Христовых. «Ученики услышали шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и явились им разделяющиеся языки как бы огненные и почили по одному на каждом из них и исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках». Далее в Деяниях Апостолов перечисляются эти языки, которые прозвучали из уст учеников – парфян, мидян, эдомитов, жителей Месопотамии и Памфилии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и частей Ливии, Рима, Крита и Аравии... По сути дела, это все языки ойкумены, человеческого местообитания. Это был прообраз мира, в котором мы с вами живем. Ученики Христа говорят сегодня на всех языках мира, а мы с вами справляем праздник Пятидесятницы на языке нашего Учителя.

И еще одно я хочу сказать в этот день – огненные языки явились над каждым из учеников. А дальше, что с ними случилось дальше, с этими языками? Есть ли в человеке сосуд, хранилище, в котором он может удержать этот огонь? Если этого сосуда в нас нет, то Божественный огонь уходит, возвращается откуда пришел, а если мы можем удержать его в себе, он остается.

Иисус, в своей человеческой жизни, был тем сосудом, который в полноте воспринял излитый Дух. Здесь Сын Человеческий становится Сыном Божьим.

Человеческая природа соединяется с Божественной именно по этому рецепту. Каждый из нас, здесь присутствующих, – сосуд для принятия Духа Господа, Слова Господа, самого Христа. В этом все богословие. Никто не спросит у нас, что мы думали о природе Божественного. Но спросят: что вы делали? Накормили ли голодного? Помогли ли бедствующему? Да пребудет Господь со всеми нами.

31

Ноябрь, 1990 г., Фрайбург.

Из бесед Даниэля Штайна со школьниками

...Я лежал и ждал, когда стемнеет. Потом выбрался из-под снопов, добрал до какого-то сарая, влез туда и заснул. Ночью, около пяти часов, я услышал продолжительную стрельбу. Это была йод-акция. Расстреливали оставшихся в гетто людей. Это была самая ужасная ночь в моей жизни. Я плакал. Я был уничтожен – где Бог? Где во всем этом Бог? Почему Он укрыл меня от преследователей и не пощадил тех пятисот – детей, стариков, больных? Где же Божественная справедливость? Я хотел встать и идти туда, чтобы быть вместе с ними. Но сил не было, чтобы встать.

Потом я восстановил в памяти, что блуждал я по лесам недалеко от города трое суток. Но тогда я потерял счет времени. Я страстно желал больше не быть, перестать существовать. Мысль о самоубийстве не пришла мне в голову. У меня было чувство, что меня уже убили пятьсот раз, и я затерялся между небом и землей и,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru как призрак, не принадлежу ни к живым, ни к мертвым. Но при этом во мне жил инстинкт самосохранения, и я, как животное, шарахался при малейшей опасности. Я думаю, что был близок к безумию. Душа вопила: Господи! Как ты допустил?

Ответа не было. Его не было в моем сознании.

Я был в полицейской форме. Теперь она стала мишенью для всех: для немцев, которые уже объявили о моем побеге, для партизан, охотившихся за одиночными немцами, для любого местного жителя, который хотел получить награду за поимку еврея и преступника в одном лице...

Три дня я ничего не ел. Помню, что однажды напился из ручья. И не спал. Я забивался в укромное место, в кустарник, засыпал на минуту и тут же вскакивал от треска автоматных очередей: снова и снова возвращалась минута, когда я осознал, что расстреливают обитателей Эмского гетто. Время от времени я слышал и реальную перестрелку. Как-то к вечеру я вышел на околицу деревни, которую спас когда-то от экзекуции. Но и здесь я не мог рассчитывать на укрытие. Я сел на поваленное дерево. У меня уже не было сил идти дальше. Да и куда? Впервые за трое суток я уснул.

Ко мне подошла настоятельница разогнанного монастыря «Сестры Воскресения», мать Аурелия. На ней было длинное черное одеяние, порывшее от старости, и маленькая кургузая кацавейка с заплатой возле кармана. Все мелкие детали были видны необычайно ясно, как будто чуть увеличенные. Бледное лицо, покрытое тонким пухом, обвисшие щеки и голубые неподвижные глаза. Я заговорил с ней. Не помню слов, с которыми я к ней обращался, но речь шла о чем-то более важном, чем моя жизнь. Гораздо более значительном и важном. Я просил ее, чтобы она отвела меня к кому-то. Мне казалось, что речь идет о сестрах Валевиц. Во всяком случае, мне почудилось, что погибшая Марыся была здесь же, поблизости, но совсем не похожая на себя: не вполне человеческого облика – сияла и излучала покой. Я не успел договорить и вдруг понял, что прошу настоятельница о смерти и эта похожая на Марысю – вовсе не Марыся, а смерть. Настоятельница кивала, соглашалась. Я проснулся – никого не было рядом со мной. Вспомнить, что именно я говорил, я не мог. Но после этого видения я почувствовал удивительное успокоение.

Впервые после побега я уснул по-настоящему.

В ту же ночь я вернулся обратно в Эмск. Я знал, где стоят посты, где надо быть особенно осторожным, и подошел к монастырю – в соседнем с жандармерией доме. Я постучал. Мне открыла одна из монахинь. Я ворвался и, пробежав мимо нее, кинулся к настоятельнице. Она знала, что я помогал партизанам, иногда моя информация к партизанам шла через нее. К этому времени на всех столбах висели объявления о моем розыске. Все уже знали, что я еврей.

Мне не пришлось ей ничего объяснять. Меня спрятали на чердаке.

Дело было в воскресенье. Каждое воскресенье, с тех пор как убили Ксандра Валевица, монахини ходили в ближайший храм – за шестнадцать километров от Эмска. Настоятельница сказала сестрам:

– Попросим Господа нашего о каком-нибудь знаке: как нам поступить с юношей?

Настоятельница с еще одной сестрой вошли в церковь, когда там читали отрывок из Евангелия – о милосердном самаритянине. Может быть, вы не помните этого отрывка? Это притча, которую рассказал Иисус своим ученикам. Дело было так: один еврей шел из Иерусалима в Иерихон, и на него напали разбойники. Ограбили, избили и оставили на дороге. Шедший мимо еврей-священник увидел его и прошел мимо. Точно так же прошел и другой еврей. И шел мимо чужой человек, житель Самарии, и он сжалился, перевязал раны и отвез несчастного в гостиницу. Там он оставил больного, заплатив хозяину денег на содержание и лечение. Дальше Иисус спрашивает: кто из этих троих был ближним попавшемуся разбойникам? Оказавший ему милость. Идите и поступайте так же...

Вот на этих словах монахини и вошли в церковь. И в этом отрывке увидели они знак Божий.

Монахини вернулись, рассказали об этом остальным. А надо сказать, что из четырех монахинь две были против того, чтобы я оставался у них. Но этот знак они

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru приняли.

Я укрывался на чердаке. Дом этот прежде принадлежал расстрелянному еврею, и на чердак были снесены еврейские книги. Туда же монахини сложили и монастырские книги.

Первое, что я взял в руки, был католический журнал, в котором я прочитал о явлениях Девы Марии в Лурде. Я читал до этого Библию, читал о чудесах, но мне казалось, что это не имеет отношения к моей жизни. Чудеса в Лурде, произошедшие всего несколько десятилетий тому назад, описанные моим современником, поразили меня этим ощущением близости. Особенно после тех невероятных событий, которые я сам пережил: разве мое спасение в Вильно и мое спасение в поле, когда преследователи прошли в нескольких шагах и не заметили меня, не были такими же чудесами?

Я попросил дать мне Новый Завет, который никогда раньше не держал в руках. В польской школе, где я учился, я был освобожден от изучения Закона Божия. Впервые я прочитал Новый Завет и получил ответ на самый в то время мучительный для меня вопрос: где был Бог в то время, когда расстреливали пятьсот человек из Эмского гетто? Где Бог во всех этих событиях, которые переживает мой народ? Как быть с Божьей справедливостью?

И тогда мне открылось, что Бог был вместе со страдающими. Бог может быть только со страдающими и никогда – с убийцами. Его убивали вместе с нами. Страдающий вместе с евреями Бог был мой Бог.

Я понял, что Иисус действительно был Мессия и что Его смерть и Воскресение и есть ответ на мои вопросы.

Евангельские события происходили в моей древней стране, с евреем Иисусом, и проблемы Евангелия оказались для меня столь близкими именно потому, что это были еврейские проблемы, связанные со страной, по которой я так тосковал. Здесь все совпало: Воскресение Христа со свидетельством Павла, и открытие, что крест Христа не наказание Божье, а путь к Спасению и Воскресению. И это соединилось с крестом, который несет мой народ, и со всем тем, что я увидел и пережил.

Такое понимание страдания есть и в иудейской религии. Есть раввины, которые тоже так думают. Но тогда я этого не знал.

Я примирился с Богом через Христа и пришел к мысли, что должен принять крещение.

Это было для меня необычайно трудное решение – для евреев это означает путь «вниз по лестнице, ведущей прочь». Тот, кто принимает крещение, больше не принадлежит к сообществу еврейского народа. Но я хотел немедленно принять крещение.

Настоятельница считала, что надо сначала подготовиться, узнать о христианстве больше. Я возражал:

– Сестра, мы на войне. Никто не знает, будем ли мы живы завтра. Я верю, что Иисус – Сын Божий и Мессия. Я прошу вас крестить меня.

Настоятельница была в смущении и пошла в сарай помолиться, чтобы принять правильное решение. В полдень она снова пришла ко мне и сказала, что когда молилась, то вдруг почувствовала, что я стану католическим священником...

Вот уж что мне и в голову не приходило! Об этих словах я забыл на несколько лет и вспомнил гораздо позже.

В тот же вечер я принял крещение. Одна из сестер крестила меня.

Потом я покинул их дом, потому что не хотел после крещения оставаться у сестер, чтобы не выглядело так, будто я крестился из-за убежища, которое они мне предоставили.

Несколько дней я бродил по окрестностям. Люди, которые мне встречались по пути, могли меня узнать. И повсюду висевшие листовки с назначенной за мою поимку наградой. В леса я уйти не мог – партизаны не стали бы со мной долго

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru)  
разбираться: я был немецкий полицейский.

Выхода не было. Через четыре дня я вернулся к сестрам. Они приняли меня, и я пробыл у них пятнадцать месяцев. Окна их дома выходили на помещение жандармерии.

32  
1972 г.

Из дневника Хильды

Поставили машину и полезли вверх по тропинке. У Даниэля мешок небольшой, килограмм десять. В нем мука. Навстречу попался араб с ослом, груженным двумя тюками. Поздоровались. Поднялись выше – арабская деревня. Это большая редкость – сирийская деревня, которая осталась после войны. То ли до них слух не дошел, то ли они просто не поняли, о чем речь идет. Чудесная долина между мрачных гор, все зелено, и даже живой ручей течет. Странно, что не пересох. Смоковницы и маслины. Бедность, и не особо грязно – они здесь такие бедные, что даже рваных автомобильных покрышек у них нет. Даниэль уверенно поднимается по склону выше деревни, на отшибе не то дом, не то конура. Дворик, заваленный камнями. Какая-то странная круглая печка, похожая на африканскую.

Даниэль крикнул:

– Рафаил!

И вылез такой дряхлый кузнечик с большой костлявой головой, в арабской галабийе, в выгоревшей до бесцветности среднеазиатской тюбетейке. Они поцеловались. Даниэль сказал: вот моя помощница. Тот кивнул и больше не взглянул на меня ни разу. Даниэль отдал ему мешок. Тот взял, буркнув скорее «хорошо», чем «спасибо».

– Чая, кофе у меня нет, – сказал он, как будто извиняясь.

– Да я и не ждал от тебя кофе, – хмыкнул Даниэль.

Не прошло и десяти минут, налетела стая разновозрастных арабских детей. Они сели на корточках между камнями и смотрели во все глаза.

– Сейчас уходите. Я сегодня занят, гости пришли. Завтра утром, – сказал кузнечик, и дети ушли. Но недалеко. Они стояли поодаль и слушали непонятную им речь.

– Здесь только одна девочка говорит на иврите, она жила в Хайфе и научилась. Очень гордится. А другие говорят по-арабски, но писать не могут. Я их учу. Школы в деревне нет, а ходить далеко, тринадцать километров.

Мы выпили воды из кувшина.

– Надоедают? – спросил Даниэль, указав на детей.

– Я их иногда прогоняю, а иногда сам ухожу. У меня есть в горах пещера для укрытия. Не пещеру, половину пещеры снимаю. Во второй летучие мыши живут. – Он засмеялся, как будто удачно пошутил.

Меня передернуло. Я и обыкновенных мышей боюсь, а про летучих даже слышать не могу.

Мы провели у него во дворе меньше часа и ушли.

На обратном пути Даниэль рассказал, что Рафаил родился в Иерусалиме, в старинном квартале бухарских евреев, который и сейчас существует. Был пятнадцатым сыном в семье и сбежал к иезуитам. Воспитывался в католическом училище, стал монахом и живет с недавнего времени на Голанах, а прежде жил с бедуинами лет пятнадцать.

– Миссионерствует? – спросила я. Но Даниэль засмеялся.

– Пробовал в молодости. Теперь говорит, что он просто с ними живет. Считает, что он никого ничему научить не может.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Он такой смиренный? – не удержалась я, хотя всегда себя ругаю, что слишком много вопросов задаю.

А Даниэль опять засмеялся и ответил:

– Нет, он просто очень умный. Он вообще один из самых умных людей, каких я встречал. Просто у него все зубы выпали, он ходит босой и в рваной одежде и моется, когда идет дождь и много воды в корыте набирается, и потому никто не желает видеть ни его ума, ни его образования. А если на него натянуть пиджак и штилеты и заставить читать лекции, он будет это делать лучше всех. Или лучше многих... Я специально тебя с собой взял, чтобы ты на него посмотрела. Он большая редкость, этот Рафаил.

Странное у меня чувство – как будто христианство в Европе и на Востоке совершенно разные вещи: у нас оно очень приличное, рациональное, умеренное, а здесь достигает каких-то крайних точек – каменная хибара с земляным полом, древний аскетизм, полный отрыв от цивилизации. Что общего между тем и этим? Ничего! Почему и то, и другое называется христианством?

Только Христос? Который из? Христос Распятия или Преображения? Христос, совершающий чудеса или читающий проповеди? Господи, помоги мне всех любить.

33

1972 г., Дубравлаг – Москва.

Из переписки Герсона Шимеса и его матери Зинаиды Генриховны Шимес

...Очередную порцию почты я получил в среду (четыре открытки и два письма, мои соседи по нарам удивляются, кто это мне столько пишет?), а нынче у нас Шаббат. На работы мы по субботам не ходим – этого добились. Вместо того наряды. Но это уже личный выбор, и потому в жилу. Всю неделю не мог дописать ответное послание. А завтра утром отдаю письмо, могу еще немного пописать. Вчера утром рано шли на работу – увидел в небе САМОЛЕТ. Красиво так летел, хвост тонкий за собой оставлял. Длинный-длинный след.

Дочитал «Иосифа». Огромная благодарность Кириллу, что достал и прислал. Удивительно, что книга не пропала по дороге – иногда случается. Книга одновременно страшно интересная и занудливая. Но множество сведений по истории и всяких размышлений. Мне вообще-то фейхтвангер как писатель больше нравится, хотя и купился он как дитя на большие УСЫ.

Мне кажется, что Кирилл преувеличивает значение Томаса Манна. Но я его, Кирилла, так люблю и так ему благодарен за все, что готов согласиться на что угодно – пусть Томас этот Манн гений всех времен и народов, корифей науки и даже лучший баскетболист сборной Уругвая. К сожалению, книжечка, написанная для нашей бабушки корявыми буквами, пропала в дороге. Но здесь я познакомился с одним старым шустером из Гродно, который говорит со мной на языке народа... Люди здесь очень интересные. Националисты литовские, украинские, всякие религиозники. Есть один молодой парень баптист, отказавшийся от армейской службы по религиозным мотивам. Досиживает срок один потрясающий мужик, писатель, их была парочка таких прославленных. Я с ним общаюсь в свободное время, которого немного, и это все равно что в университете учиться.

Косте и Маше – спасибо. Письма их забавные, пусть сообщат, когда появится потомок. Я не теряю надежды жить с ними НА ОДНОЙ УЛИЦЕ. Улица эта мне даже снится иногда. Правда, в снах она похожа на Коктебель гораздо больше, чем на что-либо другое.

Светкина открытка такая забавная, с хорошей картинкой. Там не написано, кто художник, но я решил, что это Шагал. Моя мечта получить настоящее образование только крепнет. Когда в конце концов все закончится, я буду учиться, учиться и учиться, как завещал нам Ленин.

Медведеву будет, наверное, интересно, что здесь есть библиотека, в которой довоенные журналы, не в комплекте, а разрозненные, и я иногда нахожу в них очень интересные статьи. Чем старше журнал, тем интереснее...

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

В прошлом месяце я впервые выполнил норму и почему-то испытал чувство гордости...

1976 г., Рейс Вена – Лод.

Гершон Шимес – Зинаиде Генриховне Шимес

Дорогая мама!

Ты всегда говорила, что у меня адский характер. Я и сам так думал. Но, видно, не так. Свидетельство – мое письмо, написанное прямо в самолете. Мне казалось, что пройдет много времени, прежде чем я тебе напишу. А может, и вообще... Ты меня разочаровала, сделав такой выбор. С другой стороны, я постараюсь понять, почему ты решила оставаться в помойке. Уже два часа, как самолет летит в сторону Эрец, я испытываю такое острое счастье, какого не испытывал никогда в жизни. Никакие радости не идут в сравнение с состоянием человека, летящего домой, но никогда еще своего дома не видевшего. Группа наша состоит из 12 человек, с которыми мы провели несколько дней вместе в Вене: еврейская семья из Риги, религиозная, со стариком в кипе во главе. Говорят между собой на идише! Как только они выжили во время войны? Зато еще одна пара, которая в самолете, очень известная – это ученый-китаист с женой, они давным-давно начали пробивать свой отъезд. Китаист давал интервью на американской радиостанции, из-за него устраивали митинги в Колумбийском университете и вообще много шума. Он также подписывал письмо в нашу защиту, когда нас только задержали, и была надежда, что отпустят без суда. Так что письмо их тогда только повредило. Мне хочется к нему подойти, но у него очень важный вид, а я «простой советский заключенный».

Не переживай, мама. Сосредоточься на Светке – моя сестрица обеспечит тебя заботами, народит гоев, будешь им вытирать носы. Я ничего против Сережки не имею – но у Светки всегда «нестандартные решения». Вышла бы за нормального еврейского парня, и поехали бы все вместе. Нет, ей понадобился казак. Не понимаю – столько лет потратить на то, чтобы выехать, и вот так бездарно застрять «по зову сердца»! Все! Самолет заходит на посадку! В иллюминаторе – Средиземное море и берег Израиля...

1977 г., Хеврон.

Гершон Шимес – Зинаиде Генриховне Шимес

...ни с чем не сравнимо. Конечно, это вагончик, не настоящий дом. Но это так правильно, когда дом еврея – шатер, палатка, временка. Мы живем, как переселенцы начала века. Только у тех были ружья, а у нас автоматы. С той минуты, как я приземлился в аэропорту Бен-Гурион, я чувствую себя все время немного пьяным. Пока нас пятеро парней, четыре женщины и один ребенок. Без женщины как раз я. Только не по той причине, что у меня кошмарный характер, как ты всегда говоришь. Просто девчонке, которую я сюда привез, я предложил уехать. Зато теперь я точно знаю, какую женщину я не хочу видеть рядом с собой. А такой, какая мне нужна, я пока не встретил. Вообще мне израильтянки очень нравятся. Те, с кем я успел познакомиться, пока был в ульпане, очень сильные и самостоятельные. Правда, там больше русские (здесь русскими называют евреев из России). Израильтянки только преподавательницы. Русские мне тоже очень нравятся. А среди местных встречаются такие красавицы, что остолбенеть можно. А что бы ты сказала, если бы я женился на еврейке, которая ни слова не знает по-русски?

Работаем, охраняем и спим по очереди. У нас есть трактор, купили через банк. От Хеврона шесть километров, но дорога небезопасная, мимо арабской деревни. Да, вот что тебе будет интересно – здесь недалеко пещера Махпела, где похоронены все праотцы, Авраам и другие. На меня большого впечатления не произвела, но другие очень восторгаются. Честно говоря, времени на восторги не остается. Много работы. Я вспоминаю, как в лагере рукавицы шил – страшный сон. Тогда я даже вообразить не мог, что после этих самиздатских еврейских журналов, ивритских кружков, еврейских посиделок на кухнях начнется такая настоящая жизнь. Народ разный – среди поселенцев есть религиозники и нерелигиозники вроде нас. К нам недавно приезжал местный раввин из Хеврона, очень известный, он из правых.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Кстати, это очень интересно – в России я считался в наших кругах чуть ли не троцкистом, очень ультра! А здесь меня принимают за правого. Здесь вообще не разберешь – правая, левая где сторона!

Но ребята в кипах мне раньше не очень нравились, а эти – отличные, здоровые парни и веселые, особенно их раввин.

Надпись на фотографии: Наши женщины готовятся к субботе. (Видна часть накрытого стола.)

1978 г., Хеврон.

Гершон – Зинаиде Генриховне

...подшел ко мне – на вид лет сто, но мозги совершенно ясные. Спрашивает, не из Николаева ли мои предки. Я говорю – да. Тогда он спрашивает, не родственник ли я Давида Шимеса. Да, говорю, он мой родной дед. Тут старикан слегка взвыл от радости – ой, вей, это был мой лучший друг! Я говорю: вы не огорчайтесь, но его в тридцатые годы немного расстреляли. Это, он говорит, вполне можно было ожидать – всех его братьев и сестер расстреляли и отравили.

Возможно, это были не его братья и сестры, а кого-то другого, – говорю я. – У моего деда не было братьев и сестер, потому что он был сын позора. Мать родила его внебрачно, и в хорошем еврейском семействе был большой скандал, и мать моего дедушки, моя прабабушка, заболела на нервной почве туберкулезом, ее отправили лечиться в Швейцарию, где она и умерла.

Все правильно, говорит этот божий одуванчик, отец твоей прабабушки был торговец зерном, а бедных торговцев зерном на свете не бывало. И он отправил Рахиль в санаторию, подальше от позора. Но в городе все знали, от какого революционера она его прижила! Правильно, все правильно. Давида воспитывали две незамужние тетки. Мы ходили в один класс в гимназии, и он был единственный мой друг во всем моем детстве. В восемнадцатом году отец увез меня в Палестину, я с тех пор здесь и живу. И уже только после войны я прочитал, что отца моего друга Давида Сталин аж в Мексике достал, и всех его детей, Давидовых братьев-сестер, которые родились в законном браке, Сталин тоже поубивал. Я книгу толстую читал, там все написано.

Я, мама, просто обалдел: почему это чужой старик знает про наших предков больше, чем мы сами? Или вы знали, но от детей скрывали? Короче, когда этот дед мне сказал про Мексику, я понял, кого он имеет в виду. Может, он перепутал от старости лет? Если это правда, для меня это полный атас! В общем, зная твою осторожность, напиши мне только одно слово «ледоруб», и тогда я получу полное подтверждение. Честно, я просто не могу поверить!

Мам! Вспомнил, зачем письмо писал: я женился. Жена моя из американских евреев. Она тебе очень понравится. Зовут Деби. Дебора. Будут фотографии – пришлю.

Пока.

Гершон.

1981 г., Хеврон.

Гершон – Зинаиде Генриховне

...почему ты удивляешься? Здесь логика железная. В начале XX века все неверующие евреи кинулись в революцию, потому что социализм был очень соблазнительной идеей, и предка моего я очень хорошо понимаю. Предок мой был идеалист, все они были идеалисты. Но не получилось у них с социализмом, и с интернационалом не получилось. Провалилось. На новом витке новые идеалисты поехали, чтобы строить социализм в отдельно взятой стране, в Израиле. Вот что мы теперь имеем. Причем все это были ребята опять-таки неверующие, потому что у верующих была идея религиозная – подайте нам нашу Святую землю. Имеем! А неверующие пришли на

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru)  
Святую землю строить социализм. Да. И я такой же! Потому что мне не нравится капитализм, а нравится социализм, только не тот, что в СССР.

Ты удивляешься, что я живу как в колхозе, но это мой колхоз, он кибуц, и он мне нравится. Я тебя и еще больше удивлю – раньше не написал, но теперь, я думаю, ты от меня всего можешь ожидать. Еще когда родился Биньомин, я вместе с ним сделал обрезание. Я не хочу обсуждать с тобой причин, почему я это сделал. Уверен, что поступил правильно. Рад, что жена меня поддерживает. Вот так, я стал евреем в тридцать лет, вместе со своим первенцем. Дебора скоро опять родит. Надеюсь, мальчика. Она обещала мне рожать сколько будет сил. А она очень сильная и крепкая женщина, во всех отношениях. Я ни разу тебе не напоминал, как ты отказалась от переезда в Израиль из-за Светкиного идиотского замужества, но теперь, когда ты сама написала, что отношения у Светы с мужем ужасные, что они чуть ли не дерутся, не вернемся ли мы к исходной точке – пусть она разводится со своим казаком, берет дочку, и я бы прислал вам всем приглашение. Сейчас все это проще, чем пять лет назад. Я совершенно уверен, что если бы отец был жив, он бы еще в 76-м вас вывез. Ты всегда будешь считать, что я погубил отца своим самиздатом, тюрьмой, и сердце его не выдержало именно из-за меня. Может, это и так, но неужели ты не понимаешь, что даже если б я тогда не загорелся идеей уехать, я бы все равно ввязался в другой какой-нибудь конфликт с властью. Подумай, о чем я тебе говорю. Я уверен, что отец был бы на моей стороне...

Надпись на фотографии: Это вид из окна. Слева вдаль был Мамврийский дуб, но теперь от него даже пенька не осталось, а только место показывают, где он стоял.

Надпись на фотографии: Это Биньомин. Щеки у него такие толстые, когда он лежит, а если его поднять, он не такой поросенок.

Конец второй части  
Июнь, 2006 г.

Письмо Людмилы Улицкой Елене Костюкович

Дорогая Ляля!

Посылаю тебе переделанный кусок текста – условно – вторая часть. Безумной сложности монтажные задачи. Весь огромный материал толпится, все просят слова, и мне трудно решать, кого выпускать на поверхность, с кем подождать, а кого и вообще попросить помолчать. Особенно рвется Тереза Виленская. Их было множество святых Терез – Авильская, из Лизье, которую звали «от Младенца Христа», или «малая», да и современная, недавно умершая мать Тереза Калькуттская. Это я к слову. Моя Тереза жива-здоровая, ожидает явления Мессии...

Как всякая большая книга, эта меня доканывает. Не могу объяснить ни себе, ни тебе, зачем я за это взялась, заранее зная, что задача невыполнимая. Наше сознание так устроено, что отрицает нерешимые задачи. Если задача есть, должно быть решение. Только математики знают про спасительную формулу – при заданных условиях задача решения не имеет. Но если нет решения, то хорошо бы хоть увидеть саму проблему, обойти ее сзади, с переду, с боков, с верху, с низу. Она вот такая. Решить невозможно. Вещей таких множество – первородный грех, спасение, искупление, зачем Бог, если Он есть, создал зло, а если Его нет, в чем смысл жизни... Все вопросы для честных детей. Пока малы, задают вопросы, а когда вырастают, находят подходящий ответ в отрывном календаре или в катехизисе.

Очень хочется понять, но никакая логика не дает ответа. И христианство тоже не дает. И иудаизм не дает. И буддизм. Смириться, господа, есть множество неразрешимых вопросов. Есть вещи, с которыми надо научиться жить и их изживать, а не решать.

Теперь о прекрасном: родился внук Лука. Вес 3200 грамм, рост 53 см. Никакого обещанного обвития пуповины, все благополучно, даже без кесарева сечения. Я его видела на следующий день после появления на свет. Какое это замечательное расстройство – в одно поколение: ты все еще стоишь рядом, но уже не главное действующее лицо, обеспокоенное исключительно физиологическими проявлениями. И видишь величие этого события – явления младенца. Это образование нового мира,



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru нового космического пузыря, в котором все отразится. Он морщит нос, шевелит пальцами, дергает ножками и еще не думает обо всей той дребедени, которая так нас занимает: смысл жизни, например... А у него пищеварение и есть смысл жизни. Фотку пришлю постепенно – я еще не научилась перекачивать из телефона в компьютер.

Как Маруся с левой? Закончили ли вы температурить? Мне кажется, что градусник у Маруси разбился неспроста. Чтобы вы перестали ей измерять температуру, считали, что она у нее всегда повышенная, и перестали бы водить в школу!

Целую.

л.

Часть третья

1

1976 г., Вильнюс.

Папка из архива районного отделения КГБ

Из дела оперативной проверки

Док. № 117/934

#### ЗАЯВЛЕНИЕ

Довожу до вашего сведения и прошу принятия мер в том, что жилища дома 8 по улице Тилто из квартиры 6 Бенда Тереза Кшиштофовна злостная католичка и приваживает в дом много людей, они собираются регулярно, как на собрание, делая вид, что пьют чай. В то время как другие люди, более заслуженные, живут в маленьких комнатах 12 метра, несмотря на военные заслуги и персональные пенсионеры, Бенда занимает 24 метра с балконом. Что известно, что отец ее был поляк и польский националист, о чем неизвестно, что он смог избежать наказания, умер в 1945 году после освобождения Советской Армии от туберкулеза.

Причем она восемь лет платит за квартплату и коммунальные расходы, проживая неизвестно где. Но что сдавала или спекулировала площадью – это нет. Но мы бы не потерпели. Обращаю на ваше внимание имеющее безобразие.

Подписи жильцов: неразборчиво.

Резолюция:

Направить на проверку оперуполномоченному Гуськову.

#### РАПОРТ

Докладываю, что 11.04 с. г. была проведена проверка по заявлению от жильцов дома 8 по улице Тилто с неразборчивой подписью. Выявлен составитель заявления Брыкин Николай Васильевич, с которым была проведена соотв. работа. Подтвердилось, что в комнате у Бенды по средам и воскресеньям от семи до десяти вечера собирается четыре – восемь человек, постоянно двое мужчин и несколько женщин, число которых меняется. Все литовцы, и разговоры ведутся на литовском и польском языках.

В ходе оперативной проверки установлено, что Бенда Тереза Кшиштофовна тайная монахиня, в 1975 году приняла постриг. Дополнительную информацию можно получить из отдела № 8 по запросу зам. нач. опер. отдела.

Предположительно – по средам и воскресеньям Бенда проводит у себя на квартире собрание евангельских групп.

Для установления личностей проходящих необходима дополнительная оперативная проработка.

Бенда окончила Ленинградский государственный университет и направлена на работу в Вильнюсскую городскую библиотеку в качестве библиографа. Работала с 20 авг. 1967 года по 1 сент. 1969. Характеристика с места работы прилагается.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Профилактирование не представляется целесообразным.

Ст. лейтенант Гуськов.

Резолюция:

Направить в архив.

Майор Перевезенцев.

Из отдела ПТ-3

в отдел оперативной проверки

РАПОРТ

Отдел ПТ-3 направляет копии 4-х (четырех) писем Бенды Терезы Кшиштофовны в разные адреса:

Письмо 1

Дорогая Валентина Фердинандовна!

Письмо мое к Вам благодарственное. Ваши слова о том, что «Евангелие не икона, оно предназначено не для целования, а для изучения», не выходят у меня из головы. То, что даже простое прочтение Евангелий на другом языке дает дополнительную глубину понимания – мне вполне понятно. Я читала Евангелия на польском, русском, церковно-славянском, литовском, немецком и на латыни и всегда чувствовала, что есть различия в восприятии текста. Действительно, Бог разговаривает с людьми на разных языках, и каждый язык тонко соответствует характеру и особенностям народа. Немецкий перевод Евангелий поражает своей упрощенностью в сравнении, скажем, с церковно-славянским. Могу только догадываться о том, какие богатые оттенки содержатся в текстах греческих и древнееврейских – я имею в виду текст Ветхого Завета.

Все, кто присутствовал на нашем чаепитии, под большим впечатлением. Наш старший брат S. шлет Вам привет. Сообщите заранее, когда Вы сможете опять приехать в Вильнюс. Попробуем организовать вам небольшое путешествие. Примите мой сестринский поцелуй.

Да хранит Вас Бог.

Тереза.

Письмо 2

Дорогая Валентина Фердинандовна!

Привезли от Вас замечательный подарок, это как раз то, в чем больше всего нуждаюсь. И глубина, и смелость, и какая метафора! К сожалению, я не знаю английского языка и лишена возможности оценить качество перевода, но от книги такое впечатление, что она не переводная, а оригинальная – никакого напряжения, полная свобода мысли и слова. Огромное спасибо за Ваш труд. Автор интереснейший, очень актуальный.

Я болела почти две недели, и поскольку в монастыре все это время был ужасный холод, мне разрешили на время болезни переехать на свою квартиру. И здесь я предавалась и чтению, и сну в непотребных количествах.

На будущей неделе возвращается из Ватикана L., и мы ждем его с великим нетерпением. Можно ли вообразить, что мы увидим того, кто видел того...

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Да хранит Вас Бог.

Тереза.

Письмо 3

(перевод с литовского)

Дорогая Аста!

Посылаю тебе теплые вещи – для передачи сестрам. Денег, к сожалению, немного, я пошлю их переводом. Как быть с продуктами, ты сама должна сказать. Мне говорили, что если просто послать продовольственную посылку на известный адрес, то она может не дойти, потому что большие ограничения. Может быть, ты, когда будешь в Вильно, зайдешь к нам, попросишь привратника меня позвать или оставишь записку, и я напишу тебе, когда смогу с тобой встретиться. Самое лучшее – в воскресенье от четырех до шести.

Да хранит вас Бог.

Тереза.

Письмо 4

(перевод с литовского)

Уважаемая госпожа Ионавичуте!

Я посылаю Вам с Янисом замечательную книгу, переведенную с английского одной московской переводчицей, очень близкой нам по духу. Книга в рукописи, и хотя она предложена в московское издательство, очень немного шансов, что ее напечатают. С другой стороны, иногда случаются и чудеса – ведь издали же великолепного Тейяра де Шардена! Поскольку Ваш журнал имеет независимое направление, может быть, удастся напечатать хотя бы фрагменты из этой книги, но в переводе на литовский. У нас есть для этого люди, которые могут сделать такой перевод быстро и качественно.

Заранее благодарю,

Тереза Бенда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Полученные для экспертизы 4 (четыре) письма, написанные рукой Терезы Кшиштофовны Бенды, имеют трех адресатов.

Первый из адресатов, московская переводчица, кандидат филологических наук Валентина Фердинандовна Линце, преподаватель заочного Института культуры, ссылка на материалы № 0612/173В.

Второй из адресатов Аста Келлер, жительница Вильнюса, домохозяйка, участница группы содействия заключенным, постоянно занимается посылкой почтовых отправок в лагеря. Ссылка на материалы картотеки 2Ф-11.

Третий адресат – Ионавичуте Анна Гедиминовна, заведующая отделом прозы литовского журнала «Молодежь Литвы». См. каталог 2Ф-11.

Упомянутый автор Тейяр де Шарден умер в 1955 году. Иезуит, священник и палеонтолог. Антисоветской деятельностью не занимался.

Мл. научный сотрудник архива

лейт. Кузовлев.

Резолюция: В архив.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Майор Перевезенцев.

1977 г., Вильнюс.

Майор Перевезенцев – подполковнику Черныху

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Довожу до Вашего сведения, что деятельность подпольного женского католического монастыря, размещающегося в трех частных квартирах Вильнюса, находится полностью под контролем. За последний год число так называемых монахинь убавилось: одна из сестер (Ядвига Немцевич) умерла, вторая (Тереза Бенда) вышла из монастыря и вновь проживает по месту прописки. По воскресным дням на квартире по адресу: ул. Дзуку, 18, квартира 1, приходящий в дом священник Юргис Мицкявичюс служит мессу, все прочие дни недели монахини читают Розарий. Большая часть монахинь пенсионного возраста, многие освободившиеся из заключения. Привлечение их к ответственности не представляется целесообразным. Оперативное наблюдение за их квартирами снято. Находятся под наблюдением местных районных уполномоченных.

Майор Перевезенцев.

Частное письмо майора Перевезенцева подполковнику Черныху

Дорогой Василий Петрович!

Докладную записку я тебе составил как положено, но от себя добавлю, что обстановка в городе такая, что нет ни времени, ни людей, чтобы возиться с полоумными старухами. Антисоветские и националистические настроения очень сильные, меня гораздо больше занимает молодежь. Сейчас готовим два больших самиздатских дела. Вычистить это старушечье гнездо – один день работы, но смысла никакого здесь не вижу. Ну, поднимут корреспонденты крик, и что мы выиграем? Хотя как скажете. Зависим от центра. По старой дружбе прошу, не загружайте нас религиозниками, и так дел по горло. Передай привет от меня Зинаиде и Олечке. Вспоминаю, как хорошо нам жилось в Дрездене!

Алексей Перевезенцев.

2

Январь, 1978 г., Вильнюс.

Из письма Терезы Бенды к Валентине Фердинандовне Линце

...дерзость этой просьбы. Может быть, дерзновение? Когда я пришла в клинику 13 февраля, Л. был цвета старой бумаги и весь словно налит водой. Невозможно себе представить – даже губы, всегда такие собранные и твердые, расслабились и стали пухлыми, как у ребенка. Руки отекающие, он их едва поднимает. Видно, что каждое движение дается с усилием. Я ушла с таким чувством, что он может умереть в любую минуту. Ночью, когда все сестры легли и настала та особая ночная тишина, которая так помогает молитве, я встала и горячо молилась. И мне явилась эта мысль, что я могу уйти вместо него. Утром я подошла к настоятельнице. Она ко мне очень расположена. Я сказала ей, что чувствую зов уйти вместо Л. И она меня благословила.

Я сразу же пошла в храм Непорочного Зачатия на Зверинце и снова стала молиться. И настала та золотая минута, когда я поняла, что меня слушают. И я взмолилась – возьми меня вместо него. Я не уходила из храма до позднего вечера – все стояла в молитвенном оцепенении. Поздней ночью вернулась к сестрам.

На другое утро настоятельница шепнула мне: «Л. сегодня ночью экстренно оперировали. Удалили почку. Он при смерти». И улыбнулась, как мне показалось, с усмешкой.

Представьте, все уже были готовы к его смерти, а он пошел на поправку.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Выздоровление Л. шло необыкновенно быстро. Через три недели он вышел из клиники, епископ не разрешил ему ехать в Каунас, поселил у себя. На Пасху он служил. Всю службу я плакала счастливыми слезами – жертва моя принята, и я стала готовиться.

Сразу же после Пасхи я начала слабеть. Я похудела килограммов на десять. Прискорбно, что мое радостное и приподнятое состояние сменились такой слабостью, физической и духовной, что описать это не берусь. На прошлой неделе я дважды падала в обморок. Сестры со мной очень ласковы и заботливы. Жизнь наша очень сложна именно своими внутренними отношениями, далеко не все лежит на поверхности. Но я всегда знала, что это та цена, которую мы платим за близость к Источнику.

Л. уже в Каунасе, и я его не вижу. И это огорчает, потому что его участие было бы для меня так драгоценно. Прошу Ваших молитв, дорогая сестра.

Да благословит Вас Господь.

Тереза.

3

Май, 1978 г., Вильнюс.

Из письма Терезы к Валентине Фердинандовне

...неописуемый страх. Я с трудом засыпала и просыпалась через пять минут от приступа страха. Я все время мысленно возвращалась к той минуте, когда в состоянии экзальтации, несовместимой с трезвенным духом, я просила об этой замене. Я была тогда в таком очищенном состоянии, что в тот момент уход был бы благодатен. Теперь же я находилась на самом дне, и тяжесть меня раздавливала. Кошмарное, неописуемое состояние, и предсмертный ужас – животный, пронизывающий насквозь – вызывал тошноту, и я, хотя ничего не ела, постоянно извергала из себя пенную кислоту ужасного вкуса. Это был вкус страха. Потом произошла еще одна, совершенно ужасающая вещь – из меня, вопреки законам природы, начали вываливаться полные унитазы экскрементов. Ничего гадже нельзя себе представить – в этот момент я ощутила, что все мое тело просто выходит из меня в таком смердящем виде, что еще через несколько дней вся я, без остатка, уйду в канализационную трубу. Просто последнюю кучу смыть будет некому. И тогда я взмолилась: не этого я хотела! Жертвуя собой, я ждала награды. Красоты. Справедливости, в конце концов. Но получила другое! Да откуда я взяла, что жертва может испытывать радость от самоотдачи? Тошнотворный страх, ни малейшей благодати. И, стоя над унитазом, полным до краев дерьмом, я взмолилась. Нет, не перед образом Девы, не перед Распятием – перед кучей смрада я взмолилась: сделай так, чтобы мне сейчас не умереть. Пусть произойдет самое ужасное, пусть даже меня выгонят из монастыря, только не дай мне сейчас умереть...

Через неделю я уже могла ходить. Через три месяца меня выгнали. Настоятельница вела себя так, как будто я ее обманула. Она не выгнала даже сестру Иоанну, хотя она воровка, неисправимая воровка. Сестры обходили меня, как зачумленную, – после того, как все за мной ухаживали и высказывали столько сочувствия.

Впервые за двадцать лет Пасха моя – не Воскресения, а умирания. Нет радости. Как Лазарь, пребываю в смертных пеленах, хотя жизнь мне оставлена. Одиночество мое полное, почти без изъяна. Вот только Ваши письма, сестра – можно ли мне Вас так называть? – меня поддерживают, да один мой старый сослуживец по библиотеке, который ходил на наши чтения. Он по-прежнему бывает у меня, выводит иногда на улицу.

Мне так грустно, что вы не сможете приехать летом, как собирались. Мы могли бы поехать на Куршскую косу. Моя тетушка по-прежнему живет там, и в домике ее найдутся для нас кельи.

Прошу Ваших молитв.

Тереза.

4

Июль, 1978 г., Вильнюс.

Тереза – Валентине Фердинандовне

Милая Валентина Фердинандовна! Дорогая сестра!

Так случилось, что Вы остались единственным человеком, с кем я могу говорить о самом для меня важном. Я отдаю себе отчет в том, что признание такого рода может причинить большое неудобство тому, кому оно делается. Но, зная Ваши огромные духовные возможности, умоляю Вас меня выслушать. Письменная форма здесь – самая удобная, потому что есть вещи, о которых говорить еще труднее, чем писать. Но Вы – не можете не понять меня. Именно потому, что имеете этот редкий и неопиcуемый опыт, о котором Вы мне рассказывали во время нашей прошлой встречи. Опыт непосредственного общения – опыт слышания и видения вещей невидимых. Мне ведь тоже с самой ранней юности, едва ли не с детства, открылось существование духовного мира, и это открытие отдалило меня от сверстниц.

Я говорила Вам, что отца я потеряла очень рано, я его не помню, мама умерла, когда мне было девять лет, воспитывала меня тетя, женщина хорошая, но очень сухая. Она была бездетна, немолода – первый раз вышла замуж около сорока, и ее замужество принесло мне много огорчений. Муж ее был с какой-то восточной примесью, хотя по фамилии русский, внешность его была совершенно татарская. И жестокость татарская. Тетка его обожала, привязана была к нему как кошка, и навсегда у меня осталось отвращение к физической жизни: жили в одной комнате, и их ночная возня вызывала у меня приступы настоящей тошноты. Я молила Божью Матерь, чтобы она заслонила меня от этого, и тогда я начала слышать музыку. Это было ангельское пение, и оно меня укутывало, как в плащ, я утихала и засыпала, сон мой все под музыку и продолжался. Четыре года длился брак моей тети, это было плотское беснование, и их бесстыдство оставалось моим испытанием, хотя музыка и заслоняла от меня многое. Потом этого ужасного Геннадия перевели в другое место – он был военный, – и он навсегда исчез. Тетя сначала пыталась его разыскать, но, видно, он так распорядился, чтобы нового адреса тете не давали. Брак их оформлен не был. Я, признаться, думаю, что у него была официальная жена, которая отказалась с ним переезжать в Вильно, а в какое-то другое место поехала. Да это и неважно. Тетка стала совершенно безумной. Она постоянно лежала в психиатрических лечебницах, и большим облегчением было для меня уехать в Питер на учебу. Каюсь, я редко ее навещала. Но она так злобно меня встречала каждый раз, что непонятно было, следует ли мне к ней приходиться. Я помню из тех трудных лет, что защитой всегда была мне Дева и ее ангельская музыка. Сколько раз я сокрушалась, что Бог не дал мне такого дара, чтобы запоминать эту музыку и потом воспроизводить. С тех пор я совершенно уверена, что великие композиторы, как Бах и Гендель, лишь записывали звуки, пробивавшиеся к ним с небес по Божьей милости.

В Питере в университетские годы я почти голодала. Да почему же почти? Именно голодала. Девушки, с которыми я делила комнату в общежитии, были такими же бедными, как я. Все как на подбор – красавицы. На втором курсе одна из них стала заниматься чуть ли не проституцией, потом вторая. Третья – как и я – страдала от этой ситуации. Но так или иначе, наши предприимчивые соседки водили к себе мужчин, обычно в дневное время, потому что вечером в общежитие было труднее пробраться. Но иногда они приводили мужчин и на ночь, и тогда я как будто снова возвращалась во времена моего несчастного детства, когда стоны и вопли сладострастия не давали мне спать. И снова только молитва и музыка утешали меня. Я закончила курс с отличием. По специальности я искусствовед. Мне предложили аспирантуру. Но я так устала от общежития! Представив себе еще три года такой жизни, я отказалась. Тетя почти безвыходно содержалась в лечебнице, и я осталась одна в большой комнате. Какое это было счастье быть одной, не слышать чужой и чуждой жизни. Я поступила на работу в библиотеку. К этому времени я уже настолько укоренилась в молитве, вросла в католическую жизнь, что приняла внутреннее решение идти в монастырь. И действительно, вскоре меня познакомили с настоятельницей, и я стала послушницей. Понятное дело, монастырь был тайный, жили мы на квартирах, но в большой строгости.

Я имела большую поддержку – молитва моя в то время была столь благодатна, что я слушала не только звуки чудесной музыки, но и ощущала присутствие Того, кто есть Источник Жизни. Через два года я приняла полные обеты. Трудная монастырская жизнь была мне легка и радостна. Я постоянно ждала этих посещений, и они даже сделались предметом моих молитв.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Однажды, когда я стояла на молитве, со мной произошло следующее: как будто упругий и горячий воздух охватил меня, ласкал меня всю и бессловесно просил согласия отдаться ему. Ничего подобного прежде я не испытывала. И, несмотря на необыкновенно сильное желание продлить эти ощущения, я ответила отказом. Но ласки продолжались, и горячий воздух вился вокруг меня, проникая к груди и к бедрам. Тогда, словно очнувшись, я воззвала к Господу, и немедленно услышала шипящую брань и легкий щелчок.

Явления эти стали повторяться. Я рассказала об этом настоятельнице. Боюсь, что она не была осмотрительна, и многие узнали об этом от нее, и у меня возникла репутация сумасшедшей. Помня о болезни моей тетушки, я понимала, что может быть какая-то наследственная склонность к безумию, и, желая убедиться в обратном, то есть в том, что меня действительно искушает дьявол, а не болезнь, я научилась вызывать этого демона – это давало мне ощущение, что не он мною управляет, а я им. Тем более что я всегда умела вовремя остановить искушение. Теперь я понимаю, что это была опасная игра, но дошло это до меня не сразу. Временами демон меня просто парализовывал, так что я не могла пошевелить рукой, чтобы осенить себя крестным знаменем. Я даже не могла произнести молитву – горло было как заморожено. Эти ночные битвы продолжались часами, когда сестры мирно спали.

Священник запретил мне вступать в любое общение, внутренне обращаться к существу, которое он назвал именем «сатан». Я боялась произнести это слово, но после того, как его произнес священник, я уже не могла себя больше обманывать. Священник уверил меня, что враг никогда не может причинить нам вреда, если мы сами не даем на это согласия.

Чем больше терзал меня «сатан», тем больше утешал меня Господь. Так длилось несколько лет. А потом произошло то, о чем я прежде рассказывала. Я взяла на себя обет, связанный с L., который не смогла исполнить.

Я не стала бы вас обременять рассказом о тяжелых духовных явлениях прошлых лет, если бы это искушение вновь на меня не напало. Но, к моему глубокому горю, я не получаю уже тех молитвенных радостей, тех тихих и сладостных минут Богоприсутствия, которые были в прошлом. Молитвы, которые я возношу непрестанно, остаются безответны.

Несчастливая Тереза.

5  
Октябрь, 1978 г., Вильнюс.

Тереза – Валентине Фердинандовне

Милая Валентина Фердинандовна!

За последний месяц произошло столько событий абсолютно ошеломляющих, что я даже в растерянности, с чего начинать рассказ.

После долгих неудачных попыток встретиться с настоятельницей она меня все-таки приняла, разговор был пренеприятнейший – она сказала, что не станет держать бесноватую, что я соблазняю сестер. После этой убийственной встречи я поехала к моему духовнику, который был настроен еще жестче. Сказал, что, видимо, у меня иное призвание, что добрый христианин и в миру может потрудиться ради Господа. Но я действительно не понимаю, почему они меня так яростно гонят, и когда я приступила к нему с этим вопросом, он сказал мне ужасные слова: мои духовные переживания свидетельствуют о том, что я полностью в руках сатаны, и в Средние века таких, как я, сжигали на кострах за связь с сатаной.

– Но ведь и у Святого Антония были искушения, – робко возразила я. – Если бы ему попались вы в качестве духовника, вы бы и его сожгли?

Он улыбнулся насмешливо и сказал, что таким путем идут святые... Что он имел в виду? Голова моя и сердце не вмещают этого.

Но ушла я от него со странным чувством облегчения. Теперь мне не на что рассчитывать, кроме Любви Всевышнего. И я поручила себя Ему. Молитвы к Деве, столь мною всегда любимые, стали совсем невозможны – ее Непорочность не дает мне

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) к ней обратиться... Одна Магдалина мне теперь может быть защитницей. Не вызывает ли у Вас улыбку мое нелепое положение: сохранившая девственность для Господа, я изгнана за самое ужасное из распутств и чувствую глубочайшую вину за ночные явления ко мне силы, которую ненавижу всей душой...

Католическая Церковь изгоняет меня – и в чьи же руки?

Я переехала в мою старую комнату, к ужасным соседям, которые меня ненавидят и мечтают отнять мое жилье. Я провожу свои дни в молитвах и в жестоких искушениях. Хожу по-прежнему в храм Непорочного Зачатия на Зверинце, но и там, где прежде были со мной сердечны и ласковы, я встречаю отчужденность и подозрительность.

6

Декабрь, 1978 г., Вильнюс.

Тереза – Валентине Фердинандовне

...Теперь я перехожу к последней части моего печального повествования: единственный мой друг Ефим, с которым судьба свела меня в библиотеке, все это последнее время меня очень поддерживал. Я не знаю, как бы мне удалось выжить – и физически, и материально, – если бы не его непрестанная помощь. Он одинокий человек. И вот теперь я получила от него очень неожиданное предложение – заключить с ним фиктивный брак и выехать в государство Израиль. На Святую землю.

Такая в голове путаница, что я не сказала существенной вещи: Ефим еврей, но все его духовные устремления направлены к православию. Он долго не принимал святого крещения и сделал это два года назад, после смерти матери, которая очень болезненно восприняла бы это. С тех пор он все более полно входил в церковную жизнь.

Он ежедневно присутствует на богослужениях, даже прислуживает в алтаре, составляет для здешнего настоятеля обзоры по выходящей духовной литературе, даже делает рефераты и переводы с иностранных языков, когда книга представляется настоятелю интересной. Настоятель относится к Ефиму с большим уважением, любит с ним беседовать: в церковной среде, по всей видимости, совсем немного таких образованных и серьезных людей. В конце концов Ефим поделился с ним своим намерением стать священником. На это настоятель совершенно определенно сказал, что национальность – главное препятствие на пути и он плохо представляет себе еврея в качестве приходского священника. Для русской паствы это будет слишком большим искушением, – заметил настоятель.

Это при том, дорогая Валентина Фердинандовна, что настоятель из числа самых либеральных и просвещенных! Ведь он еще до войны прошел опыт лагерей, чудом выжил.

В Вильнюсе живет, лучше сказать скрывается, один православный епископ, тоже из бывших заключенных, и по просьбе настоятеля епископ иногда рукополагает в священнический сан молодых людей. Тайно, конечно. Епископ, как Вы знаете, имеет право рукополагать во священство кого считает достойным, несмотря на отсутствие семинарского образования.

Смешно сказать, Ефим закончил университет по классической филологии, владеет греческим, латынью, ивритом, он кандидат филологических наук, а подготовка его в богословии такова, что он мог бы в любой семинарии преподавать. Кстати, сам настоятель и сказал об этом Ефиму, – что в других условиях быть бы ему профессором в Духовной академии! Вот как высоко настоятель его ценит! Однако в благословении на рукоположение отказал.

Мысли о монашестве тоже приходили Ефиму в голову. Он даже ездил в Псково-Печорский монастырь, прожил там в прошлом году месяц и, вернувшись, сказал мне, что не готов к такому шагу.

Одновременно Ефим размышляет о переезде в Израиль – у него там живет родной дядя и несколько двоюродных братьев и сестер, которым удалось уехать из Литвы до прихода немцев. Мать Ефима спасла во время войны одна литовская крестьянка.

И вот теперь, сам находясь в неопределенном положении, видя и мое столь же



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru неопределенное состояние, он предлагает мне заключить с ним фиктивный брак и попытаться устроить мою жизнь на Святой земле, где есть монастыри, и другие обители, и разнообразная работа для монашествующих. Несмотря на то что монастырь изверг меня, я продолжаю оставаться монахиней – обеты с меня никто не снимал. Это его предложение – мой единственный шанс начать новую жизнь.

Дорогая Валентина Фердинандовна! Именно Ваше слово так весомо для меня – поскольку Вы давно сблизились с доминиканцами и ведете напряженную и опасную жизнь монахини в миру, и так деятельно живете, столько полезного делаете, именно от Вас мне хотелось бы услышать слова совета. Главная проблема – самовольный отъезд на Святую землю. Ни наша настоятельница, ни тем более епископ не дадут мне благословения. Ведь даже если все формальные сложности с отъездом будут преодолены, мне, привыкшей к монашеской дисциплине и повиновению, так трудно решиться на этот своевольный жест.

Чтобы рассчитывать на Ваш совет, я должна рассказать все, что я сама знаю об этой ситуации: Ефим человек небывалого благородства, мне даже кажется, что, рассматривая вариант отъезда в Израиль, он учитывает также и предоставляющуюся возможность устроить мою судьбу. Про себя же он говорит – именно там, на земле Иисуса, должны разрешиться его колебания относительно дальнейшего пути: священства ли, монашества, просто мирской деятельности.

Я не встречала до сих пор человека, который был бы так глубоко погружен в православие, знал так прекрасно богослужебные тексты и разбирался в тонкостях богословия. В нем есть вдохновение католика и добросовестность протестанта. Библиотека для него – настоящий дом, а сам он в полном смысле слова – человек Книги. Он давно уже пишет и свое собственное исследование об истории Евхаристии от древнейших времен до наших дней.

Милая, дорогая Валентина Фердинандовна! Я чувствую себя виноватой перед Вами, что излила все эти мучительные проблемы на Вашу бедную голову. Простите меня. Но я поняла, что принять решения без Вашего совета я не могу.

Да хранит Вас Господь, дорогая сестра.

Ваша Тереза.

7

Декабрь, 1978 г., Вильнюс.

Тереза – Валентине Фердинандовне

Дорогая Валентина Фердинандовна!

События развиваются столь стремительно, что я пишу Вам, не получив ответа на предыдущее письмо.

Вчера пришел Ефим, рассказал мне о своем двухчасовом разговоре с настоятелем. Ефим сообщил ему, что, не имея перспектив участвовать в жизни православной церкви здесь, в Литве, он склоняется к отъезду на Святую землю. Тогда совершенно неожиданно настоятель сказал, что готов благословить его на рукоположение в сан при условии отъезда. Для священства есть теперь только одно препятствие – Ефим холост и не имеет намерений жениться, а в РПЦ существует традиция, почти закон, что рукополагают во священство только женатых. Вот вам вывернутый наизнанку католический целибат! Ну, не выше ли это знак?

Мы с Ефимом стали на молитву и молились почти до самого рассвета. Излишне говорить, что Ефиму и в голову не пришло, что его спутницей может быть какая-то другая женщина. Но каждый из нас должен был принести свою жертву: я – поменять вероисповедание, перейти в православие, он – взять на себя ответственность за меня, и оба мы брали на себя подвиг духовного брака, отношения брата и сестры в совместном постоянном пребывании, в общей жизни и в общем служении. В каком служении? Это решение мы предаем в руки Божьи.

Остаток ночи я проплакала. Ночные мои слезы и молитвы оградили в сегодняшнюю ночь меня от обычных ночных испытаний. Я помню счастливые ночные слезы в первую пору моего монашества, когда я просыпалась по ночам не от страхов и терзаний, а

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru от радости, от молитвы, которая поднималась из глубины души и поднимала меня от сна. Приходит грустная мысль о том, что я потеряла лучший из даров. На той неделе поеду к отцу L. Я очень надеюсь на его поддержку.

Прошу Ваших молитв, дорогая сестра.

Благослови Вас Господь, Тереза.

8  
1979 г., Вильнюс.

Тереза – Валентине Фердинандовне

С этого дня все понеслось как в кино. Через пять дней я приняла миропомазание и перешла, таким образом, в православие. Великой неожиданностью для меня было Святое Причастие – одно из самых сильных духовных переживаний. Только Вам и Ефиму могу сказать, что причастие у католиков показалось мне каким-то слабым – в сравнении с тем Истинным Вином, которого я причастилась от Православной чаши.

Обет мой, после перемены вероисповедания, остался лишь делом моей совести, и 19 мая мы обвенчались. Заявление о заключении гражданского брака было подано еще ранее, и на следующий день после того, как расписались, мы подали заявление на выезд. Двоюродный брат Ефима нашел способ прислать нам приглашение на двоих немедленно, через местное консульство. К этому могу добавить – настоятель сказал Ефиму, что никаких препятствий со стороны властей у нас не будет, потому что у него есть какие-то свои связи в этой сфере. Он сказал также, что, возможно, Ефима вызовут для беседы в одно высокое ведомство, и просил его не отказываться от сотрудничества, потому что это единственное условие, при выполнении которого он может послужить церкви. Но ведь это и есть то единственное, о чем мы мечтаем. И никакая цена не кажется слишком большой.

Отъезд может произойти очень быстро. Но мы оба сидим как парализованные, хотя надо собирать книги – у Ефима большая библиотека, расстаться с которой ему немислимо, очень много книг на иностранных языках, есть старинные книги на иврите, которые были спасены от сожжения во время войны, и чтобы вывезти их, надо получать какие-то специальные разрешения. И еще много разнообразных справок надо собрать.

При слове «Израиль» у меня сжимается горло: представить себе не могу, что своими ногами пройду по Via Dolorosa, своими глазами увижу Гефсиманию, и гору Фавор, и Галилейское озеро... У меня есть один важный вопрос: могу ли я Вам писать из-за границы на Ваш адрес или должна использовать другие пути?

С любовью, Ваша Тереза.

9  
1984 г., Хайфа.

Из газеты «Новости Хайфы». Раздел «Письма читателей»

Уважаемая редакция!

Несколько дней назад я проходил по улице города Хайфы и на одной из центральных улиц увидел на доме объявление: «Встреча членов ассоциации евреев-христиан состоится в помещении Общинного центра 2 октября в 18 часов».

Мне глубоко наплевать на эту общественную организацию, хотя возникает два вопроса: кто ее финансирует, это раз. И второй: зачем ей вообще позволяют существовать на земле Израиля? Этой организации раньше не было, для каких целей она создана? Христиане принесли евреям от древних времен до настоящего времени столько войн, гонений и смертей, что никакие арабы не могут с ними конкурировать. Почему надо поощрять существование таких организаций в Израиле?

Шаул Слонимский.

Редакционный ответ

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru)  
Уважаемый господин Слонимский!

Редакция газеты могла бы и сама ответить на ваш вопрос: традиции нашего молодого государства отвечают демократическим принципам, и создание ассоциации евреев-христиан отражает принятую в Израиле свободу вероисповедания. Но мы предложили ответить на этот вопрос герою войны, награжденному многими наградами за борьбу с фашизмом, руководителю ассоциации, члену Ордена кармелитов патеру Даниэлю Штайну.

Ответ священника Д.Штайна господину Ш.Слонимскому  
Уважаемый господин Слонимский!

Мне очень жаль, что наше объявление так тебя огорчило – это совершенно не входило в наши планы. Ассоциация наша существует прямо-таки неизвестно на что – во всяком случае, не на деньги налогоплательщиков. В мире, который нам достался, слишком много вражды. После того как мы пережили последнюю войну в Европе, казалось, что больше невозможно скопить такой заряд ненависти, который был истрачен народами в эти годы. Оказалось, что ненависти не стало меньше. Никто ничего не забыл, и никто не хочет ничего прощать. Прощать и в самом деле очень трудно.

Галилейский раввин, известный миру как Иисус Христос, говорил о прощении. Он много о чем говорил, и большая часть вещей, которые Он проповедовал, была известна евреям из Торы. Благодаря Ему эти заповеди стали известны всему остальному, нееврейскому миру. Мы, евреи-христиане, почитаем нашего Учителя, который не говорил ничего такого, что было бы совершенно неизвестно миру до его прихода.

Историческое христианство действительно преследовало евреев, все мы знаем историю гонений, погромов и религиозных войн. Но именно в последние годы в католической церкви идет тяжелый процесс пересмотра церковной политики относительно евреев. Именно в последние годы Церковь в лице Папы Иоанна Павла II признала свою историческую вину.

Земля Израиля – великая святыня не только для евреев, живущих здесь сегодня, но и для христиан, и для евреев-христиан она не менее драгоценна, чем для иудеев. Не говоря уже о наших братьях-арабах, которые приросли к этой земле, живут здесь тысячу лет и кости их предков лежат рядом с костями наших.

Когда наша земля обветшает и будет свернута, как старый ковер, когда сухие кости восстанут – судить нас будут не по тому, на каком языке мы молились, а по тому, нашли ли мы в своих сердцах сострадание и милость. Вот и вся цель. Другой у нас нет.

Священник Католической Церкви

Даниэль Штайн.

10  
Ноябрь, 1990 г., Фрайбург.

Из бесед Даниэля Штайна со школьниками

Те пятнадцать месяцев, что я провел у сестер, в тайном монастыре, окнами на полицейский участок, были очень опасными и трудными. Не однажды возникали ситуации, в которых я – и вместе со мной сестры – были на волосок от гибели. Но было много трогательного, даже комического, – сказать это я могу только сейчас, когда прошло столько лет. Я помню, как однажды неожиданно пришли в монастырь немцы – с обыском. Они шли по коридору в комнату, где в этот момент я находился. В этой комнате стоял умывальник и ширма, и я не нашел другого выхода, как броситься за ширму и повесить на нее полотенце. Я гремел умывальником, – вошедшие немцы засмеялись и ушли, не заглянув за ширму. В другой раз, когда монахини вынуждены были перебираться в дом на окраине городка, я, в женском платье, чисто выбритый и напудренный мукой, загоразивая лицо букетом сухих цветов и гипсовой статуэткой Девы Марии, вышел с тремя сестрами, и мы целой процессией прошли через полгорода.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru я делил их жизнь: мы вместе ели, вместе молились, вместе работали. Они зарабатывали на жизнь вязаньем, и я тоже научился этому женскому рукоделию и однажды даже связал целое платье.. В то время я очень много читал – не только Евангелие, но и другие христианские книги, и, как мне кажется, именно тогда я стал католиком, и мысль о том, что жизнь моя будет связана с католической церковью, прочно поселилась во мне.

В конце 43-го года в связи с тяжелыми поражениями на фронте и усилением партизанского движения немцы ужесточили свою политику по отношению к местному населению, начались повальные обыски и аресты. Я понял, что не могу больше подвергать сестер риску, и принял решение уходить к партизанам.

Несколько дней я блуждал по дорогам – в этих глухих местах немцы почти не появлялись. Я знал, что в здешних лесах было партизанское царство. Наконец встретил четырех русских партизан, бывших бойцов Красной Армии. Один из них оказался тем человеком, которого мне удалось спасти, когда я работал в полиции. Он сразу же узнал меня, принялся благодарить, рассказал своим товарищам, что я спас ему жизнь. Эти люди отнеслись ко мне дружески, но сказали, что в отряд меня не примут, потому что у меня нет оружия. Если достанешь, тогда другое дело.. Они дали мне еды, и я пошел дальше.

В одной деревне я встретил двух польских священников. Они тоже скрывались от немцев. Я рассказал им о своей жизни, об обращении. Я рассчитывал по крайней мере провести ночь под их крышей, но они не оставили меня на ночлег. Зато в соседнем местечке меня приютила белорусская семья..

Наутро я стоял у окна дома, где ночевал, и в это время по улице ехала телега с несколькими мужиками. Одним из них оказался Эфраим Цвик, давний мой приятель еще по «Аквиве», спасшийся вместе с другими беглецами из гетто. К счастью, Эфраим был из тех, кто знал, что я организовывал побег из гетто, снабжал оружием со склада гестапо.. Хотя я отпустил усы, чтобы изменить внешность, он меня узнал. Но не сразу. Эфраим был уверен, что я погиб. Встретились мы как братья. Эфраим повез меня в русский партизанский отряд. По дороге я рассказал ему о том, что было важнейшим событием моей жизни – о своем обращении. Конечно, я не встретил ни сочувствия, ни понимания. Эфраим предложил мне выбросить из головы все эти глупости. Действительно, теперь я понимаю, как глупо я себя вел.

Ночью Цвик привез меня в партизанский отряд. Это был русский отряд, им командовал полковник Дуров. Дуров и раньше слышал что-то о коменданте немецкого полицейского участка, который помогал партизанам, спасал евреев. Но гораздо больше его интересовали мои связи с фашистами. Первым делом Дуров приказал арестовать меня. Расследование вел лично. Меня обыскали, отобрали Новый Завет и несколько иконок.

Я подробно рассказал Дурову о своей жизни и работе у немцев. Рассказал, как сбежал и как потом принял христианство. Дуров требовал объяснить, где я скрывался пятнадцать месяцев со времени моего побега из гестапо. Я не мог сказать, что все это время скрывался у монахинь. Если бы об этом узнали в Эмске, их наверняка бы казнили. Дуров не доверял мне, но я тоже не вполне доверял ему, так что отвечать на этот вопрос я отказался. Как я мог рассказать ему о монахинях, когда знал, как коммунисты относятся к верующим?

Поскольку я не открывал своего убежища, у Дурова возникли какие-то особые подозрения. Допрос длился без перерыва почти двое суток, допрашивал то сам Дуров, то его помощник. Дуров пришел к выводу, что я провел эти месяцы в немецкой школе для шпионов и теперь подослан к партизанам для сбора информации. Меня приговорили к расстрелу. Эфраим был просто вне себя, что он сам привез меня в отряд, но теперь ему не верили. Меня заперли в сарае, держали в нем несколько дней. Почему меня сразу же не расстреляли, я до сих пор не понимаю. Еще одно чудо. Я был совершенно спокоен, сидел в темноте и молился. Поручил себя Господу и готов принять все, что ни будет мне послано.

На третий день утром пришла помощь. В отряд к Дурову приехал врач, Исаак Гантман, тоже беглец из гетто. Исаак был единственным во всем краю врачом, который лечил партизан.

В отряде был раненый, которому срочно была нужна операция, и Гантмана привезли из Черной Пуци. Он был человеком незаменимым и авторитетным. Эфраим сразу же

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru сказал врачу про меня, и меня снова вызвали на допрос, уже в присутствии Гантмана. Вначале разговор шел по-русски, потом мы с паном доктором перешли на польский, потому что Гантман плохо говорил по-русски...

Я объяснил Гантману, что не могу открыть свое убежище, потому что боюсь поставить под удар скрывавших меня людей. Дуров доверял Гантману, к тому же он был единственный врач, и я тоже ему доверился. Договорились, что я открою место своего убежища Гантману при условии, что тот не раскроет этой тайны ни одному человеку, включая Дурова. Гантман убедил его, что причина, по которой я не могу открыть места моего пребывания, сугубо личная, и сам Гантман предлагает себя в качестве гаранта невиновности. Вторым поручителем выступил Эфраим Цвик. Дуров сказал, что если я их обманул, то вместе со мной будут расстреляны оба поручителя. Дуров предположил, что я скрывался у любовницы. Такая версия ему была более понятна. Расстрел временно отменили.

Допрос еще не кончился, как появились два партизана из еврейского отряда, тоже из Эмска. Их прислал начальник штаба еврейского отряда, чтобы они свидетельствовали обо мне – что я спасал красноармейцев и евреев во время службы на немцев. Вести в лесах, несмотря на кажущееся безлюдье, распространялись довольно быстро...

В конце концов общими усилиями удалось убедить Дурова в моей невиновности. Рапорт о моем приговоре был уже отправлен генералу Платону, главе русского партизанского движения в Западной Белоруссии, теперь вдогонку послали еще одно сообщение – с просьбой отменить смертный приговор в связи с наличием свидетелей невиновности. Меня приняли в отряд.

В общей сложности я провел у партизан десять месяцев, с декабря 1943 года до освобождения Белоруссии Красной Армией в августе 1944 года. Теперь, когда прошло столько лет, я могу сказать, что для меня быть партизаном было хуже, чем работать в жандармерии. Работая у немцев, я знал, что у меня есть задача – помогать людям, спасти тех, кого могу спасти. В лесу у партизан было значительно сложнее. Жизнь отряда была очень жестокой. Когда я попал в отряд, в нем были русские, украинцы, белорусы и несколько евреев. Поляков в тот момент в отряде уже не было. Часть их убежала, оставшиеся расстреляны русскими. Я узнал об этом позже.

Партизан того времени – нечто среднее между героем и разбойником. Чтобы выжить, мы должны были добыть пропитание, а добыть его можно было только у местных крестьян. Их грабили немцы, их грабили и партизаны. Крестьяне никогда не отдавали ничего добровольно, приходилось отнимать. Иногда мы брали последнюю корову или лошадь. Но бывало и так, что уведенную лошадь тут же меняли на водку. Водка была самым ценным продуктом в то время. Не хлеб. Эти люди не могли жить без водки.

Когда проводили такой рейд, я обычно был среди часовых по охране деревни, остальные ходили и забирали все, что находили. Но совесть моя все равно была нечиста.

В боевых операциях я участвовал только однажды – меня взяли на проведение диверсионной операции: взорвать мост и пустить под откос немецкий состав. Честно говоря, я избегал кровопролития, старался быть полезным иным образом: участвовал в охране лагеря, выполнял всякие работы по лагерю – их было немало.

Меня очень удручало положение женщин в отряде. Их было гораздо меньше, чем мужчин, и я видел, как они страдали. Женщинам и так было очень тяжело в условиях лесной жизни, в землянках, в лишениях, и к этому добавлялись сексуальные притязания мужчин, которым они не могли противиться. Это было непрерывное насилие. Мне было очень жалко женщин. Но я не мог не видеть, что большинство их, уступая насилию, желали хоть что-то получить за это. У меня были очень старомодные взгляды на отношения между мужчинами и женщинами, и душа моя не могла принять того, с чем я постоянно сталкивался. Мысль о том, что и Марыся, если бы она выжила и находилась здесь, должна была бы подчиниться этому обычаю, меня очень удручала. Наверное, именно тогда я стал думать о монашестве. Я перестал смотреть на женщин как мужчину, они становились для меня не сексуальными объектами, а только страдающими существами. Они это чувствовали и всегда с благодарностью относились ко мне.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
В конце войны русские стали раздавать ордена и медали. Меня тоже наградили медалью, я ее долго хранил. На ней был профиль Сталина.

В августе 44-го года русские освободили Белоруссию. Мы все очень радовались приходу Красной Армии. Большая часть отряда влилась в армию. Но я к этому времени уже принял решение уйти в монастырь. Для этого я должен был добраться до Польши. Мне было ясно, что Восточная Польша останется у русских. Варшава в это время еще была оккупирована немцами. Варшавские жители подняли восстание, но Красная Армия два месяца простояла на другом берегу Вислы и не пришла на помощь.

Пока я размышлял, как мне добраться до дома, разыскать родителей – шансов, что они выжили, было мало, – до меня добралось НКВД, и меня вернули в Эмск для выполнения особого задания. Мне совершенно не хотелось работать на НКВД, но у меня никто не спрашивал, чего я хочу.

В Эмске было почти пусто: все знакомые мне люди покинули город, все, кто сотрудничал с немцами, исчезли. Сожжено было много домов, и крепость стояла полуразрушенной. И пустой. Мне выдали советскую форму и выделили комнату в том самом доме, где когда-то располагалось гестапо. Здесь я должен был писать отчеты, касающиеся людей, сотрудничавших с немцами. К моему счастью, об отсутствующих. Мои отчеты касались главным образом немецких операций против евреев – я восстановил список всех погибших при мне еврейских деревень и хуторов. Мои начальники гораздо больше интересовались антисоветскими настроениями среди местного населения, но в этом я ничем им не помог.

Вернулись в Эмск и некоторые выжившие евреи. Они встречали меня как героя, но отношения у меня с ними не складывались: для тех, с кем я сблизился в партизанских отрядах, мое христианство было непонятно. Именно в это время я понял, что для моего прошлого еврейского окружения мое христианство неприемлемо. Впрочем, и до сих пор есть много евреев, которые считают мой выбор изменой еврейству. Более всех пытался меня переубедить, отвратить от христианства тот самый Эфраим Цвик, который вместе с доктором Гантманом когда-то поручился своей жизнью в том, что я не предатель. Позднее, когда я уже был в монастыре, он приехал туда, пытаясь спасти из христианских лап. В общем, в тот момент самыми близкими людьми оказались мои спасительницы-монахини. Они поддерживали меня.

Довольно быстро я стал понимать, что НКВД с миром меня не отпустит. Я искал способ уйти, и такой случай мне представился, когда местный начальник уехал на два дня в район, а его заместитель, видевший во мне опасного конкурента по службе, дал мне разрешение уехать в распоряжение майора секретной службы городка Барановичи, который был лучше лишь тем, что находился ближе к границе Польши. Майор принял меня, рассмотрел мои документы, увидел, что я еврей, и отказался брать меня к себе. Это было как раз то, о чем я мечтал, я попросил у него разрешение ехать в Вильно, и он выписал мне пропуск. Единственное радостное событие в Вильно – встреча с Болеславом. Немцы его не тронули, и все обитатели его фермы дожили до освобождения. Он встретил меня как брата, снова предложил остаться у него.

Вильно, как и Эмск, был полуразрушен и пуст. Многие польские жители бежали в Польшу, немецкие прислужники ушли с немцами, 600 тысяч литовских евреев – расстреляны. Эти послевоенные картины только укрепляли меня в моем решении – я шел в монастырь. Настоятель Кармелитского монастыря в Вильно отказал мне.

В марте 1945 года, первым же поездом, который вез поляков на родину, я вернулся в Польшу. В поезде я встретил Исаака Гантмана с женой – они тоже ехали в Польшу. Ему я рассказал, что еду поступать в монастырь.

– Ты отказываешься от большого богатства жизни, – сказал он мне, и я не смог ему объяснить, что из всех богатств я выбрал ценнейшее.

В Кракове я пришел к настоятелю Кармелитского монастыря. Он принял меня доброжелательно, попросил рассказать свою историю. Я говорил долго, почти три часа. Он внимательно слушал, не перебивая. Когда я закончил свой рассказ, он спросил меня, как называлась та статья о Лурде, которая заставила меня обратиться. Я назвал журнал и фамилию автора. Это была статья, написанная самим настоятелем за несколько лет до войны.

В тот год была только одна вакансия для поступающих в монастырь послушников.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Претендентов было двое – я и один молодой актер из местного театра. Настоятель выбрал меня, сказавши – ты еврей, тебе будет гораздо труднее найти свое место в церкви. Он оказался прав – вторым претендентом на единственное место был Кароль Войтыла. Он определенно нашел свое место в церкви.

11  
1970 г.

Из дневника Хильды

То, что произошло минувшей ночью, просто в голове не уместится. И как раз в то время, когда Даниэль уехал! Было совершено нападение на нашу общину, настоящий погром. Ужас. Конечно, это давно готовилось. Я просто дура, что не обратила внимания, когда в прошлом месяце сестра Лидия, которая ночью молилась в храме, была напугана какими-то чужими людьми – они разговаривали возле храма. Когда она вышла и спросила, что им нужно, они сразу же исчезли. В темноте она их не разглядела, только заметила, что их трое. Лиц она не запомнила. Правда, ей показалось, что один из них был похож на того бомжа-серба, которого я отвозила в больницу.

Я не придавала этому значения, даже не сказала ничего Даниэлю. Ужасная ошибка! Сегодня ночью на нас напали. Сторож Юсуф, дальний родственник Мусы, человек немолодой и глуховатый, годится скорее не в сторожа, а в обитатели нашего дома престарелых. Но он хочет работать и работает у нас с самого начала, уже три года практически, за жилье и стол. Я покупаю ему все, что ему бывает нужно, но ему почти ничего и не нужно. Он спал в пристройке, ничего не слышал, пока женщины в корпусе не подняли крик. Там, на первом этаже, занялся пожар. Дежурила в приюте для престарелых в эту ночь медсестра Берта, и она тоже спала на втором этаже! Бандиты после поджога вломились в церковь, разбили и растоптали все, что могли, и убежали. Юсуф приставил лестницу к окну второго этажа, и все ходячие спустились. По нижней дороге ехал случайный водитель, он увидел огонь и сразу же прибежал. Он оказался бывшим военным, из знаменитого подразделения «Гивати». Первое, что он сделал, – выволок Розину, которая давно уже не встает, наружу, а потом и бедную Анс Брессельс, успевшую получить тяжелый ожог. Этот военный, Аминадав его зовут, сразу отвез ее в больницу. Сегодня утром он приехал и помогал нам все приводить в порядок. Я рассказала ему историю Анс: она, голландка, спасла еврейского мальчика во время оккупации, а потом вместе с ним иммигрировала в Израиль. Родители мальчика были религиозные евреи, они погибли в концлагере, и Анс считала своим долгом воспитать его в еврейской вере. Трагедия состоит в том, что, приехав в Израиль, мальчик стал военным и погиб во время Шестидневной войны. Она вскоре после его смерти уехала в Голландию, но не нашла там своего места и вернулась в Израиль. Вот такие люди живут в нашем приюте.

Да, вот интересная деталь: Анс рассказала, что депортация евреев в Голландии началась на следующий день после того, как голландский епископ публично выразил свое отрицательное отношение к нацистской политике и в церквях было зачитано епископское послание в защиту евреев. Немецкий комиссар ответил на это послание срочной депортацией 30 000 евреев, в первую очередь евреев-католиков. Анс считает, что напрасно обвиняют Пия XII в том, что церковь не встала на защиту евреев, – Пий XII лучше других понимал, что активное осуждение нацистов может привести только к ухудшению положения евреев. Как это случилось в Голландии. Вот такая точка зрения!

Аминадав, который так помог нам в тот день, – очень влиятельный в городе человек, и он обещал, что расследование будет проведено тщательное и бандитов поймают. Он сам осмотрел последствия погрома при свете дня и вынес заключение, что это шпана, но, скорее всего, нанятая. Оказалось, что они стащили только деньги из свечного ящика, а тех, что лежали у меня в столе, просто не нашли. Или не успели. К счастью, огонь не успел дойти до моего стола. Трапезная же практически уничтожена – погибла вся мебель, посуда, припасы. Сегодня я целый день пристраивала наших старушек по прихожанам. Люди все прекрасные – в результате две женщины поссорились, у кого будет жить Розина. Обе очень хотели ее взять.

Заезжала в больницу к Анс – врачи говорят, что она в тяжелом состоянии. Меня не хотели даже пускать, после долгих уговоров пустили. Вид ее плох. Я не уверена, что она меня узнала. Хоть бы скорее Даниэль приехал. Я даже позвонить ему не

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
могу, он поехал на Синай с группой туристов.

Зато вот какая приятная неожиданность – к нам поднялись друзья, спросили, в какой помощи мы нуждаемся, и прислали восемь молодых людей, которые за день сделали больше, чем все наши прихожане за месяц. Я надеюсь, что скоро приедет группа студентов из Голландии и Германии и общими силами все будет восстановлено.

12  
1970 г., Хайфа.

Письмо Хильды матери

Дорогая мама!

Я тебе довольно долго не писала, потому что у нас произошло большое несчастье – бандиты учинили разгром храма, в пожаре одна женщина получила ожоги и от них скончалась. Такое для всех нас горе! Даниэль просто на себя не похож – таким я его никогда не видела. Погибло почти все наше имущество, которое мы три года собирали, сгорел дом, построенный для престарелых. Две недели мы работали не покладая рук, и теперь ясно, что дом престарелых здесь восстанавливать нельзя, потому что опасно держать пожилых и немощных людей в таком незащищенном месте. У нас на руках двенадцать человек, пока что они размещены по прихожанам, я пытаюсь устроить их в социальные учреждения, но беда в том, что все они либо не имеют гражданства, либо вообще без документов, – словом, они не подходят под те категории, которым что-то полагается. Церковь мы уже почти восстановили с помощью соседей-друзов, прихожан и отчасти наемных рабочих, но главная проблема была с домом престарелых. И когда я уже совсем отчаялась, произошло чудо. Недалеко от Хайфы, в маленьком городке, живут немцы-переселенцы еще с конца прошлого века. Они довольно богатые, потому что у них химические заводы. И когда один из них, Пауль Экке, узнал о пожаре, он разыскал Даниэля и предложил купить ему дом в Хайфе, чтобы он там организовал общинный дом!

Я все это время была в очень угнетенном состоянии, пока наконец Даниэль не рассказал про предложение Пауля. Был он такой веселый, утешал меня и говорил, что кроме Библии и Нового Завета есть еще одна книга, которую тоже надо уметь читать, – это книга жизни каждого отдельного человека, которая состоит из вопросов и ответов. Обычно ответы не приходят прежде вопросов. Но когда вопрос задан правильно, обычно ответ получается незамедлительно. Только нужно некоторое искусство, чтобы уметь прочитать. Был задан вопрос: что нам делать? И на этот вопрос пришел ответ в виде Пауля, который предложил купить дом. И самое главное заключается в том, что если твое дело не получает никакой внешней поддержки, возможно, это начинание пустое. А когда оно не пустое, то приходит помощь. Вот как оказалось просто. То есть простого, конечно, ничего нет. Пока еще не закончен ремонт храма, мы не имеем возможности делать все то, что всегда делали, – забросили наших стариков, наших бомжей, все наши детские занятия тоже требуют помещения. Так что пока положение странное, и, по сути дела, оно касается самого главного, чем живет община, а именно богослужений. Опять служить негде.

Даниэль говорит: «Посмотри, Хильда, Иерусалимский Храм разрушен почти две тысячи лет назад, и храмового служения больше нет, но литургическая жизнь так перестроилась, что одна ее часть перешла в семейную форму, другая – в синагогу, и сам иудаизм устоял. Потому что так хотел Господь. Будь спокойна, Хильда, – мы делаем то, что можем, а наверху решат без нас, нужно наше дело здесь, на земле, или нет...»

Тем временем Пауль приискал дом – небольшой, но с чудесным садом. И тогда я перестану снимать себе жилье и буду жить в этом общинном доме. Но там тоже надо делать ремонт. Самое же главное, конечно, довольно большой сад, и в нем можно построить домик для наших стариков – я уже продумала. Два этажа, наверху спальня маленькая, но с балконом, а внизу все службы и зал. У Мусы есть приятель-строитель, у него несколько строительных бригад, они и построят.

Я не могу сказать, что мне здесь просто жить. Очень непросто, и по многим причинам. Но какое же счастье, что я здесь, на этом месте, где сейчас. Помнишь, я хотела стать художником, работать в театре или что-то в этом роде? Мне сейчас даже странно об этом вспоминать: неужели это была я? А помнишь, как ты меня отговаривала от всякого художества, советовала изучить что-нибудь полезное –



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru бухгалтерское дело или окончить курсы секретарей? Спасибо тебе, все, что ты говорила, оказалось правильно, хотя я и пошла в другом направлении. Что там у братьев? Аксель написал мне замечательное письмо. Знаешь ли ты, что у него появилась подруга, от которой он в большом восторге? Или я оказалась сплетницей? Пиши, пожалуйста.

Целую.

Хильда.

13

1972 г., Хайфа.

Хильда – матери

Дорогая мама!

Из твоих писем видно, как упорядочена и однообразна ваша жизнь, все следует одно за другим, по заведенному порядку. Здесь, в Израиле, по крайней мере у нас в приходе, все время какие-то события необыкновенные, иногда очень забавные или поучительные. В прошлую субботу на утреннюю службу забрела монахиня откуда-то с Балкан, я так и не поняла, откуда именно. На ней была надета какая-то коричневая хламидка до полу, на груди крест как у епископа, а на голове колпак. За плечами болтался мешок. Когда служба началась, она достала четки и встала на колени, так до конца службы и простояла со своими четками. После службы мы ее пригласили к общему столу. Было человек двадцать. Даниэль благословил стол, все сели, и тут она заговорила на дикой и страшно забавной смеси языков – сербского, польского, французского и испанского. Сначала Даниэль переводил – он как-то извлекал из этой бессвязной речи смысл. Она приехала из деревни Гарабандал, где им явилась Божья Матерь с архангелом Михаилом, а над ними в небе сиял большой глаз. Божий. Тут Даниэль перебил ее и сказал, что люди голодны, прежде пусть поедят, а потом она все по порядку расскажет. Она рассердилась, замахала на него руками, а он с ней строго, как с ребенком: «Садись и ешь! Наш Спаситель тоже сначала людей кормил, а потом уж учил».

Я сразу стала вспоминать, как там со Спасителем было – кажется, все-таки не так, а наоборот. Но все стали есть, и она тоже ела. На столе была та еда, которую женщины из дому принесли. Поели, попили, тогда Даниэль говорит – расскажи, сестра, что ты хотела... Только быстро не говори, мне переводить надо.

История такая: в их деревне лет десять назад было явление Божьей Матери – четырьмя девочкам. Являлась Дева Мария на протяжении нескольких месяцев и передавала через девочек послания всем людям, всего три. В первом был призыв к покаянию, во втором – что чаша терпения исполнена, особенно грешны пастыри, и Она обещала наказания за отсутствие покаяния, а в третьем тоже что-то важное, про Россию, точно я не запомнила. Также Дева сообщила девочкам десять тайн. Они в виде белых листов из небывалого материала, на которых пока ничего не видно, но со временем буквы проявятся, можно будет эти тайны прочитать. Затем монахиня вынула из своего мешка коричневые одежки в точности как та, что на ней, и говорит, что всякий, кто умрет облаченным в эту самую хламидку, никогда не узнает огня вечного – это Дева Мария обещала. И предлагает купить за небольшие деньги.

Тут Даниэль перестал переводить, стал ей говорить что-то по-польски быстро-быстро. Она ему отвечала на каком-то славянском языке, и вроде бы как они ссорились. Кончилось тем, что она с криком: «Солнце пляшет! Солнце пляшет!» – удалилась. Мне показалось, что он ее просто выгнал. Народ был смущен – никогда прежде не видели Даниэля в таком раздражении. Он сидел молча, глядя в стол. Женщины собрали посуду, вымыли все. Он все молчит. Разошлись, так и не получив никаких разъяснений. Остался только брат Илья, шуршал, как всегда, со своим магнитофоном, да двое студентов из Мексики, они попросились переночевать. Я сварила Даниэлю кофе. Он отпил немного и тихонько так говорит:

– Неприятная история. Я должен был разъяснить свою точку зрения. Не смог. Признаться, Хильда, это всегда очень трудно решить – что можно говорить, а что надо удержать в себе. В молодые годы я считал, что все люди должны знать всё, и я как пастырь обязан делиться всеми знаниями. С годами понял, что это не так.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) Человек может знать только то, что способен вместить. Я полжизни об этом думаю, и особенно здесь, в Израиле, но мало с кем могу поделиться. Разве что с тобой. Ты понимаешь, страшно нарушить устойчивость в человеке. Когда человек привык думать определенным образом, то даже маленькое отступление от привычного хода мыслей может оказаться болезненным. Не все готовы принимать новые идеи, уточнять свое знание, дополнять. Вообще – меняться. Я, должен признаться, сам меняюсь. И сегодняшние мои взгляды на многие вещи расходятся с общепринятыми в католическом мире. И я не один такой.

Видишь ли, рождение Того, Кто в христианском мире известен как Иисус Христос, произошло здесь, в двухстах километрах, в городе Бет-Лехем. Родители Его происходили из деревни, которая всего в двух днях пути отсюда, в Назарете. Мы почитаем Его как нашего Спасителя, Учителя и Сына Божия. И почитаем Его святых родителей. Однако соединение двух слов «Бог» и «родить», из которого произведено слово «Богородица», столь распространенный в Восточном христианстве титул Мириам, матери Иисуса, совершенно немыслимо в еврейском языке, в еврейском сознании. «Иоледет Эль», «родившая Бога» – у благочестивого еврея от негодования отвалится уши! А ведь половина христианского мира чтит Мириам именно как Богородицу. Первые христиане сочли бы это слово святотатством. Культ Богоматери в христианстве очень поздний, только в VI веке он был введен. Бог, Творец всего сущего, Создатель мира и всего в нем живущего, не был рожден женщиной. Да и само понятие «Сын Человеческий» возникло гораздо раньше Рождества Христова, и смысл имело совсем иной.

Легенда о рождении Иисуса от Марии и Святого Духа – отголосок эллинской мифологии. А под этим – почва мощного язычества, мира великой оргии, мира поклонения силам плодородия, матери-земли. В этом народном сознании присутствуют невидимо женские богини древности... Культ земли, плодородия, изобилия. Всякий раз, когда я с этим сталкиваюсь, я прихожу в отчаяние...

Все это проникает в христианство – просто кошмар! К тому же постоянно путают два догмата – поздний, о непорочном зачатии Девы Марии ее родителями Иоакимом и Анной, и догмат о бессеменном зачатии Иисуса.

Я так люблю Благовещение. Это очень красивая картинка – сидит Мириам с лилией, возле нее архангел Гавриил, и белый голубь над головой Девы. Сколько же невинных душ уверено, что Мириам понесла от этой птички! Для меня это то же самое, что золотой дождь или могучий орел... Божественная природа Иисуса есть тайна, и момент принятия Им этой природы – тоже тайна. Откуда оно взялось, это таинственное зачатие, что мы о нем знаем?

Есть древний мидраш, Ваикра Раба, который записан был в III веке, но устное предание всегда возникает раньше письменного. Я думаю, что этот мидраш записан уже после написания Евангелий, когда эта тема всех стала занимать. Так вот, там есть слова, которые меня тронули до глубины души, и они мне показались более истинными, чем все догматы церкви. Слова такие: для зачатия необходимы три компонента – мужчина, женщина и Святой Дух. Слово «Руах» там стоит. Иначе как Святой Дух его нельзя перевести. Таким образом, Он участвует в каждом зачатии, и, более того, Он продолжает опекать женщину и ее плод после зачатия. Животные ходят на четырех лапах, и плод животного держится прочнее, чем зародыш в чреве женщины, которая ходит на двух ногах, и младенцу угрожает выкидыш. Бог вынужден придерживать каждое дитя до самого момента рождения. И чтобы младенцу не было страшно в темноте материнской утробы, Бог помещает там свечечку. И говорит это о том, что евреи и до рождения самой Девы Марии и Иисуса знали, что каждая женщина зачинает с участием Бога. И еще скажу тебе: у евреев все великие люди рождались с участием Бога – несомненное вмешательство Бога имело место при рождении Исаака от Авраама и Сарры, которые были уже слишком стары для деторождения, и приход к ним ангелов об этом свидетельствует. Так говорит старинная еврейская рукопись – простодушно и наивно, может быть. Но я чувствую за этими словами правду. Может быть, поэтическую, но правду.

Что думали евангелисты о бессеменном зачатии? Да ничего особенного не думали! То есть ничего принципиально отличного от мнений, существовавших в еврейской традиции, вроде этого мидраша, что я тебе пересказал. У Матфея слово «обрученный» перед именем «Иосиф» вставлено позже, когда эту проблему стали обсуждать. Это поздняя вставка, когда вдруг всем стала интересна брачная тайна Марии и Иосифа – а как это было на самом деле? У Марка нет ни слова об этом, у Иоанна тоже нет. Есть только у Луки. Апостол Павел тоже никогда не говорит о

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru непорочном зачатии – он говорит: «от семени Давида» и стал «Сыном Божиим в силу Дара Святого Духа». У Павла вообще нет Мириам, он о ней не упоминает! У него есть Воскресение. Смерть и Воскресение!

Знаешь, Хильда, о чем это говорит? В искаженном сознании сексуальная жизнь непременно связана с грехом! А у евреев зачатие не связано с грехом! Грех связан с дурным поведением людей. А зачатие – благословение Божье. И все эти легенды о непорочном зачатии родились в порочном сознании, которое видит в брачном союзе мужчины и женщины грех. Евреи никогда так не относились к половой жизни. Она освящена браком, и повеление плодиться и размножаться подтверждает это. Лично я не могу принять догмат о непорочном зачатии Девы Марии так, как он преподносится сегодняшней церковью. Я очень люблю Мириам – вне зависимости от того, каково было ее зачатие. Она была святая женщина, и страдающая женщина, но не надо делать из нее родительницу мира. Она не Изида и не Астарта, она не Кали и никакая из других богинь плодородия, которым поклонялся Древний мир. Пусть читают Розарию, молятся ей как Непорочной Деве, называют ее Богородицей, Царицей Мира, если им так нравится. Мириам такая кроткая, что она все это вытерпит. Она даже вытерпит все эти санктуарии, набитые золотыми коронами, колечками, крестиками и расшитыми тряпочками, которые ей преподносят в дар от простоты сердца.

Я, наверное, не должен был прогонять эту монахиню, Хильда. Но когда она предложила купить коричневое платье, которое спасает от адского огня, я не вытерпел. Если она придет сюда еще раз, попросит приюта, ты еепусти. Но только в мое отсутствие.

Может быть, теперь ты понимаешь, почему я не сказал перед всеми того, что сказал тебе. Я не хочу посягать на сложившиеся в глубине души каждого из моих прихожан представления. Я не хочу никого увлекать за собой. Пусть каждый идет за Богом тем путем, который ему открывается. А вместе мы собираемся, чтобы учиться любви, пребывать в общей молитве перед Господом, а не для богословских дискуссий. Но тебе, Хильда, я все это высказал, потому что, как мне кажется, ты это хотела знать.

Мам! Я никогда не чувствовала себя более счастливой, чем в эту минуту. Когда я с Даниэлем, у меня все время такое чувство, что ненужное, лишнее, необязательное просто отламывается от меня кусками, и чем больше ненужного отваливается, тем легче мне дышать.

Потом мы закрывали храм. Поторопили брата Илью, который все крутил свой магнитофон. Он постоянно записывает все, что говорит Даниэль. Считает, что все его проповеди надо сохранять. Даниэль смеется: Илья заботится о вечном, чтобы все наши глупости увековечить.

Я понимаю, мамочка, что на тебя это не может произвести такое сильное впечатление, как на меня. Я теперь должна долго думать. Мне хочется ему в чем-то возразить. Я только не знаю, как. То, что он говорил, было убедительно, даже вдохновенно. Но разве так может быть, чтобы миллионы людей столько веков заблуждались? Если быть до конца логичным, то окажется, что люди гораздо больше дорожат своими заблуждениями, чем правдой. И, кроме того, Даниэль как будто предполагает, что сама правда – сложное сооружение и она существует в уменьшенном, упрощенном варианте для одних, и в очень сложном, гораздо более богатом виде, для других. Как ты думаешь? Прошу тебя, ответь мне поскорей. Я, может, даже позвоню тебе по телефону. Правда, разговоры с Германией очень дороги, а у нас в этом месяце опять проблемы с деньгами. В другой раз напишу, отчего они возникли.

Целую.

Хильда.

14  
1973 г., Хайфа.

Хильда – матери

Дорогая мама!

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Я так радовалась весь прошлый год, потому что дела шли очень успешно. Нам удалось все восстановить, даже построить небольшой домик на территории нового общинного дома для нашего приюта, нашли деньги на медсестру, которая работает постоянно, и врач приезжал еженедельно, и детская программа стала хорошо работать, и приходили пожертвования из Германии, так что мы поставили котел, заменили мотор на более мощный... Но вдруг пришло письмо из муниципалитета, что мы незаконно занимаем землю под храмом Илии у Источника, она принадлежит городу. Это после того, как мы его восстановили, и даже дважды. Второй раз после пожара. Но раньше – то здесь был храм, значит, либо прежний храм был построен незаконно, либо они лукавят. Даниэль сразу пошел на прием, и ему сказали, что могут оставить нам участок только на правах аренды. Сумма огромная, совершенно для нас невозможная. Даниэль спокоен, хотя было сказано, что, если в течение месяца мы не внесем арендной платы, подгонят бульдозер и все снесут. Я две ночи плакала, а Даниэль – хоть бы что.

А вчера позвал меня и говорит: хочешь, я прочитаю тебе одну еврейскую притчу? И прочитал про какого-то реба Зусю, которому надо было вернуть долг к утру, а денег не было. Ученики заволновались, откуда добыть денег, а ребе был спокоен. Он взял лист бумаги и написал двадцать пять способов, которыми могут прийти деньги. И на отдельной записке еще двадцать шестой. Наутро деньги откуда-то пришли. Тогда ученики прочитали весь список из двадцати пяти возможных способов, но в нем не оказалось того случая, благодаря которому пришли деньги. Тогда реб Зуся открыл отдельную бумажку – там написано: Бог не нуждается в советах реба Зуси.

Я, конечно, посмеялась, но за два дня до назначенного срока выплаты аренды пришла к нам группа американских протестантов, которые проникнуты большой симпатией к Израилю, и их пастор выписал чек на пять тысяч долларов. Это годовая аренда!

А я уже в душе прощалась с нашим молодым садом, горевала о тех людях, ответственность за которых мы взяли на себя и теперь вынуждены их просто выгнать... Вот такая история произошла. Целую тебя, мамочка. Пиши про всех. А то мне ни Аксель, ни Микаэль не пишут ни слова.

Хильда.

15  
1972 г., Хайфа.

Прихожанка храма Илии у Источника Кася Коген – мужу Эйтану в США

Дорогой Эйтан!

Месяц собираюсь тебе написать о большой нашей неприятности. Все это время я была в такой растерянности, что не могла писать. Глупость ужасная заключалась в том, что мы с тобой вместе не поехали. Надо было ехать вместе, как-нибудь устроились бы – ну не заработал бы ты на квартиру, жили бы и дальше в нашей маленькой. А теперь вот Дина беременна. Я в ужасе. Пятнадцать лет. Дура дурой. И уже пятый месяц. А я только что заметила. И даже, честно скажу, не я, а наша хозяйка Шифра. Она мне намекнула, я сразу даже не поняла. Вечером только сообразила. Все правда. От кого забеременела, Дина не говорит. То ли делает вид, что ничего не случилось, то ли действительно не понимает, что жизнь себе поломала. При этом я не могу даже сказать, что она как-то особо плохо себя вела – девочка как девочка, ходит в школу, нигде допоздна не задерживается, приходит домой вовремя. Где я недосмотрела? Я весь месяц была в полной панике. Тебя нет. Подругам говорить не хочу, особенно Мелбе. Она и так всегда мне замечания делает, что я плохо дочку воспитываю.

На прошлой неделе отправилась к Даниэлю. Он принял меня, я ему все, что знала, рассказала. Что, говорю, делать? Я даже боюсь мужу об этом сказать. А Даниэль мне говорит: он же не такой дурак, как ты, расстроится на пять минут, а потом будет радоваться, что человек родится. Вы такие молодые, будет внук. Как я тебе завидую! Всю жизнь, когда смотрю на младенцев, такую зависть ощущаю к тем, кто их на свет произвел. Ручки, пальчики, ушки маленькие. Радуйся, дура! Скажи Хильде, пусть она приданое соберет для младенца. У нее там обменный фонд, мамыши

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
детскими вещами меняются. Кроватки, коляски. А у Дины настроение хорошее?

Я говорю: она какая-то тупая – как будто ничего и не произошло. И не говорит, от кого беременна.

– Да она стесняется, – он говорит. – Наверное, такой же маленький мальчик, как она сама. Ты ее из школы заведи, а то дети будут ее обижать, а этого нам не надо. Родит, положит тебе на колени и пойдет учиться дальше. Она умная девочка. Не надо, чтобы она видела в этом несчастье. Это счастье. А что, ты хочешь по расписанию? Сколько я знаю женщин, которые родить не могут, это действительно беда. Поздравляю тебя, Кася. А Дина пусть на мессу приходит. Ее здесь все любят, не обидят. Уходи, уходи, я сегодня очень занят. Вон видишь, сколько книг мне надо прочитать...

Приехала домой, у Дины в гостях одноклассник – лопухий, маленький, на вид лет двенадцать. Руди Брук. На полголовы ее ниже. Они в одном классе учатся. Ону них самый талантливый, первый ученик. Я пришла, он сразу шмыг к дверям.

– Куда, спрашиваю, убегаешь?

– А я обещал домой к девяти прийти, а сейчас уже половина одиннадцатого, мама будет беспокоиться.

Тут меня смех разобрал. Сквозь слезы.

– Чего же, – я спрашиваю, – ты раньше не ушел, чтобы домой не опоздать?

– Да Дина одна боится. Я тебя ждал.

Мне так хотелось ему пинка под зад дать, а у него такая шейка тоненькая, и Дина смотрит на меня огромными глазами, как дикая кошка. Думаю, Господи, да она его любит, что ли?

Эйтан, дорогой, вот я тебе все и рассказала. Все было бы по-другому, если бы мы с тобой поехали вместе, но от жадности моей так получилось. Мне казалось, что без квартиры нам не прожить, а другого случая заработать может не представиться. А теперь ты приедешь с деньгами, мы купим трехкомнатную квартиру, а она теперь будет для нас мала, и так далее, и тому подобное. Целую тебя, дорогой мой. Я очень скучаю по тебе. Напрасно я с тобой не поехала. Жду тебя. Осталось всего четыре месяца. Ты приедешь, а у нас будет уже внук. Мне почему-то кажется, что мальчик. А ведь мог быть и наш.

Дина тебе писать не хочет. Стыдится, боится. Она тебя уважает гораздо больше, чем меня, и не хочет свое пузо тебе показывать. Ой, знаешь, что мне пришло в голову? Ведь можно было бы здесь родить и переехать в другой город, и всем объявить, что ребенок мой. И мы бы его усыновили. Но, принимая во внимание, что тебя целый год не было, все знакомые считали бы, что я нагуляла! Какой вариант тебе больше нравится? Оба хуже!

Целую еще раз.

Кася.

16  
1973 г., Хайфа.

Даниэль Штайн – Эммануэлю Леру в Тулузу

Дорогой брат Эммануэль!

Напоминаю о нашем недолгом общении в Тулузе на конференции нашего Ордена в 1969 году. Если мне не изменяет память, Вы говорили, что, вступив в Орден, продолжаете работать хирургом в детской неврологической клинике и оперируете на мозге. У меня в приходе есть женщина, у которой пятнадцатилетняя дочка родила больного ребеночка, с гидроцефалией. Ребенку сейчас полгода, и местные врачи, которые его наблюдают, сказали, что существует такая операция, которая может остановить развитие болезни, но в Израиле эта операция не делается, нет

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru специалистов, а специалисты есть во Франции. Я вспомнил о Вас и решил обратиться с просьбой: не могли бы Вы узнать, где именно во Франции производится такая операция, и, может, смогли бы организовать консультацию для младенца.

Девочка, мать этого несчастного ребенка, и сама еще ребенок, и она очень травмирована. Буду благодарен, если Вы мне дадите по этому поводу информацию. Мне также хотелось бы знать, сколько может стоить такая операция. Семья больного мальчика очень небогата, так что нам надо будет позаботиться о том, чтобы найти необходимые для операции деньги.

С любовью,

бр. Д. Штайн.

17  
1973 г., Тулуза.

Эммануэль Леру – Даниэлю Штайну

Дорогой брат!

Ваше письмо попало в нужные руки. Дело в том, что именно в нашей клинике разработана эта методика. Операция довольно сложная и производится над совсем маленькими детьми. Результаты хорошие. Но многое зависит от стадии. Есть такие случаи, когда мы уже ничего не можем сделать. Пришлите, пожалуйста, результаты обследования ребенка, и тогда мы сможем решить, целесообразен ли его приезд. Финансовые вопросы мы обсудим позже, после того, как будет ясно, возможно ли хирургическое вмешательство. Наша клиника существует с привлечением благотворительных средств, и это может значительно снизить расходы семьи. Здесь, в Тулузе, мы по крайней мере устроим ее в нашем благотворительном центре или у прихожан, так что на гостинице сэкономим.

С любовью,

бр. Эммануэль.

18  
1972 г., Хайфа.

Доска объявлений в храме Илии у источника

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРИНЕС ДЕНЬГИ НА ОПЕРАЦИЮ ШИМОНУ КОГЕНУ.

МЫ УЖЕ СОБРАЛИ 4865 ДОЛЛАРОВ. НАДО ЕЩЕ 1135! НО УЖЕ МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ РЕБЕНОЧКА ВО ФРАНЦИЮ НА ОПЕРАЦИЮ. ВСЕМ СПАСИБО!

Хильда.  
19  
1973 г., Тулуза.

Кася Коген – Эйтану Когену

Дорогой Эйтан!

Сразу, как мы приехали, Голованчика осмотрели два врача, один педиатр, второй хирург. Смотрели полтора часа. Голованчик не плакал, вел себя хорошо. Потом педиатр сказал, что ребенок интеллектуально вполне хороший, все нарушения, которые наблюдаются, двигательного характера, они от высокого давления жидкости в голове. Назначили еще одно обследование, похвалили все снимки, которые мы привезли, сказали, что врачи израильские не хуже французских.

Дина меня радует и удивляет – помнишь, мы ведь узнали о поездке в марте, а выехали в июле, так вот представь себе, она за это время научилась говорить по-французски. Она все сидела с учебником, а я про себя раздражалась, что только время зря тратит. Вот представь, все понимает и говорит.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Голованчика забрали в отделение, он сначала немного покапризничал, но Дина ему заготовила игрушку, и обошлось без плача, но он немного надулся. Он очень милый и умный малыш. По сравнению с другими детками из отделения, наш очень даже ничего. Профессор на другой день после снимка сказал, что, по его мнению, прогноз хороший. А в соседнем боксе, дорогой мой Эйтан, лежал такой ребеночек, что просто вся душа переворачивается: головка вдвое против нашего, личико как будто все на подбородке, и большая грыжа на черепе, размером с хорошее яблоко. И тоже мама сидит, несчастная... Горе, конечно, такое горе.

Но настроение у Дины явно лучше – наш-то здесь из самых здоровых деток.

Дина познакомилась с несколькими мамами – представь, психологические занятия с ними проводят. Я тоже потом похожу, но пока мне больше хочется все же город посмотреть.

Поселили нас в небольшой комнате в гостевом домике при монастыре. Здесь большая община, люди очень теплые, я совсем от французов не ожидала такой сердечности и доброжелательности. Они мне всегда казались высокомерными и заносчивыми. Соседи наши – девушка Аурора из Бразилии с тем самым очень тяжелым ребенком, которого я тебе описала. Она приехала с братом-близнецом, по имени Стефан. Муж Ауроры сбежал при виде больного ребеночка. Зато брат принял близко к сердцу. Столько здесь горя, но много и утешения.

Дина ведет себя очень хорошо, она, мне кажется, как-то успокоилась, оживилась. Во всяком случае, нет даже признаков той депрессии, в которой она все время пребывала.

Операцию сделают очень скоро, в начале следующей недели. Профессор сказал, что не хочет загадывать, но думает через две недели отправить нас домой. Надеется, что операция остановит процесс.

Когда сделают операцию, я тебе сразу же позвоню. Хотя живем мы бесплатно, но все равно уходит уйма денег – еда довольно дорогая, и Дине очень хотелось босоножки, и я ей купила. В воскресенье ходили на мессу. Там были две польки, очень приятные. Мы как-то сразу с ними подружились. Служил брат Эммануэль, который и устроил эту поездку. Он после службы сам к нам подошел, спросил, не нуждаемся ли мы в чем.

Я хотела тебе сказать, милый Эйтан, что я всегда немного завидовала евреям, что у них такое дружное сообщество, такая крепкая семейная поддержка – если не считать, конечно, твоей семьи, – но в этот раз я почувствовала, что в христианстве тоже есть эта семейственность, и когда мы все вместе – братья и сестры. Особенно я это остро ощутила, когда стояла перед причастием, и все люди, что были в этой очереди, были одного духа и одной семьи. Как это прекрасно! Целую тебя, надеюсь – боюсь даже лишнее слово сказать, – что все будет хорошо.

Твоя Кася.

Дина сказала, что напишет тебе отдельное письмо.

20  
1976 г., Рио-де-Жанейро.

Дина – Даниэлю Штайну

Дорогой брат Даниэль!

Мама, наверное, тебе рассказала, что гражданский брак мы со Стефаном оформили еще во Франции, а теперь Стефан настаивает, чтобы мы обвенчались. Он говорит, что надо исправлять ошибки молодости и второго ребенка мы должны рожать по всем правилам, то есть обвенчавшись. А если уж нас будут венчать, то кто, как не ты? Назначай, пожалуйста, когда тебе удобно приехать в Бразилию, начиная с сентября, и мы сразу же вышлем билет тебе и Хильде. Мне бы очень хотелось, чтобы ты не затягивал, иначе невеста не влезет ни в одно платье. Наш второй ребеночек должен родиться в январе. Бразильцы очень славные люди, но брак, не освященный церковью, им подозрителен. К тому же здесь не очень принято рожать перед свадьбой.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Не знаю, говорила ли тебе мама, что семья моего мужа очень богатая, они производят модную обувь, известную во всей Южной Америке. Так вот, родители Стефа хотят устроить огромную свадьбу, предлагают пригласить всех, кого я хочу, из Израиля. Я хочу пригласить Хильду – она так была ко мне добра, когда у меня были самые тяжелые времена. На свадьбу собираются, кроме моих родителей, еще две мои школьные подруги и папин брат с детьми. Папа страшно доволен, потому что это первый случай, чтобы почтенная еврейская семья моего папаши приняла участие в нашем семейном христианском торжестве. Зато второй дядя, Лео, даже и не думает. А вот бабушка – размышляет на эту тему. Может, она еще немного подумает и простит матери ее польское происхождение, а папе – его неразумный брак.

Дорогой брат Даниэль! Я только теперь начала понимать, что устроилась моя жизнь благодаря тебе – ты помирил родителей, когда родился Голованчик и папа хотел уходить из дома, ты отправил нас на операцию в Тулузу, где я познакомилась со Стефаном и Ауророй, вместе с ними пережила смерть маленького Ники, и потом это ужасное осложнение у Голованчика, и как он чудом выжил после этой инфекции, и как после всего этого мы просто уже не могли расстаться, и я получила не только любимую подругу и сестру, но и мужа, самого лучшего на свете. А помнишь, ты приходил ко мне еще до родов, когда я чуть руки на себя не наложила, идиотка, и рассказывал мне, как я буду счастлива, как все будет прекрасно, если я научусь жить по законам, которые всем известны, но которые каждый должен открыть заново, своим сердцем, а иначе эти законы обращаются в пустой звук.

Я не могу сказать, что я сразу это поняла, но постепенно поняла.

Голованчик, слава Богу, в полном порядке. Ему пока еще не исправили косоглазие, но брат Эммануэль говорит, что эту операцию следует делать немного позже. Голованчик физически немного отстает от своих сверстников и по росту, и по ловкости движений, но далеко опережает их в развитии. Не думай, пожалуйста, что я, как всякая мамаша, преувеличиваю успехи своего ребенка, – но ему нет четырех лет, а он свободно читает, помнит все, что прочитал, практически наизусть, и вся семья не чаёт в нем души, особенно Стефан и Аурора.

Я точно знаю, что ничего этого не получилось бы, если бы ты не молился обо мне.

Дорогой брат Даниэль! Бразилия – католическая страна, родители Стефа – верующие люди, но как же их католичество отличается от нашего! Мне кажется, что они отличаются от нас даже больше, чем правоверные евреи от израильских христиан.

Мне ужасно хочется это с тобой обсудить, потому что есть такие вопросы, которые я даже боюсь задать. Приезжай, в конце концов, я тоже твоя духовная дочка, хотя и живу в Бразилии.

Целую тебя.

Дина.

21  
1978 г., Зихрон Иаков.

Письмо Ольги Исааковны Даниэлю Штайну

Глубокоуважаемый отец Даниэль!

К вам обращается неизвестная вам женщина из Одессы, меня зовут Ольга Исааковна Резник. Я живу в Зихрон Иакове пять лет с семьей моего сына Давида – русской невесткой Верой и их детьми. В Израиле все было очень хорошо, но у Давида началось сердечное заболевание, и ему назначили операцию на сердце. Во время операции он умер, и его оживили. Вера очень хорошая жена и очень хорошая мать, и таких отношений между невесткой и свекровью не бывало, как у нас. Бог послал мне Веру, она мне лучше дочери.

Когда Давиду делали операцию, Вера закрыла дверь и молилась. Она так молилась, что я чувствовала это своей головой, как будто дул сильный ветер. Было три часа, потом сказали, что в три часа у него остановилось сердце, и врачи стали его оживлять. Но я думаю, уверена, что это не врачи. Она молилась Иисусу Христу и



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Божьей Матери, до которых мне никогда не было дела. Но в этот день, я знаю, Христос спас моего сына. По Вериной молитве. Я это знаю, и теперь я хочу креститься, потому что я в Него верю, что бы там евреи ни говорили и ни думали. Я просила Веру привести ко мне священника. Вера обещала, но потом отказалась. То есть отказалась не она, а православный священник, к которому она ездит. Он сказал, что евреев не крестит. Тогда я попросила найти мне священника-еврея, я слышала, что такие бывают. Но она сказала мне, что здесь есть вы, священник католический. Мне это совершенно все равно, хотя лучше было бы православного, чтобы как Вера. Но где же его найдешь? Поэтому я прошу вас, глубокоуважаемый отец Даниэль, приехать к нам и крестить меня. Я из дому не выхожу уже два года из-за плохой ноги.

Я вас очень прошу не отказать мне в просьбе, потому что мне много лет, и я так Ему благодарна, что Он это сделал, что ничего другого не имею, кроме креститься.

Давид сердится на меня, говорит, что я сошла с ума. Но сердце мне говорит, что надо это сделать. Давид уезжает на работу в половине восьмого и приезжает не раньше шести, так что приезжайте, пожалуйста, когда вам угодно, но в рабочее время, чтобы ему не знать о «мероприятии». Мне 81 год, я почти слепая и читать никакого Евангелия не могу, но Вера мне читает, там ничего не сказано, что есть разница между католиками и православными. Жду вас. Предупредите заранее, и я что-то вкусное приготовлю.

До свиданья,

Ольга Исааковна Резник.

22

Март, 1989 г., Беркли.

Эва Манукян – Эстер Гантман

Дорогая Эстер!

Говорят, что по статистике у американцев каждые семь лет происходит перемена в жизни – либо работы, либо квартиры, либо брачного партнера. Первые два события у меня случились одновременно – перемена места жительства и потеря работы. Работу я себе ищу – разослала CV в несколько мест, и есть одно, куда я бы очень хотела попасть, это прекрасный заповедник, в котором есть небольшой научный центр и лаборатория почвоведения. Я прежде считала, что нет ничего лучше Бостона и Кейп-Кода, но Калифорния лучше. Уж точно не хуже. Мы сняли чудесный дом с видом на бухту Золотые Ворота. От окна невозможно оторваться. Если работу не получу, буду сидеть и смотреть в окно. Наверное, это тоже неплохо. Гриша, помимо основной работы, получил еще одно предложение – консультировать в какой-то фирме, и он доволен. В материальном отношении все просто блестяще.

Алекс очень счастлив, он уже окончательно решил, что будет поступать в киношколу в Лос-Анджелесе, и даже своих греков забросил. Теперь он не расстается с камерой, снимает какое-то им самим придуманное кино, в котором главные герои собаки и их хозяева. В связи с этим в доме у нас почти постоянно толкутся три собаки и их молодые хозяева – один очень смешной китайский мальчик, а второй умопомрачительно красивый мексиканец. Все они очень милы, но это чисто мужской союз, в котором единственное существо женского пола – собака Джильда. Я уже почти привыкла к этому мужскому пейзажу, хотя не оставляю надежды, что появится какая-нибудь сексапильная девочка и увлечет Алекса. Ему восемнадцать лет, и Гриша в его возрасте уже перепахал половину своих одноклассниц.

Гриша с Аликом по-прежнему очень нежны, и я благодарна тебе, что ты остановила мой психоз. Надо сказать, что и занятия с психотерапевтом мне тоже помогают обрести душевное равновесие. Но если бы эти мальчишковые дружбы завершились и он нашел бы себе – хотела написать «хорошую», а потом поняла, что какую угодно! – девочку, и все мои подозрения развеялись как дурной сон.

Написать письмо гораздо важнее, чем поговорить по телефону. Совсем другой стиль. Я тебе вкратце рассказала, какой я нашла Риту во время последней поездки в Израиль. К ней теперь ходит почти ежедневно ее новая подруга, с которой она познакомилась в больнице. Унылая англичанка Агнесса, медсестра, без капли

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru обаяния, с маленьким ртом и большими зубами. Она вовлекла мать в какую-то христианскую секту, и это вызывает у меня полное изумление. Но Агнесса действует на нее очень хорошо. Они ведут религиозные разговоры, и мне это так дико – я слишком хорошо помню, в какую ярость она приходила, когда я в Варшаве стала ходить в костел. Но Агнесса не католичка, а вроде протестантки, и это моей матери, кажется, подошло. При этом не могу отделаться от внутреннего беспокойства: ты же знаешь, я человек верующий и формально католичка, но беспорядочность моей жизни препятствует повседневной практике – молюсь я тогда, когда меня жареный петух клюет в задницу, а читать Розарий – извините. То, что моя Рита вдруг начала читать Евангелие, ставит меня в странное положение. Если я действительно христианка, я должна радоваться, что моя безбожная коммунистическая мамаша обратилась, а я испытываю недоумение и даже раздражение. Нечто вроде: не лезь сюда, это мое! Хорошо хоть она не обратилась к католичеству, это уж было бы для меня непереносимо.

С другой стороны, я ведь понимаю, что мать моя – совершенно религиозный тип, ее вера в коммунизм была крепче, чем моя – в Господа Иисуса Христа. Я понимаю, что для тебя и то и другое – чуждые вещи, но ведь ты ее помнишь молодой, ты единственная, кто даже помнит моего мифического отца, и как ты можешь это объяснить? Прямо хоть к психоаналитику идти – разбираться с этой непостижимой ситуацией.

Знакомыми я пока не обзавелась, но одно из преимуществ работы в университете, что есть какая-то социальная жизнь, концерты, встречи, и нас постоянно приглашают. Еще очень приятная семья, тоже из университета, живет в соседнем доме, он – профессор-филолог из России, а жена его американка, историк, занимается рабочим движением. С ними даже складываются отношения по «русскому» образцу, ходим друг к другу чай пить. У них чудесная пятнадцатилетняя девочка, и я возлагаю на нее свои надежды – может, Алекс ей понравится?

Да, когда я была в Иерусалиме, я навестила Йосефа, реставратора. Накануне они похоронили мать Леи, Прасковью Ивановну, о которой я тебе, кажется, говорила. Такая старушка в платочке, которая еду крестила в шаббат. Она, оказывается, была попадьей, совсем простая женщина, родом из деревни, переехала с дочкой в Израиль и очень тосковала. Когда она умерла, они, естественное дело, хотели ее похоронить по православному обряду. Пришли в местную православную церковь, а там священник-грек отказался ее отпевать, потому что эти греки хоть и православные, но какие-то другие. Тогда Йосеф с Леей поехали в Иерусалим, хотели в Московской патриархии ее похоронить, а те сказали, что они ее не знают, пусть принесут свидетельство о крещении. Представляешь, старушка крестилась восемьдесят лет тому назад в городе Торжке. Тогда они поехали в Эйн Карем, там православный монастырь, тоже есть кладбище. Но там запросили такие деньги, каких в помине не было. Земля в Израиле очень дорогая. Пять дней прошло, они все похоронить не могут. Тогда в конце концов обратились к священнику-католику, он монах из Кармельского монастыря, и он похоронил ее в Хайфе, на арабском кладбище. Здесь арабская католическая церковь есть. Раньше он многих беспризорных христиан здесь хоронил, а потом ему отказали – кладбище маленькое, скоро своих класть некуда будет. Привезли гроб в Хайфу. Вышел сторож кладбищенский и не пускает. Йосеф говорит, что он в отчаянье пришел, некуда больше обратиться. Тогда этот священник встал на колени перед этим сторожем и сказал ему по-арабски, что пусть лучше они его тело в море рыбам выбросят, но эту старушку похоронят. И тот впустил машину, и быстро вырыли могилу, и священник отслужил заупокойную службу. Йосеф потом сказал, что отпевание в православной церкви – одна из лучших служб. Но то, что он видел сегодня, – настоящий праздник перед Господом. А дело все было в том, что этот католический священник – еврей из Польши. И я подумала, Эстер, не о нем ли ты говорила – переводчик, который вывел евреев из Эмского гетто? Я не удивлюсь. Здесь, в Израиле, оказывается, что мир так мал и все либо родственники, либо соседи.

Да, книгу твою Йосеф получил, сказал, что миниатюры замечательные, но сейчас у него очень большой заказ, и скоро он за нее не примется. Я сказала, что это не спешно – книга подождет.

Стол мой стоит прямо возле окна, как посмотрю в окно, все забываю. Если удастся получить работу в заповеднике, то все будет просто прекрасно. Гриша говорит, что лучше бы я дома сидела. Но я совершенно не привыкла жить без работы. Конечно, идеально было бы на неполный день, но это уж как получится. На полную ставку найти легче.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Я очень жду тебя. Надеюсь, что ты все-таки не будешь откладывать и соберешься поскорее. Но имей в виду, лучше всего приехать сюда в ваши жаркие месяцы – здесь сильной жары не бывает. Будем ездить на океан. Здесь чудесная природа, и сам городок очень симпатичный. А уж растительность – ничего подобного в Бостоне не найдешь. Настоящие большие леса, с тропинками, с ручьями. Рай, настоящий рай. Целую тебя, дорогая Эстер.

Гриша велел передать тебе привет и приглашение.

До встречи.

Твоя Эва.

23  
1989 г., Беркли.

Эва Манукян – Эстер Гантман

Дорогая Эстер!

Я всю ночь проплакала, не заснула ни на минуту. Гриши дома нет – он улетел на конференцию в Германию. Алекс с приятелями уехал на два дня в Сан-Диего к каким-то ребятам, которые тоже снимают самодетельное кино. И оставил мне письмо перед отъездом. Я посылаю тебе ксерокопию – пересказать не берусь. Я испытала одновременно облегчение и новую тяжесть ответственности. Я ужасно скорблю. Я в полном замешательстве. Теперь мне кажется, что вчера, когда была недоговоренность, мне было легче. Еще оставалась надежда. Алекс – очень хороший мальчик. Я не хочу, чтобы он был несчастлив. Но я не хочу, чтобы мой сын был геем. Видимо, мне придется как-то перестраиваться.

Целую.

Эва.

24  
1989 г., Беркли.

Алекс – Эве Манукян

Мама!

Мне было нелегко последнее время, пока я не решился рассказать тебе правду, о которой ты догадываешься. Знаю, что ты будешь разочарована во мне: я выбрал жизненный путь, который никак не укладывается в твое мировоззрение. Но я знаю, честность – один из твоих главных жизненных принципов, и поэтому труднее всего в моем положении было бы тебе лгать. Ты всегда учила меня задавать себе вопросы и честно на них отвечать – во всех сферах жизни. Я помню, когда ты уходила от моего отца, ты рассказала мне, что полюбила другого человека, а Рэй тебя разочаровал. Твоя честность тогда сильно меня травмировала, но сейчас я понимаю, что это было правильно.

Возможно, ты возразишь, что сейчас речь идет вовсе не о честности, а о грехопадении. Но я никогда не чувствовал себя более честным, чем сейчас, когда я делаю тебе это признание. Но прежде – себе самому.

Сколько же я провел ночей, когда я вертелся в моей комнате без сна, добиваясь от себя самого ответа – кто я, чего я хочу? В голову приходили разные мысли – например, какой зазор между тем, что мы сами о себе думаем, что думают о нас окружающие и чем мы являемся на самом деле... Как прекрасно, когда эти три измерения более или менее совпадают, и как мучительно существование человека, когда этого совпадения нет.

Я все время думал о том, как важно открыть эту правду о самом себе. Когда впервые возник вопрос о моей сексуальности, мне очень хотелось быть таким, как все, хотелось быть уверенным, что со мной все в порядке: я «натурал», ни у кого,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) в том числе и у себя самого, не вызывающий подозрений. Вся проблема заключается лишь в том, что у меня просто-напросто нет никакого реального сексуального опыта. И вообще я в этом отношении безгрешен! Но постепенно изнутри приходило осознание, что я лгу себе. И настал момент, когда я больше не мог себе лгать, и это была просто западня.

Есть такое греческое слово «скандал», первоначальный смысл «деревяшка», потом эта деревяшка стала «ловушкой для зверей или для врагов». А две тысячи лет спустя, уже в Евангелиях, это слово переводится только как «искушение». Не зря я так интересовался греческим языком.

Каждое утро, просыпаясь, я должен был собирать себя по частям, и я тащил на себе этот нерешенный вопрос о себе самом и боялся, что это видно всем окружающим. С утра до вечера я жестко контролировал каждое свое слово, каждый жест, каждую поведенческую реакцию – я хотел раствориться, исчезнуть, хотел, чтобы окружающие вообще не замечали меня.

Вечерами я оттягивал час, когда надо было ложиться спать и оставаться наедине с моими демонами – я сидел за компьютером, слушал музыку, читал. Ты помнишь, сколько книг я перечитал в отрочестве? Вся мировая литература полна любви. Отрываясь от книг, я видел тебя с Гришей, связанных такой яркой страстью. Меня так тянуло к Грише – теперь я могу отдать себе отчет в природе моих чувств, но тогда я не понимал.

В конце концов мне пришлось признать мое поражение. Я сдался. Хорошо это или плохо, но я таков, как я есть. Теперь мне необходимо объясниться с тобой, но я долго не находил в себе мужества. Ведь речь идет не только о тебе, еще и обо всех тех людях, которых я люблю и уважаю, но которые неодобрительно – мягко говоря – относятся к гомосексуалистам. Объявив себя геем, я превращаюсь в странного маргинала и как будто лишаюсь полноправного общения с миром. Большинство людей ненавидят геев, считая их в лучшем случае отщепенцами, в худшем – извращенцами.

От всего этого я чувствовал себя безмерно несчастным.

Мне повезло, когда я встретил Энрике. Он по рождению принадлежит другой культуре. Хотя семья его католическая, но индейские корни остаются и от этого никуда не уйти. И там существовало иное видение сексуальности, отличное от общепринятого в нашем мире. Во многих индейских племенах не было никакого запрета на гомосексуальные отношения. Энрике гораздо более образован в этом отношении, чем я, и он показал мне научные статьи, которые описывают даже институционированный гомосексуализм. В некоторых племенах молодым мужчинам, находящимся в статусе воина, были вообще запрещены сексуальные контакты с женщинами и в качестве сексуальных партнеров были разрешены только мальчики.

Ты пойми меня правильно – я не даю никаких оценок, это просто социальная ситуация, которая отражает какую-то сторону человеческого существа. Если хочешь, это свидетельство, что гомосексуальные отношения не всегда осуждались обществом.

Энрике освободил меня от ужасного груза вины перед всем миром и дал чувство уверенности в том, что наши отношения – наше личное дело, наша любовь не касается никого, кроме нас, и не нуждается в одобрении или неодобрении общества. Но для того чтобы я чувствовал себя счастливым, мне почему-то нужно, чтобы ты перестала делать вид, что не знаешь, что я гей, признала этот факт и с ним смирилась.

Это будет честно. И, в конце концов, это будет хорошо.

Я знаю, что, предъявляя тебе эту правду, я ставлю тебя перед чисто христианским конфликтом: в глазах твоей церкви я грешник, и тебе это больно. В утешение тебе могу сказать только одно: надеюсь, что Бог будет милостив к грешнику, чей грех есть «неправильная» любовь, более, чем к тем, чей грех – открытая ненависть.

Несмотря ни на что, я очень рад, что написал наконец это письмо, которое так долго не мог написать, но все-таки уехал, чтобы дать тебе время прийти в себя и принять это признание. Я тебя очень люблю, мамочка, и люблю Гришу, и всех ваших друзей, с которыми всегда так весело и шумно.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Твой сын Алекс.

25  
1989 г., Иерусалим.

Реставратор Йосеф – Эстер Гантман

Уважаемая госпожа Гантман!

Я уже начал работу над Вашей книгой. Большая часть текста была мне знакома – это один из вариантов Агады. Сюжет, о котором Вы меня спрашиваете, довольно редкий: там изображена обнаженная женщина, верхняя часть тела которой выглядывает из кустов. Руки, заплетающие ей косы, принадлежат Господу Богу. Этот мидраш, скорее всего, средневековый, но появляется впервые в сказаниях реба Симеона Бен Манассии. Я, конечно, этого не знал, но вчера у меня был в гостях мой приятель, сотрудник отдела рукописей Иерусалимского музея. Текст следующий:

«Из сказания реба Симеона Бен Манассии:

С материнской заботливостью Господь собственноручно заплетает в косы волосы Евы перед тем, как впервые показать ее Адаму».

Если у Вас нет крайней нужды, приятель мой не советует продавать эту книгу.

Она не особенно ценная, поскольку не большая древность, но, как он говорит, исключительно удачная по составу. Если хотите, я могу передать ее на экспертизу, и Вам дадут соответствующее заключение, но сама по себе экспертиза довольно дорогое дело. Я займусь Вашей книгой на будущей неделе и надеюсь, что к концу месяца все сделаю.

Искренне Ваш, Йосеф Фельдман.

26  
1959–1983 гг., Бостон.

Из записок Исаака Гантмана

Я никогда не думал, что страсть к собирательству чего бы то ни было может иметь ко мне отношение – она всегда мне казалась достаточно низменной. Любовь к предмету собирательства идет от тщеславия коллекционера. В какой-то момент, посмотрев на полку последних моих приобретений, а также на кучу счетов, которые я отложил отдельно, я понял, что потихоньку стал коллекционером. Я покупаю книги, которые не собираюсь читать, а отчасти и не могу – персидская книга XVIII века куплена исключительно ради прелестных миниатюр.

Установив это, я потратил все воскресенье, чтобы провести ревизию, и составил нечто вроде каталога. Альбомы по искусству, которые я покупал с тех пор, как у меня появились какие-то деньги, в счет не идут. Я учитываю только миниатюры – в моей коллекции восемьдесят шесть не столько редких, сколько очень красивых книг с миниатюрами. Я просмотрел их впервые последовательно, одну за другой, и понял, что я всегда, не отдавая в этом отчета, покупал только книги с библейскими сюжетами. И тогда я догадался, что это мое пристрастие идет от того впечатления, которое на меня произвела первая книга подобного рода, увиденная мною в Венской национальной библиотеке, когда я учился на медицинском факультете. Я любил заходить в отдел редких книг, и в то время драгоценные книги выдавали читателям прямо в зал. Мне в руки попала известнейшая Венская «Книга Бытия», книга VI века, и несколько миниатюр врезались в память на всю жизнь. Из них прекраснейшая – Елиезер, доверенный раб Авраама, встречает Ребекку у колодца. Ребекка изображена два раза: одно изображение, когда она идет с кувшином, а второе – когда поит верблюдов Елиезера. Вдали нарисован очень условно город Нахор, и свою миссию – сватовство Исаака – слуга еще не исполнил, но дело уже слаживается. Облик Ребекки, как и полагается в миниатюре, очень тонко прорисован и напоминает жену мою Эстер. Я это только теперь понял. Длинная шея, тонкие руки, тонкая талия, маленькая грудь, без жировых отложений, с которыми всегда столько хлопот на операционном столе, – все то, что и до сих пор мне кажется в женщинах привлекательным.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Вот таким образом складываются мужские пристрастия – увиденная в юности красиво нарисованная картинка.

Я еще раз со вниманием просмотрел купленные мною книги и уверился в том, что присутствующие в этих разнообразных сюжетах женщины, если они появляются, все глазастые и длинношеие, – только на них задерживалось мое внимание. Ни «воительницы», ни женщины типа вамп меня никогда не привлекали. Забавно, что это открытие я сделал на восьмом десятке лет.

Другая мысль, которая тоже запоздало пришла мне в голову: а как вообще в еврейских книгах присутствуют эти миниатюры с изображением людей? Известно же, что изображение человека было запрещено. А прославленные во всем мире персидские миниатюры? В исламе ведь тоже существует запрет на изображение человека. Напишу-ка я по этому поводу письмо драгоценному Нойгаузу. Наша переписка довольно дискретна, но она не прервалась, хотя последние три года мы только обменивались поздравлениями с праздниками.

27

1972 г., Иерусалим.

Профессор Нойгауз – профессору Гантману

Дорогой Исаак!

Меня очень порадовало твое письмо, в первую очередь по той причине, что ты не целиком погрузился в медицину, а еще немного смотришь по сторонам, причем хорошую сторону выбрал для рассмотрения. Вопрос, который ты мне задал, до тебя задавали сотни раз, так что я лет двадцать назад написал по этому поводу небольшой конспект и тему эту из виду не упускаю. Посылаю тебе отрывок по интересующему тебя вопросу – о запрете на изображения. Надеюсь, что ты найдешь здесь ответ на твой вопрос.

Совсем недавно я о тебе вспоминал в связи с предстоящей мне операцией на сердце. Но пока отложили. Привет супруге.

Твой Нойгауз.

#### ОТРЫВОК ИЗ КОНСПЕКТА

Человек, решивший заняться историей еврейского изобразительного искусства – в связи ли со своими профессиональными интересами или просто из любопытности, – очень скоро обнаруживает, что вокруг этого предмета возникает огромное количество вопросов, которые в конце концов приводят к одному, самому главному: как еврейское изобразительное искусство вообще существует, коли издревле существует запрет на многие виды изображений, и что это за запрет?

Еще каких-нибудь сто лет назад считалось бесспорным, что еврейского изобразительного искусства никогда не было и быть не могло – именно в связи с именующимся в Торе ясным запретом на изображение реального: «Не делай себе изваяния и всякого изображения того, что в небе наверху, и того, что на земле внизу, и того, что в воде ниже земли» (Исход, 20:4). То же самое, но более подробно, повторяется во Второзаконии (4:16–17): «дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира в образе мужчины или женщины, (17) изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо гада, ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли».

На самом деле все это не так ясно, как кажется на первый взгляд. В обоих случаях сразу же за этими словами следуют другие: «Не поклоняйся им и не служи им» (Исход, 20:5) – и во втором случае: «...дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь, Б-г твой, уделил их всем народам под всем небом» (Второзаконие, 4:19).

Тут нужно сделать небольшое отступление. Мощная жизненная сила иудаизма, большой веры маленького народа, затерянного среди сотен других племен Ближнего Востока,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) иудаизма, породившего две величайшие мировые религии, зиждется на двух принципах, один принцип – ограничительный. Поведение иудея строго регламентировано, и современному человеку часто кажутся смешными и нелепыми мелочные и на первый взгляд необъяснимые запреты относительно поведения человека в обществе и в частной жизни. Устрашающее количество законов и запретов, ограничений и предписаний на все случаи жизни, от рождения до смерти: как есть, пить, молиться, воспитывать детей, выдавать дочерей и женить сыновей... Но зато все заранее решено, все расписано, расставлено по местам, учтены все возможные непредвиденные случаи: муж не смеет прикасаться к жене, когда у нее месячные, не может сидеть на стуле, где она сидела, касаться предметов, которые она держала в руках. А если – о ужас! – месячные настигли женщину неожиданно и муж обнаруживает это обстоятельство, уже приступив к исполнению супружеских обязанностей? Не волнуйтесь, и на этот случай есть точная инструкция поведения. Это и есть Талмуд – всеобъемлющий закон хорошего, правильного поведения.

Но что такое второй принцип, о котором я упоминал? Это принцип полной и ничем не ограниченной свободы мысли. Евреям был дан священный текст, с которым они работают веками. Эта работа – обязательная часть еврейского мужского воспитания. Правда, теперь и женщины стали изучать Тору, но пока неясно, хорошо это для них или не совсем хорошо. Иудеям была предоставлена в этой области невиданная ни в одной другой религии фантастическая свобода. Практически – отсутствие запретов на интеллектуальное исследование. Есть обсуждаемые вопросы и нет догматов.

Само понятие ереси если и не отсутствует полностью, то очень размыто и неопределенно. «Еврейская энциклопедия» говорит на этот счет: «Определение ереси в иудаизме затруднено отсутствием в нем официально сформулированных догматов и центральной инстанции, обладающей признанным авторитетом в религиозных вопросах».

Итак, нет ограничения мысли, но есть ограничения в поведении. Их множество, их я охарактеризовал выше, но в сжатой форме они спрессованы в золотом правиле этики, приписываемом еврейскому философу I века Гилелю: «Не делай своему ближнему того, чего не хочешь, чтобы он делал тебе».

Теперь вернемся к теме нашего обсуждения – запрету на изображения. После разрушения Второго Храма общины приобретают очень большую самостоятельность, практически они имеют теперь автономное право на решение многих важных вопросов, и, таким образом, запрет на изображения в разных общинах трактовался по-разному. Одни считали его категорическим и, в соответствии со своими убеждениями, следовали ему буквально; в этих случаях для украшения предметов иудаики, синагогальных или домашних, использовали только орнаменты. Другие же толковали его не так буквально – как запрет поклоняться изображенному. Любоваться, таким образом, не запрещается. Именно поэтому мы имеем изображения зверей и человеческие фигуры на фресках синагоги в Дура-Европос, в современной Сирии, на мозаичных полах синагоги Бейт-Альфа в Изреельской долине, чудесное изображение царя Давида, играющего на арфе в синагоге VI века в Газе.

Галаха безусловно исключает создание предмета, что-то изображающего, если ему собираются поклоняться, и вполне разрешает, даже поощряет занятия искусством, если это для украшения. Впрочем, запрет поклоняться чему бы то ни было материальному относится не только к искусству. Один современный рав сказал: «Идолом называется то, что человек считает таковым, и если кто-то поставит кирпич и будет поклоняться ему – кирпич станет идолом, и им нельзя будет пользоваться ни для каких целей. Если же красивая статуя станет украшением города, она будет желанным гостем». Здравая мысль. Проблема сходства не занимала еврейских художников, сходство само по себе не было самоцелью. Больше того, в человеческой фигуре было принято что-то слегка изменить, передать ее с каким-то нарушением, искажением, так, чтобы она оказывалась как будто и не вполне человеком. Искажение могло быть совсем незаметным – например, ухо неправильной формы, а могло быть явным, как в знаменитой «Птичьей агаде», созданной в XIV веке в Германии, которая и называется так потому, что у людей там птичьи головы.

Еще одна черта еврейского искусства – система символов, сохраняющаяся практически неизменной в течение двух тысяч лет при полном отсутствии иконографических и семантических канонов. Древняя символика развивается, и это можно наблюдать, исследуя предметы искусства. И в еврейских фресках, и в мозаиках, и в книжной миниатюре, и в украшениях предметов иудаики всякое изображение, будь то птица, человек или растение, – это не непосредственное

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
изображение, а символ, потому оно вовсе не обязано соответствовать  
действительности.

28

Март, 1990 г., Беркли.

Эва Манукян – Эстер Гантман

Милая Эстер!

Все просто ужасно. Я все заранее предчувствовала! Что именно так и будет. Нельзя выходить замуж за человека на десять лет моложе. Это должно было случиться рано или поздно. У Гриши роман с какой-то ассистенткой кафедры. У меня звериная интуиция – я обратила на нее внимание, когда увидела в первый раз, на каком-то банкете. Эта сучка уже тогда крутилась возле Гриши очень назойливо. Мне это было так неприятно, что я насторожилась. И через какое-то время Гриша сказал мне, что у него еще два лекционных часа в Стэнфордском университете, и он туда ездит раз в неделю по пятницам. Поскольку тебя не было рядом со мной, некому было сказать: не делай глупости. Я позвонила в этот чертов университет и спросила, нельзя ли записаться к нему на курс. Они меня заверили, что такого профессора у них нет ни в числе постоянных, ни в числе временных преподавателей. Тогда я сделала вторую глупость: устроила дознание, а он и не отпирался особенно. Сразу сказал – да! Но при этом добавил, что я его жена, разводиться он со мной не собирается, потому что меня любит, а хочу я принимать эту ситуацию или нет – мое дело. Теперь я сижу и думаю, что мне делать. Алекс, как выяснилось, знает об этой Гришиной подружке, потому что встретил их в городе в какой-то забегаловке. И вообще, мне показалось, что Алекс относится гораздо сочувственней к нему, чем ко мне. Я восприняла это как предательство с его стороны. Это их мужская солидарность. Мне жутко обидно. Сейчас, когда я так нуждалась в Гришиной поддержке, после всего, что я испытала от Алексова признания... Знаешь, что он мне сказал, когда я показала ему письмо Алекса? – Оставь мальчика в покое. Я давно это знаю.

Больше всего мне хотелось бы сейчас сесть в самолет и приехать порыдать у тебя на плече. Но в моем положении, после того как меня наконец взяли в эту лабораторию, было бы величайшей глупостью потерять работу. Я прекрасно осознаю, сколько я совершила глупостей, но – увы! – я принадлежу к той породе женщин, которым важнее высказаться и все сокрушить, чем промолчать и переждать критическую ситуацию.

Еще одна совершенно потрясающая новость, о которой я забыла из-за всех этих стрессов. Не хочу писать, посылаю ксерокопию с письма моей матери. К письму прилагаются документы – заявление о приеме, точно как в партию, и свидетельство о крещении. Если бы я была в нормальном состоянии, я бы отреагировала на эту новость гораздо острее. Но сейчас могу только развести руками и сказать: Господи, это шутка? Или как?

Целую.

Твоя идиотка Эва.

29

Январь, 1990 г., Хайфа.

Рита Ковач – Эве Манукян

(Ксерокопия, присланная Эвой Манукян Эстер Гантман)

Дорогая Эва! Настал момент, когда я должна сообщить тебе о важнейшем событии в моей жизни. В минувшее Рождество после длительных размышлений и соответствующей подготовки я приняла крещение. Тебя, конечно, это удивит, но для меня это событие подготовлено всем ходом моей жизни, оно не случайное, а закономерное, и я счастлива, что не умерла прежде крещения. А ведь так было много вероятностей погибнуть во время войны, в тюрьме, в лагере и даже в последние годы, после всех моих инфарктов-инсультов. Весь последний год я очень торопила отца Джона и Агнессу, боялась умереть, не дожив, но они только улыбались и говорили, что теперь я могу не беспокоиться ни за свою жизнь, ни за свою смерть. И



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru действительно, на меня снизошел полный покой. В нашей церкви – англиканской – нет ни тени той экзальтации, которая так отталкивала меня от католицизма. Той экзальтации, которая всегда была неприемлема для меня и неприемлема в тебе.

Теперь у меня осталась одна мечта – познакомить тебя с моими драгоценными друзьями и подарить тебе все лучшее, что я сама получила в конце жизни.

Ты знаешь, что Христа я знала с детства: в Польше нет места, где Его не было бы, там Он повсюду. В Израиле, отвергшем Его, очень трудно ожидать этой встречи. Но мне повезло – благодаря Агнессе передо мной открылись двери того христианства, которое для меня единственно приемлемо.

Дорогая Эва! Я знаю, что в наших с тобой отношениях было много неправильного, и я перед тобой виновата. Мне надо теперь объяснить тебе, почему все происходило так, как происходило, чтобы помочь тебе исправиться.

Я думаю, что самое лучшее, если бы ты приехала на Пасху. Мы смогли бы встретить эту первую в своей жизни Пасху вместе в знак нашего полного примирения.

Сейчас, когда я только и делаю, что постоянно читаю Библию и Новый Завет, я смогла бы помочь тебе найти правильный путь в жизни.

У меня очень удобное складное кресло, его можно поставить в машину, и мы вместе поедem на Пасхальную службу. Я хочу быть до конца жизни с Христом. И наконец мы сможем сказать друг другу: «Господь посреди нас!»

Твоя мать, Маргарита.

30

1990 г., Хайфа.

Рита Ковач

#### МОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Рита Ковач (Двойре Брин), происхожу из еврейской семьи. С четырех лет я верю в Бога. Я не знаю, каким образом ко мне пришло знание об Иисусе. В школах до 1939 года занятия начинались с молитвы, и я тоже молилась, хотя не была крещена. Произведения знаменитых писателей и поэтов были полны Иисусом. Хотя я никогда не изучала катехизис, я много знала об Иисусе. В юности на меня произвела большое впечатление книга «Жизнь Иисуса» Ренана. Польское католичество пугало меня своей агрессией и отталкивало антисемитизмом. Мой путь ко Христу шел не через чудеса, привлекло меня глубокое достоинство англиканской церкви, как я его поняла из общения с моими друзьями-англиканами, и настал день, когда я ощутила Иисуса в себе. Я верую в Него, потому что Он есть Истина. В своей жизни я много заблуждалась относительно того, «что есть Истина», и принимала за нее социальную справедливость, равенство всех людей и другие вещи, которые меня сильно разочаровали. Теперь я знаю, что Христос есть Единственная Истина и за это Он был распят. Я верую, что Христос есть Отец и Господь.

Почему я хочу креститься? Потому что настал такой момент, и Господь пришел через людей – Агнессу Видоу, Джона Чепмена, Мэрион Селли и многих других, и я поняла, что любовь Иисуса связывает людей особой любовью друг к другу. И есть еще одна причина, почему я хочу креститься, – я стара и хочу полностью отдать себя Его воле.

Я много думала о том, в чем состоят мои грехи, – самый большой мой грех, который меня всегда мучил, что я не до конца выполнила свой долг, когда оказалась в оккупации. Позже, в Черной Пуще, я не принимала участия в партизанских операциях, потому что у меня были последние месяцы беременности, потом я родила, и на руках у меня был еще шестилетний сын. Когда мне удалось переправить детей в Россию и вступить в армию, некоторые мои подруги меня укоряли, что я не осталась с детьми, но я не считаю это грехом, потому что воевать с фашистами мне казалось тогда моей главной задачей. Впоследствии, когда я оказалась в советском лагере, я сотрудничала с органами НКВД, и некоторые мои знакомые тоже мне ставили это в вину – но и тут я не чувствую своего греха, потому что все, что я делала, я делала не из корысти, а для пользы дела. Грех мой был в том, что я не уважала моих родителей. Но, откровенно говоря, они были мелкие торговцы, которые заботились только о земном пропитании, и действительно никакого уважения не

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru заслуживали. Я их обижала, но и они обижали меня. Думаю, что перед ними я в чем-то виновата. Больше я за собой ничего не знаю.

Рита Ковач.

СЕРТИФИКАТ О КРЕЩЕНИИ  
Идите, учите все народы,

крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Матф., 28:19

Настоящим удостоверяется, что Маргарита Ковач была крещена во имя Отца и Сына и Святого Духа тринадцатого дня января года нашего Господа тысяча девятьсот девяностого.

Пастор (подпись)

Священник Д. Чепмен

31  
1990 г., Хайфа.

Из письма Риты Ковач Агнессе Видоу в Иерусалим

..благодарю тебя за прекрасную Библию, которую ты мне подарила. Но, к сожалению, она слишком тяжела для моих рук. Стол слишком узкий, и когда я кладу ее, неудобно читать. Мне удобнее держать в руках тонкую книгу.

Нет ли такого издания, которое состоит из отдельных выпусков? Я бы хотела иметь Евангелия и Апостольские послания в виде тоненьких книжек. Конечно, идеально были бы кассеты. Но, честно говоря, я предпочла бы по-польски. Не могу сказать, что я хорошо понимаю по-английски со слуха. Тем более что слух стал портиться. Зрение тоже не улучшается. Но знаешь, дорогая Агнесса, никогда в жизни я не чувствовала такого обновления жизни, как сейчас. Действительно – "born again!".

Есть еще один вопрос, который меня беспокоит. Бог столько мне дает – а я не могу сейчас ничего, кроме как благодарить Его в сердце. И всех вас, мою подлинную семью. Мне хотелось бы тоже принимать участие в церковной жизни, но пенсия у меня очень маленькая. Дело в том, что я отказалась принимать деньги от Германии: я не взяла компенсации, которую они выплачивали после войны узникам гетто, и тем более не хотела иметь от них пенсии. Нет таких денег, которые могли бы компенсировать жизни убитых людей. Немцы выплачивают деньги тем, кто чудом выжил. А чудо – в руках Господа, а не немецкого правительства. Я не одобряю тех людей, которые берут эти деньги – это «цена крови». В результате от моей небольшой пенсии мне на личные нужды остается 200 шекелей в месяц. Это немного, но я трачу деньги на необходимые мелочи, иногда на книги, и все, что я могу пожертвовать, – 5 шекелей в неделю, что составит 20 в месяц. Мне очень жаль, но больше у меня никак не получится. Конечно, я могла бы взять у Эвы, но, во-первых, я ничего не хочу от нее брать, а во-вторых, это будет уже не мое пожертвование, а Эвино.

32  
1970 г., Хайфа.

Письмо Даниэля Штайна племяннице Рут

Милая Рут!

Пишу я тебе не просто так, ни с того ни с сего, а после вчерашнего разговора с твоими родителями. Был день рождения твоей мамы, и я приехал ее поздравить. За столом говорили почти исключительно о тебе. Ты была просто в центре внимания. Даже не столько ты сама, сколько твой отъезд в театральную школу. Стоял ужасный шум, потому что столкнулись самые крайние точки зрения на профессию актера. Твой отец, как ты догадываешься, ругал актеров, потому что они не делают ничего полезного, и даже договорился до того, что твоя мать, работая птичницей на ферме, принесла больше пользы для человечества, чем актер Грегори Пек. Откуда он

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru взял этого Грегори Пека, что он так ему не угодил? Милка же всплеснула руками, захотела и объявила, что с большим удовольствием поменялась бы с Грегори Пеком местами. Тут влезла Милкина подруга Зося, сказала, что всю юность мечтала быть актрисой, и что ее отец до войны не дал ей поступить в театральную труппу, куда ее приглашали, и что у тебя, Рут, будет большая артистическая карьера, потому что ты на детском спектакле лучше всех изображала Эфирь! Муж Зоси Рувим рассказал, как плохо кончила его двоюродная сестра, которая однажды случайно снялась в кино, а потом всю жизнь пыталась сняться еще раз, но ей это не удалось, и она сошла с ума и утопилась. Потом рассказали еще несколько поучительных историй, и я тоже внес свой вклад, рассказав о моем знакомом из Кракова, Кароле Войтыле, который в молодые годы был актером и драматургом, а потом сделал большую карьеру – он теперь епископ в Польше. Раздраженный Рувим сказал, что если бы Войтыла был талантливым актером, ему не пришлось бы идти в попы, потому что это тоже поступок сумасшедшего, как и в случае с его двоюродной сестрой.

Это мне показалось слегка обидным, но я промолчал. Все-таки мое оправдание в том, что у меня никогда не было артистических дарований. И тут поднялся еще больший шум: за столом решили, что у меня как раз были большие дарования, потому что я столько времени служил у немцев и так хорошо играл чужую роль, что мне удалось спасти свою собственную жизнь и еще многих людей. Представь себе, тут вдруг все примирились, и твоя артистическая судьба перестала казаться такой уж безнадежной, потому что дает возможность решать жизненные проблемы не любовым путем, а каким-то особо хитрым, артистическим. В общем, вечер удался.

Что же касается меня, я очень рад, что ты выдержала свой экзамен и учишься профессии. Напиши, когда начнется учеба. Я буду рад получить от тебя весточку. Твое последнее письмо меня очень порадовало. Франция прекрасная страна, и это большое счастье, что ты поживешь там несколько лет, овладеешь в совершенстве французским, увидишь европейскую жизнь и вернешься домой с новым опытом. Особенно меня радует, что ты будешь свободно владеть французским. Я знаю довольно много разных языков, но признаюсь тебе, что все языки я знаю плохо. Я не могу читать Шекспира на английском, Мольера на французском, а Толстого на русском. Я убежден, что каждый новый язык расширяет сознание человека и его мир. Это как будто еще один глаз и еще одно ухо. И новая профессия тоже расширяет человека. Даже профессия сапожника. Знаю по себе. Работай, моя деточка, не ленись. Будь актрисой. Когда я увижу возле автостанции большую афишу с твоей дорогой мордочкой, я буду очень рад! Пусть в нашей семье будет и актриса!

Целую тебя, Даниэль.

33  
1981 г., кфар Саба.

Тереза – Валентине Фердинандовне

Дорогая Валентина Фердинандовна!

Представилась редкая возможность послать Вам письмо, которое не будет вскрыто и ошупано. Его привезет знакомая Вам женщина по очень сложному маршруту. Она все расскажет.

Постепенно начинаем привыкать и к той колоссальной перемене в нашей жизни, которая произошла, и к новым обстоятельствам. Самое поразительное – искушения почти оставили меня. Мне стало легко молиться, и ночные пробуждения, прежде столь мучительные, теперь выливаются в теплую молитву. Иногда, когда Ефим слышит, что я поднялась, он присоединяется ко мне, и эта общая молитва дает нам обоим большое утешение. Не скрою от вас, что мы встретились здесь с первого же шага с большими проблемами, к которым оказались не готовы.

Жизнь свою в Израиле мы начали с обмана. Ефим по приезде, заполняя иммиграционный лист, в графе «Вероисповедание» написал «атеист». Я, после некоторых колебаний, последовала его примеру. В бумагах мы числимся супругами, и я не хотела создавать ему дополнительных трудностей и скрыла свое вероисповедание не ради себя, а ради него. Нас поселили в ульпан, языковую школу с общежитием – для изучения языка и адаптации. Собственно, этого можно было избежать, потому что Ефим прекрасно знает иврит, но его знание – книжное, и тот

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) язык, на котором говорит народ, не так легко понимать со слуха. Зато я как младенец чиста – ни единого слова. Мы живем в Кфар Сабе, у нас крохотная квартирка, к счастью, двухкомнатная, так что у каждого своя келья, и после моих коммунальных соседей я чувствую себя здесь счастливой.

Каждый свободный день мы едем на автобусе куда глаза глядят, иногда бывают поездки с экскурсоводами, даже и бесплатные. Попастъ на богослужение довольно сложно: воскресный день здесь рабочий, так что я только два раза была на вечерней службе в Яффо. Конечно, в первый же наш приезд в Иерусалим посетили Храм Гроба Господня и поднялись на Масличную гору. Признаюсь, у ворот монастыря Марии Магдалины я сильно затосковала. Там Зарубежная Православная церковь. Туда нам, прихожанам Русской Православной церкви, путь закрыт. То есть войти, посмотреть, мы, конечно, можем, но литургического общения между этими двумя церквами нет. Всюду разделение, всюду распря. Даже здесь. Особенно здесь. Сердце мое все еще не смирилось с потерей. Но и к католикам мне теперь тоже путь закрыт.

Ефим сказал мне, чтобы я предоставила решение Господу. В нашем причудливом положении действительно ничего другого и не остается.

Наша предотъездная поездка в Москву оказалась просто поворотной точкой: чудесный отец Михаил, с которым Ефим давно поддерживает отношения и отчасти его консультирует по библиографическим вопросам, очень утешил и придал нам обоим сил. Он церковный писатель, и книги его издаются за рубежом. Именно в связи с этим Ефим его и консультировал. Дело в том, что в Вильно очень большая богословская библиотека на немецком языке, которую не тронули, даже опись не составили. И Ефим черпал из нее многие справки для работ отца Михаила по библеистике. Кстати, сам о. Мих. очень тепло о Вас отзывался, высоко ценит Ваши переводы и статьи. К тому же он дал несколько адресов, которые велел выучить наизусть. Предупредил, что адресные и записные книжки, так и старые письма и дневники, рукописи, вообще все, написанное рукой по бумаге, на границе часто отбирают, и потому все самое важное надо доверить только своей памяти. Естественно, для Ефима это не представляло никакого труда. Таким образом, оказалось в нашем распоряжении несколько нитей, ведущих к верующим и доброжелательным людям, для которых отец Михаил большой авторитет. Ефим сказал, что у него никогда не было такого прекрасного собеседника, и сожалел, что общение их всегда было эпизодическим.

Все, что отец Михаил нам предсказывал, в точности исполняется. Начиная от православных братьев, которые встретили Ефима совсем не ласково.

Русская Православная церковь владеет в Израиле многими храмами, несколькими монастырями и, соответственно, землями. Имеется свое представительство и у Русской Зарубежной церкви, и вообще, многие христианские конфессии имеют на Святой земле свои храмы, монастыри – словом, собственность.

Ефим пришел в Московскую патриархию с письмом от своего настоятеля к одному высокопоставленному церковному лицу, но оказалось, что тот отозван, и тогда он пошел к другому, который его заменил. Тот ознакомился с посланием, был очень сух и сказал, что вакансий никаких нет и что поставляются священники из Москвы. Замечу от себя: всем известная деталь, что, конечно же, с благословения КГБ! И Ефим ему не пригоден. Впрочем, велел оставить в канцелярии прошение.

Зато один из тех заочных знакомых о. Михаила, которых он рекомендовал, сразу же отозвался на нашу открыточку – позвонил, пригласил в гости. Речь идет об отце Даниэле Штайне, католическом священнике из Хайфы, но пока мы до него еще не добрались.

На будущей неделе я собираюсь навестить матушку Иоанну, тоже по рекомендации отца Михаила. Мне кажется, что Вы ее когда-то знали.

Милая Валентина Фердинандовна! Не могу передать Вам, в каком странном и взвешенном состоянии я сейчас живу – как пылинка в луче света. Какое счастье, что судьба мне подарила Ефима как спутника жизни. Он продолжает раскрываться неожиданными трогательными чертами. Он очень помогал мне последние годы в Вильнюсе, когда начались мои неприятности, и производил впечатление человека сильного и целеустремленного. Теперь он открылся мне в своей слабости перед миром и в беспомощности. Он совершенно теряется перед хамством и наглостью, его

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru ранит корыстолюбие и цинизм, и оказалось, что в каком-то практическом смысле я крепче.

Я с радостью служу ему во всем, что возможно. Он проявляет большую деликатность, не дает мне стирать его белье, и когда я мыла окна, не отходил от меня, так как боялся, что я выпаду со второго этажа. Отношения наши чисты, и ничто их не омрачает.

У Ефима пока полная неопределенность с работой. Одна надежда – пристроиться в одном религиозном издательстве в Европе. Это опять через отца Михаила.

Боюсь, что не найду скоро другой okazji послать Вам такое полноценное письмо: отправления через почту носят вынужденно сдержанный характер. Пишите, умоляю Вас! Пишите, несмотря на скудость моих писем.

Господь да пребудет с Вами.

Ваша сестра Тереза.

34  
1980 г., Иерусалим.

От матери Иоанны – отцу Михаилу в Тишкино

Отче!

Кого ты ко мне прислал? Пришла красотка в кудрях, с непокрытой головой, говорит, что от тебя. Назвалась Терезой. Говорит, что телефон и адрес Ир. Ал., который ты им дал, теперь поменялся и они не могут с ней связаться. Спрашивает у меня новый адрес и телефон Ир. Ал. Представь, говорит мне: я знаю, вы связаны с издательством! Зачем это ты, отче, ей сказал? Ты помни, здесь никому ни одного лишнего слова нельзя говорить: все друг за другом следят и промахов не прощают. А если бы она это сказала при ком-нибудь? Я ей адреса не дала, решила прежде у тебя запросить. Я показала ей монастырь – всюду провела, спустились на кладбище. В храме она молилась – крестилась слева направо!

Зачем ты прислал мне эту католичку? Ты знаешь, мы должны всем помогать... Но ведь и своих много в нужде. Сказано, что прежде дают детям, а уж после того псам.

Господь с Вами.

Сестра Иоанна.

35  
1981 г.

Тереза – Валентине Фердинандовне

Дорогая Валентина Фердинандовна!

Вы остались единственной ниточкой, связывающей меня с домом. Смешно сказать: что такое дом в моем положении? Для меня, полупольки-полулитовки, дом – это место, где говорят по-русски. Положение наше по-прежнему неопределенное. Ефим не теряет надежды найти себе место по сердцу. Вы понимаете, что я имею в виду. Ему предложили было пойти на курсы по переподготовке. Выбор был такой: курсы программистов или курсы водопроводчиков. В отчаянии он пошел в миссию Зарубежной церкви. Его приняли очень вежливо. Он разговаривал с главой миссии, очень благообразным архимандритом, который выгодно отличался от того начальника, который принимал Ефима в РПЦ. Но у них тоже нет вакансий. Все, что он смог ему предложить, – это переход в их юрисдикцию, возможность принимать участие в богослужении, и это всё. Пока нам платят пособие. Изучение языка дается мне с трудом. Я завидую Ефиму, который так способен к языкам.

Одна из моих соседок предложила мне пойти в уборщицы, причем не официально, а частным образом. Это, кажется, хорошее предложение, но пока я не готова его принять. Зато мой словарный запас обогатился одним словом – «никайон». Уборка.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Особенно горько, что Ефим рассчитывал на помощь настоятеля, которая была обещана. Он написал ему письмо, но не получил пока ответа. Главное лишение для Ефима то, что он отрезан от библиотек, потому что ему для душевного спокойствия надо сидеть, зарывшись в книги.

Единственное хорошее в духовном плане – это знакомство с о. Даниэлем, которое тоже произошло с Вашей легкой руки и по рекомендации о. Михаила. К сожалению, связаться с издательством пока не удалось: монахиня, к которой от его же имени мы обратились, оказалась очень неприветлива и сказала, что адрес сейчас дать не может, но, возможно, даст позже.

Зато о. Даниэль – исключительный человек. Правда, он живет довольно далеко от нас, тремя автобусами три часа добираться, но были у него уже несколько раз. У него небольшая католическая община в Хайфе, и он принимает всех, кто в неустойчивом положении. Представьте себе, он прекрасно говорит по-польски и даже знает литовский. Я первый раз поехала одна, без Ефима. Принял меня как родную. Признаюсь, он мало похож на тех, с кем я имела дело прежде: от него исходит какая-то францисканская радость, хотя на Святого Франциска он нисколько не похож, разве что тем, что держал на коленях кошку и ласково поглаживал ее за ухом. Внешность же его самая скромная: маленького роста, глазки круглые, рот как у младенца, губами вперед. И ходит он не в сутане, а в мятых штанах и растянутом свитере, и похож больше на садовника или продавца на рынке, чем на священника. Я ему что ни скажу, а он на все: ах, бедняжка, ах, голубка моя... И под конец просил, чтобы Ефим к нему приехал, о чем-то ему с ним захотелось поговорить. Я Ефиму сказала, он согласился. Только неизвестно, когда сможет – занят очень. Даниэль человек необыкновенно широких взглядов, но у Ефима все-таки есть некоторое предубеждение к католикам, и он не станет принимать там причастие без крайней нужды.

Ефим очень страдает. И на меня косвенным образом это плохо влияет. Опять начались жестокие ночные нападения. У меня была об этом беседа с отцом Даниэлем. Он меня очень внимательно выслушал и сказал, что, прежде чем мне что-либо ответить, ему надо поговорить с Ефимом. Все, что он мне сказал, было очень странно для монаха: что монашеский путь далеко не для всех, а, может, только для единиц, что сам он несет свои обеты много лет и знает, какова их тяжесть. И возможно, мое изгнание из монастыря послужит к тому, что я пойду по иному, не менее благодатному пути. Как это понимать?

Ефим очень занят, пока он не может поехать со мной в Хайфу, и я жду, когда у него появится такая возможность. Его сейчас наняли на временную работу в местную библиотеку – разобрать небольшой архив, и он сидит там в упоении. Не могу представить его ни программистом, ни тем более водопроводчиком. Скорее уж вижу себя уборщицей. Я не боюсь никакой работы, но согласитесь, что для этого мне не надо было никуда уезжать: полы мыть я могла и на родине. Очень тяжело на душе. Единственно, что радует – солнце. В Вильнюсе сейчас сырость и холод, а здесь все-таки светит солнце, и от этого на душе светлеет. Но ночи... тяжелые.

Прошу Ваших молитв, дорогая Валентина Фердинандовна!

Ваша бывшая сестра Тереза.

36

Апрель, 1982 г., Иерусалим.

Мать Иоанна – отцу Михаилу в Тишкино

Отче!

Письмо твое меня поддержало, и крепость твоей молитвы мне давно известна, с тех времен, когда была жива матушка Евфросиния и старец был еще с нами. Могу сказать: твоими молитвами, чадо, беда отошла – в здешней больнице сделали снимок не рентгеновский, а какой-то новомодный, и сказали, что рака не находят, а грыжа обыкновенная, оперировать ее надо, но срочности особой нет. А мне только того и надобно, чтобы ножами меня не резали, а так бы оставили умереть с миром.

Возили меня тут в Иерусалим и по иному поводу, в Духовную миссию, в связи с

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru приездом высочайшего начальства. Удивительна моя судьба: всех боярских потомков почти под корень выкосили, а меня неизвестно почему пощадили. Может, благодаря тому, что из моей фамилии два века мужчины шли кто в армейскую службу, кто в духовную, и больших чинов достигали на обоих поприщах, церковное начальство меня втайне почитало... А может, высылка моя из бедного окраинного монастыря сюда, на Святую землю, выдает попечительство обо мне моих знаменитых предков? Или не так, Мишенька?

Ходит к нам монашек молодой Федор, отрекомендовался от тебя. Правда, давненько из России уехал, жил пять лет в Пантелеимоновом монастыре на Афоне, потом из него вышел и пришел сюда. Я для верности порасспросила его и поняла, что точно он из твоих и ездил к тебе в Тишкино, знает ближний твой круг и домашних.

Сказал он мне, что из Пантелеимонова он своей волей вышел, и на начальство жаловался, да я слушать не стала – это он по молодости. Он диакон, службу любит и понимает, так что я послала его к настоятелю, и тот разрешил ему прислуживать. Голос у него приятный, но слабый, далеко ему до настоящих басовитых крикунов, которые ревмя ревут на амвоне. Однако, друг мой Мишенька, служит внятно, со смыслом, что по нынешним временам большое достоинство. Он очень благообразен и молодежлив, хотя лет ему оказалось уже под сорок. А я ведь помню нашего старца, батюшку Серафима, в том же возрасте, еще до первого его тюремного срока. Он был священник деревенский, но уже тогда видна была подлинная его духовная порода. Мне пришло это в голову, и я в который раз подивилась, как годы ничего не значат. Тот в тридцать был умудрен и светел, а другие и в девяносто все не входят в хороший вес, все легонькие, один звон от них.

Признаюсь тебе, отче, ведь и ты для меня все тот Мишенька, которого с рук на руки в нашей катакомбе передавали, пока служба шла. И как же ангельски пела твоя родительница Елена, упокой Господи ее душу. Мне же возраст на пользу не идет, разве только болезнями смиряет. Да и что за болезнь такая – грыжа? Ни смерти, ни даже страдания не дает, глупость одна и неудобство. А ведь перед смертью как хорошо изболеться, очиститься, подготовиться. А то ведь заберут в одночасье – без покаяния, без отпущения грехов.

Ты, верно, имеешь все сведения о Терезе, которую ты мне послал. Я поначалу невзлюбила ее, а теперь, узнав больше о ее обстоятельствах, сильно жалею. Вопросов я ей не задаю, но кажется мне, что она какая-то путаная. Видишь ли, друг мой, меня и возраст не поправляет: как смолodu была «нравная», так до старости и осталась. Всегда себе выбирала – кого люблю, кого ненавижу, а ровного доброго отношения ко всем до старости лет не обрела. По сей день люблю свой выбор, держусь за него.

Закончила я те две иконы – встречу Марии и Елисаветы, и небольшого Иоанна Крестителя – это все наше, местное, что из окошка видно. Писала с благословения здешнего отца Никодима. Тебя же, отче, прошу, благослови на большой образ. Давно хочу написать «Хваление»... Есть у меня одна мысль дерзновенная, немного художественная. Ах, как красиво я задумала, не совсем по канону... Благословишь ли?

Смолodu, Мишенька, я была очень тщеславна, и до сих пор осталось во мне это чувство – вот ты написал мне, что иконы мои тебя радуют, что они открывают окна в небесный мир, как говорил отец Павел Флоренский, а я и рада-счастлива...

У нас весна в самом начале, чудесное время. Цветут яблони и акации, я и люблюсь одной веточкой, которая в окно ко мне заглядывает. Я на первом этаже теперь – по немощи меня со второго этажа вниз переселили, к земле ближе, хорошо. Теперь окошечко мое выходит на кладбище, скоро буду с кладбища на свое окошко поглядывать. Последние две могилы монашеские – матери и дочери, их год тому назад прямо в келье араб безумный зарезал, две могилки рядом – уютно, по-семейному. Мать была глупа как стена, но доброе сердце, дочь поумней, но не так сердечна. Я уж просила мне рядом место зарезервировать.

Целую тебя, Мишенька, крестничек мой дорогой. Помню тебя всегда, и ты не забывай обо мне в своих молитвенных трудах. Господь благословит тебя. Поцелуй Ниночку и деток.

Мать Иоанна.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
37  
Июнь, 1982 г., деревня Тишкино.

Отец Михаил – матери Иоанне

Дорогая матушка Иоанна!

Письмо твое пробудило давние детские воспоминания. Ведь и я помню, как сидел на руках у тебя, у Марфиньки, Марии Кузьминичны, как старец меня баловал. Удивительные времена нам были показаны, удивительные люди. Не устаю благодарить за всех вас, живых и ушедших, с которыми меня соединила Церковь со столь раннего возраста. Ты в этом отношении еще богаче меня – скольких истинно святых людей ты знала, какой подвиг совершало твое поколение. Теперешние гонения ни в какое сравнение не идут с теми, которые выпали на вашу долю. Две недели назад, после Пасхи, я ездил в Загорск, пошел в сторону Марфинькиного дома – там новостройка. Пятиэтажный дом стоит. Сердце мое зашлось – ведь старец был похоронен в подвале ее домишки. И по тогдашним временам все это было страшно и удивительно – и то, что скрывался он восемь лет от розыска, и что никто не донес на него, и что служил литургию втайне, в подвале, и собирались к нему по ночам, как в древние времена, ученики, все больше старушки, но ведь и детей своих приводили. Семи лет я ему стал прислуживать, и никогда с тех пор не было у меня чувства такой совершенной полноты присутствия, как рядом с батюшкой Серафимом. Конечно, все эти советскую власть не принявшие священники, которые пошли тогда против воли ослабевшей Церкви, оказались духовно сильнее, чем власть принявшие, и были они – лично – святыми, но теперь, по прошествии стольких лет и после завещания отца Серафима, который велел своим духовным детям идти в Церковь и маленький этот раскол отменить, только теперь я начинаю понимать, как тяжело для отца Серафима было это решение. В этом завещании было его покаяние перед Церковью. Мы все, кто помнит его, прекрасно понимаем разницу между государственной властью, церковной властью и властью Господа нашего Иисуса Христа, и на нее одну и уповаем, к ней прибегаем.

Растекся мыслю по древу, главного не сказал: перед тем как дом Марфиньки сносить, батюшку перезахоронили, и опять тайно. Останки перенесли на Александровское кладбище, рядом с собором, где настоятелем отец С., тебе прекрасно известный. Кладбище давно закрытое, в одну из святых могил и положили, и отец С. ночью отслужил панихиду. Тоже из породы праведников, светится.

За Терезу тебе спасибо. Она мятущаяся душа, страдающая, все ты видишь и сама. Что же касается твоего «нрава», я ему доверяю. Ефим, ее спутник жизни, человек очень одаренный, но не нашедший своего правильного места. Возможно, издательство религиозной литературы было бы хорошим для него местом. Я со своей стороны написал им рекомендательное письмо, но не знаю, насколько веско там мое слово.

Известие твое про Федора Кривцова меня очень изумило – Федора я знал лет десять тому назад. Он человек оригинальный, искатель истины. Когда мы с ним сошлись, он уже побывал в буддистах, но у Будды истины не нашел. Обратился в православие горячо и страстно, мечтал о монашестве. Два года мы с ним общались, он даже поселился у нас в Тишкине, а потом соблазнил здешнюю девушку и сбежал. Растворился. Слышал, что жил он послушником в одном из монастырей в Мордовии, чуть ли не в скиту. Так что твое известие, что он прибыл из Афона, для меня совершеннейшая новость. Близко мы с ним не сходились, ты знаешь, я всегда немного побаиваюсь слишком страстных в вере людей, а от него шел огонь неопитства. Еще помню, что он из партийной семьи, отец даже как будто был мелким партийным начальником, и родители его с ним порвали, дошло до взаимного проклятия. Я и понятия не имел, что он добрался до самого Афона. Очень интересно было бы с ним пообщаться. Передавай ему поклон от меня.

Есть еще одно сообщение приятное, но одновременно и несколько тревожное: Нина ожидает ребенка, она на шестом месяце, и кровяное давление все время очень высокое. Она уже пролежала в больнице две недели, врачи требовали избавиться от ребенка, считая, что для нее жизненная опасность в беременности. Она отказалась, и теперь мы всецело положились на Господа. Она лежит, почти не вставая. Девочки ведут себя очень заботливо, даже самоотверженно, хотя совсем еще невелики. Тетя Паша по-прежнему живет с нами, много делает по хозяйству, но она уже в возрасте, ей, конечно, трудно. Вот такие обстоятельства, дорогая матушка.



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Кончаю писать – уже второй час, а мне вставать в половине пятого. Всегдашняя моя неорганизованность – ничего не успеваю. Все собираюсь написать тебе длинное и обстоятельное письмо, но время.. время.. не хватает. Целую тебя. Посылаю благословение на ту работу, о которой ты мне сообщала. Жду фотографии. И тебе посылаю фотографии Катеньки и Веры.

Твой любящий Михаил.

38

Январь, 1983 г., Иерусалим.

Федор Кривцов – отцу Михаилу в Тишкино

Дорогой отец Михаил!

Я счастлив очень, что матушка дала мне твой адрес и сказала, чтоб я написал тебе, как жил-поживал все это время. Долго, правда, писать, но я коротким способом попробую. Сколько же лет прошло с тех пор, как я покинул Москву? Уехал сначала в Мордовию, два года там в послушниках жил, потом на Валаам, а уж оттуда сподобил меня Бог добраться до самого Афона. В Салониках дали мне демонтирий – пропуск на Афон. Там наше консульство было, они поддерживали, указание было, чтобы не препятствовали. Русских на Афоне теперь мало, больше болгары, сербы, румыны. Греки, само собой. Русской земли там много, населения русского мало. А мне тогда что русские, что греки – все едино. Я не понимал, потом понимать стал, что политика – одно дело, а духовное делание – другое. И политика к нам отношения не имеет.

Перво-наперво попал я в Карулю-скит, на склоне горы, а внизу пристань Арсана. С мулами по тропке вниз-вверх ходят, мешки вверх тащат с едой, с зеленью. Рыбаки другой раз рыбу оставляют. Я пришел к старцу Паисию. Он спросил, на что я приехал. Я сказал, что хочу на Афоне пожить. Ты, говорит, турист? Нет, только виза туристическая, – честно я ему сказал. Он мне говорит: здесь туристов нет, здесь не живут, здесь спасаются. Ты монах? Я ведь послушник, не монах. Я, может, потому и до Афона дошел, что решиться не могу. Но я молчу, а он сам мне говорит: если у кого хоть на 1 % сомнения, если в миру что-то держит, то этот процент перевесит. Живи, говорит.

И я остался. Послушание мое было строгое, хотя и самое простое, я ладан варил. Смолу ливанского кедра в Грецию привозят, но не из Ливана, из Эфиопии, и везут на Афон. Здесь и варят. Работа тяжелая, пока эту смолу в мельнице смелешь. Мельница не ручная, а вроде маленькой бетономешалки, потом ароматов добавляешь, святой воды или масло-анфолодо, и до теста все мешаешь. Магнезии чуток подбрасываешь. Вроде муки. Потом скалочкой тесто раскатываешь в блин и на квадратики двуручным ножом режешь. Как квадратики подсохнут, и ладан готов. Производство вредное, в масках-респираторах, в перчатках работали. Сдавали в Пантелеймонов монастырь. Три года так прослужил. Жил я не в монастыре, а в келье. Поблизости от монастыря множество келий: какие в горе вырублены, которые из камня сложены. Была одна заброшенная с прошлого века, мне там разрешили поселиться, но к старцу редко допускали. На службе больше его видел. Но другой раз подзовет, скажет что-нибудь или подарит. Я к нему два раза ходил, просился в иноки. А он все говорит мне – один процент!

Потом другое послушание было. Последнее время уже при старце жил. У него «омология» на келью, вроде разрешения. Келья монастырю принадлежит. Старец живет, а когда умирает, другому передает, обычно к ученику переходит. Но старец сам назначает, кому после него жить. И мне сказал – тебе здесь не жить, и записал в «омологию» одного инока из Новочеркаска. Я и уехал.

Дело, однако, в том, что на Афоне хозяйка не кто другой, как Божья Матерь. Кого Она примет, тот живет, а кого не примет, тот уезжает. Меня Она пять годков терпела. С Афона не выгоняют никого. Кто приживется, тот живет.

А кого там только нет! К примеру скажу, zeloty там греческие, ревнителы. Синодов новых поразвели. Есть старостильники. Живут по старому календарю, нового стиля не признают. До драки между ними дело порой доходит. Из кельи в келью друг другу анафемы посылают – а Божья Матерь их терпит. А меня не приняла.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Скажу так: не сложилось. Тоскую по сей день. Вот теперь попал в Иерусалим. Не разберусь – так все путано!

Отче! Как хорошо мне у тебя в Тишкине было! Ты что сказал – я то и принял. А здесь понять невозможно. Столько церквей, столько престолов, но Истинное православие – где оно? Такую смуту я теперь переживаю, что не передать. У русских расколов не меньше, чем у греков. Хожу по разным местам, больше к грекам. Язык греческий я на Афоне не то что уж совсем выучил, но понимать могу, читаю. То здесь постою, то там – душа мятется, места не находит. Но и в Россию не могу. Побуду здесь, на Святой земле, может, найду себе какую обитель тихую, старца. Вот был же на Афоне Иосиф Исихаст, в недавние времена умер, в 57-м году. Может, и здесь найду я, к кому прибиться. Сорок лет уже скоро стукнет, а решимости все нет. Не могу от мира отречься. В том году надумал жениться на гречанке, хорошей женщине, вдовой, в Салониках. Но так обернулось, что еле ноги унес.

Вспоминаю я, отец Михаил, как ты меня напутствовал: не ходи в монахи, не ходи по монастырям, работай около церкви по своему дарованию. А меня гордыня обуяла – думал, почему ты в священники вышел, а мне церковный двор мести? А если бы я, как ты тогда говорил, женился бы на Верочке Степашиной, все бы и образовалось. А как она, Верочка, небось, замужем и детей дюжину нарожала? Так растревожило мне душу это письмо, вспомнил, как в Тишкине жил, как брат мой из Нальчика приехал да напился, что в больницу его повезли откачивать. Матушке Нине поклон. Я еще напишу, если благословите. С братским целованием раб божий Федор Кривцов. Это я так сам себя теперь прозываю – иноком не стал, из послушников вышел. Все Истину ищу. Здесь. На Святой земле столько всяких святых мест, а Истину все найти не могу.

39  
1982 г., Кфар Саба.

Тереза – Валентине Фердинандовне

Дорогая Валентина!

Как приятно мне, хотя и трудно немного, обращаться к Вам по имени. Но эта краткая форма, конечно, соответствует той особой близости, какой не было у меня ни с кем и никогда. Ваше последнее письмо я выучила почти наизусть, столь важными и точными показались мне высказанные Вами мысли. Особенно горькие слова о верности. О невозможности человеческой верности... Казалось бы, Евангелия наизусть знаю, и никогда прежде не приходила мысль о том, что даже апостол Петр трижды отрекся, и в этом знак невозможности для обычного человека быть верным. Но ведь если смотреть с той высоты, на которой находится Спаситель, может, невелика и разница между страхом, побуждающим Петра к отречению, и завистью, побуждающей Иуду к предательству. Горькая мысль. Я рассказала Ефиму о Вашем письме, и он очень серьезно к нему отнесся. Прочитал мне целую лекцию. Вы, возможно, все это знаете, но перескажу вкратце то, что он говорил, – мне показалось это очень важным: у евреев совершается чтение молитвы «КОЛ НИДРЕ» – освобождение от обетов и клятв, которые давал человек. Раз в году совершается такая служба, в самый важный еврейский праздник, в Судный день. Именно в этот день совершается покаяние и отпущение грехов. После троекратного произнесения молитвы обеты как бы аннулируются. Это очень глубокое проникновение в человеческую природу и великое снисхождение к человеческой слабости. Я бы даже сказала, что в этом «КОЛ НИДРЕ» реализуется милосердие Божие.

Ефим говорил о множестве очень интересных исторических деталей. Например, молитва «КОЛ НИДРЕ» служила многие века основанием считать евреев «неблагонадежными», поскольку люди, с такой легкостью отрекающиеся от своих обетов, не могут быть надежными партнерами в делах. А я подумала о большой мудрости и понимании психологии человека теми учителями, которые ввели эту молитву в религиозный обиход. Образованность Ефима такова, что всякий заданный вопрос дает ему повод для интереснейшей лекции. Я думаю, что в преподавании и есть его настоящее призвание. Ничтожная работа, которую он теперь выполняет, совершенно не соответствует ни его возможностям, ни его склонностям. Мы оба тяжело переживаем наше странное положение. Мои намерения найти себе подходящий по духу монастырь улетучились – нет такого места на свете, которое приняло бы меня. Я легко могу себе представить, что могла бы быть помощницей Ефиму, но и он

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru пока не может найти себе правильного и достойного применения.

Ночные мои тревоги передаются и ему, и все чаще мы проводим ночи в совместном бдении.

На прошлой неделе опять была в Хайфе у брата Даниэля. Удивительно радостный дух около него. Мне кажется, в его общине действительно есть что-то от первохристианских времен.

Так я увлеклась, что забыла Вас поблагодарить за присылку Вашего нового перевода. Признаюсь, что пока только прочитала Ваше предисловие, и оно само по себе значительно. Ваша мысль о хрупкости слова, о его смертности, о его изменчивости – это очень глубоко. В последнее время я читаю больше не синоптиков, а именно Иоанна. И, как всегда, Деяния да Псалтирь.

Передайте от нас с Ефимом мою благодарность отцу Михаилу – наша с ним предотъездная встреча была очень полезна. Строгая его крестная мать монахиня Иоанна, принявшая меня поначалу с подозрением, сейчас подобрела, добыла адрес издательства, Ефим связался с Ир. Ал., и сейчас у них идут переговоры, насколько он для издательства может быть полезен. Я-то уверена, что они совершат большую ошибку, если не предложат ему работу: ну как людям объяснить их же собственную пользу?

Знали ли Вы эту самую мать Иоанну прежде, в России? Она здесь живет много лет, в монастыре на особом положении, потому что пишет иконы, я в иконописи плохо понимаю, но в занятии этом есть большая прелесть – у нее столик или мольберт, не знаю, как называется, плоские с тертыми красками, все такое привлекательное, притягательное, и одна икона почти закончена – Петр на водах. Я посмотрела, у меня просто дух перехватило – ну точно про меня. Вода заливаает, а руки-то не вижу... Переход мой в православие был скоростной, отчасти и вынужденный, но теперь постепенно я вникаю, вижу большую теплоту, и через иконопись тоже. Ефим говорит, что в службе православной содержится большое богатство, но мне не просто туда входить... В Московской миссии нас не привечают, зарубежники потеплее, но это уж Ефима дело решать... Да и как свыше... Сделаю горькое признание – чувствую себя никем... Не католичкой, не православной, в каком-то неопределенном пространстве, совершенно непривычном.

Целую Вас, дорогая Валентина, и прошу Ваших молитв.

Всегда Вас помнящая Тереза.

40  
1982 г., Хайфа.

Беседа Даниэля с Ефимом Довитасом

ДАНИЭЛЬ. Как это по-русски – мы немного... земельцы? Земляки?

ЕФИМ. Земляки. Да, Литва, Польша – близко. Ты скучаешь по Польше?

ДАНИЭЛЬ. Я люблю Польшу. Но не скучаю. А ты?

ЕФИМ. Ммм... Здесь я больше всего скучаю по православию. Не нахожу его здесь, а оно и есть мой родной дом.

ДАНИЭЛЬ. Ты еврей. Что тебе православие?

ЕФИМ. Я десять лет провел в церкви. Я люблю православие. Я священник. Церковь меня не захотела.

ДАНИЭЛЬ. Здесь церковей – десятка два православных, столько же католических, сотня протестантских. Можешь выбирать. Большой базар.

ЕФИМ. Я не знал, что меня тут ожидает. Настоящее православие – вот чего я ищу!

ДАНИЭЛЬ. Слушай, настоящего – чего? – ты ищешь? А Христа ты не ищешь? Он здесь, на этой земле! Почему Его надо искать в церковных учениях, которые появились

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru через тысячу лет после Его смерти? Ищи Его здесь! Ищи в Евангелии.

ЕФИМ. Это верно. Но я встретил Его в глубине православия. В церковной службе, которую я так люблю. Я встречаю Его в литургии.

ДАНИЭЛЬ. Ты прав. Прав. Извини мою горячность. Наверное, это мое больное место. Дело в том, что я половину жизни провел среди людей, ищущих Господа в книгах и обрядах, которые сами же и придумали. А встретить Его можно везде. И в православии, и в литургии, и на берегу реки, и в больнице, и в коровнике... Но ближе всего искать в своей душе.

ЕФИМ. Да, да, отец Даниэль. Конечно. Духовная жизнь – это и есть поиск Господа в глубине своей души.

ДАНИЭЛЬ. Ой-ой-ой! Я как раз очень боюсь духовной жизни. Эта самая духовная жизнь, по моему наблюдению, гораздо чаще увлекает человека сама по себе. Как упражнение. Сколько я встречал небольших людей с очень большой духовной жизнью, и почти всегда оказывалось, что духовная жизнь сводится к копанию в самом себе на весьма небольшой глубине... И все ищут себе духовников!

ЕФИМ. Да. Это действительно проблема. Какая бы ни была духовная жизнь – мелкая или глубокая, – духовник нужен. С тех пор как уехал из Вильнюса и лишился общения с духовником, я чувствую потерю. Невосполнимую потерю.

ДАНИЭЛЬ. Хорошо, хорошо... Прости... Я всегда исхожу из того, что довольно нам одного Учителя. Скажи мне, что это – духовник?

ЕФИМ. Как? Тот, кто руководит духовной жизнью, – чтобы не происходило того, о чем ты говорил: самокопания, самоанализа.

ДАНИЭЛЬ. А ты хорошо умеешь различать – где кончается духовная жизнь и начинается практическая?

ЕФИМ. Нет.

ДАНИЭЛЬ. Ладно. Тогда скажи мне, что тебя сейчас больше всего мучает? Ну? Больше всего?

ЕФИМ. Тереза.

ДАНИЭЛЬ. Твоя жена?

ЕФИМ. У нас духовный союз.

ДАНИЭЛЬ. Я всегда думал, что любой брак духовный союз.

ЕФИМ. Мы живем как брат с сестрой.

ДАНИЭЛЬ. Вместе? Вы живете вместе – и как брат с сестрой? Вы что, святые?

ЕФИМ. Нет. Только искушения как у святых. Тереза годами страдает от ужасных посещений, но я не могу тебе об этом говорить. Последний год я ощутил на себе это ужасное присутствие.

ДАНИЭЛЬ. Молчи, молчи! Ничего мне не говори! Я не духовник! Мой брат всегда говорит, что я обыкновенный социальный работник, но без зарплаты. Так вы состоите в браке, живете в одной квартире и не спите в одной постели?

ЕФИМ. Так мы решили с самого начала... Терезу выгнали из монастыря, она была в отчаянии. Меня, напротив, в монастырь не брали, а рукоположить не могли, потому что я был не женат... Такая была сложная проблема... И мы обвенчались, чтобы меня рукоположили.

ДАНИЭЛЬ. Так у вас фиктивный брак! Зачем такие сложности? Иди и спи со своей женой! Сколько тебе лет?

ЕФИМ. Сорок один.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
ДАНИЭЛЬ. А Терезе?

ЕФИМ. Сорок один.

ДАНИЭЛЬ. Так иди и поторопись! Потом женщины перестают рожать. Вы родите детей, и не будет у тебя никаких духовных проблем.

ЕФИМ. Я не понимаю. Ты, монах, говоришь мне такие вещи?

ДАНИЭЛЬ. Ну и что – монах? Это мое дело, что я монах. Мне жизнь была подарена, и я свою обещался подарить. И все. Но ты еврей, а евреи никогда не знали монашества. Даже в общине у ессеев были женатые люди, не все безбрачные. Сирийцы и греки придумали монашество. Они много чего придумали, что к нам не имеет отношения. Иди к своей жене. Тебе нужен духовник? Тебе нужно, чтобы за тебя принимали решения? Хорошо! Я беру на себя! Иди и спи со своей женой...

41

1983 г., кфар Саба.

Тереза – Валентине Фердинандовне

Милая Валентина!

Ваши письма очень поддерживают меня, и последнее, где Вы пишете о Вашей поездке в Литву, к патеру S., наполнило меня грустью. Как много я потеряла! Но как много и приобрела! Я не могу сказать, что теперешняя жизнь хуже или лучше моего прошлого, но изменения такие глубокие, что и сравнивать нельзя. Наконец-то вокруг нас появилось несколько единомышленников, из числа прихожан брата Даниэля. Конечно, это не то, к чему мы привыкли дома, здесь все гораздо разнообразнее, и люди тоже – из разных стран и городов, даже по-русски все говорят по-разному.

Ефим чувствует себя, конечно, одиноким, но для нас, когда мы вдвоем, одиночество уже не так трудно. Мы оба страдаем от церковной неустроенности, нет полного удовлетворения от того, что мы сейчас имеем. Ефим ездит в Русскую Зарубежную церковь – отношения его с «красной» церковью совсем не сложились. Иногда навещаем католиков – своеобразный приход отца Даниэля, который служит на иврите католическую мессу. В иврите я уже несколько продвинулась, могу немного разговаривать. Но о самом важном, о самом сокровенном говорить не с кем, и только с Вами я могу обсудить личную жизнь.

Милая Валентина, Вы были замужем двадцать лет, и обет приняли уже после смерти супруга – это лучшее, что может сделать вдова. У Вас иной опыт, но Вы поймете меня лучше, чем кто бы то ни было, потому что Вам знакомы оба эти состояния – и замужней женщины, и монахини. Хотя, конечно, монашество тайное, монашество в миру имеет свои отличительные черты, но многие умудренные опытом люди считают, что это во многих отношениях сложнее. Мне Ваша жизнь кажется образцом женского служения – выйти замуж, быть верной женой, родить ребенка, а овдовев, принять обеты.

А Ваши переводы Евангельских текстов на современный русский язык, открывающие новые смыслы и оттенки, сделанные одним велением сердца, – не есть ли это настоящее монашеское служение?.. Что же касается меня, я в моем пребывании в монастыре не вижу ничего, кроме дисциплинарного подвига. Тот духовный рост, ради которого и существует монашество, не происходил. Смеею даже думать, что моя духовная жизнь с выхода из монастыря стала богаче, а страдания, с этим связанные, представляют собой отдельную школу.

Есть такие интимные вещи, дорогая Валентина, о которых я, наверное, никогда не смогла бы сказать вслух, но написать почему-то проще. Брак наш с Ефимом, задуманный как духовный, таковым не остался и приобрел новый смысл. Конечно, это решение мы никогда бы не смогли принять самостоятельно, мы оба слишком робкие люди для такого дерзкого решения, но помог нам брат Даниэль. Его уж никак нельзя заподозрить в робости: он воевал, работал среди немцев, совершал героические поступки.

Новая супружеская жизнь, с благословения Даниэля, омрачена одним препятствием.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Может быть, мой с детства развившийся страх и отвращение к физическим отношениям между мужчиной и женщиной тому причина, но ворота мои накрепко заперты, и близость наша неполная. Это меня ужасно удручает, потому что годы уже самые критические, и если мы не сможем исполнить главного назначения брака и родить ребенка, не лучше ли нам было оставаться в прежнем состоянии?

Ефим меня утешает, нежен безгранично, из объятий не выпускает, и все мои многолетние страдания, связанные с вражескими посещениями, отошли от меня.

Порой меня омрачают мысли о моем отступничестве – обет свой я нарушила, и только мысль о потомстве, которое могло бы оправдать это нарушение обета, поддерживает меня.

Как всегда, прошу Ваших молитв. Но, может быть, Вы сможете дать мне и какой-то практический совет. Бедный мой муж, который бьется о мое несокрушимое во всех смыслах девство, умоляет меня не огорчаться, говорит, что вполне счастлив, но боюсь, что говорит он это только из милосердия. Я прошу прощения, что обременяю Вас своими мучительными проблемами. Я давно уже хотела написать Вам, но это было очень трудно. И нет другого человека на свете, к которому я могла бы с этим обратиться.

Любящая Тереза.

42

1983 г., Москва.

Валентина Фердинандовна – Терезе

Дорогая моя девочка!

Мы так плотно общаемся с тобой последние годы, что возникает ощущение такого полноценного и богатого общения, а не только переписки. Меня очень встревожило твое последнее письмо. Твой расчет на мой разнообразный житейский опыт, дорогая Тереза, совершенно ошибочен. Брак мой с Аркадием Аристарховичем не был счастливым, и боюсь, что самый главный опыт, который я извлекла из моего замужества, был опыт терпения. Моим родителям Аркадий не нравился, и они не давали мне благословения, но я настояла, и трудный мой брак я связывала впоследствии именно с этим обстоятельством. Я была безумно влюблена, ничего не слышала и не видела. Действительно, он был блестящим человеком, много меня старше, что было для меня особенно притягательно. Уже в первый год, когда я была беременна Кириллом, у Аркадия появилась любовница, и это открытие совершенно меня потрясло. Мы прожили двадцать лет, и я вынуждена была жить в соответствии с его представлениями о браке: он имел полную сексуальную свободу, а я никогда об этом и не помышляла. Самым горьким в моей жизни было то, что Кирилл, вырастая, склонялся к жизненной логике отца и порицал меня за бессловесное служение. Какой-то налет пренебрежения, если не презрения.

Последний год жизни Аркадия Аристарховича, когда он был сильно болен, к нам в дом постоянно приходила его подруга, которая буквально горшки из моих рук вырывала, и я должна была принять это со смирением. И даже на похоронах, у гроба, эта Марианна Николаевна стояла рядом со мной в глубоком трауре. Все это я пишу, чтобы ты поняла, Тереза, что брак мой был очень тяжелым, мучительным, хотя я его берегла до самого конца и никогда не давала Аркадию Аристарховичу развода. Семье не дала распасться. А ведь он много лет об этом меня просил.

Давно умерли родители, и, казалось бы, не имеет никакого значения то, что я вышла замуж без благословения. Но теперь могу тебе сказать, что только в монашестве я нашла свое правильное место: моя добровольная работа, которая мало чем отличается от рабства – ты знаешь, как тяжело мне даются эти ночные труды, – доставляет большое удовлетворение, и это единственное, что я делаю для Господа, и только это и составляет мою радость.

Жизнь моя с семьей моего сына непроста. Совсем в ином роде, чем жизнь с Аркадием. Квартира наша давно стала тесна. С тех пор как родились внуки, я переехала в маленькую комнату, а теперь, когда внуки вышли замуж и плодятся, уже и эта маленькая комната становится роскошью. Кирилл от меня совершенно отдалился, а с его женой никогда близости не было. Пишу это я для того, чтобы ты

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) могла на моем опыте понять, как важно следовать своему предназначению. Может быть, если бы я не послушалась родительского слова, не кинулась в мучительные сложности семейной жизни, а пошла бы с молодых лет в монастырь, жизнь моя была бы благодатнее.

Все это я говорю, чтобы ты подумала, нет ли в твоём странном положении некоторого указания? И какого? Неужели нет в твоём окружении никакого опытного руководителя, который помог бы тебе разрешить эту мучительную ситуацию? Духовные и материальные вещи в нашей жизни очень сильно переплетены, отдельно они не живут.

Я долго думала, чем могу тебе помочь, и в конце концов поговорила с моей старой подругой, она врач-гинеколог, и рассказала, разумеется, не называя никаких имен, о твоей проблеме – именно с точки зрения медицинской. Она мне сказала следующее: то, что с тобой происходит, не такое уж редкое расстройство, называется вагинизм, и им страдают обычно женщины, перенесшие сексуальную травму в детстве или юности. Причина может быть и другая – утолщение девственной плевы, и тогда ее приходится удалять хирургическим путем. Третья, очень редкая причина такого расстройства – опухоль. Она за всю свою сорокалетнюю практику встретила с таким случаем только один раз. Она выслушала меня очень внимательно, но сказала, что отсюда ничем тебе помочь не сможет, а узнав, что ты живешь за границей, уверила меня, что тебе нужен хороший сексолог. Это у нас редкая профессия, а за границей непременно такие службы есть.

Но как она сказала, в любом случае тебе не мешает принимать антиспастики (типа но-шпы) и легкое седативное средство. Надо только узнать, как эти препараты в ваших аптеках называются.

Милая Тереза! Я опять возвращаюсь вспять, к самому главному: как бы ни складывалась жизнь, не надо допускать отчаяния. Конечно, то, что ты сняла с себя обеты, поначалу вызвало у меня почти шок. Но потом я поняла, что твоя попытка жить по-мирскому может означать не капитуляцию, а новый и плодотворный период. Бог даст, наладится ваша жизнь, и Бог пошлет потомство, которое и будет смыслом и оправданием всему.

Мужайся, дорогая Тереза. Шлю тебе свои самые горячие молитвы.

Твоя Валентина.

43  
1984 г., Хайфа.

Хильда – матери

Дорогая мама!

Ну что же ты все не едешь и не едешь? На прошлой неделе Даниэль возил немецкую группу на Синай, и я тоже поехала. И всю дорогу думала: как жаль, что тебя нет. С самого начала это было непередаваемое удовольствие. Просто праздник! Везло на редкость – сначала с микроавтобусом, потому что не было ни одной поломки. Обычно в пути что-то ломается. Даниэль ни разу нигде не заблудился. Повсюду встречали знакомых Даниэля, и нас нигде ни разу не задержали, даже на границе, когда документы проверяли. Даже таможенники оказались приветливыми!

А экскурсовод по Израилю Даниэль – лучший на свете. Как он все показывал и рассказывал! Четыре дня он говорил, а мы смотрели по сторонам. Это было очень сильное переживание – как будто я за четыре дня прожила всю историю от сотворения мира до сегодняшней ночи. Страна наша очень маленькая (я забыла тебе написать, что в прошлом месяце я получила израильское гражданство, потому и говорю теперь «наша»). Но можешь ли ты себе представить, что в этот кусок суши – от Синая до Киннерета – вместились все: колодец, возле которого Авраам принимал таинственных пришельцев, и колодец Иакова, и место, где Иаков всю ночь боролся с невидимым противником, и колодец, в который братья Иосифа его сбросили, а потом достали и продали купцам, и куст, который горел огнем, и голос говорил из него Моисею... а потом и сам Синай, куда мы поднялись ночью, а потом видели рассвет и спустились с горы той самой тропой, по которой спускался Моисей со скрижалями, и много-много такого, что всем известно из Писания, но когда читаешь, это кажется

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru именно отвлеченной историей, преданием, легендой, а когда вот так, садишься в машину и объезжаешь эти места за считанные часы, то понимаешь, что это не история, а география – это было здесь и там, и все делается правдой. Знаешь, откуда такое чувство? Потому что стоят живые свидетели – горы, вад, пещеры, – нам Даниэль показал ту пещеру, где прятался от безумного царя Саула молодой Давид со своей дудкой. Саул вошел и присел по большой нужде, а Давид подкрался и отрезал край плаща, а потом показал ему: видишь, ты был беззащитен, я мог тебя убить, но я не сделал этого, потому что я не враг тебе... И пещера эта – свидетель, и растения, и животные, которые и сейчас живут здесь, как тогда, тоже свидетели. На каждом таком месте мы молились, и все наполнялось таким глубоким смыслом, который описать нельзя. Вообще словами все происходящее очень трудно описывается, они недостаточны и очень приблизительны.

Если бы ты стояла рядом со мной, когда Даниэль служил мессу почти на самой вершине Синая! Восходило солнце, и мне больше всего хотелось умереть прямо сейчас, потому что если я буду долго жить, все сотрется, смоеется, помутнеет от всякой грязи, а в тот момент была такая прозрачность и единение с миром, что это трудно описать. Во всяком случае, это не имело отношения к вере, потому что вера предполагает существование такого, чего не видно, а ты делаешь усилие и ставишь это невидимое и неощутимое на самое главное место и отказываешься от видимых вещей в пользу невидимых. А здесь – всякой вере приходит конец, потому что не надо было никакого усилия, – просто стоишь и счастлив, и до краев наполнен не верой, а уверенностью. Извини ради бога за этот поток слов, но я пишу тебе, чтобы меня не разорвало. Может, и письма-то этого не буду отправлять. Вот утром перечитаю и еще подумаю!

Мамочка! В этом году я приеду к тебе в отпуск, но в будущем уже точно – ты приедешь сюда. Дай мне слово! Я знаю, давно уже догадалась, почему ты не хочешь сюда ехать. Но, знаешь ли, половина немцев, что были в группе, дети тех, кто воевал, и дети эсэсовцев, и все такое, и мы с тобой не единственные потомки тех людей, о которых трудно молиться. Мамочка, я ведь знаю, что ты не любишь евреев, и стыдишься этого, и все равно не любишь. Пожалуйста, приезжай. Не я и не Даниэль, а сама здешняя земля расскажет тебе больше, чем ты знала до этого и о любви, и об истории, и мы поедем с тобой вокруг Киннерета, а потом поднимемся к Цфату, и ты увидишь сверху, какой Киннерет маленький, как продолговатая капля, а вокруг него деревни: кфар Нахум, то есть Капернаум, Магдала, Канна, Гергесин, – и ты сразу ухватишь всю евангельскую историю одним взглядом. И хорошо бы, чтобы это было весной, когда все зелено, в полевых цветах – маках, диких ирисах и дикой горчице.

А теперь не забыть про самое удивительное в нашей поездке. Представь себе, мы уже возвращались домой и проехали поворот на Зихрон Иаков, это совсем недалеко от Хайфы. Вдруг Даниэль тормозит, разворачивается и, ни слова не говоря, везет нас в этот самый городок, – коттеджи красивые, есть и пятиэтажки, в которых живут репатрианты.

Даниэль останавливается на небольшой круглой площади возле кафе и говорит:

– Самое время выпить чашечку кофе! А я отлучусь на полчаса.

И уходит, как-то растворяется между одинаковыми коттеджами. Мы сидим, ждем его. Через полчаса его нет. Он любит говорить, что мы с ним люди очень пунктуальные, но я – по-немецки, а он – по-еврейски. На мой вопрос: а в чем разница? – он отвечает: немец приходит вовремя, а еврей – когда надо!

В общем, он пришел не через полчаса, а через час, но очень довольный. И весь остаток дороги молчал. Правда, к этому времени он уже все равно сорвал голос и мог только шептать.

Мы доехали до Хайфы, всех развезли по местам, приехали в общинный дом, я поставила чайник, Даниэль сел и говорит мне:

– Слушай, Хильда, какой сегодня день. Лет пять назад я получил письмо от одной еврейской старушки, что она хочет креститься. У нее сына оперировали, и была остановка сердца. Старушка уверовала, что Иисус спас сына, потому что русская невестка Вера так усердно молилась, что чуть крышу не унесло. Я тогда к ней приехал. Там целый квартал евреев из России. Все смотрят друг за другом, чуть что не так – пишут доносы. Нет, не все, конечно, но такие есть... В этом смысле



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru что советские, что польские – все одинаковые коммунисты, очень строго смотрят, чтобы другим лишнего не дали. И нашу невестку Веру за ее всем соседям известное христианство слегка притесняют. Старушка хоть и уверовала, но соседям до смерти боится: «Можете ли вы меня так крестить, чтоб ни одна живая душа не знала?»

Старушка крошечная, чуть побольше кошки, но очень светлая. Согнута пополам и еле ноги таскает. Но наготовила что-то такое – пирожки, то-се.

Я на нее посмотрел и говорю: «А чего это вы, Ольга Исааковна, задумали креститься?»

«Сыночек, – говорит, – жив, и я так благодарна, так благодарна Христу. Я видела Его во сне, Он мне говорил – иди, иди сюда! Он меня звал, и это так было весело, как в детстве! Может, я впала в детство? Но когда Он говорил «иди сюда», что другое Он имел в виду? Я рассудила – только креститься. Но втайне! А то соседи раззвонят, а сына с работы выгонят».

Старушка она ветхая, но такая легкая и радостная! Такая веселая старушка любому Богу угодна – пирожки печет, невестку любит.

Я сказал: «Хорошо! я тебя крещу! Ты пока готовься, читай Евангелие со своей невесткой, радуйся и благодари Бога, а перед смертью я тебя крещу. Не сейчас. А то ты, может, передумаешь и начнешь переживать, что Аврааму изменила!»

Я оставил свой телефон, сказал, что если заболит тяжело, пусть невестка мне позвонит, я и приеду. И я забыл об этой старушке. Пока не проехал этот поворот на Зихрон Иаков. Проехал, и меня как по макушке стукнуло: про старушку-то я забыл!

Пока вы кофе пили, я к ним пришел. Невестка высокая, широкая, как дверь, открыла, всплеснула огромными руками: мы вам три дня в монастырь звоним, а они там говорят, что вы в отъезде. Спасибо, что они вам передали. У нас Ольга Исааковна совсем плохая.

Я не стал им говорить, что передал мне про эти звонки Ангел Небесный, когда хлопнул по макушке на повороте. Ольга Исааковна в полном сознании, но еле дышит. Глазки блестят. Увидела меня, слабенько так говорит: «Вы меня задерживаете. Я уже заждалась вас».

Невестка сияет. За ее спиной стоит огромный бородатый муж Давид и два сына, тоже крупные ребята. У меня с собой ничего нет, даже креста. Невестка снимает с шеи крестик – вот. Ну, я и крестил Ольгу Исааковну.

А умерла эта новая христианка Ольга той же ночью. После крещения она заснула и во сне умерла. Утром позвонили. Даниэль сказал: вот работник «последнего часа».

Это Даниэль имел в виду притчу, как нанимают работников, и первым нанятым, кто работал с раннего утра до вечера, заплатили столько же, сколько последним, которые работали только один час.

Мамочка! Пожалуйста, не болей, береги свое здоровье. Я хочу, чтобы мы с тобой ходили здесь по земле ногами, а не только смотрели из окна машины. Пожалуйста, приезжай в Израиль! Здесь такая жизнь горячая.

Всех поцелуй.

Хильда.

44  
1984 г.

Докладная записка

В Латинскую Иерусалимскую Патриархию

монсиньору Рафаилу Ашкури,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
секретарю Патриарха

от Эльдара Халила

(брата Илии)

Довожу до Вашего сведения, что 16 числа прошлого месяца бр. Д., совершая экскурсионную поездку на Синай с группой студентов-теологов из Германии, по дороге, у источника в Табхе, служил под открытым небом мессу, в которой допустил искажения, вместо «Символа веры» прочитав неположенные молитвы на иврите. Какие именно, я не смог распознать, но в последующей беседе, произошедшей за обедом, который сам брат Даниэль приготовил для всей группы, происходила беседа, которую я не понял, поскольку говорили на немецком языке. Однако помощница брата Даниэля сказала мне, что смысл в том, что он не разделяет догмата о Святой Троице и обосновывает это тем, что Сам Христос никогда не говорил о Троице, и придумали Ее греки. Я попросил у Хильды, его помощницы, текст службы, которую он служил, называя ее мессой, и этот текст она обещала мне дать. Я его перешлю Вам, как только она мне его даст.

Прилагаю также запись беседы, которую о. Д. вел в приходском доме незадолго до этой службы, и речь тоже шла о Троице.

В связи с ремонтом в доме моего отца в Хайфе прошу выдать мне пособие на производство ремонта.

Брат Илия.

45  
1984 г.

Настоятелю монастыря «Стелла Марис» от секретаря Иерусалимского Патриарха

Отец Настоятель! Прошу пригласить ко мне для беседы насельника Вашего монастыря брата Даниэля Штайна.

Монсиньор Рафаил Ашкури,  
секретарь Латинского  
Иерусалимского Патриарха.

Провинциалу кармелитского ордена от Иерусалимского Патриарха

Ваше Высокопреподобие!

Прошу рассмотреть дело члена Вашего Ордена брата Даниэля Штайна. По имеющимся у меня сведениям, он совершает грубые нарушения в порядке совершения мессы. На мою просьбу явиться для собеседования он ответил отказом, что представляется мне отступлением от церковной дисциплины. Однако принимая во внимание принадлежность брата Даниэля Штайна Вашему Ордену, прошу провести расследование и соответствующую беседу.

Патриарх Иерусалимский.

46  
1984 г.

В Священную Конгрегацию по вопросам доктрины веры префекту Кардиналу Рокхаузу от генерала Ордена босых кармелитов отца Лаурениса

Ваше Высокопреосвященство!

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
С сожалением вынужден поставить Вас в известность, что внутри вверенного мне Ордена произошло некоторое вероучительное разногласие, связанное с деятельностью одного из наших монахов, священника Д. Штайна. Я получил донесение от Провинциала Ордена относительно проповедей упомянутого священника, по некоторым пунктам расходившихся с церковными догматами и традициями. Среди членов нашего Ордена не так много священников, работающих на приходе, и именно брат Даниэль Штайн имеет приход в городе Хайфа. Благодаря его активной деятельности силами прихожан был восстановлен храм, где он и исполняет свое пастырское служение уже пятнадцать лет.

По государственному закону Израиля миссионерская деятельность в среде иудеев запрещена; между тем мы не раз получали от министерства религий предупреждения, что, по имеющимся у них сведениям, Д. Штайн совершает крещения евреев.

Еще в 1981 году я имел с ним беседу по этому поводу, и он утверждал, что совершал единичные крещения детей, чьи родители-евреи исповедуют католическое вероучение, и он не имеет права отказывать таким людям в крещении. Два других случая, о которых он мне рассказал, касались людей, находящихся при смерти, и он не мог не исполнить свой пастырский и христианский долг. В одном из случаев, касавшемся крещения женщины из России, которая много лет его об этом просила, он сказал, что обещал ей исполнить ее просьбу только в случае близкой кончины. Что и совершил накануне ее смерти. Согласитесь, что в подобной ситуации я не могу поставить ему в вину нарушение закона. Однако увещательная беседа была проведена.

В конце минувшего года я получил от Провинциала Ордена новое послание относительно проповеди отца Даниэля Штайна. Одновременно я получил официальное письмо от Иерусалимского Патриарха по поводу деятельности отца Даниэля Штайна. На этот раз речь шла о более сложной ситуации, поскольку она касается непризнания Штайном главенства Римского Престола в католическом мире и высказанной им абсурдной идеи о долженствующем быть главенстве Иерусалимской Церкви. При этом он имел в виду даже не Иерусалимский Патриархат, а прекратившую свое существование с начала II века Церковь Иакова, брата Господня.

Утверждая эту идею, священник Даниэль Штайн служит мессы на иврите. Поскольку со времен Второго Ватиканского Собора имеется официальное разрешение на церковное служение в поместных церквях на местных языках, это не может вызывать с моей стороны ни осуждения, ни запрета. Его мысли о мультикультурном христианстве тоже представляются мне спорными, но я предпочел бы, чтобы Вы лично обсудили бы со Штайном эти проблемы.

В ходе нашего разговора, опираясь на полученные конфиденциальные сведения, я спросил его, не выпускает ли он из последования мессы «Символа веры». Он признался, что последние годы он не считает возможным произносить текст, некоторые положения которого он не разделяет. На этот раз речь шла об одном из основополагающих догматов Святой Церкви – о Троице. Его соображения представляются мне настолько еретическими, что я не берусь их даже пересказывать, и это является еще одним аргументом в пользу Вашей встречи с ним.

Расхождения воззрений отца Даниэля Штайна с общепринятыми в Святой Церкви традициями столь многочисленны, что я временно запретил ему служение мессы и предоставляю окончательное решение Вашему Высокопреосвященству.

Руководство Ордена готово направить отца Даниэля Штайна в Рим для беседы в любые сроки, которые сочтет приемлемыми Ваше Высокопреосвященство.

Всецело преданный Вам во Христе

генерал Ордена босых кармелитов

отец Лауренис.

47

1984 г., Хайфа.

Из разговора Даниэля и Хильды

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Слушай внимательно и постарайся не перебивать! Ты знаешь, что я ничего хорошего не ждал от поездки в Рим и был готов ко всему. Собственно, самое плохое уже произошло – начальство мне запретило служить, хотя и временно, но я не надеялся, что мне удастся этот запрет снять. Тем более что Префект Конгрегации по вопросам доктрины веры, куда меня вызвали, человек весьма консервативный. С нынешним папой этот Префект представляют собой такую сбалансированную пару, которая удерживает друг друга от крайностей, так что ли выразиться. Но папа способен на движения сердца, я в нем это очень ценю, а Префект сухой, без эмоций, рациональный и очень образованный. У него дюжина дипломов, дюжина языков, и он очень жесткий – таким он мне представлялся, по крайней мере. И внешность соответствующая. Только немного слишком розовый для кабинетного человека. Ну, это к слову!

Я прилетел в Рим за три дня до визита. Я в Риме не первый раз, довольно хорошо его знаю и не люблю, несмотря на его обаяние. И на этот раз я гулял по Риму, и вся моя душа говорила этому городу – нет и нет! Я деревенский человек, и величие города меня отталкивает. Всегда отталкивало. Это какое-то помрачение, что все хотят в городах жить. А Рим – город городов, от него так и веет жестокостью и величием империи. Даже последний исторический Рим, Рим Муссолини, говорит о том же – власть силы над слабым человеком. А в Ватикане это еще сильнее чувствуется.

Накануне аудиенции я целый день ходил по Риму катакомбному – совсем другое дело: тайный, маленький, скрытый мир, желающий от этой городской силы укрыться и создать какое-то независимое существование. Никогда и ни у кого это не получается. Хотя трогает до глубины души. Большая вера, простодушие и дерзость чувствуются в нежелании признавать величие и силу. Я вышел из катакомб совершенно спокойным, перестал беспокоиться по поводу завтрашней встречи.

Вдруг я понял, что иду на исповедание веры и готов говорить все, что думаю, ничего не скрывая и не умалчивая. А там – будь что будет. Хотя я знал, что мой судья отличается от Понтия Пилата тем, что никогда не задаст риторического вопроса «что есть Истина?», а точно знает, что именно она есть.

Префекта я уже видел, первый раз на встрече со священниками Восточной Европы и еще раза два. Но не так близко. Он высокий, ну, ростом высокий. Ты ведь знаешь, Хильда, что из всех рослых людей ты одна не вызываешь у меня внутреннего беспокойства. Очень высокие и очень низкие – разные породы. Ладно. В общем, мне с невысокими людьми комфортнее. Не считая тебя, конечно.

Он сразу же сказал, что читал обо мне, знает о моем военном прошлом и считает, что в Церкви подобные мне священники, прошедшие войну, особенно ценны. И тут я подумал, что никакого толка от этого разговора не получится. Я не стал говорить о реальном смысле всех опытов войны. Подумал: что, он не знает, как война ожесточает, искажает и разрушает человека? Но он очень тонкий собеседник – мгновенно почувствовал мою реакцию, переменял тему:

– Вы служите на иврите?

Я объяснил ему особенности христиан моей общины, для которых иврит часто оказывается единственным общим языком: среди моих прихожан есть пара – она голландка, а он испанец, а говорят они между собой на иврите. Таких немало. Раньше я служил по-польски, а теперь выросло новое поколение, и дети польских католиков уже почти не знают польского. Иврит им родной язык. Кроме того, есть и крещеные евреи, переехавшие из других стран.

Он спросил о переводах, и я сказал, что некоторые переводы уже существовали, некоторые мы сами сделали, а псалмы, к примеру, мы берем из еврейских источников.

Я прекрасно понимал, что у него есть донос, в котором наверняка написано, что я не читаю «Кредо». А что там еще написано, могу только догадываться.

Префект неожиданно пошел мне навстречу – сказал, что христианство было мультикультурным, что ядро, сердцевина должны быть для всех общинами, а оболочка может быть у разных народов разной. Латиноамериканец совсем не похож на поляка или ирландца.

Я страшно обрадовался, я и представить себе не мог, что найду в нем союзника: я

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru пересказал ему мою встречу с одним африканским епископом, который с горечью мне говорил, что он учился в Греции, служил в Риме, усвоил европейскую форму христианства, но он не может требовать от своих прихожан-африканцев стать европейцами.

«Наши традиции древнее, да и Церковь Африканская древнейшая, и мои люди пляшут и поют в храме, как царь Давид, и когда мне говорят, что это неблагочестиво, я могу ответить только одно: мы не греки и не ирландцы!» – вот что он мне сказал. И я сказал, что тоже не понимаю, почему африканцы должны служить по-гречески или по-латински, чтобы понять, что говорил Равви из Назарета!

– Но все-таки Наш Спаситель был не только раввином из Назарета! – заметил Префект.

– Да, не только. Он для меня, как и для апостола Павла, Второй Адам, Господь, Искупитель, Спаситель! Все, во что вы веруете, я в это тоже верую. Но во всех Евангелиях Он «Равви». Так называют его ученики, так называет его народ. И не отнимайте у меня моего «Равви». Потому что это тоже Христос! И я Его хочу спросить о том, что для меня важно, по-еврейски, на Его языке!

Понимаешь, Хильда, я подумал: да, он прав. Священники, прошедшие через войну, чем-то отличаются. Например, я не боюсь сказать то, что я думаю. Если он запретит мне служение, я буду служить один в пещере. Здесь, в Риме, существовала большая еврейская церковь в пещерах. И я сказал:

– Я не могу читать «Кредо» из-за того, что оно содержит греческие понятия. Это греческие слова, греческая поэзия, чуждые мне метафоры. Я не понимаю, что греки говорят о Троице! Равнобедренный треугольник – объяснял мне один грек, и все стороны равны, а если “filioque” не так использовать, то треугольник не будет равнобедренным... Называйте меня как хотите – несторианцем, еретиком, – но до IV века о Троице вообще не говорили, об этом нет ни слова в Евангелии! Это придумали греки, потому что их интересуют философские настроения, а не Единый Бог, и потому что они были политеисты! И еще надо сказать им спасибо, что они не поставили трех богов, а только три лица! Какое лицо? Что такое лицо?

Он нахмурился и сказал:

– Блаженный Августин написал нам...

Я его перебил:

– Я очень люблю мидраши. Притчи. И есть такая притча про Августина, которая мне нравится гораздо больше, чем все его пятнадцать томов о Святой Троице: по преданию, когда Августин прогуливался по берегу моря, размышляя о тайне Святой Троицы, он увидел мальчика, который вырыл ямку в песке и переливал туда воду, которую зачерпывал ракушкой из моря. Блаженный Августин спросил, зачем он это делает.

Мальчик ему ответил:

– Я хочу вычерпать все море в эту ямку!

Августин усмехнулся и сказал, что это невозможно. На что мальчик ему сказал:

– А как же ты своим умом пытаешься исчерпать неисчерпаемую тайну Господню?

И тут же мальчик исчез. Это не помешало Августину написать все его пятнадцать томов.

Ты знаешь, Хильда, я ведь стараюсь больше молчать, но тут меня понесло! Как можно вообще об этом разглагольствовать? Этой высокоумной болтовней непостижимость Творца ставится под сомнение! Они уже постигли, что есть три лица! Как электричество устроено, никто не знает, а как устроен Бог, они знают! У евреев тоже есть такие исследователи, каббала этим занимается! Но меня это не интересует. Господь говорит: «Возьми свой крест и иди!» И человек отвечает «да!» – вот это я понимаю.

Вы, господин Префект, только что говорили о том, что ядро, сердцевина должны

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru быть для всех общими. И эта сердцевина нашей веры – сам Христос. Он есть «необходимое и достаточное». Я вижу в Нем Сына Божия, Спасителя и Учителя, но я не хочу видеть в Нем сторону богословского треугольника. Кто хочет треугольника, пусть треугольнику и поклоняется. Мы не так много о Нем знаем, но несомненно, что Он был еврейский учитель. Оставьте нам Его как Учителя!

Знаешь, Хильда, я, конечно, орал. Но я вижу, он улыбается.

– Сколько, – он говорит, – у тебя прихожан?

– Пятьдесят, шестьдесят. Ну, сто...

Он кивнул. Понял, что он меня не победил. И еще понял, что слушателей у меня немного...

Мы еще с час разговаривали, и разговор был интересный. Он человек глубокий и высокообразованный. В общем, разошлись с миром.

Хильда, я вышел из Конгрегации. Пошел в собор Святого Петра, стал на колени и сказал ему на иврите: «Радуйся, Петр, мы снова здесь! Нас так долго не было, но вот мы!»

Мне кажется, я имел право это сказать: наша маленькая церковь еврейская и христианская. Ведь так, не правда ли?

Я вышел от Петра, сел на ступенях на солнышке, и прямо на меня идет отец Станислав, секретарь папы. Прошлый раз, три года назад, когда я хотел к папе на аудиенцию попасть, он меня не пустил. Ну, это я напрасно, может, так говорю, что он не пустил, так мне показалось... А теперь он вдруг сам ко мне подходит:

– Его Святейшество недавно о тебе вспоминал. Подожди меня здесь, я к тебе скоро выйду.

Я сижу. Странная история. Через пятнадцать минут прибегает отец Станислав – на ужин приглашает. Послезавтра.

Два дня я ходил по Риму. Я люблю ходить пешком, ты знаешь. Рим большой город, я неплохо его знаю, был там четыре раза. Ходил и думал, что я должен сказать папе то, что никто ему не скажет, и другого случая может не представиться. Ничего из важных вещей нельзя упустить – я как перед экзаменом в школе себя чувствовал.

Все время шел дождь – то мелкий, то сильный. А потом начался ливень сильнейший. Одежда промокла насквозь, и я чувствовал, как по спине ползут капли воды. Я шел по широкой пустынной улице, справа и слева ограды, мокрые деревья, уже темнеет, вижу вдали скелет Колизея, и все. Ну, хорошо, доберусь до Колизея, а там сяду в автобус, подумал я. Тут я как раз поравнялся с телефонной будкой. Дверца приоткрылась, и мокрая девчонка крикнула мне по-английски:

– Падре, заходи к нам!

Я заглянул в будку – их там было двое, совсем молоденькие хиппи, мальчик и девочка, обвешанные ожерельями и браслетами из ракушек и цветных камушков. Такие симпатичные детки. Они ужинали. Большая бутылка воды стояла в углу, в руках у них был разломанный багет и несколько помидоров. Я втиснулся – места хватило и на троих.

Они были из Бирмингема. Девочка очень похожа на тебя. И мальчик – тоже на тебя. Они спросили, откуда я взялся, и я сказал, что из Израиля. Они страшно обрадовались и сразу же попросились в гости. Я их пригласил. Они путешествуют автостопом, но когда я сказал, что до Израиля невозможно добраться автостопом, потому что придется плыть через море, они подняли меня на смех – а через Балканы, Болгарию, Турцию, Сирию? Так что жди, моя дорогая, скоро придут. Девочку зовут Патриша, а мальчика... забыл.

Мы съели хлеб с помидорами, поболтали о том о сем, и я оставил их в будке, а сам пошел к автобусу. Монастырское общежитие, в котором я ночевал, было сырым и холодным, вещи мои за ночь не просохли, и я пошел на свидание к Каролу очень чисто вымытым, но совершенно сырым.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Встречает меня Станислав на той же лестнице, где мы столкнулись накануне, и приглашает в папские покои – рядом с собором. Открывается дверь, он ведет меня по коридору в комнату. Ждите. Смотрю – шкафы книжные, библиотека. Стол длинный. Довольно мрачно. Сбоку дверь открывается, выходит папа. Одет просто – сутана белая, на ногах туфли мягкие, кожаные, в дырочках. Вижу, краковские. И носки белые, толстые. Он обнял меня и по животу довольно крепко кулаком:

– Ишь, разъелся! Хорошо тебя кормят?

– Неплохо. Приезжайте, Ваше Святейшество, угостим ближневосточной едой!

– Брат Даниэль, – говорит он, – мы с тобой знакомы больше сорока лет и уже тогда были «на ты», и ты называл меня другим именем.

– Конечно, Лолек, у всех нас было и другое имя.

– Да, дитер. – Он улыбнулся, и это было вроде пропуска в прошлое, приглашение к откровенному разговору. Хильда, я так за него порадовался, он тут мне еще больше понравился. Когда человек так высоко поднимается, он много теряет. А Лолек – нет.

Так и было. Хильда, ну что ты рот открыла? Мы с 45-го года знакомы с папой! Он же из Кракова! А я там был послушником, потом учился. Мы в одной епархии вместе служили. Дружили. Мы много ездили на проповеди, а он тогда не любил разъезжать, и я его иногда заменял. Было такое дело.

Секретарь с нами, стоит рядом, но как будто его и нет. Пошли в часовню – маленькая часовня, лавки с подушками для коленапоклонений.

– Бархатные подушки? – не удержалась Хильда.

– Да, бархатные, и с гербами. Дверей много. В одну сбоку вошел прислужник, внес икону Казанской Божьей Матери. Встали на колени. Молились молча. Потом папа поднялся и повел в столовую..

Длинный стол, человек на двенадцать, три прибора стоят. Я думал, будет ужин на сто человек, а тут – никого.

Дальше он говорит, что давно хотел со мной побеседовать, что ему известно, как сложно положение католического священника и монаха на Святой земле в наше время – тут я немного разозлился:

– В Израиле, – говорю.

Он умница, мгновенно понял, к чему я клоню: государство Ватикан не признает существования Государства Израиль! Повел он разговор очень осторожно. Но, знаешь, без лукавства.

– Конечно, – я говорю, – положение христианина вообще очень сложно, это никогда не было просто! И положение еврея тоже очень непростое, чему и Петр свидетель. А каково быть еврею-христианину в Израиле в XX веке? Непросто! Но такие люди есть, и это меня радует, потому что не так важно, сколько человек в еврейской церкви – десять, сто или тысяча, – но они есть, и это свидетельствует о том, что евреи приняли Христа. Это Церковь Израиля. А Ватикан Израиля не признает.

– Даниэль, я знаю. У нас там арабы-христиане, и мы заложники в каком-то смысле. Политика должна быть взвешенна, чтобы не раздражать арабов – и мусульман, и наших братьев-христиан. Богословских причин нет, есть политические... Ты лучше меня это понимаешь. – Он как будто ждет сочувствия, но я не могу, не могу...

– я бы не хотел быть на твоём месте, – я сказал. – Где политика, там позор.

– Подожди. Подожди немного. Мы и так очень быстро движемся. Люди за нами не успевают... Мысли медленно меняются.

– Но если ты не успеешь, другой может не захотеть, – я все говорил, что думал.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Тут прислужник принес еду. Не по-итальянски, а по-польски: блюдо с закусками – сыр, колбаса краковская. Матка Боска! Я такую колбасу с отъезда из Польши не видел. Еще бутылка воды и графин вина. Еда была польская: суп принесли, потом еще бигос – не понял, в мою ли честь или понтифик держится старых привычек.

– Даниэль, когда ты на деревенском приходе служил, тебе еду приносили? Такую же?  
– спросил он и засмеялся.

И ведь точно, Хильда, приносили. После войны в Польше очень тяжело было. Правда, приносили яйца, пироги, сметану приносили старушки. Польша моя, Польша...

Я столько лет копил то, что должен был ему сказать, вот так, между супом и бигосом, и не мог найти первого слова, но он сам сказал так, что видно было, он готов меня выслушать.

Он сказал:

– Знаешь, Даниэль, этот большой корабль трудно разворачивать. Есть привычка думать определенным образом – и про евреев, и про многое другое... Надо менять направление, но не перевернуть корабль.

– Твой корабль сбросил с борта евреев, и проблема в этом, – я сказал.

Он сидел напротив меня, ну, наискосок, руки у него большие, и папский перстень большой, и голова под белой папской шапочкой – точно кипа, – и слушал внимательно. И тогда я сказал ему все, о чем думал последние годы, что спать мне не дает: Церковь выбросила евреев. Я так думаю. Но не важно, что думаю я, – важно, что думал Павел! Для него «единой, кафоличной и апостольской» была Церковь из евреев и неевреев. Он никогда не представлял себе церковь без евреев. Она, церковь обрезания, имела право решать, кто принадлежит к этой «кафоличности». И Павел приходил в Иерусалим не просто поклониться апостолам Петру, Иакову и Иоанну. Он был посланником дочерней церкви, церкви «от язычников». Он приходил к материнской церкви, к тому первохристианству, к иудеохристианству, потому что в нем видел источник существования. А потом в IV веке, после Константина, дочерняя церковь замещает собой материнскую. И уже не Иерусалим оказывается «праматерью» церковью, и «кафоличность» теперь означает не «единство», не «соборность», не «всемирность», а всего лишь «верность Риму». Греко-римский мир отворачивается от своего источника, от первоначального христианства, которое унаследовало от иудаизма его установку на «ортопраксию», то есть на соблюдение заповедей, на достойное поведение. Быть христианином теперь означает по преимуществу признавать «доктрину», которая исходит из Центра. И с этого момента Церковь не вечный союз с Богом евреев, возобновленный в Иисусе Христе как союз с Богом всех народов, последовавших за Христом, и тем самым подтверждение верности первому, Моисееву Завету. Христианские народы вовсе не Новый Израиль, они – Расширенный Израиль. Все вместе мы, обрезанные и необрезанные, стали Новым Израилем, не в том смысле, что отвергли Старый, а в том, что Израиль расширился на весь мир. И речь идет не о доктрине, а только об образе жизни.

В Евангелии мы находим еврейский вопрос: Равви, что мне делать, чтобы достигнуть спасения? И Учитель не говорит ему – веруй таким-то или таким-то образом! Он говорит: иди и делай то-то и то-то! Именно что – поступай по заповедям Моисеевым! А юноша этот – он уже поступает! Он и не думает заповеди нарушать! И тогда Учитель говорит: с тобой все в порядке! Но если ты хочешь быть совершенным, раздай все имущество и иди за мной! Вот это христианство – все отдать Господу, не десятую часть, не половину, а все! Но сначала научись отдавать, как еврей, десятину... Моисей учил исполнять долг человека перед Господом, а Иисус – исполнять не по долгу, а по любви.

Почему Рим – Церковь-мать? Рим – сестра! Я не против Рима, но я не под Римом! Что это такое – Новый Израиль? Он что, отменяет Старый Израиль?

Павел понимал, что языческие народы – это дикая ветвь, которую привили к природной маслине (Послание к Римлянам 9, 14)! Израиль раскрылся, чтобы принять новые народы. Это не Новый Израиль, отделенный от Старого, это Расширенный Израиль. Павел и представить себе не мог, что будет Церковь без евреев!

Тут он меня остановил и сказал:



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Извини, я ошибался. Я счастлив это сказать.

Хильда, он это сказал, потому что он очень большой человек, больше, чем можно представить!

Он сказал: да, я ошибался и хочу исправить эту ошибку – ты правильно говоришь: Расширенный Израиль!

Но я уже не мог остановиться, я ведь не знаю, увижу ли его когда-нибудь еще, и я должен был сказать ему все!

– У иудеев, как и у христиан, человек стоит в центре, не Бог. Бога никто не видел. В человеке надо видеть Бога. Во Христе, человеке, надо видеть Бога. А у греков в центре – Истина. Принцип Истины. И человека ради этого принципа можно уничтожить. Мне не нужна такая истина, которая уничтожает человека. Больше того, тот, кто уничтожает человека, уничтожает и Бога. Церковь виновата перед евреями! В городе Эмске нас расстреливали на площади между двумя храмами – католическим и православным! Церковь изгнала и прокляла евреев и заплатила за это всеми последующими разделениями, всеми схизмами. И эти разделения покрывают Церковь позором до сегодняшнего дня. Где католичность? Где соборность?

– Я знаю, Даниэль. Я это знаю, – он сказал.

– Мне мало того, что ты это знаешь, – я сказал.

– Не торопись, не торопись. Корабль огромный! – вот что он сказал.

Тут пришел прислужник и принес кисель.

– Что принес? – переспросила Хильда.

– Кисель. Десерт такой. Из вишни. Вроде немецкого грютце. Да, Хильда, я вспомнил – мальчика зовут Джонатан.

– Какого мальчика? – изумилась Хильда.

– Ну, эта парочка хиппи из телефонной будки. Девочка Патриша, мальчик Джонатан. У него заячья губа, довольно аккуратно зашитая. Ты их узнаешь.

48

Из биографии Папы Иоанна Павла II

1981 год. 13 мая на площади Святого Петра турецкий террорист Али Агджа совершает покушение на жизнь Понтифика и тяжело его ранит.

1986 год. 13 апреля впервые с апостольских времен Римский Папа посещает синагогу (в Риме) и приветствует иудеев, называя их «возлюбленными братьями и, можно сказать, старшими».

1986 год. 27 октября по инициативе Иоанна Павла II в городе Ассизи состоится встреча представителей 47 разных христианских церквей и 13 представителей нехристианских религий и происходит совместная молитва.

1992 год. 12 июля Папа Иоанн Павел II объявляет верующим о предстоящей госпитализации в связи с операцией по удалению опухоли в кишечнике.

1993 год. 30 декабря между государством Ватикан и Государством Израиль установлены дипломатические отношения.

1994 год. 29 апреля Иоанн Павел II поскользнулся, выходя из душа, и сломал шейку бедра. Независимые специалисты считают, что с этого момента он начал страдать болезнью Паркинсона.

2000 год. 12 марта в ходе воскресной мессы в соборе Святого Петра папа просит прощения и признает вину Церкви за грехи – преследование евреев, церковные расколы и религиозные войны, крестовые походы и оправдание войн из-за

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru богословских догматов, презрение к меньшинствам и бедным, оправдание рабства – и совершает покаяние (теа сиѳра) за грехи сынов Церкви.

2000 год. 20 марта – начинается папский визит в Израиль, в ходе которого он молится у Стены Плача в Иерусалиме.

2001 год. 4 мая в Афинах папа от имени Церкви просит прощения за разорение Константинополя.

2001 год. 6 мая в Дамаске впервые за время существования Церкви понтифик посещает мечеть.

2004 год. 29 июня имеет место официальный визит Вселенского Константинопольского Патриарха Варфоломея I в Ватикан.

49  
1984 г., Хайфа.

Из дневника Хильды

Встретила Даниэля в аэропорте Лод. Он прилетел из Ватикана. Встречался с папой. Он мне все рассказал. У меня такое чувство, что я стою рядом с горящим кустом. Мне страшно.

50  
1996 г., Хайфа. Ноф А-Галиль. Галилея.

Из разговора Эвы и Авиغدора

ЧЕТВЕРТАЯ КАССЕТА

Восемнадцатого марта 84-го года Даниэлю исполнилось шестьдесят два года. Как раз Пурим. Мы решили устроить ему семейный праздник. День выдался, как по заказу, очень теплый, и все уже зеленело. Милка моя, ты знаешь, из Варшавского гетто. А всякая женщина, пережившая такой голод, немного помешана на еде. Когда она устраивает праздничный стол, она умножает все на десять. Если гостей двадцать человек, она готовит на двести. Ну и тут она размахнулась как на большую свадьбу. А на Пурим, как ты знаешь, полагаются всякие сладости, так что Милка пекла двое суток всякие медовые, ореховые и маковые печенья. Старший зять Адин привез полный багажник мяса и с утра начал готовить шашлык – жег угли, что-то мариновал. Даниэль, конечно, и не подозревал, какой готовится праздник. Внуки наши – тогда было трое мальчиков и две девочки – тоже без дела не сидели, готовили спектакль. Наш большой дом – четыре комнаты и две террасы – был набит, как улей, детворой и едой. Все гудит, трещит и звякает. Мне досталась роль Амана, и уже с утра мне разрисовали все лицо и прилепили висячие рыжие брови.

Дети очень любят Пурим, объедаются сладостями и орут до изнеможения. Режиссером был Моше, второй наш зять. Он нацепил поверх кипы парик из пакли, надел какой-то мешок на себя, а на руки напялил красные резиновые перчатки для огорода – он изображал палача.

Всей семьей мы сделали Даниэлю подарок – на сиденье старого стула слепили целую жизнь из пластилина. Все руку приложили. Конечно, Рут больше всех. В середине стоит Даниэль с посохом, около него три овцы, а вокруг вся наша семья, некоторые очень похожие – Рут лепит с большим сходством, и Арон, ее старший сын, тот у нас вообще имеет прозвище Бецалель, рисует замечательно, художником стал. Так вот, в серединке Даниэль, а по окружности большое шествие из маленьких человечков – евреи в талесах, арабы в куфиях, эфиопы, немцы в ужасных фуражках, даже с маленькими свастиками на рукаве, и много осликов и собачек. Уже когда всех расставили по местам, Милка говорит – смотрите-ка, Хильды здесь нет, и Арон слепил еще и Хильду, очень похожую, длинную, всех выше.

Даниэль обещал приехать часов в семь, но сильно опаздывал. Милка была вне себя от гнева, что еда стынет, а Даниэля все нет. Появился он только к десяти, уже была полная тьма, но дети по всему саду развесили фонари и зажгли факелы. Видела бы ты, как его встретили – звуки трещоток, визг, барабанный бой. Потом подвели его к столу, а там посередине стоит наш подарок, покрытый шелковой скатертью. Даниэль ее снял, и так радовался, и смеялся, и потом весь вечер подходил,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru разглядывал и находил какие-то смешные детали – на спине у Шломы Давид сидит, а на голове у Давида кошка, а Милка с ложкой и кастрюлей, а в кастрюле курица. Все такое маленькое, что Даниэль очки надел...

Внуки мои его обожали, висли на нем, как на дереве.

Ночью, когда Милка все убрала – Даниэль, несмотря на ее бурные протесты, помог ей вымыть посуду, – мы остались вдвоем, и он сказал мне, что его вызывает в Рим Префект Конгрегации по вопросам доктрины веры.

– Инквизиция? Наместник Лойолы на земле? – пошутил я, но Даниэль шутки моей не принял, посмотрел с удивлением и кивнул:

– Нет, Лойола был первым генералом Ордена иезуитов, но никогда не возглавлял инквизицию. На костер, надеюсь, меня не отправят, но какие-нибудь неприятности последуют.

Никогда прежде я не видел его таким расстроенным. Мне хотелось его как-то поддержать, и я сказал:

– Не расстраивайся, в крайнем случае найдем тебе рабочее место у нас в мошаве. Правда, овец мы не держим, так что пастухом тебе уже не бывать, но поставим садовником.

– Нет, я, пожалуй, не поеду. Не поеду – и все.

Недели через три он приезжает к нам, я спрашиваю – ну что, в Рим-то не едешь?

– Придется ехать, но отложил, насколько возможно. До осени. Мне ссора не нужна, мне понимание нужно... – и вздохнул.

В Рим он поехал поздней осенью. Вернулся очень довольный. Ну что, я спросил, на костер не отправили?

– Нет. Наоборот. В Риме был, со старыми приятелями повидался. С поляками. Медовуху пил, краковской колбасой угощали.

– Ну и что, – я говорю, – зачем так далеко ездить, поляков и в Израиле много. Среди своих прихожан поищи!

– Оно так, да все равно приятно из старой жизни приятеля встретить.

– Даниэль, да у тебя друзей полмира.

А он смеется:

– Ну да, полмира. Только не первая половина, а вторая.

Только много времени спустя Хильда сказала, что за приятеля он встретил.

Конец третьей части  
8 июня 2006 г., Москва.

Письмо Людмилы Улицкой Елене Костюкович

Дорогая Ляля!

Отравилась какой-то глупостью. Полтора дня проболела. Прожила целый спектр эмоций: сначала недоумение – я ведь ем все подряд, и никогда со мной ничего не приключается, потом раздражение на себя – зачем это я ем все подряд, ведь томатный сок, который я автоматически тянула в обед, неизвестно сколько дней стоял на буфете. Точно помню, что я его покупала на прошлой неделе для «Кровавой Мери», которую любит кто-то из гостей... Потом я перестала себя ругать, потому что стало совсем уж плохо – никакой таблетки не могла выпить, потому что меня выворачивало каждые полчаса до самого дна. Можешь себе представить, что до сегодняшнего дня болит горло, бока и мышцы живота.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Потом я вспомнила всех моих друзей и родственников, кто прежде смерти долго, мучительно – и терпеливо! – болел, и в который уже раз подумала, что прошение «христианской кончины, мирной, непостыдной и безболезненной» – главнейшая из всех просьб, адресованных к Господу Богу. При этом я пила бесконечно чай с лимоном, потом воду с содой, потом просто воду, потому что уже не было сил даже включить электрический чайник. Как только я переставала пить, рвотные судороги становились совсем непереносимы. Все неприятности происходили исключительно в верхней половине организма.

Потом пришел Андрей и хотел немедленно вызвать «скорую помощь». Почему-то я точно знала, что этого делать не следует. Тогда, Ляля, мне пришло в голову вот что: поскольку к этому времени я, несомненно, выблевала весь томатный сок, я поняла, что извергаю я из себя весь тот кошмар, который я проглотила за последние месяцы чтения – мучительного чтения всех книг об уничтожении евреев во время Второй мировой войны, всех книг по средневековой истории, включая историю Крестовых походов и более раннюю – церковных Соборов, Отцов Церкви от Блаженного Августина до Иоанна Златоуста, все антисемитские опусы, написанные просвещеннейшими и святейшими мужами, я выблевывала все еврейские и нееврейские энциклопедии, которые за последние месяцы прочитала, весь еврейский вопрос, которым я отравилась сильнее, чем томатным соком.

Лялечка! Я ненавижу еврейский вопрос, я отравилась им, а никаким не томатным соком. Это самый гнусный вопрос истории нашей цивилизации. Он должен быть отменен как фиктивный, как несуществующий. Почему все гуманитарные, культурные и философские проблемы – не говоря о чисто религиозных – постоянно танцуют около евреев? Бог насмеялся над своим Избранным народом гораздо больше, чем над всеми прочими! Он ведь знал, что не может человек любить Бога больше, чем себя самого. Это удастся лишь редким избранникам. Даниэль был такой. Еще несколько человек. Для этих людей не существует еврейского вопроса. Он должен быть отменен!

В половине пятого утра я перестала блевать. Часа в два я кое-как поднялась и села заканчивать книжку.

Посылаю тебе третью часть. Осталось немного.

Целую.

Люся.

Часть четвертая

1

1984 г., кфар Саба.

Тереза к Валентине Фердинандовне

Милая, дорогая Валентина!

Кажется, невиданная удача! Когда мы совсем уже потеряли надежду, что Ефим сможет стать служащим священником, вдруг все изменилось как по мановению руки, и столкнул все с мертвой точки, как ни удивительно, Даниэль. Он попал в министерство по делам религий на прием к министру. Министр у них, представьте себе, женщина. Я не знаю, что послужило причиной этой встречи, и даже не знаю, вызывали его из министерства или сам он хотел попасть на этот прием, но разговор шел о существовании христианских церквей в Израиле, и министерша сказала: мы знаем, что вы любите Израиль, и нам нужна такая христианская церковь, которая не ведет тихой подрывной игры против нас. Даниэль сказал, что любит эту землю, водит по ней экскурсии и тоже помогает ее строить, хотя министр может с этим не согласиться. Дама эта довольно молодая и, как сказал Даниэль, очень проницательная, и даже остроумная. Она заметила, что христианское строительство чем дальше, тем больше напоминает Вавилонскую башню, а нам, израильтянам, хотелось бы построить свой небольшой садик в тени большой башни, но на значительном расстоянии, чтобы, обрушившись, она не накрыла наши скромные грядки своими обломками.

Даниэль сказал, что христианство строит отношения между человеком и Богом, и агрессивность современной цивилизации проявляется вне зависимости от конфессии,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) в то время как любой диалог человека и Бога приводит к сдерживанию агрессии и умиротворению.

Она захохотала и сказала, что как раз израильское общество представляет собой полное опровержение его точки зрения, потому что ни в одной стране мира нет такой напряженности на религиозной почве. Даниэль сказал, что ответить на это ему нечего. Тогда она спросила, не смог бы он порекомендовать священников, любящих Израиль, как сам Даниэль, или по крайней мере не питающих к нему ненависти, как большинство ей известных священников. Именно способных к умиротворению, а не к разжиганию межрелигиозных противоречий. И тогда Даниэль назвал Ефима! Я не знаю, как работает этот механизм, но через некоторое время Ефим получил приглашение посетить Русскую духовную миссию и явился в Троицкое подворье. Он полагал, что его примет архимандрит, но принял его человек, представившийся Николаем Ивановичем, и провел с ним собеседование. Николай Иванович вроде кадровика, и можно предположить, что наконец сыграло свою роль письмо от настоятеля из Вильнюса. Теперь Ефим ждет назначения на приход.

Неделю тому назад мы совершили волшебную поездку на Мертвое море и два дня провели в пансионате в одном из старейших кибуцев. У них чудесный ботанический сад, старые дома, построенные еще первыми поселенцами, и один новый гостевой корпус, где сдают комнаты приезжающим. Все очень чисто, красиво, редкие растения, даже баобаб есть. Весь кибуц расположен на горе. В одну сторону открывается вид на Мертвое море, и в хорошую погоду, когда нет дымки, видна Иордания. Зато в другую сторону видно ущелье, по дну которого весной течет река, а потом пересыхает. В этом каменистом ущелье много пещер, и нам показывали одну, в которой, по преданию, скрывался молодой Давид от преследовавшего его царя Саула.

Именно после этого нашего путешествия, которое в каком-то смысле можно назвать свадебным, я могу сказать, что наш брак реализовался. Я знаю, что должна благодарить вас за ваши советы, еще одного здешнего врача, к которому нам пришлось ходить для консультаций, но более всего Бога, который соединил нас по великой милости. Мы с Ефимом очень счастливы и полны упований. Конечно, мы уже не молоды, но наши молитвы о даровании потомства теперь подкреплены необходимыми для этого действиями.

Еще одно существенное и тоже приятное сообщение: от издательства получено предложение, чтобы Ефим редактировал «Чтения о Чтении» – это цикл домашних лекций отца Михаила, который Вам прекрасно известен. Это очень небольшие деньги, но я почти уверена, что издатели оценят Ефима и будут и впредь давать ему работу. Надеюсь, ему в конце концов удастся издать там и свои «Размышления о литургии». Я думаю, что о. Михаил уже знает о благоприятном продвижении, но если нет, сообщите ему, пожалуйста, это радостное известие. В конце этого или в начале будущего года его книга выйдет из печати.

Как только созреют наши новости, я Вам немедленно сообщу...

С любовью, Тереза.

1984 г., Беэр Шева.

Из письма Терезы Валентине Фердинандовне

...душная жара, злая и обезвоживающая. Ветер из пустыни Негев. Я теперь точно знаю, что ад – огненное место, а не ледяное. Горячий одуряющий ветер, который просто выдувает из тебя мозги вместе со всеми мыслями, сердце вместе со всеми чувствами, и ожидаешь ночи, когда не так жарко, но ожидания обмануты, потому что дует хамсин, и ты обращаешься от него в бесчувственную скалу, или в кучку камней, или в горсть песка. Наливаешь в себя каждые пять минут воду, потому что без воды ты превращаешься за пару часов в засохшее растение. Здесь люди не потеют, потому что пот, едва только успевает образоваться и выступить на поверхность кожи, сразу же испаряется, и выпитая вода тоже вся испаряется с кожи. Я почти не могу есть. Иногда ночью сгрызаю яблоко или соленое печенье со сладким чаем.

Ефим смеется, он говорит, что селедка со сладким чаем – любимое еврейское

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru наслаждение. Мы здесь два месяца, и я до сих пор не могла написать письма, потому что не могла встать и взять ручку. Я так похудела, что вещи болтаются на мне как на вешалке. Я думаю, килограммов на десять. Ефим тоже похудел, но он переносит жару гораздо лучше, чем я.

Церковка чудесная, маленькая, сложена из камня, в ней давно никто не служил, потому что последний священник, греческий монах, умер, и прихожане, которых было немного, развеялись. Каково же было изумление Ефима, когда он обнаружил среди новых прихожан несколько евреев из России, причем одна пара из местного университета, преподаватели. Еще пришли две большие бедуинские семьи, несколько греков и японец, женатый на русской израильянке.

Японец перешел в православие из лютеранства. Что происходит в его голове, сам ч..т не разберет, но Ефим очень смешно пересказывал мне их дискуссии об этике, с точки зрения японца-синтоиста и современного христианина.

Когда-то в юности японец был синтоистом, но обратился в лютеранство еще в Японии. Он приехал сюда двадцать лет назад в протестантской группе, с экскурсией, встретил в Старом городе православного монаха, в котором признал учителя, и последовал за ним в православный монастырь под Иерусалимом, где и прожил три года. Этот синтоист-сионист решил здесь временно поселиться, а остался навсегда. По специальности он архитектор, работает сейчас в большой архитектурной фирме. Женится на молодой русской девочке, которая училась в здешнем университете, где он преподавал. Он большой ревнитель православия, и они с Ефимом на этой почве очень сошлись.

Еще один прихожанин – единственный, кто знает службу и хорошо поет, так что выполняет роль и регента, и всего хора, – врач из Ленинграда, Андрей Иосифович, отец большого семейства – у него четверо или пятеро детей. Ефим привел его ко мне, и тот дал мне какие-то гомеопатические лекарства, которые мне как будто немного помогают. Вот такая горстка православных. Все люди, которым трудно. И морально, и материально. Наше положение тоже не улучшилось, а скорее ухудшилось: Ефим теперь не получает пособия, единственное, что он имеет, – нерегулярные деньги от Патриархии, которая зарплаты не выплачивает, а как-то непредсказуемо дает «на нужды». Все решает Николай Иванович, о котором я упоминала, а вовсе не архимандрит, как могло бы прийти в голову. Должность Николая Ивановича в Патриархии – шофер!

Время от времени на меня нападает ужасная тошнота, а такая жара будет стоять по меньшей мере три месяца. Как я это переживу? Потом тоже будет жарко, но уже не так кошмарно...

А вчера приснился странный, очень неприятный сон. Как будто у меня раскрывается живот, наподобие распускающегося цветка, разделяется на лепестки, и из середины вылетает дракон, но ужасно красивый, с цветными шелковыми крыльями в зеленых и розовых разводах, и он улетаёт в небо, и кувыркается очень красиво, и я понимаю, что он не просто летит, а что-то пишет в воздухе своим длинным телом, и замечаю, что в руке у меня нитка, которая его ведет, и это пишет не он, а я, управляя его полетом. А что пишу, не знаю, хотя понимаю, что это очень важное, и если я напрягусь, то пойму... Было очень страшно. Я рассказала Ефиму об этом сне – он удивился, взволновался, потому что привык все мои сны и видения воспринимать то как наваждение, то как психическую болезнь – и сказал, что тоже видел нечто похожее и сон так его смутил, что он решил его мне не рассказывать. А теперь рассказал: приснилось, что у него распался живот на четыре части и вышел разноцветный большой пузырь, вроде мыльного, но более плотный, и тоже оторвался от него и ушел в небо... Сон один и тот же, не правда ли?..

1984 г., Беэр Шева.

Из письма Терезы Валентине Фердинандовне

...Андрей Иосифович зашел в очередной раз, осмотрел меня и спросил, когда у меня были в последний раз месячные. Я не смогла вспомнить. Я так плохо себя чувствовала все это время и так похудела, что даже как-то забыла... Точно, месяца два или больше. Андрей Иосифович велел мне пойти к гинекологу. Валечка! Я у гинеколога не была ни разу в жизни – несколько месяцев назад мы, по Вашей

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru рекомендации, ходили с Ефимом к сексологу, но я не смогла пройти у него медицинский осмотр. Я почувствовала, что лучше мне умереть.

Сексолог не настаивал, сказал, что эта негативная реакция естественна при моей аномалии, и дал нам некоторый комплекс упражнений, которые мы выполняли. Проблема разрешилась. Но мысль идти к гинекологу на осмотр вызвала во мне просто ужас.

Я сказала об этом Андрею Иосифовичу, и тогда он объявил, что подозревает у меня беременность. Я проплакала сутки от страха. Потом пошла по врачам. Дорогая Валентина! Все подтверждается. Врач оказалась, на мое счастье, женщина. Узнав, что мне сорок два года и это моя первая беременность, она выписала мне направление в какое-то особое место, где мне сделают редкие генетические анализы и еще что-то, чего я не поняла. Когда я сказала об этом Ефиму, он замолчал. Молчал дня два, потом сказал мне, что чувствует себя точно как Захария. У него возникла внутренняя потребность в безмолвии: боится спугнуть чудо словом. И я его поняла. Прошу Ваших молитв, дорогая Валентина Фердинандовна. Не беспокойтесь, если не будет от меня писем какое-то время.

2

Февраль, 1985 г., Беэр Шева.

Телеграмма от Ефима Довитаса к Валентине Фердинандовне

РОДИЛСЯ ЧУДЕСНЫЙ МАЛЬЧИК ВЕС 2350 РОСТ 46 СМ ЕФИМ

3

Март, 1985 г., Беэр Шева.

Тереза – Валентине Фердинандовне

Дорогая Валентина!

Мы с малышом вышли из больницы. Он крошечный, очень хорошенький, мы совершенно счастливы. Назвали его Ицхак – как еще могли мы назвать нашего ребенка, дарованного нам в такие годы, при таких обстоятельствах? Переживаем случившееся как Божье чудо. Мальчик не простой, у него синдром Дауна, о котором нам сказали еще в середине беременности. На основании этого диагноза нам предложили от него избавиться. Мы без колебаний отказались, и вот он с нами, наш мальчик. Он очень спокойный, очень миленький, с восточными глазками. Похож на японца. Сосет довольно плохо, но молока у меня много, и я все время сцеживаюсь, потому что он сам пока сосать грудь не может, и я кормлю его своим молоком, но из бутылочки. Это удивительное ощущение – быть втроем. Ефим решил перед крещением сделать ему обрезание. Пригласил знакомого раввина, тот привел специалиста с каменным ножом, как в древности. Я ужасно боялась, но все обошлось без осложнений, и когда ранка зажила, малыша крестили в нашей церкви, и крестил его Даниэль. Родился-то наш сын по его благословию! Даниэль приехал к нам с ворохом подарков, привез даже коляску. Ицхака он из рук не выпускал, прижимал к себе, и я никогда не видела пожилого человека, который так расплывался бы при виде младенца. Может, потому, что малыш действительно страшно милый. В этот же день крестили и дочку Андрея Иосифовича. Пятый ребенок у них. Она родилась на три дня позже нашего. Андрея Иосифовича пригласили в приемники. По сравнению с нашим мальчиком его дочка просто огромная. Брунгильда какая-то. Но у нее родители очень крупные.

Погода сейчас прекрасная – короткая весна еще не кончилась, и жара еще не началась. Одна моя новая подруга предлагает на лето переехать к ней под Тель-Авив, там на море не так жарко, но мы решили не разлучаться, пока нет большой необходимости. Одолжили в банке денег и купили кондиционер. Он ест очень много электричества, но как-нибудь вытянем, главное для нас – не расставаться. Ицхаку полагается отдельное пособие, и это нам поможет расплатиться за кондиционер. Наслаждаемся каждой минутой – малыш придал жизни новый смысл. Прошло чуть больше месяца, как он родился, а мы даже не можем себе представить, как жили без него. Буду писать.

Целую, Тереза.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Да, забыла сообщить, что мать Иоанна написала для маленького Ицхака икону – «Акеда». Жертвоприношение Исаака. На алтаре лежит младенец, рядом стоит Авраам с ножом в руках, а из кустов высовывается белая улыбающаяся морда овна с крутыми завитыми рогами. Как посмотрю на эту икону, слезы наворачиваются. Можете представить, матушка Иоанна приехала на крещение с этой иконой, на монастырской машине, и, между прочим, денег оставила в конверте – ровно стоимость кондиционера. Это я все про чудеса...

P. S. Забыла сказать, что книга отца Михаила вышла, конечно, под псевдонимом, и Ефиму прислали на нее рецензии. Лучшая – из русской зарубежной газеты. Худшая – тоже из русского зарубежья. Ефим сделал ксерокопию, кладу в конверт. Надеюсь, что дойдет. Из России на нее никаких отзывов, думаю, что книга туда просто не дошла.

4  
1985 г.

Из газеты «Русский путь» изд. Париж – Нью-Йорк

Андрей Белов. Чтения о Чтении.  
Издательство «Поиск», Мюнстер.

...Исходный принцип автора заключается в том, что Библия прежде всего историко-литературный памятник, как «Божественная комедия» или «Слово о полку Игореве», и в соответствии с этим автор отводит решающую роль в изучении Библии человеческому знанию – филологии, истории, археологии. Весь этот комплекс наук автор именует «библейской критикой», и его прочтение Библии определяется именно этой установкой. При этом он считает возможным проповедовать странную точку зрения, которая находится в глубоком противоречии с позицией Церкви. Согласно православному учению, Библия – это Слово Божие, то есть единственная в мире книга, автором которой является сам Бог. Роль записывающего текст – пророка или апостола – сводилась лишь к тому, чтобы запечатлеть на человеческом языке сообщаемое Святым Духом Божественное откровение. Но у Андрея Белова есть своя собственная точка зрения.

В православии существует определенная дисциплина ума, основным закон которой заключается в том, что Священное Писание может быть истолковано только в соответствии со Священным преданием Церкви, в согласии с мнением святых отцов. 19-е правило 6-го Вселенского Собора гласит: «Предстоятели церквей должны... поучати весь клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумения и рассуждения истины и не преступая положенных уже пределов и предания Богоносных отец; и аще будет исследуемо Слово Писания, то не инако да изъясняют оное, разве как изложили светила и учителя Церкви в своих писаниях... дабы не уклониться от подобающего».

Это не «узость», не «деспотизм», а принцип Богодухновенности Священного Писания. Поэтому всякие исследования, не имеющие признания со стороны Церкви, неосновательны и вредны.

Андрей Белов, автор этой сомнительной книги, исходит из иных предпосылок. Для изъяснения библейских текстов он приводит наряду со святыми отцами – Иоанном Златоустом и Григорием Нисским – имена еретиков, осужденных Церковью, таких как Феодор Мопсуэльский, Пелагий, даже современных философов-вольнодумцев, вплоть до протоиерея С. Булгакова, Н. Бердяева, В. Соловьева, чей авторитет никак не может быть сопоставлен с авторитетом Отцов Церкви. Но автор идет еще дальше, привлекая аргументы католических и протестантских богословов, а иногда и просто ученых-естествоиспытателей – физиков, биологов и прочих.

Книги подобного рода вредны и разрушительны для православного сознания, и приветствовать их могут лишь люди, глубоко враждебные истинному Православию. Человек, доверившийся идеям, излагаемым Андреем Беловым, попадает в объятия антихристианства, что хуже даже «чистого» атеизма.

Архимандрит Константин (Антиминсов).

5



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
1985 г., Иерусалим.

Мать Иоанна – о. Михаилу в Тишкино

Дорогой Мишенька!

Прислали мне твою книжку «Чтения о Чтении». Название какое-то нескладное. Я начала читать, но дело это медленное, читаю с лупой, глаза совсем стали никудышные. Читать интересно. Вспоминаю нашего старца – как он хорошо говорил: кому мудрости не дано, тот и не мудрствуй, читай в простоте, а кому дано разумение, тот пусть рассуждает о чтении. Библия – книга необъятной глубины, но каждый черпает по мере своих возможностей. Старец, хотя к старости стал смиреннейшим и умалил свое «я» насколько возможно, в молодые годы был образованным человеком, с особыми мнениями и суждениями. Я помню его по религиозно-философскому обществу, и был он прекрасным собеседником и оппонентом величайшим умам нашего времени.

Книга твоя углубляет и расширяет понимание Библии, она дерзновенна, а отчасти и дерзка. Я окружена главным образом людьми малообразованными, смиренными, по большей части монашеского звания, и дело монашеское в наши времена в молитве, как мне представляется, а не в учительстве. Нет теперь учителей в том смысле, как понимала их средневековая Церковь. То были ученые-богословы, толкователи и переводчики, а нынешние больше хранители. И если теперешняя русская власть не совсем раздавила Православие, то заслуга в этом не ученых-богословов, а темных старух и верных священников, которые исповедали Христа до смерти. Нам ли не знать, какая их армия погибла в этой битве.

Может, времена меняются, и теперь уже не только о сохранении надо думать, но и об осмыслении более глубоко.

Твои критические мысли о патриархах, рассмотрение их поступков с позиций сегодняшней морали очень меня волнуют. Мысль твоя об эволюции идеи Бога в истории – откуда взял-то, не сам додумался? – кажется мне отчасти соблазнительной, отчасти захватывающей.

Ты еще пишешь, цитату приводишь о том, что в последние времена начнется «невиданный блуд – человека с материей». Откуда это – в книге не указано. А мысль сама по себе глубочайшая: все эти роботы, машины для поддержания человеческой жизни, когда уж человек мертв, искусственные органы и чуть ли не зачатия в пробирках – как трудно это осмыслить и оценить с христианской точки зрения. Да и голова моя уже не так ясна, как в молодые годы. Еще мне показалось, что библиография в книге не очень хорошо составлена, – или я плохо смотрю, с лупой читать – чистое мученье.

Очень содержательная книга. Я даже удивляюсь, как ты в своей деревне держишь такой хороший уровень. Впрочем, давно уже ясно: стой там, где тебя поставили, а все необходимое само придет.

Сердечный привет твоему семейству. Иконку не пришлю – работать совсем не могу больше. Благослови вас Господь.

С любовью, Иоанна.

6  
Апрель, 1985 г.

Из записки Ефима Довитаса Николаю Ивановичу Майко

...Уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с нашей договоренностью ставлю Вас в известность, что с Нового года было проведено четыре крещальных обряда: крещен мой новорожденный сын Иухак, новорожденная дочь местного врача Андрея Иосифовича Рубина, двоюродная сестра нашего прихожанина Раиса Семеновна Рапопорт в возрасте сорока семи лет и молодой японец, студент местного университета (Яхиро Сумато).

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Рост прихода происходит не только за счет новокрещеных младенцев и взрослых, но прибавление идет и за счет появления новых семейств из переселенцев – семья Луковичей из Белоруссии, молодая пара из Ленинграда по фамилии Каждан. Жена – крещеная еврейка и муж, еще не крещенный, но склонный к принятию христианства. Это прибавление меня радует и дает основания надеяться, что Беэршевская община будет расти и укрепляться.

Конечно, есть трудности. И, памятуя о нашем разговоре, хотел бы просить вас изыскать средства для починки крыши. Места наши не дождливые, и даже, напротив, осадков выпадает в год меньше, чем по всей стране, но и один ливень может попортить скромную роспись. Как оценил работу Андрей Иосифович Рубин, самый информированный из числа прихожан, это около пяти тысяч шекелей. Необходима также и починка крыльца. Частично мы его починили силами прихожан, но одну из опор надо менять, а это уж мы своими руками не сделаем.

Отчетный лист наших расходов я прилагаю. Мною взято на личные нужды из присланной суммы 1200 шекелей. Если бы удалось изыскать возможность выделить мне самое минимальное жалованье, это облегчило бы наше положение, тем более что прибавление семейства влечет за собой дополнительные расходы и временно лишает мою жену возможности работать.

Приглашаем Его Преосвященство посетить наше еженедельное богослужение, которое состоится обычно в воскресенье в 18.30 вечера.

Свящ. Ефим (Довитас).

7

1 апреля 1985 г.

Документ 107-М. Из папки с грифом «СЕКРЕТНО»

Министерство по делам религий

В соответствии с договоренностью посылаю квартальный отчет со списком граждан Государства Израиль, принявших крещение за 1.01–25.03.1985 года в храмах РПЦ.

1. Анищенко Петр Акимович, г. р. 1930, Троицкое Подворье, Иерусалим.
2. Львовская Наталья Аароновна, г. р. 1949 – Эйн Карем, Горенский монастырь.
3. Рухадзе Георгий Ноевич, г. р. 1958 – монастырь Св. Креста в Иерусалиме.
4. Рубина Ева, г. р. 1985, родители Рубин Андрей Иосифович и Рубина Елена Антоновна (до замужества Кондакова) – церковь Св. Иоанна Воина, Беэр Шева.
5. Рапопорт Раиса Семеновна, г. р. 1938 – церковь Св. Иоанна Воина, Беэр Шева.
6. Довитас Исаак, г. р. 1985 – церковь Св. Иоанна Воина, Беэр Шева.

Всего крещено 11 человек, из них граждан Израиля (вышеперечисленных) 6 человек.

Прошу принять к сведению, что мое начальство ожидает ответных шагов, касательно лиц категории ТТ. Надеемся получить соответствующее уведомление не позднее 15.04. с. г.

Н. Майко.

Документ 11/345-Е. Из папки с грифом «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»

Для Н.И. Майко

Ир. Ал. – Кадомцева Ирина Алексеевна, гражданка Франции, издательство «Путь».

Автор – Михаил Кулешев, псевдоним Александр Белов.

Информатор: Еф. Д.

8  
1984 г., Хеврон.

Из письма Гершона Шимеса матери, Зинаиде Генриховне

...подробности. Я был призван на «милуим», это шестинедельная переподготовка для резервистов. Дебора осталась с детьми одна, но команда наша очень крепкая, и я знал, что ей помогут. Характер у Деборы такой, что она терпеть не может ни о чем просить. Все, что может сделать сама, она всегда делает сама. Нужно было в банк, разобраться с кредитом. Она посадила детей в машину и поехала в Иерусалим. От нас идет автобус до Иерусалима около часа, 160-й номер, бронированный и с охраной, но она решила на машине. Не так уж было и срочно, вполне можно было с этими бумагами повременить, ну, там какой-то штраф незначительный. Дети на заднем сиденье – малышка в корзине спала, мальчики с двух сторон корзину поддерживали. На обратном пути, совсем около дома, на перекрестке, как к нам поворачивать, в тридцати метрах от блокпоста, машину обстреляли. Дебора услышала, что стекло сзади разбилось, прибавила газу и через пять минут была дома. Въехала во двор, посмотрела на заднее сиденье – Биньомин сидит в крови, молчит, глаза широко открыты. Но кровь была не его – Арика. Пуля попала в шейку. То ли снайпер был, то ли судьба так распорядилась. Дебора считает, что это месть от тех арабских рабочих, которых я выгнал, когда дом строили. Два месяца не мог тебе написать. Дебора беременна. Молчит, ни слова не говорит. Приезжали ее родители из Бруклина. Сейчас уже уехали. Вот такие дела. Мальчика нашего похоронили на старом еврейском кладбище, где похоронен отец царя Давида Ишай и его прабабка Рут. Арабов тогда еще и в помине не было. Потом этими землями семь веков владели арабы, все запакостили и осквернили. 180 лет назад евреи снова выкупили эти земли, и снова арабы всех вырезали – это было в 1929 году, и вот теперь это кладбище немного восстановили. Наш знакомый художник из Москвы, у которого умер новорожденный ребенок, похоронил его на этом кладбище, конечно, без всякого разрешения властей. Десять лет тому назад. И Дебора решила похоронить нашего мальчика в этом древнем месте. Оттуда открывается вид на всю Иудею. Нашего Арье хоронил весь еврейский Хеврон. Он был любимцем у всех, всегда улыбался, и первое слово, которое он сказал, было "lovely". Дебора старается говорить с детьми на иврите, но все-таки получается, что больше по-английски...

Местный раввин Элияху, с которым мы очень дружны, вскоре после этого ужасного события предложил нам поселиться недалеко от кладбища, и мы продали наш новый дом, и на месте старого еврейского квартала Адмот Ишай поставили караван – семь вагончиков, семь семей. Я хочу построить новый, у меня уже опыт есть. И уйдем мы отсюда только в эту землю. Не пугайся, мама, я надеюсь, что мы будем долго жить и родим здесь новых детей, но я отсюда не уеду никогда – что бы кто ни говорил. Мне плевать, что здесь могилы праотцев. Пусть действительно тут похоронены Адам и Хава, Авраам и Сарра, и Ицхак, и Иаков. Но нас с Деборой держит здесь могила нашего сына, и согласись, что могилы детей – не то же самое, что могилы предков, которым тысячи лет.

Но колодец Авраама действительно рядом с нашим домом. Я посылаю тебе последнюю фотографию Арье и вид от нашего вагончика на землю, с которой мы никогда не уйдем...

Надпись на фотографии: Это наш домик, позади сад, который мы сами посадили. Дебора стоит спиной, и ее огромного пуза не видно.

9  
1984 г., Москва.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Зинаида Генриховна – сыну Гершону

Дорогой сыночка!

Неделю мы плачем над фотографией Арика, которого так и не увидели. Ты знаешь, какие мы пережили потери: умер твой старший брат в десятилетнем возрасте по жуткой ошибке врачей, я потеряла любимого мужа, которому не было и пятидесяти. История нашей семьи ужасна: убивали молодых и старых, женщин и мужчин. Почти никто не умирал в старости в своей постели. Но то, что произошло у вас, просто в голове не укладывается. Зная твоё отвращение к многословию, не буду тебе описывать все наши переживания и мысли по этому поводу, а сообщаю следующее: мы со Светочкой приняли решение ехать в Израиль. Это произойдет не завтра, поскольку, хотя Света уже два месяца как ушла от Сергея и живет с Анечкой дома, но понадобится какое-то время на оформление развода. Мне тоже понадобится время, чтобы закончить дела, довести класс до выпускных экзаменов и оформить пенсию.

Какая паника поднимется в школе, когда я объявлю об уходе! Все преподавание литературы в старших классах лежало на мне, вторая преподавательница очень слабая. Не представляю себе, как эта никчемная Тамара Николаевна будет вести русскую литературу XIX века. Она сама совершенный неуч. Ты, со своей стороны, узнай, какие нам нужны документы здесь, а то, что нужно из Израиля, подготовь сам.

Я все время думаю, что бы сказал покойный Миша в этой ситуации, и я чувствую, что он одобрил бы наше решение. Несмотря на то что вы с отцом постоянно спорили и ссорились, и ты ушел из дома, когда тебе не исполнилось и восемнадцати, отец всегда любил тебя больше всех. Мне даже кажется, что ему нравились именно те черты твоего характера, которыми он сам не обладал.

То, что ты называл трусостью, было на самом деле его безграничной любовью к семье, ко всем нам. Он готов был пойти на все, чтобы сохранить жизнь своих детей. Когда Витенька умер от простого аппендицита, Миша сказал мне – однажды в жизни он позволил себе это произнести! – какое тяжелое семейное проклятие лежит над нами: мой дед хоронил своего сына, и теперь я хороню. Кто мог предположить, что в третий раз такое совершится?..

1984 г., Москва.

Зинаида Генриховна – сыну Гершону

Дорогой Гришенька!

Поздравляю тебя и Дебору с рождением сына! Как же мне хочется посмотреть на твоих деток – такая большая семья, и ты во главе! Конечно, это и в голову не могло прийти ни мне, ни твоему отцу, что ты выберешь такой уклад жизни. Радуюсь от всей души. Могу представить себе, как трудно поднимать столько детей сразу. Во времена моей молодости у всех наших друзей был один-два ребенка, и двое считалось почти героизмом. Пожалуй, единственной многодетной семьей было семейство нашего дворника Рустама, татарина. Ты, конечно, их помнишь – его сын Ахмед учился с тобой в одном классе в начальной школе, а со Светочкой училась Рая. А сколько там было еще детей, даже вспомнить не могу. Только теперь, на старости лет, понимаю, какое это счастье и богатство – иметь много детей.

Светлана с Сергеем развелась, но, к сожалению, он категорически отказался давать Анечке разрешение на выезд. Когда Света пыталась ему объяснить, что у ребенка будут совершенно другие возможности и для образования, и для дальнейшей жизни, он сказал со всей определенностью, что никогда не даст ей никакого разрешения и нечего на это рассчитывать. Света в очень плохом настроении, молчит и плачет, и общаться с ней очень тяжело. Я не думаю, что имею моральное право уезжать без нее. Она беспомощный человек и при всех ее замечательных душевных качествах с трудом справляется с обыкновенными житейскими проблемами. Я уезжала на три дня в Ленинград на семидесятилетие к Александру Александровичу, а приехав, обнаружила, что в доме после моего отъезда прорвало батарею, и через три дня, когда я приехала, все еще стояла вода по углам. Теперь придется что-то делать с полами – паркет встал дыбом, менять очень дорого, вероятно, придется сверху положить

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
линолеум. Если бы она хоть воду сразу же собрала, а не ждала моего приезда. А она плакала... Вот и думай, могу ли я уехать и оставить такого беспомощного человека?

В общем, Гришенька, пока придется подождать. Не могу я подавать документы без нее. Кроме того, я надеюсь, что когда у Сергея появятся новые дети – он женился на своей сослуживице, – он все-таки даст разрешение на Анечкин отъезд.

Присылай, пожалуйста, фотографии – это радость моей жизни смотреть на чудесные детские лица. Все такие красивые!

Не сердись на меня, что я не могу решиться ехать одна. Конечно, я понимаю, что мое место возле моих внуков, я помогала бы Деборе и учила деток русскому языку и литературе. Я бы научила их читать Пушкина и Толстого. Это то, что я действительно умею делать! Меня очень огорчает, что твои детки не говорят по-русски. Если бы ты знал, какая у тебя умненькая и талантливая племянница. И пишет стихи!

Целую тебя, дорогой Гришенька. Я очень жду твоих писем. С тех пор как ты уехал, почтовый ящик занимает в моей жизни огромное место, как в других семьях любимая собака или кошка.

Мама.

10  
1985 г., Хеврон.

Гершон Шимес – Зинаиде Генриховне

Надпись на фотографии:

Мама! Это наш маленький семейный праздник – в этом году мы в первый раз собрали урожай с грядок возле дома. Маленький огород, в котором так старательно возились дети. Кроме наших детей, еще два сына рава Элияху и большая девочка, дочка соседа.

11  
1987 г., Москва.

Зинаида Генриховна – сыну Гершону

Дорогой Гришенька!

Поздравляю тебя и Дебору с рождением сына! Как же мне хочется посмотреть на твоих деток – твоя семья растет, и это большая радость. С трудом представляю тебя в роли патриарха!

Поблагодари Дебору за фотографии – чудесные детки! Вы такая красивая пара! Светочка сразу же обратила внимание на то, что все мальчики унаследовали рыжие волосы матери, а девочка – в тебя. По русскому поверью, когда девочка похожа на отца, это приносит ей счастье. Аня понесла фотографии своих двоюродных братьев и сестер в школу. Она очень гордится ими. Анечка хорошая девочка, отличница. Мы со Светочкой взяли ей педагога по английскому языку, Любовь Сергеевну – ты, может быть, помнишь ее, она вместе со мной работала в школе в семидесятых, а потом поменяла работу.

У меня тоже частные уроки, так что мы вполне управляемся в материальном отношении. Я очень люблю свою профессию, но должна признаться, что репетиторство не дает такого удовлетворения, как уроки в школе. Хотя, конечно, результаты у меня хорошие. В прошлом году у меня было восемь частных учеников и все отлично сдали литературу и поступили в вузы. Как меня огорчает, что твои детки не знают русского языка!

На днях передавали по радио о беспорядках в Хевроне, и я просто трясусь от страха за вашу жизнь. Скажи, дорогой Гришенька, неужели нельзя переехать в более безопасное место? Будь ты один, это можно было бы понять, но семья, пережившая

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru такую трагедию, может ли оставаться в таком опасном месте? Ты же сам говорил о немецких евреях, которые не хотели покидать Германию, когда к власти пришел Гитлер, как о безумцах. Я прекрасно помню твои слова о том, что они были оболочены немецкой культурой, сделали ложный выбор и за это заплатили жизнью своей и своих детей. Зачем же ты, видя такую опасность для жизни, упорно держишься за такое место?

Я знаю, что у тебя свои убеждения и доводы, но ведь в жизни бывают обстоятельства сильнее наших доводов, и жизнь вынуждает иногда идти на компромиссы. Не сердись, что я тебе это говорю, но пойми меня правильно, я так беспокоюсь о тебе и твоих детях.

Целую тебя, мама.

12  
1987 г., Хеврон.

Гершон Шимес – Зинаиде Генриховне

Дорогая мама!

Неужели ты до сих пор не поняла, что речь идет о жизни, а не о выборе места жительства. Еврейская жизнь может реализовываться только на земле Израиля. И речь идет не о воссоединении семей, а о восстановлении судьбы и истории в высшем смысле. Ты не понимаешь, почему мы здесь!

Двадцать лет тому назад генерал и раввин Армии Обороны Израиля Шломо Горен вошел в пещеру Махпела, внес туда свиток Торы и помолился впервые за 700 лет. С 1226 года евреям и христианам был запрещен вход в это святое место. Рав Шломо Горен въехал в Хеврон на джипе, с единственным шофером, впереди всей армии, и с тех пор сюда вернулись евреи. Я отсюда не уйду.

Мы здесь живем и будем жить, и прошу тебя, не нужно этих жалких слов, а то я теряю последние остатки сентиментального отношения к близким родственникам. Твой лепет насчет Светочки и ее проблем с бывшим мужем просто смешон. Мое мнение – ты должна приехать для того, чтобы твоя внучка могла жить на этой земле. По еврейским законам ребенок, рожденный матерью-еврейкой, – еврей. За возможность сюда переехать я отсидел пять лет в лагерях. Оставаясь в России, вы лишаете себя будущего.

Мне смешны твои слова о том, что ты будешь учить моих детей русскому языку. У них два языка – иврит и английский. Дебора считает нужным дать им английский, и я не возражаю. Но все дети получат религиозное воспитание и уже его получают. Раввин Элияху занимается с детьми, в нашем поселке детей в пять раз больше, чем взрослых. Все они родились рядом с могилами праотцев, и вряд ли им понадобится язык Пушкина и Толстого, как ты выражаешься. Когда в тринадцать лет мои сыновья будут проходить бар-мицву, Тору они будут читать на иврите. И поверь, старший уже сейчас делает большие успехи в учении. Это поколение детей должно уметь одинаково хорошо читать Тору и держать автомат. Младшего сына мы называли Иегуда.

Если хочешь, чтобы я тебе отвечал на письма, прошу тебя не писать мне глупостей и поменьше давать советов. Для этого у тебя есть дочка Светочка.

Твой сын Гершон.

13  
1989 г., Москва.

Зинаида Генриховна – сыну Гершону

Дорогой Гришенька!

Не знаю, порадует ли тебя мое сообщение или, напротив, расстроит. Светочка выходит замуж. С одной стороны, я очень рада за нее, с другой – понимаю, что это опять поменяет все планы. Ты должен помнить ее нового избранника – это ее одноклассник Слава Казаков. Он в нее был влюблен с шестого класса, но она

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru совершенно не обращала на него внимания. Представь себе, у них был школьный вечер встречи, они заново встретились, и разгорелись новые отношения. Он уже переехал к нам. Светочка просто расцвела – он необыкновенно заботлив, внимателен. Между прочим, и к Анечке прекрасно относится. Ты ведь знаешь, как сейчас трудно прожить – я стою в очередях с утра до обеда, чтобы купить какие-нибудь продукты, после обеда в магазинах вообще ничего нет. Хорошо, что у Светы на работе время от времени выдают продовольственные заказы! Да и Славина сестра работает товароведом в универмаге, и у нее хорошие связи с продовольственными магазинами, так что и Слава раз в неделю привозит сумки – мясо, сыр, греча. Это в большой мере освобождает меня от утренней беготни.

Анечку приняли в балетную школу, с сентября я вожу ее на занятия. Она очень увлечена, все время танцует и слушает музыку. Оказалось, что она очень музыкальна. Ты писал, что Шошана тоже занимается музыкой. Это, несомненно, наследственность от дедушки. Миша был очень одарен, любой музыкальный инструмент осваивал очень быстро, даже на гармонии научился играть.

Я посылаю тебе фотографию Анечки, чтобы твои дети знали, какая у них есть сестричка в Москве.

У твоей тети Риммы, о которой ты никогда не спрашиваешь, нашли рак молочной железы, положили в больницу, сделали операцию, и теперь она проходит курс химиотерапии. Говорят, что в Израиле очень хорошая медицина и там просто чудеса делают. Если бы мы могли ее послать в Израиль на лечение! Ты писал, что у тебя в поселении есть друг-хирург. Может, ты спросишь его, не смогут ли они Риммочке чем-то помочь? Она меня моложе на десять лет и всегда была такая здоровая женщина.

Целую тебя, дорогой сыночек.

Твоя мама.

P. S. Получила ли Дебора игрушки, которые я выслала по почте уже два месяца тому назад?

14  
1990 г., Хеврон.

Гершон – Зинаиде Генриховне в Москву

О чем ты, мама, мне пишешь? Честно говоря, я даже знать об этом не хочу! Помню я этого козла Славу, очень соответствует моей сестричке по уровню идиотизма. Балет, гармонь, продовольственные заказы, бедная Риммочка, которая всю жизнь была сука сукой, и когда меня посадили, боялась вам по телефону звонить – вздор какой-то! Вы живете на другой планете, которая меня совершенно не интересует. Живите как считаете нужным. У нас все в полном порядке. Дебора пришлет тебе фотографии нашей второй дочери, которая родилась две недели назад.

Будьте здоровы.

Гершон.

15  
Декабрь, 1987 г., Хайфа.

Из дневника Хильды

После службы приехал Муса. Поговорить с Даниэлем. Бледный, хмурый. Я таким его никогда не видела. Вдруг поняла, что он просто постарел. Волосы посветлели от седины, а лицо потемнело. Не от загара, а от возраста. И даже рот, такой всегда яркий, поблек и обмяк. Вдруг перехватило сердце – мы оба постарели и любовь нашу бедную придушили... Когда народ разошелся, Муса с Даниэлем сели в нашей каморке, я заварила чай. Муса отказался. Я хотела уйти, Даниэль велел остаться. Не поняла почему. Мне казалось, Муса хочет с ним наедине поговорить. Ладно, я села. Муса достает из кармана арабскую газету, сует Даниэлю. Тот посмотрел, говорит – ты прочитай сам, я ведь плохо читаю по-арабски...

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Муса прочитал выдержки из выступления Арафата: «О героические сыны Газы! О гордые сыны Западного Берега! О мужественные сыны Галилеи! О стойкие сыны Негева! Пламя революции, поднятой против сионистских захватчиков, не угаснет до тех пор, пока наша земля не будет освобождена от алчных оккупантов. Всякому, кто вознамерится остановить интифаду прежде, чем она достигнет своих окончательных целей, я всажу в грудь десяток пуль...»

Положил газету и говорит – ничего хуже этого быть не могло.

У Даниэля тоже лицо осунулось. Головой качает, глаза рукой прикрывает.

– Нам надо куда-то уезжать. Дядя сейчас в Калифорнии. Может, найдет мне работу или к себе возьмет, – сказал Муса.

– Ты израильтянин.

– Я араб. Что с этим делать?

– Ты христианин.

– Я мешок мяса и костей, и четверо детей у меня.

– Молиться и работать, – говорит тихо Даниэль.

– Мои братья-мусульмане молятся пять раз в день! – закричал Муса. – Пять раз совершают намаз! Мне их не перемолить! И молимся мы одному Богу! Единому!

– Не ори, Муса, ты лучше войди в Его положение: одному и тому же Богу евреи молятся об уничтожении арабов, арабы об уничтожении евреев, а что Ему делать?

Муса засмеялся:

– Да, не надо было с дураками связываться!

– Нет у Него других народов, только такие... Я не могу сказать тебе: оставайся здесь, Муса. За эти годы половина моих прихожан уехала из Израиля. Я и сам думаю: у Бога не бывает поражений. Но то, что происходит сегодня, – настоящая победа взаимной ненависти.

Муса ушел. Я проводила его до двери. Он погладил меня по голове и сказал:

– Я бы хотел, чтобы у нас была еще одна жизнь...

У Даниэля была машина в починке, и он попросил меня отвезти его к брату Роману, настоятелю той арабской церкви, где в начале шестидесятых годов Даниэлю разрешили служить. Я удивилась: он с Романом поссорился, и с тех пор, как тот поставил новый замок на кладбищенских воротах, разговаривать с ним не хотел. Я отвезла его на квартиру к Роману. Видела, как они обнялись в дверях. Видела, как Роман обрадовался. Даниэль знал, что когда Патриарх пытался отобрать храм Илии у Источника, Роман поехал сам к Патриарху и сказал, что ни одна из арабских христианских общин Хайфы не займет храма Илии. И Патриарх развел руками, сказал: «Что ты, что ты, это недоразумение, пусть все будет как есть». Даниэль не поехал тогда Романа благодарить за вмешательство, но я знаю, что он очень радовался. И теперь они встретились в первый раз за все эти годы...

А я ехала домой и думала: если здесь начнется резня, как в 29-м году, я уеду в Германию. Не буду я жить добровольно в кровопролитии. Правда, Даниэль говорит, что человек ко всякой мерзости привыкает: к плену, к лагерю, к тюрьме... А надо ли привыкать? Наверное, Муса прав, ему надо отсюда уезжать, чтобы у детей его не возникла такая привычка.

А я?

16  
1988 г., Хайфа.

Из дневника Хильды



Я думала, что никогда больше не попаду на это кладбище. Вчера хоронили Мусу, его брата, отца и жену. И еще нескольких родственников. Было сумрачно, и шел дождь. Какое страшное это место – Израиль: здесь война идет внутри каждого человека, у нее нет ни правил, ни границ, ни смысла, ни оправдания. Нет надежды, что она когда-нибудь закончится. Мусе только что исполнилось пятьдесят. У него были оформлены документы для отъезда на работу в Америку и куплены билеты. Дядя прислал фотографию домика в саду, в котором Муса с семьей должен был жить. Его наняли садовником к одному из самых богатых людей в мире, которому теперь придется довольствоваться другим садовником.

Гроб закрыт. Я не видела ни его лица, ни его рук. У меня нет ни одной его фотографии. У меня нет семьи, детей, родины, даже родного языка – я давно уже не знаю, какой язык роднее – иврит или немецкий. Почти двадцать лет мы были любовниками, потом это закончилось. Не потому, что я перестала его любить, а потому что душа моя сама сказала мне: хватит. И он понял. Мы виделись последние годы только в церкви, иногда стояли рядом, и оба понимали, что нет никого на свете ближе, и нежность осталась, но желания наши мы глубоко похоронили. Таким, каким видела последний раз, недели три тому назад, я его и запомнила – с потемневшим лицом, седым и преждевременно состарившимся, с золотым зубом, блеснувшим при улыбке.

Тогда он не предложил проводить меня домой, и это было правильно. Обернувшись, я помахала ему рукой, а он смотрел мне вслед, и я ушла с легким сердцем, потому что почувствовала, что у меня другая жизнь, без любовного безумия, с которым мы оба так бесславно сражались, но не победили, а просто смертельно устали от борьбы и сдались. Внутри было пусто и свободно, и я подумала: слава Богу, освободилось еще немного места в моем сердце, и пусть в нем будет не человеческая любовь, корыстная и алчная, а другая, которая не знает корысти. И еще я почувствовала, что моего «я» стало гораздо меньше.

Даниэль остался на поминки. Я уехала. Отвратительный запах жареных кур, который уже всю поднимался над поминальными столами.

Сегодня утром мы поехали с Даниэлем в дешевый супермаркет, чтобы купить одноразовую посуду, памперсы для стариков и еще кое-чего, и когда мы все засунули в машину и уже собирались трогаться, он неожиданно сказал:

– Это очень важно, что твое «я» сжимается, делается меньше, меньше занимает места, и тогда в сердце остается больше места для Бога. Вообще это правильно, что с годами человек занимает меньше места. Я, конечно, не про себя говорю, потому что я с годами только толстею.

И когда мы уже все выгрузили и сложили в чулан на полки, Даниэль мне сказал:

– Неужели ты думаешь, что сможешь отсюда уехать? Это все равно что сбежать с поля боя в решающий момент.

– Ты думаешь, сейчас как раз решающий момент? – спросила я довольно раздраженно, потому что мысль об отъезде шевелилась в душе.

– Девочка моя, это и есть христианский выбор – все время находиться в решающем моменте, в самой сердцевине жизни, испытывать боль и радость одновременно. Я очень тебя люблю. Разве я тебе об этом никогда не говорил?

И в этот момент я испытала то, о чем он говорил: острую боль в сердце и сильную, как боль, радость.

17

1991 г., Беркли.

Эва Манукян – Эстер Гантман

Дорогая Эстер!

После того как ты уехала, мне тебя еще больше не хватает. Я все хотела тебе

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru сказать, но стеснялась. А потом – ты и так знаешь. Всю жизнь я тосковала по матери, и когда ее не было, и когда она появилась. И никогда не могла получить удовлетворения. Мне кажется, что и жизнь моя складывается так сложно оттого, что никогда не было матери рядом со мной. Ты мне стала матерью больше, чем Рита. Только с тобой образовалась такая связь, которая меня питает и делает меня сильнее и мудрее.

Вскоре после твоего отъезда к нам в дом переселился Энрике. Ты его видела – один из двух друзей Алекса, с которыми он проводил весь последний год. Алекс спросил – как мне будет лучше: если они с Энрике снимут себе квартиру в городе или если они будут жить дома. Я сказала: дома. Теперь они выходят вдвоем к завтраку – веселые, красивые. Как будто у меня два сына. Я улыбаюсь и варю кофе. Правда, только по субботам и воскресеньям – в будние дни я уезжаю из дому раньше всех. Энрике очень славный мальчик. Он услужливый и приветливый, в нем совершенно нет агрессии. Хотя он старше Алекса на пять лет, выглядят они ровесниками. Они одного сложения и очень любят меняться одеждой. Четыре года тому назад он уехал из Мексики, у него были проблемы с родителями. Об этом он сказал мельком и с таким подтекстом – вроде бы в похвалу мне, которая оказалась такой толерантной. Энрике заканчивает курс дизайнера и уже приглашен в какую-то известную фирму. Алекс полностью определился в социологию, но в этой области его интересует исключительно гомосексуальный аспект.

Гриша с ними в чудесных отношениях – по-прежнему стоит хохот каждый раз, когда я прихожу с работы, а они в гостиной. Я улыбаюсь и прошу принять меня в компанию. Я ровно та самая, какой меня хотят видеть мой сын и мой муж: доброжелательная – ТОЛЕРАНТНАЯ, УЖАСНО ТОЛЕРАНТНАЯ! – я всем все разрешаю: сыну спать с мальчиком, мужу спать с девочкой. Я просто само великодушие. Меня все обожают, Гриша внимателен и ласков, как никогда прежде. Я ни слова не говорю о Лайзе, и он мне очень благодарен. Объятия его по-прежнему горячи, а когда я перестала ходить на их университетские развлечения, он просто пришел в восторг от моей деликатности: я уступила Лайзе место возле него в социальной жизни. Остались две университетские пары, куда я, как и раньше, хожу с Гришей. Двусмысленность и невысказанные, но вполне договорные отношения. Недалеко время, кажется, когда мы будем ходить в гости втроем. Гриша только того и хочет. Хотя виду не показывает. Но на это моей толерантности, кажется, уже не хватит. Наконец-то я могу сказать тебе честно: я страшно боюсь, что он уйдет. Я согласилась на любые формы отношений, только чтобы он оставался со мной. Можешь перестать меня уважать.

Ну, хватит об этом, вроде бы все переговорили. А, вот еще новость! Разговаривала по телефону с Ритой. У нее новый грандиозный план. В будущем году исполняется пятьдесят лет с того дня, как она бежала из Эмского гетто. (Между прочим, еще через два с половиной месяца после этого дня мне стукнет пятьдесят!) Решили устроить в Эмске встречу тех, кто остался в живых, и мать моя, представь себе, тоже собирается поехать. Бредовая идея, но она по плечу моей матери. В инвалидном кресле тремя видами транспорта – от Хайфы в Одессу на пароходе, оттуда самолетом в Минск, а из Минска поездом в Эмск. Сначала я страшно разозлилась: ну сидела бы себе на месте! А потом я вдруг осознала, что и в этом проявление ее идиотически-геройского характера: она не желает считаться ни с чем, и меньше всего с собственным состоянием. Мне же она предписывает приехать за ней в Хайфу и совершить с ней все это путешествие.

Да, я хочу! Я поняла, что хочу увидеть все это собственными глазами, это будет сильнее, чем сеанс психоанализа на кушетке, не фрейдовское заглядывание в родительскую постель в момент своего зачатия, а живое прикосновение к прошлому семьи и народа. Извини за пафос. Скажи мне, пожалуйста, получила ли ты приглашение на эту встречу? Поедешь ли? Почему-то одна мысль, что ты будешь там, делает эту поездку для меня бесконечно важной.

Знаешь, как я живу? Как на минном поле: обхожу опасные места – об этом не думать, о том не говорить, этого не упоминать... И вообще поменьше думать! Только с тобой я могу разговаривать без опасений нарушить хрупкое равновесие моей идиотской жизни.

Целую.

Эва.

18

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Декабрь, 1991 г., Хайфа.

Рита Ковач – Павлу Кочинскому

Дорогой Павел!

Всю жизнь мы прожили с тобой рядом, у нас были одни идеалы, одни цели, одни друзья. Но так случилось, что под конец жизни мне открылся Господь, и теперь мне хочется только одного – разделить со всеми моими близкими свою радость. Когда человек делает один шаг навстречу Богу, Бог делает сразу два. Необходимо только одно небольшое движение – признать, что без Бога человек ничего не может. Когда я думаю, какую энергию, силы и какой героизм мы проявляли не ради Божественных целей, а ради человеческих, я испытываю большое горе. Я не зову тебя приехать в Хайфу, зная, как трудно тебе оставить бедную Мирку, но хочу предложить небольшую поездку в Белоруссию. Дело в том, что я получила письмо от одного старого хмыря, с которым мы были вместе в гетто и вместе вышли, так вот они устраивают встречу всех уцелевших, и будет тот священник-еврей, который помогал доставать оружие для побега. Интересно на него посмотреть. Я предлагаю тебе приехать в Эмск, где мы встретимся, несомненно, последний раз. Меня повезет Эва, но, возможно, вместе со мной поедет и Агнесса, моя английская подруга. Ни в Лодзь, ни в Варшаву я, конечно, оттуда не поеду, а ты как раз мог бы и поехать. Все-таки ты на своих ногах.

Кроме того, Павел, я не скрою, что ОЧЕНЬ хочу поделиться с тобой тем, что я обрела. Я сожалею, что моя ВСТРЕЧА произошла так поздно, но пока человек жив, никогда НЕ ПОЗДНО. Я горячо молюсь, чтобы встреча произошла – моя с тобой, а твоя с Господом. Пусть Бог благословит тебя и твоих близких.

Твоя старая подруга Маргарита (Рита) Ковач.

19

Январь, 1992 г., Иерусалим.

Эва Манукян – Эстер Гантман

Милая Эстер!

Я даже не успела тебе позвонить из дому, настолько все произошло экстренно. Мне позвонили утром пятого января из Хайфы и сказали, что сегодня ночью скончалась Рита. Гриша сразу повез меня в аэропорт. Диким образом, с двумя пересадками и восьмичасовым ожиданием во Франкфурте я добралась до Хайфы, и на следующий день состоялись похороны моей матери. Многие вещи меня поразили, тронули и даже потрясли в этот день. Сейчас ночь, я полна впечатлений и не могу спать – еще и сдвиг во времени. И решила тебе написать. У моей матери оказалось прекрасное лицо. В конце жизни она его заслужила! То напряженно-подозрительное выражение, которое ей было всю жизнь свойственно, сменилось на покой и глубокую удовлетворенность.

Незадолго до смерти она постриглась, и у нее седые волосы, и густая челка вместо того учительского пучка, с которым она ходила всю жизнь. Нелепо звучит, но ей это очень идет.

Для совершения поминальной службы ей была оказана большая честь – гроб с телом отвезли в англиканскую миссию в Иерусалиме, и тут я оказалась в месте, о существовании которого я и не догадывалась.

До начала службы в очень аскетическое помещение миссии вошел еврей в кипе и в талесе, самого натурального вида еврей, и над закрытым гробом прочитал еврейские поминальные молитвы.

Я сидела на скамье, рядом со мной Агнесса. Я сначала хотела спросить, а потом передумала – пусть все идет как идет.

Потом пришел пастор и совершил заупокойную службу.

Мы вышли в сад, и я увидела, как он прекрасен – цвели лимонные деревья, как на

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) Сицилии в эту пору. Несколько фруктовых деревьев стояли голыми, на одном висели гранаты – и ни одного листика. Но весь сад был зеленым – кусты, похожие на можжевельные, и кипарисы, и пальмы. Солнце было ярким и холодным, и все очень тихо и ослепительно.

– Сейчас поедem на кладбище, – сказала Агнесса и повела меня к ограде. За оградой я увидела одинокую, очень выразительную скалу из выветренного слоистого камня.

– Мы думаем, что это и есть Голгофа. Череп. Правда, похоже? – Агнесса улыбнулась, показав длинные английские зубы. Я не поняла. Тогда она объяснила:

– Это альтернативная Голгофа. Видишь ли, в конце прошлого века отрыли здесь цистерну для воды и обнаружили остатки древнего сада. Этот сад молодой, не так давно посажен. Обнаружив цистерну, вдруг увидели и Голгофу, хотя она никогда и не пряталась. Всегда стояла эта скала, и никто не обращал на нее внимания. А потом нашли и могилу в пещере. Очень похоже, что это и есть могила, приготовленная Иосифом Аримафейским для себя и своих родственников.

Тут и я увидела, что скала – вылитый человеческий череп с пустыми глазницами-пещерами и провалившимся носом.

Она повела меня по боковой дорожке к небольшому отверстию в скале – дверь. Выше было пробито небольшое окно. У самого входа лежал вырубленный длинный камень с желобом, похожий на рельсу. Чуть поодаль стоял круглый камень.

– Этот камень из другого места, он несколько меньшего размера, чем тот, который закрывал вход в пещеру. А тот исчез за две тысячи лет. Если круглый камень, запирающий вход, стоит на этой каменной рельсе, его легко сдвинуть. Он просто катится. Но женщинам все равно трудно. Они позвали садовника на помощь. Ты зайди, посмотри.

Я пошла как во сне. Я ведь была у Гроба Господня, и даже не один раз. Входила в суматоху огромного сооружения, где храм лепится к храму, и все расчленено, и хаотично, и толпа черных старух, и туристы, и служащие... И часовенка над местом погребения. Очередь в пещеру. Туристы щелкают фотоаппаратами. Экскурсоводы щебечут на всех языках. И ничего это моей душе не говорит.

А здесь не было никого, и меня вдруг охватило сильнейшее чувство, что войду и увижу там оставленные пелены. Пещера разделена на две крипты, в дальней стояло каменное ложе. По рукам побежали мурашки, пробил всегдашний озноб.

Агнесса стояла снаружи – она улыбалась:

– Правда, очень похоже?

Было правда очень-очень похоже.

Под большой смоковницей на лавочке сидели две женщины в длинных юбках и с большими руками, сложенными на коленях. Потом одна достала из кошелки питу и, разломив, протянула половину соседке. Та перекрестила рот и откусила.

Четверо мужчин пронесли гроб моей матери к автобусу, и мы поехали на англиканское кладбище. Цветов не было. Я не успела купить, а прочие провожавшие, братья-англикане, положили в изголовье могилы белесые камешки, как это принято у евреев.

После похорон подошел пастор, похожий на Агнессу длинными зубами и белесыми глазами (брат и сестра – подумала я, но потом выяснилось, что они муж и жена). Он пожал мне руку и протянул две бумажки. На одной были написаны слова молитвы и нотный стан с горстями черных ноток, а вторая была свидетельством об отпевании.

Рита, всегда державшая все документы и бумаги в идеальном порядке, может быть вполне довольна. Эстер, дорогая! Произошло то, на что я никогда не надеялась, – я с ней совершенно примирилась.

Теперь у меня будет много времени, чтобы раскаиваться, чувствовать себя виноватой, жестокосердой. Но сегодня я с ней в полном мире.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Послезавтра я улетаю домой. Целую тебя. Спокойной ночи. Здесь уже рассвело.

Твоя Эва.

20

Ноябрь, 1991 г., Иерусалим.

Рувим Лахиш – Даниэлю Штайну

Дорогой Даниэль!

Я заезжал два раза к тебе в монастырь, но тебя не позвали. Во второй раз я оставил тебе записку с номером телефона, но ты не позвонил. Монахи твои такие были нелюбезные, что я не уверен, что они тебе записочку передали. Знаешь ли ты, что я веду обширную переписку с теми, кто выжил в Черной Пуще? Из тех, кто одиннадцатого августа 1942 года вышел из гетто и дожил до освобождения, осталось немало ребят. Но с каждым годом все меньше и меньше, и тут мы с Давидом встретились, он в Ашкелоне живет, и подумали, что хорошо бы нам устроить такое мероприятие в честь пятидесятилетия с того дня, как ты провернул это дело. Я имею переписку с Берлом Калмановичем из Нью-Йорка, Иаковом Свирским из Огайо и еще с парой ребят из бывших партизан. В Белоруссии евреев очень мало. В Эмске, как я слышал, вообще никого не осталось, но остались кости наших родителей, родни всей. Ты знаешь, у меня две сестры с племянниками там остались. Я все организую. Ты сам понимаешь, что ты у нас фигура центральная, будешь сидеть во главе стола, мы будем пить да все вспоминать, что было.

Теперь по делу: кого ты встречал, с кем поддерживал связь из тех, кто партизанил? Пришли мне адреса. Мы с Давидом поговорили тут, подумали, что можно ведь и с детьми приехать, показать им, как мы тогда жили. Я думаю, что я поеду в этом году заранее, посмотреть, стоит ли там камень надгробный хотя бы. Ты не из наших мест и не знаешь, какое было до войны еврейское кладбище богатое – и мрамор, и гранит, такие камни ставили. Сохранилось ли все это? Не думаю. Что немцы не развалили, советская власть похлопотала. Надо будет собрать денег и поставить общий памятник на всех. В общем, ты мне позвони или напиши.

От имени Объединения бывших граждан Эмска

Рувим Лахиш.

21

1984 г., Иерусалим.

Федор Кривцов – отцу Михаилу в Тишкино

Дорогой отец Михаил!

Пришел поздравить матушку Иоанну с днем ангела, а она мне письмо от тебя дает. Я обрадовался, а она говорит: пиши ответ.

Вот привел меня Господь в такое место, о котором молил. Старца нашел настоящего. Живет в пещере, как сирийцы жили. Кормится чем – не знаю. Источник водный есть – за водой в гору ползти и молодому не под силу. Он с тыквочкой туда добирается уж Бог весть как. Умоется, в тыквочку воды наберет и обратно по горе, как ящерица, спускается. Травы там, сныти или какой другой нет, одни каменья. Ворон ему носит или ангел питает – не знаю. Он в этой пещере с незапамятных лет живет, мне один грек говорил, что лет сто. Я верю. Или врут? Он в светлое время читает, в темноте молится. Лежанки нет у него – есть камень вроде сиденья, на нем и спит. Он долго меня к себе не подпускал, не разговаривал. Однажды я принес ему лепешку – он не вышел. Я оставил у лаза в пещеру. На другой день пришел – ее нет. Или звери съели? Зовут его Абун, но это прозвание, означает «отец», а имени никто не знает. Возле его пещеры площадочка маленькая, камень вроде стола, он на нем книгу держит, а сам перед книгой на коленях стоит. Читает по-гречески. Когда я к нему на скалу поднимаюсь, Дух во мне воспаряет, и сухое и непригодное это место кажется мне раем. Отче Михаил! Если он меня к себе примет, если позволит рядом где пожить, я уйду отсюда на все сто процентов, потому что, как говорил старец

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Паисий с Афона, меня один процент в миру держит, а здесь уж точно никакого процента нет. На этом месте я хочу всегда находиться, около Абуна. Вот матушку Иоанну навестил, теперь пойду на скалу и, если примет, останусь.

Братское целование.

Раб Божий Федор.

22  
1988 г., Иерусалим.

Мать Иоанна – отцу Михаилу в Тишкино

Дорогой отец Михаил!

Поздравляю со Светлым Праздником! Ты, верно, думал, что пора меня в поминальный список вписывать, а я вот она, жива. Я уже совсем собралась помирать, соборовалась, причастилась, а новая моя келейница Наденька свезла меня в больницу. Они меня на стол положили, порезали ножами и вынули опухоль, очень большую, но доброкачественную. Признаюсь тебе, что стало мне очень хорошо после операции – легко и живот пустой, так хорошо. А то все ощущала большую тяжесть. Ну, думаю, на все воля Божья, и на врачей тоже. А Наденька, она из нового поколения, девушка с высшим образованием, со светским воспитанием, она теперь взяла надо мной такую власть, что настояла, чтобы теперь мне сняли катаракт. На той неделе повезут в Хадассу – это больница здешняя – в глазное отделение. Сначала на одном глазу, а потом на втором.

Стоит у меня на треноге недописанная «Хвалите...», завешана простынкой. Надя говорит мне: вот Господь хочет, чтобы вы, матушка, ее закончили. Я уже три года одно только окно вижу, а что за окном, не разбираю. Не знаю, право. Ты письмо мое получишь, я уж буду либо зрячая, либо так и останусь в темноте до конца.

Сыночек мой дорогой! Я тебе посылала свое благословение, но теперь посылаю еще раз. Годы такие, что в любой час ожидаешь конца. У нас здесь была матушка Виссариония, так совсем из ума выжила, два года была хоть и на ногах, но совершенно слабоумная. Ох, не хотелось бы! Свет разума привлекательнее света законного. Как Пушкин писал: «Не дай мне Бог сойти с ума, нет, лучше посох и тюрьма, нет, легче труд и глад...» А ведь тоже глупость! Труд и так хорош, сам по себе радость.

Если операцию мне проделают удачную, сама тебе напишу, а это, как видишь, чужой рукой написано. Надя пишет. Господь с тобой. Мое благословение Ниночке и девочкам Екатерине, Вере и Анастасии.

Иоанна.

23  
1988 г.

Мать Иоанна – отцу Михаилу в Тишкино

Милый мой друг Мишенька!

Сама пишу! Каракули невнятные. Рука писать отвыкла, но глаз-то видит. Сказали, что потом очки сделают, и вовсе будет хорошо. Врач был из русских, веселый, хвалил мой катаракт, говорил, что снялся как обертка с конфеты. Обещал и второй сделать через два месяца.

В воскресенье в церковь пришла – все сияет! Свету полно! И все мне кажется золотым – и иконостас, и окна. Ох, как же грустно было без солнца жить.

Как я рада, сыночек мой, что в семье твоей прибавление. Я знаю, что все мужчины хотят сыновей, девочкам мало рады. Вот и дождался мальчика в доме! Слава Господу! Не написал, как нарекли. Забыл? Или – сама догадайся? Неужто Серафим? Раньше много называли в честь Серафима Саровского, а теперь, кажется, из моды вышло. Писать некогда, к обедне звонят.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Господь с тобой.

Иоанна.

24

1 августа 1992 г., Иерусалим.

Мать Иоанна – отцу Михаилу в Тишкино

Поздравляю, Мишенька!

Получила и письмо твое, и «Церковный вестник». 25 лет священства – не кот начхал! Фотографию–то пришли, как тебя чествовали. Неужто к тебе в Тишкино сам Владыка приезжал? Ой, бойся и трепещи! Как оно сказано – хулу и похвалу приеми равнодушно! Мишенька! Как все переменялось, кто бы мог подумать! И власть проклятая кончилась, и тебе церковные награды на грудь вешают! Мы тут читали, что новое правительство с церковью братается, а я недоверчивая – никакого начальства отродясь не любила. Да не слушай ты меня, старуху. Ну, и я похвастаю: меня тоже чествовали, кто вспомнил, не знаю, я и сама запомновала, но и у меня была круглая дата – девяносто лет стукнуло. И что я вспоминать стала? Свои дни рождения – как я их запомнила! Особенно хорошо помню мое десятилетие. В тот год мы на лето в имение наше Гриднево не поехали, потому что мама тяжело рожала брата Володю, ей операцию делали, едва спасли, и она была еще больна, и переезд все откладывался, переехали уже после дня моего ангела, 11 июля. Всех гостей помню – немного было, потому что все из города разъехались, и я тревожилась, что мало подарков будет. Нас не баловали – но в тот год мама подарила мне французскую куклу с закрывающимися глазами, с локонами и в морском костюме, в кожаных ботиночках с пуговкой. Последние счастливые годы доживали, потом война началась. Папа был адмирал. Ты не знал, наверное? Ну, потянуло на старческие песни, остановить некому.

Кроме поздравления, вот что еще хотела тебе описать – твоего дружка Федора Кривцова. Он ведь нашел себе старца и пропал – есть такие счастливые люди, которые все ищут, кому бы себя подарить. Нашел он какого-то пустычника – а здесь их до сих пор не счесть, всех толков: и голодари, и столпники, и целители, и чудотворцы. Толпы шарлатанов и сумасшедших. Святой – существо тихое, незаметное, спит под лестницей, одет неприметно. Надо долго смотреть, чтоб разглядеть. Ну, ладно. Пришел вчера Федор. В Иерусалиме никого ничем не удивишь: когда я только приехала, по Старому городу ходила – и прокаженных видела, и бесноватых, и ряженых по-всякому. Но Федор пришел – удивил. В грязном рубище, худой как скелет, глаз горит безумным огнем, смотрит вверх голов, бороденка до пояса, голова вся в лишае. Правда, скуфьей прикрыта.

Старец почил! Священник ему надобен для отпевания. Я Кирилла нашего знаю, он нипочем не потащится в гору – тучен, задыхается. Второй, Никодим, он юркий, сухой, может, и долезет, но он в отлучке – на Синае.

Я ему говорю: к грекам иди, у них священников много. Он головкой трясет: нет, с греками старец был в большой ссоре. К сирийцам иди, к коптам. Опять головой трясет – они ему уже отказали. Тут мне пришел на ум брат Даниэль. Есть, говорю, один кармелит, он никому не отказывает, только он, наверное, тебе не подойдет. И ушел Федя бедный. Да, напоследок сказал, что был его старец Абун епископ Истинной Церкви Христа, ее патриарх. А велика ли церковь, спрашиваю. Три человека раньше было – Абун, еще до Абуна один, его учитель, и наш Федя. И теперь Федя один остался. А мы все, выходит, не истинные... Не слыхал ли про такую церковь, Мишенька? Отправила я его с Богом к Даниэлю в Хайфу. Тот не откажет, верно. И патриарха отпоет, и бродягу. Он у нас человек неприметный, всю жизнь где-то под лестницей живет.

Заболталась, Господь с тобой, друг мой дорогой Мишенька.

25

1992 г., Иерусалим.

Телеграмма от Надежды Кривошеиной отцу Михаилу в Тишкино

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
ВТОРОГО АВГУСТА НА ДЕВЯНОСТО ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛАСЬ МАТЬ ИОАННА  
СУМАРОКОВА. НАДЕЖДА КРИВОШЕИНА.

26

Январь, 1992 г., Иерусалим.

Лахиш – всем участникам

Дорогой (ая)...!

Комитет подготовки встречи обитателей Эмского гетто сообщает следующее:

1. Встреча состоится 9 августа сего года в городе Эмске. Имеется договоренность с администрацией города. В связи с тем, что имеющиеся в городе две гостиницы («Восход» и «Октябрь») могут принять не более 60 человек, а в нашем списке участников на сегодняшний день имеется 82 (чтобы были здоровы!), администрация дает в наше распоряжение здание общежития педагогического техникума, куда можно поместить до 120 человек.

2. Для участия в памятной встрече были приглашены представители Всемирных еврейских организаций, представители правительств России, Белоруссии, Польши и Германии. Некоторые уже ответили. С уверенностью можно сказать, что приедут немецкие журналисты с киноаппаратурой. Разрешение на съемку еще не получено, я уже списался с теми организациями, которые за это отвечают.

3. На мой запрос городским властям города Эмска относительно установки памятника погибшим евреям из гетто мне сообщили, что в городе уже имеется памятник погибшим во время освобождения Белоруссии советским солдатам и второго им не нужно. Но как будто можно поставить памятник на старом еврейском кладбище, которое почему-то сохранилось. Так что наши собранные деньги мы употребим на это дело.

4. От городских властей мы будем иметь выступление ихнего городского главы и самодеятельный концерт.

5. Все подробности, связанные с билетами, визами и передвижениями, я буду вам сообщать постепенно, но каждый может мне написать с вопросами.

Рувим Лахиш.

27

4 августа 1992 г., Хайфа.

Из дневника Хильды

Мы выехали в четыре часа утра и за два часа по пустой дороге домчались до поворота на Кумран. Даниэль всю дорогу мне рассказывал про какой-то новый кусок Кумранских рукописей, который только что опубликовали. Кажется, ему про это рассказал сам археолог, который это чудо обнаружил. В пещере № 4 открыли какую-то новую рукопись – страшно выговорить – I века до нашей эры, где автор, пишущий от первого лица, называет себя Мессией и сообщает, что изведает страдания и печали, но теперь вознесен выше ангелов и восседает на небесном престоле и более всех ангелов приближен к Всевышнему... По тексту можно предположить, что это письмо с того света оставшимся единомышленникам.

– Сдается мне, – сказал Даниэль, – что сегодня мы увидим одного из тех, кто вознесен выше ангелов...

Я засмеялась, а он, оказывается, совершенно не шутил и серьезно мне сказал, что давно уже слышал про этого старца, про всякие чудеса, которые тот когда-то производил, а потом вдруг перестал.

Тут мы увидели длинную фигуру на дороге. Я сначала подумала, что бедуин. В тряпки замотан. Потом вижу – скуфья торчит. Значит, тот самый Федор. Машину поставили, вышли. Он кланяется. Даниэль ему руку протягивает, тот от руки шарахается.



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Ты священник? – спрашивает.

Даниэль говорит ему:

– Не сомневайся, брат, больше тридцати лет. Не веришь?

Открывает портфель, достает монашеский скапулярий.

– Теперь веришь? У меня и крест есть. Правда, не такой большой, как у тебя, – улыбается. Но тот совершенно не улыбается. А на груди у него действительно висит крест очень большой, деревянный.

Мы прошли мимо ворот заповедника, по старинному кладбищу влево, потом стали подниматься в гору. Знаменитые Кумранские пещеры оставались справа от нас, и шли мы довольно долго, пока тропинка не кончилась. Тогда Федор сказал, что теперь мы должны точно следовать за ним, и ноги ставить, куда он, и руками держаться за те уступы, за которые он цепляется. Это была задача альпинистская: некоторые камни сыпались под ногами, а другие стояли твердо, и он все их знал. Видно, часто лазает здесь. Так доползли мы до маленькой площадки. Она так расположена – не на вершине, а чуть сбоку и в тени. По крайней мере утром. Днем здесь всюду солнцепек. Узкий лаз в пещеру – Даниэль туда еле протиснулся. Я хотела тоже заглянуть – Федор не позволил. Увидела только, что там светильник масляный горит.

Даниэль с Федором договариваются, как отпевать будут – кто что читает. Федор попросил Даниэля отслужить литургию на мертвом теле, как на мощах святых. Даниэль кивнул. Надел крест, помолился. Полез в пещеру. Следом за ним Федор. А мне и места там нет, я стою снаружи. Надо будет петь, я подтяну, если знакомое.

Вид суровый, дух захватывает. Мертвое море внизу отливает ртутью. Иордании не видно – дымка. Как можно было здесь человеку прожить в одиночестве столько времени? Федор говорит – восемьдесят лет. Быть такого не может, конечно. Федор просил Даниэля служить по-арабски. Он сослужил с братом Романом много раз, но просил меня текст с собой взять. Я передала ему в пещеру текст. Заглянула – на голом камне лежит в белую простыню завернутая мумия, с головой завернута. На камне горит светильник. Даниэль стоит на коленях перед камнем, потому что встать там невозможно даже ему. Сбоку в три погребели – Федор, я только вползти на четвереньках смогла бы. Даниэль велел мне читать Евангелие от Матфея. Я снаружи встала и начала тихо.

И тут меня пробрал озноб – такой озноб, какого в жизни не было. Время к полудню уже. Жара под сорок, а у меня зуб на зуб не попадает. Так мне стало вдруг тяжело. И я понимаю, что и Даниэлю тяжело. Бутылка с водой у меня, я хочу ее передать Даниэлю, а Федор не оборачивается. Я сделала глоток – при такой температуре надо все время пить, – попыталась еще раз передать Даниэлю бутылку. Федор не берет. Тут на площадку хлынуло солнце, такое сильное, как будто рядом огонь запыхал. Но озноб не проходил.

Я снова стала читать. Закончила Матфея, начала Марка. Из пещеры я слышала арабские молитвы и славянское чтение. Я читала, как будто уже потеряв сознание. Но на самом деле я была в сознании, но в каком-то чумном. Со временем что-то произошло – оно не длилось, а свернулось клубком и стояло вокруг меня в полной неподвижности. Потом все закончилось, сначала вылез Федор, за ним Даниэль. Тут я заметила, что возле входа в пещеру лежит куча больших камней, и Федор стал заваливать вход. Пещера стала гробом. Мы с Даниэлем хотели ему помочь, но он покачал головой. Мы ждали, пока он завалит. Потом двинулись вниз. Спускаться было еще труднее, чем подниматься. Я плохо помню дорогу. Никогда бы не нашла ее.

Спустились к машине, Даниэль предложил Федору ехать с нами, но тот сказал, что ему надо вернуться. Когда мы отъезжали, видели, что он побежал в сторону к горе. Побежал бегом. Мы проехали молча километров сорок, и наконец я спросила: что это было?

Даниэль сказал:

– Не знаю. Но в пещере кишели змеи. Или мне это показалось?

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
28  
Июль, 1992 г., Беркли.

Эва Манукян – Эстер Гантман

Дорогая Эстер!

Как это ни удивительно, все складывается замечательно! Я прилетаю в Бостон в пятницу вечером, мы проводим с тобой субботу, я помогаю тебе собраться, и в воскресенье утром мы летим во Франкфурт, где у нас пересадка в Минск. Три часа проводим в ожидании этого рейса – это единственный и самый простой вариант, потому что самолеты из Франкфурта в Минск летают всего два раза в неделю, и любой другой маршрут потребовал бы двух пересадок. В Минске мы проводим ночь в гостинице, а утром едем специальным автобусом в Эмск. Клянусь, ни одна географическая точка на свете не вызывала такого волнения, как этот Богом забытый Эмск. Павел, к сожалению, не сможет поехать – у него тяжело больна жена и он не оставляет ее одну уже два года. Рита всегда очень порицала его за пристрастие к женскому полу. Кажется, у него действительно были бесконечные романы на стороне, но теперь, когда Мирка так тяжело больна, он ведет себя безукоризненно. Жаль, что я не смогу вас познакомить. Прошу тебя, не волнуйся, не думай, что ты самая старая из участников встречи. Мне организаторы прислали список, и, по некоторым признакам, ты будешь там из числа молодых. Один еврей 1899 года рождения! Считаю!

Целую. Больше писать тебе не буду.

До встречи.

29  
Сентябрь, 1992 г., Хайфа.

Стенгазета в приходском доме

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ РУВИМА ЛАХИША

В поездке в город Эмск 9 августа 1992 года принимали участие 44 человека, жители 9 стран, которые в 1942 году, ровно 50 лет тому назад, совершили побег из Эмского гетто. Из числа 300, бежавших тогда из гетто, до конца войны дожили 124, многие умерли уже после войны, но в Эмске, чтобы отметить это событие, приехало 44 человека, и все мы благодарны Господу, что он сохранил наши жизни, и скорбим о тех, кто погиб ужасной мучительной смертью от рук фашистов. Среди нас был и тот человек, кому все мы обязаны жизнью. Он, сам рискуя жизнью, организовал побег из гетто. Это наш брат Даниэль Штайн, который теперь священник католической церкви.

9 августа мы приехали в город Эмск к полудню и сразу же пошли по городу. Замок стоит как стоял – такой же полуразрушенный, как был, когда нас туда переселили в конце 41-го года. Пришли местные жители, но тех, кто помнит о событиях, осталось очень мало. Молодые люди, как оказалось, вообще не знают о том, что здесь произошло 50 лет тому назад.

Зато произошла встреча, которая всех очень тронула. Среди приехавших была Эстер Гантман из Америки, она до войны работала в Эмске зубным врачом, а после побега уже в партизанском отряде ассистировала своему мужу Исааку на хирургических операциях. Исаак умер, да будет земля ему пухом. К Эстер подошел старик, местный белорус, спросил, помнит ли она его. Оказалось, что он с довоенных времен носит зубы, которые она ему сделала. Ему выбили в драке три передних зуба, а она вставила так хорошо, что теперь все другие у него выпали, а эти три стоят.

Все были очень подавлены: у кого-то здесь убиты родители и родственники, у всех – друзья и соседи. Обитателей гетто расстреливали не в замке, а в двух километрах от города, в овраге. Мы туда пошли. Рабочие уже работали на установке камня, который мы привезли. Место неудачное, какое-то сорное. Но мы не решились устанавливать камень на территории Эмского замка: во-первых, там никого из наших нет, во-вторых, замок может властям понадобиться и они наш камень выбросят, а над оврагом, по крайней мере, никакой стройки не будет.

Вечером приехал наш главный герой Даниэль Штайн, он летел через Москву и приехал  
Страница 186

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru поездом. Вечером также приехали немецкие журналисты и киношники. Они облепили Даниэля и его помощницу, немку, и они сидели в холле гостиницы до позднего вечера, расспрашивали его.

На другой день, 10 августа, на площади Ленина был организован митинг, на котором выступал глава местной администрации Рымкевич и герой-партизан Савва Николайчик. От выступления Рымкевича все мы получили такое же удовольствие, как от чтения советских газет, – излечивает от симпатии к социализму. Правда, был среди нас один Лейб Рафальский из Тель-Авива, который Сталина уже разлюбил, но Ленина и Карла Маркса еще любит. Потом выступил Савва, я его помню по Черной Пуще, он был начальник одного отряда более западного, но наши поддерживали с ним отношения. Он мужик очень хороший, потом он еще воевал на фронте и потерял руку, но тогда был с обеими руками. И вообще, с головой.

Потом выступил я, Рувим Лакиш, гражданин Израиля, поблагодарил городские власти и местное население, что они сохранили половину еврейского кладбища, а на второй построили очень хороший стадион. После окончания выступления состоялось возложение цветов к памятнику героям-освободителям Белоруссии и города Эмска от немецко-фашистских захватчиков.

Потом здесь же, на площади, состоялся концерт самодеятельности, в котором выступила группа школьников с белорусскими народными песнями и плясками, артисты Минской филармонии исполнили под открытым небом несколько арий из опер Верди, потом другие артисты читали стихи из Пушкина, Лермонтова и военных поэтов Константина Симонова и Михаила Исаковского. Ансамбль народных инструментов при Доме культуры исполнил народные песни тоже очень хорошо.

Потом один из наших участников поездки, Ноэль Шац, спел «Ломир але инейнем» и «Тум балалайке», и все его поддержали.

В местном ресторане «Волна» накрыли столы, и все очень были растроганы, потому что такой вкусной картошки, какая растет в Белоруссии, нет ни в Израиле, ни в Канаде.

На другой день было самое главное – установили памятник. Было открытие. Зачитали список погибших – больше пятисот человек, всех поименно. Это тоже большая работа – составить эти списки, чтобы никого не забыть.

Я сказал слово, и слово сказала одна местная женщина, Елизавета Фоминична Кутикова, она всю войну продержала у себя Раю Равикович с дочкой Верочкой, спасла обеим жизнь. Верочка теперь сама бабушка, они встретились как родные. Рая-то умерла в прошлом году в Израиле. Все плакали, конечно. В Иерусалимском музее памяти погибших Яд Вашем в честь таких праведников, которые евреев спасали, деревья посадили. Каждому – по дереву. А в честь Елизаветы Фоминичны деревья в Яд Вашем нет. Это Рая, конечно, виновата. Правда, деньги она Елизавете Фоминичне посылала, но чести ей не оказали. Как так получилось, но вот еще один праведник мира. Конечно, вернемся домой – поправим, и пригласим эту Елизавету, и дерево посадим, и примем хорошо, все покажем. Всех, кто спасал евреев в войну, почитают как праведников мира, а ее забыли.

Рымкевич в этот раз прислал вместо себя заместительницу, красивая женщина, она тоже сказала. Под конец вышел наш раввин Хаим Зусманович, сын Берла Зусмановича, который тоже бежал из гетто, но не дожид до этого дня, умер в 1985 году.

Хаим родился уже в Израиле, в 52-м. Сначала Хаим произнес речь, а потом прочитал кадиш.

Было еще одно событие – служба в костеле, но меня там не было, я туда не хожу. Об этом расскажут другие, кто там был.

Как описать чувство – скорби и благодарности. Шесть миллионов убили – какая скорбь. Нет теперь того европейского еврейства, что говорило на языке идиш. Наши дети говорят на иврите, другие евреи по-английски и по-русски и по-всякому другому. От всех довоенных пяти тысяч евреев Эмска осталась одна еврейская женщина. Я не буду про нее ничего говорить, она сама о себе расскажет.

Благодарность наша судьбе, или Богу, или не знаю, как там лучше сказать, что нас 44 человека осталось в живых, и от нас родилось много детей и внуков, и я

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru посчитал, оказалось, что потомства нашего от тех, кто сохранился в Эмске, кто вышел из гетто, – больше четырехсот душ. И есть еще один человек, которому мы все благодарны, – Даниэль Штайн. Спасибо ему, что вывел нас, как Моисей.

Август, 1992 г.

Речь рава Хаима Зусмановича

Знаете ли вы, что сегодня самый траурный для евреев день, девятое ава? Наш день скорби непостижимым образом выпал именно на девятое ава. Это день выхода из гетто и день, когда здесь погибли сотни наших родственников и близких. Это день поста, и в этот день ничего не едят, не пьют, не надевают кожаную обувь. Пост начинается с вечера восьмого ава за несколько минут до захода солнца и заканчивается после появления звезд на небе вечером девятого ава.

Изначально пост девятого ава связывается с «грехом разведчиков»: когда Моисей привел евреев к границам Земли Обетованной, они побоялись сразу войти в нее и упростили Моисея отправить разведчиков, чтобы те, вернувшись, описали, что за страна лежит перед ними. И хотя эта просьба сама по себе обнаруживала сомнение народа в слове Бога, все же Моисей согласился отправить людей на разведку. Вернувшиеся через сорок дней разведчики сообщили, что страна «укреплена до неба» и населена великанами, против которых евреи «маленькие, как кузнечики». Только двое из разведчиков сказали, что Земля Обетованная прекрасна, но им не поверили. Всю ночь с восьмого на девятое ава евреи плакали, говоря, что Бог привел их в эту страну для гибели и лучше бы они умерли в пустыне... Тогда Бог разгневался и сказал, что в этот раз евреи плакали напрасно, но теперь у них появится множество поводов для плача в эту ночь. Таково будет наказание за грех неверия.

И первое наказание заключалось в том, что поколению, вышедшему из Египта, не суждено было войти в Святую землю. Сорок лет они скитались по пустыне – по году за каждый день разведки – и умерли в пустыне, как того просили в минуту малодушия. Только дети их смогли войти в Землю Обетованную.

Второе наказание: за то, что евреи испугались народов, населявших Ханаан, и отказались войти в Израиль в указанное Богом время, теперь им предстояли годы тяжелых войн за эту землю, хотя послушайся они Господа, могли получить ее чудесным образом – безо всяких усилий.

Но, даже войдя в Землю Обетованную, евреи продолжали грешить. Они все не верили в Сущего, им нужны были кумиры и идолы – материальные вещи.

Пророк Иеремия, свидетель разрушения Первого Храма, говорил, что люди даже сам Храм сделали объектом поклонения. Люди думали, что спасает Храм, а не Бог, и Храм искупит любое их преступление. Поэтому и был разрушен Храм: Бог убрал этот соблазн.

Бог ждет от евреев веры, и пока евреи не раскаются в грехе неверия, это наказание будет с ними и будут появляться все новые и новые поводы для плача в этот день.

Вот перечень печальных событий, случившихся на протяжении веков девятого ава:

Девятого ава 2449 года от сотворения мира (1313 г. до н. э.) всевышний вынес приговор, согласно которому вышедшее из Египта поколение было обречено скитаться по пустыне 40 лет и умереть, так и не увидев страны Израиля.

Девятого ава 3338 года от сотворения мира (422 г. до н. э.) вавилонским царем Навуходоносором был разрушен и сожжен Первый Храм, построенный Соломоном в X веке до н. э.

Девятого ава 3828 года от сотворения мира (68 г. н. э.) римским военачальником (впоследствии императором) Титом Веспасианом был разрушен Второй Храм, построенный в IV веке до н. э.

Девятого ава 135 года н. э. пал последний оплот еврейских повстанцев, а вождь восстания Шимон Бар-кохба был убит. По свидетельству римского историка Диона

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) Кассия, в сражениях той войны погибло пятьсот восемьдесят тысяч евреев, были разрушены пятьдесят укрепленных городов и девятьсот восемьдесят пять поселений; почти вся Иудея превратилась в выжженную пустыню.

Девятого ава, спустя несколько лет после поражения Бар-Кохбы, римский правитель Турнус Руфус перепахал территорию Храма и его окрестностей. Исполнилось сказанное пророком: «Из-за вас Сион будет распахан, как поле, и Иерусалим станет руинами, а Храмовая гора – лесистым холмом». Захватчики запретили евреям жить в Иерусалиме. Всякому нарушившему запрет грозила смертная казнь. Иерусалим стал языческим городом под названием Аэлия Капитолина.

Девятого ава в 1095 году Папа Урбан II объявил о начале Первого крестового похода, в результате которого «воины Иисуса» убили десятки тысяч евреев и уничтожили множество еврейских общин.

Девятого ава 1290 года началось массовое изгнание евреев из Англии, а девятого ава 1306 года – из Франции.

Девятого ава в 1348 году европейских евреев обвинили в организации одной из крупнейших в истории эпидемий чумы (черной смерти). Это обвинение привело к жестокой волне погромов и убийств.

Девятого ава в 1492 году король Испании Фердинанд Арагонский и королева Изабелла I Кастильская издали указ об изгнании евреев из Испании.

Девятого ава в 1555 году кварталы, где жили евреи Рима, были замкнуты стенами и обращены в гетто, а два года спустя, тоже девятого ава, были переселены в гетто остальные евреи Италии.

Девятого ава в 1648 году была резня десятков, а то и сотен тысяч евреев в Польше, Украине и Бесарабии, устроенная Хмельницким и его сподвижниками.

Девятого ава в 1882 году в России начались погромы еврейских общин в пределах черты оседлости.

Девятого ава в 1914 году началась Первая мировая война.

Девятого ава в 1942 году началась депортация евреев из Варшавского гетто, в этот же день начал действовать лагерь смерти в Трешлинке, и в этот же день в городе Эмске было расстреляно пятьсот наших родных и близких.

Но в этот же день триста человек были выведены из гетто и спаслись.

Девятое ава – самый печальный день еврейского календаря. Но, несмотря на это, евреи верят, что когда-нибудь этот день станет самым большим праздником: когда все евреи раскаются в своих грехах и обратятся к Богу, в этот день родится Мессия.

ИНТЕРВЬЮ С ЛЕЕЙ ШПИЛЬМАН

– Скажите, пожалуйста, Лея Пейсаховна, как так получилось, что вы оказались единственной еврейкой города Эмска?

– После войны повылазило несколько десятков евреев. Все нищие – ничего не осталось: ни домов, ни имущества. Что погорело, а что забрали. У нас евреи жили не только в городе, многие жили на хуторах, на хозяйстве. Тех почти всех убили. Брата моего с семьей расстреляли в 42-м году. Городские были больше в гетто. А я не пошла в гетто. У нас до революции была прислуга, Настенька, у нее дочка Сима, как я. Мы с детства очень были дружны. Когда война началась, немцы сразу пришли, и Настенька забрала меня к себе в деревню. Мне было одиннадцать лет. Настя меня остригла, велела платочек носить, голову покрывать, потому что волосы у меня были уж такие еврейские, а так, пострижена, не видно. Тогда многих детей стригли от вшей. Даже керосина не было, чтобы помазать.

– Как же вы оказались теперь единственной еврейкой?

– Я говорю, сначала было несколько десятков, мамина двоюродная сестра вернулась, хотела меня забрать, но я не захотела от Насти с Симой уходить. Дикая была, всех боялась. Я думаю, у меня с психикой было не в порядке. А может, и теперь не в

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru порядке. Дочь моя так и говорит: мама чокнутая. А потом пришел с фронта Настенькин сын Толя, инвалид, конечно. Я за него вышла, но он скоро умер. Я дочку растила. А в семидесятом она уехала в Америку. Все уехали кто куда – кто на запад, кто на восток, кто на север, кто на юг. Сначала многие уехали из Белоруссии в Россию, один, инженер, уехал на строительство в Норильск. Ну, в Израиль и в Америку, конечно. А дочка поехала учиться в Минск, познакомилась с еврейским парнем, и они решили вместе уезжать. Но мы с Симой здесь живем. Дочка моя все зовет нас: приезжайте, приезжайте. Только зачем? У нас здесь все есть, дом, огород. Сима замуж не ходила, девушка. Настеньку давно похоронили, могилы мои все здесь – мамочка, папочка, восемь братьев и сестричек, бабушки-дедушки, в один день все убитые. Вот я и осталась одна теперь.

– Лея Пейсаховна, а почему же вы не хотите к своей дочке переехать?

– Даже вопроса такого нет. Как это я перееду в эту Америку, на что она мне? Это Лилечке нравится, пусть она там живет. А мне ничего там не нравится. Вот она привезла мне в прошлый раз костюм, так я его ни разу не надевала. Во-от такой воротник и цвета зеленого! И туфли такие мягкие, что в них нога вихляет. Ну, это я так, смеюсь, конечно. Здесь все могилы, я туда каждый день хожу, убираю, все чисто содержу. Дом у нас свой, Настенька его на нас двоих отписала. У Симы приступы, как это я уеду?

– Лея Пейсаховна, а в гостях у дочки вы были, в Америке-то? В каком она городе живет?

– Я не была там. Очень далеко ехать. Если бы поближе, я бы поехала. Но, сами посудите, я в Минске ни разу в жизни не была, дальше Гродно не заезжала, а туда ехать – сколько пересадок надо! С вещами так тяжело! Нет, и не просите, ни за что не поеду. Соскучится за мной – сама приедет в гости. Город называется, похоже как наши места называют, – Остин.

– Лея Пейсаховна, вот вы ходите на могилы, а знаете, кто где похоронен, ведь здесь, нам сказали, пятьсот человек расстреляли?

– Вы что, думаете, я на овраг хожу? Ни в коем случае! Нет, это вы перепутали, я в ту сторону вообще не хожу. Я только на старое еврейское кладбище, на ту часть, что сохранилась. Конечно, много могил разбитых. Но я дорожки чищу, ограды, где сохранились, у меня чисто, сорняки вырываю. Дело в том, что наш город не простой, у нас было в городе много ученых и раввинов, здесь была ешива, моего деда брат тоже был образованный. Вот я эти могилы и сохраняю. Еврейский язык я мало помню, совсем немного, но буквы все знаю, имена разбираю и знаю, где кто лежит. Цифры, конечно, не умею перевести, какой там год по-нашему.

– Вы не скучаете о своих соотечественниках?

– А что мне скучать, все мои здесь – кто в земле лежит, и кто по улице ходит. Они ко мне хорошо относятся, хоть я еврейка. Никогда ничего такого не говорят. Конечно, я рада, что наши приехали. Но моих знакомых и моих родственников среди них нет. Все мои знакомые здесь. И мертвые, и живые. Приходите ко мне домой, я вас с Симой познакомлю. Она мне лучше чем сестра.

– А как вы материально проживаете?

– Очень хорошо. У нас две пенсии, огород, куры и столько одежды, что мы ее износить не успеваем. Весь тот край улицы в нашем ходит. Раньше коза была, а теперь не держим.

– Нам говорили, что здесь, в Белоруссии, местное население помогало в войну немцам, выдавали евреев. Как вы к этому относитесь?

– Люди разные. Другие помогали против евреев, конечно. А другие вот нет. Их, евреев, не любят. нас то есть. Но меня-то Настенька спасла. А у нее была сестра Нюра, так она всю войну к ней ходила и говорила: донесу, донесу на твою жидашечку. А Настенька ей говорила: иди, иди, и меня с Симкой убьют, и тебя прихватят заодно – вот и я скажу, что твой муж в Красную Армию пошел. Сунет Нюре что из продуктов или из одежды что, она и уйдет. Народ в Белоруссии всегда плохо жил, в войну особенно. А тем, кто евреев выдавал, 20 немецких марок давали и одежду с человека. У нас сосед Михей за тулуп хороший Нухмана-портного выдал.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru)  
Поляков тоже искали, но меньше.

Кабы все люди были хорошие, и войны бы не было, вот что я вам скажу.

До свидания.

РАССКАЗ ДАНИЕЛЯ ШТАЙНА О БОГОСЛУЖЕНИИ В ЭМСКЕ

Никакое католическое богослужение не планировалось. Все бывшие узники гетто были евреями, которым христианство вполне чуждо. Сначала была совершена поминальная служба, кадиш отслужили возле камня, который мы установили возле места захоронения наших братьев. Потом мы все вместе пошли в город, я хотел показать моим друзьям-христианам из Германии католическую церковь. Каменный забор окружал церковь, но ворота были открыты. Мы зашли. Церковь представляла собой строительную площадку, вся в лесах, а двор завален стройматериалами. Перестройка шла и здесь. На каменных плитах сидели женщины, и они сказали, что ждут священника, потому что служба назначена на пять вечера. Я хотел войти туда и, может быть, сослужить, но навстречу мне вышел причетник и сказал, что службы не будет – звонил священник, что он заболел и не сможет прийти.

Я сказал ему, что последний раз был в этом храме во время войны. Я остался жив, стал католическим священником и хотел бы совершить богослужение. Он отпер церковь, мы все вошли. Изнутри церковь тоже вся в лесах, но в одном приделе можно было служить. Я надел stole. Начинаю мессу – чтение дня из пророка Наума. Не могу не привести этот текст, потому что точнее для этого дня и не придумаешь:

«Вот, на горах – стопы благовестника, возвещающего мир: празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить нечестивый: он совсем уничтожен... Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители и виноградные ветви их истребили. Горе городу кровей! Ведь он полон обмана и убийства: не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч, и блещат копья: убитых множество и горы трупов: нет конца трупам, спотыкаются о трупы их».

Я отслужил мессу, а потом сказал проповедь. Хильда записала ее на магнитофон. Вот она:

«Братья и сестры! Пятьдесят лет назад во время исповеди я долго сидел здесь на лавке и боялся, что священник признает во мне не католика. Обстоятельства сложились так, что я должен был бежать из города, но затем я вернулся, и меня приняли к себе монахини. Они скрывали меня пятнадцать месяцев. Через несколько дней после того, как они впустили к себе, я принял крещение.

Сегодня я хочу поблагодарить Господа за три вещи: за спасение тех людей, которые вышли тогда из гетто, и за мое в том числе, за 50 лет моей христианской веры и за 33 года моей работы в стране, где родился и совершал свое служение Иисус, в Галилее – ведь Он был галилеянин и говорил по-еврейски. Сегодня у нас в Израиле снова есть еврейская церковь.

Я не выбирал специально тексты для сегодняшнего чтения. Если вы хорошо слушали, это было описание того, что здесь произошло в августе 1942 года.

Сегодня мы приехали из страны Израиль, чтобы вспомнить своих погибших. Их кровь, пролитая здесь, послужила возникновению новой жизни, как это говорится в чтении: «Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля...»

Здесь, между двумя церквями, в ноябре 41-го года, еще до моего приезда в Эмск, были убиты полторы тысячи евреев. Их кровь здесь. В августе 42-го неподалеку отсюда, в овраге, расстреляли еще 500 евреев – стариков и детей, не решившихся на побег из гетто. Здесь также пролита кровь наших братьев – поляков и белорусов, русских и немцев. В сердце своем я всегда поименно называю тех, кто был добр ко мне лично, – и поляков Валевицей, и немца Рейнгольда, и белорусов Харкевича и Лебеду.

Я хочу поблагодарить всех вас, так как сестры-монахини, которые скрывали меня, тоже принадлежали вашей общине. Господь воздаст вам за то, что вы сделали для меня и для моих сограждан».

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru)  
Тут Хильда пропела тоненьким голосом слова патриарха Иакова, которые он произнес в Бет-Эль – «Истинно Бог в этом месте, а я этого не знал». А потом была заключительная молитва:

«Подкрепленные Твоей пищей, о Господи, мы просим Тебя, чтобы Твои слуги, наши братья и сестры, покинувшие мир в мучениях в этом городе, освобожденные от всякой вины, воскресли бы вместе со всеми нами для вечной жизни. Аминь».

Потом мы вышли из храма, ко мне подошла горько плачущая старушка. Я таких белорусских старушек хорошо помню – в платочке, в валенках посреди лета, с клюкой и с мешком.

Сует она мне зеленое большое яблоко – прими, батюшка, наше ядовитое яблочко...

Я не сразу понял. Она мне яблоко в руку вложила, встала на колени и говорит:

– Скажи своему Богу, чтоб простил нас и на нас боле не гневался. Он на нас за тех безвинно загубленных евреев Полынь-звезду свою наслал.

Я сначала не понял, мне тут же один немецкий журналист объяснил, что в народе Чернобыльскую аварию на атомной станции связывают с апокалиптическим сказанием о Полынь-звезде, которая падет на землю и отравит ее.

– Не плачь, – я сказал, – бабушка, Бог не держит зла на своих детей.

Она потянулась к моей руке с яблоком – у православных так принято, что народ целует руку священнику. Я подсунул ей для поцелуя яблоко. И она ушла, как и пришла, вся заплаканная.

Нет, нет, я не могу допустить такой мысли, что Бог наказывает народы. Ни еврейский, ни белорусский, ни какой другой. Этого не может быть.

ВСЕ ФОТОГРАФИИ СДЕЛАНЫ ХИЛЬДОЙ ЭНГЕЛЬ  
Подписи под фотографиями:

1. Так выглядит Эмский замок через пятьдесят лет после того, как в его стенах было гетто. Справа стоят два автобуса, на которых мы приехали из Минска.
2. Памятный камень, установленный участниками побега из гетто в память о тех, кто не смог уйти.
3. Группа участников.
4. Митинг на городской площади Эмска. Выступление мэра города Рымкевича.
5. Выступление художественной самодеятельности. Детский хор. Танцевальный коллектив. Ансамбль народных инструментов.
6. Кадиш. В центре – раввин Хаим Зусманович.
7. Лея Шпильман, единственная еврейка города Эмска, со своей названной сестрой Серафимой Лапиной.
8. Площадь, где было совершено массовое уничтожение евреев в ноябре 1941 года (полторы тысячи человек, и нет их поименного списка). Справа – костел в лесах, слева – русская православная церковь.
9. Рувим Лахиш, организатор встречи.
10. Брат Даниэль с Эвой Манукян, родившейся зимой 42-го года в Черной Пуще. Ее мать, Рита Ковач, вышла из гетто вместе со всеми 10 августа, но через несколько месяцев ушла с детьми и воевала с фашистами в Армии Людовой.
11. Эстер Гантман, вдова Исаака Гантмана, врача, оперировавшего всех лесных жителей и партизан. Она тоже была врачом, помогала мужу при операциях.
12. Это молодежь, родившаяся после войны от тех, кто вышел из гетто. Их дети и



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
внуки. (Эти фотографии предоставлены участниками встречи.)

30

Август, 1992 г. В самолете Франкфурт – Бостон.

Из разговора Эвы и Эстер

Поразительно, но Даниэль вообще ничего не знал о моем существовании. Он не знал моей матери, не знал, что среди тех, кто вышел из гетто, была беременная женщина. Я рассказала ему все, что знала. Добавила то, чего не знала и что рассказал мне Нафтали, веселый старичок из Израиля, который помогал моей матери и помнит моего брата Витека. Он был поражен, что я выжила, – как и ты в свое время.

Я рассказала Даниэлю всю мою историю. Он молчал, но время от времени клал мне руку на голову, гладил по волосам и вздыхал: доченька моя... Для него было очень важно, что я приняла католичество. Я сказала, что с юности в церковь только заглядываю, ставлю свечки, но не принимаю причастия. Рассказала, что всю жизнь враждовала с матерью и примирилась с ней по-настоящему лишь после ее смерти. Потом он спросил, жив ли мой отец. И я сказала ему, что отец остался в гетто с теми, кто отказался уходить. Он был электромеханик, и ему казалось, что он со своей профессией сможет выжить. Даниэль сразу его вспомнил – Баух! Я стала расспрашивать его, но он сказал, что видел моего отца несколько раз, а в последний раз в то утро, когда его, Даниэля, арестовали. Даниэль предположил, что Баух был расстрелян вместе с остальными. Минутное бессмысленное горе – услышала о смерти отца, которого, в сущности, никогда и не было!

Потом, когда я тебя проводила в гостиницу, я пошла с ним в костел. Он служил – очень быстро и горячо, частично по-польски, частично на иврите. Мне показалось очень красиво. Потом его окружили, долго теребили, а он меня держал за руку, как ребенка, и не отпускал. Потом мы сели в костеле на той самой лавочке, где он сидел пятьдесят лет тому назад, и он сказал – почему у тебя тоска в глазах? Я вряд ли сама полезла бы к нему с такими откровенными признаниями... Я рассказала ему, как меня мучит ситуация с Алексом: я не могу смириться с его сексуальным выбором. Даниэль расстроился и сказал мне нечто удивительное:

– Деточка моя! Я совершенно этого не понимаю! Женщины так прекрасны, так привлекательны, мне совершенно непонятно, как можно отвернуться от этой красоты и взять вместо женщины мужчину. Бедный мальчик!

Вот что он сказал. Ни один из психологов никогда ничего подобного не говорил. Они пытались произвести анализ, что-то вычислить и каким-то образом увязать гомосексуализм Алекса с моей семейной жизнью, с какими-то моими проблемами.

Даниэль сказал, что испытывает, как и я, тихий ужас перед этим пороком и что не однажды сталкивался с гомосексуалистами, и сказал, что лучше, если Алекс будет жить отдельно, не вовлекая меня в свои взаимоотношения. Потому что я должна сохранять себя от разрушения. И точно так же он ахал и расстраивался, когда узнал о сложностях моих с Гришей. Потом закрыл глаза, долго молчал. Сказал, что мы никогда не знаем, какие у нас впереди еще испытания, болезни и трудности, и что было бы хорошо, если бы я научилась радоваться вещам, не связанным с семьей и отношениями с людьми. Чтобы я лучше смотрела на другие вещи: на деревья, на море, на всю красоту, что нас окружает, и тогда восстановятся порушенные связи, и я смогу ходить в церковь и получать помощь из того источника, который всегда для нас приготовлен. И чтобы я меньше думала о своих чувствах и вообще о себе меньше бы думала. И должна быть готова к серьезным испытаниям. И он хочет, чтобы я приехала когда-нибудь к нему в Израиль. Обещал показать мне все то, что там знает и любит. Сказал, чтобы я писала ему письма, а он либо вовсе не будет отвечать, либо очень коротко. Он сказал, что всегда будет обо мне молиться. И велел мне тоже молиться – представлять себе, что держишь на ладонях всех своих любимых людей и поднимаешь их к Господу. И все.

Тогда я сказала ему, что со времен моего отрочества потеряла веру и сегодня совсем не знаю, католичка ли я. Он улыбнулся мне так дружески, провел рукой по волосам и сказал:

– Деточка, ты думаешь, Бог любит только католиков? Делай то, что говорит твое

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
сердце, будь милосердна, и Господь тебя не оставит. И молись.

Я пришла в гостиницу и сразу же попробовала, и набрала полные руки всех, кого люблю, и тех, кого любят те, кого я люблю, и Риту, конечно. Собрала их всех и сказала: Господи, не забывай про моих... Ну, что скажешь, Эстер?

31

Август, 1992 г., Беркли.

Эва – Эстер

Эстер, дорогая!

Прошла неделя. Гриша все еще в реанимации, в коме. Тот сумасшедший, который выехал на встречную полосу, погиб сразу же, вместе с женой и тещей, которые сидели на заднем сиденье. То, что Гриша остался жив, просто какая-то случайность. При таком лобовом столкновении живых не остается, даже с подушками безопасности. Я ждала целый час в аэропорту, потом взяла такси и приехала домой. Алекс был дома. Гриша собирался заехать за ним, чтобы ехать в аэропорт вместе, но позвонил и сказал, что не успевает и едет прямо в аэропорт. И я возблагодарила Господа, что он не взял с собой Алекса: место рядом с водителем самое опасное. Но это уже потом. Первая мысль, которая пришла в голову: пока я была в Белоруссии, он жил не дома... Теперь это не имеет уже никакого значения.

Прогнозы врачей самые плохие. Но как раз вчера мне сказали, что Грише немного лучше. Удалили селезенку, оперировали легкие, потому что ребра порвали легочную ткань, все другие травмы не опасны. Самая главная операция была на позвоночнике, и они не могут сказать, восстановится ли двигательная функция. Пока ноги парализованы. Я все время вспоминаю слова Даниэля о том, что я должна быть готова к серьезным испытаниям. Я к ним не готова.

К Грише меня не пускают, я его так и не видела с приезда. Вернее, с отъезда.

Живу я как автомат. Только сейчас я поняла, насколько он мне дорог, и даже подумала – пусть бы он вообще меня оставил и ушел к своей лисице, лишь бы был жив. Я пока тебе не звоню, потому что боюсь разреветься. А когда пишу, совсем другое дело. У меня такое чувство, что наша поездка была три года тому назад. А прошла всего неделя.

Все время присутствует странная мысль, скорее даже не мысль, а чувство, что именно что-то в этом роде и должно было случиться, и именно моя заикленность на внутренних переживаниях не дала мне это предотвратить. Когда-то мать мне рассказывала про свою бабушку, которая была совершенная ведьма, наперед все знала и однажды порвала дедов билет на поезд, и спасла ему тем жизнь, потому что поезд потерпел крушение и много людей погибло. А другой раз, перед тем как началась эпидемия скарлатины, она взяла своих троих детей и уехала в деревню к родственнице. А на их улице в Варшаве половина детей от скарлатины поумирала. Что за глупости я тебе пишу, прости, пожалуйста.

Целую тебя, Эва.

32

Август, 1992 г., Редфорд, Англия.

Беата Семенович – Марии Валевиц

Милая Марыся!

Не могу передать тебе, как я горевала, что ты отказалась ехать в Эмск. Честное слово, не понимаю: если уж я, жена покойного полицая, решила на эту поездку, почему же ты не захотела? Два дня назад я вернулась домой и все хожу и разбираюсь со своими впечатлениями. Город не забыл нашей семьи. Гимназия папина стоит на прежнем месте, наш дом перестроен, в нем теперь исторический музей. Представь себе, я нашла там портрет отца с дядей и нашу семейную фотографию, сделанную лет за пять до войны, – ты в коротеньком платье, а я уже молодая девушка. Фотография дедушки Адама тоже висит в музее. Поляков в городе почти не

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru осталось. Сначала их расстреливали немцы, потом пришли русские, разобрались с остальными. Во всем городе из прежних наших знакомых одна Сабина Ржевска.

Самая главная встреча – с Дитером Штайном. У меня с ним были очень хорошие отношения в те годы, я его кормила за своим столом, он мне с Иваном очень помогал: когда Иван напивался, он как-то умел его утихомирить. Но когда оказалось, что он еврей и партизан, я думала, что он выказывал хорошее отношение не по-человечески, а только по необходимости скрывать свое настоящее лицо. Ведь это я первая сказала, когда Иван его в дом привел, что он еврей. И только когда увидела, как он в седле держится, уверилась, что он настоящий поляк. Но теперь-то все перевернулось – Дитер герой, а Иван для всех военный преступник, его разыскивали, и если б нашли, то судили бы. Он умер вовремя. Уже после его смерти в Англии было несколько процессов против белорусов, которые в войну на немцев работали, и одного засудили.

Но со мной-то ладно, кто я ему была? Жена кошмарного начальника. И сестра девушки, на которую он все заглядывался. Он приехал – старый, седой, одет не как монах, а по-мирскому, в свитере. И ходит все время в толпе людей. В один день я пошла в храм, где дядюшка служил, вхожу, там ремонт, всюду леса, завешено все – а в одном приделе мессу служат. Глазам не верю – неужели Дитер? Слух о том, что он стал священником, еще раньше до меня доходил, но увидеть своими глазами – другое дело. Он кармелит, брат Даниэль!

Он стал проповедь читать – говорит: я в этом храме был пятьдесят лет тому назад. И, представляешь, наше имя называет среди тех, кого поминает... Вокруг него люди толпятся, какие-то женщины его облепили, но я улучила момент, когда он один был, подошла, спрашиваю:

– Ты меня узнаешь?

– Беата, Беата, ты жива! Какая радость! – и кинулся меня целовать, как сестру родную. Я, конечно, заплакала. И он плачет.

– Всю жизнь, – он говорит, – я поминаю всех вас как усопших, а ты жива.

Я говорю:

– И Марысю поминаешь?

– Конечно, – он кивает, – и Марысю. Давние дела, я ведь очень любил ее.

– Она тоже жива, – я говорю. – Она ночь в яме пролежала под трупами и утром вылезла. Я и сама считала много лет, что она погибла. Жива, жива.

– Езус, Мария, – он шепчет, – как это могло быть? Где она сейчас?

Я говорю – там же, где и ты, в монастыре.

– Где? – спрашивает.

Все как в кино. Я опять говорю – там же, где и ты. В Израиле. В Иерусалиме. У Белых Сестер Сиона.

– В Эйн Кареме? В доме Пьера Ратисбона? – он спрашивает.

– Да, – отвечаю, – там.

– Не уходи, Беата, не уходи, это как воскресение мертвых, что вы с Марысей живы остались. Вот так точно мы встретим наших родителей и близких, как мы сегодня встретились, – и слезы текут по щекам.

Представь, Марыся, он совсем не изменился. У него все то же детское лицо, и душа детская. Я, грешным делом, подумала: вот бы вам тогда пожениться, какая счастливая пара была бы. А он как раз и говорит:

– Вот как нам с Марысей суждено было соединиться – в Господе.

Милая моя сестричка! Так у меня на душе хорошо стало, хотя и обидно за вас

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru немного. Я думаю, он к тебе скоро приедет, повидаетесь. Но для тебя не так это важно, ты ведь давно знаешь, что он выжил, стал монахом, и если б хотела, легко бы его разыскала. А для него – свершившееся чудо. Пятьдесят лет поминал тебя как умершую, а ты живая. Мы теперь знаем, что в нашем мире все возможно – и скрыться, и найтись.

Потом я проводила Даниэля, он в этот день уезжал.

Еще я встречалась с Сабиной – помнишь, в одном классе со мной училась дочь агронома. Одна из немногих поляков, кто выжил здесь. Она рассказала, как тяжело они жили здесь после войны. Многие, кто нашел родню, уехали в Польшу. Других отправили в Сибирь. В поляках всегда видели националистов. Так оно и есть, мы националисты. Иван всегда поляков уважал, считал, что мы, в отличие от белорусов, сильный народ. Правда, немцев он уважал еще больше. Да что о нем говорить – только молиться. Мария, он был и дурной, и жестокий, и пьяница, но меня-то он любил. Может, он пред всеми грешен, но я-то перед ним грешна – вышла замуж без любви, да так и не полюбила. Правду сказать, не обманывала. Но если самую правду сказать – любила я всю жизнь Чеслава одного, но судьба не выпала...

Поначалу я очень расстроилась, что ты не хочешь ехать в Эмск, я представляла себе, как мы с тобой побродим по местам нашего детства, а теперь думаю, что все к лучшему. Я уже к тебе дорожку проложила. Может, в будущем году опять приеду. Посидим на вашей горке возле решетки, где открывается такой прекрасный вид.

В конце концов, я рада, что в Эмск поехала. Случилось нечто вроде примирения. Долгие годы я смотрела в прошлое, и рядом со мной стоял несчастный Иван со всеми своими преступлениями – были, не были? Точно не знаю, но его присутствие рядом всегда было тяжким. А теперь я почувствовала себя свободной. Меня узнавали. Но скорее вспоминали как дочь Валевица, а не как жену Семеновича.

И конечно, Даниэль. Больше всех примиряет именно он – что можно из этого ужасного опыта выйти радостным и светлым.

Жду от тебя письма, и подумай, когда тебе удобно, чтобы я приехала – может, весной, после Пасхи? Или, наоборот, на Пасху?

Твоя сестра Беата.

33

Сентябрь, 1992 г., Тель-Авив.

Нафтали – Эстер

Дорогая моя и уважаемая Эстер!

Пишет тебе Нафтали Лейзерович, если вы такого помните! Я как раз отлично помню и твоего мужа Исаака, который оттяпал мне ногу в лесу, и очень хорошо сделал, потому что уже начиналась гангрена, и он меня спас от смерти. Наркоз весь был стакан спирта и деревянная палка, которую я изгрыз, пока не потерял сознание от боли. А вы, уважаемая и милая Эстер, давали вашему мужу инструменты, и кость он резал обычной ножовкой, зато культю сделал такую замечательную, что я уже износил много протезов, а культя ни разу не подвела – как новенькая. Бог дал Исааку – пусть будет земля ему пухом! – золотые руки, и вам тоже! Теперь немного о себе. С одной ногой я добрался до Израиля, в пятьдесят первом году, а до того где только не был – в Италии, Греции, на Кипре. В разных лагерях то военнопленных, то перемещенных, то просто так сам по себе. В 51-м добрался до дома, встретил наших ребят, нашел себе место в военной промышленности, скажу тебе по секрету. Работал в конструкторском бюро, меня там очень уважали, хотя настоящего образования не было. Я женился на венгерской еврейке, она была красивая женщина и не дай Б-г какой характер. Трое детей я с ней прижил – два сына и дочь хорошая. Один сын пошел в меня, работает, скажу по секрету, по электронике в Америке, второй – в банке, но в Израиле. Дочь, между прочим, тоже врач. Жена умерла девять лет назад, и я первое время сомневался, не жениться ли мне. Потом перестал сомневаться – одному мне оказалось очень хорошо.

Пенсия у меня приличная – как участника войны, инвалида и так далее, квартира хорошая. Дочь приезжает раз в неделю, больше мне не надо. Скажу откровенно, в

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru первое время ко мне сватались – раз, два, три. Но я решил: на что оно мне нужно? Была у меня медсестра из Холона, так она ко мне ездила по этому делу, еще когда Жужжа была жива. Так что я не нуждался ни в чем таком.

Дорогая и уважаемая Эстер! Вы мне так понравились, что я решил сразу жениться. Мне скоро восемьдесят лет, это правда. Но сколько осталось, мы бы прожили вместе. Вы подумайте хорошенько, но не очень долго. Как ни крути, не очень много времени у нас на размышления, хотя мой дед умер в сто три года. Что еще могу сказать про свои недостатки – глуховат. Других недостатков нет. Вы мне очень подходите. Честно скажу, очень вы мне понравились. И прошлое у нас общее, вы тоже в Пуще тогда были. А хотите, можете сначала просто приехать в гости. Я встречу вас в аэропорту на такси. Напишите мне по адресу, который на конверте. Жду положительного ответа.

Нафтали Лейзерович.

Да, забыл еще сказать, что у меня пять внуков и есть правнучка.

34

1994 г., Беэр Шева.

Тереза – Валентине Фердинандовне

Дорогая Валентина!

Это уже последнее письмо, я думаю. Перед отъездом Вы позвоните, чтобы мы смогли Вас встретить в аэропорту. Мы всей семьей готовимся к Вашему приезду. Мне кажется, Сосик прекрасно понимает, что мы Вас ожидаем, и тоже волнуется. Он существо необыкновенно тонкое, с безошибочными реакциями. Надо только уметь их разгадывать. Но мы с Ефимом читаем все его душевные движения как раскрытую книгу. Он часами играет в камушки. У него есть любимые и нелюбимые, и он наделяет их разными качествами. Когда он чем-то обеспокоен или недоволен, он приносит такой желто-розовый камушек неправильной формы и вкладывает очень деликатно в руку. Черная галька с белым пояском – камень удачи, и особенно хорошим знаком бывает, когда Сосик кладет его в рот. Вообще в поведении его открывается удивительная связь с духовным миром и с миром природы. Он идеальный посредник между разными силами и умеет умиротворять всех вокруг себя. Вот буквально на днях к нам заглянула одна молодая семья, прихожане Ефима, в состоянии глубокой ссоры. Ефим увещевал их полтора часа, но они только ожесточались. Тут пришел Сосик и сразу же их примирил. Сказал какое-то слово. Я должна предупредить, дорогая Валентина, – то, что Вы увидите, необычно. Наш мальчик говорит, но язык его непонятен людям. Речь ангелов – его язык. Он произносит какие-то неведомые нам слова над засохшим цветком, и через несколько дней цветок оживает. От ребенка идет удивительное излучение. Но на человеческом языке он почти не говорит. Хотя говорит «мама», «папа», «сам».

Ходить он умеет, но не очень ловок в движениях. Врачи считают, что он должен заниматься физкультурой, но ему не нравится. Мы же с самого его рождения решили растить его без насилия и не заставляя его делать то, что ему трудно или не хочется. По этой же причине мы не возим его в специальную школу для детей с синдромом Дауна, где с ними занимаются педагоги и психологи. Нам трудно объяснить врачам, что он высшее существо, а не инвалид.

Я пишу так подробно, чтобы Вас немного подготовить к встрече. В этом ребенке так много загадочного, таинственного и скрытого, еще не проявленного, что мы с Ефимом держим это знание при себе и ни с кем не делимся. Хотя по реакции многих людей видно, что не нам одним видна его особая избранность. То чувство благоговения, которое вызывает мальчик в нас, в родителях, Вы, конечно, сможете разделить.

Дорогая Валентина! Мне не хочется нагружать Вас просьбами, но, пожалуй, единственное, о чем я хочу попросить, – кассеты с детскими песенками. В России было множество чудесных мультфильмов – здесь мы до них не добираемся. Видеомагнитофона у нас нет, и Ефим не считает нужным вообще заводить дома телевизор, в чем я с ним полностью согласна, однако хотелось бы Сосику дать возможность слушать детскую музыку и песенки. Вообще мне кажется, что он гораздо лучше понимает русский, чем иврит. Признаться, общение с ним происходит на

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) внеязыковом уровне, который мне трудно определить, но Вы это сразу же почувствуете, как только с ним познакомитесь.

Ефим договорился с одной знакомой монахиней, которая живет в Старом городе, что она найдет Вам на несколько дней место в монастыре, чтобы Вы могли пожить в этой несравненной атмосфере.

Мы с Ефимом придумали целую программу поездок. В одну из них, на Мертвое море, мы поедем всей семьей, вместе с Сосиком. Ему очень нравится купаться в Мертвом море, и врачи говорят, что соль хорошо действует на расслабленные мышцы.

Я просто сгораю от нетерпения поскорее Вас увидеть, дорогая Валентина.

С любовью, Тереза.

35  
1994 г., Москва.

Валентина Фердинандовна – Терезе и Ефиму

Милая Тереза! Дорогой Ефим!

Я не сразу смогла написать вам письмо, настолько была переполнена впечатлениями. По телефону невозможно передать и сотой части моей благодарности и вам, и судьбе, которая дала мне счастье на старости лет посетить Святую землю. Две недели – единая капля времени, и пролетели они как две минуты. А теперь я перебираю свои впечатления и записи и пытаюсь сформулировать, что же именно меня более всего поразило – не считая того, что я увидела у вас в доме, об этом отдельно.

Пожалуй, самое удивительное открытие для меня – огромное разнообразие христианских течений в Израиле. Теоретически мне, всю жизнь занимающейся переводами христианской литературы для самиздата и только в последние годы увидевшей свои переводы в официальных издательствах, на хорошей бумаге и с моей фамилией в качестве переводчика, было хорошо известно, какое существует многообразие мнений по любому богословскому вопросу. Но именно в эти две недели я воочию убедилась в многообразии христиан – греков, коптов, эфиопов, итальянцев и латиноамериканцев, мессианских церквей, баптистов, адвентистов и пятидесятников. История всех расколов и схизм ожила – нет ни побежденных, ни победивших, монофизит и ариан, фарисей и садуккей сосуществуют в едином времени и пространстве.

Я в радости и смущении. Более всего смущает тот факт, что все это огнедышащее разнообразие помещается в сердце активного и самодостаточного иудаизма, который как бы не замечает огромного христианского мира. И все это уложено в пространство ислама, для которого Израиль тоже один из центров жизни и веры. Три этих мира как будто существуют на одном пространстве, почти не пересекаясь.

Я стояла на долгой литургии, которую служил Ефим, а потом поехала в Хайфу к Даниэлю, и его месса не имела ничего общего с той службой, которую вел отец Ефим. Кстати, в маленькой комнате на столике я забыла два листка текста литургии, которую служил отец Даниэль. Это было прекрасное и радостное, очень наполненное богослужение, которое все уложилось в полчаса, и в текстах я не нашла половины тех молитв, которые читаются за мессой. Даже "Credo" отсутствовало!

Как много пищи для размышлений! Здесь, в Москве, меня всегда считали слишком эмансипированной, многие православные из духовенства не раз говорили мне, что я заражена «латинской ересью», и я очень много сил отдавала тому, чтобы вернуть культурное измерение в косную среду единственным доступным мне путем – новыми переводами на русский язык текстов Нового Завета. В этом я видела возможность служения церковному единству. По крайней мере я к этому стремилась. Положение мое, как вы знаете, особое – я в детстве была крещена русской бабушкой в православной церкви, воспитывала меня литовская тетя, католичка, и так всю жизнь я стою на этом перекрестке и, сблизившись с доминиканцами, которые поддерживают мою переводческую работу, реализую экуменическую идею. Это не я выбрала, а судьба определила меня на такое место.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Мне всегда казалось, что некоторая узость сознания свойственна многим в нашей стране именно в силу государственного запрета на интеллектуальный и духовный обмен в последние 70 лет нашей истории. Но в западном мире этого запрета не было – откуда такое упорное «несмешение» и неприятие друг друга? Хотелось бы знать, что думает Ефим по этому поводу?

Теперь – об Ицхаке. Милая Тереза! Дорогой Ефим! Рискую вас ранить и навлечь на себя ваше негодование, я не могу не сказать следующего: ваш мальчик совершенно чудесный. Он трогателен и бесконечно мил, но ваши предчувствия и упования на то, что именно он и есть – даже рука не пишет этого слова – Тот, Кто Обещан, – скажем так, мне кажутся обольщением глубоко любящих родителей.

Если я ошибаюсь и он действительно обладает «второй» природой – опять я не решаюсь даже повторить ваши слова, – то она проявится вне зависимости от вашего этому отношения. Мне кажется более правильным со всех точек зрения дать ему возможность ходить в ту специальную школу, которую вы так категорически отвергаете. Вы же сами говорили мне, что дети с этим синдромом ни в коем случае не являются умственно отсталыми, что это просто особая порода людей, которые развиваются по другим законам. И они должны разговаривать, читать, общаться. То, что они могут под руководством специальных педагогов играть в спектаклях, заниматься музыкой и рисованием и другими развивающими вещами, замечательно и никак бы не повредило Сосику. Если он действительно тот, за кого вы его принимаете, эти навыки никак не повредят ему в той миссии, которую он должен исполнить.

Дорогие мои! Ваша героическая и даже подвижническая жизнь меня восхищает. Путь, который вами избран, достоин глубочайшего уважения. Конечно, я понимаю, что путь каждого человека единствен и каждый пробивает свою дорогу к Истине. Но почему так много людей, озабоченных исключительно поиском Истины, идут в совершенно противоположных направлениях?

Вот вопрос для размышлений.

Дорогие мои! Еще раз благодарю вас за эту поездку. Мне в следующем месяце исполнится 73 года, я не думаю, что смогу когда-нибудь еще раз приехать к вам. Тем более драгоценным было для меня это свидание. Всегда буду молиться о вас.

Прошу ваших молитв, Валентина.

36  
1995 г., Беэр Шева.

Ефим Довитас – Валентине Фердинандовне

Дорогая Валентина Фердинандовна!

Мы получили Ваше письмо, и Тереза просила меня ответить. Вопрос, который мы не станем обсуждать, – о назначении Ицхака. Это решается не в здешней инстанции. От нас требуется только внимание и умение слышать внутренний голос, который приходит в наши сердца свыше. Различение духов – особый дар, и Тереза обладает им в большой мере, это несомненно. О моих слабых способностях и не упоминаю.

Огорчила меня та часть письма, где Вы пишете столь легкомысленно о плюрализме, который все более овладевает церковью. То, что вам представляется современным и важным и что вы называете взаимопониманием, – вещь абсолютно невозможная. Не сомневаюсь, что это связано с противоестественностью Вашего положения: я имею в виду Ваше одновременное пребывание в лоне православия и долголетнее сотрудничество с католиками. Это скорее какое-то недоразумение, с трудом представляю себе епископа, который мог бы дать благословение на работу православного человека практически внутри доминиканского ордена.

Мой личный путь шел через Восток. В юные годы я был обольщен буддизмом, и буддийская свобода казалась мне высшим достижением. Я много практиковал и прошел довольно далеко по этому пути – остановила меня пустота. В буддизме нет Бога, и Бог оказался для меня важнее свободы. Я не хотел быть свободным от Бога, я затосковал по личному Богу, и Он мне открылся в православии. Главный и самый

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru плодотворный путь – ортодоксальный. Я не хочу облегченного христианства. Те, о ком Вы говорите, – все сонмы реформаторов, «облегченцев», искателей не Бога, а удобной дороги к Богу. Но по удобной дороге никуда не придешь. Мне смешны попытки создания двуязычных Евангелий, в особенности попытка перевода службы с церковно-славянского на русский. Зачем? Чтобы не делать усилия и не учить дивный, пусть и несколько искусственный, но торжественный и специально для этой цели вылепленный язык? Этот язык осуществляет и связь с преданием, которое реализуется на той глубине, куда современный русский язык не спускается!

Мы плохо знаем каноны, а именно через них раскрывается вся глубина православия.

Вы говорите о восхитившем вас многообразии! Валентина Фердинандовна! Неужели Вы не понимаете, что берут роскошную, богатейшую ткань, вырезают из нее малый лоскуток и говорят: вот, этого совершенно достаточно! По этой причине у меня произошел полный разрыв с отцом Даниэлем Штайном. Его поиск «узкого», минимального христианства – путь пагубный. В том лоскутке, который он себе определил как «необходимое и достаточное», содержится одна тысячная, одна миллионная часть христианства. Я не стал Вас удерживать, когда вы решили ехать к нему на мессу. Я думал, Вы сами увидите этот разбой, это убожество! А Вы привезли мне в дом бумажку с несколькими усеченными текстами, которые он считает литургией! Я никогда не видел этого текста, и в руки бы не взял. Наш разрыв с ним произошел в ту пору, когда он еще не дошел до этого «минимализма», или «популизма», или – как хотите назовите! – теперь я исследовал этот текст. Даниэль не имеет никакого права называться священником, только по недосмотру церковных властей может происходить такое безобразие.

Лично я испытываю к нему благодарность: он сыграл большую роль в жизни нашей семьи, помог осуществиться нашему браку с Терезой (и также благодаря Вам, и благодарственную молитву за Вас я всегда буду возносить!), и чудо рождения нашего сына свершилось с его благословения. Но взгляды Даниэля представляются мне совершенно неприемлемыми.

Сын Божий пришел в мир через плоть. На иврите благовестие – «бесора» – и мясо, плоть – «басар» – родственные слова. Это и есть самая большая весть – Бог в нашей плоти. Истинно так. В плоти моего сына Ицхака. Этот мальчик соединил нас с Богом особым образом – моя плоть восприняла Божественную природу через него. Я сделал сыну обрезание не для того, чтобы он был иудеем, а для того, чтобы он стал Мессией.

Бой идет в небе и на земле, и бой все яростней, и надо стоять на том месте, на котором тебя поставили, а не искать удобства и комфорта. Только таким путем можно вернуться к истокам церкви, к ее подвижникам, к ее сердцевине.

Конечно, с реформаторами легче говорить, они готовы принять что угодно – аборты, однополую любовь, даже женское священство, и выбросить готовы что угодно – даже Святую Троицу!

Дорогая Валентина Фердинандовна! Наши расхождения столь велики, что общение не представляется мне возможным. Как муж, отвечающий перед Господом за свою жену, я запретил Терезе всякое с Вами общение и, надеюсь, от меня не потребуется никаких дополнительных объяснений по этому поводу.

Искренне Ваш, иерей Ефим Довитас.

37  
1995 г., Беэр Шева.

Ефим Довитас – Латинскому Патриарху Иерусалима

КОПИЯ: настоятелю Кармелитского монастыря «Стелла Марис»

Ваше Высокопреосвященство!

Важные обстоятельства вынудили меня обратиться к Вам с письмом, характер которого меня глубоко огорчает. Однако христианский долг побудил меня к написанию этого письма, поскольку – в чем я глубоко уверен – информация, в нем



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru содержащаяся, требует внимательного рассмотрения со стороны руководства Латинского Патриархата.

Приехав в Израиль в 1980 году, с 1984 года я осуществляю пастырское служение в православной церкви в Беэр Шеве. В общине, мною руководимой, служба ведется на церковно-славянском языке, что соответствует духу Православной Церкви. Большая часть моих прихожан – русские или русскоязычные, и лишь на Пасху мы с радостью знаменуем праздник провозглашениями на многих языках христианских церквей.

В традиции Православной Церкви с древних времен приняты две разновидности литургии – Василия Великого и Иоанна Златоуста, которых мы и придерживаемся.

Будучи специалистом в области литургики, я хорошо знаком и со структурой латинской мессы в ее общепринятом варианте.

Известно, что в поместных церквях допускаются некоторые богослужебные различия, касающиеся последования чтения псалмов и гимнов. Однако и в церквях Восточного, и в церквях Западного обряда существует неизменный литургический канон.

Некоторое время назад мне случайно попал в руки текст мессы, которая принята к службе во вверенной Вашему попечению церкви Илии у Источника на Кармеле. Текст, составленный настоятелем храма Илии у Источника, вызвал у меня столь глубокое недоумение, что я счел своим долгом переслать его Вашему Высокопреподобию для ознакомления. В приведенном тексте отсутствует «Символ веры», и уже одно это обстоятельство настораживает.

Не могу себе представить, чтобы подобная служба была одобрена Святейшим Престолом.

Ефим Довитас,

священник Русской Православной Церкви.

38

Текст так называемой Трапезы Воспоминания (литургии) Еврейской христианской общины в Хайфе, составленный братом Даниэлем Штайном

После зажигания светильников и чтения благословений.

ДАНИЭЛЬ. Да пребудет с вами милость и мир Бога, Отца нашего и нашего Господа Иисуса Христа.

ВСЕ. Аминь.

(Псалмы 43 и 32, или прошение о прощении.)

Чтения – псалмы и песнопения.

Проповедь.

БРАХА (благословение)

ДАНИЭЛЬ. Да будет благословен Господь, Бог наш, Царь мира, сотворивший небо и землю.

ВСЕ. Да будет благословен Господь, Бог наш, Он один творит чудеса. (Пс. 72:18.)

ДАНИЭЛЬ. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь мира, сотворивший людей по образу своему, сотворивший небо и землю. (Быт. 1:27.)

ВСЕ. Да будет благословен Господь, Бог наш, Он один творит чудеса. (Пс. 72:18.)

ДАНИЭЛЬ. Благословен Ты, Господь, заключивший завет с Авраамом и его потомками.

ВСЕ. Да будет...

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
ДАНИЭЛЬ. Благословен Ты, Господи, милостивый и милосердный, освобождающий и спасающий, избавивший нас от рабства египетского и ныне собравший сынов Израиля через две тысячи лет после их рассеяния.

ВСЕ. Да будет благословен..

ДАНИЭЛЬ. Благословен Ты за Твою Тору, которую дал нам через Моше, слугу Твоего, и через пророков, пришедших после него.

ВСЕ. Да будет благословен..

ДАНИЭЛЬ. Благословен Ты, Господь, пославший нам, когда исполнилось время, своего единственного Сына, Иисуса из Назарета.

ВСЕ. Да будет благословен..

ДАНИЭЛЬ. Благословен Ты, Господь, ибо было Тебе угодно возобновить Свой завет с нами в нем и приобщить все роды земли в долю наследия детей Твоих.

ВСЕ. Да будет благословен..

ДАНИЭЛЬ. Благословен Ты, Господь, Отец нашего Господа Иисуса Христа, по своей великой милости сотворивший нас заново в воскресении Иисуса из мертвых.

ВСЕ. Да будет благословен..

ДАНИЭЛЬ. Благословен Ты, Господь, изливающий на нас Свой Дух ради прощения грехов и ведущий нас по пути к доле наследия.

ВСЕ. Да будет благословен..

ДАНИЭЛЬ. Благословен Ты, Господь, Бог наш, верный в каждом слове Своем.

ВСЕ. Да будет благословен Господь, Бог наш, Бог Израиля! Он один творит чудеса. Да будет благословенно Его славное Имя в вечности! Да исполнится вся земля славой Его. Аминь. Аминь. Аминь.

ДАНИЭЛЬ. Да пребудет Господь с вами.

ВСЕ. Да пребудет Господь с тобой.

ДАНИЭЛЬ. Прославьте со мной Господа!

ВСЕ. Будем все вместе благословлять Его имя. (Пс. 34:4.)

ДАНИЭЛЬ. Возблагодарим Господа, Бога нашего.

ТРИСВЯТОЕ

ВСЕ. Свят, свят, свят Господь Воинств. Полны небо и земля славы Его. Осанна в вышних. Благословен идущий во имя Господне. Осанна в вышних.

Да услышит Господь наши молитвы и пошлет нам Его Святой Дух, дабы мы стали едины во Иисусе Христе, Его Сыне, в этот час, когда мы празднуем трапезу завета, как нам было заповедано.

ВОСПОМИНАНИЕ

ДАНИЭЛЬ. Когда пришел час, воссел Иисус за трапезу и с Ним ученики Его. Он взял хлеб, произнес благодарение, преломил хлеб, дал его ученикам и изрек: «Это мое тело, которое я отдаю за вас. Совершайте это в Мое воспоминание». (Лк. 22:18–19.)

Да будет благословен Господь, Бог наш, Царь мира, дающий хлебу произойти из земли.

ВСЕ. Аминь.

(Принимают хлеб.)

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
ДАНИЭЛЬ. И взял Он после трапезы чашу и изрек: «Это чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая проливается за вас (Лк. 22:20). Совершайте это в воспоминание Мое. Да будет благословен Господь, Бог наш, Царь мира, творящий плод лозы виноградной».

ВСЕ. Аминь.

(Принимают вино.)

ДАНИЭЛЬ. Во всякое время, когда едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вспоминайте смерть нашего Господа, пока Он не придет.

ВСЕ. Твою смерть мы возвещаем, и о Твоем воскресении свидетельствуем, пока Ты не придешь. Маранафа!

Или:

ДАНИЭЛЬ. Всякий раз, когда мы едим этот хлеб и пьем из этой чаши, Мессия с нами и мы с Ним.

ХВАЛЕНИЕ

Пс. 23 (или другой)

ДАНИЭЛЬ. Пойте Господу песнь новую, ибо Он совершил чудесные деяния.

ВСЕ. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу! (Пс. 98:1.)

ДАНИЭЛЬ. Да будешь Ты благословен, Господь и Творец и Сохранитель всего. Велик Господь, и высок для хваления – Его величие неисследимо.

ВСЕ. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. (Пс. 145:4.)

ДАНИЭЛЬ. Господь благ ко всем – Его милость владычествует над всеми Его величайшими делами.

ВСЕ. Все очи на Тебя уповают – и Ты даешь им пищу в благое время.

ДАНИЭЛЬ. Ты открываешь руку Твою и насыщаешь все живое по Твоему благоволению. (Пс. 145:3.)

ВСЕ. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь мира, питающий всех.

ПЕСНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

ДАНИЭЛЬ. Благодарите Господа. ибо Он благ.

ВСЕ. Милость Его вовек и истина Его в род и род. (Пс. 100:5.)

ДАНИЭЛЬ. Вечно помнит Он свой завет, слово, которое Он дал для тысячи родов, завет, который Он заключил с Авраамом, свою клятву Исааку. Он поставил это как закон Иакову, как вечный завет Израилю. (Пс. 105:8–10.)

Ты освободил нас от рабства по своей великой милости, и в пустыне Ты нас не оставил и дал нам, Господь, Бог наш, манну, которую не знали мы и отцы наши.

Мы восхваляем Тебя за хлеб, которым Ты нас насыщаешь, и за слово Твое, которое Ты вложил в наше сердце, мы восхваляем Тебя, Господь, Отец Учителя нашего Иисуса, Тебя, благословившего нас через Него, через Мессию, всеми благословениями небесными.

Да будет благословен Господь за вечную жизнь, которую Он взрастил внутри нас через Иисуса, своего слугу.

Благословен будь, Господь, Отец милости, который привел нас в царство своего возлюбленного Сына, дав нам через Него избавление и прощение грехов. (Кол. 1:13.)

ВСЕ. (Песнь.) Кто говорит о силе Господа, пусть воспевает славу Ему.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
ДАНИЭЛЬ. Да помилует Господь, Бог наш, народ Свой и Свое творение; раскинь над нами шатер Твоего мира и дай жить в мире всем детям Твоим. Воззри на христианскую общину и управляй ею Духом Твоим, и собери нас с четырех концов света в Твое Царство, которое Ты приготовил детям своим. Господи, услышь эту молитву, вспомни о... (Здесь добавляются отдельные прошения и имена людей.)

ВСЕ. Услышь наш голос и спаси нас.

ДАНИЭЛЬ. Через Иисуса нареклись мы детьми Божьими и говорим все вместе: Отче наш... (Стоя, как засвидетельствовано в Дидахе.)

ДАНИЭЛЬ. Мир Господа да будет со всеми вами! (Поклон, приветствие.)

ДАНИЭЛЬ. Да смилуется над нами Бог и благословит нас. Да просветит Он нас светом лица своего.

ВСЕ. Дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. (Пс. 67:2-3.)

(Поклон, приветствие.)

Благословение Аарона (или фес. 3:16 и др.).

39

Ноябрь, 1990 г., Фрайбург.

Последняя беседа Даниэля Штайна со школьниками

С 1959 года я живу в Израиле. Великое счастье жить на этой земле. Это земля нашего Учителя, который всю ее обошел ногами. Я тоже почти всю ее обошел пешком. Она невелика, наша страна. И хотя в Израиле есть современные города, и научные центры, и медицинские клиники, и атомная энергия, и даже танки с самолетами – все, что полагается иметь современному государству, по ней можно ходить пешком. В Центральной Европе уже почти невозможно пойти погулять по лесу: все огорожено, каждый клочок земли под присмотром, а в Израиле, где много пустой, гористой, сухой земли, можно идти в безлюдье, по тропе, никого не встречая. Природа не изменилась с тех пор, когда здесь ходил Учитель. Может быть, в этом и заключается притягательная сила здешних мест. Особенно Галилеи. Земля наша притягивает к себе любовь, притягивает и ненависть. Она никого не оставляет равнодушным. Даже тех, кто не признает существование Бога-Творца. Я с детства ощущал присутствие Божественной Силы, которая держит наш мир. И когда это чувство ослабевало, я получал свидетельства и подтверждения того, что человек не одинок в мире. Человек иногда жаждет доказательства бытия Божьего, и даже великие философы это исследовали. Не только Блаженный Августин, но и Кант.

В Израиле есть такие места, которые сами свидетельствуют об этом. Например, берега Киннерета – Генисаретского озера, как называется оно в Новом Завете, – пристань все на том же месте, и те же заросли у берега, и те же прибрежные камни. Вот место, откуда отплыла лодка с Учителем, и место, где Он произнес заповеди Блаженств, где пять тысяч человек, чуть ли не половина населения этого края, расположились на горе, где произошло чудо умножения хлебов... Сама земля здесь свидетельствует. Поразительно, что маленькое озеро Киннерет в отдаленной провинции на окраине ойкумены стало известно всему миру. Именно отсюда два тысячелетия тому назад пришла в мир весть, что все люди – дурные, неразумные, злые, глупые, а также и те, которые совершенно не верят в Спасителя, – прощены, потому что лучший из всех людей, истинный Сын Божий, взял на себя их грехи. Он сказал, что ныне люди освобождаются от греха, и подтвердил, что в природе человека может присутствовать Дух Божий, если человек того пожелает.

Я знаю несколько десятков людей, которые приезжали в Израиль на неделю, а остались на всю жизнь. У меня есть знакомый японец, приехавший по туристической путевке двадцать лет тому назад и оставшийся навсегда. Сейчас водит экскурсии своих соотечественников. Я знаю голландца, который достал со дна Киннерета точно такую же лодку, как лодка апостола Петра, лет десять ее реставрировал, спасал от каких-то жучков-червячков, которые на нее накупились, и он до сих пор живет на берегу, рядом с этой лодкой. Я знаю нескольких немцев, которые не смогли уехать из нашей страны, потому что приросли к ней сердцем. Это страна живой истории,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) которая продолжает измеряться библейскими масштабами. То, что происходит в ней сейчас, вполне могло бы быть записано в Библии.

История человечества здесь сконцентрирована. Не случайно здесь произошел взрыв, изменивший сознание мира, по крайней мере европейского и арабского. Отсюда, из среды очень маленького народа, вышел Великий Учитель Иешуа. Он говорил на языке, понятном современному израильтянину. Он жил в этой культуре – носил ту же одежду, ел ту же еду, выполнял все предписания иудейской религии, которой придерживался. Первые Его ученики были в некотором смысле иудеями-протестантами. Христианство – этого слова первые ученики Иисуса, двенадцать Его апостолов, вообще не знали – начиналось как реформированный иудаизм. Лишь столетие спустя оно порвало свою пуповину, уйдя в мир греческий, римский, малоазиатский. Иерусалимская община последователей Иешуа, во главе которой стоял апостол Иаков, существовала несколько десятилетий. Именно эта община была церковью-матерью для всех последующих христианских общин, именно на ее языке – древнееврейском с примесью арамейского – осуществилась та пасхальная встреча Учителя с учениками, которая в христианском мире называется Тайной Вечерей.

На распятии Иешуа надпись ИНЦИ – Иисус Назарянин Царь Иудейский – была сделана на трех языках – древнееврейском, греческом и латыни. Первое столетие христиане служили литургии на древнееврейском. И сейчас в Израиле мы опять служим на этом древнем, первом христианском языке. На том языке, на котором говорил Учитель.

Когда я приехал в Израиль, мне было важно понять, во что веровал наш Учитель? И чем более я углублялся в изучение того времени, тем яснее осознавал, что Иисус был настоящим иудеем, который в своей проповеди призывал выполнять заповеди, но считал, что одного исполнения – мало, и только любовь – единственный ответ человека Богу, и главное в поведении человека – непричинение зла другому, сострадание и милосердие. Учитель призывал к расширению любви. Он не давал никаких новых догматов, и новизна Его учения заключалась в том, что Любовь Он ставил выше Закона... И чем дольше я живу на свете, тем очевиднее для меня эта истина.

я благодарю вас за то терпение и внимание, с которыми вы меня выслушали.

я готов ответить на вопросы, которые у вас возникли.

ЭЛКЕР АУШЕ. Какое у вас самое страшное воспоминание о годах войны? И какое – самое радостное?

ДАНИЕЛЬ ШТАЙН. За долгие годы я совершил много глупых и неправильных поступков. И есть один поступок, о котором я скорблю всю жизнь. Он и есть мое самое страшное воспоминание. Однажды в полицейский участок позвонили и сообщили, что партизаны напали на двух немецких солдат, проверявших телефонную линию. Один был убит, а второму удалось убежать. Убегая, он заметил, что люди, работавшие в поле, показывали кому-то направление, в котором он побежал. После того как он вернулся в часть, нам оттуда позвонили и сообщили о происшествии. Нам приказали произвести расправу в этой деревне. Это означало, что расстреляют каждого десятого жителя, а деревню сожгут. Были собраны большие силы – подразделения германской армии и жандармерия, примерно 250 солдат и полицейских. Деревню окружили, дома обыскали, всех выгнали из домов и вывели в поле. Из двухсот человек следовало отобрать 20, которых должны были расстрелять.

Тогда я подошел к майору Рейнгольду и сказал:

– Господин полицмейстер, мы ведь не на фронте. Вы хозяин этой области, вы отвечаете за жизнь и смерть этих людей. Зачем убивать невиновных? Это крестьяне, которые снабжают и себя, и нашу армию продовольствием.

Мы были с майором Рейнгольдом в хороших отношениях, так что я мог такое позволить. Он мне ответил:

– Хорошо, тогда найдите тех, кто помогал в поле партизанам. Этого будет достаточно.

я был в большом затруднении. Подошел к старосте и объяснил ему, что кто-то должен умереть. И если он найдет двух, это может спасти жизнь двадцати. На

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskayaaludmila.ru](http://ulitskayaaludmila.ru) кого-то надо показать.

Староста меня сразу понял. Он подозвал местного дурачка, умственно отсталого парня лет семнадцати, и лесника. Этот лесник за несколько недель до этого события выдал одного мальчика – тот стрелял по немцам из дома, стоявшего в отдалении от деревни. Полицейские тогда по доносу лесника нашли мальчика, обнаружили при нем ружье и расстреляли. Я при этом присутствовал и должен был переводить приказ о расстреле:

«Именем Великого Германского рейха...»

И теперь этот предатель сам становится жертвой. Я помню, что в тот момент подумал: справедливость все же торжествует...

Лесник стал на колени и начал меня умолять:

– Господин, скажите им, что я не виноват. Я готов показать, где скрываются партизаны...

Положение было ужасным и для него, и для меня. Для него – потому что деревенские слышали, что он говорит, и непременно ему отомстили бы. Для меня – потому что я должен был переводить то, что он сказал, а среди немецких солдат могли быть уроженцы Силезии, понимающие лесника. И я пошел на риск. Мне нужно было в ответе непременно употребить слово «партизаны». И я сказал начальнику полиции:

– Он говорит, что не виноват и не показывал партизанам направления, куда убежал солдат.

Начальник полиции сказал – в расход!

Тут лесник стал умолять начальника, обещал отвести всех хоть сейчас в лагерь партизан... Я опять переводил неправильно.

Затем обоих расстреляли – лесника и дурачка. Дом лесничего сожгли. Но только один дом, а не всю деревню.

Потом я узнал, что у лесника было одиннадцать детей. И дурачок, ни в чем не повинный... Эти воспоминания поныне лежат на мне тяжким грузом. Ужасные воспоминания...

Да, радостные... Простите, не могу сейчас припомнить... Может быть, те часы, что я провел с Марысей Валевиц. Эта была первая влюбленность, и такое сильное ощущение радости от женской красоты, от женского очарования... Да, наверное...

КРИСТОФ ЭККЕ. Понравился ли вам наш город?

ДАНИЕЛЬ ШТАЙН. Фрайбург меня очень тронул. В день, когда я приехал, я обратил внимание на ручеек, который в каменной облицовке вьется по всему городу. И я подумал: как украшает город этот скромный ручеек. Я подумал, что это средневековая достопримечательность, сохранившаяся до наших дней. А потом я вышел на городскую площадь, и мне показали новую синагогу, построенную вместо разрушенной во время войны, и оказалось, что ручеек берет начало от фонтана возле синагоги, от фонтана, символизирующего слезы тех, кто оплакивает погибших еврейских жителей вашего города. Их было около двух тысяч, они были вывезены во Францию и там погибли в лагере смерти. Я думаю, это самый прекрасный знак памяти о Шоа, который я видел. И ручеек очень украшает город Фрайбург.

АНДРЕА СВИГЕЛЬ. Можно ли приехать в Израиль на каникулы, чтобы вы показали нам свои любимые места?

ДАНИЕЛЬ ШТАЙН. Да, конечно. Я вожу экскурсии по Израилю. Быть монахом – не профессия. Профессия моя сейчас – экскурсовод. Я оставлю вам свой адрес, вы напишите заранее, и мы сможем вас принять. Только обязательно заранее, потому что иногда приезжает сразу много туристов, а я не очень люблю водить большие

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru группы.

ЭЛИЗАБЕТ РАУХ. Каковы ваши отношения с евреями? Я имею в виду – как они к вам относятся?

ДАНИЕЛЬ ШТАЙН. Евреи – мои братья. Есть семья моего родного брата, и они давно привыкли, что у них есть странный родственник – католический священник. С моими племянниками – у меня три племянницы и племянник – у меня очень близкие и теплые отношения. Есть ученые евреи и даже раввины, с которыми я нахожусь в дружеских и очень содержательных отношениях. Когда я приехал в Израиль, меня встретили как борца с фашизмом, даже как героя. Некоторые смирились с тем, что я христианин. Других это раздражает. Но я не чувствую враждебности к себе лично, хотя в истории христианства есть такие страницы, которые хотелось бы вырвать. Увы, это невозможно... Страх и недоверие иудеев к христианам имеет историческое обоснование, ведь Церковь часто выступала организатором еврейских погромов...

ФАТИМА АДАШИ. Как вы относитесь к неверующим?

ДАНИЕЛЬ ШТАЙН. Дорогая Фатима! Признаюсь, что в своей жизни я не встречал неверующих людей. Скажем так, почти не встречал. Большинство людей, кроме тех, кто полностью и безоговорочно принимает выбранную ими или унаследованную от родителей веру, имеют свое представление о Высшей Силе, о том Двигателе мира, который мы, верующие, называем Творцом. Есть также люди, которые обожествляют какую-то собственную идею, провозглашают ее богом, служат ему и поклоняются. Идеей этой может быть что угодно: к этой породе людей относятся и убежденные коммунисты, и фашисты. Иногда это бывает очень небольшая идея – например, идея об инопланетянах или о вегетарианстве, но человек способен обожествить любую идею. В случае, скажем, вегетарианства это не опасно для окружающих, а вот в случае фашизма – очень опасно.

Среди моих друзей был один врач, который на словах отрицал присутствие Бога в мире, но жил в таком бескорыстном служении больным, что его словесное непризнание Бога не имело никакого значения. Одинаковое у меня отношение к верующим и неверующим. Разница только в том, что за христиан, когда они совершают преступления, бывает особенно стыдно.

ТОМАС ЛЮТОФ. Когда вы в следующий раз приедете в Германию, то в какой город? Мне бы хотелось еще раз вас послушать. Мне кажется, у меня очень много вопросов, но сейчас я почему-то не могу задать ни одного. А, есть вопрос! Не написали ли вы книгу обо всех своих приключениях?

ДАНИЕЛЬ ШТАЙН. Я не знаю, когда в следующий раз приеду в Германию. У меня очень много работы дома, каждый раз трудно выбраться. Это хорошо, когда у человека много вопросов. Когда вопрос внутри человека созревает и начинает человека тревожить, то ответ непременно получается каким-то образом. Книг я никаких не пишу – я очень плохой писатель. Кроме того, мне приходится так много говорить, что совершенно нет времени для писания. Еле успеваю на письма отвечать.

40  
1994 г., Хайфа.

Из дневника Хильды

Несколько дней назад я убиралась после детской группы, отскабливала пластилин, мыла посуду и уверена была, что в доме одна. Захожу в камору, которая торжественно зовется «кабинет», и вижу, что в полумраке Даниэль сидит на стуле в углу, с закрытыми глазами, шевелит губами, а пальцами быстро-быстро перебирает – спицы в руках! Вяжет. Или мне почудилось? Он даже не услышал, что я вошла. Он вообще теряет слух, я давно заметила. Я тихонько вышла, с грустным таким чувством. И немного смешно – как будто я застала его за неприличным занятием.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
А вчера отмечали мое пятидесятилетие. Решили по старой памяти возле храма устроить пикник. Как раз воскресенье, после службы – много народу, почти весь приход. Были гости – приехали несколько человек из Иерусалима, Беба из Твери, отец Всеволод, Фридман, Копейщиков, Нина и Сема Циглеры, много детей. Приехал наш любимый «малый брат» Жюльен Сомье из Акко, чокнутая «малая сестра» София, которая живет на шкафу, потому что ее маленькая квартира набита всеми бездомными, которых ей удастся заполучить, одна американская профессорша, одна русская писательница и венгерский нищий, который обосновался возле нашего храма.

Я думаю, человек пятьдесят-шестьдесят собралось. Расставили столы.

Дети спели “Happy birthday”, отец Всеволод – «Многие лета» по-русски, басом. А потом стали дарить подарки – множество глупой ерунды, непонятно, куда все это девать. Детские рисунки – самые лучшие из подарков, и красивые, и места много не занимают. Доктор Фридман подарил потрясающую книгу – искусство Кикладских островов, морские красоты, дельфины, ракушки. Считается, что это искусство исчезнувшей Атлантиды. Хорошо бы в следующей жизни быть художником. И тут Даниэль выходит с большим свертком. Развернул и вынул красный свитер. Это был самый неожиданный подарок. Он его сам связал. Развернул, разложил на столе и говорит: я думал, что разучился вязать, но руки помнят. Я у монахинь много чего вязал – они меня научили. Они на рынке носки, свитера продавали. В войну, конечно. Сами шерсть пряли. Но такой хорошей шерсти не было. Носи на здоровье – красное блондинкам к лицу.

Большой красный свитер с воротом «гольф».

Потом, когда все ушли, я разбирала подарки и нашла один неразвернутый. В нем оказалось круглое бедуинское зеркало в вышитой рамке из ткани, из тех вещей, которые жили в их палатках и прикреплялись на стены. Я заглянула в него – и увидела красное морщинистое лицо, обгоревшее на солнце, светлые волосы, гораздо более светлые, чем были у меня когда-то, потому что наполовину седые, и бледные маленькие глаза в розовых веках. И сухие темные губы. Это была я – не сразу узнала.

Каким бы был этот день, если бы тридцать лет назад я осталась в Баварии, в дальнем пригороде Мюнхена, на берегу Старнбергского озера?

Конец четвертой части  
Июнь, 2006 г., Москва.

Письмо Людмилы Улицкой Елене Костюкович

Дорогая Ляля!

Пишу и заливаюсь слезами. Я не настоящий писатель. Настоящие не плачут. Те живые люди, которых я видела рядом с живым Даниэлем, были другие, мои – придуманы. И сам Даниэль отчасти придуман. Тем более не было никакой Хильды – вместо нее была жесткая и властная женщина, жизнь которой совершенно для меня закрыта. Не было ни Мусы, ни Терезы, ни Герсона. Все они фантомы. Были другие люди, которых я видела, но коснуться их подлинной жизни не имею права.

Та чудесная немка, ангельский образ которой я поселила рядом с Даниэлем, уехала из своей родной Германии в маленькую православную общину в Литве. Настоятелем там грузин, феноменально музыкальный, к нему иногда приезжают сестры из Грузии, и они устраивают такие духовные концерты, что «Хильда», с ее немецкой музыкальной чувствительностью, обливается слезами. Но я-то чего рыдаю?

Не буду называть ее подлинное имя, но не могу отказать себе в удовольствии, дорогая Ляля, сообщить тебе, что она – ангел небесный, а не человек! – не так давно приехала в эту Литву из Германии на маленьком тракторе, который своим ходом гнала по проселочным дорогам пятьсот километров со скоростью десять км в час – тощая седеющая блондинка с рюкзаком на спине верхом на тракторном облучке. Община бедная, им очень нужен был трактор. Такого я бы не смогла придумать.

Я не настоящий писатель, и книга эта не роман, а коллаж. Я вырезаю ножницами куски из моей собственной жизни, из жизни других людей и склеиваю «без клея» –



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
цезура! – «живую повесть на обрывках дней».

Я ужасно устала. Иногда захожу в комнату к Андрею, у него из окна виден водоворот веток, с шестого этажа гораздо лучше выглядят наши больные тополя, клены и березы, чем снизу, с детской площадки. Смотрю на зеленое – зелень еще свежая и блестящая, – и глаз лечится...

Посылаю четвертую часть. На самом деле она одна пятая от целого.

Целую.

Л.

Часть пятая

1

1994 г., Израиль.

Из газет

Весь Израиль был потрясен событием, происшедшим 25 февраля 1994 года, накануне еврейского праздника Пурим. До сегодняшнего дня неизвестны многие подробности. Накануне праздника было достигнуто соглашение между шейхом пещеры Махпела и городской администрацией Хеврона о предоставлении евреям возможности молиться в зале Авраама в пещере Махпела.

Во время праздничной ночной молитвы в соседнем помещении, в зале Ицхака, собралось большое количество мусульман. Календари мусульманский и еврейский совпали в этот день таким образом, что канун праздника Пурим пришелся на празднование Рамадана. В обоих залах были молящиеся.

Ворвавшийся в мусульманский зал Ицхака еврейский поселенец американского происхождения доктор Барух Гольдштейн расстрелял из автомата толпу молящихся, убив 29 человек и ранив около 150.

Барух Гольдштейн был забит на месте разъяренными арабами. Под ковром молельного зала были обнаружены железные прутья, которыми и был убит Гольдштейн, там же было найдено большое количество холодного оружия.

Созданная правительством комиссия по расследованию инцидента опубликовала отчет, в котором ссылается на показания разведки, имеющей данные о подготовке еврейского погрома в городе Хевроне.

Комиссия располагает сведениями, что совершенный Барухом Гольдштейном расстрел в пещере Махпела носил превентивный характер, был подготовлен и спланирован заранее. В качестве подозреваемых задержаны два поселенца из близлежащего квартала – раввин Элияху Плоткин и Гершон Шимес.

Уже сегодня отчет представляет собой многотомное собрание, и комиссия обещает огласить свое заключение не раньше чем через три месяца.

Общественность страны не имеет единого мнения по поводу совершенного преступления, а сама личность Гольдштейна оценивается разными группами людей диаметрально противоположно: для одних он национальный герой, спасший ценой своей жизни еврейское население Хеврона от готовящейся массовой резни, для других – провокатор и безумец. Тем более интересны допросы людей, близких к Гольдштейну, его друзей и единомышленников раввина Элияху Плоткина и Гершона Шимеса. Однако их показания до сих пор не были опубликованы.

2

25 февраля 1994 г., Хеврон.

Из протокола допроса Гершона Шимеса

– Ты привез Баруха Гольдштейна к пещере Махпела?

– Да.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

- В котором часу?
- Около пяти утра.
- А точнее не помнишь?
- Я точно помню, что выехал из дому без двадцати пять. Я посмотрел на часы...
- Кто, кроме тебя, был в машине?
- Мой сын Биньомин. Потом пришел Барух...
- Тебя не удивило, что он в военной форме и с автоматом?
- Да. Но он сказал, что идет в милуим.
- Когда ты договаривался с ним, что захватишь его в Махпеле?
- Он позвонил накануне, часов в девять вечера, и мы договорились.
- Он говорил тебе что-нибудь о своих намерениях?
- Нет. Ни о чем таком разговора не было.
- Где вы расстались, когда приехали к пещере?
- Мы вместе вошли в зал Авраама. Канун Пурима, там было человек десять. Я не видел, как он выходил.
- Что произошло потом?
- Минут через десять я услышал автоматную очередь, потом еще. Я сразу понял, что это из зала Ицхака стрельба. Я туда побежал, но в проходе была охрана.
- Ты побежал вместе с сыном?
- Да. Нас не пропустили.
- Что ты сделал после этого?
- Мы с сыном вышли из зала и пошли к стоянке, но там все было оцеплено. Мы стояли за оцеплением и ждали, когда его снимут, чтобы уехать.
- Что происходило на площади? Что вы видели?
- Выносили убитых. Их было очень много. Много раненых, их относили в машины «скорой помощи».
- Видел ли ты там каких-нибудь знакомых в толпе?
- Какие знакомые? Там были одни арабы и наши солдаты. У арабов сегодня Рамадан, и много народу пришло в зал Ицхака. Знакомых моих там не было.
- Хорошо. Пойдешь сейчас с офицером на опознание.
- Какое опознание?
- Опознание тела Баруха Гольдштейна.

25 февраля 1994 г., Хеврон.

Из протокола допроса Биньомина Шимеса

- Ты ехал в машине своего отца в Махпелу вместе с Барухом Гольдштейном?

- Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru
- Да.
  - Ты хорошо его знал?
  - Конечно! Он врач, часто приходил к нам. Иногда лечить, иногда в гости. Родители дружили.
  - В котором часу вы выехали из дому?
  - Около пяти утра.
  - А точнее не помнишь?
  - Нет. Я вообще даже не очень проснулся. Отец сказал – поехали, и я быстро умылся.
  - Кто, кроме тебя, был в машине?
  - Мой отец и Барух.
  - Тебя не удивило, что Барух в военной форме и с автоматом?
  - Я внимания не обратил.
  - О чем вы разговаривали по дороге?
  - Да я не прислушивался. Вроде что отец его подберет на обратном пути.
  - А точнее не припомнишь? Где именно? Когда?
  - Вроде Барух должен был куда-то зайти по делу, а потом собирался вернуться в зал Авраама. Вроде того.
  - Это он говорил в машине?
  - Вроде да.
  - Значит, вы доехали вместе до пещеры и вместе вошли внутрь?
  - Да.
  - Барух еще что-нибудь говорил о своих намерениях?
  - Нет. Они о чем-то с отцом разговаривали, да я не прислушивался. Ни о каких намерениях.
  - Где вы расстались, когда приехали к пещере?
  - Мы вместе вошли в зал Авраама. Я не видел, как он выходил.
  - Что произошло потом?
  - Через некоторое время я услышал автоматную очередь, потом еще. Я сразу понял, что это из зала Ицхака. Мы с отцом туда побежали, но все было уже перекрыто. Тогда мы вышли на улицу и пошли к стоянке. Нас никуда не пустили. Наехало видимо-невидимо солдат, и арабов набежало человек тысяча. Откуда мы стояли, было видно, как выносили убитых. Кровища... И раненых очень много.
  - Видел ли ты каких-нибудь знакомых в толпе?
  - Нет.
  - Знаешь ли ты, что Барух Гольдштейн вошел в зал Ицхака и расстрелял там множество людей?
  - Знаю.
  - Знаешь ли ты, что он был убит на месте, в зале Ицхака?

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Знаю.

– Теперь тебе придется пойти на опознание тела Баруха Гольдштейна.

З

Март, 1994 г., кфар Шауль.

Психиатрическая больница.

Из разговора Деборы Шимес с доктором Фрейдиным

– Мы с ним говорили, Дебора. Он плохо идет на контакт. А без контакта нам будет трудно вывести его из этого состояния. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказала нам о его поведении после всего случившегося.

– Меня уже вызывали на допрос.

– Меня не интересуют ваши политические взгляды и мера участия твоего мужа в происшедшем. Что ты так смотришь на меня? Я лечу болезни, а не политические взгляды. С какого момента тебе показалось поведение Биньомина неадекватным?

– А я не знаю, что считать адекватным, а что неадекватным. Когда подростка вызывают для опознания изувеченного трупа человека, которого он видел чуть ли не каждый день, это вообще можно считать адекватным? Какое право имели его туда вести? Ему тогда не было шестнадцати.

– Я бы тоже возражал, если бы у меня спросили. Но не спросили. Так что теперь надо приводить парня в порядок. Он очень тяжело, как я понимаю, перенес это опознание?

– Да. Он был сам не свой. Поднялся к себе в комнату и никого не хотел видеть. Даже младшую сестренку.

– Долго это продолжалось? Нежелание общаться с кем бы то ни было?

– Долго? До сих пор и продолжается! Он не хочет разговаривать ни со мной, ни с отцом. Он не спускался к обеду. Даже в субботу. Я носила ему в комнату еду и питье и ни разу не видела, чтобы он ел. Когда он похудел так, что все лицо обтянулось, я поняла, что он выбрасывает еду в уборную.

– Отец пытался с ним разговаривать?

– Сначала пытался, как-то на него наорал, а потом прекратил всякие попытки общения. Однажды предложил пойти на могилу к Баруху – его похоронили в Кирьят Арба, в парке Кахане, но Биньомин наотрез отказался.

– А как он с тобой?

– Он мне тоже не отвечал. Отворачивался к стене. Почти все время лежал лицом к стене.

– Почему вы не вызвали к нему врача?

– Мы просто не успели. Отец считал, что он слишком впечатлителен, что должно пройти само собой. У нас семеро детей, и у каждого ребенка свои проблемы. Как раз в это время болели двое младших, а потом обнаружили гастрит у старшей дочери. Я постоянно возила по больницам то одного, то другого.

– В школу Биньомин все это время не ходил?

– Нет. Он отказывался, и мы не настаивали. Считали, что лучше он пропустит год, чем оказывать такое насилие.

– Он высказывал какие-нибудь суицидальные намерения?

– Какие намерения? Он вообще с нами не разговаривал.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– А с кем-нибудь разговаривал? С братьями, с друзьями?

– Он не хотел выходить из комнаты, когда заходили его приятели.

– Что было в тот день, когда он пытался вскрыть вены?

– Я уехала в семь утра из дому, отвезла младших в сад, других в школу, а сама поехала за продуктами. Когда приехала, с потолка лила вода. У нас на втором этаже душевая кабина, и он весь бойлер выпустил. Я бросилась наверх, он сидел, скорчившись, в душевой кабине, вены вскрыты, но крови было немного. Он был почти без сознания. Скорее в шоке, чем в обмороке. Я его подняла. Он совсем не сопротивлялся. Сразу вызвала «скорую». Вот и все. Но теперь я бы хотела поскорее забрать его домой.

– Нет, он в таком виде, что его надо бы подлечить.

– Это долго?

– Я думаю, не меньше шести недель. А может, и больше. Пока мы не будем уверены, что его жизнь в безопасности, мы не можем его выписывать.

4

Заключение психиатра

Д и а г н о з:

Тяжелая затяжная реактивная депрессия, протестное поведение в рамках юношеского аффективного криза. Суицидальная попытка.

Д о п о л н и т е л ь н о:

В связи с крайне негативным отношением к лечению, назначенному после совершения суицидальной попытки, пациент внушает серьезные опасения в отношении возможности побега и новых суицидальных попыток. Нуждается в постоянном надзоре. Оповестить персонал.

5

Заключение психиатра

Держится настороженно. Контакт крайне затруднен. Молчалив. Негативистичен. На вопросы предпочитает не реагировать, лишь иногда отвечает односложно, не глядя на собеседника. От участия в психологическом обследовании отказывается. Явно нуждается в проведении психологической коррекции. На начальном этапе целесообразно использование методов невербальной психотерапии.

6

1994 г., Кфар Шауль.

Из приказа по психиатрической больнице

В связи с побегом 12 апреля с. г. пациента второго отделения Биньомина Шимеса объявить врачу Михаэлю Эптштейну, санитарам Таисиру Бадрану и Брахе Йосефу выговор.

Начальник охраны Узи Рафаэли уволен согласно приказу директора клиники.

Главный врач больницы

Элиезер Ганор.

7

1994 г., Кфар Шауль.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
в ведомство полиции (отдел розыска) из психиатрической больницы Кфар Шауль

12 апреля с. г. из отделения № 2 сбежал больной подросток Биньомин Шимес 16 лет. Общие приметы: рост 179 см, рыжеволосый, глаза голубые, лицо длинное, неправильный прикус, на верхнюю челюсть надеты брекеты, небольшой шрам на левом предплечье. Подросток не представляет опасности, но может нанести вред себе. Просим объявить в розыск. Фотография прилагается.

Главный врач больницы Кфар Шауль

Элиезер Ганор.

8  
1995 г.

Из дневника Хильды

Некоторое время назад к нам на гору поднялся странный юноша. Очень худой, с виду оборванец, но с очень красивым лицом. Спросил по-английски, не может ли он найти у нас приют на несколько дней. Даниэль в эти дни возил экскурсии, да обычно я и не спрашиваю у него разрешения, когда надо кого-то пустить переночевать. Я разрешила мальчику ночевать в общинном доме. Он был очень разочарован, потому что ему хотелось остаться здесь, на горе. Но тем не менее он поехал со мной вниз. Я спросила его имя, он сказал, что ничего не украл, но не хотел бы называть своего имени. Я все же много работала с детьми и решила, что он беглый подросток, которого обидели родители, не дав денег на мороженое или на плеер. Хорошо, я буду тебя звать доктор Хайд. Он засмеялся, сказал, что лучше мистер Джекил. И мы с ним после этого сразу стали друзьями.

В общинном доме я отвела его в каморку Даниэля и сказала, что он может оставаться здесь до приезда хозяина. В это время как раз испортился насос, и надо было таскать бесконечное количество воды, чтобы мыть наших старух. Доктор Хайд безропотно таскал воду с утра до ночи, ни слова не говоря. По ночам читал – или не гасил света в каморке. Когда на третий день приехал Даниэль, он очень вежливо поблагодарил меня, выпил с нами чай и ушел. Даниэль сморщился – напрасно ты его отпустила: видишь, что ему очень плохо. У парня что-то случилось.

Я уже и сама себя ругала – он хотя и здоровенный, и очень сильный, но какой-то беззащитный и растерянный. Несколько дней я о нем вспоминала, а потом забыла.

Через две недели он опять пришел, в рваных кроссовках, уже окончательно ободранный и очень грязный. Я утром прихожу к общинному дому, а он сидит в садике – не то спит с открытыми глазами, не то медитирует. Я его окликнула – доктор Хайд!

– Пустите пожить? – он опять спрашивает.

Тут я подумала, может, он наркоман. У нас в городе есть замечательные люди, которые с наркоманской молодежью работают, я с ними не однажды контактировала, когда были неприятности с приходскими детьми. Я спросила, он говорит: нет, что ты, у меня нет проблем с наркотиками. У меня большое отвращение к жизни и без всяких наркотиков.

Я кофе сварила, сидим, потихоньку разговариваем. Я больше ничего не спрашиваю. Мальчишка-то симпатичный. Я решила, что он американец – говорит очень свободно по-американски.

Потом приехал Даниэль, и доктор Хайд сразу замкнулся. В общем, он, конечно, слегка сумасшедший. Что-то я не так сказала, он вдруг перестал со мной разговаривать, замолчал. Но весь сад нам вскопал, видно, что с деревьями работать умеет. Вообще с руками парень.

Прошло еще несколько дней, и Даниэль посадил его в машину и куда-то увез. Мне, конечно, ужасно интересно, но я не спрашиваю, думаю, Даниэль сам расскажет. Но пока молчит.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
9  
1995 г.

Письмо Биньомина Шимеса матери Деборе

Дорогая мама!

Извини, что я сбежал. У меня не было другого выхода. Я прошу меня не искать. Со мной все в порядке. Я не уверен, что вернусь домой. Отец говорил мне, что ушел из дому, когда ему было шестнадцать лет, потому что решил строить жизнь по своей модели. Мне тоже шестнадцать, но я пока не знаю, по какой модели я хочу строить свою жизнь. Точно – не по вашей. Мне кажется, что вы слишком давите. Прошу вас не беспокоиться, я дам о себе знать, когда определюсь.

Я не хотел вам писать, но один человек посоветовал мне проявить милосердие. Я это и сделал.

Биньомин.

10  
1994 г., Хайфа.

Разговор Даниэля и Хильды

ДАНИЭЛЬ. Я отвез его к Рафаилу. Там тихо, есть возможность подумать, прийти в себя. Мне мальчика жалко. С другой стороны, родители... Он сказал, что написал им письмо, чтобы не беспокоились. Но ведь наверняка с ума сходят. Он сказал, что сбежал из психиатрической клиники. Кризис переживает. Ну, что скажешь?

ХИЛЬДА. Раз ты его к Рафаилу отвез, ты несешь ответственность.

ДАНИЭЛЬ. Так что, мне его забрать и выставить на все четыре стороны? Так ты считаешь?

ХИЛЬДА. Не знаю. Если его там найдут, будет скандал.

ДАНИЭЛЬ. Пожалуй, будет.

ХИЛЬДА. А выставить – на улицу?

ДАНИЭЛЬ. Не знаю. Хильда, а ты из дому в детстве не убегала?

ХИЛЬДА. Убегала один раз. Меня к вечеру нашли, и отчим вздул как следует. А ты?

ДАНИЭЛЬ. Когда мне было приблизительно столько лет, сколько ему, из дому мы всей семьей убегали – немцы наступали...

ХИЛЬДА. Давай заберем его от Рафаила и поселим в какую-нибудь хорошую семью. К Адаму или к Йосефу?

ДАНИЭЛЬ. Надо с ними поговорить.

11  
1994 г.

Из телефонного разговора

– Квартира Шимесов? Из полицейского участка. Задержали вашего парня. Он не дает показаний, вообще ни слова от него нельзя добиться. У нас нет никаких оснований его держать, кроме вашего заявления. Вопрос о помещении его в психиатрическую лечебницу мы не решаем. Вызвали психиатра и чиновника из министерства образования, и, пожалуйста, приезжайте как можно скорее.

12  
1995 г.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Доска объявлений в приходском доме

УРА! МЫ ЕДЕМ!

ВСЕ, КТО СМОЖЕТ, БЕРИТЕ ДЕТЕЙ И ДРУЗЕЙ, МЫ ЕДЕМ НА ДВА ДНЯ НА КИННЕРЕТ!

НЕМЕЦКАЯ МИССИЯ РАЗРЕШАЕТ НАМ РАЗБИТЬ ПАЛАТКИ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ!

МЫ БУДЕМ КУПАТЬСЯ, ТАК ЧТО

НЕ ЗАБУДЬТЕ КУПАЛЬНИКИ!

СОБИРАЕМ ДЕНЬГИ НА ОБЩИЙ СТОЛ –

КТО СКОЛЬКО МОЖЕТ!

ПОКУПКИ ДЕЛАЮТ ХИЛЬДА, ЖАННА

И АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА.

БОЛЬШИЕ ДЕТСКИЕ ИГРЫ И ХИТРЫЕ

СОРЕВНОВАНИЯ.

НА ЗАКАТЕ БУДЕТ СОВЕРШЕНА СЛУЖБА,

А ПОТОМ ОБЩАЯ ТРАПЕЗА У КОСТРА!

НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО БУДЕТ СОВЕРШЕНО КРЕЩЕНИЕ МАЛЕНЬКОГО СИМЕОНА

И ЕГО ОТЦА НИКОЛАЯ.

ВСЬ ДЕНЬ МЫ БУДЕМ РАДОВАТЬСЯ И ВЕСЕЛИТЬСЯ, А ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ УБЕРЕМ ЗА СОБОЙ ВСЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ СОРИНКИ!

ДВА АВТОБУСА БУДУТ СТОЯТЬ ОКОЛО

ПРИХОДСКОГО ДОМА В 8 ЧАСОВ УТРА.

НЕ ОПАЗДЫВАЙТЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ

НА 10 МИНУТ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ НА 15!

ХИЛЬДА

13

1996 г., Галилея. Ноф А-Галиль.

Из разговора Авигодора Штайна с Эвой Манукян

Честно скажу, я поехал на их праздник впервые в жизни. Во-первых, Милка уехала в Америку к Рут. Ноами привезла мне двух внуков на все праздники. Она заканчивала докторат, хотела посидеть три дня и поработать. Ладно. Во-вторых, Даниэль устраивает экскурсию, а весь Израиль говорит, что он водит экскурсии бесподобно. Пусть мои внуки послушают, что их двоюродный дед говорит. Я в нем уверен – он плохого не скажет. А что он там немного крестом помашет, так мы как раз можем в это время в футбол поиграть или взять лодку и поплавать. В конце концов, он всегда приходит к нам на Пасху, и ничего не случается, он читает Агаду, между прочим, лучше всех в нашей семье. Вообще – он старший брат. Ты знаешь, Эва, мне все эти религиозные вещи просто не интересны. Ну, в юности я, конечно, всем интересовался, но больше из-за Даниэля. А когда вошел в возраст, мне трактора стали гораздо интереснее. У меня, честно, были очень хорошие мысли относительно тракторов, было бы время и возможности, я бы мог спроектировать такой маленький колесный трактор, который во всем мире продавали. Но я еще к этому вернусь, когда немного свободного времени будет.

В общем, мы сели в автобус и поехали на Киннерет.



Поехали не по короткой дороге, а через Изреельскую долину до Афулы, там прихватили одну женщину Ирину с тремя дочками и мимо Гильбоа, мимо Табора выехали к Тверии. Что я тебе могу сказать – как будто я первый раз ехал по этим местам, так Даниэль рассказывал – про каждую деревню, про каждый куст, про каждого встречного осла. Какую он прочел лекцию об ослах, я не шучу! Он знает про всех ослов и ослиц Израиля – как же он их восхвалял, особенно ту, которая узнала Ангела, когда сам хозяин Валаам Ангела не признал. А сколько историй про пропавших ослов, про тех, кто нес на себе драгоценности, я уже не говорю о той ослице, которая Иешуа на себе ввезла в Иерусалим. В общем, дети просто развесили уши, и маленькие, и постарше. Целый воз историй. Что ни копнешь, сразу рассказ на час. Он что-то им про змей рассказывал, но тут я заснул и проспал самое интересное.

В Тверии вышли, но он сразу сказал, что долго задерживаться здесь не будем. Я там был несколько раз, а он провел по таким местам, которых я вообще не видел, и тоже так интересно рассказывал, не понимаю, откуда он это знает. Я здесь всю жизнь живу и не знаю. Между прочим, он сказал, что сомневается насчет развалин здешней синагоги. Думает, что это римский храм более позднего времени, и аргументировал просто как архитектор. Откуда знает? Мои внуки опять уши развесили. Потом приехали в Табху. Там речка, бассейн, сад прекрасный – все на берегу Киннерета. Немец подошел, показал, где палатки ставить, и дал несколько комнат для старушек. Потом вышли на берег – там пристань. Даниэль обернулся и говорит: вот то самое место, откуда Петр с братом на лодке отчаливали на рыбную ловлю. Знаешь, Эва, я поверил. Правда, отсюда рыбаки выходили на лов.

Знаешь, так хорошо он все организовал: сели на траве, попили, немного перекусили, потом они пошли на берег по своим делам – там у них крест, на каменном столе они служат свою службу, мы с внуками как раз пошли к пристани, я сделал им лодочки, они пускали по воде. Потом те помолились себе, сели за большой стол в саду – хлеб, вино, куры жареные, все довольны. Люди все улыбаются – и друг друга любят. Все-таки это особый талант моего брата. Каким бы он мог быть хорошим педагогом – учил бы хоть истории, хоть ботанике. Между прочим, он мог преподавать и еврейскую традицию, он все досконально знает.

На другой день приехала семья из России, ребенка крестить на Святой земле. Мне показалось, что это мысль здравая: если решили крестить, уж лучше здесь, чем там. Между прочим, там, в России, раньше преследовали, могли с работы выгнать за крещение ребенка, а теперь – пожалуйста. Знаешь, Эва, когда делали обрезание моим внукам, они плакали, особенно Иаков, и у меня просто сердце кровью обливалось: зачем резать, ведь можно сделать это символически? В этом смысле крещение лучше – совершенно безболезненно. Ребенок был очень доволен, и надо сказать, что Даниэль проделал это очень ловко – я бы боялся, такой маленький может из рук выскользнуть.

Потом началось большое веселье, но совершенно обычное, ничего такого специально христианского не было. Даже соревнование устроили – кто камешком в камешек попадет и кто бросит в воду плоский камень, чтобы несколько раз по воде подпрыгнул. Ну, в этом деле мне равных нет – никто меня не победил.

Эва, ты знаешь, он с ними возился со всеми – и с взрослыми, и с детьми, как добрый дедушка, и я подумал, что он хорошо-таки делает свое дело. Нам, евреям, это в сущности не нужно, но для других людей иметь такого хорошего учителя, и руководителя, и советчика – очень хорошо. И мне тогда пришло в голову, что наш Даниэль – Божий человек. Никому плохого не сделал, только хорошее, ни о ком не сказал плохого слова, и ничего ему не нужно было для себя. Вообще ничего. Если бы все христиане были такие, как он, евреи бы к ним очень хорошо относились. Эва, я так жалею, что я ему ничего этого не сказал. Я его больше живым не видел.

Ну что ты ревешь, девочка моя? Конечно, мог бы еще жить и жить.

14

1995 г., Хеврон. Полицейский участок.

Допрос Деборы Шимес после самоубийства Биньомина

– Я понимаю твое горе, но прошу тебя перестать кричать. Это формальность, но

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
протокол необходимо заполнить. Что ты думаешь, мне очень приятно тебя  
допрашивать? Пожалуйста, не кричи, а то родишь.

– Не твоя забота.

– Хорошо, хорошо. Правда, не моя забота. Скажи, кто обнаружил Биньомина на чердаке?

– Сарра, наша дочь.

– Когда?

– Сегодня утром.

– В котором часу?

– В половине седьмого. Я сварила кофе и попросила Сарру отнести Биньомину чашку.

– Пожалуйста, не кричи. Очень прошу тебя. Мы сейчас закончим. Это очень быстро. Рассказывай подробней.

– Сарра вошла в его комнату. Дверь была открыта, а обычно он запирался. Его не было. Она оставила на столе чашку и пошла на чердак, потому что он иногда там сидел.

– Ну?

– Она пришла и сказала, что у Биньомина ноги холодные.

– Воды возьми. Вот.

– Я не поняла. Прошло минут десять, прежде чем она сказала, что его надо снять, потому что он висит и ничего не отвечает. В это время вошел Гершон, он был во дворе, и он побежал вверх. Биньомин был мертв. Он сделал это ночью. Уже было поздно.

– Дебора, мы знаем, что мальчик был болен. Скажи, он с тобой или с отцом ссорился?

– Да. Он хотел уехать, а отец его не отпускал.

– Он хотел съехать из дома?

– Нет. Он хотел уехать в Россию к бабушке. Мы собирались его отправить в Америку к моим родителям и братьям, а он хотел в Россию. Отец его не пускал. Из-за этого и поссорились.

– Когда произошла ссора?

– Она все время висела в воздухе.

– Отец его бил?

– Оставь меня в покое...

– Дебора! Тебе плохо? Врача позвать?

– Да. Позвать. Позвать. У меня схватки начались...

15

1995 г., Хеврон. Полицейский участок.

Запись допроса Гершона Шимеса после самоубийства Биньомина

– Я понимаю твою горе, но это формальность, протокол надо заполнить.

– Спрашивай.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

- Кто обнаружил Биньомина на чердаке?
- Дочь Сарра.
- Дальше.
- Я был во дворе, вошел в дом, она сказала, что Биньомина надо снять, потому что он сам не хочет. Я побежал на чердак. Он повесился в единственном месте, где это было возможно, прицепил веревку к стропилам...
- Почему ты снял его? Он был мертв, и правило такое, что надо вызывать полицию.
- В этот момент я не думал о полицейских правилах.
- Здесь лежат вещи – шорты, серебряная цепочка с брелоком в виде буквы «шин» и шерстяные четки. Это его вещи?
- Да.
- Почему у него в руках были четки?
- И я хотел бы это знать. Это меня больше всего занимает. В апреле, после первой попытки самоубийства, он сбежал из больницы и скрывался месяца два, пока его не поймала полиция. Он не говорил, где он был. Я думаю, что это была какая-то христианская секта, и они его держали насильственно.
- Почему ты так думаешь? У тебя есть какая-то информация?
- Нет. Он ничего не говорил. Но теперь я все узнаю. Он был бы жив, если бы не их вмешательство.
- Ты в этом уверен?
- Уверен. И этим должна была заниматься полиция, а не я.
- А вы делали заявление в полицию?
- Все это время меня продержали в тюрьме без предъявления обвинения. Я был лишен возможности сделать заявление.
- Ну, это я знаю. Ты проходил по делу Баруха Гольдштейна.
- Да. Меня держали без всяких оснований.
- Сейчас у нас другая проблема. Ты ссорился с сыном?
- Да. Только я не считаю его сумасшедшим. То есть сумасшедшим, но не в том смысле.
- Медицинские проблемы меня не касаются. Ты ссорился с ним незадолго до самоубийства?
- Да. Мы крепко поссорились, но он добился своего – я разрешил ему поехать в Россию к бабушке. Мне нечего скрывать – перед этим я влепил ему оплеуху.
- У него свежая ссадина на губе. Следствие оплеухи?
- Думаю, да. Мне нечего скрывать. Он мой сын, и это наши отношения, и они никого не касаются.
- Не касались, Гершон. Теперь ты должен подписать протокол. Сам должен понимать, что в подобном случае полиция должна исключить возможность убийства.
- Что? Как ты смеешь это говорить мне, отцу? Ты что, подозреваешь меня в убийстве собственного сына? Да я...
- Стой. Не лезь с кулаками. Я не считаю тебя убийцей. И об этом я напишу куда

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru следует.

– Сволочи легавые! (Дальше текст непечатный.) Вы всюду одинаковые!.. (Текст непечатный.) Вы бы лучше искали тех, кто держал мальчика в плену, кто вбил ему в голову этот протест к родителям! Ваша (текст непечатный)... полиция думает только о том, чтобы арабов не обидеть! О своих вы не думаете, своих граждан вы не защищаете! Задницы свои бережете! Лучше бы искали тех уродов, которые моему парню голову заморочили! Здесь вас нет! Да пошли вы!.. (Текст непечатный.) Я сам найду! Я сам отомщу!.. Твое правительство... Твой Рабин...

(Последний фрагмент произнесен по-русски. Перевел В. Цыпкин.)

16

Ноябрь, 1995 г., Хайфа.

Из письма Хильды к матери

Дорогая мама!

Ты, конечно, уже слышала, что убили Ицхака Рабина. Все говорят только об этом – и газеты, и телевидение, и люди в магазинах, и даже прихожане в церкви. Даниэль тоже очень взволнован. Он всегда был убежден, что только общее еврейско-арабское государство имело реальный шанс на существование, а создание двух независимых государств невозможно, потому что границы проходят не по земле, а в глубине человеческого сознания. И если сознание исцелить, то это и даст возможность выживания. Я на эту всю ситуацию смотрю со стороны. Вернее, со своей стороны: я не еврейка и не палестинка. Как бы ни любила я Израиль, в сердце моем огромное сочувствие к арабам, обычным мирным жителям, положение которых делается год от году все более тяжелым. Я ведь здесь живу как вольнонаемник – в любой момент могу вернуться в Германию, делать то же самое, что я делаю здесь: ухаживать за больными стариками, работать с неблагополучными детьми, распределять благотворительную помощь.

Не помню, говорила ли я тебе о том, что здешние психиатры ввели новый термин – «Иерусалимский синдром». Это безумие на религиозной почве. После истории с Барухом Гольдштейном вся страна в остром приступе болезни: правые и поселенцы страшно ополчились против левых. Одни жаждут мира любой ценой, другие с такой же страстью жаждут победы над врагами.

Обстановка страшно накаленная и нервная.

Я собираюсь в отпуск, и мы с Даниэлем прикинули, что я поеду в Германию недели на две в начале декабря, чтобы вернуться домой к Рождеству. Ну, за несколько дней, чтобы успеть подготовиться к празднику. Я тебе позвоню, как только определится дата моего отъезда...

17

1 декабря 1995 г., Иерусалим.

Из газеты «Хадашот Га-Эрев»

Как сообщили газеты, за четыре месяца до убийства Ицхака Рабина, 22 июня 1995 года, на древнем кладбище Рош Пина в Галилее состоялась древняя церемония смертельного проклятия пульсе де-нура. Двадцать крайне правых активистов – все бородатые мужчины старше 40 лет, не разведенные и не вдовцы – под руководством раввина помолились о том, чтобы «ангелы разрушения» убили «грешника Ицхака Рабина».

Ритуальное проклятие было прочитано у могилы Шломо Бен Йосефа, члена ультранационалистического движения «Бейтар». Бен Йосеф был повешен в 1938 году в Палестине за попытку уничтожить арабский автобус.

Сведения об этой церемонии проникли в газеты еще до убийства, но только после трагического события они приобрели общественный интерес.

Наш корреспондент встретился с некоторыми людьми, которые более информированы об

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskayaaludmila.ru](http://ulitskayaaludmila.ru) этом событии, чем большинство наших читателей. Удалось задать несколько вопросов раввину Меиру Даяну, который проводил эту церемонию. Он сообщил, что пульсе де-нура, так называемое проклятие коэнов, накладывается в исключительных случаях на лиц, которые представляют угрозу целостности Торы, и обращено оно может быть только против евреев. Поэтому домыслы о том, что это проклятие еврейские мудрецы обращали против Гитлера, совершенно необоснованны. В XX веке пульсе де-нура, насколько ему известно, было использовано дважды – против Троцкого и против Ицхака Рабина.

Что касается Ицхака Рабина, это еще кое-как можно понять. Что же касается Троцкого, то объяснение, которое давали участники ритуала, вообще представляется смехотворным: они полагали, что Троцкий нанес большой вред всему еврейскому народу, заменяя служение Торе служением идолу, которым была для него социальная революция.

Современный еврейский авторитет, раввин Элиягу Лурие, потомок великого раввина и каббалиста, высказался категорично и кратко – если этот обряд действительно был совершен, то это дело рук малограмотных активистов.

Пока общественность горячо обсуждает, было ли связано злодейское убийство премьер-министра с древним проклятием или эти два события между собой никак не связаны, пришло еще одно сообщение о ночном собрании на кладбище Рош Пина. Снова группа бородатых евреев в черном и один, ведущий церемонию, в белом собрались на могиле Бен Йосефа.

Кладбищенский сторож, оказавшийся невольным свидетелем тайного собрания, сообщил о нем своему начальству, но просил не называть его имени в случае публикации. Хотя он находился в непосредственной близости от места церемонии, имя проклинуемого он также не счел нужным оглашать. Номер микроавтобуса, увозившего ночных посетителей Рош Пина, был зафиксирован на стоянке. Наш корреспондент Адик Шапиро проявил чудеса хитроумия и по номеру выяснил, что машина зарегистрирована в Хевроне, а хозяин ее – небезызвестный поселенец-экстремист, причастный к делу Баруха Гольдштейна, Гершон Шимес.

Каббалисты представляли себе это проклятие как удар огненным копьем, на которое нанизаны кольца огня.

Хотелось бы знать, на кого обрушится очередной «удар огнем»?

18  
1996 г., Хайфа.

Из разговора Хильды и Эвы Манукян

На обратном пути мы заехали на Тавор. Даниэль совершил там молебен. Все были уже усталые, и я подумала, что это уже лишнее. Он отслужил короткий молебен и, когда закончил, сказал:

– Посмотрите друг на друга! Вы видите, какие у нас обыкновенные лица – не все красивые, не все молодые, некоторые вообще так себе, и представьте себе, что наступит момент, когда у всех нас будут лица, сияющие Божественной Красотой, такие, какими мы были задуманы Господом. Посмотрите на маленького Симеона, вот все будем так беспорочны и так прекрасны, как младенцы, а может, и еще лучше.

Николай, отец младенца Симеона, которого тоже в этот день крестили, всю дорогу приставал к Даниэлю с богословскими вопросами – насчет грехопадения, первородного греха. Я не все поняла, потому что они иногда переходили на русский. Я только видела, что Даниэль все старался ему говорить о Богоявлении, о Преображении, весь сиял улыбками, а тот, зануда, все про первородный грех и про ад интересовался. Я-то знаю, что Даниэль в ад не верит. Машет рукой и говорит:

– Христос воскрес, какой еще ад! Не устраивайте его сами себе, и не будет никакого ада.

Но той ночью ужасное зло на нас излилось.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Июнь, 2006 г.

Письмо Людмилы Улицкой Елене Костюкович

Дорогая Ляля!

С Божьей помощью заканчиваю эту историю, – началась она в августе 92-го года, когда Даниэль Руфайзен вошел ко мне в дом. Не помню, рассказывала ли я тебе об этом? Он был в Москве проездом, по дороге в Минск. Сел на стул, едва доставая до пола ногами, обутыми в сандалии. Очень приветливый, очень обыкновенный. Но при этом, я чувствую, что-то происходит – то ли кровлю разобрали, то ли шаровая молния под потолком стоит. Потом я поняла – это был человек, который жил в присутствии Бога, и это присутствие было таким сильным, что и другими людьми ощущалось.

Мы ели, пили и разговаривали. Ему задавали вопросы, он отвечал. К счастью, кто-то включил диктофон, и потом я смогла прослушать весь разговор. Он частично использован в этой книге. Вообще я довольно много использовала сведений, почерпнутых из книг, написанных о нем, – американки Нехамы Тэк «Человек из львиного рва», немца Корбаха, еще кое-что. Все, что о нем написано, мне казалось гораздо меньшим, чем он того заслуживал. Я попыталась написать сама, поехала в Израиль, его тогда уже не было, встречалась с его братом, многими людьми из его окружения. Как ты знаешь, из той затеи ничего не вышло.

В те годы у меня было много претензий не то что к Церкви, а к самому Господу Богу. Все старые открытия, которыми так дорожила, вдруг показались засаленным старьем, скучной ветошью. Такая духота, такая тошнота в христианстве.

Хорошо вам, атеистам. Единственная мера всему – собственная совесть. В вашей католической Италии церковь всегда победительная. Потом, ничего не поделаешь, на Западе церковь слита с культурой, а в России – с бескультурьем. Но вот ведь как забавно: культурные итальянские атеисты – Умберто Эко, еще десяток-другой и ты, самоитальянка, – современным католичеством брезгуют, прекрасно понимая при этом, что если католичество вычесть из вашей изумительной культуры, ничего от нее не останется. В России церковь гораздо слабее сцеплена с культурой, она гораздо больше связана с примитивным язычеством. Тут все антропологи мира вцепятся мне в задницу – как я смею недооценивать языческий мир! Но все-таки, если использовать способ вычитания – интересно посмотреть, что останется в России от самого христианства, если вычесть из него язычество...

Бедное христианство! Оно может быть только бедным: всякая торжествующая церковь, и Западная, и Восточная, полностью отвергает Христа. И никуда от этого не денешься. Разве Сын Человеческий, в поношенных сандалиях и бедной одежде, принял бы в свой круг эту византийскую свору царедворцев, алчных и циничных, которые сегодня составляют церковный истеблишмент? Ведь даже честный фарисей был у него под подозрением! Да и Он им зачем? Они все анафемствуют, отлучают друг друга, обличают в неправильном «исповедании» веры. А Даниэль всю жизнь шел к одной простой мысли – веруйте как хотите, это ваше личное дело, но заповеди соблюдайте, ведите себя достойно. Между прочим, чтобы хорошо себя вести, не обязательно даже быть христианином. Можно быть даже никем. Последним агностиком, бескрылым атеистом. Но выбор Даниэля был – Иисус, и он верил, что Иисус раскрывает сердца, и люди освобождаются Его именем от ненависти и злобы...

В России церковь отвыкла за советские годы быть победительной. Быть гонимой и униженной ей больше к лицу. Но вот что произошло – с переменой власти наша церковь пала на спину и замурлыкала государству: любите нас, а мы будем любить вас. И воровать, и делиться... И церковный народ принял это с ликованием. А на меня напало отвращение – если бы ты знала, каких потрясающих христиан я встретила в молодости, из ушедшего поколения – не тронутые советским разложением вернувшиеся из эмиграции отец Андрей Сергиенко, Елена Яковлевна Ведерникова, Мария Михайловна Муравьева, Нина Бруни, да и здешние, все выстоявшие старухи – еще одна Мария Михайловна, не аристократическая, а скромная Кукушкина, которая оставалась с маленькими Алешей и Петей, покуда я справляла свою любовь в мастерской Андрея, лифтерша Анастасия Васильевна, дарившая нам свои трогательные картинки с петухами и собаками... В конце концов, отец Александр Мень, отец Сергий Желудков, Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин, Ведерниковы... Эти люди и были для меня церковью.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Тут я поняла, что перебираю прекрасные лица теперешних отцов – Александра, Владимира, Георгия, Виктора (Мамонтова). И еще десяток наберется. А кто говорил, что праведников должно быть много? Может, и тридцати шести достаточно для спасения мира?

Даниэль был праведником. По человеческому счету он потерпел поражение – после его смерти приход распался, и нет церкви Иакова, как и не было. Но в некотором смысле и Иисус потерпел поражение – сначала не понят своим народом и не принят, а потом принят многими другими народами, но не понят. А если был понят – где новый человек, новая история, новые отношения между людьми?

Никакие мои вопросы не разрешились. Более того, я окончательно выпала из тех удобных схем, которыми в жизни пользовалась.

Но Даниэль сидит на стуле, сияет, и вопросы перестают существовать.

В особенности – еврейский вопрос. Непроходимую пропасть между иудаизмом и христианством Даниэль закрыл своим телом, и пока он жил, в пространстве его жизни все было едино, усилием его существования кровоточащая рана исцелилась. Ненадолго. На время его жизни.

Все эти годы много об этом думала, догадалась о нескольких вещах, которые прежде были закрыты от меня. Что суждение – необязательно. Не обязательно иметь непременно мнение по всем вопросам. Это ложное движение – высказывать суждение. Что от иудаизма христианство унаследовало напряжение взаимоотношений человека и Бога. Самый яркий образ отношений – ночная борьба Иакова с Ангелом. Тот Бог, который унаследован от иудаизма, бросает человеку вызов – борись! Он играет с человеком, как снисходительный отец с отроком-сыном, побуждая его напрягать силы, тренируя душу. И конечно, улыбается в метафизическую бороду.

Непонятно только, куда отнести тех пятьсот старых и малых, которых расстреляли ночью в Черной Пуще, когда восемнадцатилетний Даниэль прятался в лесу... И еще несколько миллионов...

Когда я попадаю в Израиль, я кручу головой, удивляюсь, ужасаюсь, радуюсь, негодую, восхищаюсь. Постоянно щиплет в носу – это фирменное еврейское жизнеощущение – кисло-сладкое. Здесь жить трудно – слишком густ этот навар, плотен воздух, накалены страсти, слишком много пафоса и крика. Но оторваться тоже невозможно: маленькое провинциальное государство, еврейская деревня, самодельное государство и поныне остается моделью мира.

Чего хочет Господь? Послушания? Сотрудничества? Самоуничтожения народов? Я полностью отказалась от оценок: не справляюсь. В душе я чувствую, что прожила важный урок с Даниэлем, а когда пытаюсь определить, что же такого важного узнала, весь урок сводится к тому, что совершенно не имеет значения, во что ты веруешь, а значение имеет только твое личное поведение. Тоже мне, великая мудрость. Но Даниэль положил мне это прямо в сердце.

Лялечка, ты мне очень помогала все это время. Не знаю, как бы я выплыла из этого предприятия без тебя. Наверное, выплыла как-нибудь, но книга была бы другой. Глупо благодарить – все равно что благодарить за любовь.

Эти большие книжки, когда их заканчиваешь, вытаскивают из тебя полдуши, и ходишь просто шатаясь. Но одновременно случаются удивительные вещи, и герои, отчасти выдуманные, совершают такие поступки, которые и вообразить невозможно. Община Даниэля Руфайзена распалась.

Община Даниэля Штайна, моего литературного героя, полувыдумка-полувоспоминание, тоже распалась – развалины на месте церкви Илии у Источника, общинный дом заколочен, но скоро его приберут к рукам – он очень хорош, этот дом, и сад прекрасен. Старческий приют закрыт. Пастырь ушел, и овцы рассеялись. Церкви Иакова, иерусалимской общины евреев-христиан, по-прежнему нет. А Свет-то светит.

Вот, Лялечка, посылаю последние эпизоды. Я смертельно устала от писем, документов, энциклопедий и справочников. Видела бы ты, какие книжные горы громоздятся по комнате. Дальше – просто текст.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
л.

19  
Декабрь, 1995 г., Иерусалим – Хайфа

Зажигание не включилось ни с первого поворота ключа, ни со второго.

Даниэль вынул ключ, закрыл глаза. Он помолился, чтобы ему доехать до дому, и одновременно подумал, что надо бы завтра заехать к автомеханику Ахмеду в Нижний город. И уж совсем вдалеке проскользнула мысль, что машине восемнадцать лет и ей пора на покой. Потом он еще раз повернул ключ, и машина завелась. В пути она, скорей всего, не подведет, главное – не глушить мотор. Был девятый час вечера, семнадцатое декабря.

Нойгауз умрет в ближайшие дни, может быть, уже сегодня. Как это великодушно и красиво, что он прощается с друзьями. И ему, Даниэлю, оказана была честь – сегодня утром позвонил сын профессора, сказал, что отцу очень плохо и он хочет с Даниэлем проститься.

Даниэль сел в машину и приехал в Иерусалим. Сын профессора, в вязаной кипе и в черном лоснящемся от старости пиджаке, провел его в кабинет отца.

– Я хочу вас предупредить: несколько лет тому назад отцу поставили кардиостимулятор и долго колебались, потому что сердце было изношенное и риск велик. Отец сказал – делайте. И вот девять лет. А теперь стимулятор отказал, началась мерцательная аритмия, и ее не могут остановить. Ночью вызвали «скорую», и отец спросил, сколько у него времени, врачи сказали, что немного. Он отказался ехать в реанимацию. Сейчас у него сердечные боли, они временами немного отпускают, и тогда он просит, чтобы кто-нибудь к нему вошел.

Даниэль ждал в кабинете минут сорок, пока жена профессора, Герда, не позвала его к Нойгаузу. Крошка, кукла, она была признана самой красивой девушкой Вены в конце двадцатых годов, когда еще не знали, что красота у женщин начинается после метра восьмидесяти.

– Пять минут, – шепнула она, и Даниэль кивнул.

Старик сидел на кушетке, опираясь спиной о большие белые подушки. Но волосы его и сам он были блее подушек.

– Хорошо, что ты пришел, – кивнул старик. – Герда говорила, что ты выступал по телевизору. Но она забыла, о чем была передача.

– Это про войну меня расспрашивали, как я у немцев переводчиком служил, – сказал Даниэль.

– Вот-вот, я тоже хотел тебя спросить: а в бане ты с ними не мылся?

– Один раз. Баня парная была, пара много. Не разглядели. От страха так съежился, что не разглядели. Но я уже приготовился к разоблачению, – признался Даниэль.

– Да... Я хотел с тобой проститься. Видишь, ухожу, – он улыбнулся умным носатым лицом, закрыл глаза, – ухожу к моему Учителю, к твоему Богу.

В дверях уже стоял сын профессора. Герда, отвернувшись к окну, пристально разглядывала большую акацию. Потом она проводила Даниэля вниз, поблагодарила и пожала руку.

Говорят, что когда Нойгауз встретил свою жену, над ее головой загорелся золотой венчик, и он понял, что это его суженая.

Говорят, что однажды оба их ребенка – сын и дочь – заболели менингитом и почти умирали, Нойгауз договорился с Богом, чтобы они остались жить. Они выжили, но своих детей у них нет. Всю жизнь они работают с чужими: сын – директор школы для детей с задержкой развития, а дочь учит глухонемых разговаривать.

Говорят, что когда Нойгаузу делали операцию на сердце, один его богатый друг



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru принял обет, что если больной выживет, он все свое богатство раздаст бедным. И Нойгауз разорил его.

Говорят, что во время лекции Нойгауз снимал с себя кипу, помахивал ею вокруг головы и клал на стол:

– Это текстиль! Понимаете, это текстиль. Он не имеет отношения к проблемам веры. Если вы пришли на мои лекции учиться вере, вы ошиблись дверью. Я могу научить думать. Но не всех!

Про него рассказывали притчи и анекдоты, как про Раббана Иоханана Бен Заккая...

Жаль, что Хильда ходила на его занятия всего два семестра. Что-то помешало ей... Да, организовали детский садик при общине, и она не могла ездить так часто в Иерусалим.

Мотор работал нежно и без натуги, и Даниэль миновал Латрун. На противоположной стороне – Эммаус. Наверное, как раз в это время, в короткие сумерки за вечерней трапезой, сошлись здесь два путника с третьим, незнакомцем. Говорили и не узнали его. Теперь здесь небольшой монастырь, растят лозу и оливы, и на этикетках их продукции написано «Эммаус».

Стемнело, Эммаус остался позади, и он ехал по дороге на Тель-Авив. Он хорошо представлял себе маршрут – через Тель-Авив на Хайфу, и, десяти километров до нее не доезжая, свернуть на кибуц Бейт-Орен. Дивные места, лучшие горные виды Израиля. Там уже Кармель. Еще двадцать километров, и монастырь. Вечерняя молитва. Четыре часа сна. Будет ли к утру жив Нойгауз? Или уже уйдет «к моему Учителю, к твоему Богу»... как он сказал. Как красиво уходит – в кругу семьи, друзей и учеников. Какую жену ему послали... А видел ли я золотой венчик над головой Марыси? Конечно, видел. Не венчик, а сияние моей собственной любви, обращенное на нее. И Хильда сияла этим же светом женственности и душевной невинности... Сколько их было, чудесных женщин, – и все они были не для него? Не было для него заготовлено ни Марыси, ни Хильды, ни Герды... Волосы, собранные в косу или в пучок, или кудри по плечам, их шеи, плечи, пальцы, груди и животы... Как хорошо жить с женщиной, с женой, образуя единую плоть, как профессор Нойгауз и его Герда... и даже безумные Ефим с Терезой утешаются друг в друге... А я с тобой, Господи, слава Тебе...

Дорога была почти пустая – будний день, вечер, с работы уже вернулись, цепочки и скопления огней сменялись темнотами, прорезанными блуждающими световыми иглами прожекторов.

Какой бесконечный опыт смерти. Посчитать невозможно, сколько людей умерли и были убиты на моих глазах. Копал могилы, закрывал глаза, собирал куски разорванных тел, исповедовал и причащал, держал за руку, целовал, утешал родственников, отпевал, отпевал, отпевал... Тысячи покойников.

Есть две смерти, которые никуда не ушли, эти двое справа и слева стоят, тощий огромный лесник и слабоумный мальчишка, которых отправил на расстрел в 42-м году... Сказал – вот эти. Лжесвидетель. И двадцать молодых и здоровых мужиков были спасены, а предатель был расстрелян, а вместе с ним деревенский дурачок, ни в чем не повинный... Что же я сделал? Что я сделал тогда? Еще одного святого для Господа, вот что я сделал...

И никогда еще не было такого легкого прощания, как с Нойгаузом, – естественного, как будто приятели расстаются на время, чтобы вскоре встретиться. Великий Нойгауз! А ведь он не раз смеялся над идеей Спасения. Сначала надо тренироваться здесь, на земле, – научиться спасаться от местных неприятностей: комаров, боли в желудке, гнева начальника, сварливости жены, капризов детей, громкой музыки от соседей, и если здесь получится, есть надежда, что получится и там.

С кем я всю жизнь воюю? За что? Против чего? Кажется, я вносил много страсти, много личного. Наверное, я ревнив не по разуму... Может, я слишком еврей? Я знаю лучше, чем другие? Нет, нет... Все-таки нет! Просто я отчетливо видел, где Ты есть, а где Тебя нет. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй...

Так славно соединялся ровный шум мотора, привычное молитвенное бормотание, вспышки встречных фонарей, отвечающие свету фар, и даже чередование огней и

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru темнот. Все имело какой-то хороший ритм, согласованный со всеми остальными звуками, шумами, движениями, и даже стук собственного сердца точно вписался в общую партитуру. Наверное, так чувствуют себя жокеи, гончики и пилоты, составляя одно целое с иноприродным созданием.

Опять подумал о Нойгаузе: весь мир так прекрасно согласован, и только его сердце запинаяется, забыв о священном порядке – систола-диастола, невидимый водитель в синусно-предсердном узле сбивается, и ритмичная волна не гонит возбуждение через предсердия к желудочкам, и не совершается то, что совершалось многие годы из минуты в минуту, в глубокой тайне от того, кто носит сердце в груди и совершенно не задумывается об этом непрекращающемся всю жизнь биении...

Он давно уже проехал Тель-Авив, сделал резкий поворот вверх по горе к Бейт-Орену. Дорога была однорядная, узкая, и хотя встречных машин не было, он сбавил скорость. От этого налаженный ритм немного сбился, потому что мотор заурчал на более низких нотах. На резком подъеме мотор напрягся, чихнул и собрался было заглухнуть. Но не заглух, и машина поползла дальше. Небольшой перевал был совсем рядом, и вот он открылся темным простором с далекими огнями и береговой полосой, окантованной двойной цепью фонарей. Дальше дорога шла под уклон, довольно плоско, но извилисто. Даниэль придерживал, слегка подтормаживал, пока вдруг не почувствовал, что тормоз плохо слушает, и он нажал его до отказа, но машина все ускорялась под горку. Дорога вильнула, он ловко вписался в поворот. Хотя он включил первую скорость, но машина разогналась все сильнее и в следующий поворот уже не вписалась... Сбив ограждение, как легкую веточку, она полетела вниз метров десять и грохнулась о каменистый склон. Огонь взмыл вверх двумя густыми рукавами, машина медленно повернулась, нашла единственный провал между двумя каменными грядами и загрохотала вниз, вильнув красным шлейфом. От места ее приземления вверх, к дороге, побежал огонь – вспыхнула сухая трава, и через мгновение огонь добрался до дороги. Теперь он шел только вширь – дорога образовывала естественную преграду, за ней была круча, на которой никакой травы не росло... Ниже дороги по обе стороны разбежался огонь. Было очень красиво и очень жутко.

Хильда проснулась среди ночи, как по будильнику – пора вставать. Посмотрела на часы – половина второго. Спать не хотелось. Вышла во дворик, села в садовое кресло. Странное ощущение – холодное ожидание события, как будто должно совершиться что-то страшное и величественное. На пластиковом столе лежали забытые кем-то спички. Она зажгла одну, посмотрела на разгорающийся конус голубого пламени и вдруг посожалела, что не курит. Спичка погасла, догорев до пальцев. Тревога не отпускала, но ничего не случилось.

Хильда подошла к изгороди крошечного садика и задохнулась – вдали горел Кармель. Огненный клин бежал по горе, от гребня хребта вниз. Он был ярко-алый, светлый и живой. Хильда вернулась в дом, позвонила в пожарную службу. Там было занято. Значит, уже кто-то дозвонился, подумала она и догадалась, что именно ее разбудило: пожар. Она легла на свою узкую походную койку и сразу же заснула.

20

Декабрь, 1995 г., Хайфа.

Храм Илии у Источника

Из корреспонденции, пришедшей на имя брата Даниэля Штайна.

5 декабря 1995 г.

Патеру Даниэлю Штайну

от генерала Ордена босых кармелитов

Решением генерала Ордена босых кармелитов член Ордена священник Даниэль Штайн ЗАПРЕЩАЕТСЯ к служению. К 31 декабря сего года предписывается сдать всю документацию, касающуюся аренды и эксплуатации храма Илии у Источника комиссии, состоящей из представителя Ордена кармелитов, представителя Римской курии и представителя Иерусалимского Патриархата.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru)  
Генерал Ордена босых кармелитов

Письмо не было получено адресатом, поскольку было доставлено после его гибели в автокатастрофе 17 декабря 1995 года.

21

14 декабря 1995 г. Окрестности Кумрана.

Храм Илии у Источника

Над заваленным входом в пещеру Федор высек небольшой крест, под ним ивритскими буквами, но слева направо, имя АБУН, а ниже – маленькую «Ф». Кириллицей.

Наконец ему стало легко. И эта легкость и парение указывали ему, что все он сделал правильно. Он простился с могилой и ушел с горы.

Шел пешком вдоль дороги. Несколько раз останавливались машины, чтобы его подвезти, и тогда он свернул с дороги и, где возможно, шел по горам. Когда тропа прерывалась или уводила в сторону, он снова возвращался к дороге. Двигался на север, пока не добрался до Иерихо. Прошел часть пути по Иорданской долине и возле Джифтлика свернул на запад, на Самарию. Не торопясь, пересек Самарию и вышел к морю возле Нетании. Он шел с удовольствием. Ночевал где придется: то на куче высохших веток, то на скамье на детской площадке в безымянном поселке. Один раз его покормили в кафе какие-то подгулявшие ребята, другой раз арабский торговец дал питу. В полях можно было пожить в виноградом.

Федор давно уже привык мало есть, голода почти не испытывал. Черный подрясник побелел от солнца, за спиной болтался мешок с тремя книгами и бутылью воды. Еще там лежало кадило и небольшой запас ладана. В сухих руках зажаты длинные шерстяные четки.

От Нетании он пошел в сторону Хайфы, по пути крестоносцев и паломников.

Теперь он познал всю глубину обмана. Они, евреи, обманули весь мир, бросили миру пустышку христианства, оставив у себя и великую тайну, и истинную веру. Нет в мире Бога, кроме еврейского. И они будут хранить его вечно, пока силой не вырвут у них тайну. И этот маленький еврей, прикидывающийся христианином, знает тайну. И Абун говорил – у них тайное знание, они владеют Богом, Бог их слушает. И все равно, самое главное – не тайное знание, которым они завладели, а кража. Они украли нашего Бога, бросили миру пустышку. Абун все понял – крашенные картинки они нам оставили, сказку о Деве, святцы и тысячи заумных книг, а Бога оставили у себя!

Федор споткнулся, ремень сандалии оторвался от подошвы, он сбросил рваную сандалию и пошел в одной. От моря дул ветерок, но побережье было, не в пример Афонскому, плоским и невыразительным, и море не имело того сильного спиртового запаха, как в Греции. Одну ночь и половину дня он провел в музейных развалинах Кесарии. Утром вдруг заленился и пролежал в тени древней стены, подремал до полудня. И снова пошел. На третий день он подошел к Хайфе. Отсюда было совсем недалеко.

К церкви Илии у Источника он поднялся под вечер. Никого, кроме сторожа, не было. Сторож был араб Юсуф, нанятый Хильдой лет восемь тому назад, какой-то дальний родственник Мусы и тоже садовник. Он был глух – и Даниэль посмеивался, что у Хильды особое дарование находить профессионалов: сторож у нее глухой, курьер хромой, а посудомой он лучше будет сам, потому что Хильда непременно наймет однорукого...

Федор лег позади беседки и уснул. Проснулся, когда уже стемнело, и пошел к храму. Нужно осмотреть храмовые книги – не найдутся ли те самые, тайные. Но храм был на замке, и Федор подошел к окну, снял подрясник, сложил вчетверо и аккуратно выдал стекло. Потом, не торопясь, надел подрясник. Осмотрелся, нашел свечу и зажег. Он сразу почувствовал внутреннюю геометрию помещения и двинулся в подсобную комнату. Толкнул дверь – открыто. Впрочем, стол и шкаф оказались заперты.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Нож висел на поясе, и Федор всю дорогу ощущал животом жесткие ножны. Он достал ножны, вынул нож – арабский, с черной роговой рукоятью и с бронзовой вставкой между рогом и лезвием. Это был нож не для убийства скота.

Книжный шкаф открылся при первом же касании. Федор аккуратно выложил книги стопками, потом стал листать одну за другой.

Какой же я дурак, – расстроился Федор, разглядывая корешки. Мелькнул греческий Типикон, славянская Псалтирь и несколько книг по-польски. Все остальное было на языках, Федору вовсе не известных: иврит, латынь, итальянский.

Даже если тайна тут написана большими буквами, все равно не прочесть...

Он сдвинул книги в сторону и занялся столом. Средний ящик был заперт на два поворота ключа, и язычок не поддавался. Федор ковырял ножом личинку, хотел ее выставить вместе с замком. Он не услышал, как в комнатку вошел Юсуф. Тот увидел в окне свет и решил, что подъехала Хильда или Даниэль, а он не заметил. Увидев грабителя, Юсуф вскрикнул и обхватил его за спину. Федор резко обернулся. Нож был у него в руке. И, не успев подумать, полоснул сторожа по шее. Кровь хлынула широко и сильно. Раздалось странное бульканье.

И в то же мгновение Федор понял, что все пропало. Теперь он не сможет прижать здесь Даниэля и заставить его открыть еврейскую тайну. Нож ему был нужен не для убийства, а только для добычи великой тайны. Обмякший сторож в слишком большой луже крови все нарушил, все испортил. И теперь не сможет он, Федор, добыть эту треклятую еврейскую тайну. Никогда. И великая ярость овладела им. Он разметал книги, вышел в самый храм и сокрушил все, что поддавалось разгрому. Сила безумия была столь велика, что он разнес алтарь, составленный из больших камней четырьмя молодыми и сильными парнями, разбил скамьи и аналои, разгромил «церковный ящик» у входа в храм, пробил кулаком последнюю икону матушки Иоанны, которая в ожидании переезда на окончательное место жительства в Москву, по завещанию художницы, висела в храме Илии у источника.

Потом Федор затих и сел на корточки у наружной стены храма. В тот день никто в храм не приехал, потому что отпевали Даниэля в арабской церкви, где он когда-то служил, а служил отец Роман, с которым Даниэль когда-то поссорился из-за кладбищенских мест.

Об ужасном происшествии стало известно лишь на следующий день после похорон, когда Хильда рано утром приехала в храм. Федор так и сидел у стены на корточках. Хильда вызвала полицию и «психовозку».

«Иерусалимский синдром, – подумала Хильда, – а Юсуфа похороним рядом с Даниэлем».

Как человек западный и дисциплинированный, она ничего не трогала до прихода полиции.

Единственное, что она сделала – отнесла в свою машину икону. Это был дивный сюжет – «Хвалите Господа с небес». На иконе изображены свободной и веселой рукой матушки Иоанны Адам с бородой и усами и Ева с длинной косой, зайцы, белки, птицы и змеи, всякая тварь, которая впоследствии станет в длинную очередь для погрузки в Ноев ковчег, а теперь скакала и радовалась, хваля Господа. Цветы и листья сияли, пальмы и вербы махали ветками. По земле полз детский поезд, и детский дым радостно вился из трубы, а по небу летел самолет, и узкий белый след тянулся за ним. Старуха была гениальна: она догадалась, что Господа будет хвалить вся тварь – камни, травы, животные и даже железные создания, сделанные руками человека.

Конец пятой части  
Июль, 2006 г., Москва.

Людмила Улицкая – Елене Костюкович

Дорогая ляля!

Станный и очень объемный сон мне снился сегодня долго-долго. Какое-то громадное  
Страница 228

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) время, длинее ночи это длилось, и как часто бывает в таких случаях, мне не все удалось вытащить на дневной свет. Многие остались непереводаемым, непроговариваемым.

Это была система помещений, не анфилада, но гораздо более сложная структура, с внутренней логикой, которую я никак не могла уяснить. Людей там не было, – но было множество нечеловеческих существ, небольших, привлекательных, неопишуемой природы, какие-то гибриды ангелов и животных. Каждое из них было носителем мысли или идеи, или принципа – здесь уже не хватает слов. И в этом множестве существ и помещений я искала какого-то одного, который, единственный, мог мне дать ответ на мой вопрос. Но вопрос я не умела сформулировать, а столь нужное мне существо боялась не узнать среди множества других, похожих. Двое неизвестных заставляли меня бродить из помещения в помещение в безнадежных поисках...

Помещения были довольно зыбко очерчены, но имели совершенно определенное назначение – не для еды, не для собраний, не для религиозных служб (это я все постепенно, по мере блуждания осознала), это были помещения для изучения. Чего? Для изучения всего. Мир знания. Забавно, это звучит как название книжного магазина. Знаешь, у нас это общепринятое название – «Мир обуви», «Мир кожи», даже «Мир дверей».

Мы привыкли относиться к знанию как к области, лежащей вне нравственного закона. Знания и нравственность представляются координатами из разных систем, но здесь оказалось, что это не так, – эти сгустки знания о предметах, идеях, явлениях были заряжены нравственным потенциалом. Не совсем точно, опять непереводаемый случай. Скорее не нравственным, а творческим. Но творческое начало соотносится с положительной нравственностью.

Прости, дорогая, что я так мутно пишу, но я не могу выразить это яснее, потому что здесь все – на ощупь, чутьем, внутренним каким-то навигатором. Если огрубить до безобразия – старомодная здешняя антитеза «наука» и «религия» совершеннейшая чушь. Здесь, в этом пространстве, и сомнений не возникает, что наука и религия растут из одного корня.

В общем, брожу я по этим залам, ищу неизвестно кого, но ищу очень страстно – до смерти он мне нужен. И он подходит, как собака, тычется в меня, и я сразу понимаю – он! И вдруг из маленького, компактного и мягкого существа он разворачивается, расширяется, превращается в огромное, и все помещение, и все другие исчезают, и сам он оказывается больше, чем все эти помещения, – целый мир в себя вмещает, и я тоже оказываюсь внутри его мира. Содержание этого мира – Победа. Только в ддящемся залоге, правильнее сказать – Побеждение.

И тут я догадываюсь, какой вопрос меня так мучил и почему я искала этого Ангела Побеждения. Дорогой мой Даниэль казался мне побежденным. Потому что задуманное им конкретное дело – восстановление церкви Иакова на Святой земле – не удалось. Как не было, так и нет. Продержалась она те несколько лет, что он жил там, священствовал, воспевал Иешуа на его родном языке, проповедовал «малое христианство», личное, религию милосердия и любви к Богу и ближним, а не религию догматов и власти, могущества и тоталитаризма. А когда он умер, то этот единственный мост между иудаизмом и христианством оказался мостом его живого тела. Умер – и не стало моста. И я ощущала это как печальное поражение.

У существа, развернувшегося в целый мир, был и меч, и глаза, и пламя, но в нем заключался и весь Даниэль, не проглоченный, как Иона китом, а включенный в состав этого мира. Я очень явственно чувствовала улыбку Даниэля, даже какие-то черты его внешности – маленький подбородок, детский взгляд снизу вверх, удивленный, и с вопросом каким-то простым, вроде: как дела, Люся?

И как только я поняла, что он ушел непобежденным, я проснулась.

Было уже утро, и довольно позднее, и от вчерашнего вечера меня отделяло не восемь часов сна, а огромное время пришедшего совершенно незаслуженно знания. Какого – не могу точно высказать. Что-то я знаю о победе и поражении, чего прежде не знала. Об их относительности, временности, переменчивости. О нашей полной неспособности определить даже такую простую вещь – кто победил.

Тогда я раскопала свои записи времени последней поездки по Израилю. Возили меня мои друзья – Лика Нуткевич и Сережа Рузер. Мы ехали вокруг Киннерета, проехали

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru кибуц Хаон, где разводят страусов. По обе стороны дороги цвели маки и сурепка, которую Лика называет дикой горчицей. Проехали Гергесин – арабский Курсит. В Капернауэме нашли монастырь с одним монахом. Священник приезжает служить раз в две недели по субботам. Это место чуда о расслабленном. Здесь же умножение хлебов и две рыбки.

Набрели на храм Апостолов. Идет какая-то стройка, ремонтируют причал. Рабочие – грек и югослав. Храм заперт. Вышел монах греческий, открыл дверь в храм Апостолов и рассказывал о жизни. Говорил по-русски довольно свободно. Они и служат по-русски, потому что много русских из Твери приезжают. Ему не нравится, когда в одной службе мешают иврит с другими языками, как это сейчас повсеместно принято. Он уверен, что в следующем поколении будет служба целиком на иврите, потому что дети вырастут и русский забудут.

Мы переглянулись с Ликой и Сережей – вот она, церковь Иакова. Здесь, в Израиле, будут православные и католики, разговаривающие с Богом на иврите. Но будут ли среди них евреи? То ли это, о чем мечтал Даниэль? А может, это не важно?

Потом монах говорил, что Израилю было бы выгоднее христианизировать арабов, потому что с христианами-арабами легче ладить, чем с арабами-мусульманами. Они этого не понимают, – сожалел монах. И вообще – государство притесняет христиан с визами, пребыванием, натурализацией, страховками. Сказал, что евреи не хотят мира. Правда, арабы еще больше не хотят.

Потом разговор пошел о продаже церковных земель – сложная материя. Дальше я уже перестала запоминать, потому что одна голова не может вместить столько всего, сколько мне пришлось узнать за последнее время.

Все. Целую.

Люся.

Конец

Послесловие

Кроме тех героев, которых я придумала, по сей день живы истинные участники, подлинные очевидцы, духовные дети и друзья подлинного Даниэля – священствует в Нью-Йорке отец Михаил Аксенов-Меерсон, его жена Оля Шнитке преподает в Джорджтаунском университете русскую литературу, блестящий Анри Волохонский, прежде работавший на лимнологической станции на Киннерете, живет теперь в Тюбингене, говорят, изучает еврейские тексты, о других не могу упоминать, чтобы не навредить. Кто-то ушел в раввины, кто-то в инженеры, а кто и в монастырь. Всему этому замечательному кругу людей привет и любовь.

Благодарю всех моих друзей, ближних и дальних, кто присутствовал, поддерживал и помогал мне с самого начала этой работы до последнего дня: дорогих и любимых Елену Костюкович, Александра Борисова, Павла Меня, Сашу Хэвигер, Сашу Бондарева, Павла Кожеца, Михаила и Ольгу Аксеновых-Меерсон, Михаила Горелика, Хью Барана, Алексея Юдина, Юру Фрейдина и Елену Сморгуну, Таню Сафарову, Юдит Корнблатт, Наталью Трауберг, Марка Смирнова, Михаила Алшыбая, Илью Рыбакова, Даниэлу Шульц.

Особая благодарность израильским друзьям Сергею Рузеру и Лике Нуткевич, Моше Навону, Алику Чачко, Сандрику и Любе Каминским, Саше Окуню, Игорю Когану, Марине Генкиной, которые с большой щедростью делились со мной всем, в чем я нуждалась, сопровождали и направляли меня в моих странствиях по Израилю.

Благодарю за обширные и подробнейшие интервью Арье Руфайзена, Элишеву Хемкер и других безымянных героев этой истории.

Глубоко признательна профессору Нехаме Тэк из университета Коннектикута и профессору Дитеру Корбаху, чьи материалы были чрезвычайно важны при подготовке и работе над этой книгой.

Благодарю Наташу Горбаневскую за героическую экстренную помощь в подготовке

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskayaaludmila.ru](http://ulitskayaaludmila.ru)  
текста к печати.

Прошу прощения у всех, кого разочарую, у кого вызову раздражение резкими суждениями или полное неприятие. Я надеюсь, что моя работа не послужит никому соблазном, но лишь призывом к личной ответственности в делах жизни и веры.

Оправдание мое в искреннем желании высказать правду, как я ее понимаю, и в безумии этого намерения.

Людмила Улицкая  
Люди нашего царя  
Каких только людей нет у нашего царя!

Николай Лесков  
Однажды обнаруживаешь, что тебя нет. Ты разбит на тысячу кусков, и у каждого куска свой глаз, нос, ухо. Зрение делается фасеточным – в каждом осколке своя картинка, слух – стереофоническим, а запахи свежего снега и общепита, перемешавшись с ароматами тропических растений и чужих подмышек, образуют какофонию.

С юности делаешь титанические усилия, чтобы собрать, сложить свое «я» из случайных, чужих, подобранных жестов, мыслей, чувств, и, кажется, вот-вот ты готов обрести полноту самого себя. Ты даже слегка гордишься своим достижением – оживил своей уникальной личностью некое имя-фамилию, дал этим ничего не значащим звукам свою индивидуальность, свои оригинальные черты.

И вдруг – крах! Куча осколков. Никакого цельного «я». Ужасная догадка: нет никакого «я», есть одни только дорожные картинки, разбитый калейдоскоп, и в каждом осколке то, что ты придумывал, и весь этот случайный мусор и есть «я»: слепой старик, наслаждающийся Бетховеном, красавица, безрадостно и тоскливо несущая свою красоту, две безутешные старухи и Женя – девочка, удивляющаяся глупости, тайне, лжи и прелести мира. Именно благодаря ей, жене, своему представителю и посланнику, автор пытается избежать собственной, давно осточертевшей точки зрения, изношенных суждений и мнений, предоставив упомянутому осколку свободу независимого существования.

Автор остается посередине, как раз между наблюдателем и наблюдаемым. Он перестал быть себе интересен. В сущности, он сам в области наблюдения, не вовлечен и бескорыстен. Какая дивная игра открывается, когда расстояние от себя самого так велико! Замечаешь, что красота листьев и камней, и человеческих лиц, и облаков слеплена одним и тем же мастером, и слабое дуновение ветра меняет и расположение листьев относительно друг друга, и их оттенки. Рябь на воде приобретает новый узор, умирают старики и вылупляется молодь, а облака тем временем преобразовались в воду, были выпиты людьми и животными и вошли в почву вместе с их растворившимися телами.

Маленькие люди нашего царя наблюдают эту картину, задрав голову. Они восхищаются, дерутся, убивают друг друга и целуются. Совершенно не замечая автора, которого почти нет.

Люди нашего царя  
Путь осла  
Шоссе протекало через тоннель, выдолбленный в горе перед Первой мировой войной, потом подкатывалось к маленькому городку, давало там множество боковых побегов, узких дорог, которые растекались по местным деревням, и шло дальше, в Гренобль, в Милан, в Рим...

Перед въездом в тоннель мы свернули с автострады на небольшую дорогу, которая шла по верху горы. Марсель обрадовался, что не пропустил этот поворот, как с ним это не раз случалось, – съезд этот был единственный, по которому можно попасть на старую римскую дорогу, построенную в первом веке. Собственно говоря, большинство европейских автострад – роскошных, шестирядных, скоростных – лежит поверх римских дорог. И Марсель хотел показать нам ту ее небольшую часть, которая осталась в своем первоизданном виде. Невзрачная, довольно узкая – две машины едва расходятся – мощеная дорога от одного маленького городка до другого после постройки тоннеля была заброшена. Когда-то у подножия этой горы была римская станция курьерской почты, обеспечивавшей доставку писем из Британии в

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya1udmila.ru](http://ulitskaya1udmila.ru)  
Сирию. Всего за десять дней...

Мы поднялись на перевал и вышли из машины. Брусчатка была уложена две тысячи лет тому назад поверх гравиевой подушки, с небольшими придорожными откосами и выпуклым профилем, почти сгладившимся под миллионами ног и колес. Нас было трое – Марсель, лет пять как перебравшийся в эти края пожилой адвокат, толстая Аньес с пышной аристократической фамилией и с явно дурным характером и я.

Дорога шла с большим подъемом, и в такой местности всегда растворено беспокойство, возникает какая-то обратная тяга – та самая, которая вела римлян именно в противоположном направлении – на север, на запад, к черту на рога, к холодным морям и плоским землям, непроходимым лесам и непролазным болотам.

– Эти дороги рассекли земли сгинувших племен и создали то, что потом стало Европой... – говорил Марсель, красиво жестикулируя маленькими руками и потряхивая седыми кудрями. На аристократа был похож он, сын лавочника, а вовсе не Аньес с ее маленьким носиком между толстых красных щек.

– Ты считаешь, что вот это, – она указала коротким пальцем себе под ноги, – и есть римская дорога?

– Ну, конечно, я могу показать тебе карты, – живо отозвался Марсель.

– Или ты что-то путаешь, или говоришь глупости! – возразила Аньес. – Я видела эти старинные дороги в Помпеях, там глубокие колеи, сантиметров по двадцать камня выбито колесами, а здесь смотри, какая плоская дорога, нет даже следов от колеи!

Спор между ними – по любому поводу – длился уже лет двадцать, а не только последние три часа, что мы провели в машине, но я об этом тогда не знала. Теперь они крупно поспорили о колеях: Марсель утверждал, что дороги в черте города строились совершенно иным образом, чем вне города, и на улицах города колеи специально вырезались в камне – своего рода рельсы, – а вовсе не выбивались колесами.

Вид с перевала открывался почти крымский, но было просторней, и море подальше. Однако заманчивая дымка на горизонте намекала на его присутствие. Отсюда, с перевала, виднелась благородная линовка виноградников и оливковые рощи. Осыпи поддерживались кривой клеткой шестов и системой террас.

У самых ног стояли высохшие, уже ломкие столбики шалфея, стелился по земле древовидный чабрец, и поодаль пластался большой куст отцветшего каперса.

Мы вернулись к машине и медленно поехали вниз. Марсель рассказывал, чем греческие дороги отличались от римских – греки пускали через горы осла, и тропу прокладывали вслед его извилистому пути, а римляне вырубали свои дороги напрямую, из пункта А в пункт В, срезая пригорки и спуская попадавшие на пути озера... Аньес возражала.

Деревушка, куда мы ехали, была мне знакома: несколько лет тому назад я провела в ней три дня – в одном из близлежащих городов проходил тогда фестиваль, и мне предложили на выбор номер в городской гостинице или проживание в этой крошечной деревушке. И я определилась на постой в старинный крестьянский дом, к Женевьев. Всё, что я тогда увидела, меня глубоко поразило и тронуло. Женевьев оказалась из поколения парижских студентов шестьдесят восьмого года, побывала и в левых, и в зеленых, и в травных эзотериках, заглатывала последовательно все наживки, потом рвалась прочь, и к тому времени, когда мы с ней познакомились, она была уже немолодая женщина крестьянского вида, загорелая, с сильными синими глазами, счастливо одинокая. Сначала она показалась мне несколько заторможенной, но потом я поняла, что она пребывает в состоянии завидного душевного покоя. Она уже десять лет жила в этом доме, который был восстановлен ею собственноручно, и здесь было всё, что нужно душе и телу: горячая вода, душ, телефон, безлюдная красота гор, длинное лето и короткая, но снежная зима.

Совершенного одиночества, которого искала здесь Женевьев, было в избытке, хотя с годами оно делалось менее совершенным: когда она нашла это место, здесь было четыре дома, из которых два были необитаемы, а два других принадлежали местным крестьянам – один сосед, кроме виноградника, держал механическую мастерскую, а у



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru второго было стадо овец. Женевьев купила один из пустующих домов. Механик и пастух не нарушали вольного одиночества Женевьев, встречаясь на дорожке, кивали ей и в друзья не навязывались.

Механик был неприветлив и с виду простоват. Пастух был совсем не прост – он был монах, провел в монастырском уединении много лет и вернулся домой, когда его старики родители обветшали.

Часовенка, стоявшая между четырьмя домами, была закрыта. Когда я к ней подошла и заглянула в окошко, то увидела на беленой стене позади престола рублевскую Троицу. Женевьев, атеистка на французский интеллектуальный манер, объяснила мне, что монах этот весьма причудливых верований, склонен к православию, не пользуется благосклонностью церковного начальства и, хотя в этой округе большой дефицит священников, его никогда не приглашают в соседние пустующие храмы, и он служит мессу изредка только в этой игрушечной часовне – для Господа Бога и своей матери. Семья механика на его мессу не ходит, считая ее «неправильной»... Я тогда подумала, что странно так далеко уехать из дому, чтобы столкнуться с проблемами, которые представлялись мне чисто русскими. Впрочем, пастуха я в тот год не видела, поскольку он пас свое стадо где-то в горах...

К Женевьев изредка приезжали погостить взрослые дети – сын и дочь, с которыми особенной близости не было, – и знакомые. Она радовалась им, но также радовалась, когда они уезжали, оставляя ее в одиночестве, до отказа заполненном прогулками, медитацией, йоговскими упражнениями, сбором ягод и трав, работой в небольшом огороде, чтением и музыкой. Прежде она была преподавательницей музыки, но только теперь, на свободе, научилась наслаждаться игрой для себя, бескорыстной и необязательной...

Совершенство ее умеренного одиночества дало первую трещину, когда приехавший ее навестить первый муж с новой семьей, влюбившись в это место, решил купить последний пустующий дом. Он разыскал наследников, и они охотно продали ему то, что еще осталось от давно заброшенного строения. Дом был восстановлен, и новые соседи жили там только на каникулах, были деликатны и старались как можно меньше беспокоить Женевьев.

Второй удар был более ощутим: Марсель, ее верный и пожизненный поклонник, с которым она прошла все фазы отношений – когда-то Женевьев была его любовницей, позднее, когда от него ушла жена, отказалась выйти за него замуж и вскоре бросила его ради какого-то забытого через месяц мальчишки, потом они многие годы дружили, помогали друг другу в тяжелые минуты. Вдруг, ни слова ей ни говоря, Марсель уехал на работу в Таиланд. Позже она навестила его там, и отношения их как будто снова освежились, но потом Женевьев уехала в Париж и исчезла из поля зрения Марселя на несколько лет. Вернувшись в Париж, Марсель ее разыскал и был поражен произошедшей в ней переменой, но в новом, отшельническом образе она нравилась ему ничуть не меньше. И тогда он решил поменять свою жизнь по образцу Женевьев и купил себе заброшенную старинную усадьбу в полутора километрах от ее дома. Каменная ограда и большие приусадебные службы этого самого значительного строения во всей округе были видны из окна верхнего этажа дома Женевьев...

Мы приехали несколько позднее, чем рассчитывали. Перед въездом в деревню какое-то довольно крупное животное мелькнуло в свете фар, перебегая дорогу. Аньес, мгновенно проснувшись, закричала:

– Смотрите, барсук!

– Да их здесь много. А этого парня я знаю, его нора в трехстах метрах отсюда, – остудил ее Марсель.

Уже стемнело. В доме горел свет. Дверь была открыта, белая занавеска колыхнулась, из-за нее появилась Женевьев.

Мы вошли в большое сводчатое помещение неопределенного назначения. Своды были слеплены изумительно асимметрично, кое-где торчали крюки – их было шесть, и падающие от них тени ломались на гранях прихотливого потолка. Никто не знал, что на них прежде висело.

Нас ждали – был накрыт стол, но гости сидели в другой части помещения, возле

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru горящего камина. В мужчине, похожем на престарелого ковбоя, я сразу же угадала бывшего мужа Женевьев, молодая худышка с тяжелой челюстью и неправильным прикусом была, несомненно, его вторая жена. Девочка лет десяти, их дочь, унаследовала от отца правильные черты лица, а от матери диковатую прелесть. В кресле, покрытом старыми тряпками – не то шальями, не то гобеленами, – сидела немолодая негритянка в желтом тюрбане и в платье, изукрашенном гигантскими маками и лилиями. Пианино было открыто, на подставке стояли ноты, и было ясно, что музыка только что перестала звучать... Огонь в камине шевелил тени на стенах и на сводчатом потолке, и я усомнилась, не выскочила ли я из реальности в сон или в кинематограф...

С дороги мы умылись. Вода шла из крана, но рядом на столике стояли фарфоровый умывальный таз и кувшин. Занавески перед душевой кабиной не было, возле нее стояла бамбуковая ширма. Ветхое, в настоящих заплатах полотенце висело на жестяном крюке. Прикосновение талантливых рук Женевьев чувствовалось на всех вещах, подобранных на чердаке, в лавке старьевщика и, может быть, на помойках. Видно было, что вся обстановка дома – восставшая из праха.

Смыв дорожную пыль, мы перецеловались европейским двукратным поцелуем воздуха, и Женевьев пригласила к столу. Большой стол был покрыт оранжевой скатертью, в овальном блюде отливало красным золотом пюре из тыквы, в сотейнике лежал загорелый кролик, охотничий трофей Марселя, а между грубыми фаянсовыми тарелками брошены были ноготки, горькие цветы осени. На покрытой салфеткой хлебнице лежали тонкие пресные лепешки, которые в железной печурке пекла Женевьев, никогда не покупавшая хлеба. Вино к ужину принес из своих сокровенных запасов Жан-Пьер, ее бывший муж, большой знаток и ценитель вин. Он разлил вино в разномастные бокалы, негритянка Эйлин осторожно разломала лепешку – ногти у нее были невиданной длины, завивающиеся в спираль и сверкающие багровым лаком, – и раздала гостям. Марсель поднял руки и сказал:

– Как хорошо!

Женевьев, раскладывая оранжевую еду на тарелки, улыбалась своей буддийской улыбкой, обращенной скорее внутрь, чем наружу. Никакого французского застольного щебетания не происходило, все говорили тихо, как будто боясь потревожить тайную торжественность минуты.

Вторая жена Жан-Пьера, Мари, вышла и через минуту принесла из внутренних комнат ребенка, о котором я еще ничего не знала. Он был сонный, жмурился от света и отворачивал маленькое личико. Ему было годика три. Ручки и ножки его висели, как у тряпичной куклы. Мари поднесла к его рту бутылочку с соской. Взять в руки он ее не мог, но сосал – медленно и неохотно.

Девочка Иветт подошла к матери и тихонько о чем-то попросила. Мать кивнула и передала ребенка ей на руки. Она его взяла, как берут священный сосуд...

Жан-Пьер смотрел на малыша с такой нежностью, что совершенно перестал походить на отставного ковбоя...

Женевьев сказала мне:

– Это Шарль, наш ангел.

Он не был похож ни на херувима, ни тем более на купидона. У него было остренькое худое личико и светлые, малоосмысленные глаза. Ангелов я представляла себе совсем иначе...

Я подняла бокал и сказала:

– Я так рада, что снова сюда добралась, – хотела сказать «друзья», но язык не повернулся. Всех, кроме Женевьев, я видела сегодня в первый раз. Включая и Марселя с Аньес, которые сегодня утром заехали за мной в Экс-ан-Прованс.

Но в воздухе происходило нечто такое, что они мне в этот момент были ближе друзей и родственников, возникла какая-то мгновенная сильнейшая связь, природу которой не могу объяснить.

Мы ели и пили, и тихо разговаривали о погоде и природе, о тыкве, которую

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru вырастила Женевьев на своем огороде, о барсуке, жившем неподалеку, о дроздах, которые склевывают созревшие ягоды. Потом Женевьев подала сыр и салат, и я догадалась, что она специально ездила в город на рынок за салатом – она жаловалась, что на ее огороде салат не растет: слишком много солнца. Я знала, что Женевьев живет на крохотную пенсию, покупает обычно муку, рис, оливковое масло и сыр, а всё прочее выращивает на огороде или собирает в лесу.

Мальчик спал на руках у отца, а потом его взяла негритянка Эйлин, и он не проснулся.

Иветт подошла к Женевьев, обняла ее, что-то шепнула ей на ухо, и та кивнула.

Все снова переместились к камину, и Женевьев сказала, что теперь Иветт немного поиграет нам из той программы, которую готовит к Рождеству. Девочка села на стул, Женевьев ее подняла и, сняв с полки две толстые книги, положила их на сиденье стула. Девочка долго усаживалась, ерзая на книгах, пока Женевьев не положила сверху на книги тонкую бархатную подушку с кистями. Женевьев раскрыла ноты, что-то прошептала Иветт, та отвела за уши коричневые волосы, засунула челку под красный обруч на голове, уложила руки на клавиатуру и, глубоко вдохнув, ударила по клавишам.

Из-под детских рук выбивались звуки, складывались в наивную мелодию, и Женевьев запела неожиданно высоким, девчачьим голосом, приблизительно такие слова: «Возьми свою гармошку, возьми свою свирель... нет, скорее, флейту... сегодня ночью рождается Христос...» По-французски это звучало сладчайшим образом.

Шарль проснулся, Эйлин положила его себе на колени, поглаживая по спинке, и он свис вниз ручками, ножками и головой. Головку он не держал. Мари с тревогой посмотрела в сторону ребенка, но Эйлин поняла ее беспокойство и подложила под его подбородок ладонь, и он улыбнулся рассеянному и слабо. Или это сократились произвольно прижатые пальцами Эйлин лицевые мышцы... Эйлин тоже улыбнулась – лицо ее показалось мне в это мгновение смутно знакомым.

Они пели дуэтом, Женевьев и Иветт, согласованно и старательно открывая рты и потряхивая головами в такт нехитрой музыке. Под конец что-то сбилось в их пении: слов оказалось больше, чем музыки. Голос Женевьев одиноко повис в полумраке комнаты, а Иветт кинулась ее догонять, но смазала. Смешалась – и все засмеялись и захлопали. Иветт засмущалась, хотела встать, заерзала на подушке, красные кисти зашевелились: в просветах между кистями я заметила заглавия толстых книг – «История наполеоновских войн» и «Библия». Я давно уже смотрела во все глаза: маленькие детали – оранжевый стол, багровые ногти Эйлин, эти золотые буквы – были столь яркими и выпуклыми, что было жалко потерять хоть крупицу...

Женевьев перелистала ноты, и Иветт заиграла какое-то баховское переложение для детей так тщательно и строго, так чисто и с таким чувством, что Бах остался бы доволен. Эйлин поглаживала по спинке малыша и покачивала его на колене. Мужчины попивали кальвадос, выражая знаки одобрения друг другу, музыкантам и напитку. Мари тихо радовалась скромным успехам дочки, но еще больше радовалась Женевьев:

– Мы начали заниматься прошлым летом, от случая к случаю, и видишь, какие успехи!

– Да, Женевьев, это потрясающе.

Потом Женевьев села за пианино, а Иветт встала за ее спиной – переворачивать ноты. Играла она какую-то жалостную пьесу. Мне показалось, Шуберта.

Марсель тем временем достал футляр, лежавший за одним из многочисленных столиков, и вынул кларнет.

– Нет, нет, мы так давно не играли, – замахала руками Женевьев, но Иветт сказала:

– Пожалуйста, я тебя очень прошу...

Женевьев подчинилась нежной просьбе. «Господи, да они обожают друг друга, эта девочка и независимая, пытавшаяся удалиться от людей Женевьев, вот в чем дело!» – догадалась я наконец.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Был вытасчен пюпитр, задвинутый за один из столиков. Марсель протер тряпочкой инструмент, прочистил ему горло, издав несколько хромых звуков. Иветт уже перебирала ноты на этажерке – она знала, что искать. Вытащила какие-то желтые листы:

– Ну, пожалуйста...

Аньес, болтавшая всю дорогу от Экс-ан-Прованс, молчала с того момента, как мы вошли в дом. Когда Марсель взялся за инструмент, она произнесла первые слова за весь вечер:

– Я думала, ты уже не балуешься кларнетом.

– Очень редко! Очень редко! – как будто оправдывался Марсель.

– Нет, Аньес, как бы мы ни хотели, ничего не меняется. Марсель всё еще играет на кларнете, – многозначительно заметила Женевьев.

Эйлин переложила малыша: теперь она прижала его спинкой к своей груди, уложив головку в шелковом распадке.

Они начали играть, и сразу же сбились, и начали снова. Это была старинная музыка, какая-то пастораль восемнадцатого века, кларнет звучал неуверенно, и поначалу Женевьев забивала его, но потом голос кларнета окреп, и к концу пьесы они пришли дружно и согласованно. Эта самодельная музыка была живая и обладала каким-то особым качеством, какого никогда не бывает у настоящей, сделанной профессионалами. В ней звучал тот трепетный гам, который слышишь всегда, проходя по коридору музыкальной школы, но никогда – на бархатном сиденье в консерватории.

Мари хотела взять из рук Эйлин ребенка, но та покачала головой. И неожиданно для всех встала, прижимая к себе Шарля, и запела. И как только она запела, я ее сразу узнала: это была знаменитая певица из Америки, исполнительница спиричуэлз. Она тоже участвовала в этом фестивале, на который я приехала во второй раз, и ее портрет был напечатан в программке. В ее огромном низком голосе, богатом звериными оттенками, была такая интимность и интонация личного разговора, что дух домашнего концерта не разрушался. Потолочные своды, неизвестно для чего устроенные в этом помещении, имевшем в прежней жизни какое-то специальное и загадочное назначение, принимали в себя ее голос и отдавали обратно еще более мощным и широким. Ее большое тело в водопаде шелковой материи двигалось и раскачивалось, и раскачивались огромные цветы, и ее руки с безумными ногтями, и красный рот с глубокой розовой изнанкой в окантовке белых зубов, и Шарль, которого она прижимала к груди, тоже раскачивался вместе с ней. Он проснулся и выглядел счастливым на волнующемся корабле черного тела в малиновых маках и белых лилиях...

“Amazing grace” она пела, и эта самая милость сходила на всех, и даже свечи стали гореть ярче, а Жан-Пьер обнял за плечи Мари, и сразу стало видно, что она молодая, а он старый... Эйлин колыхалась, и тряпичные руки и ноги мальчика тоже слегка колыхались, но голова его удобно покоилась в углублении между гигантскими грудями. Иветт, сидя у Женевьев на коленях, подрыгивала тощими ногами в такт, а Аньес, уменьшившись от присутствия Эйлин до совершенно нормальных размеров, уложила свои свисающие щеки на руки и лила атеистические слезы на этот старомодный американский псалом. Эйлин закончила пение, покружила малыша вокруг себя, и все увидели, что он улыбается. И она опять запела – “When the Saints go marching in...”, и святые должны были бы быть беспросветно глухими, если бы не поспешили сюда, – так громко она их призывала.

В общем, несмотря на совершенно неподходящее время года, происходило Рождество, которое случайно началось от смешной детской песенки Иветт. Эйлин кончила петь, и все услышали стук в дверь, которого раньше не могли расслышать из-за огромности ее пения.

– Войдите.

Такое бывает только в сказке – можно было бы сказать. Но я-то знаю, что такого не бывает в сказках – только в жизни. На пороге стоял сосед-пастух. Он был в

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru серой суконной куртке, из ворота клетчатой рубахи торчала загорелая морщинистая шея, а на руках он держал не новорожденного, а довольно большого уже ягненка.

– О, l'agneau! – сказала Иветт. – L'agneau!

Пастух жмурился от яркого света.

– Простите, я вас побеспокоил, мадам Бернар. У вас гости... Я два дня искал ягненка, а он упал, когда я гнал стадо возле ручья. Сломал ногу, и я вот только что нашел его. Лубок я ему уже наложил, но у него воспаление легких, он еле дышит, я пришел спросить, нет ли у вас антибиотика.

Ягненок был белый и почти плюшевый, но настоящий. К одной ноге была прибинтована щепка, мордочка и внутренность ушей была розовой, а глаза отливали зеленым виноградом.

– О, l'agneau! – всё твердила Иветт, и она уже стояла рядом с пастухом, смотрела на него умоляюще – ей хотелось потрогать ягненка.

– О боже! – расстроилась Женевьев. – Я не принимаю антибиотики. У меня ничего такого нет...

– У меня есть! Есть! – вскочила Мари и побежала в соседний дом. Ее муж последовал за ней. Иветт, приподнявшись на цыпочки и переминаясь с ноги на ногу, гладила волнистую шерсть. Пастух стоял, как чурбан, не двигаясь с места.

– Вы присядьте, брат Марк, – предложила Женевьев, но он только покачал головой.

Эйлин поднесла Шарля к ягненку, повторила вслед за девочкой:

– L'agneau! L'agneau!

– L'agneau, – сказал малыш.

Женевьев зажала себе рот рукой.

– L'agneau, – еще раз сказал малыш, и сестра услышала. Замерла – и тут же завопила: – Женевьев! Мама! Женевьев! Он сказал «ягненок»!

Вошла Мари с коробочкой в руке.

– Мама! Шарль сказал «ягненок»!

– L'agneau! – повторил малыш.

– Заговорил! Малыш сказал первое слово! – торжественно провозгласил Марсель. Аньес плакала новыми слезами, не успев осушить тех, музыкальных.

Эйлин передала малыша на руки матери...

Я тихо открыла дверь и вышла. Я ожидала, что всё будет бело, что холодный воздух обожжет лицо и снег заскрипит под ногами. Но ничего этого не было. Осенняя ночь в горах, высокое южное небо, густые травяные запахи. Теплый ветер с морским привкусом. Преувеличенные звезды.

И вдруг одна, большая, как яблоко, прочертила всё небо из края в край сверкающим росчерком и упала за шиворот горизонта.

Происходило Рождество – я в этом ни минуты не сомневалась: странное, смещенное, разбитое на отдельные куски, но все необходимые элементы присутствовали: младенец, Мария и ее старый муж, пастух, эта негритянская колдунья с ногтями жрицы Вуду, со своим божественным голосом, присутствовал агнец, и звезда подала знак...

Рано утром Марсель отвез Эйлин на выступление. Аньес, старинная подруга Женевьев, спала в верхней комнате, а мы с Женевьев пили липовый чай с медом. Цвет липы Женевьев собирала в июне, и мед был тоже свой, из горных трав. Мы обсуждали вчерашнее событие. Я пыталась сказать ей, что мы как будто пережили

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
Рождество, что вчерашний вечер содержал в себе все атрибуты Рождества, кроме осла...

– Да, да, – кивала Женеьев, – ты совершенно права, Женя. Но осел тоже был. Знаешь, в этом доме жила когда-то одна старуха. Она была героическая старуха, жила одна, была хромая, ездила на мотоцикле. Всей скотины был у нее один осел. Потом старуха умерла, приехал из Парижа ее сын, провел здесь отпуск, а перед отъездом хотел отвести осла к брату Марку, но осел не пошел – хоть убей. Упрямое животное, как и полагается. Тогда уговорились, что брат Марк будет носить ему сено и оставлять воду. И осел прожил зиму один. Летом приезжал сын старухи, и опять осел не пошел к брату Марку, и еще одну зиму прожил один. Три года жил осел. Потом умер от старости. Сарайчик его и сейчас стоит. Дом этот все местные жители так и звали: дом Осла.

В сущности, никакого чуда не произошло. Шарль действительно заговорил. Поздно, в три года, когда уже и ждать перестали. Потом он научился говорить еще довольно много слов. Но ни руки, ни ноги... Заболевание это вообще не лечится. Малыш был обречен. Да и ягненок со сломанной ногой тоже не выжил, умер на следующий день, и антибиотик не помог. Но если не чудо, то ведь что-то произошло в ту осеннюю ночь. Что-то же произошло?

Да, и самое последнее: Марсель повез Эйлин в фестивальное городок и показал ей римскую дорогу. Но это не произвело на нее ни малейшего впечатления – она вообще ничего не знала про римские дороги. Это довольно естественно: к африканцам, даже американским, христианство шло совсем иными путями.

Приставная лестница

Барак, в котором жили Лошкаревы, именовался строением номер три и был частично двухэтажным. Половина второго этажа и лестница сгорели еще в войну, и не от бомбы, а от печки. И с тех пор в сохранившуюся часть второго этажа залезали по приставной лестнице, укрепленной Лошкаревым сразу после госпиталя. Граня привезла мужа Василия осенью и втащила его на второй этаж на своем горбу. А он гремел орденами, прицепленными на гимнастерку. Лестница стояла шатко, иногда ребята ее ради шутки сбрасывали, и тогда Граня или ее дочь Нина кричали, чтоб лестницу приставили обратно к стене.

Ноги Василию оторвало почти под корень, но руки зато у него были золотые. И силищи необыкновенной. Он, когда трезв был, на руках по лестнице поднимал свое широкое туловище, только тележку и толкалки – деревянные чурбаки, обтесанные под свою руку, – оставлял под лестницей, и потом их Граня поднимала наверх.

Лестницу он в ту же неделю, как приехал, прикрепил к стене, и никто уже не мог ее сдвинуть. Нине было шесть лет, когда отец появился, и она сначала испугалась, а потом обрадовалась: они Лошкаревыми были не даром – отец ножиком ей вырезал медведя, лошадку, пушечку, которая спичками стреляла... И ложек, конечно, вырезал множество: и больших, и малых, и для котла, и для сольницы. Он не ножом их вырезал, а сначала топором слегка деревяшку обтесывал, а потом кривым и острым лошкарником снимал лишнее...

По воскресеньям Граня брала Нинку на Тишинский рынок – ложки продавать. Там была толкотня, покупали их товар плохо, и мать велела Нинке торговать, потому что Нина была красива, и у нее лучше ложки брали. Граня тоже была красива, но красота ее была дальнего вида, а вблизи замечалась порча – лицо ее было покрыто крупной рябью, как лужа в начале дождя. Рывтины были глубокие, и на лбу, и на щеках, и на шее было несколько оспин, а на теле – ни одной. Нина в бане всегда разглядывала материнское гладкое белое тело и думала, что пусть бы лучше оспины были у матери под одеждой.

Отец был чудной, не как у всех, пол-отца ей досталось: он, когда на своей тележке сидел, ростом был с Нинку. Трезвый он был ласковый, но когда выпивал, то сильно шумел и с матерью дрался. Когда он мать бил, она кричала, и Нинка тогда отца ненавидела. Правды ради надо сказать, что Нинку отец никогда не бил. Но мать его все равно любила, всё вокруг него бегала, картошку жарила и водкой его поила, и прыгала над ним и днем, и ночью, когда спать ложились. Напрыгала Нинке брата Петьку.

Нина его любила. Научилась нянчить его, пеленать и кормить, когда он кашу стал есть. Потом с детской кухни стали давать ему молоко, и Нинка, хоть одна в

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru детскую кухню в Дегтярный переулок ходила, ни разу Петькиного молока не тронула. Доедала только то, что после него оставалось... Когда Петька сам ногами пошел, мать еще одного братика напрыгала. Нина на нее тогда рассердилась: в семь лет она было в школу пошла, но из-за Петьки перестала ходить. Пошла во второй раз, уже в восемь... А мать опять маленького... Поэтому Ваську она невзлюбила, так матери и говорила: «За Петькой я ходить буду, а за Васькой сама смотри...»

Граня на Нинку обижалась: смотри, какая барыня, у меня младших четверо было, а старшие – братья, так я одна за всеми смотрела...

Нина матери не боялась и говорила, что думала: а на что ты их рожаешь, мне их не нужно, братьев этих. А то водкой напьетесь и скачете, а мне потом за ними ходить...

Мать с отцом смеялись: ишь какая умная...

Она и впрямь была умная. Знала, что всё от водки. Сердилась, когда видела, что мать себе водку наливает.

– Оставь отцу-то, вон чаю попей, что ты сама-то за водку хватаешься, ну, мам, мамка-а, – приставала Нина, а отец посмеивался:

– Грань, а Нинка дело говорит, ты вон чайку, чайку попей...

Но Граня пила вслед за мужем и от водки слабела, а он, наоборот, чем больше выпьет, тем становился сильнее и злее. Кричал: «Убью! Зарежу!»

И Нина всё думала: это он вхолостую кричит, чтоб только попугать, или впрямь зарежет?.. Ножей-то у него много было: круглый, и длинный, и охотничий, и немецкий трофейный.

Нина, хоть и на мать обижалась за прибывающих братьев, но всё же ее любила и про себя решила, что не даст отцу мать убить, – если он на мать кинется, Нинка за нее сама вступится, а нож хлебный большой в кухоньке есть на крайний случай.

«Хорошо бы только прежде комнату получить, – соображала Нина, – как отец с войны вернулся, ему сразу пообещали как инвалиду дать комнату на первом этаже, без лестницы, но уже и победа прошла, а комнату всё не давали».

Весь холодный месяц декабрь отец плел елочные корзиночки из широкой древесной щепы, крашенной фуксином и зеленой, с розочками на ободке. А мать выходила на продажу. Иногда и Нинку посылали, но она не любила зимой торговать, больно холодно, другое дело летом. В конце декабря мать заболела. Лежала да кашляла, и Ваську бросила кормить, так что Нина стала его кормить жидкой кашей через тряпочку. Но он сильно кричал и по-взрослому есть не хотел. Так незаметно прошел Новый год, и Нина сильно переживала, что опять не ходила в школу – там обещали всем дать подарок с конфетами и печеньем, и теперь, видно, всем дали, кроме нее. Отец лежал лицом к стене неизвестно сколько дней, сначала молчал, потом велел Нинке принести от Кротихи самогону. Нина идти не хотела, но он рассердился, кинул в нее своей толкалкой и попал в самую голову. А мать лежала, кашляла громко и всё видела, да хоть бы слово сказала. Нина заплакала и принесла две бутылки. Отец одну почти сразу выпил и опьянел. Полез к матери драться. А она не то что убежать, встать на ноги не могла. Он бьет ее, а она только кашляет да кровь с лица оттирает. Братья кричат. А Нинка сжалась в комок, Петьку к себе прижала, а Ваську не взяла. Он как раз кричать к тому времени устал.

«Убить бы черта безногого, – думала Нина. – Но как тогда с комнатой быть? Без него ведь не дадут!»

Черт же безногий побушевал, допил самогон и уснул прямо на пороге, на половике. Нина материнское лицо обтерла тряпочкой, и так ей стало ее жалко, что ну ее, эту комнату. А отец лежал возле самой двери, храпел, храп вырывался из его перебитого носа, и во сне поскребывал черными руками по полу, как будто ложки вырезал.

Нина посмотрела, посмотрела, дверь толкнула, она открылась на весь раствор. Чистый и твердый холод рванулся внутрь, и Нина сразу сообразила, что надо делать: она схватилась за край половики и потянула на себя, и отец перевесился

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru через порог, а она дернула из-под него половик, и он плечами ушел за порог и рухнул вниз, грохоча об лестницу. Нина захлопнула дверь.

И сразу же заплакали оба брата, так что пришлось ей взять из горшка каши пшенной, пожевать и покормить их через тряпочку. Они пососали жамку и заснули. Матери дала попить.

Нина была умна не по годам. Легла рядом с матерью, на освободившееся отцовское место, положила рядом Ваську – пусть греется возле мамки, раз она такая горячая. Про отца подумала мельком: «Если убился, то и пусть». А если не убился, то пусть замерзнет, как Шура-пьяница замерзла в том году прямо во дворе на лавочке. А меня и не заругают, скажу, сам упал.

И она стала засыпать, и было так хорошо в постели, на мягком, тем более что сквозь сон послышался колокольный звон, праздничный и частый... «Уже снится», – успела подумать Нина.

Но не снилось. Кончилась Рождественская служба в Пименовской церкви, и сумасшедший звонарь, нарушая строгий запрет, выколачивал из последнего оставшегося колокола радостную весть о рождении Младенца. А еще через двадцать минут две боговерующие старухи, самогонщица Кротиха и ее подруга Ипатьева, вошли в заснеженный двор, продолжая волнующую дискуссию – большой ли грех было пойти в эту самую Пименовскую церковь, обновленческую, партийную, или ничего, сойдет за неимением поблизости хорошей, правильной. Всё же было Рождество, великий праздник, и ангелы поют на небеси...

С небеси падал медленный, крупными хлопьями выделанный снег и, ложась на землю, светил не хуже электричества. Безногого Василия еще не замело, и старухи заметили темный ворох на земле около лестницы. Он не разбился. И даже не проснулся от падения. И замерзнуть тоже не успел.

Старухи оттерли его, отпоили. И никто не умер. Оправилась от воспаления легких Граня, выходила еле живого маленького Ваську. И через год родила еще одного, Сашку. И комнату успели получить незадолго до смерти безногого Василия. Он вскоре после того, как комнату дали, сам и повесился. Нинка горько плакала на похоронах отца. Ей было его страсть как жалко. А что она его с лестницы бросала, она и не помнила.

А в ту Рождественскую ночь всё так хорошо обошлось.

Коридорная система

Первые фрагменты этого пазла возникли в раннем детстве и за всю жизнь никак не могли растеряться, хотя многое, очень многое растворилось полностью и без остатка за пятьдесят лет.

По длинному коридору коммунальной квартиры бежит, деревянно хлопая каблуками старых туфель, с огненной сковородой в вытянутой руке молодая женщина. Щеки горят, волосы от кухонного жару распушились надо лбом, а выражение лица неопишное, ее личное – смесь детской серьезности и детской же веселости. Дверь в комнату предусмотрительно приоткрыта так, что можно распахнуть ее ногой, – чтоб ни секунды не уступить в этом ежевечернем соревновании с законом сохранения энергии, в данном случае – не попустить сковородному теплу рассеяться в мировом холоде преждевременно. На столе перед мужчиной – проволочная подставка: жаркое он любит есть прямо со сковороды. Лицо его серьезное, без всякой веселости – жизнь готовит ему очередное разочарование.

Она снимает крышку – атомный гриб запаха и пара вздымается над сковородой. Он подцепляет вилкой кусок мяса, отправляет в рот, жует с замкнутыми губами, глотает.

– Опять остыло, Эмма, – горестно, но как будто и немного злорадно замечает он.

– Ну, хочешь, подогрею? – вскидывает накрашенные стрелками ресницы Эмма, сильно похожая на уменьшенную в размере Элизабет Тейлор. Но об этом никто не догадывается – в нашей части света еще не знают Элизабет Тейлор.

Эмма готова еще раз совершить пробежку на кухню и обратно, но она давно уже знает, что достигла предела своей скорости в беге на короткую дистанцию со



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
сковородкой. Муж блажит, а она, во-первых, великодушна, а во-вторых, равнодушна:  
не станет из-за чепухи ссориться.

– Да ладно уж, – дает он снисходительную отмашку. И ест, дуя и обжигаясь.

Восьмилетняя дочка Женя лежит на диване с толстым «Дон Кихотом». Читает  
вполглаза, слушает вполуха: получает образование и воспитание, не покидая  
подушек. Одновременно крутится не мысль, а ощущение, из которого с годами  
соткнется вполне определенная мысль: почему отец, такой легкий, веселый и  
доброжелательный со всеми посторонними, именно с мамой раздражителен и брюзглив?  
Заполняется первая страница обвинительного заключения...

Через семь лет дочь скажет матери:

– Разводись. Так жить нельзя. Ты же любишь другого человека.

Мать вскинет ресницы и скажет с испугом:

– Разводись? А ребенок?

– Ребенок – это я? Не смехи.

Еще года через три, навещая отца в его новой семье, выросшая дочь будет сидеть в  
однокомнатной квартире рядом с новой отцовой женой, дивиться на лопающийся на ее  
животе цветастый халат, волосатые ноги, мятый «Новый мир» в перламутровых  
коготках, на желудочный голос, урчащий:

– Мишаня, пожарь-ка нам антрекоты...

Отец потрепал молодую жену по толстому плечу и пошел на кухню отбивать  
антрекоты и греметь сковородой...

«Потрясающе, потрясающе, – поражается дочь новизной картинкой. – А если бы мама  
тогда один раз треснула его даже не сковородкой, а сковородной крышкой по башке,  
могли бы и не разводиться... Господи, как всё это интересно...»

Но Симону де Бовуар тогда еще не переводили, и про феминизм еще слуху не было. А  
у Сервантеса об этом – ни слова. Даже скорее наоборот, посудомойка Дульсинея  
числилась прекрасной дамой. Мама же к тому времени заведовала лабораторией и за  
счастье считала испечь любимые пирожки с картошкой своему приходящему Сергею  
Ивановичу.

Десятилетнее многоточие счастья: ежедневная утренняя встреча в восемь в магазине  
«Мясо» на Пушкинской, сорокаминутная прогулка скорым шагом по Бульварному кольцу  
к дому с кариатидами, трагически заламывающими руки, – к месту Эмминой работы, –  
ежевечерняя встреча в метро, где сначала она провожает его до «Октябрьской», а  
потом он ее – до «Новослободской». А иногда – просто несколько кругов по кольцу,  
потому что так трудно разомкнуть руки.

– Что же он не оставит свою жену, если так тебя любит? – раздраженно спрашивает  
Женя у матери.

Они видятся триста шестьдесят пять дней в году – кроме вечеров тридцать первого  
декабря, Первого мая и Седьмого ноября.

– Да почему?

– Потому что он очень хороший человек, очень хороший отец и очень хороший  
семьянин...

– Мам, нельзя быть одновременно хорошим мужем и хорошим любовником, – едко  
замечает Женя.

– Если бы я хотела, он бы оставил семью. Но он бы чувствовал себя очень  
несчастливым, – объясняет мать.

– Ну да, а так он очень счастлив, – ехидничает дочь. Ей обидно...

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
– Да! – с вызовом подтверждает мать. – Мы так счастливы, что дай тебе бог узнать такое счастье...

– Да уж спасибо за такое счастье... – фыркает дочь.

Десять лет спустя дочь, придавленная к стулу семимесячным животом, сидит глубокой ночью возле матери, в единственной одноместной палате, выгороженной из парадной залы особняка с кариатидами, трагически заламывающими руки, отделенная от соседнего помещения, кроме фанерной стены, еще и свинцовым экраном, долженствующим защищать ее будущего ребенка от жесткого радиоактивного заряда, спящего за стеной в теле другой умирающей.

Вторые сутки длится кома, и сделать ничего нельзя. Женя видела, как за два дня до этого мамина лаборантка пришла делать ей анализ крови и ужаснулась, увидев бледную прозрачную каплю. Крови больше не было...

Эмма была здесь своя, сотрудница, и даже всё еще заведовала лабораторией: заболела таким скоротечным раком, что не успела ни поболеть как следует, ни инвалидность получить.

На тумбочке возле кровати лежит резная деревянная икона из Сергиева Посада – подаренный кем-то Жене Сергей Радонежский. Почему-то мать попросила ее принести. Почему, почему... Сергей Иванович из тех мест...

Бесшумно вошел дежурный врач Толбиев, потрогал маленькую руку матери. Она ему отзывает на диссертацию писала... Дыхание было – как будто одни слабые выдохи, и никаких вдохов...

– Сергей Иванович просил позвонить, если что... – без всякого выражения говорит Женя.

– Иди звони, Женя. Пусть едет.

Женя пошла по длинному коридору, спустилась на полпролета к автомату. Вынула из кармана белого халата заготовленную монетку, набрала номер.

Они так жили уже два месяца: Сергей Иванович отпуск взял, приходил с утра. Женя приходила к вечеру, отпускала его и проводила в палате ночь. Для нее здесь и вторую койку поставили, но она не ложилась уже несколько ночей, боялась упустить минуту... Почему-то это казалось самым важным.

Позвонила. Он сразу поднял трубку.

– Приезжайте!

Он был всё еще женат, и жизнь его молчаливой жены была сильно омрачена. Женя и прежде об этом иногда думала: почему это все они соглашаются молчать и терпеть...

«Ничего, скоро она его получит в полном объеме», – зло подумала Женя и сразу же устыдилась. Но теперь уже было совершенно неважно, что скажет сейчас его жена и что он ей ответит.

Женя поднялась на полпролета, открыла с усилием, отозвавшемся в животе, тяжелую дверь – и вдруг, как пришпоренная, понеслась по коридору, поддерживая прыгающий живот. Коридор был длинный, палата в самом конце, и Жене показалось, что бежит она целую вечность. В ночной больничной тишине стук войлочных туфель звучал как конский топот.

Дверь в палату была открыта. В палате были двое: врач и сестра.

Сестра говорила врачу:

– Я с самого начала знала, что Эммочка в мое дежурство... вот, ей-богу, знала.

Весь институт так звал ее – Эммочка. За веселую сердечность, за природное милосердие...

– Опоздала... – сказала Женя. – Господи, я опоздала.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Через сорок минут приехал Сергей Иванович. Он тоже бежал по коридору, стягивая на ходу мокрый плащ. И он сказал то же слово:

– Опоздал...

Но никто не заплакал: Женя с самого начала беременности ходила какая-то стеклянная, непроницаемая, без чувств, как под наркозом, жила, сосредоточенная на одной ноте: мальчика сохранить. А Сергей Иванович был весь как закушенный – у него был и фронт, и плен, и штрафбат, и лагерь. К жизни давно уже относился как к подарку, и особенно к этим последним годам, с Эммой. И еще он сказал:

– Почему не я...

Коридорные сны начались еще до рождения сына. В жестком белом халате Женя бежала по бесконечному коридору, по обе стороны которого часто поставленные двери, но войти можно только в одну из дверей, и никак нельзя ошибиться, скорей, скорей... Но неизвестно, какая из дверей правильная... а ошибиться нельзя, ошибиться – смертельно... всё – смертельно... И Женя бежит и бежит, покуда не просыпается с сердечным грохотом в ушах и во всем теле...

Мальчик родился в срок, здоровый и нормальный, без всяких там отклонений. Коридорный же сон остался на всю жизнь, но снился редко... Женя, чуть ли не с детства приобщенная к трудам великого шамана, еще раз пролистала знаменитое сочинение, посвященное сновидениям. Прямого ответа доктор не давал. В ту раннюю пору доктор больше интересовался Эросом, чем Танатосом. А кушеточек психоаналитических, столь для Жени привлекательных, в то время не держали, да и не до того было.

Потом происходили всякие разные вещи – женились, разводились, разменивались, переезжали, рождались дети, у Сергея Ивановича – внуки, и у отца Михаила Александровича родилась еще одна дочь, и он успел еще развестись, еще жениться и опять развестись. Женины дети выросли почти до взрослого состояния и уехали к своему отцу, перебравшемуся в Америку, и ничто не предвещало, что они вернуться, и вся жизнь состояла из разрозненных штучек, которые никак не соединялись в целое.

Наконец настал печальный год, когда отец Жени заболел медленной смертельной болезнью, которая заметна была первые годы исключительно на рентгеновских снимках и ничем более себя не проявляла. Врачи обещали пять лет жизни, вне зависимости от лечения. Оперировать легкое в столь преклонном возрасте не рекомендовали. Начало болезни совпало по времени с его выходом на пенсию и перестройкой всей страны, середина – с личной перестройкой жизни Михаила Александровича, превратившегося из преуспевающего, бодрого и слегка хвастливого профессора в угрюмого молчуна, удрученного внезапно наступившей скудностью и оживляющегося лишь при виде вкусной еды и при получении разного рода подтверждений успешности Жениной карьеры, которая должна была компенсировать его собственные неудачи.

Когда отец уже не мог сам себя обслуживать, Женя перевезла его к себе вместе с телевизором и шахматами, в которые он давно уже не играл. Болезнь шла к концу, а ему шел восьмидесятый год, и эти последние месяцы его жизни, горькие и пустые, были омрачены еще и голодом: пищевод не пропускал еды. Он постоянно хотел есть, но после трех ложек начиналась рвота. Как только рвота утихала, он просил Женю принести ему бутерброд с ветчиной. Организм, кое-как принимавший три ложки каши, отвергал бутерброд с ветчиной.

– Тебя вырвет, давай лучше бульон или яйцо всмятку, – предлагала Женя.

Тогда он сердился, кричал на Женю, а потом целовал ей руки и плакал.

Женя умирала от жалости и отвращения. Она целовала его в голову – запах волос был ее собственный, он ей всегда не нравился, и она всю жизнь мыла голову каждый день и стирала вязаные шапки и головные платки, чтобы он никогда не заводился, этот отцовский запах. И она вспомнила, как год спустя после смерти матери открыла ее шкаф, взяла в руки черное, в мелких лазоревых незабудках платье, поднесла к лицу и вдохнула не умерший запах Эммы – цветочный, медовый пот, сохранившийся в подмышках, сладчайший из всех запахов в мире... Женя износила то

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
платье до паутины, а потом разрежала на куски и набила ими подушку-думочку...

Женя гладила старческую голову отца, его седые блестящие кудри, и думала о том, что если доживет, то и у нее будут такие красивые седины, и такие же, как у отца, ясные карие глаза, и руки, как у него – маленькие, с короткими ноготками... Всю жизнь не могла ему простить, что похожа на него, а не на мать... И сердце сжималось от тоски по матери, которая умерла так давно...

Потом стало совсем плохо. Пришла мамина подруга, известный онколог Анна Семеновна, которая все эти годы наблюдала Михаила Александровича. Он много кашлял, почти ничего не ел и всё говорил о еде. Анна Семеновна придерживалась той точки зрения, что больного не следует лишать надежды, и потому долго объясняла пациенту, что сейчас выпишет ему новое лекарство, которое снимет эту отвратительную тошноту, и он сможет есть всё, чего его душа пожелает.

– И вы скажите ей, Анна Семеновна, вы ей скажите, что я могу есть свиные отбивные, если их хорошенько отбить, – требовал он. Но требовал так слабенько, так хлипко.

«Господи, лучше сшиби меня машиной, чем превращать вот в это, сделай что-нибудь мгновенное, пожалуйста», – скулила Женя измученной душой.

Анна Семеновна сделала вечерний укол – снотворное и обезболивающее. Последние две недели делали четыре инъекции в сутки. Игла вошла в исколотую ягодицу так плавно, что отец даже не заметил. Женя позавидовала: она считала, что колет хорошо, но такого мастерства достичь не смогла.

– Ты засыпай теперь, папочка, – сказала Женя и выключила верхний свет.

– Вы скажите, Анна Семеновна, вы ей скажите, чтобы завтра она пожарила мне отбивную...

– Да, да, может быть, не завтра, а через пару дней, когда вы примете курс нового лекарства... Спокойной ночи.

Они еще сидели на кухне, пили чай.

– Вчера ему было так плохо, он был без сознания, не отвечал... Я думала, что конец. А сегодня лучше...

– Этого никто не знает. В любом случае – вопрос нескольких дней.

Она была ровесницей Эммы, совсем старая врачиха, из того самого института, давно уже переехавшего из здания с кариатидами в далекий новый район...

Женя заперла за ней дверь. Погасила свет в коридоре. Слабый свет шел из дальнего конца, с кухни. Из отцовской комнаты раздалось довольно громко:

– Ставьте вопрос на голосование! Ставьте вопрос на голосование!

«Опять бредит. Наверное, во сне», – подумала Женя.

Вымыла чашки. Вытерла чистым полотенцем. Села, опершись на стол, положив подбородок на сцепленные пальцы. Это был его жест, его поза. Всю жизнь она избегала в себе самой того, что от него унаследовала. Истребляла в себе его часть. Но все равно была похожа на него, а вовсе не на Элизабет Тейлор, на которую была похожа Эмма.

– Мама! – услышала Женя.

«Опять бредит. Бедный...»

И снова, уже громче, уже явственный зов:

– Мама! Мама!

Вышла в коридор. Постояла под дверью. Войти? Не входить?

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
«Не пойду!» – сказала себе. И заметалась по коридору.

– Мама! Мама! – доносилось из комнаты.

Он был не такой длинный, как коридор в старой коммуналке. И совсем не такой длинный, как в больнице. И совсем, совсем не такой длинный, как во сне. И здесь дверей было всего три, а не бесчисленное множество. Но Женя металась от входной двери к двери уборной и повторяла, как заклинание:

– Он бредит! Он бредит!

Потом он затих, и Женя остановилась.

«Ты сошла с ума, – сказала она себе, – дура припадочная!»

Но в комнату к отцу не вошла. Легла, не раздеваясь, в постель и проснулась в два ночи, когда пора было делать следующий укол.

Тихо, чтобы не разбудить, открыла дверь. В свете ночника он лежал мертвый, открыв рот в последнем крике, на который никто не подошел.

Женя опустилась на край кровати рядом с мертвым отцом. Коснулась руки – температура та самая, страшная, – никакая.

– Какой ужас... Я к нему не вошла... Этот коридор...

Картинка завершилась, все ее причудливые элементы сошлись. Она знала теперь, что до конца своей жизни будет видеть этот сон, а когда умрет, то попадет туда окончательно и будет бежать по этому коридору в ужасе, в отчаянии, в отвращении к отцу, к себе самой, а в минуту счастливого отдохновения от вечно длящегося кошмара будет промелькивать навстречу милая Эмма с дымящейся сковородкой в вытянутой руке, серьезная и улыбающаяся, под деревянный стук каблуков, слегка запаздывающий относительно ее энергичного бега...

#### Великий учитель

В то время, когда Варварка называлась улицей Разина, а Библиотека иностранной литературы еще не переехала оттуда в новое здание в Котельники, Геннадий Тучкин начал серьезно и самостоятельно изучать немецкий язык и несколько раз в неделю приохотился туда ездить и сидеть там до самого закрытия. Конечно, лучше было бы пойти на курсы, но сменная работа на заводе шла по скользящему графику, а курсы работали по жесткому календарю: понедельник, среда, пятница... Трудно было объяснить, почему у него, молодого человека из простой семьи, наладчика на втором часовом заводе, возникло вдруг странное желание изучать немецкий язык. Молодые мужчины, его сверстники, работавшие рядом, тоже иногда испытывали порыв к чему-то необыкновенному и возвышенному, и они в таких случаях покупали пива или водки и питейно общались ровно до того момента, пока не кончались деньги или время.

Но пить Геннадий не любил. Его отец пропал от пьянства, и хотя уже в те годы говорили, что пьянство порок наследственный, Гена, напротив, всей своей природой пьянства не переносил и потому даже друзей на заводе не завел: ему скучно было среди мужиков. Вообще же на заводе было больше женщин, они работали на сборке, на конвейере, и казались Гене такими же одинаковыми, как часики «Победа», которые сходили в конечном счете с конвейера.

Одиночество усугублялось еще и тем, что мать после его возвращения из армии произвела обмен и прописала к себе Генину бабушку Александру Ивановну, впадшую в старческую немощь, а Гену переселила в ее хорошую комнату в коммунальной квартире в Оружейном переулке.

В семи комнатах длинной, как вагон, квартиры проживало четыре больших семейства и трое одиночек: сам Геннадий, пожилая старая девушка Полина Ивановна, помешанная на чистоте скопидомка в белых школьных воротничках, и некто Купелис, старик с большой головой на паучьем худом теле, который объявлял себя латышом, но соседи подозревали в нем еврея, однако ошибались, потому что на самом деле он был скрывающим свое происхождение немцем.

Остальные были – семья милиционера Левченко, человека хитрого и дельного, но

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru тайного пьяницы, семья Коротковых, мать с двумя взрослыми дочерьми и ее полупарализованный отец, которого никто в глаза не видал, семья зубного врача Лапутина, лечившего потихоньку на дому и включавшего во время визитов пациентов одну и ту же пластинку с гремучей музыкой, заглушающей шум бормашины. Четвертая, самая дальняя от входа комната была населена Куманьковыми с безногим сапожником Костей во главе. Куманьковых было неопределенное множество, но всегда больше семи. У них то кто-то умирал, то рождался, то уходил в посадку.

Геннадий, глядя на всяческую грязь, бедность и хамство, наблюдая соседские праздники, кончающиеся дракой, и драки, кончающиеся выпивкой, испытывал ко всем им без исключения брезгливое отвращение – к психу Куманькову, швыряющему в своих малолетних детей и дуру жену что под руку попадет, к скупердяйке Полине Ивановне, крадущей обмылки с кухонной раковины, к тихому пауку Купелису, со своим кофейником пробирающемуся на кухню по ночам.

Особенно донимал Геннадия как раз Купелис: стена у них была общая, проницаемая для звука, и Геннадий вынужден был слушать с ночи до утра гулкие вздохи, покашливание, кряхтение, сосущие звуки спускаемой и вновь набираемой клизмы, которую ставил себе Купелис, и тонкие выхлопы его большого кишечника. Общей уборной сосед не пользовался, имел персональный ночной сосуд и выносил его по ночам, перед тем как варить кофе. И Гена невольно слышал, как тот гремел тазом за стеной, мыл свою паршивую задницу и пил кофей. Раза два в месяц, обыкновенно по субботам, к нему приходили гости, в большинстве мужчины, и они вели оживленные беседы.

Несмотря на вполне удовлетворительный внешний вид, послеармейский возраст и особое обстоятельство пребывания в коллективе, где концентрация женщин на квадратный метр производства в десятки раз превышала концентрацию мужчин, что было особенно заметно в столовой в обеденные часы, Гена не завел себе подругу, хотя с самого поступления на завод девушки и тетки приставали к нему грубо и массово. Это и отвадило его смотреть в их сторону. К тому же у него была юношеская травма: он встречался с одной девушкой еще до армии, и она обещала ждать его возвращения, но на втором году службы вышла замуж.

Он теперь был что-то вроде старой девы: не то чтобы женский пол его совсем не волновал, но страх перед женским коварством пересиливал притяжение. Время от времени какая-нибудь заводская девушка даже приглашала его в кино или на танцы. Поначалу он страшно смущался, каждый раз заново выдумывая какой-нибудь приличный предлог уклониться, а потом придумал одну отговорку на все случаи: как раз в этот день я не могу, обещал мать навестить... Из глупой честности он иногда даже и навещал в этот день мать, но чаще проводил вечер в библиотеке.

Редкие знакомства с новыми людьми тоже происходили в библиотеке, и люди эти ничем не были похожи на прежде ему известных по школе, по армии и по заводу. Самым ценным знакомством был Леонид Сергеевич, немолодой уже, полноватый и длинноволосый, вида барского, но довольно потрепанного. Они долго присматривались друг к другу, бросали взгляды на корешки книг, которые брали у стойки, пока Леонид Сергеевич не обратился к Гене первым, сказав, что существуют гораздо лучшие учебники и пособия по немецкому языку, чем те, что у него в руках, и тут же указал ему в каталожном ящике несколько книг. После этого случая они, сталкиваясь в зале или в коридоре, беседовали, поначалу о немецком языке, о котором новый знакомец говорил как о живом и любимом существе, отмечая его великие достоинства:

– По лексическому богатству почти как русский! – Он воздевал руки к небу, но не особенно высоко, на уровень плеч. – Но грамматические формы гораздо более разнообразные! Исключительно высокоорганизованный язык! Позволяет выразить очень тонкие временные отношения!

Леонид Сергеевич превосходно владел немецким языком, но переводил он обыкновенно вовсе не с немецкого, а с многих других – с монгольского, языка хинди и урду, с персидского и туркменского. Словом, с какого хочешь. Переводил он стихи по подстрочникам, и уже одно это сильно отличало Леонида Сергеевича от всего остального человечества.

Но главным делом жизни этого ученого и немолодого господина были все-таки переводы с немецкого языка, и притом одного-единственного автора. Прошло много месяцев, в течение которых Гена провожал Леонида Сергеевича домой, беседовал под

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) дождем и снегом о разных удивительных материях, прежде чем Гене было доверено имя великого учителя, книги которого заново переводились на русский язык именно Леонидом Сергеевичем.

– Видите ли, Гена, в жизни человека нет ровным счетом ничего случайного, даже вот эта наша сегодняшняя беседа заложена была в великий замысел Творца от самого сотворения мира.

И тут Гену пробрала дрожь по спине от самой шеи до копчика, потому что он проникся величиим минуты... Удивительный человек Леонид Сергеевич – о чем бы ни говорил, всё было значительно и таинственно и отличалось от всего остального, что говорили другие знакомые Гене люди, как ананас от редьки.

Генина бабушка была верующая, но глупая простота ее веры нисколько Гену не прельщала, Леонид же Сергеевич говорил о Творце и Творении, о воле, познании, тайне и пути такими словами, что Гена готов был проложить не только что от улицы Разина до Солянского тупика, – что расстояние сравнительно небольшое, – но хоть на самый край света. Так, постепенно, километр за километром, месяц за месяцем вызревали отношения Гены и Леонида Сергеевича до того, что было ему названо имя великого учителя: доктор Рудольф Штайнер. Так, на немецкий манер, произносил Леонид Сергеевич это волшебное имя.

Вскоре Леонид Сергеевич пригласил его к себе домой, в отдельную квартиру, всю уставленную шкапами с книгами, увешанную картинами и даже украшенную двумя скульптурами, из которых одна была по виду чисто мраморная. Красивая, невероятно даже красивая жена Леонида Сергеевича в настоящем кимоно подала им чай и ушла в другую комнату, показав спину в белых хризантемах по лиловому полю. Леонид Сергеевич торжественно отодвинул матерчатую шторку в глубине секретера и открыл перед Геной лик учителя. Это была фотография красивейшего, как американский киноактер, человека с откинутыми назад волосами и с шелковым бантом-галстуком, слегка придавленным сюртуком.

От фотографии как будто исходил жар. Возможно, Гена не мог уловить истинного источника этого необъяснимого жара, можно допустить, что он исходил от самого Леонида Сергеевича, но так или иначе, минута была особая, такого потрясения Гена не испытывал ни разу в жизни, – разве когда в армии попал в аварию, и грузовик, на котором везли солдат, сорвался в пропасть – в Таджикистане, где и пропасти, и дороги были самыми что ни на есть смертельными, – и пока грузовик кувыркался, приближаясь к каменистому дну, он не то молился, не то звал бабушку, и тогда уцелели только двое, Долган Изетов, переломавший все кости, и он, Геннадий Тучкин, с большой шишкой посреди лба...

И в тот день Гене была доверена – с предостережениями, указаниями, наставлениями – первая книга, не самого Учителя, а его последователя по фамилии Шюре.

– Всякое подлинное знание несет в себе опасность, – сказал Леонид Сергеевич на прощанье, – и опасность эта как духовная, – потому что чем выше поднимается душа по лестнице познания, тем бóльшая на нее возлагается ответственность, – так и самая прямая: знайте, что учение Штайнера давно уже под запретом, и пока надо содержать это знание в тайне, но приближаются времена, когда всё это должно выйти на свет и изменить мир до неузнаваемости, потому что мир спасается через познание мудрости...

И снова по спине у Гены побежала волнующая дрожь, и, уложив в подаренный по этому случаю портфель завернутую опасную драгоценность, он пошел домой пешком и к середине ночи добрался до дома, а в общественный транспорт даже и не подумал заталкиваться, потому что боялся растерять это сладкое волнение в позвоночнике...

Как переменялась жизнь Геннадия! Ту, прежнюю свою жизнь он видел теперь как растительное существование, а теперешняя, новая, вся была мысленная, парящая, подвижная, полная таких красот неизреченных, что он с огромной жалостью смотрел теперь на всех простых людей, которые жили, ели, пили и ничего, совершенно ничего не понимали. Теперь же ему открывалось такое грандиозное знание о мире, об устройстве космоса, о великих энергиях, о прекраснейшей лестнице, предназначенной для тех, чей разум пробужден к Добру и Любви...

Всё наполнилось новым смыслом, даже механическая работа наладчика становилась священнодействием по исправлению мельчайших ошибок в рукотворных грубых машинах,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru и он научился восхищаться механическими узлами из низкосортного металла как Творением Господа, потому что видел теперь в разумной деятельности человека ответ Высшего Разума...

Он читал доктора Штайнера, его бесконечные лекции и через них знакомился с индийской философией, с представлениями Гёте о мире, с некоторыми каббалистическими идеями, и образ коровы, лежащей на лугу в астральном облаке и жующей свою жвачку, преобразовывая один вид энергии в другой и дающей божественный напиток – молоко, даже изменил его вкусы: молоко, которого прежде не любил, он стал пить с наслаждением, начал есть мед, который тоже оказался божественным. И вообще весь мир, если правильно на него смотреть, из грубого и грязного превращался в прекрасный и возвышенный. И самой восхитительной из идей казалась Геннадия идея духовных иерархий, великой лестницы, по которой поднимается всё сущее, наполняясь смыслом и духом, и самое драгоценное зерно заключалось в том, что высшие иерархии жертвовали чем-то во имя низших, вызволяя их из хаоса неосмысленности...

Леонид Сергеевич гордился талантливым учеником, разъяснял ему разные не совсем понятные тонкости и просил Гену не торопиться в познании, поскольку слишком быстрый подъем мог опасно отозваться на физическом здоровье. Он, видя глубокую привязанность Геннадия, предостерегал его также и от излишнего ее проявления, даже объяснил ему, как страдают люди после смерти любимых домашних животных именно по той причине, что привязанность бывает так сильна, что образуется общее астральное тело, и когда животное умирает, то хозяин испытывает сильные боли в области желудка, потому что сращение астральных тел происходит именно на уровне солнечного сплетения, и надо учиться контролировать свои привязанности даже по отношению к учителям. А может быть, особенно по отношению к учителям...

Несколько раз, как будто невзначай, он упоминал о своем непосредственном учителе, великом знатоке теософии и антропософии, о его знакомстве в юношеские годы с самим доктором Штайнером, то есть о прямой преемственности учения, которое передавалось, помимо книг, напрямую, из рук в руки...

Два года Гена возрастал в познаниях. Немецкий язык, который он начал изучать по непостижимой прихоти, оказался теперь просто хлебом насущным. Леонид Сергеевич доставал ему теперь книги доктора на языке оригинала. Они были изданы в Риге, в двадцатые годы, имели вид довольно бедный, зато на полях пестрели заметки, неизвестно чьей рукой сделанные на немецком и русском языках. Читать их было нелегко, но Гена мужественно продирался сквозь метафизические дебри, а Леонид Сергеевич консультировал его. Это было отдельное удовольствие – визит Гены к Леониду Сергеевичу на дом, – с чаем, малютками-печеньями «безе» из рук красавицы жены в вечнолиловом кимоно, в кабинете, посреди книг и картин. Иногда, покончив с консультацией, Леонид Сергеевич читал ему свои переводы из восточной поэзии: монгольские всадники скакали через степи, индийские красавицы со слоновьями плавными движениями предавались сладострастным играм с принцами, а современные каракалпакские поэты с той же восточной цветистостью воспевали социалистическое переустройство жизни...

По прошествии времени Леонид Сергеевич заговорил с Геной о совершенно тайном деле: оказывается, где-то в Москве проводились семинары по самой важной книге доктора, которая называлась – голос понизился до шепота – «Пятое Евангелие».

Тут Гене пришлось признаться, что он не читал предыдущих четырех. Леонид Сергеевич развел руками:

– Ну, знаете ли!

И тут же снял с полки небольшую черную книжечку. Гена благоговейно взял ее в руки и страшно удивился:

– Леонид Сергеевич, да у моей бабушки точно такая же есть! Она только ее всю жизнь и читала...

После длительных переговоров, проволочек и дополнительных расспросов Леонид Сергеевич объявил Гене, что вскоре начинается семинар. Семинар ведет его, Леонида Сергеевича, учитель для лиц продвинутых и практикующих десятилетиями, но в виде исключения Гене, новичку, было разрешено участвовать в семинаре.



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru)  
Гена затрепетал: к этому времени он научился от Леонида Сергеевича боготворить того учителя, его мудрость, огромные познания во всех областях, включая и медицину, и фантастический жизненный опыт.

– Он один из немногих оставшихся в живых участников строительства храма доктора в Дорнахе, сгоревшего в начале тридцатых годов. – Леонид Сергеевич поднимал голубые, в мелких красных жилках от усиленного чтения глаза к небу. – А среди участников строительства были Андрей Белый, и Максимилиан Волошин, и Маргарита Сабашникова... – И понизив голос до еле слышного, сделал последнее признание: – И мой покойный отец провел там одно лето... Но об этом нельзя говорить, совсем нельзя. – И он замолчал, глубоко сожалея, что сказал лишнее...

Наконец настал важнейший день: Леонид Сергеевич повел Гену к учителю. Гена, вычищенный и отглаженный, в новых брюках, встретился с Леонидом Сергеевичем возле памятника Маяковскому, и пошли они под мелким весенним дождиком в знакомую Гене сторону: как бы к его дому. Потом сделали небольшой крюк и пришли именно к Гениному дому, но со стороны старинной, в сине-белом кафеле молочной. И подошли к подъезду. Взволнованный Геннадий даже забыл узнать свой собственный подъезд и только возле самой двери понял, что стоит возле своей квартиры.

Леонид Сергеевич нажал кнопку с полустершимися буквами: «Купелис».

Через несколько минут раздалось знакомое шарканье домашних туфель. Купелис отворил дверь. Леонид Сергеевич испустил лучезарную улыбку. Купелис изобразил подобие приветствия. У Гены застучало в висках, он побагровел и, оставив в растерянности Леонида Сергеевича, пронесся в конец коридора, судорожно сжимая ключ от своей комнаты.

Не снимая плаща, он бросился ничком на кровать и заплакал. Как! Вместо доктора Штайнера, с его прекрасным южным лицом, с шелковым галстуком-бантом, слегка примятым сюртуком, оказался этот гнусный головастик, с его ночными горшками, клизмами и тазами, с тайным ночным кофеем, скверно поджатыми губами, самый противный из всех соседей, урод, паук!

Кто-то стучал в его дверь, но он не открывал. Он плакал, забывался, снова плакал. Потом встал, снял плащ, сбросил ботинки. Бормотанье разговора за стеной давно закончилось. Скоро раздастся клизменный звук, потом грохот таза... Но вместо всего этого в коридоре зазвонил телефон: это была Генина мать. Плача, сказала, что умерла бабушка, чтоб Гена приезжал.

Гена взял такси и поехал на Хорошевское шоссе, где в большом фабричном доме в двухкомнатной квартире жила его мать, мамина сестра с дочкой Леной и парализованная бабушка, которая теперь вот умерла.

Свет включили во всех комнатах, а в материнской, кроме большого света, еще горели свечи, и пожилая женщина в черном читала из той самой черной книжечки Евангелия, которые Гена к тому времени уже успел прочитать. Назавтра откуда-то привезли облачение – черную мантию и шапочку – и надели это на умершую. И приходили какие-то в черном старухи и старики, читали не совсем понятное по церковно-славянски, и Гена недоумевал, почему такая важная суета происходит из-за смерти его бабушки, тихой, почти бессловесной, которая пять лет как была парализована, лежала себе да ожидала смерти.

Хоронить ее повезли в Хотьково, на бывшее монастырское кладбище, но прежде отпевали в Лавре. Лицо ее было покрыто белой тканью. Вдруг возникла на ровном месте какая-то волнующая тайна: кем-то важным и значительным оказалась его смиренная бабушка, а он и не догадывался. Старый священник, из здешних, рассказал потом Гене, что бабушка его Александра Ивановна, сестра Ангелина, была из последних духовных детей последнего оптинского старца, ушла в мир, когда закрыли монастырь, работала уборщицей, приняла в голод двух сирот, его мать и вторую девочку, которая стала ему теткой, вырастила их. Что была она прекрасна душой, кротка, как голубь, и мудра, как змей... И читала всю жизнь одну-единственную книгу – это самое четвероевангелие...

Геннадий взял отгулы на работе. Ему надо было привести в порядок свои мысли и чувства, а также многие знания, которые он приобрел в последние годы. Он провел всю неделю у матери на Хорошёвке. Там был зеленый район, он много гулял и всё жалел, что теперь никогда не узнает, что же такое написано в «Пятом Евангелии».

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
Но никогда не узнает также, кем была его парализованная бабушка. Может, тоже учителем? Он думал, думал, ни к чему не пришел, только взял да и поменялся со своей двоюродной сестрой: она как раз собиралась замуж, и ей отдельная комната была очень нужна. А что до купелиса, то ей-то это было совершенно все равно...

#### Дезертир

В конце сентября 1941 года на Тильду пришла повестка о мобилизации. Отец Ирины уже работал в «Красной Звезде», разъезжал по фронтам и писал знаменитые на всю страну очерки. Муж Валентин воевал, и писем от него не было. Расставаться с Тильдой было почему-то трудней, чем с Валентином. Ирина сама отвела Тильду на призывной пункт. Кроме Тильды, там было в коридоре еще восемь собак, но они, поглощенные непонятностью события, почти не обращали друг на друга внимания, жались к ногам хозяев, а одна молодая сука, шотландский сеттер, даже пустила от страха струю.

Тильда вела себя достойно, но Ирина чувствовала, что ей не по себе: уши подрагивали на кончиках, и она слегка била хвостом по грязному полу. Из кабинета вышел понурый хозяин с немецкой овчаркой с низкой посадкой. Головы не поднимая, буркнул «забраковали нас, по зрению» и ушел с собакой на поводке... Проходя мимо Тильды, овчарка приостановилась, проявила интерес. Но хозяин дернул за поводок, и она покорно пошла за ним.

Сидящий рядом старик держал руку на голове пожилой овчарки. Она была крупная, вчетверо больше Тильды. Ирина подняла Тильду на руки – пудель был как раз того промежуточного размера, между комнатной собачкой и настоящей, служилой. Старик посмотрел на Тильду, улыбнулся, и Ирина осмелилась спросить то, что было у нее на сердце:

– Я вот всё думаю, как же они смогут ее использовать: она раненого с поля не вытащит. Разыскать человека она может, ну, сумку медицинскую она может тащить... Но чтоб раненого...

Старик посмотрел сочувственно – теперь уже на Ирину.

– Деточка, эти мелкие собаки – противотанковые. Их обучают, чтобы они бросались под танк, а к брюху бутылку с зажигательной смесью привязывают... Вы что, не знаете?

«Дура, дура, как сама не догадалась! Представляла почему-то Тильду в повязке с красным крестом, и как бы она честно служила, бегала по полям сражений, разыскивала раненых, приносила им помощь... А оказывается, всё совсем не так: ее натренируют проскальзывать возле гусениц танка и выскакивать, и она будет много раз повторять этот легкий трюк, чтобы потом, однажды, кинуться под немецкий танк и взорваться с ним вместе».

Повестка лежала в сумке у Ирины. Ее принесли четыре дня тому назад, и Ирина с собакой пришла на призывной пункт час в час и день в день, как назначено. Перед ними в очереди оставалось еще два человека и две собаки: старик с немецкой овчаркой и женщина с кавказской. Ирина встала и, на пол не спуская притихшую Тильду, вышла из коридора.

До дому шли пешком минут сорок, от Беговой до улицы Горького. Ирина поднялась в квартиру, собрала маленький чемоданчик вещей первой необходимости, потом подумала и переложила их в рюкзак. Она решила совершить преступление, и совершать его надо было как можно незаметнее, а чемодан на улице скорее бросался в глаза, чем рюкзак.

В рюкзак положила Тильдины обе миски, для воды и для еды, и подстилку. Тильда сидела возле двери и ждала: понимала, что сейчас уйдут.

И ушли – пешком, на Покровку, сначала к матери Валентина, в дом, откуда Тильда была родом: Валентин был ее первым хозяином. Через несколько дней перебралась к подруге на Писцовую. Почти каждый день она ездила домой, на улицу Горького, открывала ключиком почтовый ящик, но всё не находила того, за чем ездила: письма с фронта от Валентина. А вот на Тильду пришло еще две повестки, и обе, замирая от страха, Ирина тут же порвала мелко и выпустила, выйдя из подъезда, прямо в ледяное жерло метели, которая бесновалась всю ту зиму, первую зиму войны.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Отец редко приезжал в Москву, непрерывно мотаясь по фронтам: он был одним из главных летописцев и этой войны, и прежней, испанской...

В первый же его приезд Ирина рассказала ему о дезертирстве Тильды. Он молча кивнул. Навестил собаку на Писцовой. Последние годы Ирина с мужем жила в большой квартире отца, и Тильда давно поняла, что главным хозяином над всеми был именно он, старый, а не первый, молодой.

Полчаса он просидел в чужой бедной комнате, и Тильда сидела с ним рядом, устремив в него магический животный взгляд.

Перед уходом он пошутил:

– Ее надо переименовать: вместо Тильды – Дези.

Тильда, услышав свое имя, подняла голову. Лизнула руку. Она не знала, что ее избавили от смерти под танком, в центре адского взрыва, и умрет она теперь своей смертью, пережив и войну, и главного хозяина, и пуделиные кости ее будут лежать в лесочке, в приметном месте возле большого камня на обрыве, недалеко от дачи...

А вот где сложил свои кости Валентин, так никто и не узнал: он пропал без вести – навсегда.

Кошка большой красоты

Сначала ушли старые животные: тяжелый и мощный кот Лузер с огромной кривоухой башкой не вернулся однажды с ночной гульбы да так и пропал, через месяц сбежала Лада – не сбежала, а сковыляла, – потому что давно уже еле двигалась. Ее нашли в перелеске недалеко от дома, в скользкой яме, с трудом притащили домой, отмыли от гнилой глины бело-рыжую шерсть, и она тихо умерла под руками хозяев.

Потом засобирился и сам хозяин. Сначала инфаркт, потом грохнул инсульт. Он сидел с упавшей половиной лица в вольтеровском кресле и молчал. Хозяйка Нина Аркадьевна принесла домой взрослого котенка большой красоты – для оживления домашнего пейзажа и целительного животного тепла, но хозяин почти не замечал новую кошку, автоматически поглаживал ее левой рукой, когда ее совали ему на колени. Она была черно-белая и так расписана от природы, что лучше не придумаешь: белая манишка, белые чулочки на передних лапах и носочки – на задних. Размеры была небольшого, полудетского, не пушиста, а скорее бархатиста, и глаза – янтарно-зеленоватого цвета. Назвали ее просто, но по-английски – Пусси.

Нина Аркадьевна была английской переводчицей, переводила английских классиков и вела семинары по теории перевода.

Потом хозяин, так и не подружившись с новым животным, умер. А кошка, не выполнившая возложенной на нее миссии, прижилась. По характеру она была чудовище и нисколько этого не скрывала: она ластилась к ногам, вспрыгивала на колени и немедленно выпускала острые когти – даже хозяйка вся была в ее маленьких отметинах. Когти она выпускала из мягких лап мгновенно, как ядовитая змея выбрасывает голову в броске. Таким же неуловимым движением она цапала кормящую ее руку, норовя провести царапину подлиннее.

Когда хозяйка снимала телефонную трубку и говорила: «Алле!» – кошка немедленно отзывалась особым предостерегающим мявом. Давала поговорить минуту-другую, снова подавала голос, а потом прыгивала с кресла – удивительное дело, что при необыкновенной грациозности поз, в движении она была довольно неуклюжа: с прыжка приземлялась тяжело, как большой котяра. После приземления она медленно проходила по квартире в поисках наиболее уязвимого места – хозяйкины домашние туфли, шарфик на подзеркальнике, подушка, – куда и гадила.

Нина Аркадьевна, уже натренированная, бросала трубку, разыскивала следы ее подлости и убирала, горестно и совершенно бесплодно указывая ей на грехи.

Потом на кошечку напала первая охота. Из розового треугольника пасти шла пена, и она уже не коротко мявкала, а орала, катаясь по полу и по дивану и раздирая обивку. Хозяйка изнемогала, соседи жаловались.

Кошке привезли породистого кота, но она, возможно, по молодости лет не знала,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya1udmila.ru](http://ulitskaya1udmila.ru) как использовать его по назначению, тем не менее из вредности характера сначала ложилась, приподняв зад, а потом, когда жених приближался с серьезными намерениями, молниеносно переворачивалась и драла его честную морду. Кот потерпел поражение, но Пуська тоже не выглядела победительницей.

Нина Аркадьевна, дама в возрасте, благородного происхождения и хорошего воспитания, не одобряла Пуськиного поведения, но деваться было некуда: у нее был принцип любви к животным. Не то чтобы чистая любовь, а сложившаяся установка: в нашем доме любят животных... И она терпела.

Проорав неделю, Пусси успокоилась, но через три месяца всё повторилось: опять привозили котов, опять она их гоняла, и всё не находилось такого, которому бы она отдала свое сердце...

Потом были рассмотрены два варианта: открыть перед Пусси дверь на улицу, пустив дело на простонародный самотек, или кастрировать. Начали с первого – выпустили во двор. Черно-белая красавица немедленно взлезла почти на самую верхушку голого мартовского тополя и там, на тонкой ветке, принялась орать. Кажется, не от страсти, а от страха. Слезть она не могла, хотя сделала попытку: развернулась вверх хвостом, вниз головой, исключительно неуклюже, и в таком противоестественном состоянии провисела на дереве почти трое суток, оглашая двор непрерывными воплями. Жильцы всех семи этажей не могли спать ночами, пока не догадались вызвать пожарную машину, благо участок находился в ста метрах от дома. Попав в руки взволнованной хозяйки, Пусси пропорола когтями кожаную перчатку и окровавила ей кисть.

Следующим шагом была стерилизация. Добросовестная хозяйка нашла лучшего ветеринара, чудаковатого, но преданного своему делу, и отвезла Пуську в ветлечебницу, где за бешеные деньги ей произвели операцию.

Нина Аркадьевна, враг насилия вообще и кастрации в частности, испытывала некоторые угрызения совести, тем более, что вид наркотизированного животного был исключительно жалок: глаза были полузакрыты, из пасти сочилась слюна. Доставила бедное животное, завернутое в махровое полотенце, в лечебницу и привезла домой после операции бывшая студентка Нины Аркадьевны, преданная Женя.

Дома всё устроили с большим комфортом – корзинка, подушка, подстилка. Прочухавшись от наркоза, кошка немедленно начала выгрызать швы, так что Нине Аркадьевне пришлось срочно вызывать ветеринара, которого Женя и доставила. Ветеринар немедленно надел на кошку предохранительный воротник в стиле Марии Медичи, который к утру она изгрызла в мелкую крошку.

Швы зажили довольно быстро, но Нина Аркадьевна тем не менее ночей не спала, укладывала Пуську себе под бок и спала воробьиным сном, боясь раздавить страдальцу. Своих детей она вырастила так давно, что уже забыла о том, что раздавить ребенка во сне не так уж и просто...

Три следующие месяца прошли в обычном режиме: умная кошечка гадила в самых уязвимых местах, однажды вынула из рамки фотографию покойного мужа и изгрызла в труху, заставив Нину Аркадьевну плакать от огорчения и беспомощности. Гостей Пусси по-прежнему не переносила: драла колготки проходящим студенткам, а одному заезжему англичанину располосовала руку, когда он по невинности пытался ее погладить. Боялась Пусси только одного предмета – половой щетки. Секрет этого уважения знала проходящая домработница Надя, которая пару раз прошла по кошкиному боку. Хозяйка дивилась авторитету половой щетки, но прибегала к нему, показывая Пусси волосатого врага каждый раз, когда страсти особенно накалялись. Увидев щетку, Пусси замирала, потом пятилась и вспрыгивала повыше – на книжные шкафы, на буфет, – где замирала в грациозной позе, подняв лапу или выгнув спину.

Нина Аркадьевна, дама с повышенным эстетическим чувством, тоже замирала – от восхищения: красавица! Грета Гарбо в мире кошек!

Спустя три месяца после операции кошка снова начала орать дурным голосом и кататься по диванам. Хозяйка позвонила ветеринару и робко спросила, почему такая горячка напала на кошечку, коли она стерилизована?

Врач неожиданно возмутился:

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru – За кого вы меня принимаете, уважаемая? Неужели вы думаете, что я стал калечить животное и удалять яичники? Я просто перевязал ей трубы! Так что совершенно естественно, что она не лишена обычных для здоровых животных инстинктов!

Тут терпеливая Нина Аркадьевна впервые заплакала. Снова привезли кота. Пусси на этот раз проявила к нему благосклонность, и кошачья свадьба состоялась. Брачные призывы, лишившие Нину Аркадьевну сна и аппетита, закончились. Всё прочее продолжалось. Несмотря на тщательную уборку и постоянную стирку и чистку вещей, хозяйка, как и ее дом, пропитывались стойким специфическим запахом, который ощущался каждый раз, когда входили в квартиру с улицы. Видимо, кошке иногда удавалось найти недосыгаемые для уборки места...

Нина Аркадьевна приноживалась к каждой кофточке, которую на себя надевала, душилась крепким мужским одеколоном и страдала. Но после смерти мужа она даже немного радовалась мелким страданиям, потому что они отвлекали от главной потери... Вообще же она радовалась всему, что ее отвлекало от постоянной печали и пустоты теперешней жизни.

Когда Нине Аркадьевне предложили провести семинар в Новосибирске, она тоже обрадовалась. Случилось так, что старый ее приятель, профессор-искусствовед, сам попросился пожить в ее квартире, чтобы спокойно поработать в отсутствие домашних визгов и неурядиц, которые его сильно донимали, и закончить книгу. Он обязался кормить кошку. Нина Аркадьевна дала ему ключ, указала на капризы газовой колонки, запасла кошачьего корма и улетела, предупредив напоследок, что характер у кошки сложный, но не сложнее, чем у его жены и дочери. Главное – не выпускать на улицу.

На второй день после отъезда хозяйки, когда Пусси еще только приглядывалась к новому жильцу, он вышел к мусоропроводу с помойным ведром, плотно прикрыв дверь, но не захлопнув. Вернувшись, он увидел Пусси, сидящую перед дверью. Он схватил ее и впихнул в квартиру: не хватало, чтобы кошка сбежала! Отнес мусорное ведро на кухню, а когда оглянулся, увидел, что в коридоре, выгнув спины и шипя, стоят друг против друга две совершенно одинаковые кошки. Пока он осмысливал этот факт, кошки уже взвились в воздух и, как ему показалось, провисели в трепещущем комке довольно продолжительное время. Одна из них определенно была Пусси, вторая – ее двойник. Ему удалось не без труда разнять рычащий комок, схватить одну из кошек и затолкнуть в дальнюю комнату. Комнаты были смежные, замка между ними не было, дверь ходила свободно, и, всё еще держа вторую кошку в истерзанных руках, он метался по квартире, соображая, как закрепить дверь. Наконец всунул в дверную ручку палку от швабры и выпустил вторую кошку из рук. Она кинулась на дверь с яростью смертника...

Всю неделю он провел безвыходно в квартире с двумя враждующими кошками, жонглируя дверями и замками. Он попробовал вызвать для опознания кошки молодую подругу Нины Аркадьевны, о которой было сказано, что в случае возникновения каких-либо проблем она немедленно придет на помощь. Женя приехала по первому же зову, сразу же опознала в предъявленной кошке хозяйскую, но, заглянув в дальнюю комнату, усомнилась: вторая была точно такой же, только черные ушки были опушены белой бахромой. Она взяла кошку на руки, та мгновенно выпустила когти и провела сразу четыре борозды. Теперь Женя ломала голову: по характеру она была точно Пусси, а белую опушку на ушах она могла просто не запомнить – небольшие такие белые волосики на самых остриях ушей... Решили до приезда хозяйки оставить всё как есть...

Нина Аркадьевна, приехав через неделю, сразу же, как в известной русской сказке, определила нужную сестру, и не по ушам, а по голосу. При внимательном рассмотрении оказалось, что опушка имеется у обеих, но у настоящей Пусси она была чуть пожизе. На волю они вышли одновременно: обезумевший от переживаний профессор – и душой не отдохнувший, и не поработавший, – и Пуськин двойник.

Пусси обрадовалась восстановлению прежнего мира, потерлась головой о ноги хозяйки и ночью пришла спать к ней в постель. И даже немного помурлыкала, хотя вообще относилась к редкой разновидности немурлыкающих...

Нина Аркадьевна рассказала по телефону дочери, давно уже живущей в Америке, о забавном происшествии, и это имело неожиданные последствия – дочь стала настойчиво приглашать ее приехать на Кейп-Код, где на лето снимали дачу.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) – Пристрой кошку и приезжай! Что за добровольное рабство! Раз в жизни проведешь лето с внуками, мама, – жестко сказала дочь. И добавила: – Здесь рай. Океан, песчаный пляж, сосны. Похоже на Прибалтику, но тепло.

Нина Аркадьевна согласилась. Три года она не видела дочери и внуков из-за болезни мужа, потом из-за траура, потом ссылалась на кошку, которую не с кем оставить. Всё это было именно так, но кроме того, Нина Аркадьевна терпеть не могла своего зятя... Будучи англоманкой, она и Америку недолюбливала. Но местом жительства ее дочери была Новая Англия, самое английское место Америки, да и внуки тянули – три года не виделись. Собралась ехать на всё лето. Только вот с кошкой надо было как-то решать: то ли к ней поселить служительницу, то ли ее куда-то на время определить. Анекдот с двойником не забылся, и начались поиски подходящих людей – любящих животных, с соответствующими жилищными условиями. Волну погнали по всей Москве, и вскоре нашлась подходящая парочка: пожилые супруги, бездетные, жена даже внештатная сотрудница журнала не то «Мир животных», не то «Животный мир».

Решено было, что Женя отвезет Пусси к этим добрым людям на следующий день после отъезда хозяйки. Что и было сделано...

Родня приняла Нину Аркадьевну сердечно: дочь и внуки с искренней любовью, зять – с твердым намерением обойти все издавна накопившиеся противоречия. Сама страна тоже старалась понравиться с первых же минут, начиная от прекрасных видов уже по дороге из Бостона на Кейп-Код. Никакой западной замкнутости не обнаружила Нина Аркадьевна в американской жизни своих детей: дом, как и в Москве, был полон друзьями, все те же русские пьянки и русские разговоры, хотя часто они велись по-английски. Даже американский выговор, всегда казавшийся ей вульгарным, теперь представлялся забавным. Хотя и дочь, и ее муж говорили отвратительно. Но несмотря на это, в компьютерном деле, где работала и дочка, и ее муж, они были уважаемыми людьми... Прославленная американская бездуховность и тупость не бросались в глаза, скорее удивляла чистота и новизна всего, на что ни падал взгляд. Особенно вечно белые носочки внуков. Они как будто не пачкались. Белая толстая кошка и рыжая собака тоже были исключительно чистенькими и, что самое поразительное, постоянно спали, свернувшись в общий клубок. Младшая внучка обращалась с животными как с плюшевыми игрушками: таскала за лапы, наряжала в шляпки. Кошка не мяукала, собака не лаяла...

Хозяйка огорчалась, глядя на эту идиллию: вспоминала Пуську и ее стервозный нрав...

«Что-то не так я делаю в жизни, – с печалью думала она. – Ах, да всё я делаю не так...»

За неделю до отъезда Нина Аркадьевна пришла к важному решению: позвонила в Москву Жене и попросила ее найти для Пусси новых хозяев:

– Надо отдать ее в хорошие руки. И если можно, за город. Да, да! За город! Чтобы был участок, где она могла бы гулять. Вроде зимней дачи. И хорошо бы организовать всё до моего приезда...

Женя взялась за дело не спустя рукава: всех обзвонила, всех опросила. Тех, кто Пуську знал, можно было не обзванивать – самоубийц не нашлось. Тех, кто ее не знал, Женя честно предупреждала: кошка редкой красоты и дурного нрава. За день до приезда Нины Аркадьевны Женя, совершенно не справившись с первой частью задания – относительно хороших рук, – принялась за вторую.

Началась эвакуация. Женя подъехала к трехэтажному дому на Сретенке и, поднимаясь по лестнице, чем выше, тем определеннее чувствовала, что здесь живут люди, беспредельно любящие кошек: смрад стоял такой, что только любовь могла его победить. Женя поднялась на третий этаж. На всех лестничных площадках стояли кошачьи миски. На перилах, свесив хвосты, сидели две кошки, задумчиво глядя перед собой. На дверной ручке нужной квартиры висели два пакета, а под дверью лежали три больших газетных свертка, аккуратно обвязанных бечевкой. Вне всякого сомнения, это была кошачья уборная, предназначенная к выносу на помойку.

Женя позвонила, звонок промолчал. Однако дверь открыли. Муж и жена, маленькие и худенькие, бледненькие и сильно поношенные, стояли и улыбались.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru – Она с нашими не подружилась, – сообщила жена. – Такой конфликт! Характерами не сошлись.

Женя протянула мужичонке деньги, и он незаметным движением сунул их в карман, не сказав ни слова.

– Ни с Муськой, ни с Пал Иванычем с Лаской – ни с кем, – подтвердил муж.

– Мы ее отдельно поселили! – с гордостью сказала жена и повела по длинному коридору. – Вот здесь у нас Муська, она отдельно живет, она Пал Иваныча обижает, – указала жена на первую дверь, – а здесь Пал Иваныч, сибирский кот, старый уже, и Ласка, его внучка, они дружат, – махнула рукой в сторону второй двери.

Далее была комната, в которой содержалась собака. В последней, четвертой, гостевала Пуська.

– У нас раньше коммуналка была, а теперь дом под снос, всё наше стало, – объяснила кошатница, – уезжать-то не хочется, выселят куда-нибудь в Бибирево.

– И хорошо, Валя, чего ж плохого, с Каштаном будем в лес ходить гулять. – Откуда-то раздался тонкий твэк – собака отозвалась на имя. – Он у нас умница, но тоже старичок. Приблудился...

Мужичок вынул из кармана связку ключей и открыл последнюю из дверей. На высоком платяном шкафу сидела Пуська. Она была не черная, а пыльно-серая, грустная и одичавшая.

– Не вылизывается, – горестно заметила кошатница. – Скучает. Прямо душа за нее болит, уж так скучает. Иди, иди сюда, девочка моя, сейчас домой поедешь.

Пусси сидела в своей знаменитой египетской позе, не шелохнувшись.

Ловили ее долго. Когда, наконец, она оказалась в руках, Женя только подивилась, куда девался угольный блеск ее шерсти и как посерела белая манишка... Паутинная пленка лежала на ее плече... И, что удивительно, она молчала.

Женя посадила ее в спортивную сумку, задвинула молнию и заботливо оставила несколько сантиметров для проветривания, чтоб не задохнулась...

– Мы вас проводим, проводим, – наперебой зашебетали кошатники и, подхватив газетные свертки возле двери, пошли гуськом за Женей. Когда они вышли из подъезда, целая гурьба кошек возникла как из-под земли, выгнув спины и задржав хвосты.

– Голодные... Покормим, покормим... Сегодня всех покормим, – горделиво сказал муж, хлопывая себя по карману...

Женя поставила сумку с Пуськой на заднее сиденье, помахала рукой причудливой парочке, всё стоявшей в обнимку со своими газетными ворохами, и отъехала. Предприятие было неприятным, но вынужденным. Настроение у нее было неважным.

На Садовом кольце Женя ощутила спиной, что в машине что-то происходит. Она даже не успела сообразить, что именно, – по салону метался темный комок, издававший звук, более всего похожий на громкое змеиное шипение. Она подала машину вправо – в шею ей сзади впились острейшие когти. Прожгло болью. Вцепившись всеми четырьмя лапами, Пуська заорала. Забыв включить поворотник, Женя причалила к берегу. Отчаянно гудели машины, но никто в нее не въехал. Рывком оторвала Женя кошку от себя. Зажав дергающийся комок, она вышла из машины, открыла дверцу и запихала животное обратно в сумку, затянув молнию до конца.

Кровь текла по спине, по рукам, большой кровавой развод был на щеке. Но Женя рванула с места и понеслась. Маршрут ей был прекрасно известен. Свернула на Каляевскую, выехала к Савеловскому вокзалу, потом переулками дорулила до известного ей пролома в бетонной стене, окружавшей Тимирязевский парк. Вышла из машины, прихватив сумку. Перешла через железнодорожные пути, нырнула в еще один пролом – дальше начинался парк. По тропинке Женя вышла на полянку и открыла сумку. По-видимому, кошка была не менее ее самой потрясена происшедшим. Не торопясь, Пусси вылезла из сумки. Огляделась. Села на травку и начала

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru вылизываться. Женя стояла в нескольких шагах от нее. Розовый язык подробнейшим образом пробегал по самым недоступным местам кошачьего тела, и за ним тянулась сверкающая полоса обновленной шерсти. Из серой кошка на глазах становилась черной, блестящей, бархатной. В сторону Жени и головы не поворачивала, внимательно пролизывая пахи. Белые чулочки на лапах только мелькали. Помывшись, Пусси замерла в одной из своих страннейших поз – подняв вверх переднюю лапу.

– Значит, так, – сказала Женя. – Вот тебе загород. Гуляй, лови мышей. Вот там стоят три дома – это больница. Оттуда будут выходить люди и давать тебе еду. Живи на природе, и никому здесь твой характер не мешает. Поняла?

Кошка поняла. Она отвернулась от Жени и пошла прочь – не торопясь и даже несколько вразвалку. И исчезла в кустах, не оглянувшись.

Некоторые метафорические кошки скребли у Жени на душе. Она не смогла выполнить поручение старшей подруги. Но она любила Нину Аркадьевну больше, чем та любила свою кошку. Назавтра Женя, облепленная пластырем, поехала встречать ее в Шереметьево. У Нины Аркадьевны был огромный багаж, они взвалили на тележку все ее чемоданы, потом перегрузили в багажник машины и поехали.

– Ну, как? – спросила Нина Аркадьевна, вклинив маленький и незначительный вопрос между своими огромными впечатлениями. – Пуську удалось пристроить?

Женя кивнула.

– За городом? – спросила Нина Аркадьевна.

Женя вздохнула, ожидая подробных расспросов, и снова кивнула.

Но больше Нина Аркадьевна к этому вопросу не возвращалась.

Возможно, так бы всё и кончилось. Неприятный осадок от происшедшего у Жени прошел бы, и всё бы зажило и зарубцевалось, включая глубокие царапины на шее и на спине. Но прошло недели три, а может, целый месяц, и Нина Аркадьевна долго и с удовольствием беседовала с Женей по телефону, говорила о своей новой работе и слегка, очень тонко, укоряла Женю за то, что та бросила благородный труд переводчика художественной литературы и ушла на фирму, торгующую с юго-восточной Азией какой-то пахучей дрянью, как вдруг в трубке раздалось короткое требовательное мяуканье. Разговор замер на полуслове. Пауза длилась долго.

Наконец Женя спросила:

– Она вернулась?

Пауза всё длилась и длилась.

– Нет. Она у вас?

– Нет, что вы! – испугалась Женя и даже оглянулась. Никаких кошек и в помине около нее не было.

– Так откуда в трубке мяуканье? – тихо спросила Нина Аркадьевна.

– Не знаю, – честно ответила Женя.

Так до сих пор никто не разгадал этой загадки.

Том

Том жил у Мамахен уже пять лет, но рабский характер его так и не переменялся: он был предан, вороват, восторжен и труслив. Боялся громкого голоса, резких звуков, в особенности хард-рока, всех трех кошек, проживающих в квартире, катящегося в его сторону мяча и звонков в дверь. От страха он спасался под кроватью у Мамахен, разбрызгивая за собой дорожку упущенной мочи. Но больше всего он боялся потеряться во время прогулки. В первые месяцы он выходил из дому только с Мамахен, справлял свою нужду рядом с подъездом, сразу же прижимался к парадному и скреб лапой дверь. Когда Мамахен тянула его за поводок в сторону переулка, он подгибал задние лапы, круглил спину, опускал голову между передними лапами, и с места сдвинуть его было невозможно.



В семье было решено, что он родился домашней собакой, потом потерялся, довольно долго жил бездомным и так настрадался, что когда Мамахен привела его в дом, он счастьем своему не мог поверить. Он был тогда совсем молодым кобельком, что по зубам определил ветеринар, которого Мамахен сразу же пригласила: собака должна быть здоровой, если в доме четверо детей... Ему дали имя и вылечили от глистов и от клещей, гроздьями висевших на шее.

– Породистые собаки не бомжуют, они быстро погибают, – объяснил ветеринар. – А этот бэпэ, беспородный, стало быть, жизнеспособный...

Витек прибил к дому позже Тома. Кто-то из внуков Мамахен привел его впервые, и он стал захаживать, и всё чаще, и сделался в доме незаменимым человеком. Мамахен не сразу его заметила, она вся была сосредоточена на музейной части, то есть на передней комнате, где и находился музей ее деда, знаменитого русского художника, благодаря славе которого у подъезда висела памятная доска «Музей-квартира...», повешенная Луначарским в раннесоветские времена и сохранившая квартиру наследникам без уплотнения.

Мамахен была хранительницей музея, получала небольшую зарплату, два раза в неделю принимала посетителей в парадном зале, а в остальное время писала статьи, выступала на конференциях и, когда приходилось туго, продавала дедов рисунок или театральные эскизы. Она всегда плакала, когда приходилось продавать, но при этом замечала, что цены на работы деда вообще-то имеют тенденцию подниматься, и потому она всегда сильно огорчалась, что задешево продала в прошлый раз.

Витек, как и Том, домом дорожил. Он как-то постепенно переместился на жительство в темную комнату, разгреб на сундуке уютное место и спал там среди семейного хлама, накопившегося за сто лет в этой музейной квартире. А где он жил раньше, было неизвестно: говорил, по друзьям.

Незаменимость Витьки проистекала из его редкого качества: он был утренний человек, поднимался с рассветом, когда бы ни лег, в веселом и легком расположении. Вскakiвал, как неваляшка, и шел гулять с Томом, освобождая сердобольную Мамахен от ранней прогулки. Мамахен вовсе не была утренним человеком, но жалела терпеливое животное и, кряхтя, вставала. А дочери ее и внуки все были исключительными совами, раньше двенадцати не вставали.

Витек же, приволакивая дефектную от рождения ногу, доходил с покорным Томом до ларька на Смоленской, покупал молока и сигарет для Мамахен, и тут терпение Тома кончалось, и он несся в сторону дома, натягивая поводок с Витьком. Том доверялся Витьку больше, чем самой Мамахен – даже с ней он на такое большое расстояние от дому не отходил. Он, видно, чувствовал в Витьке приживальщика, такого же, как и он сам.

Мамахен – с большой головой, в лохматом лиловом халате – уже сидела на кухне, сонная и молчаливая. Витек варил кофе для Мамахен, чай для себя и овсянку на всех. Тому доставалось полкастрюли.

Потом Витек мыл свою тарелку, выпуская из крана совсем маленькую струйку воды. Он был большой экологист, экономил природные ресурсы и ненавидел пластиковые пакеты.

– Так я пошел, Софья Ивановна. Соньку сегодня в школу не веду, она всё болеет... Или какие-нибудь поручения есть?

– Иди, иди... – давала отмашку Мамахен. – У тебя что, работа сегодня?

Чудачка, она как будто запомнить не могла, что работал Витек сторожем «сутки – трое» и выходил обыкновенно с вечера.

– Женя, Наташина подруга, попросила помочь обоим поклеить, но я к вечеру перед работой зайду, вы с Томом не выходите...

– А, Женя... – рассеянно кивнула Мамахен, и Витек ушел.

Мамахен же поплыла к себе в комнату, где убрала большие волосы в сложный пучок, надела на себя просторное синее платье с круглой эмалевой брошкой размером с

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru яблоко, побрызгалась одеколоном из синего флакона с пульверизатором, а потом взяла ключ и пошла в залу, которая в неприсутственные дни стояла запертая от детей и внуков. Тома в зал тоже не пускали, и он остался в комнате у Мамахен, спрятал серое, волчьего цвета тело под кровать, но высунул оттуда умную ушастую голову и положил на войлочные домашние туфли хозяйки. Морда его выражала высшую степень довольства жизнью. Возможно, что эти войлочные туфли он любил даже больше, чем самое Мамахен.

Много часов Том спокойно продремал под кроватью: день складывался удачно – Мамахен прикрыла за собой дверь, так что ни одна из кошек не могла войти. Они, видимо, спали в дальних, детских комнатах.

Среди дня Мамахен вошла, что-то взяла в столе, выпила пахучие капли. Погладила Тома по голове и снова ушла.

Вечером пришел Витек, крикнул из прихожей:

– Эй, кто-нибудь! Дайте мне Тома, чтоб мне не проходить!

Том услышал и вышел сам. Нагнул голову, чтоб Витек прицепил поводок к ошейнику, и они пошли вниз по лестнице. Снизу шел – и всё усиливался – знакомый и страшный запах, из прошлой жизни Тома: смесь старой крови, алкоголя, гнилой помойки, смертельной болезни. Воздушная тревога – вот что это было.

Том жался к ноге Витька, но тот хромал как ни в чем не бывало – не чувствовал опасности. А внизу под лестницей помещался мощный источник запаха. Том тихонько зарычал от страха, но Витек ничего не заметил, и они вышли на улицу. Справив свою быструю нужду, Том замер у подъезда в полной потерянности: на пути домой стояло препятствие в виде пугающего запаха. Нежный Витек склонился, потрепал по шее:

– Ты что? Чего испугался, дурачок? Домой, домой!

Том пятился, топтался, приседал на задние лапы.

– Ну, не знаю... – удивился Витек, немного постоял возле скрючившегося Тома, потом погладил его и взял на руки. Том был собакой немаленькой, на руки его со щенячьего возраста не брали, и он забился в Витьковых руках, но новый страх лег на старый, и Витек вволок его в подъезд, а там Том спрыгнул с рук и понесся на третий этаж с невиданной прытью. Витек отпустил поводок и пошел враскачку, удивляясь странному поведению собаки.

«Нервный», – подумал Витек.

Он и сам был нервный, его три года в психоневрологическом санаторном учреждении мать держала. До четвертого класса.

Вечером Витек ушел на свою суточную работу, а наутро Мамахен обнаружила, что Том налил в прихожей. Его все стыдили, и даже кошки смотрели на него с презрением. Но несмотря на позор, Тому пришлось идти на улицу, поскольку Мамахен надела шубу и взялась за поводок. Он тащился за ней по лестнице – позади, а не впереди, как обычно, и слегка упирался, показывая, что ему совершенно не нужно на прогулку. Но у Мамахен случались такие воспитательные приступы именно по отношению к Тому, потому что все прочие ее совершенно не слушали, а Том старался ей угождать. Они дошли до первого этажа, и запах был всё тот же, и даже еще сильнее, но Мамахен его не чувствовала.

Она открыла внутреннюю дверь парадного: ровно посередине, между двумя старинными дверями, недавно отреставрированными, лежала исполинская куча, исполненная тем самым, который вонял под лестницей.

– О, боже мой! – воскликнула Мамахен, едва удержав сапог от унижения и пошатнувшись. Она натянула поводок, но Том туда и не рвался.

– Домой! Домой! – скомандовала Мамахен, и они потопали вверх по чудесной просторной лестнице, спроектированной дедушкиным другом архитектором Шехтелем.

«Немедленно позвонить в домоуправление и сказать Витьку, чтоб расшил дверь

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
«черного хода», – приняла быстрое решение Мамахен.

Но в домоуправлении телефон не отвечал – то ли сломан, то ли там выходной, – догадалась Мамахен. Она предупреждала всех просыпающихся детей и внуков, чтоб случайно не вляпались, радовалась, что сегодня неприсутственный день и никто из посетителей не увидит эту кучу.

Зять Миша впервые в жизни взял в руки клещи и пошел к черной двери расшивать доски, набитые через несколько лет после установки стальной двери на «белом» входе, – после того, как кто-то из детских друзей, зашедших с черного хода, не высмеял их общей безмозглости: зачем вора взламывать стальную дверь, если на черном ходу, кроме древнего крюка, вообще ничего нет...

Вечером Мамахен плохо себя чувствовала, лежала в своей комнате и страдала от громкой нехорошей музыки, доносившейся от внуков, от дурного настроения и смертельной усталости, которую испытывала при мысли, что подлая куча всё еще лежит между дверями подъезда.

Какой это был чудный дом до революции! На доме висело всего две памятные доски, а можно было бы повесить десяток. Вся русская история побывала в гостях у этого дома: Толстой, Скрябин, Блок, не говоря уже о более поздних и менее великих...

Витек, возвращаясь с работы, увидел, как бомж, кривой и мятый, как плохо надутый воздушный шар, большими корявыми пальцами пытается набрать код. Витек остановился поодаль, испытывая странное замешательство: душой он не принадлежал к тем, кто жил за кодовыми замками, он был хиппи-переросток, мальчишка за сорок, бродяга, кое-какой поэт, брэнчавший много лет на гитаре, прочитавший десяток книг, привыкший жить, не думая о завтрашнем дне, по-птичьему, знал, что от настоящего дна его отделяет неуловимый волосок – он много лет жил без паспорта, без дома, без семьи, и родной его город оказался за границей, мать давно спилась, сестра потерялась, отца почти никогда и не было... Он стоял и ждал, сможет ли нищий подобрать цифру, и решил, что в парадное его не впустит.

«Значит, я скорее из тех, чем из этих», – ухмыльнулся Витек с грустным чувством социального предательства.

Бомж справился с набором, и тут Витек догадался, кому принадлежала куча между дверью и пустая водочная бутылка, которую он прихватил в подъезде вчера вечером, уходя на работу.

«Вот сволочь, спит под лестницей и здесь же гадит», – возмутился Витек и сразу же усмехнулся своему возмущению. Он был настоящий интеллигент рабоче-крестьянского происхождения, хотя и полностью деклассированный.

Он вошел сразу за бомжем. Неубранная куча угадывалась под несколькими слоями сплюснутых картонных ящиков. Витек стоял, положив руку на закругленное окончание перил, и ждал решения сердца. Это был давний его прием: если не знаешь, что делать, стой и жди, пока само не решится. Само и решилось – из-под лестницы спросили:

– Парень, ты здесь живешь? Стаканчика не найдется?

Витек заглянул внутрь. В негустой темноте к стене прислонен был ворох тряпья, из которого и раздавался голос. За пять шагов било в нос.

– Сейчас принесу, – ответил Витек.

– Может, одеялко какое или что, – пробурчал смрадный ворох.

Витек принес стакан. И никакого одеяла. Поставил стакан на пол возле бомжа.

– Чего стоишь? Налить, что ли? – спросил тот.

– Нет, я не пью. Спасибо. Я только хотел тебя попросить... Ты оправляться на улицу выходи. Ты же спишь здесь...

– А-а... учитель... Пошел ты... Двадцать градусов на дворе...

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Рожа у него была страшная, в редкой бороде, отекая и сизая.

«Бедная Мамахен – чуть в кучу не вляпалась», – подумал Витек и опять улыбнулся сам себе: нашел кого жалеть...

– Топай, топай отсюда, все учителя... – глухо проговорил нищий, а остального Витек уже не расслышал.

На следующее утро Витек взял на поводок Тома и повел на улицу. Про расшитый черный ход ему не сказали. Том слегка упирался, и теперь Витек знал, почему тот упирается: божья боится.

– Пошли, пошли, Том. Не бойся, дурачок...

Том чувствовал запах опасности и звуки невидимого присутствия.

Вышли во двор. Том по-сучьи слил всё в один прием, не заботясь о мужской метке, оставляемой хозяевами жизни. Желтая нора протаяла в девственном снегу, выпавшем за ночь. Витек дернул за поводок, пошли к ларьку на Смоленскую площадь, купили молока и сигарет для Мамахен. Было морозно, безлюдно и не вполне рассвело. Но снега было много, и он светился своим самородным светом.

Было воскресенье. Канун Нового года. Витек медленно думал о том, что день сегодня будет суматошный, его будут посылать то за солью, то за майонезом, придется стоять в очередях в Смоленском гастрономе, а потом Мамахен непременно вспомнит, что забыла отправить кому-то бедному и заброшенному поздравительную телеграмму, и придется еще стоять в очереди на почте, и какие они все прекрасные люди, и сама Мамахен Софья Ивановна, и обе ее дочери, и шальные внуки, особенно маленькая Сонька, и что хорошо бы после Нового года уволиться со сторожовки и поехать, например, в город Батуми, где тепло и растут мандарины...

Скрежет тормозов, удар, рычание газа – черная машина вывернула из Карманицкого переулка и свернула в Спасопесковский. Они совсем уже подошли к дому. Том вдруг остановился. Витек дернул за поводок. Пес уперся всеми лапами, сгорбился, опустил голову и спрятал хвост между задними лапами.

– Ну, что с тобой, Том? Домой! Домой пошли!

Витек погладил круглую спину – собаку била крупная дрожь. Она пятилась, не поднимая головы. Витек оглянулся. Из-за сугроба торчали две ноги, две жуткие ноги в остатках кроссовок, обмотанные грязнейшими бинтами. Витек обошел сугроб – это был тот божж. В утренней тишине еще был слышен рокот мотора сбившей его машины. Шапка лежала на дороге. Голова была повернута под таким углом к телу, что живым он быть не мог. Витек присел на корточки, сгорбившись, рядом с Томом. Его тоже била дрожь. Он обнял пса и почувствовал полное с ним единение: это был ужас смерти, единый для всех живых существ здешнего мира.

А теплая куча, оставленная божжем, остывала в подъезде дома напротив. Простого дома, без кодового замка.

Тело красавицы

Виктор Иванович, преподаватель военного дела по прозвищу Пимпочка, долго проверял, как вбиты кольшки и натянуты палатки, три из восьми свалил и велел натягивать заново. Только закончили оборудовать лагерь, сняли квадрат дерна под костер, как пошел дождь. Сварили чаю в большом котле и поели из домашних запасов, но песен не пели, как собирались. Распределились по палаткам, которые изнутри были сухие, а снаружи мокрые. Праздник с самого начала не задался. В середине ночи проснулись от звонкого злобного крика:

– А-а-а! – визжал женский голос. – Всем нужно мое тело, никому не нужна моя душа!

Между палатками металась Таня Неволлина, десятиклассница, взмахивая на каждом повороте распущенными волосами и прижимая к груди не то подушку, не то свернутое одеяло. За ней бегал Виктор Иванович, пытался ее остановить и запихнуть в палатку, но она не давалась, истерически орала:

– А-а-а... Всем нужно только те-е-ло-о...

Но истеричкой Таня не была – такой припадок случился с ней однажды в жизни и никогда не повторялся.

У нее действительно было такое тело, и лицо, и волосы, что вся улица на нее смотрела, когда она в школьной форме с портфельчиком переходила дорогу. Душой она была скромная и тихая девочка, не любила быть на виду и к шестнадцати годам успела утомиться от мужских взглядов, от приставаний, от трамвайного лапанья. Нежная девичья душа яркой красавицы так желала идеальной любви, что выработала в себе тонкое противоядие: с пятого класса она дружила с невзрачным Гриней Басом, первым отличником класса. По ее ошибочной логике, он, умница, должен был ценить ее душу, и до конца седьмого класса он ее очень ценил. Но летом после окончания седьмого класса Гриня претерпел возмужание, которое красоты ему не прибавило, скорее даже подпортило, и гормональная перестройка нарушила чудесный платонизм прежних отношений. Гриня начал производить руками движения, которые Таня первое время рассматривала как случайные, но вскоре догадалась, что интеллектуальный Гриня, невзирая на свое умственное превосходство, жаждет прикосновений точно так же, как дурак сосед Власов, и все дворовые, и школьные, и уличные мальчишки, и даже взрослые мужчины. Пока Гриня мацал в темноте кинотеатра ее руку, Таня терпела, но когда, провоя, загнал в угол парадного и, зажмурившись, положил сразу обе лапы на твердые конусы с пуговками на вершине, она взвыла, вскинула руки, плоско ударила его по лицу сумочкой и, громко плача, побежала на третий этаж, унося от Грини свою непосильную красоту.

Гриня, налитой стыдом и страстью, долго стоял в парадном, прижимая ладони к горящему лицу. Потом понуро пошел домой, стесняясь прохожих, стен и всего божьего света, хотя от посторонних взглядов он был защищен вечерней темнотой.

Таня тем временем рыдала в духоту подушки, мягко принимавшей в себя бессмысленные девичьи слезы. На следующий день, в понедельник, оба они не пришли в школу – из страха друг на друга посмотреть. Таня сказала матери, что болит горло, а Гриня просто прогулял.

Таня весь день проплакала, в перерывах же смотрела в зеркало на свое кукольное лицо, корчила уродливые рожи и растягивала пальцами то губы, то нос. Ей хотелось быть другой – какой именно, она точно не знала, – может, как Мнацаканова, с длинным тонким носом, интересной, или как курносая Вилочкина, смешной, пусть даже как Валиева, узкоглазой, с кривыми зубами, заметной и даже привлекающей своей некрасивостью...

«Все девочки люди как люди, а я – чучело какое-то», – подумала она и заплакала со свежими силами, предчувствуя великую проблему красавиц, претендующих на сохранение личности...

С Гриней Басом она совершенно раздружилась, и он еще год ходил в ту же школу, всё смотрел на нее издали сумрачно и непрестанно, а потом родители перевели его в математическую, но он Таню всё преследовал своими тоскливыми глазами – то ждал ее в подворотне, то подстерегал возле школы. Бросал короткий близорукий взгляд на сияющую белизну – подробности ее лица не отпечатывались, только белое сияние, – и исчезал, не делая ни малейших попыток к общению: никогда слова не произносил, даже не здоровался. Таня отворачивалась и делала вид, что не замечает. Теперь она больше ему не доверяла. Он был как все – хотел ее красоты.

Имеющие разнообразные способности одноклассницы жаждали красоты, для чего прикладывали усилия – выщипывали и подрисовывали брови, приукрашивали себя одеждой или заметным поведением, дерзким и вызывающим.

У Тани, кроме красоты, никаких способностей не было – училась средненько, и при большом старании всё получалось между тройкой и четверкой, и даже во второстепенных предметах, как пение, рисование или физкультура, и то не могла достичь успеха.

«Способности средние», – говорили учителя, но Таня относилась к себе строже: способностей никаких...

В десятом классе все стали заниматься с большим рвением, готовились в институт, но Таня выбрала себе место по силам – решила поступать в медицинское училище, чтобы стать медсестрой, и хорошо бы в детском учреждении: с маленькими детьми ей

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru было лучше всего – они ничего не требовали от ее красоты.

На выпускной вечер Таня пошла, но платье белое, как велела мода тех лет, надевать отказалась, хотя мама и купила. Пошла в юбке с кофтой, получила свой посредственный аттестат, посидела в углу школьного зала, пока одноклассники танцевали, и даже гулять с ними, как полагается, на ночную Красную площадь не пошла. Танцевать ее, между прочим, никто и не приглашал: красота ее была недосыгаема, а выражение лица слишком уж абстрактное.

Таня ушла с вечера довольно рано, и Гриша Бас, в парадном костюме, в новых очках и при галстукке, заглянул в свою старую школу, когда Тани уже не было. Он добрел до ее дома, посмотрел на темное окно и исчез. Через два дня его нашли на школьном чердаке в петле. Он был мертв. Никакого письма он не оставил. В кармане нашли старую шерстяную рукавицу. Никто не знал, что она Танина.

Узнав об этой ужасной истории, Таня содрогнулась: она сразу поняла, что это из-за нее, хотя никто ей такого не говорил. На похороны она не пошла: страшно было выставить на обозрение свое лицо и тело.

Таня сдала экзамены в медицинское училище на тройки с четверками, и ее приняли, и опять она была самой красивой среди девочек. Мальчиков на курсе почти не было, один хромой Тихонов Сережа с детской мордочкой. В детстве у него был костный туберкулез, и приняли его с большими колебаниями – туберкулезным не полагалось работать по медицинской части. С ним Таня и подружилась. Однокурсницы посмеивались. Сережа, как когда-то Гриня Бас, норовил Тане помочь, весь первый год провожал домой, ныряя на каждом шагу в левую сторону. Летом у него сделалось обострение старой болезни, его положили в туберкулезный институт, и Таня ездила его навещать на улицу Достоевского.

В метро и в трамвае к ней постоянно приставали молодые и средних лет мужчины, но она давно всех их видела насквозь: они хотели ее красивого светлого лица, укрытого с боков скобками грубоватых русских волос, ее ног под длинной не по моде юбкой, ее тела, красота которого будто просвечивала через любую одежду вопреки Таниному намерению быть незаметной.

Сережа от нее ничего не хотел. У него были сильные боли, и он даже не очень любил, когда Таня его навещала.

В середине лета ему сделали операцию, и когда Таня пришла к нему в послеоперационную палату с яблоками «белый налив», он побросал яблоки, сказал, чтобы она к нему больше не ходила, и отвернулся лицом к стене – плакать. Тогда она его сама поцеловала.

Всё лето и осень она ездила к нему в туберкулезный санаторий, а в конце зимы они поженились, к большому неудовольствию родителей: Танина мама умоляла ее не выскакивать так рано замуж, да еще за инвалида, Сережина Таню невзлюбила с первого взгляда, потому что была сильно верующей, и Танина красота казалась ей подозрительной. Она сердилась еще и потому, что никак не могла уразуметь, для чего эта красавица выбрала себе ее хромого сына, и предвидела подвох: может, ей квартира приглянулась. Но в конце концов разрешила сыну жениться при условии, что прописываться к ним Таня не будет. Танина мать, сломленная ее непонятным упрямством, согласилась, но с тем же условием: чтоб мужа Таня домой не приводила.

Из училища Сережу отчислили из-за открывшегося туберкулеза. Он сидел дома, готовился поступать в другое место, на связиста, чтобы работать на телефонной станции. Когда он поступил, Таня как раз вышла на работу. Распределили ее в районную больницу. Сначала ее направили в операционный блок, но через полгода перевели в процедурный кабинет: с хирургией у нее что-то не заладилось – не было в ней ни сноровки, ни сообразительности. Зато в процедурном кабинете всё получалось у Тани – сложного ей не поручали, кровь из вены она брала хорошо, даже дети ее не боялись, и она одна могла уговорить маленького пациента потерпеть немного и не дергаться, когда надо было попасть иглой в вену.

С мужем Сережей было не очень ладно. Дома он был тихий и спокойный, но стоило им куда-нибудь выйти, как он нервничал, становился груб и обидчив. Чуть что не так, сразу поворачивался и шел домой, а Таня следовала за ним издали, потому что всегда немного за него боялась. Дело было в том, что на них всегда сильно

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru смотрели незнакомые люди: удивлялись, как и Сережина мама, что нашла эта красавица в хромом и невзрачном мальчишке. От этих взглядов он приходил в озлобление. Танина красота мешала Сереже ее любить, и красоту своей жены Сережа возненавидел.

Больше всего она ему нравилась, когда плакала. У нее быстро набухали глаза, краснели ноздри, и рот опускался углами вниз. Но все равно, даже плачущая, она была похожа на актрису Симону Синьоре. В техникуме у Сережи завелась мужская компания, и он там оказался сразу же не на последних ролях – был старше всех, единственный женатый. С этой новой компанией Сережа стал выпивать, а выпив немного, делался злым и жестоким. Два раза он поколотил Таню, и Таня ушла к маме, даже не взяв из мужнего дома зимние вещи – пальто, шапку и почти новые сапоги.

Все, кроме Сережи, остались очень довольны Таниным уходом – и Танина мама, и свекровь. Сама Таня осталась в убеждении, что никого ей не нужно, лучше уж одной, и несла свою ни к чему не пригодную красоту так, как другие носят горб.

Сережа два раза приходил к Тане на работу к концу смены – мириться. Один раз она его увидела первая и убежала, а другой раз он ее выследил, просил прощения и звал домой. Но Таня только головой качала, ничего не говорила. Сережа был немного пьян, и под конец разговора он неожиданно ударил ее по лицу. Не сильно, но сам покачнулся и чуть не упал.

Таня всё сильнее уверялась в том, что красота – вещь совсем напрасная – никому не приносит счастья. Скорее, наоборот. У нее к этому времени уже набрался большой материал – не очень молодой хирург Журавский влюбился в нее без памяти, жена его приходила в отделение, чуть не набросилась на Таню с кулаками. Пошла к заведующему, и кончилось тем, что Таню перевели в поликлиническое отделение.

Здесь Таня хорошо прижилась. Заведующая Евгения Николаевна, припадающая от застарелого кокс-артроза на обе ноги, как такса, собрала свой персонал любовно и поштучно. Она обладала редким дарованием сострадания к людям, всем была бабушкой, то слишком строгой, то чересчур снисходительной. Как будто на краю ее дивной природы была какая-то взбалмошная извилина, о которой она, впрочем, знала и постоянно себя выравнивала. Как и все окружающие, она поначалу отнеслась к Тане, то есть к ее слепящей глаз красоте, подозрительно. Приглядевшись к ней внимательно, быстро раскусила Танину тайну – обремененность красотой – и исполнилась сочувствия.

Почти все сестры были пожилые, спокойные, семейные, относились к Тане по-матерински, и ей было очень хорошо среди белых халатов, а особенно хорошо ей стало, когда Евгения Николаевна определила ее в лабораторию, к собравшейся на пенсию лаборантке, чтобы та передала ей свое искусство разглядывать предметные стекла с мазками крови, считать лейкоциты и определять протромбин...

Теперь она сидела в маленькой лаборатории, с больными мало общалась, только два раза в неделю брала кровь из вены. Это у нее получалось лучше всех.

Так прошел год, и другой. Танина мама забеспокоилась: уже перевалило за двадцать пять, и никого, кроме неудачного Сережи, не было у красавицы дочери. Хоть бы не замуж, хоть бы так кого завела. Ничего подобного. Рабочий день по вредности биохимической работы кончался рано, в четыре Таня уже была дома, ложилась спать, к шести вставала, убиралась, готовила всегда одну и ту же еду, борщ и котлеты, и либо садилась у телевизора, либо уходила с подружкой Мнацакановой в кино. Мать, женщина одинокая, но с постоянными любовными приключениями, не поощряла такого образа жизни. Даже пыталась Таню знакомить то с начальником цеха с завода, где сама работала, то с одним человеком, которого завела на отдыхе, на юге, но по какой-то причине не использовала по назначению. Таня сердилась на мать и даже высокомерно отчитала ее:

– Мам, да таких мужиков, как ты мне подсовываешь, полные троллейбусы, таких-то я могу завести хоть дюжину.

– Вот и заведи, – порекомендовала мать.

– А зачем? – холодно спросила Таня. – Им всем одного надо.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Мать обиделась и немного рассердилась:

– А ты что, особая? Тебе не надо?

Таня посмотрела васильковыми глазами, прикрыла их своими рекламными ресницами, покачала головой:

– Нет, мне такого не надо.

– Ну и сиди с кошкой, – вынесла мать приговор.

И Таня сидела с кошкой.

«Кошке нет дела до красоты, ей важна душа», – думала Таня.

Понемногу Таня толстела, бледнела. Из тонкой девушки превратилась в молодую женщину, еще более притягательную для мужского глаза: талия оставалась тонкой, бедра-груди раздались, а руки-ноги легкие, детские – зрелый кувшин, только пустой...

И всё толстела, и всё бледнела, и плавности, и медлительности прибывало, и походила уже на Симону Синьоре в возрасте.

Мужчины в транспорте приглашали к знакомству уже не каждый день, как прежде, и Таню этот угасающий интерес, как ни странно, немного огорчал. Все-таки на дне ее души лежала почти похороненная надежда, что встретится человек, который не обратит внимания на обертку из красоты, не захочет завладеть поскорее ее телом, а будет любить именно ее самое.

Способности Тани, которые всегда были средними, как-то возросли на работе. Очень медленно она постигала не основы профессии, а ее тонкие тайны. Даже украдкой почитывала книги по биохимии. Правда, пришлось сначала повторить тот маленький курс, который давали в медучилище. Она была, несомненно, лучшей из четырех лаборантов в своей лаборатории. Работала не торопясь, даже медлительно, а получалось всё быстрее, чем у других. А по забору крови из вены она вообще стала главным специалистом, ее даже вызывали в другие отделения, когда попадались особенно трудные вены.

Борис пришел сдавать кровь в понедельник, первым по записи. Вошел, высокий, красивый, в свитере и с палочкой, и остановился возле двери.

– Здравствуйте, мне кровь сдать.

Смотрел прямо перед собой. Таня не сразу догадалась, что он слепой. Потом усадила на стул, попросила закатать рукав. Игла легко вошла в тонкую вену. Попала с первого раза. Подставила пробирку.

– Вот и хорошо.

Борис удивился:

– Да вы мастер! Мне с первого раза никогда не попадают. Говорят, вены плохие.

– Почему же? Хорошие вены, только тонкие.

Он засмеялся:

– Так все говорят – плохие, потому что тонкие...

– Не знаю... Честно говоря, это единственное, что я хорошо делаю, – почему-то сказала Таня.

– Это не так уж мало, – сказал он, повернул голову в ее сторону и улыбнулся.

«Может, он всё же немного видит, – подумала Таня. – Неужели улыбнулся просто так, одному моему голосу?»

Он немедленно подтвердил:



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– У вас голос очень хороший. Вам, наверное, сто раз говорили?

Ей никогда этого не говорили. Говорили, что глаза, лицо, волосы, ноги... а про голос никогда не говорили.

– Нет, такого никогда не говорили.

– Есть вещи, которые начинаешь замечать только тогда, когда становишься слепым, – сказал он и опять улыбнулся.

Улыбка у него была совсем особая, неопределенная и не наружу обращенная, а внутрь.

Пробирка наполнилась, Таня поставила ее в штатив, прилепила марлевую салфетку к ранке.

– Всё.

– Спасибо.

Он встал со стула, повернулся лицом к двери. Палка была у него в левой руке, а правую держал, согнув в локте, перед собой, как локатор.

– Я вас провожу до лестницы. – Таня взяла его под руку. Под свитером ощутила плотные мышцы предплечья. Он высвободил руку, перехватил сам. Это он вывел ее в коридор, а не она его. Шли по длинному коридору молча, медленно.

– Лестница, – произнесла Таня. Он кивнул.

Спустились на первый этаж.

– Спасибо, что вы меня проводили. Это было очень приятно... в качестве услуги инвалиду, – и усмехнулся криво.

– Анализы в четверг будут готовы. Может быть, вам позвонить и сообщить результаты?

– Не стоит. Я приеду за результатами.

Таня смотрела ему вслед: свитер-то был на нем хороший, заграничный, а брюки – от военного обмундирования, офицерские.

В четверг он пришел с цветами, три толстоногих синих гиацинта с могучим запахом.

Слепому человеку трудно ухаживать за женщиной. Но Борису это как-то удалось. Таня шла ему навстречу. Не шла – бежала... И сближение произошло стремительно.

У Бориса оказалась чудесная мать, школьная учительница. После того как сын потерял зрение, а вскоре и семью, Наталья Ивановна вышла на пенсию и помогала Борису освоиться в новых обстоятельствах. За четыре года Борис научился новой жизни, нашел работу – преподавал физику в том самом техникуме, где когда-то учился Танин муж Сережа.

Наталья Ивановна в Тане не чаяла души. Наверное, она и рассказала Борису, какая Таня красавица. Руки его не обладали той чувствительностью, которая свойственна слепым от рождения. Но ее было вполне достаточно, чтобы узнать красоту Таниного тела. Брак их оказался очень счастливым. Через год родился сын Боря. Когда они шли по улице, люди обращали на них внимание, так они были красивы. Но только внимательный человек догадывался, что плечистый мужчина слеп. Таня после родов сильно растолстела, и тело ее перестало вызывать острый интерес у молодых мужчин. Оно принадлежало слепому мужу. Так же, как и ее ровная, светлая и совершенно спокойная красота.

Танина мать недоумевала: хорошо, конечно, что вышла замуж, но почему ее всё тянет на инвалидов? При такой-то красоте...

Финист – Ясный сокол

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru В сорок пятом году восемнадцатилетняя Клава окончила курсы Красного Креста и определилась медсестрой в туберкулезную больницу – там была надбавка. В первый же день работы она влюбилась в больного из пятой палаты Филиппа Кононова и вышла за него замуж, как только его выписали умирать. Но врачи ошиблись, он умер не сразу, а через два с половиной года.

Филипп был очень высок ростом, худ до полной костлявости и красив так, что четырехлетняя соседская девочка Женя на всю жизнь запомнила его сказочное лицо: финист – Ясный сокол, или Андрей-стрелок, или Иван-царевич. Но был он, несмотря на истошную синеву глубоко утопленных в глазницах глаз, волк волком. Ему было двадцать лет, лечили его от туберкулеза, вспыхнувшего после ранения, но каверны съедали его легкие, несмотря на все старания врачей, а еще пуще съедала его злота на весь белый свет, на весь мир живых, которые останутся жить на земле, когда его уже не будет. И чем меньше оставалось легких, тем ярче кипела злота, своей страшной силой обращенная больше всего на Клаву, утешавшуюся подлейшей народной мудростью: бьет – значит любит.

Первый раз он изметелил невесту еще за свадебным столом. Подруги, подчистую съев пироги, еще злословили над остатками виногрета о невзрачности долговязой невесты в толстых очках, а она, уже получив первые синяки, рыдала в соседской комнате, на плече Жениной матери. Женя тащила ей в утешение склеенную французскую куклу, бабушкину драгоценную Луизу. Женина мать прикладывала к расцветающему синяку сырой лук – была такая странная методика, тоже, видимо, из кладезей народной премудрости. Клава же трясла венником чахлах волос со свежей шестимесячной завивкой и лила первые слезы над своей великой любовью.

А потом постучала в дверь мать Клавы, Мария Васильевна, она тоже плакала и приговаривала:

– Погубила себя, девка, погубила. Лучше б за пьяницу вышла, чем за бийцу такого...

Филипп же любил свою жену Клавдию всеми силами своей злой души. Все два с половиной года их брака он бил ее смертным боем и ревом ревел, гоня по длинному коммунальному коридору. Несмотря на подслеповатость, она была проворна, длиннонога, всё норовила выскочить на улицу через черную лестницу, а он догонял ее, а если не догонял, то запускал в нее с лету железной сапожной лапой или молотком. И кричал он всегда одни и те же слова:

– Жить будешь, сука, е...ся, а мне помирать!

Он был сапожник, в детстве еще перенял от отца ремесло и зарабатывал кое-что, сидя в их узкой каморе с двумя третями окна. Большая двухоконная комната была разделена натрое самодельными перегородками, и в каждой жило по семье.

Как мало тогда было обуви, и как часто ее чинили: и чужим, и соседям Филипп делал набойки, латал подметки, ставил уголки...

Мальчик Васька, родившийся в первый год брака, был первым младенцем, которого Жене показали. У него были отцовы васильковые глаза, скрипучий дверной голос и плохая наследственность.

Из узкой комнаты Кононовых постоянно шли дурные звуки: свирепый кашель, перемежаемый злым матом, вопли Клавы и механический детский плач. Потом Васька выполз в коридор и без усталости, пока не пошел, ползал от двери к кухне по коленчатому коридору. Потом пошел и ходил, пока не попался под ноги соседке, несущей в комнату кастрюлю с только что сваренными щами. Ваську обварили, положили лечить в филатовскую больницу – Женина мама вместе с Марьей Васильевной отвозили его, потому что Клава в тот день была на суточном дежурстве.

Коридор был самым привлекательным местом квартиры – он был заставлен шкафами, этажерками, хламом деревянным и железным, на одной из стен даже висел такой диковинный в городском быту предмет, как хомут. Но Жене запрещалось туда выходить именно из-за Филиппа: он любил выплевывать серые пенящиеся остатки своих легких не в стеклянную круглую баночку, а в места общественного пользования. Палочки Коха кишели в квартире миллионами, невзирая на совместные старания Клавы и Жениной матери изничтожить их хлоркой.

Однажды у Клавы заболел живот и болел целую неделю, в конце которой ее отвезли

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru на скорой в Екатерининскую больницу прямо с работы. Оказалось, что у нее острый аппендицит, и ее сразу же прооперировали. Через неделю она выписалась, и этот день запомнился, потому что потерявшую бдительность и проворство Клаву Филипп отлупил поленом из поленницы, сложенной в коридоре: единственная голландская печь, топившаяся снаружи, была в Жениной комнате, все прочие печи в квартире отапливались из комнат.

В тот день Филипп видел свою жену последний раз в жизни: у нее разошлись швы, началось нагноение, сепсис, и великий хирург Алексеев, который тогда был еще не академиком, а просто хорошим молодым врачом, вырезал ей все потроха. Целый месяц она провела между жизнью и смертью, а когда вернулась из больницы, Филиппа уже похоронили: он умер без нее.

Точно так же, как Васька был первым младенцем, которого Женя видела, Филипп оказался первым мертвым человеком в ее жизни. Гроб стоял в кухне – в самом большом помещении квартиры, где проходили свадьбы, общественные собрания и похороны. Никто не плакал, а сам Филипп поразил девочку тем, что не кашлял. И еще тем, что синих глаз его видно не было, но большие игольчатые ресницы отбрасывали голубые тени на сказочное лицо финиста – Ясного сокола... Ему было двадцать три года.

Когда Клава вышла из больницы, работа медсестры оказалась для нее тяжелой, и она проявила отличную смекалку, окончив курсы диетсестер. Теперь она работала при питании, в той же самой туберкулезной больнице. Воровала с кухни сливочное масло и куски мяса. Приносила в маленькой матерчатой сумке, которую подвешивала под размашистую кофту летом и под пальто зимой. Туберкулезному Ваське нужно было усиленное питание. У Жени тоже нашли в тот год туберкулез и не отдали в школу, хотя ей уже исполнилось семь лет.

В коммунальной квартире всё про всех знали. И что Клава воровала масло – тоже все знали. Тогда мама объяснила Жене, что Клаве воровать можно, а нам – нельзя. Эту теорию относительности Женя мгновенно поняла. Тем более, что уже был эпизод, когда Женя выудила из соседского тазика с грязной посудой серебряную ложку с бабушкиной монограммой и с торжествующим криком предъявила матери:

– Смотри, это наша ложка лежала у Марии Васильевны в тазу!

Мама посмотрела на нее холодно:

– Немедленно положи, откуда взяла!

Женя возмутилась:

– Но ведь это наша ложка!

– Да, – согласилась мать, – но Марья Васильевна к ней уже привыкла, поэтому пойди и положи, откуда взяла!

Сорок лет спустя Женя встретила Ваську в городе Минске. Он подошел и спросил:

– Ты меня не узнаешь, Женька?

Женя узнала его верхушкой левого легкого. Он был одно лицо с покойным Филиппом, хотя глаза его не достигали того градуса синевы. Ему было под пятьдесят, он был доцентом местного сельхозинститута и пережил своего отца на две жизни. Мать его, Клавдия Ивановна Кононова, вышла замуж за болгарина. Он ее любит и не бьет. И бабушка Васьки, Мария Васильевна, жива-здоровая. И размешивает чай ложкой с монограммой Жениной бабушки.

Короткое замыкание

Владимир Петрович хлопнул дверью лифта, и тут же погас свет. Настала кромешная тьма, и на него напал ужас. Он постоял, пытаясь скинуть с себя адское чувство, но оно не отпускало, и он на ощупь двинулся в сторону двери парадного. Туда, где она должна была быть. Припав двумя руками к стене, он пластался по ней, пока не нащупал ногой ступеньку. Остановился, задыхаясь. Сердце дрожало и трепетало, но про нитроглицерин Владимир Петрович и не вспомнил. Сполз по стене на пять ступеней и трясущимися руками нащупал дверную ручку. Тронул, пхнул дверь – она

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) не открывалась. Снова поднялся ужас – необъятный, ночной, разуму не подвластный. Он бился телом о дверь, пока не почувствовал, что дверь его толкает: ее открывали снаружи. Возник прямоугольник света – плохоньких декабрьских сумерек. Женщина прошмыгнула мимо него, ворча что-то об электричестве... Дверь хлопнула за его спиной, а он стоял, опершись о дверь, но уже снаружи, на свободе, на свету...

Это были самые темные дни года, и он пребывал во всегдашней декабрьской депрессии, но решился встать и выйти из дома ради старого учителя, давно ослепшего Ивана Мстиславовича Коварского. Тот просил его переписать одну заветную пластиночку на кассету, и эта кассета лежала уже больше месяца, и Владимиру Петровичу было совестно, что он никак не может доехать до старика.

«Стресс, такой стресс...» – пожаловался Владимир Петрович неизвестно кому и чувствовал, что надо немедленно выпить рюмочку коньяку, чтобы восстановить сбившиеся ритмы своей больной жизни... Денег ему Коварский подбросил, как всегда подбрасывал. Коварский был хоть и слеп, но не беден: сын жил в Америке, звать его к себе не звал, но пособие отцу выплачивал.

После черноты подъезда смутный уличный свет поначалу едва не ослепил, но когда глаза привыкли, то всё постепенно обратилось в муть непроглядную, под ногами чавкал кисель из воды и снега, и Владимир Петрович с тоской думал о длинной дороге до дому, которую предстояло ему совершить...

\* \* \*

Женщина, выпустившая Владимира Петровича из тьмы египетской во тьму обыкновенную – сумеречную и московскую, – была молдаванка Анжела, пятый год проживающая в столице с незначительным мужем, обеспечившим ей московскую прописку, и с полуторогодовалым сыном Константином, болеющим всеми детскими болезнями поочередно. Темнота в подъезде ее нисколько не смутила, она быстро нашла свою дверь, нашарила звонок, но он, естественное дело, не работал. Ключ она в сумке нащупала, но замочную скважину впотьмах искать не стала, двинула кулаком по двери. Муж, оставленный посидеть с сыном, пробудился от хмельного сна и открыл дверь. Сынок спал. Он был смирный ребенок и, когда поднималась температура, не плакал, не капризничал, а спал горячим сном почти без просыпу. Муж, пробурчав со сна невнятные слова, снова завалился. Анжела подумала, подумала и ушла потихоньку. Был у нее друг-электрик в ЖЭке, Рудик-армянин, тоже пришлый, из Карабаха. Хороший человек. Обитал в подсобном помещении в подвале. Она спустилась на полэтажа вниз и постучала. Он тоже спал. Открыл ей. Обрадовался. И обнял ее ласково. Хороший парень, молодой. Но по временной прописке живет...

Когда погас свет, Шура стояла посреди кухни и думала, картошки пожарить или каши сварить. Теперь от темноты мысли ее загнулись. Она подождала немного, потом нашарила на стене выключатель, щелкнула туда-сюда. Света не было. Оба холодильника, ее и соседский, круглосуточно урчащие своими электрическими потрохами, замолчали. Даже радио, постоянно воркующее за стеной, заткнулось. «Видно, тоже было от электричества», – догадалась Шура.

Шура пошлепала рукой по столу, нашла спички. От второй спички зажгла конфорку. Плита была старая, газ шел неровно, газовый синий цветок мерцал.

Шура пошарила под своим столом, нащупала сетку картошки. «В темноте не почистить, в мундирах, что ли, сварить», – размышляла она. Пощелкала еще раз выключателем. Вышла на ощупь в коридор, открыла дверь – на лестнице было как будто посветлее. «Вот бы Милованова в лифте застряла», – помечтала Шура. Милованова была соседка по квартире вот уже двадцать лет... Кость в горле.

Шура вернулась в кухню. Интересная мысль пришла в голову. Холодильники стояли рядом. Марки «Саратов», в один год купленные. Одинаковые. Открыла соседский холодильник, оттуда запахло едой. Милованова много готовила: на себя, на мужа, и еще дочери Нинке кастрюльки возила. Шура всегда ей указывала, что по-хорошему ей бы надо за газ за троих платить. Холодильник весь забит кастрюлками и запасами: видно, сыну Димке в тюрьму консервы копит. Шура нащупала небольшую кастрюльку, вынула. Попробовала пальцем, вроде каша. Облизала палец – вкусно. Бефстроганов – вот что это было. Шура уменьшила огонь, на маленький поставила кастрюлечку и, не дожидаясь, пока всё согреется, начала ложкой по кусочку вытаскивать. Вкусно готовила Милованова. Шура так не умела. А если б умела, не работала бы всю жизнь уборщицей в цеху, работала бы на кухне.

Шура помешала ложкой: теплое всё же вкуснее. Торопиться было некуда. Пока электричество не дадут, Милованова домой не подымется, она темноты боится. «А ей скажу – в темноте холодильники перепутала. У меня кастрюлька в точности такая. Прости, скажу, по ошибке не свое съела...»

И она ложкой зачерпывала, где было потеплее. Соус был сметанный, жирный, а мясо – говядина. И чего она еще туда кладет, что так вкусно получается? Черт ее знает...

Шура съела весь бефстроганов и еще ложкой доньшко выскребла. Всё же немного пригорело, по-хорошему такое греть на рассекателе надо. Шура поставила кастрюльку в мойку – потом вымою. И пошла прилечь. Темно, все равно делать нечего. Но спать не спалось. Опять дума одолела: Милованова давно просила, чтоб завещание Шура на нее написала. Но у Шуры была своя племянница Ленка, она ей обещала комнату отписать. Но не торопилась. Сомневалась. А Милованова говорила: «Отпишешь на меня – кормить тебя до смерти буду. Ходить за тобой буду». Но ведь и Ленка обещала ходить. А бефстроганов был больно хорош. И уже в дреме Шура так прикинула: всё же надо Миловановой отписать. Ленка-племянница ничего сварить толком не может, сама одни пельмени жрет...

Мягишев Борис Иванович сидел в своей комнате, света не зажигая, и смотрел в телевизор. Сначала подумал, что телевизор сломался. Встал, чтоб свет включить, – света не было. Стало быть, цел телевизор, обрадовался Борис Иванович. Он жил в доме с самого заселения, тридцать пять лет. Дом был фабричный, и Борис Иванович был фабричный, всю жизнь проработал на огромной парфюмерной фабрике, с шестнадцати лет и до пенсии. И после получения пенсии тоже работал. Он был конвейерный мастер. Когда пришел на фабрику, вся фасовка была ручная, даже простейшего ленточного конвейера не было, а теперь производство усовершенствовалось, ничего больше ручного не осталось, и конвейеры он налаживал от первого до последнего, и лучше него никто не знал, как отлаживать старомодные механизмы и как управляться с новыми, даже заграничными.

Конвейеры Борис Иванович мало сказать любил или уважал, они представлялись ему образцом и примером умной жизни, равномерной и поступательной. У самого Бориса Ивановича жизнь была с детства покалеченная: отца забрали перед войной, он его и не помнил, мать умерла, когда ему было восемь лет, он жил в детском доме, потом попал в ремесленное училище, и только когда приняли его на фабрику, начала жизнь выправляться. Через конвейеры. Он и в техникум вечерний пошел, чтобы разобраться до тонкости в техническом устройстве жизни. И давно уже полагал, что про устройство жизни хорошо знал: главное, чтоб грузонесущий элемент не останавливался, подавал равномерно. Он так и жил, как конвейер: вставал, завтракал, шел на фабрику – недалеко, пятнадцать минут, и если ветерок южный, то было без запаха, а если спокойный воздух, то шел он на запах грубого мыла и парфюмерной отдушки, которой пропитан был весь здешний район. Возвращался после смены, ел и ложился спать. Он давно уже в ночную смену не выходил, и жизнь поступала к нему равномерно, как хорошо отлаженный конвейерный механизм подает груз с нужными интервалами.

Отключение электричества было поломкой жизненного механизма, требующей немедленного исправления, и он вышел на лестничную клетку проверить, не замкнуло ли в коробе. Но темнота была по всему подъезду, так что не в местном коробе было дело. Он стал впотьмах звонить в домоуправление, но там не отвечали. Тогда Борис Иванович не поленился одеться и пошел самолично. Спустился первым делом в подвал, где проживал электрик Рудик. Громко постучал. Не раз и не два. Но там не открывали. Тогда Борис Иванович пошел в домоуправление...

В пять часов ровно Галина Андреевна проводила мужа Виктора, дочку Анечку и собаку ньюфаундленда Лотту на большую прогулку. Приходили они с прогулки в половине восьмого, так что с пяти до семи было время закончить отчет. С семи до половины восьмого – подготовиться к их приходу с прогулки.

Накануне она прилетела из Новосибирска, где делала аудиторскую проверку одной местной компании. Платили ей большие деньги, и ради них она в трудные времена бросила Стекловку, форпост русской математики, незаконченную докторскую и, пройдя двухмесячные курсы и прочитав три книжки, выучилась на аудитора и стала обеспечивать семью. Теперь уже почти забылось, что была у нее хорошая

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru кандидатская диссертация, для женщины так просто блестящая. Виктор же преподавал по-прежнему математику в институте, вел аспирантов, консультировал, науку не бросал, но старался так устроиться, чтобы больше времени проводить в доме.

Она сидела перед экраном компьютера, просматривала колонки цифр и букв и пыталась понять, как этот щедушный кисляк Трунов уводит деньги. Галина Андреевна считала, что знает все способы этой игры, но тут был какой-то новый фокус, наверняка несложный, но пока ею не разгаданный. Отчет она уже почти закончила, но тайная дорожка всё не открывалась. Она всегда торопилась, чтобы вписаться в жесткий график жизни.

К семи работу надо было закончить, приготовить ужин, Анечке натереть морковь, отжать сок, кефир согреть, в восемь ужин закончить, сделать массаж, вымыть ребенка, уложить спать, потом погладить белье, приготовить с вечера завтрак и в половине одиннадцатого лечь в постель, потому что вставали они в шесть, чтобы собрать Анечку, покормить, отвезти к маме и успеть ко времени на службу. Да, напомнить Виктору, чтоб приклеил кафельную плитку – отвалилась в ванной под умывальником... Забирает завтра Анечку от мамы Виктор, значит, возвращаться ей без машины, общественным транспортом. Надо купить, наконец, вторую машину, на этих пересадках столько времени теряется... Не отвлекаться.

Однако – торопись не торопись – загадка маленькой кривизны в бумагах никак не открывалась. Конечно, можно подать отчет и в таком виде. Все равно никто, кроме нее, и не заметит, да самой было интересно. Галина Андреевна посмотрела на компьютер – половина седьмого. Сняла очки. Закрывает глаза. Прижала слегка пальцами веки и так подержала. А когда открыла глаза – сплошная тьма. Погас экран – батарейка еще вчера в самолете разрядилась. Настала тишина, отличная от обычной, насыщенной маленькими звуками электроприборов. Глухая тишина. Вырубили электричество. Вот тебе на...

Где-то были свечи. Нет, все увезли на дачу. Ни гладить, ни стирать, ни готовить... Галина Андреевна остановилась с разбегу: не было в жизни у нее такой минуты, чтобы ничего нельзя было делать. Только вот так сидеть в вынужденной праздности, в серой темноте, в одиночестве... И навалилось.

Двадцать два года прошло, как случилось несчастье: у двух красивых, рослых, спортивных, удачливых случилось такое, чего никак не должно было с ними произойти. Ждали мальчика, такого же, какими сами были, и даже лучше – пусть бы талантливей их, во всех отношениях их превосходящий, и они готовились гордиться, быть образцовыми родителями, чтоб все завидовали, как всегда и было... А родилась девочка. Как сухая веточка. Скрюченная в утробе матери.

«Нежизнеспособная», – сказали врачи.

«Выходим», – сказали родители.

И через месяц забрали ребеночка из роддома, где он всё жил, не умирал. Начали выхаживать в комок зажатое существо, сведенное врожденной судорогой. Сутками капали из пипетки сцеженное молоко в сжатый ротик, в резиновую трубку, которую просунули между голубых губ. Сосать не могла, но глотательный рефлекс был.

Родители приняли удар судьбы и сплотились намертво. Не расцепить. Мертвой хваткой держали девочку на этом свете. Она умирала, а они вытягивали. Подошли к новой своей задаче по-научному: прочитали все книги, сначала медицинские учебники, потом перешли к специальной литературе. Высокий интеллект не подводил: стали врачами при одном пациенте. И диагноз поставили сами, не противоречащий заключениям профессоров, которым стали показывать ребенка уже на втором году жизни: тяжелое поражение пирамидной системы по всем ее разделам – от передней центральной извилины коры головного мозга до переднего рога спинного мозга. Прогноз – никакой. Врачи молчат. Родители, казалось бы, всё понимают, но глаза ясные, у Виктора серые, у Галины – ярко-синие, и у обоих – яростные: мы своего ребенка поставим на ноги.

Врачи глаза опускают. Десять лет. Анечка жива, растет, на ноги не становится, ручищи как закованные. Не говорит. Издает скрежещущие звуки. Смотрит на мир косыми бесцветными глазами. Массажи, грязь, уколы. Таблетки проглотить не может. Всё своими руками – ни одного чужого прикосновения. Только Галина мама, Антонина Васильевна помогает: к ней Анечку привозят и оставляют когда на три часа, когда

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru и на шесть. Еще десять лет. Смотрит картинки. Смотрит телевизор. Плачет. Глаза страдают. Судороги бьют. Веточка наша сухонькая.

Родители уже забыли, за что боролись. Не на ноги поставить – удержать эту хлипенькую жизнь. Зачем? Нет ответа... Во имя принципа победителей.

Первую коляску сами спроектировали, заказали на военном заводе. Анечка научилась локтями давить на два больших датчика. Радует. Едет по коридору от стены до стены. Потом отец поднимает коляску – развернуться негде – разворачивает бочком, и в обратном направлении...

В квартире тихо и темно: не черно, серо. Окна отливают асфальтом. Да, да, асфальт... Какой отчет? Зачем? Зачем ужин? Зачем морковный сок? Судорога движений, деятельности... Пляска Святого Вита, а не жизнь. Выключили электричество, погас свет, и Галина Андреевна остановилась, и сделалось ясно: жизнь – тьма. Великий мрак. Бежать! Куда бежать? Подошла к окну – в черном стекле лицо. Собственное лицо. Двоится. Оптический эффект понятный: рама двойная. Этаж четвертый. Нет, низко. Мрак гонит, подступает. Прочь. Прочь... Темень в доме живая, с тенями, сгустками и клубами шевелится. А мрак – беспросветный. Тронула рукой кресло за спиной.

Села. С улицы блик упал на экран. Скользнул, пропал. Мрак тяжелей смерти. Входит с воздухом в грудь. Встала, скользнула рукой по стене, нащупала выключатель. Зажгись! Сухо и мертво щелкнул. Мрак. Куда от него уйти... Пошла по коридору. Открыла стенной шкаф. Там темно, но мрака нет. Просто темно. И там палка, на ней вешалки. Поднялась выше ящика обувного, втиснулась внутрь, раздвинув одежду головой. Закрывать дверь, отгородиться от черной жути снаружи. Притянула изнутри дверь – почти закрылась. Вытянула брючный ремень. Сложила. Пропустила голову в кожаное кольцо. Приладила на палку сложенную петлю. Скорее, скорей. И встала на колени.

В домоуправлении тоже долго не открывали. Но в окошке горел свет, и Борис Иванович стучал, пока изнутри не зашевелились. Медленно открылась дверь, высунулась восторженная башка.

– Кирилл! Стыд-то есть у тебя? Стучу, стучу! Во втором подъезде света нет! Во всем подъезде вырубился! Аварийку вызывай!

– Борис Иваныч! А чего ты ко мне? Сам бы и вызвал! – удивился Кирилл, как будто его попросили в балете станцевать.

– Ты ж дежурный! Мне что же, впотьмах звонить? У меня и телефона аварийки нет.

– К Рудику бы пошел, он, должно, на месте, – посоветовал Кирилл.

И тут спокойный Борис Иванович вспылил:

– Вы тут сидите бездельники, ничего не делаете, только водку жрете! Иди сам Рудика ищи либо аварийку вызывай! Весь подъезд без свету сидит, а ты яйца чешешь!

– Да ладно тебе, Борис Иваныч, чего сразу орать, вызовем, само собой, – и кудлатая голова исчезла, а Борис Иванович остался стоять у закрытой двери, размышляя, не позвонить ли самому: кудлатый этот дурак доверия не вызывал.

Иван Мстиславович запер дверь и вернулся в большую из двух комнат. Во всем подъезде он был единственный, кто занимал двухкомнатную квартиру единолично. На пятом этаже. Восемнадцать лет, как уехал сын, пятнадцать, как умерла жена, десять, как ослеп окончательно. И привык жить вот так, без света, с одной только музыкой. И теперь спешил поскорее включить магнитофон, чтобы послушать ту музыку, которую слышал в пятьдесят девятом живьем, а потом много раз на пластинке, пока пластинка так не истерлась, что уже слушать было невозможно, и хотя он помнил все фразы, все интонации, все повороты мысли, запечатленные приземистой непричесанной старухой в изношенном до прозрачности платье, с просвечивающим через ветوشь синим трико, в резиновых кедах с распущенными шнурками, – он нарочно сдерживал шаги, замедляя себя и удлиняя предвкушение

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru встречи.

Налил воды из графина, касаясь горлышком мутного стакана, – Анна Николаевна, приходящая домработница, сама была стара, с трудом справлялась с хозяйством, плохо видела и плохо убиралась, так что стакан был грязным, но никто этого не замечал. Иван Мстиславович отпил глоток, поставил стакан точно на свое место: он был очень точен в движениях, следил за собой, чтобы не расстраиваться от поисков разбегающихся предметов. Сел в кресло. Слева стоит маленький столик с магнитофоном. Новая, Владимиром Петровичем принесенная кассета лежит рядом. Владимир Петрович отказался от совместного прослушивания, он всегда торопился домой, потому что не любил темноты. Бедный, совсем еще молодой, только-только пятьдесят, и такая разрушенная нервная система. Впрочем, о чем тут говорить: меломан – существо тончайшее...

Иван Мстиславович вставил кассету. Помедлив, нажал «пуск». Магнитофон от сети не включился, Иван Мстиславович переключил на батарейки... Это была Двадцать девятая соната Бетховена, его непревзойденный шедевр, в исполнении другого великого мастера, тоже непревзойденного, Марии Вениаминовны Юдиной... Разговор бессловесных душ с Господом.

Аллегро. Вдох. Господи... Hammerklavier... Сто лет спорили, глупцы... Просто Бетховен сказал по-немецки то, что в ту пору все говорили по-итальянски. Музыка для фортепиано. Да, конечно, полная победа немецкого гения над итальянской прелестью, легкостью, божественным чириканьем. И сам Бетховен так не исполнил бы. Да и инструменты были несовершенные, звучали глухо и тихо. Музыка к обеду. К телятине и к рыбе...

Большая лохматая голова на короткой шее. Да она и была на Бетховена похожа. Могучая, святая, юродивая... Как играет... Как никто. Двадцать девятую мало кто исполняет, кому по плечу? Вот-вот...

Иван Мстиславович всегда плакал в одних и тех же местах. Вот тут. И тут. Удержаться невозможно. Глаза ни на что не годны, только вот на слезы, подумал он и смазал рукой по щеке... Вот Владимир Петрович утешил. Надо будет попозже позвонить, поблагодарить. Ученик-то был так себе, литературу не понимал, но в консерватории встречались исключительно на хороших концертах. Видимо, родители его водили. И подружились позже, когда Володя школу закончил. В консерватории встречались... Верный оказался. И музыке, и старому учителю...

Но скерцо, скерцо! Какая внятность, какая ясность мысли, чувства. Бедный Людвиг! Или слышит на небесах, как Мария Вениаминовна переводит его с небесного на земной? И свет небесный пробивается. Не утренний, не вечерний. Ну конечно, про то и сказано – «свет не вечерний»... Всё набирает силу, расширяется, крепнет в центре и звенит, отзывается на окраинах. Нет, Рихтеру так не давалось... И мощь, и ласка... Опять отер слезу.

Вот. Третья часть. Адажио... *apassionato e con molto sentimento*. Но это просто нельзя перенести. Какие человеческие трагедии? Всё растворяется, осветляется, очищается. Один свет. Только свет. Игра света. Игра ангелов. Господи, благодарю тебя, что ослеп. Ведь мог и оглохнуть... И я не Бетховен, и музыка беззвучная не слышалась бы мне, как ему... Великая старуха. Великая...

Иван Мстиславович знал ее издавна. С теткой Валентиной в гимназии училась она в одном классе. Невыносимая была. Девушки над ней смеялись, когда маленькие были. А подросли – почуяли великий талант. На гимназических вечерах играла да забывала остановиться. Чуть со стула не стаскивали. Юродивая всегда была, с самого детства. Святая...

Вот оно, fuga... Неземная музыка... Нет, это исполнение пятьдесят второго года. Откуда взял, что пятьдесят девятого? У Рихтера разваливалась эта fuga. Да никто ее сыграть не мог. А когда Юдину хоронили, Рихтер играл на похоронах в вестибюле консерватории. Но не Двадцать девятую. Это невозможно, никому, кроме нее, невозможно...

Иван Мстиславович слез уже не утирал, они вольно бежали по заросшим щетиной щекам. Он был неопрятный, неухоженный старик, в заляпанной едой домашней кофте, с запавшим ртом – вставная челюсть его давно сломалась, и починить ее можно было в какой-то далекой мастерской, куда и не доедешь, а новые зубы делать –



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) хлопотно, да и с кем в поликлинику ходить? Анна Николаевна сама еле ходит... Какое счастье! Какой ослепительный свет!

Соната длилась ровно тридцать восемь минут. Когда она кончилась, зажегся свет. Но этого Иван Мстиславович не заметил.

Анжела как раз ушла от Рудика. Рудик ткнул отверткой в щиток, и свет загорелся во всем подъезде.

Возле подъезда стояла огромная счастливая Лотта, она набегалась, извалялась в снегу и теперь сторожила коляску. Хозяин понес Анечку наверх, но что-то долго не возвращался за коляской. Но ньюфаундленды верные собаки, и она смиренно стояла возле коляски, и хлопья падали на ее густую шерсть, и от снега как будто посветлело, и в доме опять горел свет.

Тайна крови

Установление отцовства

Поскольку наука не стоит на месте, а движется вперед, а возможно, что и вбок, но со страшной скоростью, два десятка лет тому назад мучимые подозрениями мужья настаивали на проведении анализа крови, который бы доказывал или отвергал их отцовство. Наука тогда была неповоротливая, по сравнению с теперешней просто умственно отсталая, и доказать она ничего толком не могла, а всё, что умела, – в некоторых случаях исключить отцовство. Приходит такой подозрительный муж, сдает анализ крови и заставляет предположительно неверную жену и ни в чем не повинного ребенка сдать анализы. Мужу сообщают результаты анализов, и оказывается, что он никак не может быть отцом ребенка. И всё. Но при этом оставалось множество случаев, когда нельзя было сказать ни то ни се... То есть платить алименты при разводе или нет, наука не знает, а мужчине совершенно не светит платить двадцать пять процентов кровной зарплаты бывшей жене-обманщице и ребенку, которому он никак не отец, а вообще неизвестно кто...

Другое дело теперь. Генетика! Ей раз плюнуть ответить на этот простенький вопрос: берем ДНК от родителей, от ребеночка, даже можно не от родителей, а от бабушки-дедушки, и ответ ясен как дважды два четыре: платить! Правда, эта самая наука никак не сможет дать точного ответа на вопрос, изменяла ли жена мужу, когда и сколько раз. Но это, возможно, со временем тоже разрешится: прогресс-то идет невиданными шагами. И вот образуются шеренги неплательщиков алиментов, отказников, беглецов, и в большинстве своем они люди просто принципиальные: им не денег жаль на чужого ребенка, а исключительно чувство справедливости велит сопротивляться бабьим покушениям...

Изредка встречаются мужчины беспринципные, один такой Лёня живет по соседству: роста невысокого, полноват, лысоват, на лице полуулыбка и очки. И даже нельзя сказать, что интеллигент, – интеллигента из него не получилось: и семья не так чтобы очень, и высшее образование незаконченное. Хотя на работу ходит с портфелем. А женат – на страшной красавице: высокая, грудастая, чуть-чуть до Софи Лорен не дотягивает, но в этом роде. Зовут Инга.

Поженились они с Лёней сразу после школы. Были одноклассниками, жили в одном дворе, дружили с пятого класса. Годам к четырнадцати у Инги образовались настоящие поклонники, взрослые, и это всех учителей раздражало: родителей на собрание вызывали за плохое поведение рано развившейся девочки. Но плохого поведения, собственно, не было. Оно было просто другим, ее поведение. Училась прилично, общественной работой не увлекалась, а вечером уходила на свидания и приходила не очень поздно, к оговоренному с родителями часу.

Для всех это замужество Инги было просто шоком: что она в нем нашла? Родила она после свадьбы месяца через четыре, что до некоторой степени объясняло нелепый брак. Подозрения, намеки – но Лёня молчит и улыбается. «Совсем дурачок», – решил народ.

Лёня возил по выходным колясочку с мальчиком Игорьком, сидел с ним в песочнице, качал на качелях. В основном-то с ребенком возилась Ингина мать. Потом Инга вдруг пропала, но ненадолго. Появилась снова, развелась с Лёней и уехала к новому мужу. Игорек остался у ее матери, и Лёня переехал обратно к своим родителям, но с сыном возился по-прежнему. Ленина мать, вообще-то Ингу не любившая, тоже часто оставалась с внуком.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Инга сына не бросала, приезжала раз в месяц на два дня: жила она теперь не в Москве, а в Калининградской области, где служил ее муж, военный моряк. Потом она приехала беременная, пожила недели две у мамы, родила девочку в московском роддоме – муж тем временем всё служил, а Лёня бегал в роддом, носил передачи и привез Ингу из роддома. Инга еще недели две провела у матери и уехала в Калининград с новенькой девочкой.

Через два года Инга с девочкой вернулась окончательно – развелась с военным моряком. Всех интересовали подробности, но ни сама Инга, ни ее мать – ни слова... Лёня стал бегать к ним каждый вечер, а потом и вовсе перебрался к Инге. Такая семья хорошая задалась: мальчик, девочка – золотые детки. Прожили два года, и опять та же беда. Инга встретила настоящую любовь. На этот раз всё выглядело очень прочно, даже окончательно: Инга уехала с двумя детьми, далеко-далеко...

Лёня опять переехал к родителям, хотя часто заезжал к бывшей теще, которая любила его. Пироги пекла, водку на стол ставила, хотя был Лёня по общепринятым понятиям человек непьющий: ну, рюмку, другую.

Умерла неожиданно нестарая Лёнина мать, и это еще более сблизило бывших родственников. Бывшая теща подбивала его на женитьбу, уговаривала.

Ходил Лёня неприкаянным несколько лет, а потом женился на своей сослуживице Кате, не очень молодой, не очень красивой, маленького роста, с жидкими волосами, но, в отличие от Лёни, энергичной – словом, такая женщина как раз и была ему по плечу и по карману.

Она переехала в Лёнину квартиру и родила ребенка. Леночку. Лёня ходил по субботам-воскресеньям с колясочкой, сидел в песочнице, качал девочку на качелях. Иногда заходил к бывшей теще – по старой памяти, и про Ингу немного поговорить. То есть сам-то он не спрашивал, она и так рассказывала.

И про Ингу, и про ее мужа, директора завода в Самарканде. Жила Инга богато, мать ее навещала и восхищалась хоромами, коврами и прочим богатством Саида, нового мужа. Главное же – сын. Красавец ребенок получился.

Было нечто, о чем теща и не рассказывала: что женаты официально Инга с Саидом не были, с родителями своими Саид ее не знакомил, а жила красавица Инга на положении наложницы. Потом – после четырех лет! – вернулась Инга со старыми двумя и с одним новым ребеночком. Младший – восточный красавец. В первый же вечер Инга вызвала Лёню, долго с ним разговаривала о чем-то, и он поздно ночью вернулся домой, к жене, и с ней долго разговаривал, и опять жизнь развернулась самым странным образом.

По фактам так: Лёня развелся со своей родной женой и снова женился на Инге. Младший мальчик, восточный красавец, исчез тем временем в неведомом направлении. Заметим в скобках – в направлении Ингиной одинокой тети, в город Бологое, даже не в самый город, а на его окраину, в частный деревянный дом на полдороге между Москвой и Ленинградом.

Пока всё это тихо и невидимо миру, то есть двору, происходило, на Ингу было совершено нападение, ее избили до потери сознания, сломали нос, руку и ребра. Она полежала в больнице и вышла. Нападение организовал бывший ее муж-немуж Саид, поскольку, уезжая тайным образом, увезла она и сына, которого ей, по понятиям Саида, ни под каким видом увозить не полагалось. Исколошматили ее и обещали приезжать каждый месяц и бить до тех пор, пока она сына не вернет. Но они приехали второй раз не через месяц, как обещали, а через три. Однако исполнили наказание с душой – опять бедная Инга попала в больницу. И опять сказали: убивать не будем, но будем наказывать, пока сына не отдашь.

Лёня тем временем усыновил Ингиного сына, и даже имя ему переменили – с Ахмата на Алешу. И прежнюю фамилию родной матери тоже, само собой, переменили. Инга написала бывшему своему возлюбленному письмо, что вышла замуж, ребенка усыновили, и если хочет ее убить, пусть убивает, но мальчика он никогда не увидит. И уехали всей семьей в Бологое, для воссоединения семьи, к мальчику Алеше.

Самаркандские басмачи опять приезжали, но Инги не нашли и отстали. Саид тем временем женился по-хорошему, на племяннице большого узбекского человека, и

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
молоденькая жена сразу же родила мальчика, так что про своего первенца Саид забыл.

В Бологом к Лёне пришла удача: образование – почти законченное – было у него экономическое, а в это время как раз организовывался мелкий бизнес, все хотели быстренько разбогатеть, у некоторых получалось. Лёню все нанимали на открытие фирм, фирмочек и разных обществ, собирающихся делать из воздуха деньги, – он что-то умел такое, чего местные люди еще не освоили, и стал очень прилично зарабатывать. И полагающиеся своей второй жене и родному ребенку деньги ежемесячно отсылал, хотя и не двадцать пять процентов, а поменьше. Но сумма очень приличная...

Теткин частный дом перестроили, добавили к нему с одного боку две комнаты и большую террасу. И всё было хорошо целых три года. Дети отца тормозили, когда приходил он с работы, девочка от военно-морского мужа, тоже Леночка, как и своя родная, хоть и большая, всё просила на ногах покачать, и Лёня, сцепив ступни скамеечкой, сажал на них девочку и качал, а она даже глазки закатывала от удовольствия. Младший Алешка так его любил, что спать не шел, пока отец с работы не придет и на ночь его не поцелует. Когда младшие укладывались, подсаживался Игорь – поговорить с отцом.

Потом Инге надоело сидеть дома, она выписала в помощь тетке еще и мать, навалила на нее детей и пошла на работу в городскую управу секретарем. Все местные бабы ее вмиг возненавидели, мужики на нее пялились, а начальник, немолодой и простоватый, бывший партийный чин, а теперь по административной части, первое время смотрел на нее с непониманием: дело она делала лучше всех, соображала, как хитрый змей, обладала еще и талантом точного знания, кого пускать, а кого не пускать... А внешности ее он не понимал: губастая, носатая, волосы горой, неприбранные, но чем-то она его притягивала. И ноги ставит так тесно, ходит, а коленочки одна об другую трутся...

Начальник был мужик приличный, никаких шашней за ним не числилось, ничего для него дороже дела не было. А на эту Ингу он смотрел, смотрел и влюбился как-то ненароком. Самому было неловко перед собой. А Инге нравилась эта растерянность и неловкость, и она слегка поигрывала перед «сибирским валенком», как она описывала его Лёне, и как-то вдруг образовалась страшная тяга между ними. Нешуточное дело. И прорвало плотину с двух сторон, и понесло. С начальником происходило неведомое ему событие под названием страстная любовь. И она была такая новая, единственная, как будто даже первая, потому что он совершенно не помнил, какие такие чувства были у него к жене, когда они женихались. И были ли? Тому прошло тридцать лет: он сразу после армии женился на самой красивой девчонке в деревне, а потом они вместе ездили на партучебу, поднимались, шли в гору. Вот эта совместная жизнь и была вся любовь. Сын был. Уже взрослый, в Москве устроился.

Инга тоже летала как на крыльях: и у нее такого не бывало! Крупный человек, во всех отношениях крупный, не шелупонь какая-нибудь.

Мужиков у Инги было множество, все с изъясном: от которого первый сынок родился, – подлец был натуральный, военно-морской был хорош собой, но дубина дубиной, Саид хоть и красавец был, но восточный человек, с другими понятиями, и коварный...

Лёнечка был, конечно, золото, чистое золото, но его незначительная внешность, лысинка, ручки белые короткопалые, и как он кушает, маленькими долгими жеваниями перекачивая еду во рту, – от всего этого воротило...

Самое же таинственное в их с Лёней отношениях было то, что был он в полном порядке и мужское дело делал подробно, грамотно, добротнo. И с большой любовью... Но в том и была беда, что всякий раз, когда снова она оказывалась с Лёнечкой, означало это только одно: опять у нее любовная неудача, опять провал, опять беда...

Словом, служебный роман достиг небес, обоих колотило от счастья, от каждодневной близости, от безнадежности и временности происходящего, потому что обоим было ясно, что нельзя рушить налаженный мир. И каждая встреча, выкроенная, тайная, должна была бы быть последней, если по-хорошему. Но за ней случалась еще одна, послепоследняя, и еще одна...

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Инга забеременела – и успокоилась: как будто произошло главное. И она ушла с работы, рассказала обо всем Лёне, а он и так уже догадался. Бессловесно ходили они по большому дому, – было лето, и второй этаж, холодный, делался в это время жилым, – стараясь друг на друга не наткнуться. В конце концов столкнулись, и Инга попросила Лёню:

– Уезжай.

Лёня уехал. Вторая жена и дочка приняли его, и он снова жил в старом дворе, в родительской квартире, а квартира Инги, во втором подъезде, была сдана жильцам.

Дочка Леночка любила отца застенчиво, издалека. Он с ней занимался и уроками, и в цирк ходил. Поставил компьютер и научил на клавиши нажимать, и купил компьютерные игры. Толстоватая девочка, в жену Катю, была мучнистая, скучнёвкая, совсем не похожая на тех детей, Ингиных, – от них дом ходил ходуном, было ярко и весело. Как от Инги...

Используя старые связи и Катину согласие на прописку бывшего мужа, он снова прописался в родительскую квартиру, устроился на хорошую работу: он всё еще был нарасхват, потому что и в Москве его знания об устройстве мелкого бизнеса были пригодны, а денег больших он никогда не запрашивал.

Инге он послал перевод. Перевод вернулся. То же было и со вторым. Прошел год, и он, положив в портфель пачку денег, поехал в Бологое.

Он подходил к дому, и сердце у него колотилось. Никому бы и в голову не пришло, что у такого полноватого, лысоватого, совершенно неромантического вида мужчины может колотиться сердце от ожидания встречи с женщиной, которая его никогда не любила, любить не могла и не будет ни за какие коврижки.

В палисаднике стояла коляска. Возле коляски – восьмилетняя Леночка. Алеша с криком выскочил на крыльцо, а она замахала руками: тише! И тут же сама, увидев Лёню, закричала:

– Папа! Папа приехал! Палочка!

И оба они – восточноглазый Алеша и Леночка – красавцы, неземной породы, тонкие и длинные, дети из итальянского кино, повисли на нем, тыкались в него головами и коленками, орали что-то невнятное. Только Игорька не было дома, не пришел еще из школы...

Инга, откинув занавеску, смотрела из кухни. Опять пришел Лёня – отец ее детей, лучший человек на свете, любивший и любящий, и всегда и впрямь... Нет слов...

А Леночка, дочь военно-морского дурака, уже откинула полог у коляски и показывала нового младенца, которого даже не надо было усыновлять: он и так был его, Лёниным...

Но и другая Леночка, родная, кровная, с половиной отцовской ДНК и с той самой группой крови, могла полностью рассчитывать на двадцать пять процентов.

Нельзя сказать, что жена Катя приняла второй уход мужа со смирением. Она ему всё высказала, что было у нее на душе. Он выслушал ее понуро, помолчал изрядно и сказал:

– Катюша, я виноват перед тобой, что тут и говорить. Но и ты меня пойми: Инга такая хрупкая, такая ранимая... Ей без меня никак не справиться. А ты человек крепкий, сильный, ты всё выдержишь...

Старший сын

Мальшка росла, не касаясь ногами земли, передаваемая с рук на руки старшими братьями и немолодыми родителями. Братьев было трое, и между младшим из братьев и последней девочкой было пятнадцать лет: неожиданный, последний ребенок, рожденный в том возрасте, когда уже ожидают внуков...

Старшему из братьев, Денису, исполнилось двадцать три. Все трое мальчиков, дети из хорошего дома, от добрых родителей, росли, не доставляя никому огорчений: были красивы, здоровы, хорошо учились и не думали курить в подъездах или

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru топтаться в подворотнях.

Но скелет в шкафу стоял. О нем совершенно не думали весь год, но двадцать пятого ноября он начинал тревожно постукивать косточками, напоминая о себе. А дело было в том, что старший сын Денис был на год старше годовщины свадьбы, и потому, празднуя каждое двадцать пятое ноября, родители старательно уводили разговор в сторону от года, когда этот самый день двадцать пятого ноября случился. Год не сходилась с датой рождения старшего сына. И это могло потребовать разъяснения. До поры до времени как-то удавалось обойти это скользкое место, но каждый раз в день торжества родители, в особенности отец, заранее нервничали. Отец семейства напивался еще с утра, чтобы к вечеру никто не мог ему предъявить недоуменные вопросы.

Друзей было много: некоторые, друзья давних лет, знали, что мальчик Денис рожден был вне брака, от короткого бурного романа с женатым человеком, который исчез из поля зрения еще до рождения мальчика. Другие люди, приходившие в дом, вовсе не знали об этой тайне – вот этих самых людей, любителей восстановить ход исторических событий с выяснением точных дат посадок и выходов на свободу родителей-диссидентов или годов окончания институтов, разводов, отъездов и смертей, – немного побаивались.

Женившись, отец немедленно усыновил годовалого мальчика, и один за другим появились на свет еще двое, и жизнь пошла трудная, веселая, в большой тесноте, в безденежье, но, в сущности, очень счастливая. Их последняя, Малышка, придавала новый оттенок счастливой жизни: она была сверхплановая, совершенно подарочная девочка, беленький ангел, избалованный до нечеловеческого состояния...

Приближалась очередная годовщина свадьбы, и отец, как всегда, заволновался. И надо было такому случиться, что за неделю до события он с младшим из сыновей забежал по какому-то бытовому поводу в дом к старой приятельнице, бывшей когда-то наперсницей жены, свидетельницей давнего романа, и выпили немного, и расслабились. Младший сын копался в домашней библиотеке, а хозяйка дома ни с того ни с сего коснулась вдруг этого старого нарыва. Отец заволновался, зашикал, но остановить собеседницу уже не мог – она покраснела, раскошегарилась и начала вопить:

– С ума сошли! Как это можно столько лет молчать? Мальчик от чужих узнает, расстроится. Какая травма будет! Не понимаю, чего вы боитесь?

– Да, боюсь, боюсь! И вообще замолчи, ради бога, – и он указал глазами на младшего, восемнадцатилетнего, который то ли слышал, то ли нет. Стоял у открытого книжного шкафа и листал какую-то книжную ветوشь.

– Ну, нет! – вскинулась старая подруга и окликнула мальчика. – Гошка! Подойди сюда!

Гоша не подошел, но положил книгу, поднял голову.

– Знаешь ли ты, что Денис родился от другого отца, и его усыновили, когда ему был год?

Гоша ошеломленно посмотрел в сторону отца:

– Пап, и от другой матери, что ли?

– Нет, – понурился отец. – Мы с мамой поженились, когда Денису был год. Она его родила раньше...

– Вот это да! – изумился Гоша. – И никто не знает?

– Никто, – покачал головой отец.

– И мама? – спросил он.

Хозяйка захохотала, сползая со стула:

– Ну, вы... ну, вы... семья идиотов!

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Засмеялся и Гоша, сообразив, что сморозил глупость. Отец налил в большую рюмку водки, выпил. Пути к отступлению теперь у него не было.

Всю неделю он плохо спал. Просыпался среди ночи, не мог заснуть, крутился, будил жену, затевал с ней разговор, а она сердилась, отмахивалась: вставать ей было рано, какие уж тут ночные разговоры...

Он наметил этот разговор на двадцать пятое, решил, что скажет сыну до прихода гостей, чтоб не было времени мусолить, чтоб сразу к плите, к столам...

Но не получилось. Денис задержался в институте, пришел, когда первые гости уже рассказывались.

Отец быстрее всего напился, и мать сердилась на него – мягко, ласково, посмеиваясь. Они, мало сказать, любили друг друга – они друг другу нравились: даже когда она впадала в истерику, а с ней такое случалось, и рыдала, и швыряла предметы, – он смотрел на нее с умилением: как женственна... А он, пьяный, казался ей трогательным, страшно искренним и нуждающимся в ее опеке...

Трое мальчиков уступили места за столом в большой комнате гостям, сами устроились на кухне, по-домашнему. К тому же они были не совсем втроем, скорее, впятером, потому что двое старших уже об завелись девушками, и они сгрудились над кухонным столом и, опережая неторопливое застолье взрослых, ели принесенный кем-то из гостей многоярусный торт в кремовых оборках, барочный и приторный.

Отец уснул прежде, чем разошлись гости. Проснулся утром, похмельный, заставил себя встать и принялся мыть вчерашнюю посуду. Все еще спали. Первым на кухне появился Денис. Отец ждал этой минуты. Вылил в рот припрятанный на утро большой глоток водки, взбодрился и сказал сыну:

– Сядь, поговорить надо.

Денис сел. Они все были высокие, но этот, старший, перемахнул за метр девяносто. Отец выглядел как-то плоховато, да и приготовление к разговору было непривычным: торжественным и скорее неприятным. Отец наклонил пустую бутылку, из нее выкатилось несколько капель, он понюхал и вздохнул.

Пока отец снимал и надевал очки, укладывал перед собой руки на столе, как школьник, кряхтел и морщился, Денис успел прикинуть, что же именно такое неприятное скажет ему сейчас отец: возможно, насчет его девушки Лены. Будет предостерегать от женитьбы. Или по поводу аспирантуры, которая была Денису предложена, но он решил идти работать, потому что было хорошее предложение...

«Нет, что-то более серьезное, уж больно отец нервничает...» И вдруг мелькнула ужасная догадка: родители разводятся! Точно! Не так давно у приятеля отец ушел из семьи, и мать страшно переживала, и даже совершала какие-то нелепые попытки самоубийства... И приятель сказал, что раньше это называли революцией сорок восьмого года, потому что на подходе к старости бывает у мужчин такой порыв – начать новую жизнь, завести новую семью...

Он посмотрел на отца отстраненным взглядом: отец был еще вполне ничего, русые волосы почти без седины, яркие глаза, худой, не расплзшийся...

И он представил себе с ним рядом какую-нибудь из молоденьких девушек, которых так много приходит в их дом... Да, возможно. Очень даже возможно... Он попробовал вообразить их дом без отца, и его насквозь прожгло.

– Денис, я давно должен был тебе сказать, но всё не решался, хотя понимаю, что надо было раньше...

«Господи, мама, Малышка... Невозможно. Невозможно», – подумал Денис и понял, что сейчас расплечется, и собрал жестко рот, чтобы углы не опали, как у обиженного ребенка.

– Эта наша годовщина, каждый год меня колотит, когда она подходит, потому что ты родился за год до нашей свадьбы...

Отец замолчал. Сын все никак не мог понять, о чем он толкует, что он так

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru мучительно хочет ему высказать.

– Ты про что, пап? Ну, за год... О чем ты?

– Мы тогда не были женаты...

– Ну и что? Ну, не были, – недоумевал сын.

– Да мы с мамой тогда даже знакомы не были! – в отчаянии воскликнул отец, потерявший надежду на то, что когда-нибудь этот дурацкий разговор закончится.

– Да ты что? Правда? – удивился Денис.

– Ну да. Вот такие дела, понимаешь... Денис.

У Дениса отлегло от сердца: никакой революции... никакого развода...

– Пап, и это всё, что ты хотел мне сказать?

Отец пошарил рукой по столу. Поболтал бутылкой, посмотрел на свет – она была окончательно пуста.

– Ну, да...

Оставалось решить с Ленкой. Денис поскреб ногтями какую-то прилипшую крошку на столе.

– А я тоже хотел тебя спросить, это... Как тебе моя Ленка?

Отец немного подумал. Не очень она ему нравилась. Но это не имело никакого значения.

– По-моему, ничего, – покривил душой отец.

Денис кивнул:

– Ну и ладно. А то у меня было такое впечатление, что она тебе не очень...

– Да ты что, очень даже... – Это была проблема воспитательная, но не из самых важных.

Тут открылась дверь, и вошла четырехлетняя Малышка. На четвереньках. Она изображала собаку.

Отец и сын кинулись к ней одновременно, чтобы поднять, подхватить на руки. И стукнулись лбами. И оба засмеялись. И смеялись долго, так долго, что Малышка начала плакать:

– Вы всегда... вы всегда надо мной смеетесь... Как вам не стыдно... Вот маме скажу...

Певчая Маша

Невеста была молоденькая, маленькая, с немного крупной, от другого тела головой, однако если взглядеться, то настоящая красавица. Но лицо ее было так живо и подвижно, выражение лица столь переменчиво – то улыбалась, то смеялась, то пела, – что взглядеться было трудно. Как только она закончила музыкальное училище и нанялась на свою первую работу в Рождественский храм, в дальнем московском пригороде, где до этого уже год пела на левом клиросе бесплатно, в виде практики, так сразу же и вышла замуж за певчего.

Когда их венчали, здешние старухи исплакались от умиления: молодые, красивые, свои, церковные, она в белом платье и в фате, а он в черном костюме, на голову выше, волосы цыганскими кольцами, длинные и, как у попа, резиночкой схвачены. А зовут – Иван да Марья. Иоанн и Мария. Для русского уха – просто сказка и музыка: как они друг к другу подходят, эти имена. И свадьбу справили прямо в церкви, в поповнике, небольшом хозяйственном строении на церковной земле. Накрыли большой стол, всего нарезали – колбасы-ветчины, сыру-селетки, огурцов-помидоров. Зеленя привозная, кавказская, как будто весна. По календарю и впрямь была весна, Фомина неделя, но в тот год тепло запаздывало и ничего своего в Подмоскovie еще не

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskayaaludmila.ru](http://ulitskayaaludmila.ru) было.

Свадьба получилась как будто немного строгая – всё же в церкви хорошо не погуляешь, зато пели чудесно: и стихиры пасхальные, и народные песни, и северные, и украинские, которые Иван сам знал и Машу научил. Потом Маша спела еще и какие-то чужие, на иностранном языке песни, не церковного звучания, но тоже очень красиво...

Иван переехал в Машин дом, в Перловку. Своей площади у него не было, он родом был из Днепропетровска. Теперь они и на спевки, и на службы ездили вдвоем на электричке, и смотреть на них было глазу одно удовольствие. Все их знали, все их любили. Потом Маша родила в срок, как полагается, первого мальчика, через полтора года – второго. И всё оставалась маленькой, тоненькой, девчонка девчонкой. Детей они таскали с собой на службы, один – в коляске, второй – на руках у Машиной мамы. А в хоре Иван стоит повыше, Маша ступенькой ниже, он над ней возвышается, а она к нему иногда потянется, голову крупноватую с простым пучком под платочком повернет, заулыбается, и все, кто рядом стоят, тоже улыбаются...

Приход эту семью очень любил, потому что у всех в домах были свои неурядицы и чересплосицы, и люди понимали, что все беды по делам, за грехи, а эти двое были наглядным доказательством того, что если хорошо себя вести, жить по-церковному, то и жизнь идет хорошо...

Потом Иван решил поступать в духовную академию – для семинарии он был уже стар. В академию поступить не просто, но он шел по особой статье: хорошее музыкальное образование, в хоре пел уже много лет, да и связи за эти годы завелись. Его давно звали в регенты, но он не хотел на клиросе стоять, хотел в алтаре...

Иван бросил свою основную работу учителя пения в школе, стал готовиться к поступлению. Маша радовалась, хотя и беспокоилась: матушкой быть не просто, большая ноша, а она была и молода, и слишком шустра, и весела для такого звания. Вообразила, что получит Иван приход в хорошем месте, в маленьком городке или в большом селе, где люди добрые и неиспорченные, и природа не топтаная – чтобы рядом речка, лес, дом с террасой... Она так красиво придумала, а потом испугалась: а ну как дети заболеют, а в деревне ни врачей, ни больниц. Спросила у мужа, как он думает дальше жизнь планировать: в область на приход или в городе? Иван коротко жену обругал душой, но она не обиделась. Ну, сказал и сказал, она про себя знала, что не дура, а про него – что характер трудный. Ивана в академию взяли, и он теперь переехал в общежитие, дома появлялся редко, был строг с Машей и детьми, старшего Ваню, трехлетнего, даже побил, и Машина мама, Вера Ивановна, плакала, но ничего ему не сказала. А Маша нисколько не расстроилась, только плечами пожала:

– Он им отец, пусть учит. Ведь с любовью же, а не со зла.

Но Вера Ивановна не понимала, как это можно бить ребенка с любовью, да еще за такую вздорную мелочь: тарелку с кашей перевернул!

Жизнь в Лавре накладывала новый отпечаток на Ивана: прежде он был щеголеват, одевался в хорошие костюмы с галстуками, любил цветные рубашки, а теперь, кроме черного, ничего не носил и даже дома не снимал с себя полуказенной одежды. Шпынял Машу за розовые блузочки и пестрые бусы, которые она любила. Она послушно сняла бусы и бисерные плетеные браслеты, перестала носить пышный, в цветных заколочках пучок, вместо этого заплела волосы в косу и закрутила в скучный бабий узел. Только глазами всё сияла и улыбалась с утра до вечера: сыновьям Ванечке и Коленьке, маме вере Ивановне, окошку, дереву за окном, снегу и дождику. Мужа ее постоянная улыбка раздражала, он хмурился, глядя на ее сияние, спрашивал, чему это она так радуется, а Маша простодушно отвечала:

– Да как же мне не радоваться, когда ты приехал!

И сияла дальше.

Маша ожидала лета, каникул, надеялась, что муж поживет дома, повозится с малышами. Дети от него отвыкли за последний год, младший пугался и отворачивался, когда видел отца. Но на каникулы Иван в Перловку не поехал и крышу чинить не стал, как обещал вере Ивановне: вместо того уехал на богомолье в



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
дальний монастырь. Маша расстроилась, но не хотела матери показывать, что переживает, и потому всё улыбалась по-прежнему, а Вере Ивановне сказала беспечно и глуповато:

– Да нам же и лучше, мамочка! Сдадим полдома дачникам, а осенью найдем рабочих и сами крышу починим, и просить никого не надо! А то ведь правда, что народ скажет: священник сам по крыше лазает?

– Да какой он священник, пока что никто... – ворчала Вера Ивановна, удивляясь на дочь: совсем глупая, что ли?

Сдали полдома дачнице, своему человеку, из прихожан храма: пожилая врач Марина Николаевна. На субботу-воскресенье к ней приезжала ее племянница Женя, тоже интеллигентная женщина. Иван, когда узнал, что сдали комнату с террасой, страшно рассердился, кричал, но дом, между прочим, был Веры Ивановны, о чем она ему и напомнила. Он собрал вещи в сумку и ушел, хлопнув дверь.

Вера Ивановна заплакала и попросила прощения у Маши, но Маша ничего не ответила, стояла у зеркала и косу расплетала и расчесывала, а потом сделала себе пучок по-старому, с заколочками.

А маленький Ваня к двери подошел и, потянувшись, крючок на гвоздь навесил.

Маша поехала к бабушке, тому самому, что их венчал, – он теперь в другом храме был настоятелем, – и рассказала, как неладно дела идут в семье. Он ее поругал, что сдала комнату без спросу у мужа, велел впредь от мужа не своевольничать, а что он от них уехал на богомолье, то от того только одна польза и никакого вреда.

Осенью Иван приехал навестить жену с детьми, привез подарков, но больше духовного содержания, чем практического. Подарил икону заказную, двойную – Иоанн Воин и Мария Магдалина. Маша обрадовалась: она уже не знала, что и думать про мужа, – любил он ее или совсем разлюбил, – но подарок был со значением, это были их святые покровители, и, видно, он тоже их разлад переживал. Под вечер не уехал в Загорск, остался. А давно уже не оставался. И Маша была рада-радехонька. Она любила мужа всей душой и всем телом, и чувства ее поднимались той ночью как волны на море, сильно и высоко, и сделала она движение между любящими как будто не запрещенное, но в их супружеском обиходе не принятое, хотя и волнующее чуть не до обморока. Иван стонал и вскрикивал, и Маша прижимала ему легонько рот пальцами, чтобы потише стонал, деток не разбудил.

Утром Иван просил Машу проводить его на электричку и по дороге сказал, что теперь она себя совершенно выдала, какая она испорченная и разгульная, а только всю их жизнь притворялась невинною, и что ни от кого не укрылось, что и детей она родила не от него, поскольку оба мальчика беленькие и голубоглазые, в то время как должны бы быть кареглазыми и темноволосыми.

Маша ничего ему не сказала, а только заплакала. Тут подошла электричка, и он уехал на ней в Лавру, учиться дальше на священника. Полтора месяца Иван не приезжал, и Маша взяла старшего Ванечку и поехала в Лавру субботним ранним утром, чтобы показаться перед мужем и ласково обратно к дому призвать. Маша приехала в середине службы, он в хоре стоял, но на нее не смотрел, хотя она приблизилась к самому клиросу. Он был очень красив, но лицо его было грозным, борода, прежде маленькая, хорошо постриженная, разрослась до груди, и он сильно похудел – это даже под бородой было видно.

Когда служба отошла, она к нему приблизилась, а он рукой ее отвел, как занавеску, а на Ваню даже и не поглядел... Маше стало страшно от такого его жеста, а особенно от глаз, которые смотрели вперед и как будто мимо них, – как на иконе «Спас Ярое Око». Она сразу поняла, что пришла беда, но не знала какая.

Больше Маша в академию не ездила, и он дома не бывал до весны. Весной приехал, в дом не вошел, вызвал ее на улицу и сказал, что дело его решенное: пусть сама подает заявление, что брак их недействительный, чтобы его отменили.

Маша не поняла:

– Разводиться с нами хочешь?

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Нет, какой тут развод, дети чужие, всё обман был...

Маша сначала как будто улыбнулась, но сразу и заплакала:

– Ваня, да я же девушкой за тебя выходила, ты первый у меня и единственный...

– Магдалина ты и есть, только нераскаянная... Я брака обманного не признаю, – твердо сказал Иван, а на жену даже не смотрит, всё в сторону.

– Так венчаный брак, Ваня! Мы же перед Господом... – сквозь слезы лепетала Маша, но всё было напрасно.

– Развенчают... Обманый брак развенчают! – сказал Иван как о решенном деле.

– А дети? – всё упорствовала Маша, боясь потерять свое кривое счастье.

– Что дети? Не мои дети! Иди делай экспертизу, тебе и анализы то же скажут – не мои дети!

– Да сделаю я эти анализы! Ваня, наши это детки, Коля-то как на тебя похож, только светлый, а Ванечка, ты посмотри, ведь волосики у него потемнели, вырастет – как у тебя будут... – пыталась Маша развернуть разговор в хорошую сторону, но сила ей противостояла самая страшная, какая бывает: безумие. Оно было уже вполне созревшим, но пока было сдерживаемо внутри, и дикие подозрения облекались в логическую форму. Иван стал перечислять все Машины прегрешения: как ходила к подруге на третий день после свадьбы, а была ли там, проверить теперь нельзя, но он-то знает, что не было ее там, и на концерт ходила два раза с мамой, только программа-то была не та, что она ему тогда объявила... Обман, всегда обман! А главное: она себя разоблачила, всю свою испорченность, когда после каникул он домой приехал, а она уж такое искусство перед ним выделяла, как последняя девка с площади...

И дальше, дальше множество всего, чего Маша не помнила, и что главное – ведь никогда прежде он никаких таких упреков не делал: неужто столько лет в себе держал?

Развелись и развенчались: в Патриархии Иван получил про то справку. Вера Ивановна удивлялась: таинство церковное, как это отменить можно? А крещение? А отпевание? А причастие само? Тоже можно отменить?

Маша детей на свою фамилию переписала. Как будто они ее, исключительно только ее собственные, без мужского участия рожденные! А Иван академию закончил и сподобился монашеского чина. Большая духовная карьера перед ним открывалась. Это уже через людей узналось.

Маша не столько даже горевала, сколько недоумевала, удивление пересиливало все прочие чувства. Она надела черный платочек, вроде траур, да и платочек шел ей как нельзя больше. В церкви к ней относились хорошо, хотя и сплетничали. Она теперь была не просто так, а с интересным несчастьем.

Лето было на редкость жарким, от черного платка пекло голову, и Маша недолго его проносила: надоел.

У нее было теперь две работы: в церкви и в народном хоре при Доме культуры. Ванечку готовили к школе, ему было шесть с половиной, но он был умненький, сам читать научился, хотел в школу, но с письмом справлялся очень плохо, и Маша сидела с ним в свободное время, писала палочки и крючочки. Занималась с ним также и дачница Марина Николаевна, и ее племянница Женя. А потом Женя привезла на дачу сына своих друзей из Риги, семнадцатилетнего Сережу, он поступал в университет, но срезался и остался пожить немного на даче после плачевного провала. И к этому Сереже Машины сыновья потянулись как к родному: все висели на нем, от себя не отпускали, а он с ними был так хорош, так весел, и они играли, как ровесники – то в прятки, то еще во что...

Сережа был немного на Машу похож: тоже небольшой, светленький, тоже немного головастый, но был он похож еще больше не на теперешнюю Машу, а на ту, какой она была до замужества. Еще невинностью своей они были схожи...

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

В последний предотъездный вечер, когда дети были уложены и весь дом заснул, они сидели на крыльце, и возникла между ними сильная тяга, так что взялись они за руки, потом немного поцеловались, а потом в беседке на скамеечке они поцеловались погорячее и как-то само собой, без вынашиваемых намерений, невзначай, легко и радостно обнялись крепко-крепко, и ничего плохого или стыдного – одно только счастливое прикосновение... Сережа уехал наутро, и Маша помахала ему рукой, дружески и весело. А потом оказалась беременной. Сережу она разыскивать не стала: он ни в чем не был перед ней виноват. И вообще никто ни в чем не был виноват. Маша не расстраивалась, ходила приветливая и ласковая ко всем, пела в хоре. Расстраивалась Вера Ивановна, что так трудно у Маши жизнь складывается, но ее не упрекала и ни о чем не спрашивала.

Когда живот ее стал заметен, церковная староста, строгая, но справедливая, сказала ей, что лучше бы она из хора сама ушла.

– Я уйду, – легко согласилась Маша. И пошла к бабушке: привычка у нее такая была, когда надо что-то решить – благословение брать.

Священник был старый и невнимательный, но Маша сказала ему о своем беременном положении. Он подумал немного, оглядел ее выпуклую по-рыбьи фигуру, покивал головой и сказал:

– Пока что ходи.

Потом Маше было неприятно: ей всё казалось, что за спиной шепчутся. Она даже молилась Божьей Матери, чтобы Она ей Покров свой дала от чужих глаз. Один раз Маша особенно раздосадовалась – реставрировали иконостас, и два пришлых мастера стояли ну совсем уж против нее и что-то о ней говорили. И нашла на нее такая дерзость, что она подошла к ним поближе и сказала:

– Всё, что вам обо мне сказали, – всё правда. Муж меня с детьми бросил и ушел, может, и в монахи, а теперь я еще и беременна. Да.

Повернулась и пошла прочь.

Один из двух мастеров, что постарше, с тех пор всё на нее пялился, а она отворачивалась. Такая игра как будто между ними завязалась: он ищет ее взглядом, а она смотрит рядом с ним, но мимо. Так смотрели они друг на друга месяца два, реставрационные работы уже шли к концу, как и Машина беременность. Однажды, под самое Рождество, после долгой службы он подошел к ней и сказал:

– Вы мне сразу не отвечайте, завтра скажете. Я бы хотел на вас жениться. Я серьезно говорю, я это давно уже обдумал.

Маше стало вдруг смешно, и она сразу же ему ответила:

– А чего мне думать-то? Я за вас пойду.

И пошла прочь, а он так и остался стоять: то ли шутка не удалась, то ли не ожидал такого скорого решения.

Маша приехала домой поздно, Вера Ивановна ждала ее, не ложилась, она за Машу очень тревожилась. Маша ей от двери сразу и сказала:

– Mam, мне сегодня художник предложение сделал.

– Ты чаю-то попьешь, нет? – спросила мать, пропустив мимо ушей глупую шутку.

– Mam, мне предложение сделал художник, который алтарь реставрирует.

Вера Ивановна рукой махнула:

– Не хочешь чаю, так ложись. Я уже постелила.

– Ну, мам, я серьезно.

– А зовут-то его как?

– А я не спросила. Завтра спрошу.

Поженились они вскоре, еще до рождения сына. Назвали Тихоном. Муж Саша оказался лучше всех на свете. Новорожденного ребенка, когда дома был, с рук не спускал, любовался, уходя на работу по два раза возвращался, чтобы еще взглянуть напоследок. Мальчики старшие сразу стали звать его отцом, а на школьных тетрадях, где отчества вообще-то не полагается, выписывали: Тишков Иван Александрович и Тишков Николай Александрович. Когда Тихон Тишков пошел в школу, у них родился еще один сын. Маша немного огорчилась: ей хотелось девочку. Но она молодая, может, родит и девочку.

А про того, первого, прошел слух, что достиг большого положения, а потом и повесился. Может, врал... Когда Маше сказали, она перекрестилась, сказала: «Царствие Небесное, коли так». И подумала:

«А ведь если б он не бросил нас таким жестоким образом, и Сашу бы не узнала... Ах, слава Богу за всё!»

Сын благородных родителей

Гриша Райзман потерял глаз еще в отрочестве – дворовый несчастный случай в сочетании с неудачным медицинским вмешательством. Ему сделали глазной протез и вставили вместо живого глаза стеклянный, и было совсем незаметно, тем более что он все равно носил очки: здоровый глаз был близорук.

Больше всего на свете Гриша любил поэзию и сам был поэт. Нельзя сказать, что это была любовь совсем без взаимности, потому что иногда стихи получались настолько хорошими, что их печатали в газете. Всю войну, от первого до последнего дня, и даже еще немного после ее окончания, Гриша прослужил военным корреспондентом в полковой газете – а не в «Красной Звезде».

Для понимающих людей разница ясна: полковые газетчики – на передовой.

Лучше всего Грише удавались стихи военные, и даже когда война отгремела, он всё не мог сойти с этой темы, всё поминал тех, «которые в Берлине сражены за две минуты до конца войны»... Демобилизовавшись, он еще долго доншивал военную форму и ходил в сапогах даже в те времена, когда все бывшие военные перешли на штиблеты или валенки. Так он и ходил по редакциям – маленький худой еврей бравого вида, в круглых очках и с папиросой между указательным и средним пальцами левой руки.

Для всех нормальных людей война кончилась, и все рвались поскорее в будущее, подальше от военных страданий, а он сердцем прикипел к дымящемуся кровавому прошлому и писал о солдатах, о лейтенантах, о переправах, о простом герое войны. И о великом вожде тоже писал, конечно.

В одной из редакций познакомился с милой девушкой Белой по прозвищу «Бела с ножками», которое получила она скорее за хороший характер, чем за стройные ножки – будь она стервой, было бы у нее прозвище «Бела с носом». Гриша влюбился в нее и женился. Бела была немного старше Гриши. Семья ее была расстреляна в Бабьем Яру. И еще говорили, что был у нее когда-то жених, но погиб на фронте, и она вышла за Гришу не от большой любви, а от симпатии и желания завести семью и родить ребенка.

У Бела была комната в Каретном переулке, и они зажили прекрасно – дружно и весело. Только с ребенком всё не получалось. Прожили год, другой, и Бела пошла к врачам провериться. Нашли, что у нее всё в порядке. Предложили проверить мужа и обнаружили какой-то редкий дефект: дееспособен, но потомства иметь не может. Бела почувствовала себя обманутой, Гриша ходил понурый – хоть и ни в чем перед женой не виноват, а все равно, как будто обманщик.

Прошел еще год-другой, послевоенные ожидания как-то не совсем оправдывались, жизнь не становилась ни лучше, ни веселее – если не считать, конечно, веселенькой истории с космополитами, которая глубоко смутила Гришу. Он был простой советский парень, патриот и интернационалист, а с этим космополитизмом была какая-то нестыковка между генеральной линией партии и генеральной линией его честного сердца. Он старался привести всё к общему знаменателю, чтоб всё сошлось к простому и верному решению. Но никак не сходилось, и он страдал. И вот

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskayaaludmila.ru](http://ulitskayaaludmila.ru) в самый разгар этих трудных дней Бела села перед Гришей на стуле, положила перед собой красивые руки с маникюром и объявила, что беременна. Космополиты выскочили мигом из Гришиной головы. Бела рассказала, что у нее завелась любовная связь с одним ученым, секретным человеком, и что она хочет рожать ребенка. Лет ей было уже за тридцать – давно пора...

Горько было это услышать Грише, но он повел себя как мужчина: виду не показал, что убит таким сообщением, напротив, сдержал себя и сказал Беле, что, коли ребенок не его, пусть она считает себя свободной, он готов немедленно покинуть ее жилплощадь и желает ей счастья в новом браке...

– Нет, Гриша. Замуж я за этого человека никогда не выйду – во-первых, он женат, во-вторых, даже если бы был свободен, все равно на еврейке он не женился бы: секретным ученым не полагается, – сказала Бела и пошевелила белыми руками на клетчатой синей скатерти.

Грише слова ее показались такими горькими и обидными, что он взял ее руки и поцеловал:

– Белка, дорогая, ты знаешь, как я тебя люблю. Если ты не собираешься замуж за того человека, пусть этот ребенок будет нашим и забудем об этой истории, и всё...

Бела помолчала, помолчала и сказала, что думала...

– Да он и будет твой...

Но Гришино благородство имело свои обозначенные границы, и потому он тут же добавил:

– Да, он будет мой. Но ты понимаешь, Белочка, ребенок тоже должен знать, что он мой. И потому одно я тебе ставлю условие – чтобы этого человека ты больше не видела, не встречалась с ним, и хорошо бы, чтобы он ничего не знал о ребенке...

– Хорошо, Гриша.

Бела встала из-за стола, обняла мужа за голову и поцеловала в единственный его глаз. Так всё и решилось.

Мальчик Миша получился таким родным, что дальше некуда: роднее собственного глаза. Молодой отец, в руках сроду ничего кроме карандаша и рюмки не державший, всё пытался вытащить его из кровати, но Белка вспрыгивала и выхватывала:

– Гриша! Уронишь!

И Гриша послушно вставал в изножье кровати и читал сыну стихи – Маяковского, Багрицкого, Тихонова – на вырост. А Бела посмеивалась:

– Гриш, ты ему Чуковского лучше почитай!

Но младенец был в таком еще нежном возрасте, что ему было совершенно все равно, под какие стихи сосать и пукать.

Рос Мишенька нормальным еврейским вундеркиндом. Сказки его нисколько не занимали. Литературные вкусы его определились в четырехлетнем возрасте: он предпочитал мифы и легенды Древней Греции и читать, собственно, выучился по книге Куна. От богов он быстро перешел к героям. Троянская война показалась ему гораздо более увлекательной, чем спор между богами, ей предшествующий. Подобно тому, как боги играли людьми на полях сражений, Миша стал играть в солдатики, ощущая себя верховным главнокомандующим мира.

Теперь всем детским играм он предпочитал игру в солдатики. Первой войной, разыгранной на большом обеденном столе, была Пелопоннесская. Собственно, это была не война, а войны, и он без усталости разыгрывал сражения между афинянами и спартамцами, и постепенно семья перенесла обеды на маленький столик около двери, чтобы не эвакуировать войска каждый раз, когда садились обедать... Когда Бела предлагала Мишеньке убрать с обеденного стола солдатиков, Гриша махал руками:

– Бела! Оставь парня в покое!

Отец спустил с верхней полки вниз запыленную «Всемирную историю», и от греков Миша успешно перешел к Александру Македонскому, а также к Пирру, Киру и прочим Ганнибалам...

К концу начальной школы Миша отыграл все крупные мировые сражения, включая и танковую операцию под Курском...

Гриша безмерно гордился сыном и одновременно очень боялся, что Бела его избалуует, превратит в маменькиного сына, и потому постоянно брал его на встречи со своими однополчанами. Девятое мая было их общим праздником: люди прошлой войны с орденами и планками на пиджаках, хромой дядя Боря-биолог и однорукый мостостроитель дядя Витя Голубец – все казались мальчику героями, и он научился гордиться своим одноглазым отцом, которого так любили друзья. Обычно встречались они в Парке культуры, шли в какое-нибудь среднепитейное место, где на столах лежали не скатерти, а липкие клеенки, пили пиво с водкой, ели раков, и Мише тоже давали кружку пива, которое он с детства привык считать самым главным мужским напитком. И он восхищался своим отцом, который – маленький, сухой и одноглазый – был среди своих товарищей не только равным, но и особо уважаемым: в те годы вся страна еще распевала военные песни, написанные на его стихи. Песни и впрямь были хорошие – с живой печалью о невернувшемся солдате, о горькой полыни на пыльной земле, о сладком дыме отечества...

Самый симпатичный из отцовских друзей, хромой Боря-биолог, разрушил семейную идиллию. Однажды в зимний будний день, около полудня, он проходил по улице Горького, около гостиницы «Националь», и столкнулся нос к носу с Белой. Ее вел высокий мужчина барского вида, а она висела на его руке и щебетала радостно и звонко. Увидев Борю, отвернулась. Из черной «Волги», ожидавшей вельможу, выскочил шофер и открыл дверцу. Бела шмыгнула на заднее сиденье. Пахло изменой.

Хромой Борис ночь не спал, всё колебался между честной правдой и подлым молчанием. Мысль о честном молчании не пришла ему в голову, и на следующий день он встретился с Гришей в пивнушке у Белорусского вокзала и доложил о положении вещей. Встреча фронтовых друзей заняла ровно пять минут. Выслушав сообщение, Гриша отодвинул пивную кружку и сказал громче, чем того требовали обстоятельства:

– Моя жена вне всяких подозрений, а ты, Борис, – трепло и сукин сын.

И ушел, оставив Бориса как оплеванного.

Потом Гриша позвонил жене, сказал, что уезжает на несколько дней в срочную командировку. И уехал в Смоленск, к другому фронтовому другу, и провел у него три дня, умеренно выпивая, вспоминая военные истории и ни словом не обмолвившись о событии, заставившем его удрать из дома.

В ночном поезде по дороге домой Гриша всё прикидывал, как жить дальше. Подозрений относительно жены у него не было – сразу оглушила уверенность, что так оно и есть: секретный этот человек, отец Миши, существует в Белочкиной жизни, и ничего с этим не поделаешь. Он представил себе, как уличит ее в неверности, и как она начнет плакать, и Мишка проснется, и надо будет ему что-то врать...

Бела тоже провела три нелегких дня. Она связала случайную встречу с Борисом и срочную командировку мужа, позвонила в редакцию, где ей сказали, что ничего про командировку не знают, вероятно, уехал от какой-то другой газеты. Ее так и подмывало позвонить Борису, узнать, что он такого наговорил, но удержалась. Он мог сказать только то, что он видел, а видел он ее с любимым человеком, с которым встречалась от силы раз в год, когда он приезжал в Москву из своего секретного места. Встреча с трудом обставлялась – в утренние часы, урывком, когда отводила Мишеньку в школу, и каждый раз – как будто молния испепеляла...

Бела так любила сына и мужа, что готова была жизнь за них положить. А за этого, изредка приезжающего, – бессмертную душу.

Три дня, пока Гриша отсутствовал, она маялась, роняла чашки, даже прикрикивала на Мишеньку, чтоб оставил в покое. И приняла решение – пусть будет всё как есть, как Гриша захочет. Никаких сомнений, что Борька-хромой настучал, у нее не было.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Гриша приехал на четвертый день, утренним поездом. Как всегда, с подарками – привез из Смоленска большую льняную скатерть с салфетками и Мише – книжку, сброшюрованную из белых листов. Неизвестно, где достал, таких в магазинах не продавали.

И всё. Ни слова. На поверхности – всё как прежде. В душе – обида, горечь, чувство вины.

В день рождения Гриши, девятнадцатого апреля, в день прорыва на Зееловских высотах, – оба выжили – чудо! – Боря первый раз за все годы не пришел. Бела не спросила почему. И так было ясно.

В школьные годы Миша много болел. Обычно на третий день болезни он просматривал учебники, сильно забегая вперед. Это опережение вошло в привычку: заканчивая очередной класс и получая новые учебники на следующий год, он сразу же их прочитывал – на что уходил день-другой, после чего он мог бы перешагнуть через класс. Но школ для особо одаренных детей не было, и у Мишеньки постепенно образовалась параллельная жизнь: кружковая. Началось всё с коктейля, куда Гриша возил семью каждый год отдыхать в писательский Дом творчества. Со времен Волошина там оставалась художественно-писательская колония, и среди этих московских дачников был некий философ Валентин Фердинандович, любитель астрономии, который с удовольствием показывал детям звездное небо из настоящего телескопа. Мише посчастливилось попасть в этот избранный круг небесных наблюдателей – беспорядочно покрытое звездами южное небо организовалось в созвездия, и бессмысленная россыпь стройно соотносилась с мифами и легендами Древней Греции. Это было волнующее открытие – наличие такой связи, и связь эта была гораздо более сложной, чем на обеденном столе, где двигались полки противоборствующих сил, или на шахматном поле, где связи были порой очень сложными, но уловляемыми. Скорее, это было не самое открытие, а его предчувствие: так искатель воды чувствует неведомым образом, что где-то в толще земли, в укромном месте живет источник, который можно разбудить...

Вернувшись в Москву, Миша начал ходить по субботам в астрономический кружок при Планетарии, и Бела, отложив хозяйственные дела, вела мальчика на Садово-Триумфальную и два часа ожидала его в вестибюле возле кассы. Два года он плавал в небесах, а потом оказалось, что самое интересное в этом занятии – математическая оценка погрешностей наблюдения. Так Миша прикоснулся к идее, которую в то время ему было не под силу сформулировать, но почувствовать ее он мог: физический мир дает повод для математических построений, а сама математика вытекает каким-то образом из физики мира.

Миша увлекся математикой, поменял Планетарий на университет, стал ходить в мехматовский кружок. Кружковая математика сильно отличалась от школьной: она оказалась иерархической наукой, замечательно встроилась в мир, расположенный между мифами и легендами Древней Греции и звездным небом. Сначала открылся мир чисел, разнообразный и богатый, потом обнаружили теория множеств с ее удивительными особенностями: одно бесконечное множество почему-то могло иметь больше точек, чем другое...

В тот год Миша занял второе место на Всесоюзной математической олимпиаде. Гриша, испытывающий, как истинный гуманитарий, пугливое отвращение к математике, к таланту сына относился с уважением. Розовощекий, инфантильный и нежный мальчик разбирался в таких вещах, которые Гриша не мог осмыслить.

Когда Мише исполнилось четырнадцать лет, мама познакомила его со своим старым другом. Велела надеть новый свитер и причесаться. Миша продрал щеткой буйные кудри. Мама надела короткое шелковое платье и старательно намазала губы красным сердечком. Прическу она сделала в парикмахерской еще накануне: волосы твердо стояли надо лбом, а с боков образовывали две полубаранки.

– Какая у тебя глупая прическа, – заметил Миша. Бела расстроилась и кинулась к зеркалу что-то поправлять.

Старый друг заехал за ними на машине с шофером. Они прибыли из другого мира – и черная сверкающая машина, и сам друг, высокий, как баскетболист, и красивый, как киноактер, с золотой звездой Героя, сверкавшей на лацкане серого пиджака... и даже шофер был необычный – тоже высокий, прямой, и с изуродованной кистью, спокойно

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru лежавшей на оплетенном какой-то сеточкой руле. Вид у шофера был такой, что в кармане у него мог лежать пистолет.

Старый друг вышел из машины, подал руку матери и Мише.

– Андрей Иванович, – представился он.

Миша буркнул невразумительное «здрась», и тот сразу же сказал:

– Очень приятно.

Андрей Иванович смотрел на него с серьезным интересом...

Шофер открыл заднюю дверку «Волги», и боковым зрением Миша заметил, что в подворотне стоят четверо его главных дворовых врагов. Собственно, это традиционно считалось, что они враги: побили они его всего один раз, когда Мише было лет восемь, но именно с тех пор мама победила папу и одного во двор Мишу больше не выпускала, а гуляла с ним исключительно в саду «Эрмитаж»... Настроение у Миши сразу поднялось: любить враги его сильнее не будут, но уважения точно прибавится. Они были из ремеслухи, эти ребята, и не знали, какой умный этот маленький еврей-очкарик. А знали бы – еще больше презирали.

Приехали в «Националь». Швейцары и официанты улыбались Герою, как старому знакомому, распахивали перед ними двери, склонялись почтительно и немного гнусно.

Многозначительного молчания и долгих взглядов было за столом гораздо больше, чем разговоров. Зато еда запомнилась Мише во всех подробностях: салат из чистых бело-розовых крабов, черная икра серого цвета в белых масляных розочках, котлета по-киевски, брызнувшая горячим маслом при нажатии вилкой прямо Мише в лицо, и всякие мороженые-пирожные в вазочках и с вилочками вместо обычных чайных ложек...

Мамин старый знакомый, видя Мишину увлеченность приемом пищи, не отвлекал его от процесса. Когда Миша всё съел и откинулся на стуле, поблескивая масляной щекой, Андрей Иванович спросил его, увлекается ли он всё еще... хотел сказать – солдатиками, но на ходу поправился – военной историей. Миша смутился, догадавшись про солдатиков: ему не хотелось, чтобы этот герой считал его маленьким, и он ответил уклончиво:

– Ну, есть еще много всяких других интересных вещей. Вот астрономия, например...

Миша не знал, что сидящий напротив него человек, академик и Герой Социалистического труда, один из отцов советского ракетостроения, разглядывает его с весьма сложным чувством: когда-то он дал слово этой трогательной, влюбленной в него много лет женщине отдать ребенка ее мужу и забыть, что он произвел его на свет, и теперь, по прошествии стольких лет, он просил, чтобы она познакомила его с этим мальчиком. Академик поглядывал искоса на смешного еврейского очкарика со следами брызнувшего на щеку масла из котлеты. Год тому назад он потерял сына – красавца, шалопая и спортсмена, взявшего из гаража отцовскую машину и разбившегося ровно через двадцать минут на мокром шоссе недалеко от Арзамаса.

Этот случайный ребенок, появлению которого он так противился, был теперь единственным побегом того самого дерева, которое должен посадить человек. Если не считать, конечно, железных ракет в небе и золотых наград, которые понесут потом на красной подушечке перед гробом.

Шофер высадил их не у самого дома, а немного не доезжая, на Петровке, и Миша пожалел, что они не остановились у подъезда. Одной рукой мама держала красную сумочку, а другой – Мишину руку. Шли молча. Миша переживал впечатления. Когда уже почти подошли к дому, мама спросила:

– Скажи, Миша, а если бы оказалось, что у тебя другой отец...

– В каком смысле? – удивился Миша.

– Ну, не наш папа, а какой-то другой человек, – пояснила мама.



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
– Это допущение? – спросил он серьезно.

– Ну да, допущение, – глупо хихикнула мать.

– Отца я очень люблю. Но если бы я принял такое допущение, я бы любил его еще больше. И уважал...

К разговору этому они никогда больше не возвращались.

Бела была смущена – сказала лишнего, а с Мишенькой надо осторожно: странный мальчик – иногда кажется не по годам наивным, иногда... Нет, нет...

Андрей Иванович стал Мише изредка звонить. Они встречались обычно возле «Националя», обедали. Разговаривали о науке. Андрей Иванович был не простой ученый, а человек с философией, и Мише с ним было очень интересно. Он был как будто не совсем материалист – говорил о возможности описывать одно и то же явление разными способами, интересно рассуждал о квантовой физике.

Однажды принес Мише книжку Шредингера – «Жизнь с точки зрения физика». Сказал, что со многим здесь не согласен, но книга стоит рассмотрения...

Когда Миша учился в девятом классе, его на Петровке сбила машина. «Скорая помощь» отвезла его в больницу Склифосовского. Позвонили домой и сообщили Беле, что у сына тяжелая черепно-мозговая травма и множественные переломы. Сначала Бела села на пол прямо возле телефона: ноги вдруг отказали. Потом она встала и позвонила Андрею Ивановичу. Когда она приехала с Гришей в больницу, ее встретил там Андрей Иванович. Он стоял перед операционной, ждал ее. Поздоровался с Гришей, который еле его заметил, отвел ее в сторону и сказал:

– Операцию уже начали, сейчас приедет главный нейрохирург страны.

И действительно, через десять минут распахнулись двери, вошел толстый лысый человек, поздоровался с Андреем Ивановичем за руку и исчез в операционной.

Два с половиной часа они молча просидели в коридоре: белая Бела в ситцевом халате, с подхваченными резинкой сидящими волосами, ставший совсем маленьким и старым Гриша и прямой Андрей Иванович с каменным лицом.

Потом нейрохирург вышел, за ним целая гурьба людей в белых халатах. Андрей Иванович встал. Бела с Гришей вжались в стулья. Нейрохирург опять пожал руку Андрею Ивановичу и сказал:

– Считайте, что пока очень повезло.

Бела, прижимая руки с облупленным лаком к груди, молитвенно припала к хирургу:

– А можно... можно на него посмотреть?

Хирург посмотрел внимательно и мрачно:

– Операция не кончена, там еще два перелома... Позже, позже...

И они ушли, двое недостижимых, академики, герои, главные люди страны, а Бела с Гришей остались в коридоре, и тут только Гриша понял, кто этот высокий человек... И он сжался еще больше, так что дальше – только исчезнуть. Через десять минут Андрей Иванович вернулся, сел на стул рядом с Гришей, неловко потянул за рукав, взял за руку, сморщил лицо:

– У меня сын погиб в автомобильной катастрофе. На месте. Вашему Мише повезло.

А потом светским движением взял Белочкину руку, поцеловал почтительно и вышел. Бела долго и тоскливо смотрела ему вслед.

Миша выжил. Гриша был счастлив. Гриша страдал и был счастлив. Горячий вопрос пек его днем и ночью – и это был уже другой вопрос, не тот, что мучил его прежде: а знает ли Миша о тайне своего рождения?

Но мальчик был жив, и Гриша не смел задавать глупых вопросов. Они спеклись в

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru золу – с горячим углем в сердцевине. И вокруг этого угля образовалась капсула. Так он с ней и жил, чувствуя постоянную и привычную боль, и грубую кору оболочки, и горящий уголь. Но привык.

Миша полгода провалялся – сначала в больнице, потом в санатории, потом, наконец, дома. За время болезни он вырос на двенадцать сантиметров, перерос Гришу, оброс темной бородкой и стал очень похож на фотографию Белочкиного отца, погибшего в Бабьем Яру вместе с тысячами таких же, как он, портных, сапожников, адвокатов и инженеров, играющих в шахматы или в футбол, рассуждающих как об отвлеченных проблемах, так и о стоимости серебряных ложек на черном рынке, пламенных коммунистов и скрытых антисоветчиков...

Миша, пока болел, перечитал гору книг. Читать много ему не разрешали, и он изобрел интересный вид скоростного чтения: глаз шел по строкам, захватывая сразу несколько, толстой змейкой, и получалось гораздо быстрее, чем обычно. За время выздоровления отец с сыном очень сблизились на литературной почве – Миша влюбился в Хемингуэя, а отец в это время взялся переводить Гарсиа Лорку, общим знаменателем стал испанский язык, и оба начали его учить.

Незадолго до конца третьей четверти, побрившись, Миша пришел в школу, и одноклассники – а особенно девочки – устроили по этому поводу замечательный визг. Фактически сорвали первый урок. Но это была литература, ее вел классный руководитель Феликс Анатольевич, умница, но и он был так рад, что велел сидеть тихо, а сам спустился вниз, вышел на улицу и принес из булочной пирожных.

Родители теперь усиленно и дружно тряслись над сыном. Бела, которая упорно провожала сына в школу до пятого класса, снова рвалась сопровождать его от дверей до дверей. Он сопротивлялся, сначала мягко, потом более решительно. В конце концов утвердилась такая схема: Миша выходил с портфелем на улицу, Бела одновременно выскакивала черным ходом, сбегала проворно с пятого этажа и кралась в отдалении, не выпуская его из виду. Так провожала она его до окончания школы.

С Андреем Ивановичем Миша обсудил свой выбор: он решил поступать на математическое отделение мехмата. Андрей Иванович советовал выбрать механическое – сам он был механиком. Мишу влекла чистая наука, прикладная математика представлялась ему иерархически более низкой... Андрей Иванович ухмылялся: он про себя давно решил, что у этого мальчика головка устроена отлично – гений не гений, но настоящий математический талант.

Мише предстояло поступление в университет на мехмат, куда евреев сильно не брали. Гриша отговаривал сына, советовал выбрать что-нибудь поскромнее. Но Миша, к большой гордости отца, поступил и так никогда и не узнал, что по его поводу был сделан Андреем Ивановичем очень неприятный для него телефонный звонок.

С Андреем Ивановичем Миша встречался регулярно, но не особенно часто. Они нравились друг другу: Миша ценил едкий юмор академика, умение задавать точные вопросы, был польщен дружбой столь знаменитого человека. В ту пору Андрей Иванович давно уже был раскоченным, напротив даже, пользовался всесоюзной известностью.

Андрею Ивановичу импонировало в Мише редкое сочетание таланта и простодушия, и он со смутным чувством ловил в длинноносом еврейском отроке свои фамильные черты: раздвоенный посредине подбородок, глубоко посаженные глаза.

Дома секрета из своих встреч с академиком Миша не делал, но сам этой темы никогда не поднимал. Гриша вопросов не задавал.

В университете дела Мишины шли хорошо: он уже не был, как в школе, безусловным фаворитом, на курсе училась еще пара вундеркиндов, и они ревниво приглядывались друг к другу. На третьем курсе Миша определился: его привлекла относительно новая область функционального анализа – операторные алгебры и квантовый функциональный анализ.

Рост Миши в математической сфере сопровождался и ростом физическим: обычно этот процесс останавливается у мальчиков годам к восемнадцати, а он прибавлял по три сантиметра в год до двадцати двух и из мелкого подростка превратился в высокого, несколько астенически сложенного мужчину. С годами прибавилось свободы в обращении и уверенности в себе.

Когда Миша защищал кандидатскую диссертацию, Андрей Иванович пришел на ученый совет. Молча просидел всю защиту, оценил работу, которую понял лишь в общих чертах, без деталей, отмеченных особенным профессиональным остроумием и элегантностью. Прийти на банкет академик отказался, очень удивив этим Мишу. Лишь на следующий после защиты день Миша сообразил, почему тот не пришел: в сущности, это был день торжества не его, Андрея Ивановича, а родителей диссертанта. Бела Иосифовна с красным сердечком на губах, в парикмахерской прическе и Григорий Наумович в новом пиджаке цвета маренго с яркими планками военных наград на лацкане праздновали счастливейший день своей жизни. Андрей Иванович был здесь, в сущности, ни при чем.

Мишу после окончания аспирантуры оставили в университете. Он преподавал спецкурсы по своим экзотическим математикам и занимался научной работой – писал маленькие аккуратные значки, складывал их в строчки, а между ними отчетливым почерком вставлял: из равенства следует... рассмотрим соображение... дальнейшее очевидно...

Между тем у Миши появилась девушка по имени Марина – курносая толстушка, врач, веселая и простая в обращении. Миша доверчиво привел ее в дом, познакомил с родителями. Когда он пошел ее провожать, у Белы случился сердечный приступ. Может, не совсем приступ, но она рыдала и хваталась за сердце.

– Если Миша женится, я этого не переживу, – объявила она мужу.

Гриша испугался – заявление жены казалось ему безумным, но, приняв во внимание и впрямь безумную любовь жены к сыну, а также ужасное прошлое, лишившее молодую девушку в один час всех родственников, успокоил ее тем, что Миша не из породы мужчин, которые рано женятся.

Это несколько утешило Белу. Жениться Миша вообще-то и не собирался, однако почувствовав полное нежелание матери видеть в доме представительниц женского пола, устраивал с тех пор свою личную жизнь с Мариной вне родительских стен.

Более всего Мишу интересовали маленькие значки на бумаге и огромные умозрительные пространства, которые за ними стояли. Отец Миши, гордясь малозаметными достижениями сына, был плохим собеседником. Зато с Андреем Ивановичем беседы были всегда интересными, хотя он тоже не мог полностью вникнуть в отвлеченные умственные игры Миши.

В одну из встреч произошел знаменательный разговор: давно уже овдовевший академик сообщил ему, что в прежние годы он представлял собой для женщин значительную опасность, теперь, напротив, женщины стали представлять опасность для него: количество претенденток на его осиротевшую руку всё возрастает, подруги покойной жены производят на него облаву, и он собирается принять ответственное решение – жениться. Миша одобрил это намерение, равно как и единственную серьезную кандидатуру – бывшую аспирантку Андрея Ивановича, Валентину, отношения с которой, как Миша догадывался, длились с незапамятных времен... После этого разговора Валентина уже не уходила из дому, когда Миша приходил к Андрею Ивановичу – подавала чай, приносила покупное печенье и подарочные наборы с шоколадными конфетами.

В стране царил удобный застой, перемен боялись – только бы не хуже. Жили медленно и пугливо. Раз-два в год Миша публиковал свои небольшие по размеру статьи в математических журналах. Всё чаще – в иностранных. Его постоянно приглашали на какие-то математические международные конгрессы и семинары, он посылал доклады и не ехал: не выпускали. Он сочинял докторскую диссертацию. Милая Марина существовала на окраине его жизни, стабильно и нетребовательно. Регулярно, раз в год, она делала рывок и пыталась с Мишей расстаться. Предложения Миша всё не делал и, более того, объявил Марине раз и навсегда, что пока жива мама, он жениться не может.

Расстроенный очередной отставкой, Миша звал бывших одноклассников в пивной бар, они приезжали, вырвавшись из семейных пут, проводили несколько часов в мужской компании, и душевное равновесие Миши восстанавливалось. У Миши, как и у его отца, была потребность в мужской дружбе, поддерживаемой умеренной дозой алкоголя.

Гришины однополчане и Мишины одноклассники создавали надежный мужской мир, в котором огорчения, вносимые в жизнь женщинами, совершенно растворялись, по крайней мере временно.

Марина, потосковав пару месяцев, звонила Мише, и отношения восстанавливались, каждый раз всё менее радостные.

В годы, когда родители постарели, сам Миша заметно облысел, особенно со лба, а на худом теле обозначился живот, произошло очень значительное событие: после пятого или шестого разрыва Марина сообщила Мише, что беременна. Это сообщение выбило Мишу из равновесия. Он определенно не хотел ребенка. Он не хотел его настолько, что предложил Марине немедленно пожениться, если она избавится от ребенка. Она изумилась. Она не понимала – почему? А Миша не мог ей объяснить своего иррационального ужаса перед крошечным зародышем, который, родившись, начнет высасывать жизнь из родителей. Он говорил невнятные, ужасные вещи об отвратительной тайне зачатия, о своем онтологическом нежелании становиться отцом еще одному несчастному существу, обреченному на страдания и унижения... Марина, вместо того, чтобы заплакать, горько засмеялась и велела ему немедленно уходить.

Когда он ушел, Марина всё же заплакала. Потом подошла к зеркалу – зрелище было плохонькое: толстая усталая женщина со вторым подбородком, на все сорок, хотя на самом деле – всего тридцать пять. Она погладила себя по животу: молодости не было, красоты не было, но ребеночек-то есть – и утешилась.

Миша был вне себя. Он перестал спать, потерял аппетит. Главная и важнейшая для Миши часть мира, его взлетная площадка и чистилище – письменный стол, время от времени нежно протираемый матерью, не сдвигающей листов бумаги с места, – отвернулась от него. Он не мог работать.

Надо было что-то предпринимать.

С отцом он советоваться не стал, поехал к Андрею Ивановичу.

Между Андреем Ивановичем и Мишей стояла бутылка армянского коньяка, который оба они потребляли со вкусом, но в умеренных количествах. Миша рассказал Андрею Ивановичу о своем несчастье – именно так он квалифицировал ситуацию.

Андрей Иванович налил еще по рюмке, они выпили. Он поставил рюмку и произнес одну из самых длинных фраз за всё время их знакомства:

– Брак – ответственное предприятие. Он не имеет никакого отношения к тому, что в молодости мы называем любовью. У меня был очень хороший брак с моей покойной женой именно потому, что был построен не на любви. Но к детям брак тоже не имеет отношения. Хотя у нас с женой был сын, ты знаешь... Он рано погиб, а мы с женой остались близкими друзьями, партнерами в большой игре, никогда не мешали друг другу и, напротив, всегда старались помогать. Ребенок не представляется мне необходимым условием брака, а тем более его предпосылкой.

Миша слушал со вниманием, не мог понять логики этой пространной тирады, но уже испытывал некоторое облегчение. Андрей Иванович продолжал:

– Ты говоришь, что эта твоя Марина – порядочный человек, любит тебя, как это у женщин принято, неглупа... Женщинам свойственно инстинктивное поведение. Пусть родит ребенка. Запретить все равно невозможно. В конце концов, можно и жениться. Не обязательно жить вместе...

– Но я не хочу ребенка! – взвыл Миша.

Андрей Иванович улыбнулся:

– Миша! Мужчины редко хотят потомства. И чем выше интеллект, тем менее...

И вдруг что-то изменилось, переломилось, и стало как будто легче. Об этом можно было говорить, рассматривать эту безумную историю рационально...

– Мама сказала, что она не переживет, если я женюсь... покончит самоубийством, сойдет с ума...

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Переживет. Родится ребенок, и она будет сходить с ума от любви, – холодно заметил Андрей Иванович.

Миша не заметил, как принял решение. Поехился, допил рюмку:

– Да как ей об этом сказать?

Андрей Иванович помолчал, постучал большими ногтями по ножке бокала:

– Ну, в конце концов, я сам могу об этом сказать Беле Иосифовне.

Свадебный ужин устраивали в доме Андрея Ивановича, в узком семейном кругу. Пригласили только Мишиных родителей и свидетелей, то есть еще две пары.

Приехали на двух такси. Стол был накрыт на десять персон – остатками английского фарфора. Бокалы и рюмки успели пострадать за годы вдовства хозяина, к тому же приобретая новый статус Валентина не знала, что идет для шампанского, что для коньяка, и поставила всё вперемешку.

Елизаветинская люстра висела над большим столом карельской березы, шелковая обивка стульев обветшала, и местами торчали пружины. Марина, уже изрядно пузатая, была не готова к этому неожиданному празднику: Миша не предупредил ее об этом семейном приеме.

От своей матери Марина всегда скрывала всё, что можно было скрыть, включая это запоздалое замужество. Другая, совсем другая семья была у Марины. Родители всегда ссорились – мать кричала и ругалась, отец швырял чем попало, братья дрались, а по праздникам все дружно напивались, чтобы начать всё сначала...

Здесь было всё иначе: говорили тихими голосами, улыбались, кивали согласно головами. Но ведь Марина помнила, как приняла ее Бела Иосифовна первый раз десять лет тому назад. И теперь единственным славным лицом показалась ей Валентина, подававшая на стол. Но было непонятно, кому и кем она здесь приходится – может, прислуга?

Марине хотелось, чтобы всё поскорее кончилось.

На Беле Иосифовне был ее последний костюм бордового цвета, сшитый восемь лет тому назад в литфондовском ателье. Она была возбуждена, всё внутри тряслось от чувств, но она не знала, что с ней происходит: счастлива ли она или, напротив, безумно несчастна. Всё было одновременно. Первый раз в жизни любимые мужчины ее жизни находились вместе – сын, муж и отец ее ребенка. Ее слабая голова еле выдерживала это напряжение – волнующая и горестная передача дорогого мальчика в чужие руки, присутствие человека, которого она всю жизнь боготворила, подарившего ей чудо ее жизни, Мишеньку, и одновременная женитьба сына на немолодой женщине с простонародным лицом, сильно беременной, и тут же, как во сне, муж Гриша – защитник, кормилец и опора жизни... Ей казалось, что она сама выходит за кого-то замуж, и, может быть, происходит что-то еще более значительное...

После того, как выпили за молодых, прокричали «горько!» и Миша неловко поцеловал Марину, Андрей Иванович что-то тихо сказал женщине в простом платье, которая подавала на стол, а она улыбнулась и шепнула ему на ухо слишком интимным для прислуги образом, что не понравилось Беле Иосифовне, и она спросила у Миши шепотом:

– А кто эта дама в сером платье?

Марине тоже хотелось спросить у Миши, кем же ему приходится хозяин этого дома, но решила отложить на потом.

Тут встал Гриша с бокалом шампанского.

– Я предлагаю тост за советскую науку, за того, кто вывел этот корабль, небесный корабль, – развивал мысль Григорий Наумович, и это было очень здорово и художественно! – на такие высоты, какие никому, кроме России, достичь не

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru удавалось! За того, кто большую часть своей жизни в неизвестности трудился, не рассчитывая ни на награды, ни на славу! За служение, выше которого нет ничего на свете! За всё то, что соединяет нас вместе в этот счастливый вечер!

Все выпили. И тогда встал Андрей Иванович и тоже поднял бокал с шампанским. Он возвышался над столом, над всеми стоящими гостями на полголовы, а над Григорием Наумовичем – на полторы.

– За солдат, которые сложили головы на фронтах Великой Отечественной войны, за тех, кого всю жизнь воспевал Григорий Наумович! За Григория Наумовича, который прошел все фронтовые дороги с блокнотом и карандашом, чтобы прославить нашу Родину и ее людей, за большого поэта и благородного человека!

Марина еще раз спросила у мужа, кем приходится ему Андрей Иванович.

– Старый друг нашей семьи, – шепнул Миша.

Женитьба мало что изменила в Мишиной жизни. Он по-прежнему жил с родителями, навещал жену и маленького Мишеньку. Бела не успела полюбить внука, поскольку вскоре после свадьбы у нее случился инсульт. Еще целый год она пролежала в постели, никого не узнавая, безразличная ко всему на свете. Марина предлагала переехать с ребенком к Мишиным родителям, но Миша махал руками:

– Что ты! Что ты! Это ее убьет!

И ухаживал за матерью старательно и неумело.

Андрей Иванович стал часто звонить, и они с Гришей подолгу разговаривали по телефону. Хорошего собеседника трудно встретить в жизни, а особенно в годы, когда всё течение нарушилось, пошло кувырком и в головах у людей хаос и суета.

Однажды, незадолго до ее смерти, академик навестил Белу. Она лежала в перестеленной неумелыми мужскими руками постели, в комнате пахло бедной больницей с плохим персоналом. Бела была безучастна и неподвижна. Увидев Андрея Ивановича, она встрепенулась и пошевелила обеими руками, как будто хотела их поднять.

Григорий Наумович стоял в дверях, а Миша его ласково поддерживал: единственный Гришин глаз сильно сдал в последнее время. Григорий Наумович был самым молодым из них троих, но все они вступили в девятое десятилетие.

Да и Мишеньке самому было уже за сорок.

Через два года никого из стариков уже не было. И тогда Миша рассказал Марине всю эту историю. Марина плакала и не понимала, как можно было сорок лет молчать.

– Чего же тут не понимать? Благородные люди.

Они жили долго...

Они жили долго...

Они были так долго старыми, что даже их шестидесятилетние дочери, Анастасия и Александра, почти не помнили их молодыми. За свою длинную жизнь они успели потерять всех родственников, друзей, соседей – целыми домами, улицами и даже городами, что не удивительно, поскольку они пережили две революции, три войны, без счета горестей и лишений. Но они, в отличие от тех, кто умер, с годами становились только крепче.

Николай Афанасьевич и Вера Александровна, каждый по-своему, шли к вечной жизни: муж приобретал прочность и узловатость дерева и очертания птицы-ворона, носатого, неподвижного в шее. Мужское полнокровное мясо высыхало, сам он покрывался всё более гречневыми пятнами, сначала на руках, а потом и по всему телу, и из бывшего блондина превратился в темнолицего, картонного цвета, большого старика с коричневой зернистой лысиной. Жена старела в направлении благородного мрамора: желтоватый оттенок, имитация тепла и жизни в холодном лице, угрожающая монументальность.

Прежде врачи всегда рекомендовали Вере Александровне сбросить вес, сесть на

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) диету – она лет пятьдесят тому назад даже ложилась для похудения в Институт питания к профессору Певзнеру, но после восьмидесяти лет про вес врачи больше не говорили. Она всегда питалась так, как считала нужным, если только продовольственные обстоятельства, всегда тесно связанные с политическими, это позволяли. Схема питания Веры Александровны была строгая – завтрак, обед и ужин, и никаких немецких бутербродов там не предусматривалось. Главное, чтобы продукты были качественные и еда свежей, то есть не разогретой, а только что приготовленной.

В голодные времена она проявляла большую изобретательность в составлении меню обеда при наличии двух исходных продуктов – пшена и картофеля. Николай Афанасьевич всегда снабжался по хорошей категории, поскольку стал профессором еще в конце двадцатых годов и преподавал нужный всем инженерам предмет – сопротивление материалов – в старейшем институте Москвы.

Каждый из супругов по-своему являл собой образец высокого сопротивления тех материалов, из которых были построены. Вера Александровна, со своей стороны, поддерживала это сопротивление семейных организмов с помощью правильно налаженного питания.

Давно отошли в прошлое те годы, когда она собственноручно мыла, чистила и варила – к этому теперь были приспособлены дочери. Родились они вопреки всем медицинским прогнозам после многолетнего бесплодного брака, во времена, когда бездетность перестала огорчать Веру Александровну и даже стала видиться как некоторое преимущество. Явились вдвоем, неожиданно-негаданно, и предоставили матери новое поле деятельности – до этого она жила мужней женой, избегая не столько работы, сколько момента заполнения анкеты, связанного с любым трудоустройством: происходила Вера Александровна из старого княжеского рода. Фамилия ее, скромная на слух, известна была каждому русскому по учебникам истории и старым названиям улиц.

Николай Афанасьевич, несмотря на свою аристократическую внешность, был из крестьян Тамбовской губернии, отец погиб в империалистическую войну. Такова была анкетная правда, защитившая семью от гонений. Сам Николай Афанасьевич был человек осторожный, к тому же и хитрый: всю жизнь прикидывался, что недослышит. На службе считался чудаковатым, но специалист был превосходный, и расчеты всех сооружений периода развернутого строительства социализма обыкновенно попадали к нему на стол для проверки. Он был хорош и как теоретик, но в практических делах считался самым авторитетным...

Глубокая гармония была между супругами. В том, что делала Вера Александровна, был тот же самый почерк, что и у мужа: точность, тщательность, презрение к любой приблизительности. Пирожки у Веры Александровны были сделаны по тому же рецепту, что расчеты Николая Афанасьевича, – безукоризненно.

Науки благородных девиц – домоводство и рукоделие – Вера Александровна преподавала дочерям со всеми подробностями и деталями, давно уже никем не востребованными: кому теперь было нужно знать, как делать мережку, чистить в домашних условиях фетровые шляпы и готовить профитроли превосходные из муки конфектной... Всё это, конечно, шло в добавление к тем предметам, которые Александра и Анастасия проходили в обыкновенной советской школе. Значительная часть материнских познаний была преподана им в те три года, что жили они в городе Куйбышеве, в эвакуации, и девочки сопровождали мать не на родственные именины и визиты, а на колонку, с детскими ведрами и бидонами: воды для всякого рода гигиенических целей требовалось много, а водопровод в зимнее время часто промерзал, и городское водоснабжение нарушалось.

С самого раннего детства завелась в головах двух полуаристократических девочек некоторая шизофрения: шов между всеобщей жизнью и их домашним бытом был нестерпимо груб. Сверстники их не принимали, да и они сами всегда чувствовали полную неспособность слиться с коллективными чувствами – радости ли, гнева или энтузиазма. Это компенсировалось их особым двуединством, иногда случающимся у близнецов.

Мать была с ними строга и требовательна, отца они видели мало – он всегда работал сверхсильно, сверхурочно, без выходных и праздников. Перед отцом они обе благоговели, а матери побаивались. И любили родителей безоговорочной рабской любовью.

Годам к пятнадцати способные девочки были научены полному объему дамских наук, включая и небольшой французский язык, преподанный матерью. В школе они учились очень хорошо, но Вера Александровна приняла решение, что высшего образования им не надобно: у нее самой такового не было. Когда Вера Александровна сообщила об этом мужу, он с ней не согласился. Между супругами чуть ли не впервые в жизни возникло разногласие, которое быстро выветрилось: Николай Афанасьевич привык во всем, что не касалось его профессиональной деятельности, полностью доверяться жене. А жена считала, что девочки, получив, например, профессию медицинских сестер или библиотечных работников и выйдя замуж за порядочных людей, достойно пройдут свое жизненное поприще. Ко всему прочему, она боялась пребывания на виду, в свое время даже отсоветовала Николаю Афанасьевичу идти на повышение, которое ему предлагалось. Возможно, тем спасла жизнь ему и всей семье...

– Не надо лишнего. Медсестра – хорошая профессия, во все времена нужная, не останутся без куска хлеба. И не забывай, Николай, что девочки наши – отличные хозяйки, – не без гордости добавляла Вера Александровна. – А мы стареем, и в доме будет медицинская помощь...

– Может быть, тогда уж лучше в медицинский институт? – сделал последнюю попытку Николай Афанасьевич.

– Нет, нет, это слишком тяжелая профессия, – закрыла тему Вера Александровна, и Николай Афанасьевич, требующий от своих студентов ясности мысли и логической последовательности в рассуждениях, смолчал. Жену Веру он любил больше, чем ясность мысли или логику.

Девочки, закончив школу, поступили в лучшее в Москве медицинское училище и через три года стали медицинскими сестрами – обе получили красные дипломы... Эти дипломы, между прочим, давали большие преимущества при поступлении в медицинский институт. Но они пошли работать в Боткинскую больницу.

Тут открылось еще одно достоинство профессии: работа в отделениях была суточная, и расписание можно было составить таким образом, чтобы одна из дочерей всегда была под рукой у Веры Александровны – для услуг, разговоров, мелких поручений и основных обязанностей, связанных с приготовлением обеда, тщательной уборкой квартиры и непременно послеобеденной прогулкой по Староконюшенному переулку.

С некоторых пор Вера Александровна перестала выходить на улицу одна. Рослая, в большой шубе зимой и в легком труакаре летом, она плыла в сопровождении одной из двух своих незначительных дочерей, которые и ростом не вышли, и лицом были невидные, и в ее руках была одна из трех ее заслуженных сумочек, черная замшевая, коричневая кожаная или белая старая, а в руках у дочери была непрременная хозяйственная сумка, авоська, в более поздние годы – пластиковый пакет, откуда торчал рыбий хвост или свекольная ботва – какой-нибудь боевой трофей. Одеты они всегда были скромно: жесткие белые воротнички, юбки в английскую складку, но держали спины прямыми, плечи опущенными вниз – «не горбиться, не горбиться!» – с детства одергивала их мать, и ступни они ставили на землю неприметно-особым образом.

Пока дочерям не исполнилось тридцати, Вера Александровна считала, что они слишком инфантильны, чтобы думать о кавалерах, а когда им за тридцать перевалило, она пришла к мысли, что брак вообще не для них. Николай Афанасьевич жене никогда не возражал, а с годами он научился думать таким образом, как будто он и был Верой Александровной. Вера Александровна, со своей стороны, так чутко чувствовала все мужние движения, включая и желудочные, что успевала приказать дочери сварить ромашковый чай за десять минут до того, как он начинал испытывать тяжесть в желудке и колотье в боку...

В восемьдесят лет у Веры Александровны открылся диабет, и последние пятнадцать лет своей жизни она не употребляла сахара, что усложнило приготовление десертов: заменители сахара не выдерживали тепловой обработки, и Анастасия и Александра часами крутили мороженицу, чтобы получить продукт, лишенный сахарной вредности, но обладающий сладостью.

У Николая Афанасьевича в эти же годы нашли ишемическую болезнь сердца.

Родители решили, что в связи с ухудшением их здоровья дочка должна выйти на



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru пенсию: по возрасту им не хватало лет пяти, но трудового стажа у Анастасии и Александры был даже избыток: он подходил к тридцати годам.

Александра вышла на пенсию, Анастасия отказалась. Вера Александровна тяжело пережила этот бунт на корабле, но пятидесятилетняя дочь упрямо держалась своего, и слово, беспрекословное материнское слово, первый раз в жизни оказалось бессильным. Единственное, чего удалось добиться, – дочь перешла из отделения, где была работа сменная, в поликлинику, в рентгеновский кабинет, где режим работы был ежедневным, а рабочий день укороченным.

Александра, узнав о решении сестры, долго плакала: от зависти. Сама она не смогла пойти против материнского желания, и протест Анастасии, настоящая революция, вызвал в ее душе целую бурю чувств. Прожившие всю жизнь в добровольном подчинении, сестры почти срослись в единый организм – или механизм, выполняющий определенную функцию, и своим неподчинением Анастасия ломала эту слаженную машину.

С этого времени жизнь сестер изменилась: Анастасия каждое утро в семь часов выходила из дому с бутербродами в сумке, а Александра развязывала марлевый мешочек с домашним творогом для мамы, с вечера подвешенным над раковиной, вынимала из холодильника яйцо, чтобы оно согрелось прежде опускания его в воду, и сорок минут варила овсянку, помешивая ее большой серебряной ложкой. Завтрак подавался в восемь часов тридцать минут, обед – в два, и приходившая в три часа Анастасия обедала на кухне одна, в то время когда Вера Александровна совершала свою неторопливую прогулку в сопровождении Александры. Анастасия в одиночестве с отвращением проглатывала суп – она с детства ненавидела супы, – брала себе котлетку, разрезала надвое и устраивала бутерброд. И мама, отсутствовавшая, не знала о творившемся безобразии. Папа же пребывал в этот час в послеобеденном отдыхе...

Вечерние часы Анастасия смиренно посвящала родителям: она готовила ужин, который по семейной традиции был главной трапезой дня – так установилось с тех времен, когда отец приходил с работы и в семь часов вся семья встречалась за столом. Блюд обычно было два: рыба и запеканка, ростбиф и суфле, иногда птица и что-нибудь фруктовое... Меню составляла Вера Александровна днем ранее. С середины восьмидесятых годов с продуктами опять начались сложности, но Николай Афанасьевич имел государственную поддержку в виде продуктового заказа, получаемого Александрой по пятницам в сороковом гастрономе. Раз в три дня приезжала из Подмоскovie совершенно фантастическая молочница – как привет из исторического прошлого. Ей заказывали иногда и огородные овощи.

Родители держали хорошую форму. Несмотря на диабет, суровые ограничения и ежедневные уколы, Вера Александровна, потерявшая, наконец, те лишние килограммы, о которых всю жизнь говорили ей врачи, хотя и жаловалась на слабость, но каждый день выходила на прогулку, читала книги и смотрела телевизор. Отпраздновали ее девяностолетие.

Отец хуже переносил тяготы возраста, стал еще более молчалив и только отвечал на вопросы жены, сам же ни о чем не спрашивал. Но в обществе жены по-прежнему нуждался: вечерами приходил в большую комнату и садился в кресло, на свое всегдашнее место. Дремал.

На девяносто пятом году жизни у Веры Александровны началась диабетическая гангрена. Дочери делали повязки со всеми известными мазями, травами и составами. Но чернота ползла вверх, и остановить ее не удавалось. Наконец приехавший из ведомственной поликлиники хирург объявил, что единственный шанс выжить – ампутация ноги.

Мать отвезли в больницу. Анастасия срочно уволилась и переселилась в палату. Накануне операции вечером, после клизмы, обтирания, заменившего мытье, и ночного поцелуя, Вера Александровна сказала дочери просто, без обиняков:

– Простите меня, я от вас всю жизнь скрывала наше происхождение.

И она назвала княжескую фамилию...

На Анастасию это не произвело ни малейшего впечатления:

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
– Да что ты говоришь? Кто бы мог подумать...

И она в десятый раз проверила, не образовалась ли коварная складочка на простыне, под ягодицами у матери: до сих пор у Веры Александровны не было никаких пролежней, но малейшая небрежность была опасна...

Александра по-прежнему оставалась при столах. Вера Александровна оказалась в больнице первый раз в жизни, если не считать родильного дома, где рожала дочерей больше шестидесяти лет тому назад...

Теперь Александра, подав обед отцу, ехала в больницу с едой для сестры и матери, завернутой в специальные шерстяные торбочки, сшитые из старых кофт в тот самый день, когда мать госпитализировали. Анастасия находилась при матери неотлучно.

Николай Афанасьевич не находил себе места: в отсутствии Веры Александровны он весь разладился, ходил из угла в угол, забывал, зачем и куда идет, потом уставал, садился в кресло, засыпал на десять минут и снова вскакивал, начинал ходить, как будто что-то искал...

Умерла Вера Александровна на десятый день после операции, может, от инфекции, может, от самой операции, но скорее всего от достижения положенного предела.

Сестры молча ехали домой, с сумкой, полной переживших маму вещей – кружка-поильник, фланелевая спальная кофта, носовые платки с мамиными инициалами, щипчики, ножницы, шпильки... Увозили и завернутое в газету собственное подкладное судно.

Отец сидел в кресле, свесив голову набок, и лысая старая голова, утонувшая в коричневом шарфе, была беззащитна, как птичье яйцо. Когда дочери вошли, он встrepенулся:

– Вас долго не было... Как мамочка?

– Всё по-старому, папа.

– Пора ужинать, – заметил он.

Поужинали судаком по-польски и яблочным муссом. Сказать ему о смерти матери не смогли. Молчали. Отец после ужина попросил сделать ему ванну.

Они уже много лет мыли стариков под душем, всё было продумано и учтено – специальная лесенка, чтобы поднимать их в ванну, и пластмассовый садовый стул, на который, покрыв сиденье сложенным вчетверо махровым полотенцем, их усаживали, и тазик для распаривания каменных старческих ногтей и мозолей... А он вдруг попросил ванну.

– Папочка, после ужина не очень хорошо принимать ванну. – Анастасия попыталась отклонить предложение.

– Шура, ты меня побреешь и пострижешь мне усы, – сказал он, не слыша возражения. На самом деле никто не знал, каково состояние его слуха: иногда, казалось, он действительно ничего не слышит, но временами слышал отлично...

– Папочка, мы тебя мыли третьего дня, не помнишь? – сделала еще одну попытку Александра.

Он категорически не слышал.

– Тебе ванна не полезна, может быть, сделаем душ? – прокричала Анастасия.

– Минут через десять. Деточка, проводи меня в уборную... – как ни в чем не бывало продолжал отец.

Сестры переглянулись. Александра пошла готовить ванну, Анастасия повела отца в уборную.

Отца вымыли, побрили, подстригли ногти на руках и на ногах, укоротили усы.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Это длинное и трудоемкое мероприятие отвлекло их. Они всё делали ловко, четырьмя руками, как двумя, не задумываясь над привычной процедурой.

Надели свежую пижаму, в серо-голубую полоску, дали вечерние лекарства и уложили в двухспальную постель с левой стороны: родители всю жизнь так спали – он слева, она справа.

– Ступайте, ступайте, – махнул старик в направлении двери и рассеянным жестом пошарил на тумбочке. Нашупал очки и махнул им еще раз. – Ну, ступайте...

Сестры долго сидели за столом, всё никак не могли решить, как будет правильно: похоронить мать, не сказав ему об этом, было невозможно, а необходимость сообщить отцу о ее смерти была настолько мучительна и тягостна, что даже сама смерть матери куда-то отодвинулась. Они тихо, но горячо спорили о том, как сказать отцу и говорить ли вообще, а если говорить, то когда... А если не говорить, то как долго они смогут скрывать...

День похорон еще не успели наметить, надо было всё организовать, а они совсем не знали, как это делается. И никакого места на кладбище, никакой семейной могилы не было...

Они сидели допоздна: говорили, молчали, плакали... Потом легли спать – в маленькой комнате, которая до сих пор называлась детской. Спали они на узких кроватях, застеленных белыми тканевыми покрывалами со многими штопками.

Встали рано, чтобы ехать в больничный морг, обо всем договариваться. Александра забыла с вечера подвесить творог, и теперь он уже не успеет приобрести нужную консистенцию... Умылась и пошла варить кашу. Отец обычно просыпался в половине восьмого, кашлял. Но было уже без четверти, а он всё не выходил.

Александра постучала и вошла. Он еще не проснулся.

Он вообще больше не проснулся, и сестрам не надо было теперь тревожиться о том, как сообщить ему о смерти матери. Возможно, она сама нашла способ.

\* \* \*

Хоронили их в один день, на новом далеком кладбище, в первые декабрьские морозы. Могилу вырыли мелко, но никто не мог надоумить сестер, что надо бы приплатить могильщикам, чтоб вынули еще сантиметров тридцать. Там, в глубине, земля не была такой промерзшей, как по верху.

Только они две и были на похоронах. Анастасия накануне позвонила к отцу в институт, но как-то неудачно. Из тех, кто знал Николая Афанасьевича, никого не нашлось. Его забыли. С соседями родители давно уже не знали. Родня, как известно, вымерла... Они долго, слишком долго жили, так что успели пережить даже память о себе.

Прошло несколько тягостных, бесконечно длинных дней в пустом доме, где никому ничего не было нужно. Сестры бродили по квартире, не решаясь ничего тронуть ни в родительской, то есть в маминой комнате, ни в кабинете отца. Да и разговаривать было не о чем. Александра автоматически варила обед, автоматически его съедали, белоснежной тряпочкой смахивали пыль, собрали и постирали постельное белье, накрахмалили, погладили тяжелыми утюгами. Застелили чистым бельем родительскую постель.

Наконец Александра понуро сказала:

– Знаешь, Ася, жаль, что мы неверующие. Пошли бы сейчас в церковь.

– Хочешь, и иди, – пожала плечами Анастасия.

– Ты думаешь, можно? – подняла голову Александра.

– Нам теперь всё можно, – засмеялась Анастасия.

– А почему мама так ненавидела церковь, ты не знаешь? – посвежевшим голосом спросила Александра.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Анастасия посмотрела на сестру:

– Шура, я забыла тебе сказать: мама перед смертью открыла свое происхождение. Мы по материнской линии... – и она назвала девичью фамилию матери. – Теперь понимаешь, почему у нас в доме ни одной фотографии, ни одной бумажки. Они ужасно боялись прошлого. А церковь... не знаю. Она однажды обмолвилась, что в детстве очень любила Пасху, ходила к службе. Я думаю, она на Бога обиделась.

– За что? – изумилась.

– Не знаю я, за что... Кажется, за дело...

\* \* \*

Прошло еще несколько дней. Настала оттепель. Всё потекло, расквасилось, и настроение стало хуже прежнего. Сели обедать. Грибной суп. Судак по-польски.

– Как же мы будем теперь жить, Ася? – тихо спросила Александра.

Анастасия взяла тарелку с нетронутым супом, пошла, осторожно держа ее на вытянутых руках, в уборную, вылила суп, вернулась и поставила тарелку в мойку.

– Мы будем жить хорошо, Шура. Мы просто начнем жить. Для начала мы перестанем готовить.

– Как это? – изумилась Александра.

– А так, – ответила Анастасия.

И они начали жить. Закрыли навсегда крышку газовой плиты и купили электрический чайник.

После многих лет скудности магазины как раз наполнились невиданными продуктами, и они покупали сыр, колбасу, заграничные паштеты в баночках, консервы и готовые салаты в кулинарии, с казенным майонезом, а не с тем, который часами сбивали в эмалированной кастрюльке, покупали пирожные и мороженое, сделанное не домашним долгим способом, а фабричным, негигиеническим и нездоровым, с высоким содержанием холестерина, сахара и всего самого вредного, что бывает.

Александра пристрастилась к кофе, Анастасия покупала вино, и они каждый вечер выпивали по бокалу, с бутербродами.

Через полгода после смерти родителей Анастасия принесла сестре письмо от родственников из Франции: она разыскала мамину родню, которая успела бежать из России во время революции. Оказалось, что у мамы была родная сестра-близнец Анна, и она была еще жива, обитала в русском пансионе под Парижем. И обнаружилось множество двоюродных братьев и сестер, племянников, разнообразной родни, и сестры занялись генеалогическим исследованием, и это занятие завело их так далеко, что в середине следующего года они выправили себе заграничные паспорта и выехали по приглашению кузена Федора на свидание с родственниками в Париж. Правда, мамина сестра Анна умерла, не дожив двух месяцев до приезда племянниц.

Срослась семейная ткань. Анастасия и Александра разглядывали фотографии, на которых целый выводок нарядных детей и подростков праздновал начало многообещающей жизни, познакомились с портретами предков. Бабушка их, как выяснилось, в молодости была фрейлина, всю жизнь дружила с государыней. В середине лета семнадцатого года она уехала в Швейцарию со всеми детьми, кроме Верочки, потому что у нее была корь и ее переселили к бездетной крестной, чтобы уберечь других детей от заразы. Их уберегли. Дедушку убили во время революции.

Никто не знал, как прожила Вера Александровна годы ранней юности, пока не встретила Николая Афанасьевича... Зато теперь сестры узнали, как прочие члены семьи выживали в Швейцарии, Франции, Италии... Семью разнесло по всему миру, и теперь они съезжались, чтобы порадоваться встрече с настоящими русскими родственниками, носителями той старой культуры, от которой все уже были отлучены. Какая русская речь, какой милый старомодный французский, какие манеры, какое воспитание... Скромность и достоинство – настоящие русские аристократы.

Два месяца спустя, перед самым отъездом, некий дальний родственник, седьмая вода на киселе, вдовец, отставной бухгалтер фирмы «Рено», сделал Александре Николаевне предложение. Она его приняла.

Они живут теперь в хорошем пригороде Парижа. Сестра Анастасия поселилась с ними. Их старомодного, но уверенного французского, полученного от матери, вполне хватает для небольшого общения с прислугой, приказчиками в магазинах и с теми из родственников, кто уже утратил русский язык. Василий Михайлович, муж Александры, даже и не знает, какие прекрасные кулинарки его жена и свояченица. Обычно они обедают в ресторане, но сестры предпочитают сэндвичи.

Достоин удивления только одно: почему Василий Михайлович выбрал из двух сестер Александру, а не Анастасию... У сестер хорошее здоровье и имеются шансы прожить новой жизнью не один десяток лет...

...И умерли в один день

Не декоративный завиток биографии, не случайная прихоть судьбы, не дорожная авария, на месте убивающая сразу мать-отца-двух детей и бабушку в придачу, а исполнение таинственного и фундаментального закона, который редко замечается по замусоренности жизни и по всеобщему сопротивлению верности и любви... «Это правильно, праведно и справедливо», – размышляла Любовь Алексеевна Голубева, врач-кардиолог с тридцатилетним стажем над этим поразительным случаем.

В отделении третью неделю лежала интеллигентная пожилая дама с пушистой головой, не достигшей еще полной белизны, в красивых очках на цепочке, в клетчатом халате – Перловская Алла Аркадьевна. Ее муж, круглый старичок с неизменно радостным лицом, лысый, розовый, с малахольной улыбкой, по имени Роман Борисович, сначала просиживал часами под дверью реанимации, а когда Аллу Аркадьевну перевели в палату, он не пропускал ни минуты из разрешенного к посещениям времени, приходил с хозяйственной сумкой, наполненной мелкими баночками, точно к началу приемного часа. И ел тут же, на больничной тумбочке, рядом с женой. Тихо-тихо переговаривались, почти неслышимо, и время от времени еще тише смеялись, глядя друг другу в глаза. Соседки тоже посмеивались: забавно было, что он приносит сумку продуктов и тут же, не отходя от ложа больной, большую часть и съедает. Не понимали они, что был он голоден, потому что не умел есть в одиночку, без жены.

Три раза заходила к Любви Алексеевне их дочь – уверенная красавица в смешной шляпке, которую она несла на себе с задором и вызовом. Не с улицы – директор частной школы, где учился внук Любви Алексеевны. Интересовалась ходом лечения. Мать перенесла инфаркт и теперь поправлялась.

Алла Аркадьевна умерла неожиданно, ночью, накануне выписки, – тромбоз сонной артерии, не имеющий прямого отношения к ее основному заболеванию. Отделение было небольшое, со старым костяком человек в десять, со своими правилами, заведенными покойным Андросовым таким несгибаемым образом, что приходящие новые люди – и врачи, и санитарки – либо порядок этот принимали, начинали дорожить этим особым местом и не покидали его до пенсии, либо уходили, не выдерживая повышенных требований. И смерть пациента, не такое уж редкое событие в жизни кардиологического отделения, принималась сотрудниками хоть и профессионально, но почтительно, с сочувствием к родственникам, по-андросовски. Так было здесь поставлено.

Итак, умерла Алла Аркадьевна столь стремительно, сказавши одно только слово «Ромочка», что дежурный врач даже не успел к ней, живой, прикоснуться. Первой, еще до пятиминутки, Любви Алексеевне рассказала об этом санитарка Варя. Она работала в отделении чуть не с рождения, знала в старой больнице каждый угол-закоулок, кошку-собаку, и это отделение стало ее родным домом... Она была некрасивая, с родимым пятном в пол-лица, уже немолодая богомолка, сохранившаяся с прежних времен, а не вновь образовавшаяся. Была у нее своя тайная жизненная роль, о которой Любви Алексеевне было известно: Варя подавала заупокойные записочки по всем больничным покойникам, а некоторым, избранным, в старые времена заказывала и отпевание.

Новую покойницу уже отвезли в морг, на свидание с последним специалистом, с патологоанатомом. Варя перестелила постель – освободилось место, и старшая медсестра уже звонила сообщить об этом: к ним в отделение стояла очередь.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) Посетители тем временем ожидали исполнения одиннадцати часов, когда охранник открывал для них дверь. Роман Борисович поставил сумку на скамью, вынув из нее две голубых синтетических бахилы разового пользования, которые он аккуратнейшим образом пользовал третью неделю, нагнул, чтобы натянуть их на сандалии, и ткнулся лицом в пол.

Дочери позвонили в девять утра с сообщением о смерти матери. Она просила отцу не звонить, собралась и к нему поехала – перехватить его, не дать услышать ужасную весть из чужих уст, по телефону. Но отца дома уже не было, он уехал раньше, чем обычно. Тогда дочь поехала напрямик в больницу, но расстояния были большие – с одного края Москвы на другой, по утреннему времени – с пробками, и приехала дочь в начале двенадцатого, с опозданием: отец лежал в морге рядом со своей драгоценной женой, так и не узнав о ее смерти.

Ошеломленная дочь сидела в кабинете у Любви Алексеевны и всё повторяла: в один день, в один день...

Любовь Алексеевна велела принести чаю. Не было в эту минуту более близкого человека для дочери, чем эта врачиха, и она лепетала про золотую свадьбу, которую они с братом в прошлом году им устраивали, про любовь, которая не проходила у них, и какие они в молодости были красивые, а потом уменьшились, съезжились, а любовь, а любовь только росла.

– Папочка всегда был немного смешной, но рыцарь! Великий рыцарь! Он к женщинам относился с большим почтением, не почему-либо, а потому что они все как будто немного родственницы его Аллочке... Они поженились девственниками и в жизни не посмотрели в сторону – вот так, Любовь Алексеевна... И умерли в один день... И не узнали о смерти другого...

Любовь Алексеевна пришла на похороны. Супруги были не очень старые – ей семьдесят два, ему – семьдесят четыре. Могли бы еще прожить до глубокой старости. Хоронили их в одной могиле, в светлый день конца лета. В предутренние часы был сильный дождь, и теперь пар шел от земли, а поверху стоял легкий туман, смягчая солнечный свет.

Народу, изумленному редкостным событием двойной смерти, пришло много: родня, соседи по дому, в котором прожили сорок лет, сослуживцы-бухгалтеры. Все были ошарашены и приподняты – удивительные были похороны: с оттенком праздника и победы...

Супруги лежали рядом, в одинаковых гробах, и голова Романа Борисовича была как будто немного повернута в сторону жены... Дочь была с мужем и сын с женой, и при каждой царе – по мальчику с девочкой, и разноцветных астр было множество – про другие цветы никто почему-то и не вспомнил: пушистые, игольчатые, мелкие и огромные, размером с георгин, всех возможных оттенков, и лежали они ковром по двум гробам и выплескивались наружу...

Санитарка Варя тоже пришла на похороны. Больше всего в жизни она любила смерть. С детства ее притягивало в ту сторону. Маленькой была – хоронила кошек и воробьев. Она много про это знала такого, что рассказать не смогла бы, но сердцем чувствовала: не зря ее все время нанимали в сиделки к умирающим. Стояла она рядом с Любовью Алексеевной Голубевой, которую уважала почти как Андросова. У Любви Алексеевны тоже был букет астр – чернильно-лиловых и белых вперемешку.

«А хорошие покойнички», – подумала Варя. Хотя и отметила, что венчиков бумажных на лобиках у них не лежало.

И тут вдруг солнце прорвало туман, и прямо над головами повисла радуга – не цельная дуга, от края до края неба, а только половина: в высоте неба она рассеивалась. И обрывалась.

«Господи, дорогу в небо повесили, – изумилась Варя. – Верно, очень хорошие покойнички...»

А потом Варя пригляделась к радуге и изумилась еще больше: она была не обычная, а двойная, как будто одна из ярких полос, а к ней прилеплена еще другая, подобная, но из полосок бледных, почти не различимых...

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskayaaludmila.ru](http://ulitskayaaludmila.ru)  
Показать Любви Алексеевне или нет? Вдруг не заметит, а потом будет над ней посмеиваться... Но Любовь Алексеевна уже сама подняла голову и смотрела на радугу. И все, кто там был, увидели...

Последняя неделя

Был понедельник. Она пришла вечером, довольно поздно. Села на кухне, на своем обычном месте, на диване, в углу, у стены. Мрачней, чем обычно. Сидит и молчит. Я ей говорю:

– Что-нибудь случилось, Васька?

– Ничего не случилось. Просто очень тошно. На проект смотреть не могу. На еду тоже. На Верку. Вообще глаза ни на что не глядят.

Смотрит исподлобья, из-под густых бровей, тяжким взглядом широко расставленных глаз. Лицо не то чтоб особенно красивое, но единственное и незабываемое: глубоко утопленная переносица, короткий нос, высокие скулы. Что-то от палеоазиатских народов, от сибирских предков.

– Может, разомнем? – десять лет я задаю этот вопрос вот в такие минуты. Она трудный ребенок. Ей двадцать пять, но она всё еще трудный ребенок, много раз раненный – в раннем детстве, в среднем детстве, в отрочестве... За десять лет, что она ко мне ходит, она мне всё рассказала сама. Предысторию, историю, постисторию...

Один знакомый из города Судак привел ко мне пятнадцатилетнюю девочку, дочь его покойной подруги, чтобы я отвела ее креститься. В те годы всё было трудно: достать кусок мяса, врача, билет в театр или на поезд, креститься. А у меня всё было – продавец в подвале мясного магазина, врач-педиатр, билетерша по всем направлениям и даже священник.

Знакомый был проездом, в тот же день уезжал из Москвы, оставил мне девочку вместе с этим поручением, мелькнул в дверях и побежал на поезд. Девочка осталась.

Я спросила тогда, как ее зовут.

– Васька, – она ответила.

Я не очень удивилась ее мужской кличке, потому что она несомненно была породы тех девочек, которым бы очень хотелось родиться мальчиками. Звали ее Василиса, как выяснилось спустя несколько недель, при крещении.

В тот день она просидела допоздна, и пришла на следующий, и стала ходить, сидеть в кухне с чашкой чая. Странная такая девочка. Если ее спросить о чем-нибудь, ответит. Не спрашивать – молчит. Но молчит тяжело, наполняя немотой всё пространство. И даже воздух густел вокруг нее. В ее присутствии я чаще, чем обычно, роняла предметы и била чашки. Но к ней самой это никак не относилось: когда она что-то делала, всё было ловко, с умом и с собранной силой, и она даже любила всякую тяжелую работу – делать ремонт, мыть окна, окапывать деревья. И профессию выбрала очень правильную – ландшафтная архитектура...

И вот мы разбираем текущий момент. Я психотерапевт-самоучка. Даже какая-то собственная методика выработалась на такие разговоры. Такое назначение. У меня это глубоко в крови – я недавно узнала, что моя родная прапрапра- не знаю сколько – бабушка приходилась родной сестрой Малке Натанзон из Одессы, которая была матерью Зигмунда Фрейда.

Значит, так: с учебой всё хорошо, Васька выдюжила тяжелейший институт, архитектурный. Поступила, с великими трудами проучилась пять лет, остался только диплом. С ребенком тоже всё отлично, не правда ли? Ребенок у нас получился случайно, при невыясненных обстоятельствах: с вечера вся студенческая компания напилась так, что утром Васька так и не смогла вспомнить, с кем согрешила. Но мы его родили, вытянули. Родители, то есть отец и мачеха, очень помогли. Сейчас Верке четыре года, и она, в отличие от самой Васьки, легкое и солнечное существо. Значит, так: с Веркой тоже всё отлично. Хреново у нас с личной жизнью. Ее нет. Но тебе двадцать пять, да? А мне сорок, и ты видишь, какие руины, и никаких перспектив, да? На самом деле ей мои руины очень нравятся, я это знаю... А

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru у тебя как раз что-то затеплилось. Тот парень из Бологого, с которым ты познакомилась в поезде по дороге из Москвы в Питер, хоть и не приехал пока, но звонит... Да?

– Последний раз позвонил, час разговаривали, он сказал, что едет завтра, и пропал. А потом позвонил через три дня, оказалось, что попал в катастрофу, побился. Обещал приехать, когда гипс снимут, и месяц уже не звонит... – уточняет Васька.

Я это знаю.

– Позвонит, – говорю я уверенно. – Такие, как ты, – штучный товар, не каждому по плечу...

Это я ей по плечу... Она рослая, большая, почти красивая. Во всяком случае, у нее очень значительная внешность, и глаза огромные, серые, с синим переливом, когда в настроении...

А наследственность – ужасная. Мать умерла совсем молодой, и неизвестно, от рака или от водки, потому что было и то, и другое. Но в ту сторону мы давно уже решили не смотреть, считать, что всё уже исчерпано, понято, прожито, прощено...

Что прощено? Кому прощено? Почему? Потому что двенадцатилетняя Васька ушла от матери к отцу за полгода до ее смерти, не выдержала пьянства и умирания. Ушла встретиться с отцом в воскресенье и не вернулась. Мать осталась тогда с младшей сестрой, восьмилетней, и та была с ней до самого конца... А Васька три года после смерти матери не могла спать, не взявши кого-нибудь за руку. Чаще всего это была рука ее мачехи Тани, ангел небесный эта Таня, своих детей двое, от первого брака, и маленький – от Васькиного отца, работа совсем не бабья – физик, ученая женщина, и эта двенадцатилетняя больная девочка, психопатка, ночами не спит... к ней всё покойная мать приходит, то в виде кошки, то из черной головки нефертити вылезает... Поспит пятнадцать минут и кричит...

Мы это с Васькой разобрали подробно и очень жестко. Это она себе простить не может, что от матери ушла, всё горе и всю работу на сестру оставила: восьмилетняя Зойка общую уборку в коммунальной квартире делала – а Васька к отцу сбежала...

Стоп, стоп, стоп, Василиса! Но ведь Зойка и не могла к отцу сбежать. Не было у нее отца. Он застрелился, этот молоденький мальчик, от которого она родилась... Геологическая партия, в которой были родители, и этот мальчишка случился... Так спутались или по великой любви? Никто точно не знает, что и как, но мальчишка застрелился, а Зойка родилась, и отец ушел... Ты не хуже сестры, у тебя были другие обстоятельства...

Десять лет мы к этому время от времени возвращаемся. Этот вполне объяснимый поступок измученной двенадцатилетней девочки стал ее болезнью, и она то затаивается, то вылезает, как экзема.

Мы всё разобрали в очередной раз.

– Вот видишь, Васька, у тебя всё в порядке. Причин для депрессии сегодня у нас нет. Остались только чисто медицинские обстоятельства, всякая биохимия в крови, в головке, в железах. Я считаю, что надо идти к психиатру. Чего ты пугаешься? Помнишь Толю Крестовского, на последнем дне рождения, высокий такой седой парень... он давний приятель, психиатр. Я ему завтра позвоню, и ты поезжай. Никто тебя ни в какую психушку не закатает... Совсем свой человек. Решили?

Час ночи. Предложить остаться или дать денег на такси? Дома опять будут недовольны, что я ее у себя оставила. Там утром Верку в детский сад вести. Таня, ангел, всё за Ваську делает. Но пусть лучше она будет при доме, при семье, в кругу своих обязанностей – колготки ребенку постирает, за картошкой сходит. Сделает усилие...

Даю денег на такси. Бледная, измученная, несчастная Васька уезжает...

Во вторник утром я позвонила Толе. Рассказала об обстоятельствах. Он покряхтел, покашлял в трубку. Задал несколько вопросов. Я ему изложила свои соображения про



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru депрессию. Он еще раз побряхтел и назначил встречу на утро среды. У меня было опасение, что Васька к нему не пойдет. Но она пошла.

Он сам позвонил мне в среду вечером.

– Доктор ты хренов, – сказал он мне. – У девочки твоей маниакально-депрессивный психоз, никакая не депрессия. Строго говоря, я должен был ее немедленно госпитализировать. Она в острой фазе. Но у нее там какие-то обстоятельства, диплом, ребенок... Я выписал ей галопиридол. Сильнее ничего нет. Немедленно надо начинать курс, и через три дня пусть ко мне заедет.

– Через три дня суббота, – быстро посчитала я.

– Да я работаю всегда, и по субботам тоже. Пусть утром в субботу и приезжает, – хмуρο сказал Толя. – Запущенный случай...

В четверг утром Васька дала рецепт Тане – та работала недалеко от аптеки, где продавали эти самые психотропные лекарства, их не в каждой аптеке держали...

\* \* \*

В четверг Таня купила таблетки. Но после работы она встречалась со своими институтскими друзьями и пришла поздно: дверь в Васькину комнату была закрыта, спала она или нет, трудно было сказать, но Таня не стала ее беспокоить.

В пятницу утром Таня перед работой отвела Веру в садик. Ваську не будила, пусть выспится. Васька, проснувшись, никаких таблеток на столе в кухне не увидела, выпила чашку чаю и поплелась в институт. Я в тот день ей не позвонила, замоталась во всяких делах.

В субботу я позвонила около двенадцати, подошел Васькин отец. Я спросила Ваську.

– Ее больше нет, – сказал он обычным своим голосом. – Она только что выбросилась в окно. За ней еще не приехали...

Они жили в новом доме, на одиннадцатом этаже.

Потом были похороны, самые страшные из всех похорон, которые мне пришлось пережить. Отпевал ее тот же самый священник, что и крестил. Самоубийц у нас не отпевают – в наказание за самовольность, что ли. Но отец Александр взял это на себя: девочка ведь была больна, это болезнь ее убила...

Все были так потрясены, что почти и не плакали. Потом приехали в эту новую квартиру, не совсем еще обжитую. Привезли бабушку, чтоб была. Увезли дочку, чтоб не было. Застолье было молчаливым. Телефон зазвонил посреди многолюдной тишины. Сестра Зоя подошла к телефону. После смерти матери Васьки они ведь и Зойку забрали, приняли в дом. Великие люди, Васькин отец и его жена Таня. Зойка стояла с трубкой в руке, прислонившись к стене. Молчала, а потом сказала:

– Василисы больше нет. Ее сегодня похоронили.

Потом она медленно опустила трубку, тупо посмотрела на телефон.

– Кто звонил?

И тогда Зойка схватила аппарат и яростно швырнула его об пол.

– Звонил этот парень из Бологого. Он приехал.

И тут все завывли.

Прошло двадцать лет. Умерли мои родители, первый муж, множество друзей ушло. А я всё вспоминаю тот понедельник: если бы я оставила ее тогда ночевать...

Большая дама с маленькой собачкой

Про Татьяну Сергеевну ходили разнообразные слухи, от достоверных, можно сказать документированных, до самых невероятных. Наиболее фантастическим выглядел ее роман с Александром Блоком: по самым приблизительным расчетам ей должно было

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
быть лет двенадцать, когда он умер. Но она только улыбалась очень красиво  
загнутыми вверх уголками рта и говорила:

– Моя славная биография до сих пор не дает покоя сплетникам. А про Александра  
Невского вам не говорили?

Но никогда никаких предъявленных ей сведений не отрицала. Кроме одного: ей очень  
не нравилось, когда ее подозревали в шашнях с одной неприятной организацией,  
упоминание которой способно было испортить настроение. Это она отрицала твердо,  
с возмущением, краснея темным цветом, как это водится у брюнеток. В ней  
чувствовалось присутствие татарской крови: карие глаза враскос, длинные плавные  
брови, некоторая излишняя скуластость очень красивого лица. Но фигура была не  
татарская – казачья. По материнской линии она происходила от донских казаков, а  
это была порода, известная красотой, смелостью и примесью – через черкесских жен  
– кавказской горской крови. Оттуда и унаследовала Татьяна Сергеевна свою  
лошадиную – в смысле самом похвальном – фигуру: довольно массивный верх, длинную  
спину, чудную шею с изгибом, сухие ноги с фигурными лодыжками. Прямо над бровями  
свисающая челка подчеркивала сходство.

Она уже вышла на пенсию – с должности заведующей труппой знаменитого столичного  
театра – но всё жила интересами театрального мира, который из-под своей власти  
никого не отпускает. Муж ее, ведущий актер, продолжал работать, и потому она всё  
еще имела в театре некоторое влияние – и через мужа, очень известного, и через  
директора театра и заведующего постановочной частью. К ней в театре не были  
равнодушны – кто-то ненавидел, кто-то обожал, но все считались с ней и чуть-чуть  
побаивались даже теперь, когда она вышла на пенсию.

Татьяна Сергеевна была неудавшейся актрисой: взяли ее в театр за редкую красоту,  
после слабенькой театральной студии, сразу же дали хорошую роль второго плана,  
которую она провалила, но без особого размаха. Тихо провалила. Потом у нее  
начался роман с тогдашним главным режиссером, и она, на втором году работы в  
театре, получила роль, о которой можно было всю жизнь мечтать – Ларису в  
«Бесприданнице». Тут уж провал был громким, заметным, и она его остро  
переживала. Но переживала недолго. Величие ее природы проявилось самым  
неожиданным образом: она пришла к главному, роман с которым, кстати говоря,  
продолжался еще несколько лет, закурила, вставив папиросу «Беломор» в середину  
красного рта, помолчала выразительно – так, что главный успел подумать, почему  
эта женщина, столь артистически талантливая в жизни, совершенно бездарна на  
сцене, – и сказала:

– Дорогой мой! Самолюбивая женщина не может быть плохой актрисой. Но я могу быть  
полезна в театре. Из труппы я ухожу, но подумайте о том, в какой роли я могу  
здесь оставаться.

Он поцеловал ей руку и произнес немедленно:

– Заведующей труппой, Туся.

Тем более что он давно уже хотел избавиться от тогдашнего заведующего, бывшего  
актера, старого идиота, исключительно не подходящего для руководства чем бы то  
ни было.

– Именно, – кивнула Татьяна Сергеевна. Туся то есть.

Ух, как она взяла дело в свои руки! Актеры просто взвыли от ее пунктуальности,  
требовательности и высокомерной дистанционности – ни с кем она не дружила, ко  
всем обращалась как будто уважительно, но очень холодно, и имела удивительную  
особенность: перед премьершами не ползала на брюхе, как водится, а старалась  
обеспечить им самые лучшие условия и выполнить капризы. Это, возможно, больше  
всего и раздражало трудовых середняков – ее спокойное знание, кто чего  
заслуживает. То есть она сама определяла и утверждала право на привилегию. И  
если считала, что актер того заслуживает, то готова была в гастрольной поездке  
самолично проверять, достаточно ли хорошо подготовлен номер для звезды первой  
величины. И меру она ввела свою собственную: одного народного артиста не очень  
уважала, поселяла его в номер, какие давали заслуженным, а другого,  
заслуженного, наоборот, выделяла какими-то тонкими поощрениями. И со временем  
труппа подчинилась ее личному табелю об их актерских рангах, потому что, будучи  
бездарной актрисой, она была тончайшим ценителем чужих талантов... И замуж она

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) вышла за талантливейшего молодого актера, которому до самой смерти покровительствовал главный режиссер. Тот самый... Но всё это произошло давно-давно, еще до войны.

Вскоре после выхода Татьяны Сергеевны на пенсию к дому прибилась молодая девушка. Случайным образом, через собачку Чучу. Дело было в том, что муж Татьяны Сергеевны, к тому времени уже получивший народного, обожал жену. Всячески баловал и, когда она вышла на пенсию, подарил ей щенка для развлечения. Чуча была черненькая, длинная и веселая девочка, находящаяся в близком родстве со знаменитой Кляксой великого клоуна Карандаша.

Татьяна Сергеевна, обладающая незаурядными организаторскими способностями, распространяла свои связи во все стороны света, и как только появилась собака, возникла необходимость в своем ветеринаре. Появился ветеринар, а вслед за ним и его дочка, которую Татьяна Сергеевна стала называть Веточка, потому что она была очень худенькая и к тому же ветеринарская дочь.

Веточке Татьяна Сергеевна покровительствовала, но одновременно и использовала в своих целях: то посылала ее с письмом на телеграф, то просила отнести по адресу билеты. Словом, использовала ее как толкового курьера в самых разных направлениях. Татьяна Сергеевна, кроме того, что была красавицей, первенствовала в столице по части нарядов и одевалась с большим азартом. Круг тех, кого надо было «перешибить», был не так уж велик, но никакая заметная премьера без Татьяны Сергеевны не обходилась, и к каждой требовался свой «выход», что-то особое и эффектное... Был у Татьяны Сергеевны целый штат поставщиков и поставщиц из продавцов комиссионки, перекупщиков, фарцы. Что-то приносили, оставляли, иногда просили пристроить. И образовался у Татьяны Сергеевны «чуланчик», в который допускались те, кому она покровительствовала. Веточку довольно часто просили именно отнести кому-то туфли, отдать деньги или, наоборот, что-то срочно доставить Татьяне Сергеевне. Разумеется, всё это были бесплатные услуги, но Татьяна Сергеевна тоже умела быть полезной: одаривала Веточку билетами, сувенирами, пила с ней чай и рассказывала интересные истории из актерской жизни. К слову сказать, эта самая Веточка бросила вскоре ветеринарное училище и поступила на филфак...

Старая домработница Татьяна, про которую сама Татьяна Сергеевна говорила, что прислуга перенимает у хозяев все недостатки, но никогда – достоинства, не годилась для курьерской службы: она страдала географическим идиотизмом в столь сильной степени, что способна была потеряться даже по дороге на Палашевский рынок, куда ходила два раза в неделю с незапамятных времен. Сама Татьяна Сергеевна никогда не ходила пешком, панически боясь заблудиться. К тому же домработница была неряхой, о чем со смехом говорила хозяйка: Танька вся в меня, убираться не умеет, я за ней ее тряпки подбираю... А сама сбрасывала свою дорогостоящую одежду на пол возле кровати...

Зато Татьяна Сергеевна, проживши всю жизнь в театральном мире, ненавидела коварство и очень ценила преданность. Впрочем, про нее саму говорили, что она великая интриганка. Домработница Татьяна была не просто предана хозяйке, она полностью ей принадлежала.

Довольно странную роль отводила она молодой девушке Веточке – не то воспитанницы, не то прислуги. Ветеринар не так уж был рад этой странной дружбе дочери со светской дамой. Сам он в первые годы жизни Чучи бывал в доме Татьяны Сергеевны довольно редко: собачка была здоровая, он сделал ей положенные прививки и навещал изредка, для порядка.

А Веточка таскалась как на работу: Татьяна Сергеевна звонила, и девочка уносилась. И чего общего у восемнадцатилетней скромной девочки из обыкновенной семьи и старой львицы?

Девочка тем временем делалась с виду всё менее скромной. В доме у Татьяны Сергеевны ей перепало несколько удивительных вещей: настоящие джинсы за небольшую цену – размер был такой маленький, что хорошего покупателя не находилось, куртка из искусственной кожи с клетчатым воротником, «снятая» ловким фарцовщиком с японской туристки мелкого калибра. Родители несколько удивлялись, но деньги давали: они были небожными людьми, а дочка – единственная.

Иногда, когда Татьяне Сергеевне нездоровилось, Веточка выходила погулять с

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Чучей. Домработнице собачка не доверялась.

– Они же обе потеряются! – смеялась Татьяна Сергеевна и прижимала к груди лохматую собачью голову. Ела Чуча из хозяйской тарелки, спала с ней в одной постели, а к Павлу Алексеевичу относилась с тихим, но постоянным раздражением. Ничего не ценила Татьяна Сергеевна так высоко, как верность и преданность, которые Чуча без усталости изъясляла.

Среди многих поставщиков, навещавших Татьяну Сергеевну, был и «книжник Юрик», немолодой заика со странными повадками. Когда Веточка однажды высказала свое недоумение по поводу его кокетства, Татьяна Сергеевна сразу же всё объяснила:

– Веточка, он нормальный гомосексуалист, ничего в нем странного. Понимает в книгах, ходит в консерваторию, водится со всем этим кругом. Я с ним в театре познакомилась, он был дружок одного нашего. Он мне всех русских классиков в марксовских изданиях принес, «Брокгауза и Эфрона» приволок, весь Серебряный век собрал... Павел Алексеевич ему книги по истории заказывает. Неоценимый человек.

Прошло года четыре, а может, шесть. Веточка закончила филфак, Татьяна Сергеевна устроила ее на работу, по своему профилю: завлитом в новый театр. Теперь Веточка не только исполняла старую курьерскую службу – отвезти, привезти, купить по дороге «Беломор» или пачку творогу, – они подолгу беседовали о театре, о театральной истории давнего и вчерашнего времени. Теперь и с Павлом Алексеевичем она беседовала: Татьяна Сергеевна так повысила ее статус! Он оказался человеком затейливым, тайный славянофил и монархист. У Веточки к тому времени появились и свои собственные тайные знакомые, но совершенно противоположного направления – диссидентского. Она как будто немного переросла свое детское увлечение старой актрисой, относилась к ней критически, без былого детского обожания, но отношения их тем не менее оставались близкими и сердечными. Вскоре у Татьяны Сергеевны нашли болезнь, и теперь она, закуривая очередную папиросу, приговаривала:

– Сердцу моему «Беломор» гораздо нужнее, чем нитроглицерин. А еще нужнее дружба.

В шестьдесят пятом году Веточка вышла замуж, а Чуча заболела диабетом. На свадьбу Татьяна Сергеевна не пошла, но подарила бриллиантовое кольцо – старинное, с ясным белым камнем посередине и множеством мелкой осыпи вокруг. Чучу же посадили на уколы, по три раза в день.

Выйдя замуж, Веточка переселилась к мужу, на Петровку, в десяти минутах ходьбы от памятника Долгорукому, на которого смотрели окна квартиры Татьяны Сергеевны. Теперь Веточка получила ключи от квартиры старых артистов и по утрам, когда они еще не вставали, заходила и тихоночь делала Чуче первый утренний укол. Умная собака, услышав щелчок замка, выпрыгивала из хозяйской постели, шла к Веточке и становилась к ней боком. Для дневного и вечернего укола приходила медсестра.

Здоровье у Татьяны Сергеевны и Чучи ухудшалось. Домработница Татьяна тоже еле таскала ноги и стала еще более бестолковой, чем прежде. Татьяна Сергеевна совершенно перестала выходить из дому: ни на премьеры, ни на концерты. Ноги отекали, стало трудно ходить. Она перестала красить волосы, подводить глаза и только красной помадой, французской, из старых запасов, небрежно, иногда немного промахиваясь, проводила по губам. Ее знаменитые на всю Москву домашние кофты, сшитые из парчи, дерюги, среднеазиатских, ручной работы, шелков и даже гобеленов, изнасились, потерлись на груди, но это ее совершенно перестало занимать. Пожалуй, более всего ее огорчала болезнь Чучи, и даже не сама по себе болезнь, а глупая засевавшая в голову идея, что она не переживет ее смерти. Веточка тоже стала бояться собачьей смерти. Отец-ветеринар часто навещал собаку, морщился, брал у нее анализы крови и мочи. И ничего хорошего не обещал.

Однажды, когда Веточка пришла утром делать укол, она обнаружила мертвую Чучу на коврике возле двери – собака с нечеловеческой деликатностью ушла из хозяйской постели, чтобы не тревожить любимую Татьяну Сергеевну фактом собственной смерти. Веточка взяла в ванной полотенце, завернула Чучу и унесла.

Татьяна Сергеевна приняла смерть любимицы гораздо спокойнее, чем ожидалось. Веточке она была благодарна, что та избавила ее от тягостного вида мертвой собаки и прощания. Спросила, что они с ней сделали, и Веточка рассказала, что похоронили ее на своей даче, в самом дальнем углу их маленького участка, под

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru березой, и положили небольшой круглый камень.

– Беленький? – спросила Татьяна Сергеевна.

Веточка кивнула – камень действительно был светлым, почти белым.

Павел Алексеевич собирался на гастроли в Одессу. Детство Татьяны Сергеевны прошло в этом чудесном городе, и она решила поехать с мужем. Он страшно обрадовался: у него болела душа за стареющую Тусю.

Последние годы вдруг стала заметна разница в возрасте супругов – всего-то пять лет. Мужская молодость, делящаяся у красавцев мужчин, каким был Павел Алексеевич чуть ли не до конца жизни, тайно раздражала Татьяну Сергеевну, и он, чувствуя это, немного стал ей подыгрывать, нагоняя себе возрасту – завязывая ботинки, театрально побряхтывал, часто говорил об усталости, сидел подле жены с томиком Ключевского в руках, отказывался от всяких предложений. Правду сказать, она всегда была главным режиссером их совместной жизни, он и не умел самостоятельно развлекаться. Какие еще актеру развлечения – каждый день всех развлекает!

Татьяна Сергеевна никуда не выезжала из Москвы уже лет десять. Последние четыре года она не выходила даже из дому. Пробовала – не получалось. Как выйдет, сразу начинается страшное сердцебиение. А теперь – решилась. По многим причинам: в доме было пусто без Чучи, да и Одессу вдруг безумно захотелось повидать.

Начала сборы – как в давние времена, когда совершала с театром гастрольные поездки. Вызвала для помощи Веточку. Достали чемодан, клетчатый, матерчатый, когда-то модный.

«А она даже и не знает, что с тех пор уже появились новейшие, с внутренней матерчатой перегородкой, с тайными ремнями для удержания выглаженной одежды в неизменном состоянии», – подумала Веточка, но не сказала.

Накануне одна из последних сохранившихся поставщиц принесла Татьяне Сергеевне длинную шелковую юбку цвета вялой травы, и теперь она прикладывала к ней блузку и раздражалась, что ни одна ей не подходит. Потом вспомнила – повела Веточку в спальню, велела достать из нижнего ящика шкафа отрез чесучи, который хранился с незапамятных времен. Должен подойти. И действительно, он подошел – серовато-белый, с зеленой вышитой каймой.

– У вас машинка в доме есть? – спросила Татьяна Сергеевна, любясь правильным сочетанием двух тканей.

– Есть, – ответила Веточка, и мысли не допуская о том, что последует дальше.

– Значит, сегодня надо сшить, чтобы завтра утром я могла бы в ней ехать.

Веточка села на подвернувшийся табуретик карельской березы.

– Да я шить не умею! Я в жизни к машинке не прикасалась! – воскликнула она в отчаянии.

– Веточка, нет никакого выхода. У тебя хорошие руки, хорошая головка, подумаешь – большое дело! – блузку сшить.

Она кривила душой, она отлично знала, что именно блузку сшить – большое профессиональное дело. Но в театральных мастерских, которые всегда были к ее услугам, уже никого не было, а уезжали они завтра утром.

Сначала Веточка наотрез отказывалась, потом, уступая, уже говорила о том, что ей в жизни не скроить, не вшить рукава, не прометать петли.

– Ничего страшного. Я сейчас распорю старую блузку, она хорошо сидит. Совсем простая блузка, никакого особенного фасона. Ты приложишь ее на ткань, булавками приколешь и точно вырежешь. Петли не прометывай, просто пришей кнопки, – и она открыла перламутровый ларчик, достала бумажку с пристегнутыми к ней металлическими кнопками. – Рукава, черт с тобой, можешь не шивать. Пусть будет безрукавая.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
– Да не смогу я, Татьяна Сергеевна, не умею я шить, – всё пыталась отразить безумный напор хрупкая Веточка.

Татьяна Сергеевна с решительным лицом сдернула с вешалки красную шелковую блузку и приказала:

– Пори!

– Да я и пороть не умею! – пискнула Веточка.

Татьяна Сергеевна достала ножницы и стала вырезать блузку из ее швов, натягивая ткань под самые лезвия ножниц.

– Умею, не умею! Когда надо, каждый сумеет!

Она швырнула Веточке импровизированную выкройку:

– На швы по сантиметру прибавишь! Рукав, если не сможешь, не вшивай.

Когда Веточка уходила, подбадриваемая Татьяной Сергеевной, растерянная, униженная этим глупым барским приказом, и уже взялась за дверной замок, Татьяна Сергеевна вдруг замерла в раздумье, так что Веточке даже показалось, что она сейчас засмеется, раздумает, скажет, что пошутила и не надо никакой белой блузочки с зеленой каемочкой... Но нет, поворот был совсем иной.

– Подожди минуточку, – и Татьяна Сергеевна вернулась в спальню, вынесла на вытянутых белых руках кусок простого черного штапеля и сказала тихо и просительно:

– И еще одну блузку надо, черную. Но эту – с длинными рукавами, пожалуйста...

Веточка даже ничего не ответила, пошла пешком домой, представляя себе, что ей сейчас скажет муж, человек исключительно покладистый, но загорающийся раздражением вот в этой самой единственной точке – на Татьяне Сергеевне...

Всю ночь Веточка кромсала, сметывала и строчила. У нее были самые приблизительные представления об этом ремесле, но, к счастью, машинка у свекрови была умнейшая: старый «Зингер», послушный, чуткий, несложный. Шаг иглы регулировался простым поворотом маленького колесика, и шла она мягко, не собирая ткани. Веточке пришлось, конечно, кое-что и подпороть, и потом строчить снова, но к половине четвертого утра вся кайма на блузочке легла как надо, кнопки пришиты были соответственно, тоже не с первого раза, и она с удовольствием смотрела на свою работу. Спать от азарта не хотелось. Она взяла черный штапель и подумала: все-таки дура я, надо было с простой, с черной начинать...

И вторая работа пошла быстрее первой, так что к утру были готовы обе – и светлая, и черная. Черная была с рукавами. Правда, рукава заканчивались не манжетами, а были по-деревенски просто подрублены.

«Сойдет», – разрешила себе Веточка.

Она даже успела час поспать перед тем, как отнести работу.

Татьяна Сергеевна встретила ее торжественно. Она приняла из рук сверток с блузками и, не разворачивая, сказала:

– Что ж, Веточка, ты верный человек. Зачтется.

И они уехали с Павлом Алексеевичем в Одессу. Их там торжественно, с цветами встретили, отвезли в гостиницу, и они вышли пройтись по Приморскому бульвару, который Татьяна Сергеевна так любила с детства. Она была в зеленой юбке и в вышитой блузке. Отошли от гостиницы всего метров на десять, и она упала вперед лицом и мгновенно умерла.

В Одессе была суматоха, жара, гастрольные спектакли, которые никто не отменял. Павел Алексеевич плакал с утра до вечера, а вечером гримировался и выходил на сцену. Татьяну Сергеевну в свинцовом гробу отправили поездом в Москву. Похороны были в Москве, а отпевание в храме Ильи Обыденного.

Пришла вся артистическая Москва, дамы в черном, некоторые в шляпах, поглядывали друг на друга, кто в чем пришел. Стали прощаться. Веточка подошла к гробу и заглянула в маленькое мутное окошечко. Красивого лица видно не было, ничего видно не было, кроме кусочка черного штапеля от той блузки...

Менаж а труа

Овдовела Алиса очень рано, в двадцать семь лет, и с тех пор несла свою осыпающуюся красоту невостребованной. Так случилось, что после смерти мужа она осталась в семье его первой жены Фриды и их сына Бореньки.

Их общий муж – сначала Фридин, а потом Алисин, – писатель Бенъямин Х., пишущий на языке идиш, был человек-энтузиаст. Восторженное состояние было присуще ему, как нос, рот, два уха. Многие по этой причине считали его идиотом, но таковым он не был – просто он так страстно, истово и яростно любил жить, что люди более умеренные раздражались. Помимо радости жизни, у него еще было особое дарование: он любил литературу. Русскую, французскую, польскую, финскую – любую, которая попадалась в руки. Он читал и всё прочитанное помнил. И писал на языке идиш. Прочтет пьесу Ибсена – и напишет похожую на языке идиш. Прочтет дагестанского поэта – и тоже немного похоже напишет на еврейском. До войны было еще можно писать на идиш, хотя и немодно.

Первая жена Фрида тоже любила литературу, но была менее восторженна: у нее были любимые авторы, не все подряд, а языка идиш она знать не желала, хотя и понимала в силу происхождения. Собственно, они и сошлись на литературной почве: оба ходили в поэтическую студию при молодежной газете в городе Харьков. От этой любви к литературе родился Боренька в двадцать четвертом году, а в тридцать третьем отца ребенка настигло новое чувство, о чем он написал множество стихотворений на языке идиш, совершенно неизвестном изумительной Алисе, которая из всех иностранных языков знала втайне только какой-то чухонский, ибо родом была из Ингерманландии, ныне Ленинградская область.

Отсюда следует, что пленилась она не талантом писателя, а чем-то иным, более существенным, и стремительно вышла замуж за разведенца, бросившего прежнюю жену и сына. Кроме мужа, Алиса любила животных, особенно пушистых кошек и домашних птиц, среди которых предпочитала канареек, и вышивание. Она прелестно вышивала очень сложные картины – аппликации. Теперь таких никто уже не делает, потому что старомодными они были еще до той войны.

Оставшаяся не у дел в семейном смысле Фрида с сыном уехала в Москву к брату Семену, занимавшему большой пост в каком-то министерстве, не то лесном, не то угольном, и устроилась, благодаря брату, на работу. Она была женщина передовая, ревность считала мещанским атавизмом и подавила ее железной рукой практически в самом зачатке. Они жили с Боренькой бедной, но культурной жизнью: много читали, ходили в театры, на концерты и на диспуты.

С бывшим мужем Фрида состояла в оживленной переписке, муж писал ей письма на идиш, она отвечала на русском. Разъехавшись по разным городам, благодаря этой постоянной переписке они делали друг другу всё ближе... Духовная близость выше физической – уверилась Фрида. Хотя материальное она ставила выше духовного, твердо зная, где базис, а где надстройка, но в своем личном случае, вопреки логике, предпочитала доставшееся ей духовное утраченному телесному... Похоже, муж с ней был согласен: иначе не писал бы ей столь длинных и подробных писем. Сын Боря приписывал слова приветов. Как и родители, он рос книголюбом и любителем всяческой словесности, особенно в письменном виде.

В тридцать пятом году бывший муж Бенъямин написал Фриде очень горькое письмо о непонимании происходящего. Энтузиазм его поколебался. Его откуда-то выгнали и куда-то не взяли. К тому же он где-то не совсем удачно выступил, неправильно был понят и долгое время приставал ко всем, кто соглашался его слушать, с объяснением произошедшего недоразумения. Он тряс чудесными кудрями, зачесанными назад и спадавшими художественно набок, вопрошающе раскидывал совершенной красоты руки, но люди шарахались, никто не хотел его выслушать и понять правильно. Фрида, конечно, могла. Но уж никак не Алиса – она была слишком молода и красива для понимания чего бы то ни было, к тому же не еврейка. А нееврейка не может понять трепет иудейской души. Тем более что Алиса была женщина северная, с очень ей подходящей профессией беловшейки, и даже была дочерью беловшейки, имевшей свое собственное небольшое дело в Петербурге в те времена, когда кружева

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru исподнею еще не вошли в противоречие с грубым сукном эпохи. Корни Алисины были, таким образом, совершенно буржуазные, но красота ее от этого обстоятельства не проигрывала. Скорее, наоборот.

Итак, Алиса не понимала языка, на котором писал ее муж, не понимала сложности отношений, в которые он был вовлечен, но она очень его любила: он был красив, добр, весел, совершенно ничего от нее не требовал и, теряя день ото дня могучий дар радования жизни, в ней одной, в гладкой поверхности и сладкой изнанке ее молодой красоты, получал последние, но неопровержимые подтверждения своему иссякающему оптимизму.

Когда атмосфера в Харькове стала непереносимой, писатель поехал в Москву, чтобы посоветоваться о дальнейшей жизни с Фридой и даже, может быть, с ее высокопоставленным братом Семеном.

Любящая Алиса одного его не отпустила, решили ехать вдвоем. И в конце мая тридцать пятого года Беньямин позвонил в звонок избитой ногами двери в Варсонофьевском переулке. Четыре раза. Открыл дверь сын Боренька. Бросились друг другу в объятия.

– Кто там? – кричала из комнаты Фрида, которая вечерние часы жизни проводила с книгой в руках. Желательно не отрывая зада от потрескавшейся кожи дивана.

– Папочка приехал! – восторженно орал Боренька, не обращая ни малейшего внимания на красотку, выглядывающую из-за плеча отца.

– Фриделе, это мы приехали, – провозгласил бывший муж.

Фрида, мгновенно подавив мещанский атавизм, взбрыкнувший в сердце при виде белокурой головы в дурацкой черной шляпке, выглядывавшей из-за спины Беньямина, вскочила с дивана, роняя книги: она любила читать несколько книг одновременно...

– Ой, у меня как раз есть банка тушенки, – взяла себя в руки бывшая жена. Она все-таки была человек из так и не наступившего будущего.

Первые два дня Фрида спала валетом с сыном на его подростковой кровати, уступив диван гостям, потом передвинули шкаф, разгородив большую комнату надвое, купили раскладушку и зажили одной семьей.

Писатель с гаснущим энтузиазмом ходил по знакомым, сплошь писателям и актерам, надеясь понять, какая такая произошла ошибка и отчего столь прекрасно задуманная жизнь пошла в неправильном направлении.

И снова, как в Харькове, люди стали его избегать, все торопились, и у него создавалось впечатление, что все они знают нечто важное, о чем ему не говорят... Но главное, эти самые люди, которые не хотели с ним разговаривать, исчезали... Кое-как пережил год.

Пьесы, рассказы и стихи давно уже не принимали в редакциях, и он чувствовал себя всё хуже и хуже, поседел, постарел и выглядел не на свои боевые пятьдесят, а на все семьдесят: болело сердце, отнимались то руки, то ноги, а в зиму тридцать седьмого года выпали ни с того ни с сего совершенно здоровые зубы.

Высокопоставленный Семен отказался встречаться с Беньямином, которого и прежде считал балаболом, а теперь, когда он так бесцеремонно вторгся в жизнь оставленной им семьи, и вовсе не желал его видеть. Брат Семен был с принципами, которых не хватало другим.

В марте Беньямин слег. Жены ухаживали за ним. Пришел доктор, послушал сердце и велел немедленно вызвать «скорую помощь». Для госпитализации. Но сделал укол. Жены решили вызвать «скорую» завтра утром, но среди ночи опять начался приступ. «Скорая» приехала и увезла его в Первую Градскую больницу.

Фрида с Алисой еще не успели лечь спать, как приехала еще одна машина, а в ней двое в военном, двое в штатском. Жены объявили, что Беньямин только что увезен в больницу. Тогда четверо сделали вялый обыск, забрали все рукописи, нанеся неопределимый урон еврейской литературе, и ушли. Арестовать его не успели: он сбежал от них в недосыгаемые места – умер в самый час их прихода, не доехав до



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru больницы. Веселый мальчик Боря, унаследовавший, как все считали, отцовский дар беспричинной радости, с той ночи так крепко замолчал, что кроме «да» и «нет» ничего от него не слышали.

Шкаф на место так и не вернули: Алиса жила теперь за шкафом одна, без писателя, и обе они стали вдовами. Вдовство в каком-то смысле уравнило обеих женщин в их правах на мужа, но по древнему закону, о котором давно уже знать не знали, а он неотменимо действовал, ответственность за младшую приняла на себя старшая. Фрида ходила на службу. Алиса убирала комнату, варила суп и вышивала.

Фрида легче переносила утрату: все-таки муж от нее уходил постепенно – сначала к другой женщине, но и то не целиком, а частично – душевная связь и понимание оставались крепкими, даже, может, более крепкими, чем прежде, – а уж потом, когда Фрида привыкла к его частичному отсутствию, или неполному присутствию, – он исчез окончательно.

Вечером после ужина Фрида ложилась с потрепанным томиком Анатоля Франса на раскладушку – диван остался за Алисой, – Алиса присаживалась рядом с вышиванием. Фрида зачитывала Алисе самые замечательные пассажи из «Восстания ангелов», а Алиса вдруг замирала с иглой, не прокусившей насквозь ткань, и вытирала слабую северную слезу – вот и Бенъямин тоже любил ей вдруг прочитать что-то вслух! Если Фрида замечала такое, она приподнималась на локте и свободной рукой гладила молодую женщину по светлым, с деревенским желтым оттенком волосам. И тогда Алиса прижимала к себе Фридину тяжелую руку и тонко посапывала, как спящий ребенок.

Фридина жалость к Алисе была двойная: она еще немного жалела ее от имени Бенъямина, и Алиса в этой жалости нуждалась.

Боря, напротив, отшатнулся от матери и даже по волосам себя погладить не давал – стал дикий и чужой.

Однажды Фрида проснулась ночью от тихого детского сопения и поняла, что Алиса за шкафом плачет. Она проскользнула в закуток, села на диван, и Алиса взяла ее руку и приложила к своему лбу.

– Ты что, заболела, Алиса? – Фрида не умела говорить шепотом, она только приглушила свой ораторский голос. – Может, чаю согреть?

– Холодно, – прошептала Алиса. Фрида, топя большими босыми ногами, пошла к своей раскладушке, взяла одеяло и, покрыв его поверх Алисиного, легла рядом. Они долго целовались. Фрида гладила худые плечи бедной Алисы, а потом немного покусала ее детское ухо с синей сережкой. Так Бенъямин любил когда-то покусывать женские уши...

Вскоре после смерти Бенъямина Алисе несказанно повезло, ее взяли в Большой театр в пошивочную мастерскую. Там было несколько старых мастериц, но одна умерла, вторая вышла на пенсию, и Алиса оказалась примою в изготовлении пачек. Лучшая из солисток сразу же распознала в ней большого мастера. Алиса получила хорошее жалованье.

Постепенно в доме завелись две кошки, несколько цветов в горшках и занавески, которые Фрида отрицала как явление буржуазное. От Алисы исходило тихое тепло и кошачий уют. Боря приходил из школы, Алиса прибежала из театра – рядом, пешком десять минут всего, – расстилала красивыми руками наскоро вышитую уже здесь, в Москве, скатерку, ставила перед Борей одну из двух – Фрида была воинственно и принципиально бесхозяйственна – имеющихся в доме фарфоровых тарелок и кормила своего пасынка, чем могла, любясь со спины его затылком: вылитый отец...

Два семейных фотопортрета – Бенъямин с Фридой в двадцать восьмом году и Бенъямин с Алисой в тридцать четвертом – подтверждали сходство сына с отцом и в других ракурсах.

Почти год женщины прожили, утешая и поддерживая друг друга и воспитывая Борю, который в этом нисколько не нуждался и даже противился.

Брат Фриды Семен, остро возненавидевший Бенъямина за его бесстыжее вторжение в старую семью с новой женой, перестал навещать сестру, считая ее рохлей и тютей. Теперь он снова потеплел к сестре, зашел в Варсонофьевский переулок. У него было

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru намерение вышвырнуть эту нахальную приживалку, но, увидев Алису, расчувствовался. Она показалась ему очень нежной и трогательной. Он даже произвел какие-то нехитрые жесты ухаживания, но Алиса смотрела на него испуганными и почтительными глазами, так что он решил зайти еще раз более подготовленным, с конфетами, например. Фрида уловила тайное намерение брата и рассердилась. Когда он ушел, упрекнула ни в чем не повинную Алису в кокетстве, и та заплакала. И еще горше плакала ночью, и Фрида ее хорошо утешила. Обе они уже знали, в какое преступное место их занесло, но покойный муж каким-то успокоительным образом присутствовал между ними: он ведь их обеих любил...

Фрида, зная слабости брата, была уверена, что Семен вот-вот появится с каким-нибудь подношением вроде коробки конфет, и ждала его с заготовленным отпором. Но вместо него прибежала его жена Анна Филипповна с сообщением, что Семена арестовали. Еще через два дня забрали Анну Филипповну. Двух фридиных племянниц, десятилетнюю Нину и шестилетнюю Лиду, а также сестру Анны Филипповны, слабоумную Катю, тоже увезли.

Брат оказался причастным к какому-то ужасному заговору и находился в тюрьме. Квартира стояла опечатанной.

Фрида забегала, хлопотала. Хотела разыскать племянниц и забрать к себе – уверена была, что их поместили в детский дом. Бегала Фрида почти две недели, но, видно, так всем надоела, что девочек не выпутала, а сама пропала. Забрали ее прямо из того учреждения, где обивала пороги, чтобы найти племянниц.

Боря еще не успел определить в своем сокрушенном мире ни масштаба, ни смысла этих событий – несостоявшегося ареста и смерти отца, – как произошло совсем уж неуместное: арест матери.

В один день всё поменялось, от прошлой жизни осталась одна плачущая Алиса. Боря проплакал с ней целый вечер, потом заснул крепким сном, а утром, проснувшись, решительно поменял свою жизнь. Начал с того, что ушел из школы и устроился учеником слесаря на изоляторный завод, а через два месяца его зачислили на рабфак. Ему было пятнадцать лет, ростом он был высок, хотя худ, узкоплеч и с виду нескладен, но руки были вставлены правильно, и голова работала тоже правильно: понял, что задача его – выживание.

Любовь к словесности решил отложить до лучших времен, а пока получить профессию слесаря и зарабатывать деньги, чтобы помочь матери выжить. Алиса сразу почувствовала, кто в жизни главный, и с облегчением уступила мальчику общее руководство. Единственное, на чем Алисе удалось настоять, – самой наводить все справки об арестованных. Чтоб мальчику целее быть.

Новость, однако, пришла из газет: закончился процесс, по которому привлекался Семен, трех главных заговорщиков приговорили к высшей мере, остальные получили по двадцать пять лет. Через две недели Алисе сообщили, что Фрида и Анна Филипповна находятся в Казахстане, под Бугульмой, в лагере ЧСИР – членов семей изменников родины.

Алиса стала собирать посылку, а еще через месяц пришло от Фриды первое письмо из Казахстана.

По ночам Алиса больше не плакала, да и утешать ее было некому – полночи шила, выполняла частные заказы, которые брала в театре, а потом спала коротким сном. Вставала рано, потому что Боря в шесть часов уже выходил из дому, и она кормила его перед уходом.

Алиса, от рождения привязанная к жизни слабыми нитями, болевшая всё детство неопределенной болезнью, от которой медленно умирала, но, в конце концов, выздоровела, в эти годы окончательно разлюбила жить. Вечерняя, в минуту засыпания мысль о том, что можно однажды уснуть и не проснуться, была из самых заветных. Умерла бы, умерла бы – и даже способ выбрала. Женский, красивый: с моста – она представляла себе любимый Матвеевский мост на Крюковом канале – маленький прыжок, короткий полет, и в воду. И вода уносит ее далеко, далеко, где всё совершенно нечувствительно... Она была обижена на мужа, который ее бросил здесь одну, на Фриду, оставившую ее одиноко доживать всю неудавшуюся, совершенно не нужную ей жизнь.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskayaaludmila.ru](http://ulitskayaaludmila.ru) Только Боря держал ее здесь, в Варсонофьевском переулке. Мрачного мальчика надо было кормить по утрам и вечерам, стирать рубашки и гладить их маленьким беловейным утюжком, и перешивать ему одежду из сохранившейся отцовской, и напоминать, чтоб сходил в баню.. Никак нельзя было его совсем одного оставить. Она лелеяла вечернюю мысль о Матвеевском мосте, решила, что дождется возвращения Фриды, сдаст на руки сына и уедет, уедет... улетит, уплывет.

Полтора года, с ареста матери до начала войны, Боря находился в перемежающейся лихорадке разлада: вся страна жила бодрой и героической жизнью, и отцовская кровь энтузиаста и жизнелюба звала его быть в гуще радости, труда, вечного мая, а обстоятельства семейной жизни – смерть отца, столь похожая на бегство, арест дяди Семена и матери, нелепость и чудовищность ошибок – выбрасывали его на обочину всеобщего праздника, делали его виноватым без всякой вины.

Начавшаяся внезапно война освободила его от этого непереносимого груза, и двадцать четвертого июня, легкий и счастливый, проведенный двое суток в военкомате, добиваясь отправки на фронт, молодой, восемнадцати лет не достигший, необученный, кое-как обмундированный, как и все остальные мальчики, набившиеся в вагон с зарешеченными окнами, использовавшийся за неделю до этого для перевозки заключенных, он ехал на фронт. Но не доехал. Состав разбомбили под Оршей, и прямое попадание авиационной бомбы избавило Борю от героической смерти, крови и грязи войны, от окружения, плена, концлагеря, выстрела в затылок.

В эти первые недели войны стояла такая жестокая неразбериха, что известие о его гибели Алиса получила только через два месяца. До Фриды это сообщение дошло к началу ноября.

Точно так же, как держало Алису на земле присутствие рядом Бори, стало держать его отсутствие. Теперь ей надо было дожидаться Фриду. И Алиса, преодолевая отвращение к жизни, жила, чтобы сохранить Фриде ее дом, ее комнату и книги, диван и фотографии на стене. Но в минуту засыпания, не позволяя себе воплотиться в завершённую мысль, мелькал туманно и призывно Матвеевский мост на Крюковом канале, возле Новой Голландии.

Театр эвакуировали в Куйбышев. Алиса осталась в городе. Ей опять повезло с работой – устроилась в госпитале, развернутом при медицинском институте. Теперь она была кастеляншей, заведовала бельем – рваными простынями, желтыми от автоклавирования халатами, пододеяльниками и наволочками, кальсонами и рубашками. И была сыта больничной кашей и супом, а хлеб сушила с солью и отправляла Фриде в фанерных посылках до пяти килограммов весу.

Благодаря этим посылкам Фрида дотянула до сорок четвертого года – пятилетний срок, полученный за неудачное родство, закончился. Вернуться в Москву ей не разрешили. Оставили на поселении под Бугульмой. Только в конце сорок шестого года Алиса смогла добраться до Фриды. В седом, беззубом, с темным лицом существе в ватных штанах и телогрейке Алиса не сразу узнала подругу. Алиса совсем не изменилась: та же детская худоба, природная бледность и деревенская желтизна волос. Фрида прижала ее к груди. Алиса, наконец, заплакала. Фрида ее утешала.

Фриде было сорок шесть, Алиса была на десять лет моложе. Обе потеряли всё, кроме друг друга.

Алиса хотела переселиться в Казахстан, поближе к подруге. Фрида ей запретила. Только в пятьдесят первом году Фриде удалось перебраться в центральную Россию, в чудесный город Ярославль. Теперь Фрида работала на шинном заводе, и Алиса приезжала к ней каждую неделю.

В пятьдесят четвертом году Фрида вернулась в свою комнату в Варсонофьевский переулок. На третий день после возвращения Алиса повела Фриду в Большой театр, где Алиса снова работала, на «Лебединое озеро». Танцевала молодая солистка Майя Плисецкая, на ней была пачка, шитая костлявыми ручками Алисы...

К этому времени стало известно, что Семена расстреляли, а Анна Филипповна умерла от язвенного кровотечения. Неугомонная Фрида, приехав домой, начала с того, чем кончила пятнадцать лет тому назад: поплелась на Лубянку – всё рядом, хорошими ногами пять минут ходу, – наводит справки о племянницах. Вскоре одна из них, младшая Лида, обнаружилась в Новосибирске. Собрали ей денег на билет, она приехала. Оказалась совсем чужая, грубая и неумная. Да и тетка, лагерная

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
кошелка, Лиде не понравилась. Так что разъехались, как и не встречались.

Фрида с Алисой увеличили портрет Бениамина и повесили над кроватью. Боречкиной хорошей фотографии не сохранилось. Последняя была еще школьная, там ему было пятнадцать лет, и видно, как он похож на отца. Но она была любительская и такого плохого качества, что увеличить ее отказались.

У Фриды были больные ноги, даже инвалидность дали. Она ходила, прихрамывая на обе, и Алиса, когда могла, выходила с ней и вела под руку. А тяжелые сумки всегда несла Фрида. Готовила еду, конечно, Алиса. Фрида часто читала ей вслух. Алиса была по-прежнему хрупким существом и нуждалась в утешении. А Фрида нуждалась в том, чтобы кого-нибудь утешать.

Последний костюм их общего мужа, темно-синий в полоску, Алиса перешла Фриде – жакет и юбка с двумя вставками из другой, но похожей материи – по объему не проходило. В этом костюме Фриду и похоронили в шестьдесят седьмом году. На следующий день после похорон Алиса уехала в Ленинград. И исчезла...

#### Писательская дочь

Был дом, какого не было ни у кого. Там были стеллажи с выдвигаемыми стеклами, золотые корешки, альбомы, бумажные собрания, многие с отмененной буквой «ять», – среди них, как впоследствии выяснилось, Мережковский и Карамзин, – гравюры на стенах, картины, потертые ковры, мебель красного дерева, тяжелые столовые приборы на круглом столе с частоколом ножек, способных разбегаться и превращать стол в огромный овальный, и люстра с синей стеклянной грушей в окружении хрустальных слез, и запах мастики, пирога и крымских трав, стоящих в глиняных горшочках на полках под потолком, и две девочки, столь же диких, как и весь дом, и няня Дуся, приземистая, с бородавкой, в фартуке с протершимся брюхом, и мать девочек – писательница, лауреат Сталинской премии, с мышиными глазами, желчная, умная и страстная. Назовем ее Элеонора. Главный роман ее, посвященный молодой партизанке, погибшей от рук фашистов, был включен в школьную программу, по нему писали сочинения и изложения.

Мелкий крючок был модулем, по которому была построена Элеонора: он просматривался в загнутых вверх чуть ниже ушей жидких патлочках, в розовом носике, в манере подгибать последнюю фалангу пальцев, в рисунке ушной раковины. Крючок присутствовал во всем ее строении. Возможно, не только тела... В ней не было ни тени миловидности, женственности в привычном понимании слова, но была острота и притягательность, объяснить которые пытались многие мужчины, на ее крючок клюнувшие. Впрочем, они пытались расшифровать тайну ее притягательности уже *postfactum*, когда бурный роман заканчивался. Заканчивался не в ее пользу – всегда. Если не считать трех ее внебрачных детей, про которых трудно было сказать, что же они собой представляют: победу страсти над мещанскими понятиями униженной советской жизни, знак женского поражения или героический подвиг, а может, хитрый расчет, никогда не оправдавшийся... Первый ребенок Элеоноры умер во младенчестве, еще до войны. Известно, что был мальчик. Девочки, Саша и Маша, каждая с романтической предысторией, со скандальной прелюдией, рождены были от разных мужчин. Старшая, отца не знавшая, родилась в первый год войны. Младшая запомнила, как однажды высокий седой человек принес большой мяч, играл с ней, а потом мяч закатился под кровать, и он полез его доставать, и две длинные ноги пришедшего протянулись через всю комнату – от стены до стены, как ей показалось.

Когда он ушел, нянька безжалостно сказала трехлетней: Маша, запомни, это был твой отец. И Маша запомнила. Нянька, как выяснилось с годами, оказалась права в своей простонародной жестокости. Это был единственный приход седого мужчины в дом. Не ляпни тогда нянька по бабьей болтливости, может, и вовсе не запомнила бы девочка жесткого лица своего знаменитого отца. Он был палаческой породы, которой развелось от советской власти множество, коммунист и алкоголик, похоже, что с остатком совести, и покончил с собой через некоторый критический срок после смерти Сталина. Интересная небольшая задачка, которую уже никто не разрешит: потому был пьяница, что были в нем остатки совести, или, наоборот, пьянство и связанные с ним страдания не давали окончательно разрушиться эфемерному предмету, называемому совестью. Говорили, что попался на улице кто-то из тех, кого он посадил, уличил негромко при случайной встрече, и какая-то вернувшаяся из ссылки вдова чуть ли не плюнула в лицо... И он пришел домой, выпил последнюю в своей жизни бутылку водки и застрелился в кабинете государственной дачи, которую выдали ему за верную службу.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) и тогда гордая Элеонора надела черный костюм, сшитый в лучшем московском ателье, закрытом, конечно, и повела маленькую дочь постоять ко гробу, возле которого стояли законные дети и законная жена. Дерзость необыкновенная со стороны бывшей любовницы, хоть и лауреатки Сталинской премии. Как ни верти, она была человеком больших дарований и крупных жестов. Машу тоже вырядили в черное, и из всех детей самоубийцы она единственная была похожа на него как две капли воды – восточным разрезом глаз и их льдистым оттенком, острым подбородком и острыми ушами, которые она еще не научилась укрывать волосами.

Между первой встречей, с мячом, и последней, с гробом, была еще одна, промежуточная. Три девочки – Саша, Маша и их незначительная подружка Воробьева шли по тропинке на задах писательского дачного городка, а навстречу им шагал высокий человек. Солнечный свет бликовал на его голове, и сестры вяло спорили: седой он или лысый? Поравнявшись, замолчали.

– Седой! – заключила подружка. Сестры шли молча, не глядя друг на друга, как будто вовсе забыли о причине спора. Наконец Маша, кривя рот не то в улыбке, не то в горестной гримасе, тихо сказала:

– По-моему, это был мой отец.

– Мне тоже показалось... – отозвалась сестра.

Неписательская девочка-подружка, из мира публики, Машина одноклассница Женя Воробьева, ужаснулась – как? Отец родной прошел мимо своей дочери, не узнав?

Девочки дружили с первого класса, и Воробьева всегда чувствовала, что Маша чем-то особенная, отличается от всех других, и особенность эта была возвышающая. Дело было отчасти в их особом доме, и в знаменитой маме, в шофере Николае Николаевиче, который возил семью на писательскую дачу. Но не только, далеко не только в этом. Было еще нечто неуловимое, склоняющее незамысловатую девочку к обожанию Маши. И оно оказалось вот чем – ужасным и таинственным, в голове не уместяющимся обстоятельством: у нее была биография, в то время как у других никаких биографий не было. Мало ли у кого в классе не было отцов – но прочие отцы просто погибли на фронте или пропали без вести. Здесь – другой, особый случай... Машин. И семейная триада, основа мира – папа, мама и я – оказалась повержена этим особым случаем...

Но как захватывающе – страшно и прекрасно – иметь отцом таинственного незнакомца, тем не менее известного всей стране по портретам, с сияющей на солнце головой, высокого и острого от ушей до коленей, а не полноватого, среднего с натяжкой роста папу, с анекдотами про то, как приходит муж с работы, и дольше всех хохочущего над собственными рассказами...

В молчании вернулись на дачу. Расселись у стола на веранде. Играть ни во что не хотелось. Воробьева высыпала из мешочка пронумерованные бочонки лото и начала их перебирать.

– Положи на место, что ты всё трогаешь, Воробей? – прошипела Маша.

Девочка замерла в удивлении, зажав в пальцах два бочонка с 11 и 37.

– Ты, Воробей, всё лапаешь и лапаешь своими руками! Положи на место и ничего здесь не трогай! Зачем только тебя пригласили! – Маша покраснела, рот криво дернулся.

Бочонки выпали из рук подружки. Она сгорбилась, закрыла лицо руками.

– Ты что, Маш, взбесилась? Чего такое она лапает? – удивилась Саша. Девочка эта была ей совершенно неинтересна, и защищала она не чужую подружку, а справедливость.

Маша сжала кулачки и замахала яростно и беспорядочно:

– Пусть убирается! Пусть уходит, откуда пришла! Почему она все время за мной таскается?! Всегда таскается!

Маша сбросила со стола лото, бочонки с веселым стуком раскатились по веранде,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru картонные карточки шлепнулись и распались красивым веером. Маша, визжа, вскочила и начала топтать ногами картонки. Воробьева смотрела на ее искаженную красоту, хотела уйти, но не могла встать – была как в обмороке.

Распахнулась дверь – в дверях стояла маленькая, заряженная огромным гневом Элеонора:

– Что здесь происходит? Что за вопли? Что вы кричите? Я прошу только одного! Тишины! Что вы здесь устраиваете! Я работаю! Неужели вы не можете понять? Я работаю! Сумасшедший дом!

Они стояли друг против друга, дочь и мать, и вопили, и махали кулачками, не слыша друг друга и меняясь в цвете: белокожая дочь наливалась клубничным, смуглая мать – вишневым... Саша стояла между ними белая и неподвижная, как стена. Вопли довольно музыкально, в терцию, поднимались всё выше и выше, и когда подниматься уж было некуда, Саша схватила большой белый кувшин с несвежим букетом полевых цветов и швырнула его между ними. Он глухо раскололся, запахло протухшей водой, и все замолчали.

Воробьева, пятясь, тихо ушла с веранды.

Потом девочки разъехались по лагерям. Первый раз в жизни. Маша и Саша в «Артек», а Воробьева – в обыкновенный пионерский лагерь подмосковного завода, где простым инженером работал ее отец. Мама у Воробьевой тоже была простая: врач в поликлинике...

Все пионерские лагеря были на первый взгляд одинаковы: линейки, подъем и спуск флага, белый верх, черный низ, штапельный треугольник красного галстука, пионерские костры и бодрая песня «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры – дети рабочих...»

Но дети рабочих и простых инженеров, в отличие от пионеров артековских, отборных и качественных, пользовались коммунистическими благами попроще и подешевле. Вместо моря им предлагалась маленькая речка Серебрянка, бывшая Поганка, хлеба по два куска к обеду и сахара – по два куска к завтраку, а не кто сколько захочет, как в «Артеке». Спали поотрядно, по двадцать человек в палате. Зато погода в то лето в Подмосковье была прекрасная, свежие саморастущие сосны на территории заводского лагеря были ничуть не хуже бочковых пальм, понатыканных на аллеях «Артека», и Женя Воробьева первые два дня лагерной жизни чувствовала себя отлично. Единственное, что омрачало ее девичью жизнь, была деревянная уборная, в которой на длинной доске было вырезано восемь круглых дыр, но никаких перегородок между ними не было. И она все никак не могла остаться одна, а ей для исполнения естественной нужды требовалось почему-то благородное одиночество. На третий день она даже сбежала во время мертвого часа с территории лагеря в близлежащий лесок, чтобы там подчиниться неизбежному закону природы. Но ее побег был немедленно обнаружен, по лагерю подняли сигнал тревоги, и она была изъята из-под кустика с большим позором. Больше она таких попыток не делала, но и рассталась с мечтой освободить свой застенчивый кишечник, который всё отказывался работать при стечении народа, хотя и женского.

Живот сильно болел, есть она совсем перестала, а за два дня до окончания смены она потеряла сознание, и ее отправили в Можайскую больницу, где ей сделали полостную операцию, и она выздоровела довольно скоро, так что на занятия в школу опоздала всего на десять дней.

Артековский загар еще не сошел с Маши, когда бледная Воробьева появилась на занятиях. Маша ждала возвращения подруги с нетерпением, переполненная рассказами о пионерском лете. Воробьева слушала со вниманием восторженные рассказы об острых радостях и наслаждениях «Артека», об испанской девочке Терезе, дочери политэмигрантов, и о другой девочке, бабушка которой сидит в американской тюрьме, потому что борется за мир, и про письма, которые они писали всем отрядом в дружественную Болгарию, в такой же пионерский лагерь, но на другом берегу Черного моря. Маша даже хотела отвести Воробьеву в кабинет географии, чтобы показать, где именно находится город Варна, в котором дружественные болгарские девочки отвечали им на приветственное письмо. Воробьева не удивлялась интересности машинной жизни – это было естественно и в своем роде даже справедливо, что Маше всё это доставалось. Единственный вопрос, который хотела бы задать Воробьева, – была ли у них уборная общая или разделенная на кабинки.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru)  
Но постеснялась.

Еще Маша, закатывая глаза и начиная вдруг немного шепелявить, рассказывала о вожатом Аркадии, студенте института международных отношений, куда берут не всех подряд, а только детей дипломатов, и этот самый Аркадий прожил всё детство во Франции, потому что он из дипломатической семьи. И мелькнуло в воробьевской голове, что и Маша уж на что высоко стоит, но и над ней кто-то возвышается, и она смотрит на вожатого Аркадия снизу вверх, с почтением, за его дипломатическое детство, проистекавшее в городе Париже. Маша опять позвала Воробьеву заглянуть на перемене в географический кабинет, до которого они вообще-то не доросли, так как только перешли в четвертый класс и географии еще не проходили. И действительно, они поднялись на третий этаж, постояли там перед большой картой, и Маша нашла и показала подружке и город Варну на берегу Черного моря, и город Париж посреди неинтересной суши, а потом шепнула:

– Вырасту – тоже поеду в Париж.

Наглость и заведомая ложь были в таком заявлении. Воробьева даже хотела ей сказать, чтоб не завиралась, но потом промолчала: от Маши всего можно было ожидать.

Вообще Воробьева чувствовала свою неполноценность рядом с Машей, хотя Маша училась неважно, а Воробьева была почти отличница. Но дело было в тонком обстоятельстве, что, кроме знаменитой мамы, особенного дома, дачи, машины с шофером и еще бесчисленного множества очень значительных мелочей, Маша, несмотря на десятилетний возраст, была идейная и партийная, а Воробьева в себе этого совершенно не ощущала и всё не могла забыть, как Маша горько плакала в прошлом году, когда объявили о смерти товарища Сталина, как густо текли слезы в щели между розовыми пальцами, сцепленными на лице, как сотрясались крылышки черного фартука, в то время как сама Воробьева страдала только от глубокого одиночества, от своей черствости и грубости. Тогда нашелся только один человек, кроме Воробьевой, который не горевал вместе со всей страной, – старик-сосед Коноплянников, который напился и орал в коридоре: «Подох! Подох кровопийца! Поди, думал, смерти на него не найдется!»

С самого дня смерти товарища Сталина пил сосед подряд несколько дней, а потом помер от водки, и его долго не могли похоронить, и в квартире пахло мертвым телом. Тогда Воробьева и почуяла в первый раз этот запах, от которого внутри всё немело.

Девочки бурно дружили на уроках и на переменах, иногда вместе делали уроки, ходили на каток, Маша – в толстом свитере и красной нейлоновой куртке, Воробьева – в лохматом лыжном костюме. Хотя Воробьева на своих прочных ножках каталась лучше, чем Машка на своих спичинках, все мальчишки приставали к Маше и ставили ей подножки, чтобы она падала, а потом они ее поднимали, как будто невзначай лапая ее за толстый свитер. Воробьева не обижалась. Они возвращались с катка – обычно Воробьева сначала провожала до подъезда Машу, а потом шла домой: Элеонора Яковлевна просила доводить Машу до дверей, потому что беспокоилась. Летом Воробьеву иногда приглашали на писательскую дачу, и она проводила там несколько дней, обедая клубнику с грядок, взлелеянных няней Дусей, и читая лохматые книги, совершенно не похожие на те, что выдавали в школьной библиотеке. Их было множество. Воробьева лежала в гамаке и читала никому не известного Лескова. У Элеоноры была потрясающая библиотека, даже на даче...

С самого начала седьмого класса Маша стала готовиться к поступлению в комсомол. Ей туда очень хотелось, а Воробьева как будто хотела уклониться, но Маша укоряла ее в мещанстве и обывательстве, и Воробьева никак не могла объяснить ей – и даже себе самой, – что против коммунизма она никак не возражает, скорее, противится ее оперированный кишечник...

В конце седьмого класса Маша открыла подруге под свежее «честное комсомольское» большой секрет: сестра Саша, не достигшая и шестнадцатилетия, завела себе настоящий роман с одним мальчиком, десятиклассником не из обыкновенной, а особой художественной школы. Они, можно сказать, поженились, потому что когда мама уезжает в поездки, он живет у них дома, ночует прямо в их бывшей детской, а Машу переселяют на это время в гостиную. И еще: Саша перестала ходить в школу, курит в открытую и, когда мамы нет, надевает ее шубу из опоссума. Кто был тот опоссум, Воробьева не знала.

Отношения у сестер в это время сильно испортились, они шумно ссорились, ругались. Маша рыдала, потом сестра ее жалела и приглашала к своим гостям, которых было множество – взрослые молодые люди, художники из последнего класса художественной школы, которые скоро должны были поступать кто в Полиграф, кто в Строгановку, кто собирался в питерскую Муху.

Молодые люди были как на подбор – все красивые, одетые особенным образом, в свитерах, в шарфах, но лучше всех был Сашин Стасик. У него был вельветовый пиджак. Девушки тогда ходили в «фестивальных» юбках, утянутые в талии и распространяющие вокруг себя насборенное пространство. В моду вошли нижние юбки. У Маши была толстая нижняя юбка из поролона – ей мама привезла из Венгрии, а талия у Маши была сорок семь сантиметров, чего практически на свете не бывает. Маша была похожа на абажур, только лампочка маленькой головы на тонком шнуре шеи помещалась не внутри, а снаружи. Пили сухое вино и танцевали.

Особенно прекрасные вечеринки удавались в те дни, когда Элеонора уезжала по своим писательским делам за границу. Никто никуда в те годы не ездил, кроме особо избранных. В один из таких дней пригласили и Воробьеву. Она тоже нацепила широкую юбку, перетянувшись в поясе лаковым ремнем и села в угол. Разговаривали о Хрущеве. Его ругали, над ним смеялись, а Маша со всеми дерзко спорила, говоря, что отдельный руководитель может и ошибаться, но есть генеральная линия партии, а партия не ошибается. Женя молча удивлялась, до чего же Маша независимая – что думает, то и говорит. Несмотря на то, что не только поддержки в этом кругу блестящих молодых людей не имеет, но даже несколько смешно выглядит...

В другом углу бывшей детской шел спор о Магритте, и там тоже был один красавец, не хуже Сашинного Стаса, по прозвищу Безе, который кипятился, всё говорил всем насупротив и всех ругал за тотальную необразованность и невключенность куда-то...

Саша, взрослая, кудрявая, сияла несказанной белизной кожи, шея и плечи казались бы мраморными, если бы она хоть на минуту могла остановиться. Но она вместе со своим телесным мрамором все время была в движении – танцевала, прыгала, зависала на своем вельветовом красавце, они целовались при всех, не скрываясь, а потом вышли, и Женя, зайдя минут через пять в ванную высморкаться – потому что стеснялась при гостях – увидела их там и чуть в обморок не упала: они делали такое, что бедняга понеслась в уборную, потому что ее чуть не вырвало. И тут, в уборной, действительно вырвало...

«Если бы моя мама только узнала о том, что я видела...» – в ужасе думала Женя, но от страха даже додумать свою мысль не могла. Что было бы...

Стянула с вешалки мамино ратиновое пальто, которое ей выдавалось в ответственных случаях, понеслась домой, переживая увиденное, и долго плакала в подушку перед тем, как уснуть...

Маша обожала Маяковского, читала его километрами и лично знала Лилию Брик. Разумеется, через Элеонору. Воробьева, со своей стороны, обожала Пастернака, довоенный ветхий сборник которого нашла в Машинном шкафу. Когда потрясенная Воробьева рассказала Маше о своем открытии, та пожала плечами и сказала, что Бориса Леонидовича она тоже знает, он их сосед по даче.

– Он что, жив еще? – изумилась Воробьева, убежденная, что все великие писатели давно умерли.

– Возле магазина живет, – равнодушно ответила Маша и добавила: – У них с мамой как-то отношения разладились. Раньше они общались, а после Сталинской премии перестали. Он человек старомодный, буржуазный. Знаешь, но Маяковского он очень любил...

Маяковский вызывал у Воробьевой стойкое отвращение, всё коммунистическое и революционное связано было иррациональным образом с дощатой доской о восьми очках, о чем она Маше, стесняясь, не сообщала. Маша и так давно уже высказалась, что ее, воробьевское, мещанство непереносимо...

Детская дружба продолжалась скорее по инерции, у Воробьевой появилась внешкольная подруга, умная, старшая, и прежнее восхищение выродилось в чувство обыденной привязанности, и Маша как-то сказала Элеоноре, спросившей, отчего



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Воробья так давно не видно:

– Воробей мне изменяет с какой-то посторонней мышью. Да бог с ней...

Действительно, Маше было не до Воробьевой.

Машина жизнь, казавшаяся Воробьевой такой интересной, на самом деле только начинала медленный разбег. Сестра ее Саша уже летела по высокой орбите: вышла в шестнадцать лет замуж за красавца Стасика, родила дочь, назвала ее, к недоумению матери, Дусей в честь старой няньки, страстно возилась с ней полгода, а потом сбежала от растерянного Стасика, оставив Дусю на попечение его осчастливленных родителей. У Саши образовалась новая любовь такой великой силы, что перед ней ничто не могло устоять. Эта новая любовь через некоторое время разлетелась в прах от последующей, более великой.

Элеонора неодобрительно следила за жизненными перипетиями старшей дочери, но отдавая себе отчет в том, откуда у дочери взялся этот вулканический темперамент, старалась себя сдерживать и не устраивать бурных скандалов каждый раз, когда хотелось... Так что случавшиеся между ней и старшей дочерью истерические дуэли могли бы быть и чаще...

Саша годами не жила дома – то снимала какую-то комнату в коммуналке, то выходила замуж на несколько лет в Тбилиси, потом укрывалась в какой-то вологодской деревне со ссыльным диссидентом, училась актерскому мастерству, увлекалась последовательно керамикой, астрологией, в случайном припадке выучила французский язык, сделала прекрасные переводы одного из «проклятых поэтов» и даже, не без поддержки матери, издала эти переводы в новосибирском издательстве, написала и сама множество стихов. Из беломраморной округлой красавицы превратилась в ободранную кошку, всё еще очень красивую, и всё это время пила – немного, много, очень много...

Умная Элеонора всю жизнь говорила про Сашу одну и ту же глупость: она загубила себя, бросив школу и выйдя замуж за Стасика...

Маша тоже ушла из школы после девятого класса, но не во имя какого-нибудь идиота, а по соображениям «жизнеустроительства»: она решила поступать на филфак в университет, а конкурс там был очень высокий. Элеонора отличалась коммунистической принципиальностью и никогда бы не стала просить за дочку: она принадлежала к последнему поколению «честных коммунистов», презирала блат, всякого рода воровство и корыстолюбие и достойным считала лишь то, что государство добровольно дарит за верную службу... Маша перевелась в вечернюю школу и устроилась на работу, чтобы заработать «производственный стаж» – он давал большие преимущества при поступлении.

Воробьева пошла по другому пути: занималась как сумасшедшая, чтобы высидеть своим твердым задом золотую – ну, хоть серебряную – медаль, которая тоже давала преимущества при поступлении. Ходила на курсы подготовки в медицинский – конкурс там был не меньше, чем на филфак.

Встречались теперь девочки редко, но одна встреча осталась в памяти у Воробьевой на всю жизнь. Предварительно они долго сговаривались, и всё не получалось, наконец условились, что Воробьева придет в воскресенье утром. Воробьева прибежала с брикетом мороженого.

– Машка спит, – хмуро объявила Элеонора, открыв дверь.

Воробьева зорким глазом заметила на старинном комод в прихожей лиловый зонт с ручкой из слоновой кости и вытертую дамскую сумку недовольных времен.

Маша не спала, она выползла из ванной с белесым сонным лицом, в махровом халате, подгребая тонкими ногами...

– Иди ко мне в комнату, Воробей! – хмуро сказала подруге.

Элеонора что-то проворчала, Маша огрызнулась.

– Анна Андреевна у нас гостит. Обычно она здесь недалеко, на Ордынке останавливается, но там сейчас ремонт, – буркнула Маша. – Ну что, рассказывай,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya1udmila.ru](http://ulitskaya1udmila.ru)  
как там у тебя...

Пока Воробьева рассказала о небогатых школьных новостях, Маша с садистическим выражением лица терзала прыщ на лбу: из маленького и незаметного он сделался значительным и налился краснотой.

– Завтракать, Маша! И Воробья зови! – крикнула Элеонора из далекой дали огромной квартиры.

Воробьева с детства любила их дом. Она провела в нем столько часов и дней, что в лицо знала чайные ложки с витыми темными ручками, простую керамическую посуду из Прибалтики и парадные чашки из горки, коллекционные, собранные по одной, а не какие-нибудь пошлые сервизы, плетеную серебряную хлебницу с серебряной же салфеткой, вделанной в нее навсегда, сахарницу в виде сундучка, масленку с крышкой барашком, сырны фарфоровые доски, развешенные по кухонной стене. Она лучше Маши помнила, откуда Элеонора что привезла за последние десять лет. Ковер, похожий на половик, был родом из Закарпатья, медный кувшин с крышкой приехал из Самарканда, и даже в уборной висела большая ковровая сумка из туркменского города Мары, предназначенная для иных нужд, но хранившая теперь туалетную бумагу...

Воробьева вслед за Машей вошла в кухню. Элеонора стояла у плиты, спиной. Варила кофе в медной джезве. А за столом сидела упомянутая Анна Андреевна.. Она была Ахматова. Большая, в лиловом балахоне, с седыми, вверх поднятыми волосами. Неопрятная, лицо покрыто какими-то нарочитыми, уж слишком густыми морщинами, на ногтях облупленные остатки маникюра, – величественная, как Кавказские горы, красивая не по-человечески, а как море или небо, спокойная, как бронзовый памятник.

Элеонора налила ей кофе в золотую чашку, и Воробьева, наконец, поняла, зачем и для кого делают на свете эти бессмысленные и дорогостоящие вещи...

– Доброе утро, – сказала Ахматова не поздоровавшимся девочкам...

В шестьдесят шестом году Маша окончила университет и вышла замуж за знаменитого английского поэта. В Советском Союзе была встреча с прогрессивными западными писателями, и он был приглашен. Элеонора взяла с собой дочь на эту встречу.

Англичанин влюбился без памяти в сорокакилограммовую угловатую Машу и незамедлительно – ускоренным образом преодолев безумные формальности – на ней женился. Свадьба – вернее, свадебный обед, заказанный на восемь персон, – состоялась в фешенебельном ресторане гостиницы «Националь». Муж возвышался над женой на полторы головы. На Маше было привезенное им специально для свадьбы платье – розовое, в клеточку, с оборкой, совершенно детское, чуть ли не со слюнявчиком. Молодожены непрерывно хохотали, переглядывались, перемигивались, всем видом давая понять, что им нет дела до окружающих. Это было не так уж и сложно, поскольку Элеонора, прилично знавшая немецкий и несколько французский, совсем не понимала по-английски... Присутствовала также няня, наряженная в голубую деревенскую блузку и синюю шерстяную – несмотря на жару – кофту, и Воробьева.

Две персоны из восьми не явились: сестра Саша, но не от зависти, а по той причине, что с вечера напилась и к обеду не поднялась. Вторым отсутствующим был Машин близкий друг, тоже писательский человек, за которого она почти уж собралась замуж до того, как появился англичанин. Маше почему-то хотелось, чтобы он был свидетелем на бракосочетании, присутствовал на ее свадьбе и тем самым дал знак, сколь высоки и бескорыстны были их отношения... Но он не явился в загс, и в качестве свидетеля выступал шофер Николай Николаевич. Он поставил свою подпись, но садиться за стол с хозяевами категорически отказался. Воробьева присутствовала на свадьбе как свидетель со стороны невесты. Маша выбрала ее как человека надежного, верного и не владеющего английским языком. Маша всё то время, которое потребовалось для оформления брака, тщательно оберегала своего роскошного Майкла от любых лишних общений. В тот же вечер Майкл улетел в Лондон. Маша осталась ждать визы.

Маша нацелилась на Лондон. Майкл позвонил ей и сообщил, что ему надо собирать материал для книги об англо-немецких отношениях во время Второй мировой войны. И едут они, таким образом, в Берлин. Маша долго рыдала – она закончила филфак,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru романо-германское отделение как специалист по английской литературе, обожала Диккенса, а тут вдруг противная Германия, да еще и Западная, с этими немцами, развязавшими войну, их фашизмом и лагерями...

Спустя три месяца Машу провожали с Белорусского вокзала в Западный Берлин. Вокзальные проводы были немногочисленны: радостно-горестная Элеонора – она горячо любила младшую дочь и расставалась с ней трудно, – Саша с бутылкой шампанского и уже слегка заправленная, вцепившаяся в своего нового возлюбленного, знаменитого на всю страну футболиста, шофер Николай Николаевич, поднесший два Машиных чемодана, и верная Воробьева с букетом в руке. Выпили шампанского, Маша поднялась на подножку вагона и, счастливо улыбаясь, махнула рукой с воробьевским букетом:

– Не переживайте! Всюду жизнь!

Все засмеялись – шутка была хороша! Улыбнулась даже Воробьева, которая была уже почти законченным доктором, сильно поумнела и на всё – даже на подругу детства Машу – смотрела новыми, медицинскими глазами. Относительно Маши и ее мамы она тоже приобрела новую точку зрения, описанную известным анекдотом тех лет о несовместимости трех качеств в человеке: ума, честности и партийности. В уме ни Элеоноре, ни Маше отказать она не могла – слишком много книг стояло на книжных полках в их доме, в бытовой порядочности тем более...

«Ханжи и лицемеры», – подумала Женя.

Поезд ушел в самый недоступный для простого советского человека город – в Западный Берлин.

Вышли на привокзальную площадь. Элеонора поцеловала Сашу, кивнула футболисту, неожиданно пожала руку Воробьевой и сказала ей:

– А ты звони иногда, Женя...

Верный Николай Николаевич открыл заднюю дверцу старой «Волги». Большая слава Элеоноры давно прошла, ее книги уже не включали в школьные программы, хотя они и лежали во всех книжных магазинах нашей необъятной родины.

Элеонора подняла полу пушистой, давно не новой шубы и уселась.

«А, это, наверное, и есть опоссум», – догадалась Воробьева.

Следующая встреча подруг произошла в шестьдесят восьмом, вскоре после пражских событий. Воробьева за это время успела стать педиатром, была в ординатуре на кафедре гематологии и вышла замуж за врача. Маша приехала к Воробьевой, в квартиру к родителям ее мужа, куда Женя переселилась из своей коммуналки.

Маша изменилась почти до неузнаваемости: пострижена под мальчика, со смешным чубчиком, одета, как школьник, в тупорылые ботиночки и детские джинсики, которые даже ей, при полном отсутствии чего-либо, кроме костей, были тесны.

– Боже, Машка, как ты похудела! – воскликнула располневшая за то же время Женя.

– Стиль гаврош, который так любит мой муж. На диете сижу. – Маша усмехнулась, и в улыбке проскочила легкая кривизна.

Она привезла целый ворох подарков: всё Жене было маловато, но налезало, и Маша сказала, что эти вещи должны держать ее в форме, не давать расползаться. Для убедительности она сунула палец между поясом и телом, но оттянуть ничего не удалось:

– Это детский размер, все женские размеры начинаются у нас с восьмого, это меньше, чем наш сорок четвертый, а я уже полгода покупаю мальчишковые вещи на двенадцать лет.

– Ну, рассказывай, какие новости, – попросила Маша с таким выражением лица, с каким взрослые обращаются к детям.

– Наши в Прагу вошли, – пожала плечами Воробьева. – Каких тебе новостей? Кто

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
женился, кто развелся?

Маша посмотрела на Воробьеву с серьезностью. Не ожидала.

– Женька, с каких это пор тебя стала интересовать политика?

– Нет, Маш, меня она как не интересовала, так и не интересуется. Меня детская гематология интересует. А политика эта ужасная. У нас было опасение, что сейчас большая война начнется...

– Ну, это нет, – объяснила Маша как человек, приехавший непосредственно оттуда, где решается вопрос, кто и когда начинает... – А вот удар по коммунистическому движению наши нанесли непоправимый. Во всем мире такое негодование, такая потеря престижа. Надо было как-то по-умному манипулировать, а их венгерские события ничему не научили.

– Ты о чем, Маш? Как это манипулировать? – удивилась Воробьева.

«Нет, ничего не понимает. Никогда ничего не понимала», – подумала Маша и объяснила:

– Мы с Майклом все это время провели в Мюнхене, где собирались бежавшие из Праги писатели, ученые, деятели культуры. Среди них было много левых, социалистов, антифашистски настроенных – они больше никогда не будут поддерживать мировой процесс.

– Какой процесс? – робко вставила Воробьева.

– Коммунистический, – убежденно произнесла Маша. – Они потеряны для коммунистического движения. Ты, конечно, не знаешь, но скажу тебе по секрету, что в Италии, например, половина коммунистов вышла из партии, во Франции то же самое. Майкл, конечно, не член партии, он художник, он носитель идей, ты себе не представляешь даже, как он знаменит на Западе, молодежь от него просто без ума. Все эти рок-музыканты, они же за ним просто бегают, ловят каждое его слово. Мы были в Париже в дни студенческой революции, Майкл был там одним из ведущих лидеров, я имею в виду, конечно, идеологическую сторону... Это по своей сути антибуржуазное движение...

Тут пришел муж Гриша и принес бутылку коньяку. Подарок пациента.

– А вы знаете, что это вообще не коньяк? – задала Маша провокационный вопрос.

Гриша открыл, понюхал:

– Коньяк. Без вопросов. Хороший армянский коньяк.

Маша засмеялась:

– Коньяк – такой город во Франции. Там производят напиток, называемый «коньяк». А всё прочее – не коньяк. И кагор тоже название городка, а вовсе не крепленое вино, производимое в Крыму.

У Гриши был золотой характер:

– Иди, Женька, приготовь нам поесть чего-нибудь, а мы пока выпьем этого неопределенного напитка, который вроде бы и не коньяк даже.

«Ужасно, – думала Маша. – Хороший, кажется, человек, а ведь и в голову не приходит, как он унижает свою жену, отсылая ее на кухню готовить еду. Майкл никогда не позволяет себе такого...»

Ей, бедняге, еще предстояло узнать, что Майкл, будучи человеком современным, позволяет себе нечто другое, что ей понравится еще меньше, чем жарить мужу картошку...

Расстались подруги с ощущением, что навсегда. До Жени Воробьевой доходили какие-то смутные слухи о большой Машинной жизни: она написала книгу о рабочем движении после шестьдесят восьмого года, развелась с мужем, который бросил ее

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru ради молодого человека – что с трудом помещалось в воробьином сознании, жила не то в Африке, не то в Южной Америке, а может, и там, и там. Пару раз приезжала в Москву навещать Элеонору, но Воробью больше не звонила. Воробьева не обижалась и считала это естественным: разные орбиты.

Но семь лет спустя вдруг позвонила:

– Воробей! Саша умерла. От цирроза печени. Завтра похороны. Отпевание на Преображение, в Никольской церкви в одиннадцать, потом поедem хоронить в Переделкино.

Маша плакала. Заплакала и Воробьева: Саша была такая красивая и тоже особенная – свободная и талантливая...

Воробьева первый раз в жизни пришла на отпевание. Не то что у нее никто прежде не умирал, но жили и умирали в большинстве своем без церкви.

Там было великое множество народу, как на театральной премьере, – интеллигентные, красиво одетые люди, женщины в шубах. У гроба стояли маленькая Элеонора в старой шубе из опоссума с воспаленно-красным лицом и синевато-белая Маша в черной вязаной шапочке. Между ними – высокая девушка, похожая на Сашу, но даже еще лучше.

Увидев Воробья, Маша кинулась к ней, обхватила руками:

– Воробей, дорогой мой Воробей, как же я тебя ждала! Ты себе не представляешь, как ты мне нужна. Я и сама не представляла...

Они брызнули друг на друга слезами, а потом Воробьева посмотрела в гроб: желтая старушка с маленьким крючковатым носом несколько не была Сашей... Настоящая Саша называлась теперь Дусей, но лицо имела строже и ростом была выше.

Вышел маленький священник, совсем маленький, лысый и похожий на Николая Чудотворца.

Воробей и Маша стояли обнявшись, слепившись в горести; Элеонора, давно уже предчувствовавшая конец, именно такой – позорный, как она это понимала; Маша, не подготовленная к этому событию, несмотря на все телефонные сухие отчеты матери: «умирает», «погибает», «уходит». Красивая юная Дуся напомнила Жене Сашу как раз в том самом возрасте – ей лет пятнадцать-шестнадцать, и Стасика, и сцену в ванной... И Воробьева остро вдруг почувствовала, как глубоко и по-сестрински привязана она к нелепой Машке, трогательной, всё еще похожей на красивого мальчика, но уже начавшей подсыхать...

В Переделкино гроб несли на руках к могиле многие мужчины, сменяясь. Стоял лютый мороз, они все были без шапок, в банных клубах собственного дыхания.

– Все ее любили, – шепнула Воробьева Маше.

– Я думаю, это половина тех, кто ее любил, – строго ответила Маша.

Маша провела в Москве неделю. Воробьева снова сидела в Элеонориной квартире. Она вернулась туда после стольких лет, как в родной дом. Элеонора поставила перед ней одну из коллекционных чашек, из горки, и вообще была ласкова. Спросила, знает ли она Коварского.

– Я работаю у Коварского-младшего, – ответила Воробьева.

– Говорят, что он не хуже отца, – неуверенно сказала Элеонора.

Воробьева согласилась.

– У внучки моего близкого друга подозревают лейкоз. Можно ли... – начала Элеонора.

– У меня кандидатская была по лейкозу. Это моя специализация, детский лейкоз. Конечно, любая консультация... Если хотите, можно и к Коварскому-старшему...

Маша уехала, и теперь подруги изредка обменивались письмами, какая-то слабая

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru ниточка восстановилась. Жила Маша теперь в Лондоне, в трехэтажной классической квартире, которую купил ей бывший муж в скромном, но неплохом районе. Сам он остался в прежнем, большом доме в Кенсингтоне, принадлежавшем еще его прадеду-юристу. Жизнь Машина после развода пошла под горку: в ней было всё меньше блеска, общения со знаменитостями, разъездов по мировым столицам, презентаций и приемов – всё это, как и старый дом с садом, осталось у Майкла. Зато у Маши была работа – она стала крупным специалистом по рабочему движению, была знатоком троцкизма, принадлежала к левой интеллектуальной среде и даже имела репутацию серьезного эксперта по коммунизму. Она пользовалась некоторым успехом у мужчин своего круга, но внешность ее – мальчишеская стройность, очаровательная угловатость движений, чудесный овал лица и раскосые светлые глаза – скорее подходила тому артистически-художественному кругу, который она покинула, нежели теперешнему. У нее было несколько незначительных романов, которые приносили больше разочарований, чем радостей. Пожалуй, самой лучшей и длительной из всех ее связей была итальянская: на протяжении шести лет она приезжала в один и тот же маленький городок под Неаполем, где к ее услугам была гостиница, зонтик на пляже и маленький ресторанчик вместе с его владельцем, сорокалетним Луиджи, который жил в зимние месяцы, когда бизнес останавливался, в двадцати километрах от моря, в незначительном городке с женой и дочками, а в летнее время улаживал заезжих гостей неаполитанской пиццей. Эти двухнедельные поездки в Италию давали Маше большой заряд здоровья, потому что в Англии ей во всех отношениях не хватало тепла. Потом Луиджи исчез, и когда Маша спросила у нового владельца, куда же он делся, тот развел руками:

– Я купил у него дело, он взял деньги и уехал. Посмотрите, какую террасу я пристроил. Хотите, это будет ваше постоянное место?

Но постоянным местом был Лондон, а в нем накатывала депрессия, особенно весной и осенью. Маша стала чаще наведываться в Москву.

В восемьдесят пятом Элеонора разбила ее сердце – вышла замуж. Это было нелепо, глупо, даже стыдно. Ей было без малого семьдесят, и хотя она всё еще сохраняла стройность и подвижность, была совершенная старуха.

Маша была оскорблена тем, что мать ее ни о чем не предупредила. Когда Маша приехала, Элеонора встретила ее в Шереметьево и рассказала о своем замужестве по дороге домой. Второй удар постиг Машу уже дома: мамин муж занял ее комнату под рабочий кабинет, и Элеонора постелила ей в гостиной. Наутро Маша собрала вещи и съехала к Воробьевой, они с мужем к тому времени родили ребенка и построили кооперативную квартиру.

Десять дней Маша мрачно просидела в Тимирязевке, раза три вышла из дому, почти никому не звонила. Травма была глубочайшая. Пожалуй, только история с Майклом подействовала на нее так сокрушительно.

Элеонора два раза звонила Воробьевой, но Маша увиделась с матерью лишь перед отъездом, на нейтральной территории: в дом, оскверненный непристойным замужеством, Маша не пошла.

Нейтральным местом было кафе в гостинице «Националь». Они сидели за столиком, маленькая прямая Элеонора и сгорбившаяся, потерявшая свою всегдашнюю струну Маша, перед ними стояли две чашки кофе, берлинское печенье и бутылка «Боржоми». Элеонора сказала Маше, что вышла замуж за человека, которого любила много лет, что он овдовел и теперь, впервые в жизни, она живет вместе с мужчиной, которого любит, что она совершенно счастлива, что оба они в таком возрасте, что о долгом счастье речи быть не может, но она дорожит каждым оставшимся днем и ни одного из них не хочет потерять. Она просила прощения, что совершила бестактность, предоставив Юрию Ивановичу ее комнату, что готова просить его временно перебраться со своими занятиями в гостиную, потому что, «как ты сама, Маша, можешь понять, в маленькой, бывшей няниной, она не может поселить бывшего генерала, – Элеонора улыбнулась случайной шутке, – а спальня имеет у нас другое назначение».

В голосе ее звучало женское торжество, как будто этого замшелого генерала она отбила непосредственно у дочери. Маша уловила эту ноту, и особенно намек на его пребывание в спальне.

«Господи, она со мной что, соревнуется?» – думала Маша.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Ей хотелось, как это было принято прежде, в детстве, когда они жили втроем, заорать, завизжать, швырнуть об пол чашку, и будь они дома, может, это бы и произошло, а потом бы они обе рыдали, гладили друга по голове и плакали в глубоком примирении и внутреннем согласии...

– Я всё поняла, мама, – сказала Маша, вставая. – Я больше никогда не приеду в Москву.

Тогда Элеонора достала кошелек и элегантно махнула официанту. Откуда взялось? Она была совершенно западная женщина, эта несгибаемая коммунистка.

Нетронутый заказ стоял на столе. Официант не видел позывных, и Элеонора держала руку поднятой, слегка шевеля пальцами. Руки у них были совершенно одинаковые – очень тонкие пальцы с большими, выпуклыми ногтями, слегка загибающимися внутрь.

Но Маша приехала. Через три года, после смерти генерала. Позвонила Элеонора, сообщила, что похоронила мужа и просит Машу приехать повидаться. Маша ответила, что подумает, и на следующий же день договорилась о переносе курса, который читала в Лондонском университете, и купила билет на первый же рейс. Позвонила Воробьевой, попросила встретиться. Воробьева встретила и отвезла домой. Она была такая умница, эта Воробьева, – ни о чем не спрашивала, радовалась встрече. Спросила, хочет ли Маша, чтобы она поднялась с ней вместе.

– Да, хочу, очень хочу. Я же ее не предупредила, что еду. Она и не ждет.

Элеонора обрадовалась, но как-то затуманенно. Она была в довольно замызганном халате, и такого никто еще не видывал. Дом был полон фотографиями генерала. Сама же Элеонора была какой-то расслабленной, она мягко улыбалась, и чуть ли не первой фразой было:

– Ты подумай, деточка, ты приехала как раз на сороковой день.

Сроду она не называла Машу деточкой: всегда Машкой. Но Маша не испытала на этот раз ничего, кроме горькой жалости. И теперь ей было совершенно все равно, где ей постелят, – в бывшей детской, в бывшей няниной или в гостиной.

Потом Маша приезжала еще два раза. В последний раз призналась Воробьевой, что лежала два месяца в лондонской клинике после неудавшегося суицида.

Воробьева – врач! – не разнюнилась, не раскрякалась, даже бровью не повела.

– Ну, слава богу, всё позади! Это ведь многие переживают. А желание это, я думаю, всех время от времени посещает.

– Наверное. Но у меня нет никаких других желаний, кроме этого, – усмехнулась Маша.

– Маш! Да это обыкновенная депрессия, надо пить...

– Ага, прозак. Я его пуд выпила. В Лондоне жить невозможно, проклятый город. У меня много знакомых, даже друзей, но когда нужно поговорить, тебе вежливо предлагают прийти во вторник на будущей неделе. Это самое холодное место на свете. Холодная пустыня! Англичане вообще не общаются, они только обмениваются фразами, одинаковыми, как пятаки. И рабочее движение... Мне всё это надоело, надоело! У меня были идеалы, которые сегодня всем смешны. Вся моя жизнь – коту под хвост! Понимаешь, жизнь кончилась, а я жива... Это бывает! И Цветаева! И Маяковский! И мой отец!

«Сейчас будет истерика», – подумала Воробьева. Но ошиблась: никакой истерики не последовало. Маша осеклась и тихо спросила:

– А ты думаешь, грех?

Воробьева задумалась. Она была слишком профессиональна и добросовестна, чтобы думать о грехе. В ее отделении часто умирали дети от лейкоза, она видела их матерей, которые до последней минуты надеялись на чудо. Воробьева думала не о грехе, а об Элеоноре. И сказала:

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Нет. Не думаю. Я думаю, что лично ты не имеешь права это сделать, пока жива Элеонора. Пусть уйдет она, а потом ты будешь делать, что сочтешь нужным. Признаюсь тебе честно, мне кажется, что в некоторых обстоятельствах человек имеет на это право. Как и на эфтаназию. Только не ты и не сейчас...

– Но ты понимаешь, ее почти нет. Ты помнишь маму? Она же была потрясающий человек, умна, остроумна, талантлива! Я знаю, я знаю! Ее время прошло, и никто, кроме старых генералов, давно уже не считает ее большим писателем. Но я была знакома со многими выдающимися людьми нашего времени, я даже не буду тебе перечислять, кто пил в нашем лондонском доме! Она была крупный человек! Блестящий! Масштабный! А эта слабоумная старушка в грязном халате, которая спрашивает меня по десять раз одно и то же, просто не она!

– Она, – жестко сказала Воробьева. – И пока она жива, ты не имеешь на это права. Есть природная очередность. Это закон, который иногда нарушается, и это ужасно, я это постоянно вижу. Ты должна с этим подождать.

– Я подумаю, – ответила Маша устало.

Она уехала через неделю, а еще через неделю пришло известие о ее смерти. Самоубийство.

Хоронили в Москве, по ее распоряжению. Она написала завещание, и всё было оформлено с тщательностью и соблюдением всех формальностей. Почему-то она распорядилась, чтобы ее отпевали в том же храме, что и Сашу. Верующей она нисколько не была, но нянька Дуся самовольно крестила обеих девочек в младенчестве.

Привезла гроб ее английская подруга. Гроб был сигарообразный, маленький, как будто детский. Церковные старухи, с их живым интересом к смерти, его изучали, щупали, некоторые одобряли, другие высказались, что сделан не по-православному.

Народу пришло много, но не так много, как на отпевание ее сестры Саши. Элеонора стояла возле гроба маленькой куклой, почему-то была накумарена, с наведенными бровями – чего давно уже не делала. Внучка Дуся держала ее за плечи, и видно было, как ей всё это тяжело. Также было видно, что она на второй половине беременности. Воробьева стояла рядом, с валидолом, тазепамом и камфарой. Но ничего не понадобилось.

На поминках Воробьева в первый раз общалась с Дусей: она была до невероятия похожа на мать, делала такие же смешные движения пальчиками, так же потряхивала кудрявой головой. Свою покойную мать она знала плохо, потому что родители отца, которые и были ее настоящими родителями, всячески старались, чтобы девочка с матерью не общалась: боялись дурного влияния. И теперь, по прошествии многих лет, Дуся об этом очень горевала.

Оказалось также, что Дуся уже несколько лет живет с мужем на той самой писательской даче, в которой когда-то жила вся семья. Элеонора заселила их туда вскоре после своего замужества, когда перестала ею пользоваться, получив вместе с генералом и дачу, гораздо более роскошную, но в другом направлении от Москвы.

Теперь Дуся собиралась перевезти бабушку на дачу, потому что там гораздо лучше, чем в городе, и у нее не будет там никаких травматических ассоциаций. И для будущего ребенка тоже дачная жизнь полезней, чем городская.

Пока Дуся всё это тихо излагала Воробьевой, Элеонора встала и властным голосом сказала, обращаясь к Дусе:

– Маша, я очень устала, отведи меня, пожалуйста, в спальню.

«Ну и хорошо, пусть считает, что это Маша, – подумала Воробьева, – Дуся будет за ней ухаживать, закроет ей глаза».

Но хорошо не получилось. Там, выше, распорядились иначе: Элеонора прожила на старой даче меньше года. Она даже как-то окрепла, выходила гулять на дачную улицу, доходила до угла, навещала свою старую подругу, они разговаривали, вспоминали о прошлом, обсуждали дела и отношения людей, которых давно уже не



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru было. Однажды вечером она собралась к подруге отнести ей какую-то книгу. Дуся просила не выходить вечером, но Элеонора, обычно покладистая, вдруг заартачилась, надела пальто, взяла палку. Дуся хотела ее проводить, но проснулся малыш, раскричался, и она кинулась к нему.

Через два часа Элеонора не вернулась, и Дуся позвонила ее подруге. Та удивилась, сказала, что Элеонора не приходила. Дуся побежала искать бабушку и нашла ее в дренажной канаве возле дома подруги. Элеонора была мертва.

На следующий день Дуся позвонила Воробьевой и сообщила о смерти бабушки.

Воробьева долго молчала, а потом задала дурацкий вопрос:

– А какую книгу она несла?

– Мережковского, – ответила удивленная вопросом Дуся.

Хоронили в Переделкино. Потом пришли на старую дачу. Выпили по рюмке водки. Поминающих было совсем мало. Прощались с Элеонорой, с местом, где когда-то так славно веселились. Дача была государственная, литфондовская, и вскоре Дуся должна была уступить ее другому писателю, стоящему на очереди.

Еще через год Дуся позвонила и сказала, что разбирала детские фотографии Маши и Саши и там есть несколько, где присутствует Воробьева. Хотела отдать на память.

Воробьева приехала, в старую квартиру. Открыла Дуся. Из-за нее выглядывал беленький мальчик, совершенно не похожий на женщин этой несчастной семьи. Дуся опять была беременна. Из маленькой комнаты выглянул Дусин муж Саша, большой, бородатый, с ясной улыбкой. Махнул приветственно рукой, подхватил малыша и исчез.

«Хорошо бы мальчик», – подумала Воробьева, глядя на Дусин живот.

фотографии были любительские, линияые. Дуся разложила их на столе в гостиной. Кажется, фотографировал Николай Николаевич, шофер. Воробьева испытывала острое и смутное чувство, которое никак не могла определить. И дело было не в фотографиях.

Дело было в этом доме – в нем всё было совершенно неизменно: стояли книжные шкафы с выдвигаемыми полками, золотые корешки, альбомы, бумажные собрания, многие с отмененной буквой «ять», – среди них Мережковский и Карамзин, гравюры на стенах, картины, потертые ковры, мебель красного дерева, тяжелые столовые приборы на круглом столе с частоклоном ножек, способных разбегаться и превращать стол в огромный, овальный, и люстра с синей стеклянной грушей в окружении хрустальных слез. Вспомнилась и няня Дуся, приземистая, с бородавкой, в фартуке с протершимся брюхом. Но не было тех людей, люди здесь жили другие. Это было как в странном сне, когда тебе показывают привычную, давно знакомую картину, но с неуловимыми изменениями, и эти изменения тревожат, внушают недоверие к реальности и подозрение, не сон ли это.

Воробьева оглядела комнату – нет, не сон. Реальность, подкрепленная даже следом прежних запахов. Музей памяти: у покойной Элеоноры был исключительный вкус. Эти вещи постарели на полвека, они стали еще породистей, еще дороже. Бессмертный хлам. Прощайте, все прощайте...

Дорожный ангел

Дорожный ангел

Елена, добрая моя тетка, всегда выползает из своей комнаты, когда я ухожу. Толстое лицо, как будто в клеточку: морщинки лежат и вдоль, и поперек. Улыбается. Левая рука поднята, а правая опущена вниз, и кисть немного внутрь загнута – после инсульта.

– Ступай, ступай с Богом! Ангела-хранителя тебе на дорожку!

И крестит меня особым крестом: правую руку левой поднимает.

Первый священник, строгий, к которому она обратилась после болезни, не разрешил креститься левой, сказал: «Дурному кресту бесы радуются». Второй, добрый,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) разрешил: «Крестись, как можешь». А третий, умный, попросил показать большую правую руку, заметил, что все пальцы в горстку собраны, и говорит: «А левой рукой правую поднять можешь?»

– Могу, – ответила Елена.

Так она теперь и крестится, и на всех домашних кладет свой особый крест, и Ангела Дорожного призывает. Про других точно не знаю, но мой Дорожный всегда со мной. Во всех поездках оберегает и много интересного и важного показывает.

Утка

Первое дорожное впечатление: переезжаем с дачи в город. Утенок, которого мне купили в начале лета, вырос в настоящую утку. Я боюсь, что ее оставят на даче вместе с качелями и жестяной ванночкой, и прошу, чтобы взяли в Москву. Все угovarивают меня: ей в Москве будет плохо... Я реву, потому что воображение и проснувшаяся практическая сметка подсказывают мне, что здесь ей будет еще хуже – дачная хозяйка ее съест.

Прадед вступается за меня и мою утку. Грузовик с брезентовым верхом уже загружен вещами. В оставшемся перед задним бортом пространстве вмещается кушетка, на которой восседаем мы – мама, папа и я. Прадед – в кабине шофера. На его коленях – завернутая в газету и втиснутая в авоську утка. Ее веселая головка торчит из авоськи. На переезде выясняется, что утка сбила лапками газету и гадит, не переставая, на прадедушкины полотняные штаны. Пока ждем очереди на переезд, папа покупает газету, мама перепеленывает утку, и совместными усилиями снова засовывают ее в авоську. И всем ужасно весело. Теперь прадед высовывает руку с качающейся на ходу авоськой в окно. Утка в авоське летит по воздуху, и всем весело. Чудесное дорожное приключение...

Когда приехали в Москву, и утка, и прадед были в полубессознательном состоянии: у старика заоченела рука, у утки заволоклись глаза. Бабушка, перевезенная домой на электричке еще накануне, накопала прадедушке камфары, а утку отправила в дровяной сарай. Там она теперь и живет.

Мы с прадедушкой ходим ее кормить три раза в день. После дневного сна прадедушка обычно пьет чай и ест кусок пирога размером со спичечный коробок. Ежедневная смешная перебранка: прадед хочет отнести утке чай с пирогом, бабушка сердится, но не по-настоящему:

– Что вы, папа? Покрошите ей в чай кусок хлеба, зачем ей пирог?

– Так маленький же кусочек... – просит прадед, и бабушка отрезает.

А зимой сбили замок с дровяного сарая и утку украли. Наверное, мальчишки. Наверняка съели. И зачем только прадед вез ее в авоське из Кратова? Год – сорок восьмой.

Гудаутские груши

Наш хозяин Хута Курсуа глухо кашлял за стеной, и мамыны глаза круглели от страха: у меня, десятилетней, не так давно зарубцевались очаги, и тут снова туберкулез по соседству... Этот Хута был красивый худой человек, ласковый с постояльцами и свирепый с женой. Но человеческое окружение меня мало интересовало: в тот год я впервые увидела море и весь месяц переживала эту встречу. Днем я полоскалась в прибрежной полосе, хотя мама научила меня плавать чуть ли не в первый день, а ночью мне снилось все то же бултыхание в соленой воде, но даже еще более сладостное...

К осени мама обыкновенно впадала в хозяйственную горячку – что-то солила, сушила, варила, а на этот раз хозяйственная страсть ее воплотилась в чемодане из фанерных планок, который она заказала у рыночного продавца. Он долго пытался ей объяснить, что таких больших чемоданов, как ей нужно, не бывает, пусть возьмет два поменьше, но мама уперлась. И получила, в конце концов, этот самый, огромный. Поставленный на попу, он доставал до маминого плеча. Правда, роста она была маленького.

Чемодан предназначался для груш. Мы с мамой обожали груши. Здесь, в Гудаутах, в конце августа был грушевый рай. Мама любила те груши, которые были на один градус от распада: они проминались под пальцами, при надкусывании истекали

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru густым медовым соком, призывающим всех ос округи. А запах от них шел мощный, как паровозный гудок.

Паровоз, кстати, проходил между городом и пляжем, возле самого моря, и в памяти моей сохранилась эта счастливая триада детства: море, новое и молодое благодаря недавнему знакомству, поезд, идущий над пляжем, и груша, плавающая в руках. И всё это в мире, где еще жива мама, и ест одну за другой груши, а потом бежит в море, чтобы смыть грушевый сок, затекший в складку между грудями, наполнявшими шерстяной американский купальник, который я донашивала в отрочестве...

Накануне отъезда мы пошли в соседский сад покупать груши. Мама заранее договорилась с хозяйкой, и та обещала снять зимние груши «бера».

Мама принесла чемодан и торжественно поставила его перед хозяйкой:

– Вот. Не помнутся груши?

– Груша, как камень, будет, как мед. Слушай меня...

Они и вправду были как камень – зеленоватые, с тяжелыми задами и тонкими шеями.

– «Бера-дюшес», никто таких груш не имеет, мой дед садовник у князя был, сам сажал, – и она сделала величественный жест в сторону сада.

В саду серьезные кавказские дети работали – снимали для нас груши. Мальчик лет четырнадцати в красной рубашке стоял на лестнице. Нежным круговым движением он отвинчивал грушу от ветки, как перегоревшую электрическую лампочку, и передавал в руки моей ровесницы, с которой мы переглядывались из-за забора весь месяц, но так и не познакомились.

Грушевая хозяйка заботливо заворачивала каждую грушу в четвертинку газеты и укладывала по одной на дно чемодана. Мы помогали.

– Вы у Курсуа живете, да? – Она прекрасно знала, что мы живем у Курсуа. Но это было только зачало, как в старинных сказках. – У менгрелов нельзя квартиру снимать, грязный народ, культуры не понимает, горцы... но абхазы еще хуже, совсем дикие, как похороны у них, не поют – воют, как шакалы... И еда у них хуже, чем сванская... сванов не знаете, и дай бог не знать, бандиты, грабители... хуже чеченцев... – с газетным свертком в грубых руках она склонялась над чемоданом, шевеля своим грушевидным задом, – но чеченцев теперь нет, выселили всех, слава богу, еще бы выселили армян, хорошо было, торгуют, всё торгуют, богатые, и всё торгуют, не могут остановиться, такой жадный народ, армяшки соленые... нет на них турок, – она вдруг озарилась улыбкой, махнула рукой, – азербайджанцы у нас есть, они совсем как турки, злобные, ленивые, у нас, слава богу, мало живут, воры все, хуже цыган... а важные какие, тьфу! Особенно бакинские азербайджанцы, злые, как собаки... Хуже собак... Я правду говорю, мамой клянусь! И армяне, которые из Баку, такие же, как азербайджанцы... А тбилисские армяне, – она сокрушенно махнула рукой, поправила фартук, натянутый на животе, – я их к себе не пускаю, лучше уж евреям... У меня в том году такие евреи жили, не приведи бог, откуда такие берутся... хуже здешних... А грузины приезжали, ой, такую грязь развели, всё варили, жарили, две женщины из кухни не выходили, куру щиплют, перья летят во все стороны, и поют... чего поют? – Она наморщила лоб, обдумывая мысль. – Имеретинцы! Что с них возьмешь? Крестьяне, да? Никакой культуры, виноград грязными ногами топчут... А мнение о себе!

Мы с мамой переглядывались. Мама сжала губы и надула щеки – умирала от смеха. Чемодан наполнился до половины, но речь хозяйки всё не кончалась. Груши тоже не кончались, и не кончались кавказские народы...

Длинные серьги с красными кораллами мелко позвякивали в ушах. Мне она казалась старой – лет сорок или шестьдесят – и очень страшной: большие, в темной кожистой оправе глаза и золотые зубы.

– Что грузины? – продолжала она. – Пыль в глаза! дым! Вай! Вай! – один пустой разговор! Пустой народ! А, что грузины? Тут аджарцы есть, в Батуми, так они – смех, а не народ! – хуже всех живут, мамалыгу одну едят, а тоже... О себе много думают!

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Заполнялись последние ряды. Один ряд груш она укладывала основанием вниз, следующий вниз вершинкой. Кавказские народы – аварцы, осетины, балкарцы, ингуши и другие, нам не ведомые, расставлены были по местам, по нисходящей лестнице, где каждый вновь упоминаемый был еще хуже предыдущих.

Груши кончились одновременно с народами. От земли чемодан не отрывался. Ручка отлетела от него в первую же минуту. Выкатили из сарая шаткую тележку на двух колесах, кликнули Хуту, который давно стоял у забора с видом случайного присутствия, и он помог взгромоздить чемодан, превратившийся уже в сундук.

Мама, расплачиваясь за свою алчность к грушам, претерпела с чемоданом большие мученья: пока доставляли на вокзал, втаскивали в вагон, размещали в отсеке плацкартного вагона, забитого такими же курортниками, как мы, с фруктовыми чемоданами, среди которых наш был чемодан-царь.

Он лежал на боку, занимая всё пространство между нижними полками, и мама извинялась перед всеми пассажирами за неудобство, была растеряна и даже несколько заискивала.

В Москве нас встречал папа, и он тоже высказал маме всё, что полагается. Двое носильщиков и папа с трудом вознесли чемодан на багажник старого «москвича», и мама тоже толкала чемодан сбоку.

Груши медленно созревали на шкафах, завернутые в газеты на неведомом кавказском языке, и в комнате до зимы пахло грушами. Они постепенно доходили, и даже после Нового года еще оставалось несколько красавиц.

До сих пор вкус и запах груш вызывает в памяти этот рассказ о дружбе народов. Кстати, мы так и не узнали, кто же была по национальности та женщина из Гудаут.

Карпаты, Ужгород

Первая в жизни командировка оказалась очень удачной: Карпаты. Там, на винных заводах и плодово-овощных фабриках я должна была собирать научный материал для диссертационной работы. Еще не вполне было ясно, о чем будет диссертация, но определенно было одно: я, свежая аспирантка, через три года стану кандидатом наук в интереснейшей области – генетика популяций.

Я уже начала наблюдать популяции, которых вокруг было навалом – западняне, русские, украинцы, венгры, чехи, евреи, поляки... Но в научном отношении меня интересовали исключительно мухи. Плодовые мушки дрозофилы. Именно с них я и начала.

Я приезжала на заводы – в Стрый, Дрогобыч, Ужгород, Мукачев. Не помню уже, в какой последовательности. Показывала командировочное удостоверение, которое долго рассматривал усатый человек в вышитой рубашке или толстая тетка с волосяной башней на макушке. Чаще – усатый. Они сразу понимали, что я из ОБХСС и хочу им заморочить голову этим бланком Академии наук.

– Мухи, говорите? Дык нема у нас мух! – и глаз зажигался новым подозрением: если не ОБХСС, то санэпидстанция...

Но я была молода, энергична, обладала обаянием столичного жителя, да еще из Академии наук, – впрочем, это мы еще проверим! – и собой недурна. Во всяком случае, один усатый сказал другому: «Яка гарна жидовочка!» И я захохотала. Не то чтобы я не знала, как просеивали здешнее население, чтобы вытравить пару лишних популяций – евреев, цыган, – но была свободна и весела.

Мух я собирала в пробирку с кормом, затыкала клочком серой ваты и отправляла с проводником в Москву. Там их встречал мой коллега, отвозил в лабораторию, перетряхивал в другую пробирку, а в той, моей, уже лежали отложенные яички... Для науки.

Я сидела на горке над городом Ужгородом, и зеленые Карпаты ласково и округло простирались во все стороны, и небо было ясным, образцово-синим, с одним декоративным облачком прямо над головой.

Сначала возник звук – тревожный и жальщий, и не сразу понятно было, откуда он несется. А потом я увидела самолеты. Они шли тройками, но троек было так много,

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) что мне показалось, они заняли полнеба. Они летели в Чехословакию – и я поняла, что началась война.

Они пронеслись надо мной, унося за собой звук, которого было даже больше, чем самолетов. Карпаты об этом ничего не знали: ничего не шелухнулось в их спокойной округлости и ясная зелень не затуманилась.

С сорок пятого прошло двадцать три года. Та война началась с захвата Польши, эта – с Чехословакии, – вот оно что.

«Надо быстро идти на вокзал, покупать билет», – думала я, но встать не могла. Я остро ощущала, что всё переломилось, что уже не важны дрозодилы, что через несколько минут из серебристых самолетиков посыплются бомбы на Прагу и всё здешнее благолепие – мираж прошлого мира...

Я всё сидела, и снова раздался самолетный звук: они возвращались. Как выяснилось впоследствии, не отбомбившись.

Когда я вернулась в Москву, моя подруга Наташа уже была арестована. Она вышла на Красную площадь с коляской, в которой спал трехмесячный сын Оська, вместе с семьей такими же безумцами и маленьким плакатиком «За свободу нашу и вашу». И попала в тюремную психиатрическую больницу. Что же до меня – диссертацию я не защитила.

За что и для чего...

Ангелы, вероятно, иногда засыпают. Или отвлекаются на посторонние дела. А возможно, встречаются просто нерадивые. Так или иначе, в Страстную субботу произошло ужасное несчастье: очень пожилая дама – семидесяти пяти лет – стояла в густой очереди на автобусной остановке с аккуратной сумкой, в которую были упакованы кулич и пасха, и ожидала автобуса. Она была дочерью известного русского поэта Серебряного века, вдовой известного художника, матерью многих детей, бабушкой и даже прабабушкой большого выводка молодняка. Огромный круг ее друзей и почитателей звал ее НК – по инициалам.

НК была высоким во всех отношениях человеком, и ее невозможно было унижить ни одним из тех способов, на которые была так изобретательна наша власть. Ее переселили из квартиры в центре, в которой она прожила несколько десятилетий, на дальнюю окраину, но она не изменила ни одной из своих привычек, в частности, освящать куличи в церкви Иоанна Воина, неподалеку от своего прежнего дома.

В ней не было ничего старушечьего и подчеркнуто-церковного: ни платочка, ни согнутых плеч. В большой изношенной шубе, в черной беретке, она терпеливо ожидала автобуса и едва заметно шевелила губами, дочитывая про себя утреннее правило.

Подшел автобус. Она стояла среди первых, но ее оттеснили. Оберегая сумку, она отступила, потом рванулась к подножке. Шофер уже закрыл двери, но люди держали задвигающиеся створки, чтобы втиснуться, и она тоже ухватилась свободной рукой за дверь, и даже успела поставить ногу на подножку, но автобус рванул, кто-то сбросил ее руку, нога заскользила прямо под колесо, и автобус проехал по ее длинной и сильной ноге.

Во время Пасхальной заутрени НК отходила от наркоза. Ногу ампутировали. Утром пришли первые посетители – старшая дочь и любимая невестка. НК была очень бледна и спокойна. Она уже приняла происшедшее несчастье, а две женщины, возле нее сидящие, еще не успели понять этого и найти слова утешения. Они скорбно молчали, сказавши «Христос воскрес» и трижды с ней поцеловавшись. НК тоже молчала. Потом улыбнулась и сказала:

– А разговеться принесли?

Невестка радостно блеснула глазами:

– Конечно!

И выложила на тумбочку маленький кулич с красной свечкой на маковке.

– И всё? – удивилась старая дама. Руки смиренно лежали поверх одеяла, правая на

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) левой, и мерцали обручальное кольцо и большой сердоликовый перстень. Их не смогли снять перед операцией – въелись.

Невестка вынула из сумки шкалик коньяка.

Все заулыбались.

Посторонних в послеоперационной палате не было. Невестка и дочь встали и тихо пропели пасхальные стихиры. У них были хорошие голоса и навык к пению.

Накрыли на тумбочке пасхальный стол.

Съели по куску ветчины и выпили по глотку коньяка.

Я навестила НК, когда она уже выписалась из больницы. Она боком сидела на лавочке, сделанной когда-то ее мужем. Кулья лежала перед ней, а второй ногой, длинной и очень красивой, она опиралась о пол.

Она положила руку на остаток ноги, похлопала по ней и сказала ясным голосом:

– Я всё думаю, Женя, для чего мне это? – Я не сразу поняла, о чем она говорит... Она продолжала: – Не сразу сообразила. Теперь знаю: я всю жизнь слишком много бегала да прыгала. А теперь вот мне сказали: посиди и подумай...

А я сидела и думала: почти все знакомые мне люди на ее месте сказали бы – за что мне это?

Она прожила после этого еще лет пятнадцать. Ей сделали протез, она ездила еще в Крым, навестила двоюродную сестру в Швейцарии и внука в Швеции. Я не знаю, что за уроки она вынесла из своего несчастья. Но всех, кто ее знал в те годы, она научила ставить этот вопрос: для чего?

Несмотря на ее полную примиренность с Господом Богом и с посылаемыми испытаниями, я всё же продолжаю думать, что иногда дорожные ангелы отворачиваются или отвлекаются на посторонние дела.

Затычка

Куда делась затычка от ванной, трудно предположить. Но она пропала. Я пошла и купила – две штуки. Одну отнесла в ванную, а вторую – про запас. Та, что про запас, осталась в сумке. И болталась на дне ее, и попадалась под руку несвоевременно и неуместно: хочешь достать носовой платок или зажигалку, а попадается затычка. Достану эту резиновую дуру на цепочке и думаю: не забыть ее дома из сумки выложить. И забываю. Месяц, второй...

Иду я по своей Красноармейской улице, а навстречу несется Никита, тощий, лысый, беззубый. Из тюрьмы он давным-давно вышел, а печать лагерная – несмываемая. Пожилой человек, из очень профессорской среды.

И сам был бы профессором, если бы не ориентация, за которую сажали...

– Привет! Привет! – улыбнулись друг другу.

– Послушай, ты не знаешь, где тут у вас магазин сантехники? – спрашивает.

Я соображаю. Пожалуй, ближайший на рынке. А он продолжает:

– Понимаешь, приятель уехал, квартиру оставил мне на месяц...

И про это я знаю: с тех пор, как он вышел последний раз, он всё хлопочет о жилплощади, которую у него отобрали за время посадок. Какая-то сердобольная приятельница его к себе прописала, выйдя за него фиктивно замуж, но без проживания. И живет он по знакомым, то здесь, то там. Бывший физик, светлая голова.

– Мне затычка для ванной нужна, понимаешь? Ну, затычка, – и он сделал выразительный жест своими профессорскими пальцами.

Я лезу в сумку, и она сразу же мне попадается, круглая, резиновая, на железной

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru цепочке. Но я медлю, предвкушая эффект. Наконец, вынимаю.

– Она?

Немая сцена.

Я давно это про себя знаю: никакой заслуги моей здесь нет, просто я на это место назначена. Я радуюсь, когда меня ставят в нужное время и в нужное место с затычкой в руке. Но в данном случае я не знаю, кто тут руководил: мой личный ангел или Никитин?

Страшная дорожная история

Шел год восьмидесятый или восемьдесят первый прошлого века. Если заглянуть в газеты тех лет, можно установить время с точностью до дня и даже до часа. Я возвращалась из Тбилиси, где театр, в котором я работала, был на гастролях. Трупна оставалась там еще две недели, а я рвалась домой: дети оставлены были на хорошую подругу, и я беспокоилась не столько за детей, сколько за нее – для женщины немолодой, беспокойной и бездетной два довольно маленьких мальчика в самом боевом возрасте были большим испытанием.

Грузинский приятель вез меня в тбилисский аэропорт, в кармане у меня был билет, мы не опаздывали, напротив, выехали с запасом. Но уже в дороге я забеспокоилась: нас обгоняли стаи милицейских машин, какая-то недобрая суета царила на дороге, а приехав в аэропорт, мы обнаружили, что аэропорт перекрыт. Люди с автоматами стояли на въезде, на вопросы не отвечали и только жестами показывали, чтоб убирались.

Дато вышел из машины и вклинился в группу таких же, как мы, не допущенных к аэропорту пассажиров. Вернулся он через десять минут – событие было чрезвычайным: несколько молодых людей угнали самолет. Или хотели угнать. Но их посадили. Или не посадили. Но посадят... Еще в толпе говорили, что угонщики не простые люди, а высокопоставленные... Или дети высокопоставленных.

Шел час за часом – мрачное возбуждение висело в воздухе.

Пассажиры прибывали, толпа взволнованных людей росла, слухи ходили самые фантастические, подробности – невероятные. Наконец операция закончилась, кавалькада милицейских и военных машин выехала из аэропорта, пассажиры хлынули внутрь и заполнили зал до отказа. По радио объявляли что-то по-грузински. Дато пошел выяснять, когда будет следующий московский рейс. Вернулся он страшно довольный: про московский ничего не известно, задерживают на неопределенное время, но через двадцать минут вылетает самолет на Воронеж, и он купил мне билет на Воронеж. Я была в восторге. Когда находишься в Тбилиси, Воронеж кажется почти пригородом Москвы...

Самолет взлетел из ясного осеннего Тбилиси и приземлился через три с половиной часа в зимнем Воронеже. Вышли на трап в бурлящую белую кашу. Холод был такой, что плащ, вдохнув холодного воздуха, взлетел железным парусом у меня за спиной, и только спортивная сумка, висевшая на плече, придерживала его.

В здании аэропорта все пассажиры ринулись к кассе – в Москву, в Москву! Билетов не продавали никуда: аэропорт был уже закрыт из-за бурана. Но очередь стояла стеной. Да и куда деваться: все лавки были заняты сидящими, все полы – лежащими. Впереди меня стояла большая грузинская семья в трауре – у них был свой особый резон улететь как можно скорее. За моей спиной стояли два грузина простецкого вида в больших кепках и в мохеровых шарфах. Они отошли, потом пришли снова и встали передо мной. Во мне разыграло чувство мелочной справедливости, и я попросила их встать позади. Но галантные грузины остались в Тбилиси, в театральном зале, а этот махнул рукой и сказал: «Стоишь и стой...»

Я что-то вякнула про детей, которые одни дома... Никакого внимания. Отодвинули меня и встали впереди.

Разозлившись, я вышла из очереди и пошла к стоянке такси, чтобы ехать на железнодорожный вокзал и попытаться там сесть на проходящий поезд. Я была не первая такая умная, и на такси тоже стояла длинная очередь. Подъехал какой-то левак, выбрал меня из очереди и повез на вокзал. Ехали долго – парень оказался из области и по дороге заблудился.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

На вокзале было всё то же самое: толпы людей у закрытой кассы, толпы на перроне – ожидали проходящего поезда и намеревались подсесть к проводнику без билета, за живые деньги. С живыми деньгами было у меня не так чтобы очень хорошо, в обрез на билет.

Подошел какой-то южный поезд, в сторону Москвы. Открылись двери, выскочило несколько человек. Двери тут же и закрылись. Проводников видно не было, а те, что появлялись, сразу же исчезали под напором жаждущих. Очевидно, они уже забили все свободные места. Я уныло шла вдоль поезда – мне казалось, что я слышу стук костяшек в коленях, – а может, это каблуки смерзшихся кожаных туфель били о бетонное покрытие: щелк-щелк! Ветер поменялся – он больше не рвался во все стороны, как в аэропорту, он теперь дул сильно и целеустремленно мне в лицо. Боже, как же мне хотелось уже сидеть дома, пить чай с подружкой Ирой и дорогими моими мальчиками! И понес меня черт в Тбилиси!

Вагонная дверь приоткрылась, черная кепка высунулась из щели:

– Эй, девушка! Иди сюда!

Не раздумывая ни минуты, я вцепилась в железный поручень. Меня втащили в вагон и раздвинули передо мной купейную дверь. Я в обледеневшем плаще плюхнулась прямо на одеяло.

Это были мои обидчики, грузины в кепках.

– Спасибо, – сказала я неживыми губами, сбросила сумку и задышала в окоченевшие руки...

Поезд тем временем тронулся. Тот грузин, что повыше, задвинул дверь и защелкнул замок.

«Интересно, как я буду выпутываться», – подумала я без всякого страха. Главное, я уже двигалась в направлении Москвы.

– Может, чаю горячего у проводника попросим? – робко начала я общение.

– Зачем чай? – усмехнулся тот, что был поменьше ростом. Он открыл чемоданчик: в нем было три бутылки коньяка, а остальное пространство занимали мандарины – упаковочный материал, сохраняющий драгоценные бутылки.

Чай все-таки принесли. Сначала мне налили коньяку в чай. Мы с плащом постепенно оттаивали – смягчались и покрывались влагой. Ноги сначала ломило, потом стало покалывать иголочками. Лицо горело, из носу текло. Высокий снял с верхней полки одеяло и бросил мне на ноги. Оно было толстым, пушистым и теплым даже на ощупь. Тут я сообразила, что вагон не купейный, а мягкий. Я полезла за кошельком, вытрясла на стол все, что там было, и сказала:

– Спасибо, что взяли в компанию. Это всё, что у меня есть.

Один рассердился, второй засмеялся. А я задумалась. Строго говоря, любое сопротивление было бессмысленным. Я сгребла деньги обратно в кошелек.

– Спасибо, ребята.

Они мне совершенно не были ребятами, эти усатые мужики между тридцатью и сорока, по виду торговцы или крестьяне, но уж никак не из публики, которая ходила на спектакли нашего маленького дурацкого театра.

– Такая красивая молодая девушка, зачем одна едешь? Как тебя муж отпускает? – сделал разведывательный ход один.

Никакого мужа в ту пору у меня не было, кроме бывшего. Но у меня хватило ума соврать: муж остался в Тбилиси, он директор театра, а меня домой послал, к детям.

– Зачем детей дома оставили, надо было детей в Тбилиси взять! – посетовал второй.



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– У меня двоюродный брат – тоже директор театра, – отозвался первый, и я поняла, что насчет мужа-директора я попала в самую точку.

Чай я допила, мне налили полстакана коньяку. Я люблю коньяк, могу выпить рюмку. При вдохновении – две. При очень долгом застолье – три.

Двоюродный брат директора театра сел рядом и придвинул ногу к моей. Она уже настолько отошла, что я почувствовала и отодвинулась.

– Какого театра? Тбилисского? – с преувеличенным интересом спросила я.

– Кутаисского! – Он подвинулся ко мне еще ближе.

– Ой! – вскочила я. – Я вам нашу программку покажу!

Я протиснулась между столиком и его ногами и вытащила из сумки последнюю мятую программку. Эта была лично моя рекламная продукция: фотографии актеров, сцены из спектаклей и моя фамилия, напечатанная маленькими буквами в самом низу.

– Вот эту актрису видите? Звезда! Красавица! А какой голос! лауреат конкурса... В Южной Америке...

И меня понесло... Это был рассказ по картинкам. Я знала, сколько там фотографий. Сначала я рассказала обо всех солистах. На это ушло полтора часа. Главное, не садиться на нижнюю полку, рядом с Гиви... А он всё пытался меня перебить, посадить поближе и повести действие в другом направлении. Но я знала, что этого никак нельзя допускать. Это был мой главный монолог – быть или не быть. Я говорила, не останавливаясь ни на минуту.

Они были не насильники, а просто нормальные грузинские мужчины, которые с детства знают, что с грузинскими женщинами есть один фасон обращения, а с русскими – другой. У нас – увы! – плохая репутация.

Он всё доливал и доливал, и мы выпили за всех актеров нашего театра, за всех актеров Кутаисского театра, за всех актеров в мире. Но мое дело было не присаживаться и не останавливать потока красноречия. Я рассказала все известные мне театральные анекдоты, все интересные сплетни об известных и неизвестных людях.

Я стояла между двумя полками и размахивала руками, я пела и читала стихи, и снова рассказывала анекдоты. Я чувствовала себя Шахерезадой, но знала, что мне надо продержаться всего одну ночь. Поезд шел к Москве.

Гиви делал редкие вылазки в мою сторону то рукой, то ногой, но постепенно тяжелел. Я пила коньяк с ними наравне и закусывала мандаринами. Мандарины подходят к коньяку гораздо лучше, чем лимоны. Теперь я это знаю точно. Мои собутыльники по два раза выходили в уборную, но я держалась – нельзя было оставлять площадку.

– Слушай, ложись, а? – предложил тот, что поменьше, Реваз.

– Зачем ложиться? Такой интересный разговор!

Несколько раз мне удавалось взять передышку: Гиви рассказал не очень длинную историю из армейской жизни, потом Реваз рассказал про свою бабушку, которая была осетинка. И опять возникла пауза, после которой коротыш Реваз собрался было лезть на верхнюю полку, а Гиви сделал ему подбадривающее движение, мол, вали отсюда. И я поняла, что до полной победы мне еще далеко, хотя время было на моей стороне – уже перевалило за четыре. Две бутылки были выпиты. Продержаться надо было еще часа три.

Я обратилась к семейной истории – рассказ о прадедушке-солдате и дедушке-часовщике вызвал сердечный отклик, и Реваз рассказал о дедушке-духанщике, а Гиви – о дедушке-лекаре. Я умело задавала дополнительные вопросы, и выяснилось, что один был из Сухуми, а второй – из Кахетии, и они немного поспорили на грузинском о чем-то своем, важном. При этом они поглядели на часы. Но я-то знала, что время работает на меня. Однако затевалось что-то

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru новое, и я не сомневалась, что затея касается меня.

Неожиданно Гиви надел пальто, взял маленький чемоданчик и вышел, через несколько минут вернулся и сказал что-то Ревазу коротко и деловито. Теперь вышел Реваз, и я поняла, что надо готовиться к физическому отпору.

Гиви вынул из своего чемодана остатки мандаринов. Это были прекрасные сухумские мандарины, твердые и зеленые, вкуса острого и терпкого, они в сравнение не идут с тем рыхлым и мягким товаром, который раздают на елках.

Гиви положил мне руку на плечо:

– Мандарины детям возьми. Ты очень интересная женщина. Если хочешь, оставь телефон, я к тебе приду. Ты наврала, что у тебя муж директор театра, у вас директор театра женщина – Зуева, да? Там написано, у тебя в программке. Понимаешь, у нас два вагона мандарин из Сухуми идут, мы должны их встретить. Мы в Малоярославце сейчас выйдем. А то ждать мандаринам нельзя, померзнут.

– Гиви, но остановок до Москвы нет! – испугалась я за мандарины.

– Не переживай! Я заплатил проводнику, я делаю стоп-кран, поезд встанет, мы выйдем.

Он зевнул во весь рот, сверкнув влажным золотом.

– Телефон напиши, мы мандарины сдадим заказчику, получим деньги, погуляем хорошо, – и он, наконец, положил мне большую, приятно тяжелую руку на колено.

Я написала телефон на программке. Только одну последнюю цифру неправильно – вместо девяти восемь. Это было ужасно глупо – меня по программке можно было найти в театре в два счета. Но они меня и не искали. Не больно нужно.

В Москве тоже был снег, но не такая лютая стужа, как в Воронеже. Дети спали, когда я вошла в дом. Ирина, моя святая подруга, разрешила им прогулять школу по поводу неожиданно грянувшего мороза и предполагаемого приезда мамы. Я привезла мандарины.

Тех ребят, что угоняли, но не угнали самолет, всех убили: двух при захвате самолета, остальных приговорили к расстрелу. Как выяснилось позднее, они даже не смогли взлететь. Где же был дорожный ангел, Господи?

Мой любимый араб

Писательская встреча в Париже, в начале перестройки. Круглый стол. Говорят по-французски. Почти понимаю – вот-вот пленка в воздухе лопнет, и всё станет совершенно ясно. То же самое с итальянским, испанским, польским. Поэтому я всё слушаю с напряжением, жду этого технического события – чтоб все начать понимать. (Пока оно не произошло.)

Стол не круглый, длинный, несколько писателей из экзотических мест – так каждый из них думает, потому что страны эти: Египет, Португалия, Россия...

Меня спрашивают, что думают в России о перестройке. Я добросовестно отвечаю, что не могу ответить на этот вопрос.

Что люди думают в России? Совершенно не то, что думаю я. И вообще, я лицо нерепрезентативное и не могу представлять никого, кроме себя лично, потому что я по культуре – русская, по крови – еврейка, а по вероисповеданию – христианка.

После меня вопросы задают португальскому писателю, и он рассказывает о своей работе в Мозамбике, и рассказывает очень интересно. Например, один мозамбикский человек решил удивить свою деревенскую неграмотную бабушку, которая живет, как жили ее предки пятьсот лет тому назад: воду черпает из реки, зерно толчет в ступке, одежду сочиняет из местных растений, слегка их обрабатывая. А молодой человек – раз! – и привез ей в подарок транзисторный приемник. А из приемника – передача на редком наречии их племени, недавно новую станцию открыли. Включил и ждет эффекта. Старушка послушала, послушала и говорит внуку: «Скажи ему, чтоб замолчал».

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Внук выключил приемник и спрашивает с обидой:

– Что же, тебе совсем не удивительно, что человеческий голос на нашем языке говорит из маленького ящика?

Бабушка посмотрела на внука и ответила:

– Дорогой мой, не все ли равно, каким именно способом говорят глупости?

Чудесная история, никто за этим круглым столом ничего умнее этого не сказал.

Дальше начинают допрашивать араба. Он симпатичный. Одет как-то по-человечески, ни пиджака с галстуком, ни куфии, – рубаха, свитер, никаких примет принадлежности к чему-то определенному. Но я как еврейка арабов несколько опасаясь. На генетическом, так сказать, уровне. Он фотограф, журналист, корреспондент, облазил всякие опасные точки. Думаю, наверное, с Израилем воевал...

Ему, конечно, вопрос задают про арабо-израильские отношения. А он, солнце мое, говорит:

– Понимаете, у меня есть мое видение проблемы, но это будет очень личная точка зрения. Дело, видите ли, в том, что я по крови араб, по вероисповеданию – христианин, а первый мой язык – французский, арабский был второй... Я – лицо нерепрезентативное.

Разумеется, там было очень много всяких других вопросов, такого же уровня значительности, а потом еще напали журналисты и еще хотели у каждого из нас что-то дополнительное разузнать. А мы с арабом издали друг на друга поглядывали, и когда освободились, просто пали друг другу в объятия. Он, конечно, и по-английски говорил в пятьсот раз лучше, чем я, но нам даже и разговаривать не особенно нужно было. Помню, он сказал: чудесная история с радиоприемником!

Мы так хорошо понимали друг друга, что лучше не бывает. Мы выпили по бокалу чего-то, чего разносили, и расстались навеки. Но полюбили друг друга навсегда. Жаль, я забыла, как его зовут. Эти арабские имена – их не упомнишь.

Коровья нога

Хозяйка книжного магазина встречала нас на перроне. Она была в очках и так сильно накрашена, что мне сразу пришло в голову, что она красится-то без очков и сильно перебарщивает, а потом надевает очки и, не взглянув на себя в зеркало, бежит по делам. Есть такой синдромчик у деловых женщин.

Это был один из маленьких западногерманских городов с названием, которое оканчивалось на «баден». Выступлений в тот приезд было так много, что они несколько слиплись между собой. Город, клуб, университет, книжный магазин, поезд, и снова новый город, новый книжный магазин.

Это особая, любимая порода человечества – книжные люди. Не обязательно владельцы книжных магазинов, это могут быть продавцы, распространители, даже уборщицы в магазине. Я люблю их заранее, всех сообща. Но у этой личико было не очень. Причесанная парикмахерским способом блондинка с пластиковым колпаком на голове – от дождя. Маленький сухой ротик, а в нем – большие искусственные зубы. На лбу и на носу – замазанные гримом и подпудренные прыщики. Улыбается фальшиво и щебечет пискляво.

Ганна переводит. У нас с Ганной тончайшее взаимопонимание: она знает, что я понимаю их немецкую «мову», и переводит тогда, когда чувствует, что мне не очень хочется общаться.

– Мы вас так ждали, так ждали. Еще в прошлом году нам обещало ваше издательство, что вы к нам приедете... У нас очень маленький магазин, помещение крохотное, и мы сняли для вашего выступления большой зал, у моей подруги. Она держит магазин музыкальных инструментов, главным образом роялей, и у нее прекрасное обширное помещение. И мы пригласили замечательного пианиста – лучший в городе! – у него прекрасная концертная программа...

Более или менее ясно: существует интрига, в которой участвуют хозяйки книжного и рояльного магазина, музыкант и еще кто-то. Я участвую в рекламной кампании

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru музыкальных инструментов, и все это я ненавижу. Нас используют. Чем шире улыбается владелица книжного магазина – зовут Ханнелоре, – тем меньше она мне нравится.

– Гостиница здесь, в двух шагах от вокзала, но можно взять такси, – предлагает она.

И мы идем под дождем, шагов не два, а порядочное количество – экономит жучка. И гостиница сейчас будет самая плохая, какая только есть в этой западной стороне. Вообще-то я ничего не имею против маленькой комнатки с подростковой кроватью и душевой кабиной в совмещенном санузле, где твоя задница еле помещается между раковиной и полотенцесушителем.

По дороге Ханнелоре успеваешь сказать:

– Вы слышали, что в Тель-Авиве был взрыв в дискотеке?

Мы уже об этом слышали.

– Вы понимаете, что теперь за этим последует? – горестно вопрошает Ханнелоре. Мы не понимаем.

– Будут ужасные акции! Израильяне опять будут разрушать палестинские дома! И снова тысячи раненых, бездомных... Бедный палестинский народ!

Мы снова переглядываемся: интересная точка зрения!

Гостиница совершенно потрясающая, просто невиданная. Как будто сам Оскар Уайльд ее сочинял: английская мебель или по крайней мере прикидывающаяся английской, королевские лилии в вазах «югендштил», офорты в причудливых рамках на стенах. Нас встречает длинноволосый юноша с томным лицом, в художественной одежде, в шелковом шарфе с персидскими огурцами. Второй, такой же красавчик, но темнокожий, выходит из лифта и приветливо улыбается. Мы с Ганной переглядываемся: что за гей-клуб? Тот, что в шарфе, спрашивает:

– У вас резервация на два номера, но мы можем предоставить вам сдвоенный.

Мы с Ганной стилистически похожи: обе коротко стриженные, в простой черной одежде, в очках. Выглядим достаточно аскетически. Но сдвоенный номер нам не нужен. Здесь нас приняли за своих. Это ошибка, но не обидная.

– Спасибо, нас вполне устроят отдельные комнаты.

Мы расходимся по номерам. Комната моя изумительно красива: всё стильно и роскошно. Всё – немного слишком. Но чего-то мне не достает. Уборной. В комнате нет ни ванной, ни уборной. Этого просто не может быть! В такой роскоши – и клозет в коридоре! Я звоню Ганне. Она заходит. Мы в полном недоумении. Я выхожу в холл в поисках общественной уборной, душа. Ничего подобного нет. Столики, диванчики, цветы – есть. И в большом изобилии.

– Сейчас позвоню, – говорит Ганна и берется за трубку.

Я тем временем открываю дверцу трехстворчатого шкафа, чтобы повесить плащ. Средняя из дверц – вход в ванную комнату. И в какую! С живыми цветами и полным набором туалетных принадлежностей, включая халат и крем для лица!

Поест мы уже не успеваем, идем в рояльный магазин, он совсем недалеко. Днем погода была просто плохая, но теперь – кошмарная. К дождю прибавился снег, и всё это летит со всех сторон: сверху, снизу, сбоку. Вьюга.

– Народ не придет! – кричу я Ганне в ухо.

Она кивает.

Магазин роскошный. Рояли белые, черные, концертные, кабинетные. Пианино выглядят здесь недоносками. Зал в два этажа, во втором – галерея, или зимний сад, где среди зелени проглядывает медь духовых инструментов. Официанты в белых смокингах разносят бокалы. Публика пожилая, солидная, дамы в драгоценностях, мужчин

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru немного, но все безукоризненны, как посетители оперного партера.

– По-моему, мы попали не туда, – шепчу я Ганне.

Она улыбается:

– Туда. Да не беспокойся, отработаем...

Ханнелоре в маленьком черном платье, в усиленном гриме, в крупных искусственных жемчугах, знакомит меня с хозяйкой музыкального магазина: высоченная немолодая дама с мужским лицом, в меховой пелерине.

Она сообщает, что читала мой роман всю ночь и плакала.

Мне хочется сказать, что я писала не для нее, но говорю совершенно другое, напыщенное:

– Слезы очищают душу, не правда ли?

– О да, да, – она вполне согласна со мной. Ханнелоре подтаскивает ко мне мелкого и чахлого юношу:

– Познакомьтесь, это мой приемный сын Ибрагим.

– Очень приятно, Ибрагим.

– В будущем году он заканчивает школу и будет изучать литературоведение, – сообщает сияющая Ханнелоре.

Она смотрит на мальчика с обожанием. Кривоватый мальчик украдкой гладит мать по плечу.

– А наш второй сын, по возрасту он старше, но взяли мы его позже, Мохаммед, он сейчас во Франции, проходит практику. Он в этом году закончил институт. Жаль, что его нет. Он тоже ваш читатель.

Мальчик отходит: он сильно хромает, кажется, полиомиелит.

Она мне всё еще не нравится, эта Ханнелоре, но удивляет, интригуяще удивляет.

Гости собрались. Они пришли, несмотря на отвратительную погоду. Я бы не пошла в такую погоду даже на встречу с Уильямом Шекспиром. Рассаживаются на белых стульях. Музыкант во фраке садится за белый рояль. Шуберт.

Ганна, дорогая подруга, шепчет мне:

– Давай «Народ избранный» читать?

«Народ избранный» – про нищих. Мы с Ганной не любим богатых. Мы не любим буржуазности, истеблишмента, респектабельности. Мы в душе левые. Нас пригласили сегодня те, кого мы не любим...

Музыкант играет, публика хорошо слушает. Немцы поразительно музыкальны. Почти как грузины. Только грузины мастера петь, а они – слушать. Наша публика все-таки есть: группа студентов сидит на лестнице, ведущей на галерею. Вот еще несколько человек в свитерах и джинсах. Народу много. Зал полон.

Потом мы читаем: я – маленький кусок по-русски, Ганна – рассказ по-немецки. Мы делаем это легко и привычно. Потом вопросы-ответы. Сто раз одни и те же. Новый вопрос – один на тысячу.

Потом нас приглашают на ужин. В узком кругу, только сотрудники книжного магазина и мы. Сидим в ресторане, в каком-то подвальчике. Нас семеро: мы с Ганной, Ханнелоре и ее четыре сотрудницы, продавщицы. Сорокалетние, в костюмах, бодрые трудовые женщины, очень мне понятные.

– Давно ли существует ваш магазин? – спрашивает Ганна.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Они начинают щебетать одновременно и оживленно, и я перестаю что-либо понимать.  
Ганна переводит:

– Магазин существует давно, но восемь лет тому назад хозяин решил его продавать, и все были очень обеспокоены, останутся ли за ними рабочие места. Потом выяснилось, что книжный магазин вообще собираются закрывать и открывать в этом помещении не то парфюмерный, не то обувной. Мы были так расстроены – у нас такая хорошая клиентура, наши покупатели знают друг друга, приходят просто поболтать о книгах. Это давно уже клуб, а не торговая точка! И тогда мы решили магазин выкупить. Собрали все свои сбережения, но этого было недостаточно, и тогда муж Ханнелоре заложил наследственную землю, и как раз хватило. Первые два года еле-еле выживали, но теперь дела идут хорошо, сохранили и магазин, и свой маленький коллектив.

Они так и сказали – «коллектив»!

– А как же муж Ханнелоре? Получил ли он свои деньги? Не пропала его земля? – интересуюсь я.

Ханнелоре оживает:

– О, мой муж! Земля не пропала! Мы внесли деньги вовремя. Эрик, кроме всего прочего, ведет все наши бухгалтерские дела! На общественных началах! Он сейчас придет, мой Эрик!

– О, наш Эрик! – снова зашебетали продавщицы.

И приходит Эрик, огромный, костлявый, с тремя волосами на темечке. Глухой, как стена: ребенком попал под бомбежку во Франкфурте и потерял слух. Счастье, что к этому времени он уже умел говорить! Когда дети теряют слух в более раннем возрасте, они могут остаться немыми!

Из уха Эрика торчит слуховой аппарат. Мы говорим про книжные дела. Как идет книготорговля, какие сегодня проблемы, что читает молодежь... Эрик принимает участие в разговоре. Потом вынимает из уха малепушенькую штучку – и замолкает.

Ханнелоре объясняет:

– Эрик устает от длинных разговоров. Ему иногда надо передохнуть.

Исключительно некрасивая пара, но как они ласковы друг с другом, касаются то плеча, то руки. Время от времени я ловлю их взгляды, направленные друг на друга. В них читается: скоро, скоро мы останемся вдвоем...

Вставляет он свой аппаратик, когда мы уже расходимся, – чтобы попрощаться.

Нас везут в гостиницу. Договариваемся, что Ханнелоре отвезет нас завтра на вокзал, непременно!

– Я так переживала, что потащила вас в гостиницу под дождем. Вчера у меня не было машины, она была у механика, такая глупость. Единственная просьба: я отвезу вас к поезду заранее, минут на сорок раньше. Дело в том, что в десять тридцать у меня свидание, которое я уже не могу передвинуть, – улыбается она искусственной улыбкой, но после всего вышесказанного она мне кажется вполне ничего, даже славной.

Вечером мы еще успеваем обсудить с Ганной этот необычный для нас вечер, подивиться всей этой истории с выкупом и сохранением книжного магазина, этим двум усыновленным палестинским сиротам, взятым из детского дома. Но никогда не знаешь, где будет стоять точка. Она была поставлена на следующее утро. Ханнелоре заехала за нами действительно пораньше: теперь мы должны были еще минут сорок околачиваться на вокзале. По дороге Ханнелоре объясняет: по понедельникам она принимает инъекцию, и после этого два-три часа ей бывает так плохо, что она проводит их в приемной у своего врача. Уже двадцать лет, как она принимает эти инъекции: дело в том, что в юности она попала в автокатастрофу, и ей грозила ампутация ноги, но ей тогда поставили сустав от коровы, и он прижился, но не вполне. Все время идет процесс отторжения, и инъекции гасят эти аутоаллергические реакции... Или что-то в этом роде...

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya.ludmila.ru

В те времена еще не было современных протезных материалов, и этот биопротез, их давно уже не используют, и она со своей коровьей ногой просто-напросто медицинская редкость... Боли, конечно, временами ужасные, особенно когда приходилось стоять. Но раньше она была продавцом, и эта работа стоячая, и весь наш коллектив решил, что директором магазина должна быть я, потому что директору не надо стоять...

Мы обнялись и поцеловались. Я, не глядя, стерла со щеки поцелуйную помаду. Потрясающая баба эта Ханнелоре.

Москва – Подрезково. 1992

Глушитель прогорел еще в субботу, и в понедельник, когда надо было ехать в Шереметьево встречать подругу из Америки, уже с утра я предчувствовала неприятности. Когда я выезжала с шереметьевской стоянки, уже с дорогой подругой, гаишник, увидев мою ободранную «ласточку», издающую вместо нежного воркования хриплый рев, кинулся ко мне со всех ног с радостным лицом охотника, на которого выскочила желанная дичь.

Он долго свинчивал приржавевшие номера, отвергнув безнравственный компромисс в виде штрафа или взятки, занудливо и обоснованно ругал меня за бесхозяйственность, а я прикидывала, во что мне обойдется давно уже назревавший ремонт машины.

Вечером я загнала бедняжку в гараж, и мы расстались, боюсь, что надолго. Теперь мне предстояло присоединиться к безлошадному большинству моих соотечественников. На следующий день мне надо было ехать в Подрезково, на дачу к моим друзьям, чтобы провести сутки с их десятилетней дочкой.

Метро показалось мне душным и тесным, в переходе на «Белорусской» бурлила торговая жизнь, рослые ребята с хорошей физической подготовкой продавали книги, и подбор их был прихотлив: от «Розы мира» Даниила Андреева до новейших руководств по бизнесу и разных видов астрологических и хирологических выпусков, украшением которых была небольшая книжечка «Как гадать по глазам». Глаза продавцов загадки не составляли: жульнические...

На выходе со станции «Комсомольская»–кольцевая, в длинном переходе перед эскалатором, приличная девушка играла на скрипке Вивальди. В открытом футляре лежали рубли.

Площадь бурлила народом. Она была торговая–преторговая. Гуманитарная помощь, прошедшая через многие руки перекупщиков, здесь уже обретала последнюю и предельную цену. Коробейники были представлены, как пишут газеты, лицами «кавказской» и даже «закавказской» национальности, а товар их – ленты–кружева–ботинки – преобразовался в презервативы, сигареты и жвачку. Иногда попадались и знакомые с детства лица подмосковных старушек, с их копеечным товаром – сторублевой малиной и пятидесятирублевыми пионами. Инфляция неслась впереди прогресса.

Нашла пригородную кассу. И остолбенела. Сон Феллини, видение Сальвадора Дали: у дверей кассы на мусорной урне, выкрашенной давно облинявшей серебрянкой, покачивая босыми грязными ногами, не достаемыми до земли, восседала фантастическая фигура – нищая старуха в серебрищемся от жира светло-сером плаще. Пышные седые волосы шевелились под слабым ветерком, а лицо ее было выкрашено серебряной краской – нос погуще, щеки пожиже... Она была неподвижна, глаза закрыты. Она не видела толпы, но и толпа, пробегающая мимо, не обращала на нее ровно никакого внимания.

Чувство реальности покинуло меня... Как будто я оказалась на сцене грандиозного театра, в массовом представлении, где все актеры хорошо загримированы, костюмированы, играют свои выученные роли, а я одна попала сюда случайно. Но билет в кассе тем не менее мне продали – до Подрезково и обратно, за двенадцать рублей. Я взглянула в последний раз на алюминиевое чудо и пошла на перрон.

Клинский поезд уходил через минуту, и я успела сесть в последний вагон. Поезд тронулся, и я пошла по вагонам по направлению к головному.

Некоторые из дверей набирающего скорость поезда оставались открытыми.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Дерматинное покрытие лавок местами было содрано, торчало желтое пенопластовое мясо и деревянный костяк. Веселый сквозняк влетал в вагоны сквозь разбитые окна. Подсолнечная лузга и бумажный мусор хрустели под ногами. Дачный народ сжимал продуктовые сумки коленями. Разруха была определенная, но не окончательная. Так, небольшая репетиция. Все-таки еще существовало расписание, хриплый знакомый голос объявлял: «Следующая станция...», в проходах налаживались славные картежные компании.

За окнами тянулся безобразный пригород, на железнодорожных откосах, в крапиве и лебеде, группами и парочками сидели мои соотечественники, потягивали винцо и курили, поплеывая в жухлую травку, и им было хорошо. Один молодой парень встал, расстегнулся и направил струю в сторону электрички. Он смеялся, обнажив розовые десны, хорошо заметные на таком малом расстоянии...

В том году я была в Афинах, видела закат в Сунионе, у храма Посейдона, где Эгей бросился со скал, и была в Иерусалиме и сидела на берегу Мертвого моря, откуда Лот, не оглядываясь, шел за божественным посланником... И вот теперь, при виде косоугольного августовского света, скользящего по жухлой траве засранного откоса, глотаю комок в горле... Почему это убожество так трогает? Чья-то нога пнула мою сумку, и я ее отодвинула. Напротив сел человек лет сорока, в меру пьяный, о чем тут же и объявил:

– Да, выпил немного. За Россию!

Я несколько не возражала. Из расстегнутого ворота трикотажной рубашки выростала стройная шея. Зубы белые, глаз веселый и карий.

– Я за Россию для русских! Это тебе не Америка. Не для черножопых!

Он выстраивал свою концепцию легко и непринужденно: он поносил всех, от англичан до японцев, прошелся по всем буквам алфавита. Все нерусские были прокляты. Я даже испытала некоторый укол по национальному самолюбию: как еврейка я привыкла держать пальму первенства в своих руках, а тут мне в привычной пальмочке отказали, поставили в один ряд со всеми прочими черножопыми. Наметив концепцию в общих чертах, мужик остановился на способах ее практической реализации:

– Значит, так! С силами соберемся – и всех порежем! Ох, весело будет!

Глаза его сверкали честным пугачевским блеском. Обращался он поначалу не ко всем вообще, а ко мне лично – доверчиво и дружелюбно, словно я заведомый его сторонник и никак не могу держаться других мыслей. Я молчала и решала про себя задачку, с чего это он ко мне обращается: не признал во мне черножопую или желает чуть погодя пролить белый свет на мою нерусскую зловредность. Указав на медленно ускользающую за окном станцию Левобережная, он сказал мне доверительно:

– Вот, ты посмотри! Канал, да? Его кто строил-то, знаешь? Двадцать тысяч заключенных! Сталин всех повинтил – и построили! А вы, коммунисты, что построили? – неожиданно строго спросил он у меня, но я не готова была держать ответ за коммунистов. – Только всё распродали да разворовали! Что Петр взял, всё продали!

Он говорил азартно, всё громче и громче, и уже полвагона его слушали, но как-то вяло и без душевного отклика, и он уже обращался не ко мне, а ко всему вагону, к людям, отводящим от него глаза.

– Кто войну на своих плечах вынес, я спрашиваю! Кто?

Но никто ему не отвечал. Все смотрели мимо с неловкостью и опаской.

– Демократы ваши? – и тут он употребил замысловатую фразу, в которой были ловко увязаны репродуктивные органы собаки, сибирский валенок, медный таз и чье-то анальное отверстие.

Слегка колеблясь в проходе, восходил второй герой. С улыбкой узнавания он приблизился к оратору. Остановился. Ему было под шестьдесят, загорелая лысина украшена давним петлеобразным шрамом, и он тоже уже принял на грудь, облаченную в чистую джинсовую рубашку.



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
– Вот именно! – похвалил он кареглазого, и я отодвинула сумку, пропуская его в проход между лавками.

– А ты – за Россию? – строго спросил кареглазый.

– За Россию, – кивнул лысый.

Кареглазый хитро сощурился, прямо-таки по-ленински, и задал вопрос на засыпку:

– А за какую Россию?

Лысый растерялся:

– Ты что имеешь в виду? В смысле – за старую или за новую?

– Не врубаешься! Старую.. – саркастически улыбнулся кареглазый. – Ее еще надо проверить, старую-то! Возьми, к примеру, попов, кадилами опять размахались. Как телевизор ни включу, всё машут и машут. Однозначно!

– Однозначно, – подтвердил лысый.

Но кареглазый, видно, решил провести проверку по всем швам:

– А вот скажи-ка мне, ты пьяница или алкоголик?

Лысый приобиделся:

– Почему это? Я так, любитель...

И он вытянул из аккуратной, искусственной кожи сумочки початую бутылку вина.

Первый взял ее, посмотрел на этикетку:

– «Салхино». Шестьдесят два рубля. – Потом ткнул пальцем и, отметив ногтем полосочку на этикетке, объявил:

– Вот я сейчас выпью до этой полосочки, и будет как раз на десятку.

Что и сделал. Самым точным образом. После чего вынул из кармана горсть мятых бумажных денег, выудил десятку и стал засовывать ее в карман лысому.

– Да ты что, – удивленно отвел десятку лысый, – да мы что, не русские, что ли?

– Это ты верно, – удовлетворенно кивнул кареглазый. – Верно говоришь. Русские. Вот соберемся и резать пойдем.

– Кого? – любопытно спросил лысый.

– Да нерусских! – широко и добро улыбнулся кареглазый. – Чтобы здесь под ногами не путались! Ох, кровушки пустим!

– Да на что? – удивился лысый. – С чего это я пойду резать? Охота была!

– Вот она, лень-то русская, – укорил его собеседник. – Под лежащий камень вода не течет.

– Да хрен бы с ней, пусть не течет. Пусть хоть лень, – согласился лысый с милейшей улыбкой, выжавшей круглые детские ямочки на пухлых щеках.

Русскую лень они по-доброму осудили, и на этой мирной ноте я вышла в тамбур. Приближалось мое Подрезково.

В тамбуре тоже было интересно. Одна дверь была сломана, и пыльный дорожный ветерок набивал тугим воздухом тамбур. Возле второй двери, что сломана не была, стояли две молодые парочки. Те, что ростом были поменьше, samozабвенно обнимались, а более рослые уже покончили с прелюдией, победитель в черной рубашке уже попал в цель и деловито совершал таинство, энергично позвякивая пряжкой брючного ремня не в такт замедлявшемуся движению поезда. В боковом

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) зрению мелькнула длинная белая шея и запрокинутый подбородок прекрасной дамы. Я с облегчением прыгнула на подкатившуюся под ноги платформу.

Всего в этот день было слишком много. Я шла по перрону, поезд тронулся, обогнал меня и, вильнув задом, унесся вместе с кареглазым, лысым и этой великолепной четверкой, которая до Клина могла еще много чего успеть...

Платформа кончилась, началась дорога, она вела вправо, мимо седеньких от пыли кустов, которые всё пытались отодвинуться подальше в сторону. И закат еще не совсем произошел, и деревья стояли с подсеченными светом верхушками.

В смуте и растерянности я дошла до поворота дороги, где под пыльным кустарником сидели двое мальчишек лет десяти и, как мне показалось издали, играли в карты. Подойдя ближе, я увидела, что они делят толстую пачку денег на две колоды и полупустая бутылка того же «Салхино» была зажата между коленями у одного из них...

– Веничка! – взмолилась я. – Ты уже давно в хорошей компании потребляешь что-нибудь небесное и тебя достойное, и железная пробка в горле тебе уже не мешает. А с этими-то что будет? Они не сложат свои обтрепанные крылышки под ветхим забором, не заплачут смиренной слезой бессилия и покаяния, а, налившись пьяной кровью, возьмут топор или БТР. И уж какие тут Петушки, липкие леденцы на сосновых палочках, скользкие медовые пряники... Огненного, злого и железного петуха накличат на бедную нашу сторону эти добрые мужики с бутылкой «Салхино». А с этими, маленькими, что будет? – спрашивала я покойного Веничку Ерофеева без всякой надежды на внятный ответ.

Франциск Ассизский: два в одном

С вечера мы говорили о том, что быт больших городов во всем мире приобретает общие черты: та же еда, та же реклама, та же музыка и одежда. Даже мусорные урны в Нью-Йорке, Москве и Шанхае набиты одним и тем же веществом жестянок от колы и чипсовых упаковок. А наутро мы встретились возле нью-йоркского кафедрального собора на 110-й улице. Моя подруга Лариса обещала показать мне чисто нью-йоркское зрелище. Жила я в тот раз недалеко, в домах Колумбийского университета, и по воскресному солнышку, не торопясь, с хорошим запасом времени зашагала вниз по Манхэттену. То и дело встречались утренние собаки со своими хозяевами, которые подбирали в пластиковые мешочки собачьи какашки и бросали в урны. Культура!

По мере приближения к 110-й улице количество собак на душу населения возрастало. Возле огромного кафедрального собора собак собралось великое множество. Их, вместе с хозяевами, стояла целая очередь. Это была самая удивительная из очередей, которую мне приходилось видеть. И кошки стояли в очереди. Всех их привели на мессу, о чем было написано большими буквами – «МЕССА ЖИВОТНЫХ В ЧЕСТЬ ДНЯ ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО».

Собаки всех возрастов и пород, дворняжки и редкопородные красавцы вроде риджбеков и волкодавов (первый раз в жизни увидела: высокие тонкие собаки, в светло-серой пушистой шерсти, очень нежного вида), огромное количество мопсов, всепородные кошки в корзинках, сумках и переносных домах, прижатые к груди котят, мальчик с рыбками в целлофановом пакете, девочка с серо-бурой черепахой... Очередь по-американски жидкая, в затылок не дышат, стараются соблюдать дистанцию, не касаются друг друга. И все терпеливо ждут, когда их впустят в церковь. И совершенно нет благочестивого народа, который бьется в корчах, что собака им храм осквернит!

Но это было только начало, я и представить себе не могла, что меня ожидает дальше.

К тому времени, как подошла моя подруга Лариса, мне было ясно, что в храм мы не попадем: очередь обвивала весь квартал, да и оснований у нас было недостаточно – никаких животных предъявить мы не могли.

– Когда Бродского отпевали, тоже была пропасть народу, но все-таки не столько, – заметила Лариса. – Но ты не огорчайся, что мы внутрь не попадем, зато мы увидим парад животных. Как жаль, что я своих не взяла!

В то время был еще жив ее замечательный риджбек Бренди, пожилой джентльмен редких достоинств, и кошка Саша мерлендской породы, крупное животное с

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru маленьким треугольным хвостом, великая мизантропка, которая из всех живых существ в мире терпела только Ларису.

И мы встали у самой веревки, отгораживающей огромную лестницу, ведущую прямо к парадным храмовым дверям, имевшим вид замурованных. По этой лестнице должна была подниматься праздничная процессия.

Мы ждали довольно долго: это было совсем не скучно – приводили участников. Первыми пришли слон и верблюд в цветочных гирляндах. Слону было неудобно стоять на лестнице, и страдающий за него человек крутился возле него, чтобы расположить его ноги поудобнее на ступенях. Потом пришел питон. Он был так толст, что, боюсь, принес в себе кролика. Он висел на плече у хозяина и слегка обвивал его.

Затем явился очаровательный поросенок. Гирлянда не давала ему покоя, и он долго с ней боролся, пока не стащил с шеи и не съел. Две ламы были в розовом, то есть в розовых цветах, и являли собой образ тщеславия, как мне показалось. Зато два детеныша шимпанзе были страшно застенчивы, они не хотели сходить с рук и прятали мордочки на груди людей, которые их принесли. Язык не поворачивается говорить здесь о хозяевах. Возможно, я ошибаюсь: просто они стыдились своего человекообразия. Попугаи сидели на плечах, как яркие эполеты, а одна большая птица, похожая на гуся, но не гусь, сидела на голове у толстого человека в чем-то, похожем на гнездо. Черный бычок с торчащими вперед рогами, ужасно напоминавший тех, что участвуют в корриде, проявлял недовольство, и двое молодых людей прикладывали немало усилий, чтобы удержать его на месте. В стеклянных коробочках принесли муравьиные семьи, пришли пчелы со своими домами. Человек с тележкой, украшенной цветами, бдительно нес свою службу, но звери вели себя очень прилично – лопата и метла не понадобились.

Наконец раздались звуки музыки, отворились высоченные храмовые двери – слон вошел первым. Верблюд за ним. Бычок вдруг присмирел, склонил голову и пошел как миленький. Люди с ними были тоже в венках и гирляндах и одеты в светлые стихари. Праздник-то был общий... Лариса все время тихо причитала, как это она не взяла своих животных.

Молебна, который был внутри, я не слышала. В собор я не попала, да и что мне, безлошадной, было там делать? Не слышала также и положенных на этот день стихов из Библии. Наверное, читали то место, где Ной принимает в свой ковчег «каждой твари по паре».

Зато когда молебен закончился, я увидела еще одну процессию – это была толпа нью-йоркских музыкантов, среди них – один очень знаменитый, с «этнографической» музыкой, фамилию его я знала, но забыла, а другие были незначительные, обыкновенные черные ребята с дудками, барабанами и гольми струнами, натянутыми кое-как кое на что, какие-то самодельные и первобытные инструменты, и они устроили такой шум, гам и свистопляску, что наши российские собаки разорвали бы их в клочья. Но американские – хоть бы что!

Замечу также, что в этом джаз-банде было несколько католических священников, несколько пасторов и даже две, как потом выяснилось, пасторши. В скверике возле собора стояло великолепное ликование – и никакого благочестия! Грохотала музыка, пахло африканской едой из всяческого риса и прочей капусты, вегетарианской едой, которую здесь же, в наспех разбитой палатке, готовила пара двухметровых черных парней.

«Овощи – людям, мясо – животным!» – вот что они думали по этому поводу...

Потом началось самое удивительное: в маленьком скверике были поставлены три скамейки и установлено три шеста, на каждом из которых – по плакату со словом BLESSING. Благословение... На одну из лавочек сел католический епископ в красной скуфейке, две другие заняли женщины-пасторши. Мероприятие это было межконфессиональным, католики устраивали его вместе с протестантами всех оттенков: частные расхождения в догматах временно отступили перед любовью к животным. Мне показалось, что кого-то среди них не хватало...

Ко всем трем точкам в скверике выстроились очереди кошек, собак и их хозяев. На маленьком пространстве их собралось сотни. Они не ругались, не лаяли и не дрались. Все вели себя как на дипломатическом рауте. И даже при виде здоровенной австралийской хрюшки никто и носом не повел. Музыка перестала играть. Стояла

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru городская тишина, в которой фыркали и повизгивали машины. Животные молча стояли в очереди за благословением.

– Как его зовут? Джерри? Какой ты красивый, какой ты умный, Джерри! Хорошая собака Джерри!

Джерри благодарно замирал у колена священника.

– Господь благословит тебя, Джерри! – и священник чертил в воздухе крест над головой животного. Следующая морда тыкалась в ладонь: собачья, кошачья, черепашья.

Не агнцы и не львы, а всего лишь кошки и собаки возлежали на чистой травке околохрамового скверика.

– Лариса, что происходит? Они же должны друг друга грызть и рвать? – спросила я у подружки, американки с двадцатилетним стажем.

– Да я и сама не понимаю, спросим у аборигенов, – и она действительно спросила у засушенной американской дамочки. Американка с двумя старенькими мопсами на красных поводках ответила невозмутимо:

– Это просто дух святого Франциска Ассизского.

Вероятно, это действительно дух святого Франциска, который так плодотворно трудится в Америке. К этому я ничего не добавлю, а то скажут, что я враг православия.

Это событие, замечательное само по себе, оказалось прологом к еще одному, произошедшему три года спустя в тех же краях. Мой младший сын, начинающий музыкант с веселым ветерком в голове, крепко сел на героин. Я, как полагается матери, узнала последней. Лариса догадывалась, делала намеки, указывая на некоторые неувязки в его поведении, но я отбивалась: «Ты его просто плохо знаешь, у него всегда некоторый разлад со временем и пространством, это у него с детства...» Наконец сын признался и если не попросил помощи, то по крайней мере готов был на нее согласиться. Я прилетела в Нью-Йорк, восстановила его документы, которые к тому времени все были потеряны, вызвала старшего сына – для надежного сопровождения героинового бойца на родину – и ждала отъезда, который должен был произойти вот-вот.

Накануне отъезда младший сын пропал. Пошел попрощаться с приятелями и не вернулся. Утром старший побежал на свидание со своей давней подружкой Патришей, а я слонялась по Ларисиной квартире из угла в угол и пыталась решить задачку, не имеющую решения: как найти в огромном городе маленького мальчика под большой дурью...

И тут я обратилась к Франциску Ассизскому. Он был нарисован Ларисой на небольшом кусочке картона. Это была самодельная икона, написанная в тот год, когда один за другим умерли ее пес Бренди и кошка Саша. Они были изображены перед сидящим Франциском, кошка – на спине, в позе игры и неги, а Бренди – склонив голову под рукой святого. Лик Франциска получился не очень хорошо. Животные были написаны гораздо лучше. Когда я сказала об этом Ларисе, она только плечами пожала: три раза лик переписывала, не очень похоже получается. Оно и понятно: со своими животными она прожила столько лет, морды их наизусть знала, а Франциска никогда не видела...

Вот к этому никогда не виденному Франциску я и обратилась: «Ты – покровитель животных, друг волка, осла и небесных птиц, помоги мне вытащить моего дурачка – сегодня он ничуть не осмысленнее любого из твоих любимцев...» И я попросила великого покровителя животных устроить мне с сыном случайную встречу.

После чего я поехала в город, на деловое свидание в издательство, куда должен был после ланча с Патришей приехать мой старший сын, помочь мне с переговорами.

Мы сидели с издательскими людьми, и в это время в кармане у сына зазвонил телефон: это была Патриша, с которой он только что расстался, она сообщала, что встретила его младшего брата, вот тут он стоит, и она передает ему трубку...

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Спасибо тебе, Франциск! Мы нашли блудного сына и улетели на следующий день в Москву. Франциск, а может, и еще кто-то из его компании, вытащил нас из этой истории. Никто не погиб, все мы живы. Я бы хотела написать об этом подробнее. Может, когда-нибудь и напишу.

Фрукт голландский

В Голландию я приехала не как турист, а как писатель. У меня вышла там книга, и я выступала в разных культурных местах – в книжном магазине, в университете, в некотором культурном центре, который напоминал Дом культуры АЗЛК. Это было здание для разнообразных общественных нужд – с кинотеатром, выставочным помещением, маленькой гостиницей, кафе-баром и даже, кажется, со спортивным залом.

Я выступала в небольшом кинозале. Перед спящим экраном поставили столик, микрофон и бутылку воды – писателю большого реквизита не нужно.

По дороге к залу я проходила через вестибюль, в котором были развешаны картины. Я взглянула мельком – после «малых голландцев» они показались мне кошмарной мазней.

– Что это? – спросила я переводчика.

– Не обращай внимания. Один местный фрукт рисует. Ты, может, не знаешь, в Голландии на десять человек двенадцать художников...

Мне это заявление скорее понравилось: из всей амбициозной армии творческих людей – писателей, артистов, музыкантов и алчных маршанов, которые называют себя «арт-дилерами» и изо всех сил делают вид, что они-то и есть главные в этом сборище, – я предпочитаю художников...

Зал был небольшой, уютный, народу на выступление пришло довольно много – а я-то беспокоилась, придет ли хоть кто-то... Зал был почти полон, меня представили, переводчик прочитал кусок моего текста, потом я что-то говорила, мне задавали обычные вопросы, я отвечала...

На первом ряду сидел человек и писал, не заметить его было невозможно: он был лыс, полностью беззуб, очень худ и столь странно-притягателен, что я время от времени на него поглядывала. Облик его наводил на какие-то ассоциации, будил забытое воспоминание...

Тут он подошел ко мне с письмом в руках, произнося что-то по-голландски. Переводчик взял письмо, лысый начал возбужденно говорить, мельтеша в воздухе тонкими руками... Эти жесты, шейный платочек, бисерная браслетка на запястье – смесь детского и болезненного... Покойного Никиту, несчастного, осужденного в семидесятые годы за мужеложество и восемь лет отслужившего лагерным петухом, вот кого он напоминал...

Переводчик взял письмо и отправил лысого на место. И тот вернулся в первый ряд, всё еще трепеща пальцами на ходу...

Потом в кафе устроили что-то вроде ужина, и с другого края стола этот тип всё делал мне знаки, привлекал внимание – мол, поговорить надо, – а когда ужин кончился, подошел ко мне и предложил выпить в баре.

Переводчик мой к этому времени уже исчез, и я осталась наедине с этим странным господином, который был явно ко мне расположен, обращался на смеси польского и английского, я ему что-то отвечала, и он мне смог сообщить о себе множество конкретных сведений каким-то особым внесловесным способом – жестами, рисуночками, надуванием щек...

Он оказался почти стариком, вблизи было видно, какая густая сеть мелких морщин покрывает его щеки и шею. В семилетнем возрасте этот старик-ребенок был спасен из концлагеря в Польше. Он прижимал маленькие кисти к тому месту, где расходятся ключицы, и твердил – сирота, орфен, сирота... И отчаяние маленького ребенка сквозило в голосе.

У меня был ужас перед содомией. Не могу сказать, что с детства, но ровно с того момента, как это явление стало мне известным. Мне было лет двенадцать, когда

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru дворовая девочка Оксана рассказала мне ужасную правду о двух молодых людях, которые снимали комнату в нашем доме. И во мне возник тогда сильнейший страх, который, вероятно, вызывали в древности деревенские колдуны. Когда я сталкивалась с той парочкой на лестнице, я чуть сознание не теряла от ужаса... Душа моя требовала этому объяснения. Я знала про любовь, что она прекрасна, я предчувствовала, что она чиста, что она так чиста, что смывает всё похабство, которое изображено на стенах в уборных. Но эту незаконную любовь я долгие годы воспринимала как движение «заблудившегося пола», как ошибку, опечатку... даже как преступление. А этот мальчик, спасенный из лагеря смерти, на всю жизнь полюбил солдат...

Он и был тем кошмарным художником, мимо работ которого я прошла, отворотив нос. Он был довольно сильно пьян и всё еще пил красное вино, которого мне давно уже не хотелось. Он говорил и говорил, уже по-голландски. Он мне рассказывал, конечно, свою жизнь, мелькали какие-то географические названия, имена. Он мне не просто так рассказывал свою биографию, он дарил мне роман своей жизни. Каким-то невероятным образом ему даже удалось донести до меня, что я именно и есть тот человек, который может описать все его злоключения, его интереснейшую трагедию...

Мы сидели на высоких барных табуретах, народ потихоньку расходился. На освободившийся рядом со мной стул сел другой тип, совершенно кошмарный. Голова его ото лба до макушки была в парикмахерских куделях, на шею опускался плоский хвост, а виски были подбриты так, словно он собирался сделать себе «ирокез», но раздумал. Мощную грудь обтягивала тельняшка без рукавов, а руки от плеча до кончиков пальцев были покрыты самой затейливой татуировкой, которую мне приходилось к тому времени видеть. С ушей свисала гроздь цепочек и колечек, на шее вились в несколько рядов металлические цепи, на толстых пальцах были плотно насажены кольца: черепа, слоны и прочие серебряные причиндалы. Но если приглядеться, несмотря на всю эту карнавальщину, он был довольно красив, то есть рот, нос, глаза были исполнены Творцом как положено. Они были с моим беззубым собеседником друзьями. Может быть, даже очень близкими друзьями. Возможно, даже любовниками или супружеской парой – мы находились в толерантной Голландии, где гомосексуалистов венчают. Нет, кажется, еще не венчают, а только регистрируют в мэрии...

– Альберт! – представил друга беззубый, имени которого я так никогда и не узнала.

– Евгения, – без всякого энтузиазма отозвалась я.

Он заказал еще вина, и бармен поставил на стойку еще три бокала. Мне ужасно хотелось уйти, но я бессмысленно сидела, ожидая благоприятной минуты, чтобы улизнуть. «Матрос» довольно бегло говорил по-английски, и теперь они оба обращались ко мне одновременно, и я что-то невпопад отвечала.

Сумка моя, как всегда распахнутая для всех желающих, лежала на полу между моим и Альбертовым табуретом. Я это запомнила исключительно по той причине, что он, подходя к бару, об нее споткнулся и немного передвинул... Момента, когда ее исследовали более подробно, я не уловила. Что исчезли деньги, я обнаружила уже в номере. Денег была ровно сотня долларов, одной бумажкой. У меня часто пропадают деньги, и я признаю, что совершенно не нуждаюсь в услугах воров: я их теряю без посторонней помощи! Но в этот раз я была уверена – «моряк» Альберт свистнул. Собственно, я его спровоцировала. Но было очень противно...

Да бог с ними, с деньгами, на что они мне здесь, в Голландии? Издатели меня возят, кормят-поят и в музей тоже отведут, если попрошу... Но проснулась я утром с довольно-таки неприятным осадком: нельзя быть такой раззявой...

Я спустилась в буфет и позавтракала: завтрак прилагался к ночевке. Вышла в вестибюль, скоро должен был заехать за мной переводчик. Возле самой двери сидел свежесбривший вчерашний фрукт – сирота в кокетливом шейном платочке, в мятой шелковой рубашке, с папкой под мышкой. Он ждал меня, но я заметила это слишком поздно, так что пути к отступлению не было. Он улыбался, но строго и несколько торжественно.

«Вот черт какой, развели меня вчера на пару и хоть бы исчезли навеки, так еще общаться хотят», – подумала я и хмуро кивнула...

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Он раскрыл папочку. На черно-белой клетке кафеля, по-детски криво и робко нарисованной, на ощутимо холодном полу был изображен голый лысый человек. Это был Освенцим, или тюрьма, или какое-то другое отделение ада. Я поняла, почему я вчера не хотела видеть эти кошмарные рисунки в вестибюле. Никакому глазу не хочется наблюдать адские картинку. А этот лысый беззубый жалкий педик остался навсегда рисовальщиком ада, хотя прошло уже пятьдесят лет с тех пор, как его освободили.

Он принес мне ее в подарок, эту картинку. Я взяла ее, чтобы увезти домой и спрятать куда-нибудь подальше, чтобы глаз на нее не наткнулся. А он хотел, чтобы я никогда о нем не забывала, чтобы написала о нем роман, он хотел, чтобы я смотрела на его картинку. Он хотел бы, чтобы все люди жалели его, мальчика-сироту из концлагеря. Я вся наполнилась слезами до краев, но, честное слово, я не заплакала. Держала эту папочку и говорила:

– Сэнкью вери мач, ю ар вери кайнд..

И тогда он вынул из какого-то затейливого, вышитого индийскими женщинами портмоне стодолларовую бумажку и стал извиняться за своего друга, который вечно шалит, и он не заметил, как тот решил подшутить со мной... Это он говорил по-голландски, но я всё поняла. Всё – до последней копейки.

#### КИМОНО

Как выяснилось, в Токио не носят кимоно. Их можно увидеть только в монастыре. Невесты и их подружки наряжены в удивительно сложные костюмы. Кроме кимоно, там наворочено еще много всякого другого, а когда поверх кимоно с огромным поясом-протезом сверху накидывают еще какую-то шелковую одежду, изящная японка превращается в горбатое чудовище. Правда, переводчица не поняла моего изумления и попыталась объяснить мне, что получившийся силуэт и есть самый женственный, потому что без этого горба женской фигуре чего-то недостает, а так получается полная гармония.

В общем, пояс этот протезный при всей его красоте – вещь для носки невозможная. Но мне все-таки хотелось купить настоящее кимоно, только без пояса, и я спрашивала у знакомых японцев, где их продают. Они слегка удивлялись и в конце концов отвели меня на последний этаж большого универмага. Там было множество кимоно, но они были помпезные, слащавые, на мой взгляд, пошлые, сплошь карамельно-розовые, а если и белые, то непременно с большими жирными цветами. И самое дешевое переваливало за тысячу долларов.

Мы спустились с последнего этажа на первый и пошли гулять по парку, что возле Токийского университета, и дивиться деревьям, еще не освобожденным от зимней упаковки из соломы, и тонким конусам из жердей, сооруженным поверх сосен для защиты от снегопада – чтобы сырой тяжелый снег не сломал ненароком драгоценной ветки... Чудная, чудная страна Япония, всё в ней не так, всё по-другому, и понять хочется, и понимаешь, что невозможно ни в чем разобраться, и прежде всего в том, как маленькие японцы вырастают в грамотных взрослых, потому что для чтения средней сложности книги, без особых выкрутасов, надо знать четыре тысячи иероглифов... Еще непонятно было, почему они так заводятся от Достоевского, что их так тянет в бездну русского характера, и почему эти безумные слависты изучают творчество художника Матюшина и его жены Елены Гуро, в то время как про них в России не каждый профессор искусствоведения знает...

Словом, вот с таким бесподобным безумцем, специалистом по русскому авангарду, отправились мы на один день в город Киото, чтобы посмотреть Золотой Павильон, Серебряный Павильон, Храм Тысячи Будд и еще кое-что по списку в режиме «фастфуд».

Мы приехали на скоростном поезде из Токио в Киото, бросив взгляд на симметричную фудзияму, взяла такси и поехали по всем положенным точкам. Наглые облезлые косули выпрашивали спецпеченье, для них и туристов здесь изготавливаемое. Мы всюду успели, и мой спутник был доволен, что так быстро и оперативно мне всё показал, а я испытывала стыд и отвращение к себе за то, что поддавалась на эту приманку и поехала, чтобы поставить галочку, и ничего, кроме того, что можно увидеть в кино, да еще и в лучшем ракурсе, не увидела, и поклялась себе, что лучше буду сидеть дома, чем унижать, возможно, бессмертную душу такими низкими упражнениями...

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Итак, мы неслись на вокзал, и дорога наша лежала через рынок. Но времени уже почти не оставалось, и даже предаться свободному глаzeniu на чужую еду, на невиданные овощи и странные фрукты было некогда. Но вдруг в каком-то закутке я увидела группу женщин, распаковывавших большие сумки. Женщины были какие-то особенные, между ними существовала некая неуловимая связь. У японцев всё непонятно, и глаз все время обманывается, как и вкус...

Они выкладывали на прилавок какие-то тряпки, и тряпки потянули меня к себе. И мы подошли. На прилавок выкладывали кимоно – те самые, о которых я мечтала: оранжево-лиловые, алые, дымчато-голубые, не совсем новые, некоторые даже заметно старые и чиненные, одно с маленькой честной заплаткой на видном месте, в увядающих цветах и мелких рыбках, с пятнами луны и бамбуковыми скелетами... Это я говорю «кимоно», а эти одежды были, с точки зрения японцев, совершенно не кимоно, какие-то полукурточки, и халаты, и предметы неизвестного нам назначения... Шелк тонкий, блестящий, и шелк-сырец, и то ли полотно, то ли бумага...

– Ико, что это? – спросила я у спутника. Он о чем-то тихо переговаривался с женщинами. Кивал головой, улыбался, немного кланялся, и они тоже улыбались, и кивали, и немного кланялись...

– Ты знаешь, я такого еще в жизни не встречал: это благотворительная акция. Женщины эти – матери детей-инвалидов, и женщины из богатых семей собрали свою старую одежду, они починили ее и теперь продают, чтобы вырученные деньги взять для своих детей...

Они были все великолепны, эти старые, вычищенные и вычиненные вещи. Выбрать было трудно. Меня одолела жадность и тяга к прекрасному одновременно, и я не могла остановиться. Я знала, кому я их подарю: алое – невестке Наташе, дымчатое – подруге Алле, огромное темно-синее – брату Грише... Я накупила их девять, самое дешевое стоило шесть долларов, самое дорогое – двадцать пять.

Все кимоно вскоре я раздарила, осталось у меня только оранжевое, короткое, веселое, с невыводящимися пятнами ржавчины на белой подкладке. Теперь у меня сколько угодно времени разглядывать подлинный кусок настоящей Японии. Оранжевым кимоно кажется только издали, а вблизи, при правильном глядении, обнаруживается его тонкая полосатость и даже чуть более светлые знаки, не то иероглифы, не то диаграммы между полосками. Если очень долго и сосредоточенно смотреть, можно много узнать про Японию.

Так написано...

Глазу, воспитанному на тихом благородстве русской природы, привычному к тонким оттенкам огородной ботвы, пыльной листвы и бедных придорожных трав, претит египетский приморский пейзаж, он отдает грубым акрилом: прямая синева неба, грубая белизна побелки, мультипликационные краски, которыми окрашены толстые цветы, сделанные, кажется, из жести и искусственного мяса. Впрочем, изредка попадаются цветы мелкие и пахучие, похожие на настоящие, но и им не доверяешь.

Вымышленное место, рай, придуманный разбогатевшим лакеем, спланированный циничным наемником-архитектором и построенный местным арабом, доверчиво принимающим этот фасонистый бред как предел земной красоты. Отель так просто и назывался – «Парадиз». Он был, конечно, пародией, этот парадиз.

Первой линией у моря стояли гостиницы, за ними лежала полоса строительного мусора и свалки, а метрах в ста начиналась честная и бедная пустыня.

Для съемочного павильона всё было слишком грандиозно, но фальшь была самая настоящая, как на съемке исторического фильма. Настоящим было также солнце: сильное, беспощадное, нешуточное, замаскированное легким ветерком, оно наполняло сильным светом весь воздух – ради него я и приехала сюда первого апреля.

В тот год я сильнее обычного страдала от зимней темноты. Кожа моя измучилась от тьмы и просилась на солнце. Еще коже моей хотелось к морю.

Прибрежное море меня разочаровало: оно напоминало рыбный суп – мне не нравилось плавать посреди разнокалиберных рыбок, которые то тыкались в живот, то били по тебе хвостом. А отплыть подальше было невозможно, потому что немедленно подлетал катер, и спасатель загонял дерзких пловцов в прибрежную полосу, кишачую рыбками и отдыхающими с детьми из безводных и холодных провинций Европы.



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

Соотечественники хлынули сюда, потому что наш рай был почти пятизвездочный, а стоил почти как трехзвездочный. Это объяснялось просто: сезон еще не начался, а теракты не прекращались.

Всё, кроме солнца, было имитацией: шведские столы ломались от еды, изготовленной для киносъемок, и она была такая же поддельная, как джинсы от Гуччи и сумки от Пьера Кардена, выставленные в каждом местном ларьке за десять долларов штука. Единственное, что имело отношение к нормальной пище, – свежие египетские огурцы и белые лепешки. Еще был черный кофе, который варил Ахмет в кафе на улице, – об этом я узнала на следующий день. Местный сыр лип к зубам, на колбасу страшно было смотреть, в рис сыпано чересчур много специй, к жареному перченому мясу и высохшим на вчерашнем вертеле курам стояла очередь, а очередей я стараюсь избегать по религиозным соображениям, чтобы не впасть в искушение... Я взяла стакан апельсинового сока – он оказался порошковым. Интересно, откуда они здесь, в апельсиновом изобилии, берут порошок? В Ирландии, что ли, заказывают?

К моему столику подошли две женщины: свободно ли?

– Садитесь, садитесь. Свободно!

Они обрадовались – тоже русская. Познакомились: Роза лет пятидесяти, со следами татаро-монгольского ига на лице, и приятно-невзрачная Алена лет тридцати.

Роза поставила на стол горку еды – тарелка с верхом.

– Господь дает нам пищу на каждый день, и хлеб небесный посылает нам, – радостно сообщила она, села за стол, зажмурилась и замолчала.

Она молилась про себя, и вторая тоже безмолвно склонилась над тарелкой. Я что эти обычаи: омовение рук, благословение еды... и вообще всякое благодарение...

Вечером они опять подсели к моему столику. Роза с интересом посмотрела на мой скудный ужин – огурцы с лепешками.

– На диете? – сочувственно спросила она.

– Вроде того, – согласилась я.

– Написано так. – Роза возвела глаза к небу и наморщила лоб. – «Не понимаете, что всё, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст – из сердца исходит. Сие оскверняет человека».

Я промолчала, поскольку давно уже не люблю застольного богословия.

«Неофитка», – догадалась я.

– А вы, простите меня, сколько за путевку платили? – спросила Роза, легко перескочив незамеченную пропасть.

– Четыреста восемьдесят.

– Чего это так много? Моя дочка купила горящую за двести девяносто. Знаете, как написано: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе...», а родителям сказано: «А вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем!»

На Послании к Ефесеям я ушла, пожелав приятного аппетита.

В этом вымороченном месте были свои золотые и серебряные минуты. Золотые – утром, когда я просыпалась на рассвете, выходила на закрытую от чужих глаз, но не от солнца лоджию и ложилась на шезлонг. Кожа моя ликовала, и я подставляла солнцу укромные места. Потом я шла на берег, уборщики к этому времени успевали вытащить из песка все окурки и обертки, которые с вечера оставили отдыхающие. Привозной песок, маскирующий каменистый берег под настоящий пляж, был светел и разглажен, а катерные спасатели еще не вышли на работу. Я уплывала по прохладной воде подальше от берега. Непрестанно дул противный боковой ветер, заливал в левое ухо крепкую воду и сносил вправо. Я хороший пловец, но плохой спортсмен –

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) плыву медленным неправильным брассом. Плыть могу долго. Спихватившиеся спасатели меня возвращали.

Полежав на казенном полотенце, шла в номер и погружалась в арабское медленно текущее время. Читала длинную, удивительно подходящую к случаю книгу – «Александрийский квартет» Лоуренса Даррела, и близость места действия романа, а также разгадывание его исторических криптограмм меня забавляли. Потом я засыпала, просыпалась, пила кофе у Ахмета, возвращалась в номер и снова засыпала: предел разврата загнанного городской жизнью человека – сон после завтрака. Шла в гимнастический зал, садилась на велосипед, глядя в стеклянную стену на летящие в одном направлении и всё не улетающие листья пальм, потом покупала газету и просматривала ее от конца до начала перед синьковым бассейном: интересно, они в воду анилины добавляют? Выпивала еще чашечку кофе и обнаруживала, что всего-то одиннадцать часов утра. Заспавшиеся туристы еще жевали за стеклянной стеной многоступенчатые завтраки.

Возвращалась в номер и погружалась в «Александрийский квартет», пока не наступало время обеда.

Выйти с территории отеля оказалось некуда – полоса строительного мусора и пустыня. Можно было взять такси или сесть в микроавтобус, съездить в собственно город. Я однажды это сделала, там было то же самое: трепещущие по ветру пальмы, самые безмозглые из всех деревьев, восхитительно уродливая архитектура и группки жующих туристов. Купила на восточном базаре (пестрая роскошь бедняков, грозди предположительно золотых украшений, свисающие с лотков, поддельные ковры, новенькие папирусы с Нефертити и тонны наглых сувениров) килограмм невкусной клубники, три зеленых генопродукта в виде яблок и бедуинскую вязаную тубетейку.

Валяться на лоджии или в номере было слаще всего. Мысль о растяжимости времени, о его способности сжиматься и растягиваться до бесконечности не покидала меня. Я наслаждалась длиной минут и бесконечностью восточного часа... И в голову лезли такие мысли, которые могут возникнуть лишь от полной праздности, например про безумную теорию Фоменко, согласно которой мировую историю следует считать искусственно растянутой, – в теории этой, если находишься в Египте, чувствуешь прорыв к истине. В следующем прорыве будет, возможно, зиять еще одно откровение о природе времени – египетские тысячелетия равны европейским столетиям, китайское время не совпадает со шведским, а американское – с африканским, и потому история так неравномерна, спонтанна и непредсказуема.

И еще я наслаждалась молчанием: телефон не звонил, московскую суету как обрезало, и я с опаской ждала момента, когда на меня наедет скука. «Скука – вдохновение (или отдохновение?) души». Так говорил кто-то из римских мудрецов.

Лучшим временем суток были минуты, когда заходило солнце и начинало темнеть. Это было роскошное представление: сначала жгучая синька блекла, белизна строений бледнела, мрамор приобретал меловой оттенок, зелень темнела и омрачалась, и всё гасло, как будто художник по свету включил реостат и свет постепенно убывал, согласно световой партитуре. Мавританский кошмар рассеивался, и начинался процесс, обратный тому, что происходил когда-то в старинном фотоателье: черная окись постепенно превращалась в серебро, растворялись зубцы, башенки, минареты. Только черные дыры оставались по низам, где небо соприкасалось с землей. А потом всё становилось ровным и серебристым, как уснувший жемчуг, и наступали эти самые серебряные минуты. И только на западном краю неба шевелились отзвуки вечерней зари...

Господи, как было хорошо...

За ужином мы снова оказались с Розой и Аленой за одним столом.

На этот раз Роза взяла быка за рога и обратилась ко мне с прямым вопросом:

– А ты сама-то верующая?

Глаз ее горел хитрым миссионерским огнем. Она даже забыла помолиться лицом в тарелку. Писание из нее так и перло, она была просто нафарширована цитатами. Она вовсе не собиралась задавать мне вопросов. Она была полна ответами, и ее просто разрывало от желания поделиться своими открытиями в области духа. Я помню это счастливое состояние человека, которому вручили ключ ото всех замков, и любой

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru самый замысловатый вопрос в прах рассыпался в тот самый миг, как к нему прикасаешься ключом христианства... С годами это прошло, обнаружилось множество всего, что не открывается с помощью «Господи, помилуй».

Но Роза не подозревала о досадных сложностях, она воздевала руки в разноцветных колечках, трясла стеклянными браслетами и славил Господа. Потом она остановилась и задала, наконец, вопрос:

– А вот написано: «Зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его?» О каких это народах, о каких царях говорится? Вот вопрос-то? А?

Я оглядела зал: народы метались вокруг шведского стола и замышляли, чем бы поживиться...

– Роза! Это начало второго псалма, а дальше что сказано? «Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею. Возвещу определение: Господь сказал мне: Ты Сын Мой. Я ныне родил Тебя. Проси у Меня и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе».

Она смотрела на меня так, как будто я была куст горящий. Молчаливая Алена слегка приоткрыла рот.

– Так что не волнуйся ты о царях и князьях. Божье слово крепкое, да и Сион здесь совсем неподалеку. Раз обещал – даст, – успокоила я.

– Ты не простой человек, сестра, – восторженно сказала Роза.

Оно, конечно, так и было, но на всякий случай я отказалась:

– Довольно простой... Это с какого места смотреть...

– Ты, наверное, экономист! – возгласила она.

Но я не засмеялась:

– Нет, что ты! Какой экономист!

Алена смотрела на свою старшую подругу с укором. Но та не унималась:

– Значит, бухгалтер!

– Нет, я не бухгалтер, – успокоила ее. На следующий день вечером Роза была молчалива и после ужина предложила прогуляться. Мы пошли сквозь строй красных и белых рододендронов. Впереди Роза и я, а чуть поотстав – бессловесная Алена.

– Я сегодня рано утром поплыла в море, далеко-далеко. И мне был голос – плыви, плыви и не возвращайся. И такое счастье было, и я всё плыла, а голос шел прямо вот сюда, – она указала на маковку, – у меня там еще в прошлом году что-то открылось, и я все время слышу Голос Небесный... И я плыла, как Он велел, и так было хорошо, и я знала, что потом утону, утону здесь, по Слову Господню... А спасатели меня догнали и выудили, и назад вернули... Вот ты образованная, скажи, если Голос Божий мне говорит «плыви!» – зачем же он спасателей этих посылает? И ругались они, так ругались на меня...

Я уже знала, что она новообращенная евангелистка. И два года не переставая читает Писание, и Бог дал ей такую память, какой у нее никогда не было, – запоминает страницами...

– Слушай, Роза, память тебе Бог дал и слух особый, но не дал пока еще духа различения языков. Помнишь, как это написано?

Я и сама точно не помнила, это что-то из послания Коринфянам, про разные дарования, которые посылаются людям. Но ей, по моему разумению, был нужен психиатр: не посылает же, в конце концов, Господь простодушных женщин топиться ни с того ни с сего... Хотя конницу египетскую где-то в этих краях утопил...

– Ты проси Духа различения голосов. Сдается мне, что это был не Божий Глас, а

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
какой-то вражеский...

– Как это? Ведь Голос! Ведь написано: слушай голоса Моего! – испугалась Роза.

– Ты книгу эту читаешь два года, а я – тридцать пять. Знаешь, в ней непонятного очень много, и переводы плохие, и путаницы много. Да и читаем мы плохо – каждый в меру своего слабого понимания. Но, я думаю, тебе было бы неплохо к врачу сходить. Это такая большая нагрузка для головы – священные тексты.

Роза погрузилась:

– Вот и дочка моя так говорит. Ты поезжай, мама, отдохни. К врачу-то я идти не хочу. Ведь залечат. А мне Господа надо слышать...

Следующим вечером мы снова встретились за ужином. Они имели при себе курточки, у Алены был и рюкзачок.

– Куда собрались? – спросила я.

– Как куда? На Синай! – засияла Роза. – А ты что, не едешь?

Я и не знала, что сегодня автобусная экскурсия на Синай. Вообще-то, я туда и не собиралась. Мне говорили еще в Москве, что дорога на гору так трудна, что многие возвращаются, так и не дотянув до вершины.

И тут заговорила Алена, совершенно как валаамова ослица:

– Да как же так? Рядом быть и не подняться? Это же самое святое место! Здесь заповеди дал Моисей!

Роза открыла рот, и я поняла, что она сейчас выпустит в меня большой заряд цитат.

– Ладно, ладно! – я легко согласилась. – Давайте так договоримся. Я сейчас соберусь и подойду к автобусу. Если лишнее место будет, я поеду, а нет – так и нет.

Я не люблю христианского туризма. Большинство из памятников, которые я видела, давно превратились в коммерческие предприятия. К тому же мозаичный римский павлин или рыбка вызывают во мне не меньший трепет, чем фрески римских катакомб. Бедного христианства почти не сохранилось в мире, а богатого просто быть не может... Нет, не так: мне кажется, что богатого христианства стесняется сам Спаситель... Поэтому спуск к воде в Капернауме мне милей собора Святого Петра. Но Синай, с другой стороны, – большая гора, Богом создана, а не Папой Римским...

Свободное место в автобусе было, и даже не одно. Ехали часа два с половиной по ночной дороге, через какой-то пост переехали, добрались до монастыря Святой Екатерины. На стоянке уже разместились штук двадцать туристических автобусов, народ из них высыпался – итальянцы, венгры, какие-то неопознанные мною в темноте европейцы, группа американских студентов, по громкому ржанию узнаваемых. И дружными рядами вошли за монастырскую ограду и выстроились в длинную очередь. Я подумала, за билетами. Но я ошиблась – в уборную. Две кабинки мужские и две женские. Очередь часа на два, даже если штаны расстегивать в ускоренном режиме. Я подошла к руководителю экскурсии, который всю дорогу порол какую-то историческую чушь, и объявила, что в очереди в уборную стоять не буду, а пойду потихоньку по дороге в гору.

Молодой египтянин, бывший студент из Харькова, заволновался: отстанете, потеряетесь... Но я была настроена решительно: «Нет, – говорю, – я всех писальщиков ждать не буду. Вы молодые, я вдвое вас старше, вы меня в дороге догоните и перегоните. И не волнуйтесь, к десяти часам утра, к отъезду автобуса я точно вернусь...» И пошла.

Дорог было две: одна древняя, монастырская тропа, очень тяжелая и крутая, про которую я в тот момент и не знала, а вторая – туристическая, серпантинная, вокруг горы, раз в десять длиннее, но она шла не до самой вершины, а за семьдесят ступеней до верха соединялась с монастырской, чтобы паломники в конце концов вкусили немного настоящих трудностей и получили соответствующее

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskayaaludmila.ru](http://ulitskayaaludmila.ru)  
удовлетворение.

У подножия горы кучковались бедуины с верблюдами, они уже много столетий в этом бизнесе – втаскивать туристов на вершину Синая. Это небольшое племя было в незапамятном веке подарено каким-то великим арабским шейхом настоятелю монастыря. С тех пор это племя здесь и проживает в тесной дружбе с местными монахами...

Это экскурсионное вранье все равно ни к чему не имело отношения. Верблюды шатались на тонких ногах, и мне показалось, что без них гораздо безопасней. Бедуин с верблюдом стоил десять долларов. Вообще, любая услуга стоила десять долларов. Паломники держали в руках выданные напрокат фонарики, светили себе под ноги, и стоять в этой толпе было довольно некомфортно для человека, приехавшего отдохнуть от суеты и многолюдства. Но если посмотреть вверх, то зрелище открывалось восхитительное – толпа людей с огнями в руках толстой змеей извивалась вдоль горы.

Ночь, холод, толпа. Удивительно, как это я добровольно согласилась на такое общественное мероприятие? Похоже на первомайскую демонстрацию, только ночью, и в руках не транспаранты, а фонарики... Участки, где было покруче, утомительные, чередовались с более пологими. По пути следования паломников были разбиты палатки с туристическим товаром: водой, чипсами, арабскими закусками.

Я хожу хорошо, но не была готова к такому длинному восхождению. Когда часа через четыре добрались до слияния двух дорог, старой и новой, стало трудно: очень круто, и ступени неровные, скользкие, местами осыпаются. Здесь я увидела мельком Розу с Аленой. Алена была хоть куда, а Роза выглядела бледненько.

Я несколько раз отключалась – такое со мной бывает от усталости, – но шла в автоматическом режиме. В тот момент, когда я уже почти сдалась и раздумывала, не вернуться ли мне назад, подвернулась грузная старуха, которая совсем уже сползала вниз по тропинке под собственной тяжестью. А поскольку у меня всегда возникает прибиток сил, когда я вижу того, кому хуже, чем мне, то старуха эта меня спасла: я тащила ее на себе и чувствовала себя мастером спорта по десятиборью. Старуха была из Новосибирска и поднималась на Синай по обету. Ей хотелось перед смертью очиститься, а тому, кто встречал восход на Синае, как известно, сорок грехов прощается. Я подумала, что мне одного восхождения не хватит.

На вершине горы стояла церковка православная, невнятная, постройки тридцатых годов минувшего, двадцатого, века. Там был какой-то служка, горели свечи. Сколько было тысяч человек на горе, сказать не могу. Может, три, а может, и пять. Темно. Холодно. Опять появились бедуины, теперь не с верблюдами, а с грязными одеялами. Десять долларов до рассвета. Молодежная компания раскладывала между камнями пикничок, светловолосая парочка угнездилась в скальном углублении, укрывшись одеялом.

Когда немного посветлело, поднялся страшный щелк. Народы фотографировались. Довольно плотный туман лежал ниже вершины, а на востоке, откуда должно было появиться солнце и очистить всех от грехов, стояла плотная туча, и я догадалась, что кинематографического восхода – с нежным розовым сиянием, тонким светом и играющим пламенем, с ртутной каплей прорезывающегося солнца и веером первых лучей – ничего этого не будет. Все постоят, постоят, а потом обнаружат, что солнце появилось из облаков обычным будничным путем.

– Эй, дывчина, не засти, гору загораживаешь! – обратился ко мне украинский голос, и я пошла прочь, горюя о своей неспособности слиться с верующим человечеством, испытать тот подъем, ради которого совершался этот – пешеходный.

Сплошной поток людей снова разбился на национальные группы с экскурсоводами во главе. Я протиснулась между японцами и венграми. И увидела сидящую на камне новосибирскую старуху. Голова ее была опущена в руки, и от нее, единственной, шел такой молитвенный жар, что я чуть не заплакала...

Вот тут он и стоял, уже немолодой, крупный, с большими руками, в тонкой льняной одежде, «гугнивый», как говорит Писание, – то есть картавый, гнусавый, гундосый и к тому же заика. И слушал Глас Божий, и записывал на камне, выбивал неизвестно каким инструментом, и исписал два больших камня... А потом понес эти камни вниз, с

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) горы, и у ее подножия, на том месте, где теперь монастырь Святой Екатерины, он застал свой народ не в тихой молитве, а в непотребном гулянье... Но я не уверена, что было именно так, и неопалимая купина, которая случилась Моисею за сорок лет до того, тоже оказалась вот тут, неподалеку... Я не говорю, что не верю. Просто для меня это не имеет значения...

Я это признаю. Я равнодушна к святым местам. И я даже не могла воскликнуть: Господи, помоги моему неверию! Но я верю в молитву новосибирской старухи, которая не сошла с дистанции, не упала в обморок и не умерла, а дотащила свое большое тело на эту высоту и верит, что ей простятся сорок ее грехов...

И еще у меня нет никакого сомнения в том, что весь этот дурацкий мир, вместе с тайной возникновения белковых тел, эволюцией, радиацией, канализацией и римским водопроводом, Господь держит в своих руках, не обращая особого внимания на твердый плевок материи, называемый Землей... потому что у него очень большое хозяйство – с множеством галактик, солнц, планет, черных дыр и других приспособлений для сворачивания и разворачивания всё новых пузырей...

И я пошла себе, горюя о невозможности присоединиться к общему делу веры, потому что индивидуализм иногда устаёт сам от себя и желает прислониться к другим индивидуализмам, чтобы образовать нечто качественно новое...

Я шла вниз одна, без сопровождения людей и верблюдов, было предрассветное время, и потихоньку стало всё проявляться из серой мглы. Кроме камней под ногами видны стали откосы каменных стен, и обрывы, и плато. Вид по мере того, как я спускалась, разворачивался, пейзаж становился всё шире и объемней. Дорога разбилась на два рукава, и один, узкий, пронирывал под арочку, сложенную из местного камня. И я туда пошла.

Я шла одна довольно долго. Наконец я поняла, что спускаюсь не по туристической дороге, а по монастырской тропе. Она была очень трудной и крутой, и идти вниз было ничуть не легче, чем вверх. Может, еще и трудней. Сначала я пыталась спускаться вприпрыжку, как научилась еще в детстве, в Крыму. Но камни были скользкие, местами осыпались, и я пожалела голеностопные суставы, которые легко ломаются от таких спусков, особенно у пожилых людей.

Несколько раз я останавливалась: однажды, когда я подумала, что здесь нет ни птиц, ни зверей, что-то шевельнулось сбоку, и из-за камня вышел рыжий кот. Посмотрел на меня, ожидая подаяния, но дать мне было нечего, и он ушел. Кот-отшельник.

И тут вззошло солнце. Обремененная грехами, но одинокая и совершенно счастливая, спускалась я вниз по распадку, и с обеих сторон стояли гранитные стены. Они меняли свой цвет – от слово-серого до розового – по мере того, как поднималось солнце. Такое быстрое, на глазах, наполнение форм цветом я видела первый раз в жизни и поняла не умственным образом, а вечно обманывающим нас чувством, что всё неисчислимое разнообразие оттенков лишь функция человеческого мозга, лишь работа его глаза. Кот и верблюд видят эти горы не розовыми, а какими-то иными. А перед глазами Творца – каковы? А вот сегодня вижу я их такими, какими видит их человеческий глаз на рассвете, ранней весной в начале третьего тысячелетия...

Я посмотрела на гранитные стены, они были как будто исчерчены горизонтальными трещинами, очень регулярными, иногда – как по линейке. Я любовалась открывающимися внизу новыми и новыми богатствами света, тени, глыб и террас. Я шла, следя, куда ставить ногу, в двух местах спустилась по-детски, на четвереньках, повернувшись к горе лицом. Потом стало жарко, я сняла куртку, чтобы спрятать ее в рюкзак и попить воды из бутылки. Ни одного человека. Вся эта огромная толпа тоже уже покинула гору и теперь огибала ее по выщепившейся дороге.

И тут я увидела, что огромная гранитная стена, разлинованная трещинами, содержит какие-то подробности, которых прежде я не заметила. Между горизонтальными трещинами шли еще и мелкие, но очень ясные знаки. При освещении, которое было причудливым, потому что свет шел сверху и сбоку и местами преломлялся странным образом, эти мелкие трещины были достаточно глубокими, очень внятыми и выглядели словно письма. Гранит от изменений света, от легкого светового дребезжания как будто менял свою фактуру, то казался мягким, как пластилин, то шероховатым, как обивочная ткань, то поблескивал металлом.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Я посидела и снова стала спускаться. По левую руку шла огромная стена, вся иссеченная линиями и исписанная таинственными знаками. Я несколько раз останавливалась, потому что мне хотелось запомнить поточнее это великолепное и значительное зрелище. Хотелось бы даже зарисовать...

Потом стена оборвалась, пошли скалы, обрывы, горочки-пригорочки, но всё это было уже не таинственным и грозным, а скорее приватным, монастырским. Как будто кончались угоды Моисеевы и начинались владения монастыря. И вот он уже завиднелся, простые коробочки строений, небольшой сад, возделываемый с шестого века монахами, монастырская гостиница и уборные, к которым ночью выстроились тысячи страждущих, и стоянка с автобусами. И никаких туристов, одни бедуины с верблюдами, исполнившие свои труды...

Паломники еще тянулись по длинной дороге, а меня ждала награда – монастырь еще не закрылся. В нем шла служба. Древние иконы большой простоты и подлинности висели в притворе, а внутри стояла рака с ручкой святой Екатерины. Сушеная темно-коричневая ручка в перстнях видна была под стеклом, ее было жалко, бедную эту ручку, отсеченную от тела и выставленную на обозрение. Целовать мне ее не хотелось, хотелось в землю закопать...

Во внутреннем дворике стоял куст – неопалимая купина. Он стоял как бы на возвышении, и когда я подошла к нему, маленький листик свалился мне на голову.

Растение этого вида не встречается нигде в мире – написано в путеводителе. Я готова поверить. Я всегда готова поверить, кроме тех случаев, когда совсем не могу. Ну, как с сушеной ручкой. Не могу я поклоняться кусочку высохшей материи, даже если она когда-то принадлежала святой Екатерине. Не такая уж я материалистка...

Потом служба закончилась, монастырская церковь закрылась, и тут как раз на склоне показалась голова паломнической змеи, она медленно стекала с горы к автобусной стоянке. Все расселись по автобусам. Роза с Аленой за время пути поссорились, и Роза отсела от Алены на другое место.

Мы вернулись в «Парадиз» к обеду. Я пошла спать. Заснула с наслаждением, под легкое журчание кондиционера. Засыпая, я всё ловила хвост какой-то очень важной мысли, которая потом очень весомо и полно присутствовала во сне. Когда я проснулась, опять не смогла уловить этой важной мысли, но она витала где-то неподалеку, обещая вот-вот вернуться. Я посидела в лоджии, немного почитала Даррела, потом пошла ужинать.

Евангелистки мне не попались на пути, и я почти обрадовалась. Когда стемнело, я пошла искупаться. Из-за непрекращающегося ветра отдыхающие купались в райских бассейнах. На море не было ни души, и даже спасатели куда-то отчалили. И я поплавала хорошо, вдали от рыбьей мельтешни. И все время куда-то тянулась ниточка: вспомни, что-то было важное.

Я легла спать, но теперь-то стало ясно, что я обгорела, спускаясь с Синая. Было не больно, а просто кожу тянуло и жгло, и даже было приятно, потому что этот ожог был одновременно и лечением. Экзема моя прошла.

Опять я спала с неразрешенной загадкой, которая даже во сне приятно волновала. Утром я вышла на лоджию и подставила под солнце обожженные ноги. Это было глупо, но день был последний, и до следующего солнца еще надо было дожить. Я лежала, закрыв глаза, и гранитная стена Синая стояла у меня перед глазами. Я открыла глаза и снова закрыла, а она всё стояла, пока я не догадалась: это и есть скрижали Завета. Как будто пелена упала, и я поняла, поняла, что делал там Моисей сорок дней – смотрел на эти наскальные письмена, смотрел слезящимися глазами сорок дней, до тех пор, пока не открылся ему смысл этих тайных знаков, начертанных Божьей рукой или природой – дождями, ветрами и резкой сменой температур. Да все равно, чем Господу было угодно орудовать: всё, что есть в мире, – его инструмент. И Моисей, и простодушная Роза с ее сомнительными голосами. Может, даже и я, неочистившаяся.

В общем, я считаю, что я сделала библейское открытие: скрижали Моисеевы записаны на скале, Моисей их расшифровал. Что же касается Шарм-эль-Шейха, то он всего лишь грубо намалеванный шарлатанами задник.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
В Москве, несмотря на середину апреля, было холодно, сыро и темно. Но египетское солнце надо мной хорошо поработало – кожа стала как новенькая, и прекратился зимний озноб в позвоночнике, который я ощущаю уже много лет. Недели через две позвонила приятно-невзрачная Алена из Шарм-эль-Шейха, сказала, что Роза очень страдает из-за голосов и просит меня найти ей такого психиатра, чтобы был верующий... К неверующему она ни за что не пойдет. У меня такой знакомый есть – молодой человек по имени Сережа, – и верующий, и психиатр, и денег не берет. Я ее к нему послала.

А мне-то кому позвонить...

Далматинец

В печальном городе Варшаве, дотла разрушенном и выстроенном заново, есть одно место – парк Лазенки, любимое место варшавян, сохранившее дух прежнего времени: игрушечный дворец Понятовского, оранжерея, пруд, старые деревья. Их не так много, но они и есть последние свидетели Королевства Польского.

Возле выхода из парка стоял продавец больших надувных игрушек, и среди висящих в воздухе над головой продавца была белая, в черных пятнах собака, к которой я сразу же устремилась: эта собака должна была стать моей. Вернее, не моей, а собакой моего внука. Я уплатила деньги, и продавец отвязал мне мое животное. Я попросила выпустить из нее воздух – назавтра я улетала в Москву, и собака в сложенном виде заняла бы скромное место в чемодане. Но оказалось, что собака эта разового пользования – надутая газом гелием, она может выпустить его из себя один-единственный раз, после чего превращается в плоскую черно-белую тряпочку, ни на что не годную.

«Ладно, довезу», – решила я и отправилась под мелким дождичком на какое-то официальное мероприятие. Бодрая моя собачка рвалась с моей руки в невысокую высь и, засунутая в такси, билась то головой, то пятнистой спиной о крышу машины изнутри. Таксист остановился там, где начиналась пешеходная зона. Собака первой выпрыгнула из такси и рванула вверх – я ее придержала. Навстречу мне шла знакомая переводчица, она помахала мне рукой. Скорее, не мне, а собаке.

Собаку я сдала в гардероб вместе с курткой.

– Присмотрите за ней? – спросила у гардеробщицы. Та закивала, улыбаясь, и ответила что-то по-польски, уже поглаживая черно-белую голову...

Далее проистекало мероприятие: обычная небольшая выпивка, перемежаемая тостами. Подошла та знакомая переводчица, которую мы встретили на улице:

– А где ваша собака?

Стоявший рядом писатель – русский писатель, из самых моих любимых, – посмотрел в мою сторону с интересом и, пожалуй, с симпатией:

– Ты что, с собакой сюда приехала?

– Нет, я ее здесь купила.

– Да ты что? – изумился он. – Какую же?

– Далматинец, – ответила я правду. По-моему, он никогда еще не проявлял ко мне такого живого интереса.

– И ты что, оставила щенка в гардеробе?

– Конечно. А как я его сюда потащу – в толпу, в духоту. А там гардеробщица его окучивает...

В лице писателя – сомнения. Может, не стоило щенка оставлять у гардеробщицы?..

Всю ночь он провисел в воздухе, под потолком гостиничного номера, привязанный к ручке двери. Морда у него была не такая умная, как бывает у живых собак, но очень симпатичная.

Утром мы вместе с ним поехали в аэропорт. Приехало такси, он рвался в салон, но



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru его поместили в багажник. В очереди на регистрацию я заметила одну мрачную писательницу – в обычной жизни столько писателей не встречается, но это была книжная ярмарка, и там концентрация повышена. Писательнице моя собака очень понравилась, это определено, и она расцвела замечательной улыбкой:

– Не боитесь уронить честь российской литературы?

– Да я ее еще раньше уронила. – Это была правда, накануне я пролила черный кофе на белую скатерть на правительственном уровне.

Как это ни удивительно, собаку мою выпустили из страны: меня беспокоил газ, который в нее накачан, гелий – он не взрывается?

Все, глядя на нее, улыбались – такое было замечательное качество у этой собаки. В самолете я положила ее под голову, как подушку. Пес был жестковат, но поставленную перед ним задачу выполнил.

Он резво прыгал над моей головой всю дорогу и всех веселил. Наконец мы с собакой сели в метро. Окна вагона были открыты, и собака устремилась в окно: ее гелиевая начинка звала ее ввысь. Я дернула ее за веревочку и погрозила ей пальцем.

Вагон был воскресный, дневной, почти все сидели. Стояла только группа подростков. Собака привлекла их внимание. Не собака, а наша маленькая борьба с ней: как я ее оттаскиваю от открытого сверху окна, а она всё норовит туда выскочить – то головой вперед, то ногами, то задом. Ребята уже изошли от смеха, а я вела себя как настоящий клоун – с полной серьезностью.

И все люди улыбались, и я поняла, как же всем хочется немного поиграть и как редко люди себе это позволяют.

В общем, всем вагоном мы забавлялись как могли. Но когда поезд остановился на станции «Сокол», величественная старуха, что сидела напротив меня, встала во весь большой рост и провозгласила:

– Как вам не стыдно! Взрослый человек, а ведете себя как маленькая!

– Извините, пожалуйста! Простите ради бога! Я не заметила, что вам мешаю! – Я рассыпалась в извинениях, но старуха попалась несгибаемая: такую извинениями не возьмешь.

– Мне лично вы не мешаете! Но вы мешаете машинисту вести поезд!

Молодняк прыснул. Старуха вышла. Поезд тронулся, и собака моя снова устремилась в окно, по току воздуха.

– Как ты себя ведешь? Ты мешаешь машинисту! Пожалуйста, сядь на место, – просила я собаку, и она спускалась и тыкалась мордой мне в лицо.

А потом я вышла из вагона и поднялась на улицу. Кроме собаки, у меня был еще рюкзак и сумка. Пока я разбирала их перепутавшиеся ляжки, меня разглядывали трое: пожилая женщина, молодая женщина и мальчик лет шести. Они были вполне симпатичные лица кавказской национальности. Старшая была в черном платье и в черном головном платке. Молодая подошла ко мне и спросила:

– Почему собака?

– Я не продаю. Я ее купила.

Мальчик смотрел на собаку с вождением.

– Я купила ее маленькому мальчику, моему внуку, я не могу ее тебе отдать. – Это неприятный момент – отказывать ребенку.

– Где купила? – спросила женщина, которая мыслила конструктивно.

– В Варшаве, – жестоко ответила я.

– Как ехать? Метро какая остановка? – Она была настоящая мать, и никакие

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
расстояния не казались ей слишком большими...

– Самолетом надо лететь.

Они отошли, разочарованные. Мать что-то говорила сыну на неведомом языке.

Последнюю шутку собака сыграла, когда мы входили в подъезд: она осталась снаружи, но железная дверь не перерубила веревочки, и на свободу она так и не улетела.

До моего внука собака добралась только через две недели: она в значительной степени утратила свои летные качества, вся немного сморщилась, шов на морде пошел мелкими сборочками. Но главного своего качества она не утратила до конца жизни: она всех веселила, пока не испустила свой гелиевый дух.

О, Манон!

Я с детства верю в гадания, предсказания, тайные знаки и пророчества. И поскольку верю, тщательно избегаю всей этой мракобесной чепухи. Помню, мне было лет десять, я с мамой и маминой подругой Ниной – на курорте в городе Трускавце, куда маму отправили пить воду для поправки печени, а Нину – пить воду из соседнего колодца от бесплодия. Стоим в хорошеньком дворике, снятом у лютой западнянки, которая ненавидит нас по трем причинам: как курортников, как москалей и особенно как евреев. Нина, между прочим, была ни при чем, а я такая маленькая, что можно было бы иметь и снисхождение. Стоим во дворе, ждем Нину, которая всегда долго собиралась «на источник». И тут входит во дворик, весь его заполнив юбками, волосами, резким гортанным голосом, женщина в красном платке и с большими серьгами. Руки у нее заняты множеством вещей: шаль, платок, карты, книга. Большая белая книга в грязной обложке. Гадалка смотрит на маму довольно равнодушно, но тут появляется Нина, и она кидается к ней:

– Погадаю, красавица, погадаю. Всё знаю, что было, что будет... Что здесь, что здесь, – приложила руку к голове, потом к сердцу, а потом сделала непристойный жест, слегка расставив ноги, – и что здесь... – И засмеялась ужасным смехом.

– Цыганка, – прошептала я маме, ожидая подтверждения. Хотя я уже вышла из возраста, когда, известное дело, цыгане крадут детей, но все-таки...

Предполагаемая цыганка услышала мой задушенный шепот, повернулась:

– Не, не цыганка, сербиянка...

И продолжала, уставившись неподвижными глазами на Нину:

– Пей не пей, гуляй не гуляй, всё будет, чего задумала, а не по-твоему...

Цыганка-сербиянка держала Нинину чахлую руку в своей – большой, в крупных красных камнях, – вертела ее, как существующую в отдельности от Нины вещь, потом попросила одно из Нининых колец, маленькое, с белым камешком, и Нина молча сняла его и положила ей в руку.

– Девочку бы мне... дочку...

Сербиянка слизнула Нинино кольцо с ладони в широкогубый рот и раскрыла книгу. Букв в ней не было, одни только точки. Гадалка пробежалась рукой по странице, задержала руку в каком-то месте, сверкнула на Нину недобрый глазом и сказала:

– Будет, будет, лучше б не было. Будет тебе, не надолго будет...

Глазастая Нина побелела.

Гадалка закрыла книгу, полностью потеряв интерес. Повернулась, чтобы уходить, и уже через плечо посмотрела на меня и крикнула моей маме:

– А у этой – два барашка!

Нина еще полечилась год-другой, а потом взяли они с мужем девочку в детском доме, растили со всем вниманием и любовью, как свою кровную, на музыку водили, на фигурные коньки, немецкому языку учили, как генеральскую дочь, но годам к

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru тринадцати в девочке сказалась такая дикая и необузданная природа, что фигурные коньки не помогли, – начала она загуливать на день, другой, потом сбежала из дому на месяц. Ее вернули с милицией, а в четырнадцать она исчезла окончательно, забрав все материнские драгоценности и разбив ей сердце...

С барашками сербиянка тоже оказалась права: у меня их действительно двое, и уже довольно порядочные бараны. Забавно, что первое оповещение об их появлении на свете я получила из книги, написанной азбукой Брайля... Да и знала ли сербиянка, что гадают по книге для слепых?

Всякий раз, когда возле меня появлялась особа с картами, гороскопами или другими инструментами для заглядывания в будущее, я немедленно отступала: я хотела быть свободной и не зависеть от их сообщений, правдивых или обманных.

Прошло не меньше двадцати лет, и я снова попала в поле зрения гадалки, и снова случайно. Забежала к армянской подруге, чтобы забрать свою книгу, а у нее стол накрыт, пахнет горькими травами и пряностями, а сама Седа сияет восторженным светом:

– Ой, как хорошо, что ты пришла! Сейчас придет Маргарита! Это такой человек! Такой человек! К ней запись стоит, чтобы она одно слово сказала!

Оказалось, Маргарита рассказывает жизнь от рождения до смерти как нечего делать, с помощью одной маленькой тарелочки. Я сразу же схватилась за свою книжку и к двери, но Седа замахала руками, закричала на меня. Тут раздался звонок, и пришла эта самая Маргарита, совершенно незначительного вида, но в очень значительной шубе из какого-то редкостного зверя. Вошла деловито, как участковый врач во время эпидемии гриппа, поцеловала Седу, поприветствовала меня непривычным маханием маленьких рук и сразу же сказала:

– Седа! Скатертьними!

– Марго, я тут всего наготовила, брат эхегнадзорского сыра привез...

– Убирай, убирай всё, стол очисти, – торопила Маргарита, и Седа сдернула скатерть с круглого обеденного стола. Марго вынула из сумки большой бумажный круг, на котором были написаны буквы алфавита.

– Тарелку маленькую дай, – приказала Марго, расстелив на столе свой алфавит.

Марго взяла в руки тарелку, маленькой рукой погладила, пробежала пальцами по ребру, постучала по ней, прислушиваясь, и сказала мне строго:

– Возьми карандаш и бумагу и записывай. Молчи и не переспрашивай, если чего не поймешь. Главное, не вздумай благодарить. Седа, ты объясни ей, как надо себя вести.

От такого приказного тона я впадаю в слабость и подчиняюсь. Седа сунула мне в руки карандаш, три листа бумаги и усадила на стул. Мы расселись вокруг стола. Марго держала тарелку на одной ладони, а второй поглаживала ее по спинке. Потом цирковым движением вытянула снизу левую руку, и тарелка как будто прилипла к правой, совершающей вращательные движения всё шире и шире. Потом тарелка отделилась от руки, но не вполне. Вращаясь по окружности стола, тарелка все время была в соприкосновении с пальцами.

Марго начала что-то говорить, но я так была заморожена видом порхающей тарелки, что не очень слушала, что она говорит. Тем более что говорила она очень тихо и с сильным акцентом, который до того совершенно отсутствовал.

Седа пихала меня под локоть, чтобы я писала. Я начала вслушиваться в довольно бессвязный поток слов. То, что она говорила о моих родителях, я пропустила, записывать начала со слов: «...из твоих мужчин первый, красный, ушел, но прощаться с ним ты будешь через два года, весной. Второй с бородой – отец твоих сыновей, он тебе не на всю жизнь, на десять лет. Уйдешь – не обернешься. Еще два года – полная перемена участи. Новое поприще. Не скажу точно, но связано с искусством. Новый мужчина. Сначала он тебе будет не по плечу, а потом ты – ему. Три года еще – и выиграш. В декабре это будет. Но не лотерея, а вроде соревнования. Только не первый приз. Но для тебя это будет большой удачей. Большая карьера будет, хотя

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru не государственная. Ну, министром не станешь, но будешь известный человек. С девяносто пятого года жизнь меняется. Дальше она связана с городом Новый Орлеан. Всё новое. Молодой мужчина. Новая семья. Чужая, но симпатичная. Они к тебе очень хорошо будут относиться. Ты там до самой смерти и проживешь. К старости мозгами повредишься. Но они к тебе очень хорошо относятся, вся эта семья...»

Всю эту чушь я записываю. Какой еще Новый Орлеан? Где я, где Новый Орлеан? – Исписала две страницы с лишним. Потом Маргарита накрыла тарелку рукой, и та остановилась.

Седа шипела в ухо:

– Не благодари, не благодари. Кольцоними и положи на стол.

Я стянула с пальца кольцо с лазуритом, сложила вдвое бумажки, сунула в книгу и ушла, не испробовав армянской еды.

Спустя два года, весной, умирал мой первый муж. Его последнюю ночь я провела с ним в больнице. Он уходил тяжело, задыхался. Я прижимала ко рту резиновую маску с кислородом, он отпихивал ее, метался и страшно ругался. Семь лет прошло, как я от него сбежала, нанеся ужасный удар по самолюбию. Теперь я провожала его, просила прощения – про себя, мысленно, – потому что ему теперь было вовсе не до меня. Так он и ушел, оставив меня не прощенной... Про Маргаритино гадание, которое исполнилось с великой точностью, я тогда и не вспомнила. В забытой на полке книжке лежали исписанные страницы с ее предсказаниями.

Потом закончились и десять лет моего второго замужества, я подала на развод. Пошла работать в театр, открылось новое поприще, новый поворот жизни. Возник мужчина, который был мне не по плечу. Тут я что-то смутно вспомнила о гадании, даже хотела найти ту книгу, в которой заложены были листочки, но под руку она не попала.

Сняла я эту книгу с полки накануне розыгрыша некоей литературной премии. Листочки, заложенные в книгу, успели пожелтеть. И год, и месяц, на который назначен был выигрыш, были как раз на дворе. Шансов у меня, как представлялось, не было никаких, но назавтра стало известно, что я заняла второе место.

Теперь на эти глупые листы я смотрела с уважением, внимательно их перечитала. Дальше следовал Новый Орлеан.

Жизнь к тому времени так поменялась, что никакой гадалке и не снилось. Она поменялась у меня лично, у моей семьи, у всей страны. Дети мои жили в Америке, старший сын учился, младший бил баклуши и курил траву, втирая мне очки, что всё в порядке. Я приезжала в Америку раз в год, оставалась у подруги Ларисы, старалась вникнуть в происходящую вокруг жизнь, но это плохо удавалось. Из такой дали виделся лучше только свой собственный дом.

В начале зимы девяносто пятого года позвонила Лариса из Нью-Йорка, и я сообщила, что собираюсь в Америку в конце апреля.

– Знаешь, у меня идея. В мае я еду в Новый Орлеан на миниатюрное шоу, – так называла она большие художественные выставки-продажи, в которых она много лет участвовала со своими миниатюрными чудесами, – хочешь, поедем вместе. У меня там гостиница заказана, а если билет зарезервировать заранее, будет стоить долларов двести пятьдесят. Потянешь?

Я молчала так долго, что Лариса подумала, будто прервалась связь, и начала орать:

– Алло! Алло! Ты слышишь меня?

Я слышала. Но не стану же я рассказывать по межатлантической связи историю про армянскую летающую тарелку.

– Я поеду, Лариса. Делай эту самую резервацию...

Где я? Где Новый Орлеан?

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru)  
А может, предсказание вообще ничего не предсказывает, а представляет собой всего лишь стрелку, как в игре «казаки-разбойники»? Не увидишь стрелку и не победишь в ту сторону?

Две недели я провела в Нью-Йорке, мы много болтались по городу, старший сын кормил нас в каких-то маленьких специальных местах, известных лишь настоящим обитателям города, а не всепроникающим туристам, младший таскал в какие-то столь же настоящие музыкальные точки и один раз даже на свой концерт, и мне в голову – совершенно преждевременно! – приходила старческая и весьма сомнительная мысль: так всё хорошо, что на этом месте можно и помирать...

А потом мы с Ларисой поехали в аэропорт и через четыре часа приземлились в городе Новый Орлеан. Нас встретил автобус и повез в гостиницу. Ларисино лицо вытянулось сразу же, как только она этот автобус увидела. Это был ужасный облом. Гостиница, куда нас везли, находилась в семнадцати километрах от города, и само шоу должно было проходить именно в этой гостинице. Семнадцать километров тянулись бесконечно долго, тоскливые болотистые места, заброшенное безлюдье Луизианы, то приближающаяся, то удаляющаяся грязно-зеленая большая вода Миссисипи в серой дымке мелкого дождя. Тоска смертная...

На шоссе, по которому мы ехали, не было ни встречных, ни попутных машин. Всё выглядело безнадежно.

– Да, завезла я тебя, – только и сказала Лариса.

Тут я не выдержала и, чтобы развлечь и взбодрить подругу, рассказала Ларисе об армянском гадании. Лариса ничего не сказала, но посмотрела на меня так, что я почувствовала себя двоечницей.

Перемена участи произошла у стойки в гостинице. Всех участников шоу – почти все были женщины – зарегистрировали и выдали каждой по ключу. Когда дело дошло до Ларисы, администратор вдруг засуетился, начал крутить телефоны, с кем-то переговариваться. Понять ни слова я не могла, потому что здешний американский – это какой-то еще один незнакомый язык, но Лариса выглядела как дичь на болоте: растеряна и растопырена.

После довольно длительных переговоров Лариса посмотрела на меня и сказала тихо:

– Incredible!

Произошло действительно невероятное: наша резервация откуда-то и куда-то слетела, мест в гостинице из-за шоу не было, даже люксовых номеров, которые они хотели было нам предоставить, и теперь, извиняясь в три голоса – парень со стойки и еще двое подскочивших администраторов, – они просили нас простить неудобства, которые причиняет нам это досадное недоразумение, но единственное, что они могут нам предложить, – номер в маленькой гостинице с тем же названием во французском квартале, потому что здешняя гостиница, многоэтажный зеленый фаллос, одиноко торчащий из болот, – всего лишь филиал той старинной гостиницы на двадцать номеров, и неудобства будут компенсированы тем, что нам дадут лучший из тамошних номеров и, естественно, машину, которая будет нас ежедневно доставлять из центра Нового Орлеана на шоу и обратно.

Ларисины сундуки мы оставили на хранении, поскольку завтра ей надо было устраивать экспозицию, сели в поданную нам машину и через двадцать минут были в самом сердце Нового Орлеана, в центре французского квартала, в старинной, чуть ли не самой древней в городе гостинице с внутренним двориком и мавританским фонтанчиком.

– Здесь останавливались плантаторы со своими семьями, когда приезжали в город за покупками, – сказала Лариса в роскошном, обставленном ветхой мебелью номере.

– Ага, унесенные ветром плантаторы и плантаторши, – согласилась я, разглядывая смесь английских цветочков и французских полосок на обивках, обоях, занавесях и покрывалах. Хрупкие столики были покрыты кружевными скатертями рабской работы, а в каждой из спален, смежных с гостиной, стояло по огромной умывальной машине с тазом и кувшином. Лариса открыла дверку в нижней части прикроватной тумбочки и торжественно вытащила оттуда старинный ночной горшок, слегка побитый временем.

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) – Вот! Этого больше нет нигде в мире! Я уверена, что у них сохранилась и конюшня для лошадей их постояльцев, и сарай для их невольников! Теперь ты понимаешь, как нам повезло!

Конечно, я понимала. Мы шли по Бурбон-стрит. Сильно пахло цветущими магнолиями, конским навозом и марихуаной. Новый Орлеан хвалился сам собой, как ребенок новой игрушкой: на каждом перекрестке, на всех его четырех углах клубились малолетние чечеточники, флейтисты и гитаристы пубертатного возраста, престарелые ударники и извлекатели звуков из чего угодно, гадатели всех направлений – с картами обыкновенными и картами Таро, с фасолью, цветным рисом и другими сельскохозяйственными объектами, с камешками, перьями и цыплятами, звездочеты в колпаках, фокусники и танцовщики, креолы и негры, индейцы и индийцы – и среди них, мы знали, затерялась шестнадцатилетняя дочка наших друзей, сбежавшая из приличного еврейского дома и исчезнувшая в этом водовороте. Не первая и не последняя – Теннеси Уильямс тоже когда-то сбежал сюда, в этом водовороте и написал «Трамвай “желание”». Музыка заполняла все поры этого города, грохотала на перекрестках, изливалась из открытых дверей всех заведений, сочилась сквозь стены. Да еще пахло креольской едой, горячей и острой.

Кстати, все кафе, рестораны, клубы и бары были битком набиты, хотя туристический сезон еще не начался, да и вечер еще только собирался. Влажная жара, которой славится Луизиана со своими болотами, крокодилами и ирригационными каналами, тоже еще не наступила. Даже какой-то ветерок, взвизгиваемый то ли музыкой, то ли кабацкими запахами, лениво тащился вдоль Бурбон-стрит. Мы бы уже и поели чего-нибудь, но свободных мест не было. Мы остановились возле вывески «У нас играет саксофонист Гэри Браун». Пока мы глазеем на вывеску, музыка смолкает. Народ выходит из заведения, а мы входим. У Гэри Брауна – перерыв. Мы садимся на освободившиеся места, заказываем местный напиток с ромом и сидим, тихо наслаждаясь. Мы медленно выпиваем сладко-коричневый алкоголь, потом заказываем еще «Маргариту».

– Здесь онтологический перерыв, – говорит наконец Лариса, и я прекрасно понимаю, что она имеет в виду.

– Ага, всегда.

В том смысле, что в других местах на земле люди работают, очень много работают, еще и еще, до смерти работают, а здесь – перерыв. Бармен наливает выпивку – лениво и доброжелательно, делает одолжение. Музыканты играют, потому что у них такое настроение – поиграть, а гадатели раскладывают свои снасти исключительно из любви к этому старинному занятию. Можете дать им денег, они их возьмут, но они здесь не работают, они так живут – в перерыве.

Музыканты немного поели и выпили, им снова захотелось поиграть, и они расселись: Гэри, лет тридцати пяти, лысый, светлокожий негр, немного полноватый и расслабленный, басист ямайского вида и улыбочивый худенький гитарист. Потом вылез азиатского вида клавишник и старый, совсем старый, перкуSSIONИСТ. Он заменил другого, и все обрадовались, потому что он был какой-то совсем знаменитый и вообще-то не должен был сегодня играть, но шел мимо и захотел немного постучать... И они начали.

Бедные, бедные белые люди – недопеченные, недоделанные. Настоящие политкорректные американцы – белые, англосаксы и протестанты – говорили мне, что этого нельзя произносить: никогда нельзя хвалить черных за их музыку, потому что им это обидно. По той причине, что они не хуже белых и во всех прочих отношениях, и это обидно, тысячу раз обидно, когда все тащатся именно и только от их музыки. Не знаю, что в этом плохого. Они заиграли, и запели, и заплясали – чистая радость и восторг! Они так наяривали, что наши белые ленивые души подпрыгивали, и отрывались, и взлетали, и приплясывали, и сам Господь Бог радовался и, может, тоже приплясывал на небесах. И так было хорошо, что вылетели полностью из наших озабоченных голов все тяжкие думы, накопленные десятилетиями чтения умных книг, все проблемы отлетели как пыль, всё внутри пело вместе с Гэри Брауном и его замечательными ребятами.

Потом Гэри вытащил изо рта мундштук и крикнул:

– Танцуйте!

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Но пока дело так далеко не зашло, чтобы вскочить и идти трясти нашими довольно престарелыми костями. И тут от двери через пустую танцевальную середину зала идет негритянской походкой, в которую танец вделан от рождения, здоровенный черный парень. Идет и уже как будто танцует. И подходит он ко мне и приглашает танцевать.

Мы с Ларисой долго соображаем – что это он хочет? Танцевать – наконец соображаем мы, и Лариса шевелит губами:

– По-моему, он тебя приглашает танцевать.

– Я не говорю по-английски, – испуганно произношу я.

– А по-французски? – улыбается парень.

– Нет, нет, по-французски я особенно не говорю, – я почти в столбняке.

– В конце концов, я же приглашаю вас танцевать, а не разговаривать, – смеется парень, и я иду.

Мы первые, мы единственные на танцевальном пятачке, на нас все смотрят. Я замечаю двух теток из числа Ларисиных шоу-компаньонов. Они потрясены не меньше моего. Я качнулась на месте, испробовала свои ноги, потрясла руками, сбросила с тела что-то лишнее, и пошло...

В молодости я любила танцевать, начиная от буги-вуги до рок-н-ролла. Тогда в эти танцы вкладывалась вся страсть к свободе, и весь протест против советской тухлятины, и отчаяние, и злость, и ярость. И тело мое всё вспомнило – как будто проснулось. Черный парень был бесподобный танцор, он меня кидал и ловил, а я не промахивалась, всем телом попадая куда надо. Лет двадцать я не танцевала. Мне кажется, так классно я вообще никогда не танцевала, даже и в молодости. Потом вылезли еще какие-то пары, но – как будто никого вокруг не было, все расступались и нисколько не мешали, присутствовали где-то на периферии. Потом наступила другая музыка, что-то тангообразное, но «слоу, очень слоу», и мы уже плыли по другой реке и даже разговаривали. Он спросил, где я живу. Я ответила – в Москве. Он танцевал как бог, я бы танцевала с ним всегда, в медленном объятии, полном и совершенном. Он спросил меня, не хочу ли я остаться в Новом Орлеане.

– Не знаю, хочу ли я остаться в Новом Орлеане, но я хочу танцевать с тобой.

– Так мы танцуем, – засмеялся он.

Он был такой красивый и такой молодой. Тут музыка кончилась, и он отвел меня к моему столику. Сел на свободный стул.

– Я предлагаю вашей подруге остаться в Новом Орлеане, а она колеблется.

Глаза у Ларисы, и вообще большие, стали как два пасхальных яйца фаберже голубого цвета.

К этому времени я уже немного очухалась.

– Нет. Я не могу. Я живу в Москве, – сказала я с сожалением.

– Хотите, я поеду с вами в Москву? – спросил он.

Ларисины глаза уже не могли стать больше, они вылупились до предела.

– У меня в Москве муж, – призналась я.

– Жалко, – сказал парень. – Ты мне понравилась. А, может, останешься в Новом Орлеане?

– Нет, – вздохнула я, и мы расстались навеки.

Лариса обещала выдать мне справку, что жизнь моя могла измениться, что предложение мне было сделано на ее глазах и свой шанс я упустила. Она мне объяснила также, что происшествие это совершенно неправдоподобно, потому что

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru Нью-Орлеан – расистский город, это не Нью-Йорк и не Калифорния, где черный мужчина легко может пригласить танцевать незнакомую белую женщину. Здесь это совершенно не принято. Еще она призналась, что всегда считала, что я, рассказывая свои истории, немного привираю, закругляю сюжеты и сообщаю им законченность, которой они в реальности не обладали. А теперь верит, что я не вру.

На следующий день, когда открылось Ларисино шоу, к ней подошли две ее коллеги, и одна тихонько спросила: а правда, что вашей подруге вчерашний черный парень предложил остаться?

«Правда», – с гордостью ответила Лариса.

Это был день моей женской славы.

Забыла сказать: книжечка, в которой затерялись на несколько лет армянские предсказания, называлась «История шевалье Де Грие и Манон Леско».

Привет тебе, дорогая Лариса!

Общий вагон

Собирались мы наскоро, но традиций не нарушали: водка, селедка, хлеб. Последнее немаловажно – в деревне, куда мы ехали, магазина давно уже не держали. Если говорить вполне откровенно, продуктов набрался полный рюкзак.

Число на дворе было тридцатое декабря. Крайний день. Билеты на Савеловском вокзале нам продали, хотя очередь стояла изрядная. Вскоре выяснилось, что билеты продали всем желающим, которых было вдвое больше, чем посадочных мест. На перроне происходило нечто ностальгическое – не то война, эвакуация с последующей бомбежкой, не то съемка фильма из тех же лет. В спутниках моих проснулась утраченная сноровка военного детства, и мы довольно ловко вперлись в переполненный вагон. И поехали на север...

Вагон общий. Народ постепенно утрясается. Дураки плотненько сидят на лавках, умные уже растянулись на верхних полках. А мы стоим в проходе. Пока что тесно и холодно, но скоро будет жарко и душно, к этому времени умные и дураки сравняются в одном – все будут пьяными. Процесс, собственно говоря, пошел сразу же, как только поезд тронулся. Все вынули. Не спрашивайте что. Вот именно. Бутылки. Все, кроме нас. Не потому, что у нас не было. А потому, что начался такой народный театр, что невозможно было оторваться от зрелища этой натуральной жизни в железнодорожных декорациях...

Первым явлением была проводница. Рубенсовская модель с лицом подвыпившей матрешки. Сильная, крепкая. От пьянства еще не развалилась, только перед обвис, как у коровы. Голос властный, веселый, хамства не допустит, если надо, сама так обхамит, что и милиционер покраснеет. Понимает, что билетов продано вдвое больше, чем мест, но ситуацией владеет полностью: кого направо, кого налево, бабу с дитем усадила, солдатиков-отпускников с мест подняла – погодите малек, ребятки, и вас пристрою... Но солдатики торопят – им ехать всего восемь часов, а за это время надо успеть захорoshеть, и проспаться, и снова захорoshеть. Но они в надежных руках, в отпуск их везет солдатская мать, медведица. Ее сын Колька да двое землячков – Вовка и Серега...

В соседнем с нашим отсеке солидная семья из пяти членов: мать и отец в средних годах, их сын с женой и немецкая овчарка. Ей-то хуже всех. Забилась под лавку и переживает нервный срыв. Все ее жалеют, ласкают, особенно пожилая хозяйка: «Ах ты, моя красавица, не бойся, глупая, мы тебя в обиду не дадим». А собака дрожмя дрожит. Папаша с сынком уже приняли. Папаша ногами вспотел, ботиночки снял, отдыхает... «Колбаска, курочка... Не желаете ли?..»

Хороший у нас народ – добродушный, щедрый...

Рядом с нами, на проходном месте, возле самого сортира, любовная парочка. Не молодежь глупая. А взрослые, женатые, за тридцать. От них любовью так и пышет, особенно от нее: «Ну, чего тебе дать-то, Славик? Хошь “Славянской”, хошь “Хейнекена”? А водочки, водочки-то?»

У нее штук восемь одинаковых пластиковых пакетов, она их перетряхивает,



Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru позвякивает, постукивает... А муж носом крутит: того не хочет, этого не хочет... Непонятно даже, чем это он так быстро набирается...

Вот и солдатики вышли из тамбура, присели на лавку, уже и пропустили по маленькой, и повздорили, и матюгами друг в друга пульнули, и помирились. Такой у нас народ – душевный, отзывчивый...

И мы трое – мой муж, Дима и я – тоже народ. Одеты как все: шапки, валенки, полушубки. И еда как у всех: хлеб, колбаса, сырок плавленый, чай в термосе... Вот чаек мы и пьем.

– Ну что вы как неродные... – жалеют нас, предлагают.

Соседка с пакетами оказалась продавщицей из продовольственного магазина. Всё рассказала: что раньше заведующей была, а теперь смысла нет, что к родне едут, что детишек у них двое, с бабкой остались. Что проблема у них есть – квартирная.

А Славик важный, как китайский мандарин, всем недоволен: сначала ему было холодно, потом стало жарко, пиво ему горькое, а водка слабая, а, главное, поезд так медленно идет, ну просто мочи нет... А продавщица всё старается ему угодить: и так, и сяк, и боком, и скоком. А он чем пьяней, тем строже...

Вагон хоть и растрясся, но забит плотно.

Кое-как расселись. Время от времени по проходу пробирается пьяный мужичище с висящим на одном ремне аккордеоном:

– Рюкзака моего не видели?

С каждым следующим его проходом он всё пьянее, аккордеон свисает всё ниже к полу, а рюкзак всё недостижимей... Люди, правда, говорят, что еще на вокзале провожавшая его женщина ему рюкзак к поясу пальто привязала. Впрочем, пальто тоже нет...

Кое-где еще братаются, а кое-где уже схватились за грудки. Солдатская мать тут как тут: «Вов, Серега, да вы что? Чего кулаками-то машете? Хорошо ли, приедете к матери в синяках?»

Утихомиривает дураков... Почему от таких хороших добрых женщин рождаются такие щенки бессмысленные?

А в семейном отсеке хоровое пение: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?»

Немецкая овчарка прижала уши, сгорбилась... Почтительный сын ведет папаню в туалет. Только ботиночки забыл на него надеть. Сынку указывают: обуи папашу, в уборной давно уже по колелю...

Сынок папаню усаживает, ботиночки прилаживает. Пока они в отлучке, свекровь, закончив песню на слезливой ноте, сообщает невестке, кто она такая есть. Невестка тоже кой-чего ей сообщает. Раздается крепкий визг. Собачьи нервы не выдерживают, она взывает. Драматическое напряжение нарастает. Молодой человек приволок папаню из сортира. Оскорбленная молодая жена требует от мужа немедленной расправы над свекровью. Собачий вой переходит в скулеж. Мамаша нежна с собакой, как добрая фея. Только что не целует: «Ах ты, моя бедняжка, разволновалась-то как!» И вдруг рывкает огромным зычным голосом:

– Сидеть!

Из-под собаки начинает что-то подозрительно течь. Молодая пара волочет собаку в туалет. Собака сопротивляется. В глазах у нее отчаяние и безумие – люди с такими глазами кончают самоубийством.

Все полны взаимным интересом, но доброжелательность мгновенно обращается в агрессию. Кто-то хохочет, кто-то рыдает. Ударив распахнувшим всю свою душу аккордеоном о стойки полка, человек всё бродит из вагона в вагон и ищет свой рюкзак. Славик раздухарился не на шутку:

– Что за поезд? Я в таких не езжу! Остановить поезд! Пусть меня встретят! Где

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
моя космическая связь?

А жена его утешает: что ты, говорит, Славик, ты телефон-то свой на столе забыл... И нам с гордостью поясняет: он у меня телефонист, в спецуправлении работает.

У нас просто глаза раскрываются: да какой же он телефонист, он же телеграфист! Бессмертный чеховский телеграфист, но зарвавшийся, зажравшийся. Космическую связь ему! Птицу-тройку! И пусть поезд остановят! И вертолет пришлют!

Русский театр абсурда. За полночь перевалило. Уже тридцать первое декабря.

Поезд пьян, как зюзя. Проводница, солдатики, спящие и бодрствующие – все дышат свежими алкогольными парами. Праздник грядет. Еще почти и не наблевано, и морды не все биты, и всё впереди.

Мы немного чувствуем свою подлость: не напильсь, не слились с народом, смотрим трезвым глазом со стороны, просто как наблюдатели из ООН. Но, между прочим, кроме наших трех, еще одна пара трезвых глаз наблюдает картину. Сверху свешивается красивый человек, тельняшка из-под рубахи, лицо нездешнее, пожалуй, северокавказское: рус, подбородок лопатой, с кинематографической ямкой, нос резкий, без славянской мякоти. Чеченец, что ли? А глаза любопытствующие, смотрят прямо...

Мы вышли в Кашине. И «чеченец» с нами. Тьма-тьмушая, и мороз под тридцать. В вокзале тепло, и народ туда подтягивается. Отсюда, с вокзальной площади, скоро пойдут автобусы по деревням. Люди топчутся. Ждут. Нам ждать часа два.

Развернули скамейку к теплой батарее. Развязали рюкзак и достали, наконец, бутылку. И позвали «чеченца». Он, не чинясь, подошел. Представился:

– Меня, – говорит, – зовут Иван Яковлевич. Я, собственно говоря, голландский немец.

Я чуть не подавилась. Это была, конечно, моя законная писательская добыча. На ловца прибежал зверь. Да еще какой: хочешь – на роман с продолжением, хочешь – на телесериал. Он выпил стаканчик и начал рассказ:

– Переселилась наша семья из Голландии при императрице Анне Иоанновне, на рудники... Предки мои был меннониты. Знаете про таких?

Мы знали. Иван Яковлевич растрогался: первый раз за всю жизнь встретил таких людей, чтоб меннонитов знали...

Язык немецкий он почти потерял. Мать еще говорила, а он уж почти не говорит. Но понимает. Из Алтая переселилась семья в Среднюю Азию. Женился после армии на русской. Раньше всех понял, что из Средней Азии пора уезжать. Перебрался в Россию. Купил дом. Завел хозяйство. Жена – медсестра. Трое детей. Работает он в Москве, водителем автобуса. Здесь, в Тверской области, работы нет. Прозвище у него Чечен.

Говорит он хорошо. Язык живой, правильный, никаких бессмысленных ругательств, которым привычно пересыпают речь все, кто побывал в армии или в лагере. Все его братья уехали в Германию. Он ехать не хочет. Здесь у него Родина.

Мы слушаем с вниманием. Он говорит охотно, с подробностями. Ни одного вопроса не задает. Потом смотрит на часы. Пора. Спасибо, говорит, за приятное общество. С интеллигентными людьми очень редко случается общаться. И ушел. Каких только людей нет у батюшки-царя, как говаривал Лесков...

Автобус наш был такой промерзший, что аж звенел. Ночь не собиралась кончаться, мороз усиливался. Ехали больше часа и приехали в деревню. В редких избах горят огни, собаки брешут. А до нашей деревни еще идти шесть километров лесом. Можно и по дороге, но тогда на два километра больше. И пошли мы через ночной лес. Дорога скоро перешла в тропинку, а потом и тропинка потерялась под снегом, и мы пошли по целине, проваливаясь по колени. И шли долго-долго. Сделали привал, попили горячего чая, даже костерок развели. Лес скрипел ветками, постреливал от мороза, казалось, что мы никогда отсюда не выберемся. Потом начало светать. Стали заметны следы: кабаньи, лисьи, заячьи. Собачьи, конечно. Среди древесного

Люди города и предместья. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya1udmila.ru](http://ulitskaya1udmila.ru) морозного треска чирикнула какая-то птица. Я шла как во сне, мне казалось, что я бреду вне времени, пространства, на том свете... Но тут лес иссяк. Мы достигли опушки и вышли на открытое место. Было уже совсем светло. Позади нас стеной стояли огромные сосны. Мы остановились, оглядывая открывшуюся деревню, – ни одного дымка не шло из труб.

Вот тут-то и произошло. Как взрыв. Всё вдруг вспыхнуло – за нашими спинами загорелись желтым свечным пламенем сосны. Это взошло солнце. Всё засверкало праздничным светом, заискрилось, и началась такая красота, какая бывает только в детстве или во сне. И в довершение всего раздался какой-то фырчок, и прямо из-под моих ног выскочила и взлетела большая серая птица-тетерка.

Рассказать осталось немного. Димин дом промерз настолько, что даже мыши из него ушли. Что до людей, то местные старухи зимуют у родни, в городе. Последняя одинокая старуха-зимовщица умерла лет восемь тому назад.

К нашей радости, в деревне обнаружился дачник. Он остался с осени, спасаясь от городской суеты и любящей жены. Ему нравится жить в пустой деревне, с кошкой-собакой. Иногда сбегает на лыжах в соседнюю деревню в магазин за хлебом-молоком. Спирт у него в канистре. Еда в запасе. Он пенсионер. Читает, рисует, режет по дереву. Выпивает в одиночку. Философствует, когда есть с кем. Прекрасный и своеобразный человек. Он обрадовался, когда мы ввалились к нему в дом. Он как раз печь растапливал.

К вечеру мы накрыли стол в его избе. Димину избу два дня топить надо было, чтобы дом прогреть. С Новым годом!

И сели за столы солдатики-отпускники, и телеграфист с продавщицей, и веселая семейка с нервнобольной собакой, и голландский немец по прозвищу Чечен, и рубенсовская проводница с лицом престарелой матрешки.

Это мой народ. Какой есть...

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://ulitskaya1udmila.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!